



Annotation

Роман «Амур-батюшка» рассказывает о прошлом Приамурья, о тяжелых условиях жизни крестьян-переселенцев в 60-70-е годы XIX века, об освоении ими дикой природы края и, конечно, о дружбе с местными народами, без которой невозможно было бы выжить на новом месте.

В 1952 году роман был отмечен Государственной премией СССР.

- [Николай Павлович Задорнов](#)
 - [КНИГА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)

- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ](#)
- [КНИГА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)

- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА СОРОКОВАЯ](#)
- [ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ](#)
- [ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ](#)
- [ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ](#)
- [ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ](#)
- [ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ](#)
- [ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)

- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [3](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)

- [75](#)
 - [76](#)
-

Николай Павлович Задорнов

Амур-батюшка

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ



От сибирских переходцев Егор Кузнецов давно наслышался о вольной сибирской жизни. Всегда, сколько он себя ни помнил, через Урал на Каму выходили бродяжки. Это был народ, измученный долгими скитаниями, оборванный и на вид звероватый, но с мужиками тихий и даже покорный.

В былое время, когда бродяжки были редки, отец Егора в ненастные ночи, случалось, пускал их в избу.

– Ох, Кондрат, Кондрат, – дивились на него соседи, – как ты не боишься? Люди они неведомые, далеко ли до греха...

– Бог милостив, – отвечал всегда Кондрат, – хлеб-соль не попустит согрешить.

Бродяжки рассказывали гостеприимным хозяевам, как в Сибири живут крестьяне, какие там уголья, земли, богатые рыбой реки, сколько зверей водится в дремучих сибирских лесах. Среди бродяг попадались бойкие рассказчики, говорившие как по книгам. Наговаривали они и быль и небылицы, и хорошее и плохое. Все же по рассказам их выходило, что хоть сами они и ушли почему-то из Сибири, но страна там богатая, земли много, а жить на ней некому.

Да и не одни бродяжки толковали о матушке Сибири. Сельцо, где жили Кузнецовы, расположено было на самом берегу Камы, а по ней в те времена шел путь в Сибирь. Егор с детских лет привык жить

новостями о Сибири, любил послушать проезжих сибиряков и всегда любопытствовал, что туда везут на баржах или по льду, что оттуда, какова там жизнь, каковы люди. Мысль о том, что хорошо бы когда-нибудь и самому убежать в Сибирь, еще смолоду укоренилась в голове Егора. На то, чтобы уйти с родины, были и у него разные причины. Но до поры желание это было как бы спрятано где-то в потайной кладовой про запас; и лишь когда у Егора случались неудачи или нелады с односельчанами, он извлекал его из тайника и утешался тем, что когда-нибудь оставит здешнюю незадачливую жизнь, соберется с духом, перевалит в Сибирь и станет жить там по-своему, а не как укажут люди.

И женился Егор на свободной сибирячке. Неподалеку от сельца были заводы. Крестьяне ходили туда на работы. Егору тоже доводилось жить на куренях, на углесидных кучах^[1] и работать на сплавах. Одну зиму пришлось ему прожить на соседнем заводе. Там встретил он славную, красивую девушку, дочь извежега, присланного на завод с азиатской стороны Урала. Егор и Наталья полюбили друг друга. На другой год Егор уломал отца заслать сватов, и в промежговенье, перед великим постом, свадьбу сыграли.

Между тем за последние годы движение в Сибирь оживилось. Началось это еще до «манифеста», после того как в народе прошел слух, что открыли реку Амур, которая течет богатым краем, что там хорошая земля, зверя и рыбы великое множество, а населения нет и что туда скоро станут вызывать народ-на жительство.

– Сперва-то вызовут охотников, а не сыщется охотников, пошлют невольников, – говорил по этому поводу дед Кондрат.

Старик с годами стал сдавать, хотя мог еще целый день промолотить в мороз без шапки, но уж головой в доме стал Егор.

После «манифеста» в Сибирь повалило множество народу, туда повезли пушки, товары и машины, гнали солдат и арестантов, ехали купцы, попы, чиновники, выкочевывали вольные переселенцы и переселенцы по жребию, скакали курьеры.

Вскоре в народе, как и предсказывал дед, стали выкликать охотников заселять новые земли на Амуре. По деревням ездили чиновники и объясняли крестьянам, что тем, кто пойдет туда, переселенцам, предоставляются льготы. С них снимали все старые недоимки, а на новых местах наделяли землей, кто сколько сможет

обработать, обещали не брать налогов и освобождали всех их вместе с детьми от рекрутской повинности.

На старом месте жить Егору становилось тесно и трудно. Жизнь менялась, село разрослось, народу стало больше, а земли не хватало. Торгашество разъедало мужиков. Кабаки вырастали по камским селам, как грибы после дождя. У богатых зимами стояли полные амбары хлеба, а беднота протаптывала в снегах черные тропы, бегая с лукошками по соседям.

Егор не ладил с деревенскими воротилами, забиравшими мало-помалу в свои руки все село. За поперечный нрав богатеи давно собирались постегать его. Однажды в воскресенье у мирской избы шло «ученье»: миром драли крестьян за разные провинности. В те времена так случалось, что ни в чем не повинного человека секли время от времени лозами перед всем народом единственно для того, чтобы и ему было не повадно, чтобы и его уравнивать со всем драным и передраным деревенским людом. Обычай этот долго не переводился на Руси.

Егор шел мимо мирской избы. Он был малый крепкий и крутой, но мужики по наущению стариков богатеев к нему все же подступили: им было не в диковину, что ребята и поздоровей его ложились на брюхо и задирали рубаху. Как только один из мужиков, не глядя Егору в глаза, сказал, что велят старики, Кузнецов весь затрясся, лицо его перекошилось. Сжав кулаки, он кинулся на мужиков и крикнул на них так, что они отступились, и уж никто более не трогал его с тех пор.

Кузнецовы, так же как и все жители сельца, были до «манифеста» государственными крестьянами. Помещика они и раньше не знали и жили посвободней крепостных. Егор всегда отличал себя от подневольных помещичьих крестьян и гордился этим. К тому же он был еще молод, дерзок на язык и крепок на руку и при случае мог постоять за себя.

Если бы деревенским воротилам удалось его унижить, отстегать на людях, они, пожалуй, и перестали бы сердиться на него и дали бы ему от общества кой-какие поблажки. Но Егор в обиду себя не давал, и они держали его в строгости. Он многое терпел за свою непокорность.

Егор жил небогато. Да и не мог он разбогатеть на старом месте. Он работал в своем хозяйстве прилежно, но особенного интереса, пристрастия к этой работе не чувствовал. Жадностью и корыстью он

не отличался. Жизнь его кругом стесняла, и его силе негде было разгуляться.

– Ты, Егор Кондратьич, с прохладцей живешь, – как-то раз оказал ему сельский учитель.

– Это жизнь какая! – отвечал Егор. – Она набок идет, никак не уживусь с кулаками, будь-они неладны!

– Тебе надо в Сибирь выселяться!

– Пошто же это мне тут-то не жить? – насторожился было Егор, не зная, как понять такую речь.

– Ты бы там горы своротил, а тут они тебе не дадут дороги. Вся твоя сила тут прокиснет. А там жизнь вольнее.

Егор ничего не ответил, но слова эти запомнил. Он и сам полагал, что не весь свет населен вредными людьми и что где-нибудь да живет ладный народ. Такой страной представлялась ему Сибирь.

Когда стали выкликать охотников на Амур, дело решилось само собой, словно Кузнецовы только этого и ждали. К тому же не за горами было время, когда по рекрутской очереди младшему брату Егора, Федюшке, предстояло идти в солдаты. На Амуре же никакой рекрутчины не было.

Семейство Егора к тому времени состояло из отца, матери, брата Федюшки и жены Натальи с тремя детьми: Петькой, Васькой и девчонкой Настей. Наталья тоже желала избавить в будущем своих сыновей от солдатчины и стояла за переселение. Бабка Дарья, еще моложавая и бойкая женщина, поддалась уговорам сына быстрее старика. Она хорошо понимала своего Егора и если сначала не соглашалась переселяться, то делала это не от души, а более для того, чтобы испытать, не отступится ли сын от своего замысла. Егор стоял крепко на своем, и мать согласилась. С трудом уломали деда Кондрата.

Егор записался в переселенцы.

Семья оживилась и стала дружно собираться в далекий путь. Тут-то и оказалось, что у Егора уже многое обдуманно и многое заранее подготовлено для дороги, а когда он обо всем этом думал, он и сам не мог бы сказать.

Егор решил уйти туда, где, как говорили, богачей и начальства либо совсем нет, либо поменьше, чем на Каме. Он надеялся, что если на новых местах сойдутся люди небогатые, то и жизнь у них станет равной и справедливой.

Осенью Кузнецовы сняли урожай, намололи муки на дорогу, набрали семян из дожиночных колосьев, с тем чтобы посеять их на заветном амурском клине, справили лошаденкам сбрую, продали избу, скот и хозяйство, расплатились с долгами.

Отслужили напутственный молебен, бабы поплакали-поревели, и в добрый час, простившись с родной деревней, Кузнецовы двинулись в далекий путь.

ГЛАВА ВТОРАЯ



В Перми из уральских переселенцев, съехавшихся туда из разных деревень, была составлена партия. Назначили партионного старосту, и вскоре крестьяне двинулись Сибирским трактом за Урал.

Великий путь от Камы в Забайкалье шли они около двух лет. Первоначально высшие чиновники, распорядившиеся переселенцами, рассчитывали, что они смогут передвигаться зимами и быстро достигнуть Читы, откуда должно было начаться их плавание по рекам. Но в сибирские морозы ехать с семьями по степям и тайге оказалось невозможным, и крестьяне останавливались в богатых деревнях, нанимались к сибирякам в работники.

Эх, Сибирь, Сибирь!.. Еще и теперь, как вспомнят старики свое переселение, есть им о чем порассказать... Велик путь сибирский – столбовая дорога. Пошагаешь по ней, покуда достигнешь синих гор байкальских, насмотришься людского горя, наготы и босоты, и привольной жизни на богатых заимках, и степных просторов, и диких темных лесов. Попотчует тебя кто чем может: кто – тумачом по шее, а пьяный встречный озорник из томских ямщиков – бичом, богатый чалдон – сибирскими пельменями, подадут тебе под окном пшеничный калач и лепешки с черемухой. Приласкают и посмеются над тобой, натерпишься ты холоду и голоду, поплачешь под березой над свежим могильным холмом, поваляешься на телеге в разных болезнях,

припалит тебя сибирским морозцем, польет дождем, посушит ветром. Увидишь ты и каторгу, и волю, и горе, и радость, и простой народ, и господ в кандалах, этапных чиновников, скупых казначеев. А более всего нагладишься кривды, и много мимо тебя пройдет разных людей – и плохих и хороших.

Под Томском у кулаков-«гужеедов»^[2] переселенцы покупали знаменитых сибирских коней. Хороши томские лошади: высоки, могучи, грудасты, идут шагом, а телега бежит. Старых, изъезженных, избитых коняг продавали лошадиникам. На томских поехали живей. Осенью на Енисее, у перевозов, во время шуги скопилось много переселенцев. Начались болезни – народ мер повально. Приезжали доктора, чиновники, полиция. Переселенцев остановили на зимовку. Впоследствии енисейских старожилов за то, что они помогли переселенцам хоронить умерших, прозвали «гробовозами».

За Енисеем стала стеной великая тайга. Как вступили в нее переселенцы, так уж во всю жизнь не видали ей конца, сколько бы ни ходили. Велика эта тайга. Зайди-ка в нее, в самую чашу, сядь в сырые мхи да одумайся, где ты, и что за лес вокруг тебя, и что ты такое против всего этого. И такая тебя возьмет лихота, что и не рад станешь. Уж лучше ехать и не думать. Такова-то сибирская матушка тайга.

На исходе второй зимы, когда уже начались оттепели и морской лед трещал так же гулко, как гремит гром в июльскую грозу, переселенцы, перевалив по льду Байкал, вступили в забайкальские горы. Грозно, как облака, уходили они вдаль голубыми снежными «белками». Новая страна – великая, дикая, неведомая – стояла перед толпой оборванных, усталых крестьян.

Начались деревни староверческие, улусы некрещеных и деревни крещеных бурят, казачьи заимки и богатые крестьянские села, растянувшиеся в узкую улицу на долгие версты по тесным и хмурым горным долинам.

Снег стаял, зацвел бледно-розовый багульник, в тайге посвистывали бурундуки. Наступила забайкальская весна. Но переселенцам не радоваться хотелось, а плакать безудержно и безутешно. Больно вспоминались свои покинутые пашни и родная весна, совсем не похожая на здешнюю. Тут дикие камни, обросшие мхами и лишаями, каменистые крутогоры с высочайшими «ветродуйными» рогатыми кедрочками, холодный ветер и казавшиеся

хитрыми темнолицые люди. А по долинам и по дорогам – пески и сосны. Повсюду стада скота и баранов. Кое-где – пашни.

Жизнь тут была какая-то чужая, не похожая на сибирскую даже. Русские люди лицами походили более на азиатцев. Суровые, скрытные и неразговорчивые, они жили в неприветливых домах. Их избы сложены были из толстейших бревен, тяжелые ставни запирались железными болтами. Обнесенные высокими бревенчатыми частоколами или городьбой из жердей, их заимки выглядели казенными укреплениями, а не крестьянскими домами.

По-русийски гостеприимные и разговорчивые ссыльнопоселенцы, которых на родине мужики боялись бы, как бывших каторжников, тут были для переселенцев самыми желанными людьми. Они жили вперемежку с коренными сибиряками, и называли их гуранами – дикими козлами. Старожилы сами называли себя так в насмешку над своей дикой жизнью.

С русскими дружили и кумовались буряты. Этих скуластых, внешне как бы безразличных ко всему наездников, вихрем носившихся по горным долинам на своих низкорослых гнедых лошаденках, переселенцы встречали повсюду.

Крещеных бурят русские называли «братскими».

Отдельным племенем жили красивые, рослые и светловолосые староверы. Здесь их называли «семейскими».

У людей этих: у казаков, братских, семейских и ссыльнопоселенцев – были разные обычаи и свое особенное хозяйство, отличное от соседей по устройству и по способам его ведения, хотя и много общего было у всех. Глядя на них, и переселенцы обогащались опытом сибирской жизни. Многие присмотрели они по дороге такого, что впоследствии должно было, как они полагали, пригодиться на новоселье.

В конце мая партия прибыла в Читу. Там уже скопилось к тому времени большое количество переселенцев, направлявшихся на Амур и на Усури. Это были крестьяне Орловской, Тамбовской, Пермской, Вятской и Воронежской губерний. Часть их шла на переселение по доброй воле, часть – по жребию. Были тут и сектанты, и раскольники, и разный другой люд, почему-то не ужившийся на старых местах и стремившийся забраться подальше в тайгу в поисках плодородных земель и вольной жизни.

Под Читой, на Хитром острове раскинулось огромное плотбище. С верховьев Читинки и Ингоды каторжные читинской колонии сплавливали лес, а переселенцы, объединившись по две-три семьи, строили себе паромы.

Егор сговорился ладить плот с камским земляком Федором Барабановым, с которым шел всю долгую дорогу. Мельком знал он Федора на старых местах. Барабановы жили в одной из соседних деревень на Каме. Федор был в семье пятым сыном и ушел в Сибирь потому, что не ладил с братьями. Он знал, что от отца после раздела много не получит, а на малом не мирился. Был он мужик хитроватый, «рисковый» и по-своему смелый. Он не побоялся пойти на Амур, втайне намеревался разбогатеть там во что бы то ни стало, но всю дорогу охал, жаловался на свою судьбу и всего опасался: чиновников, докторов, бродяг, конокрадов, разбойников, холодов, болезней, голода, плохих дорог и, несмотря на свои страхи, всегда лез на рожон первым. Был он порядочный «торгован», как называли его переселенцы, и всю дорогу барышничал, не без выгоды сменяв шесть штук лошадей на пути от Томска до Читы.

Егор и Федор как бы дополняли друг друга. Егор был крепче и тверже Федора, а тот был похитрей и на язык ловчее и мог из всякого затруднения придумать выход. Так, пособляя друг другу, мужики благополучно осилили многие помехи и печали.

Жена Барабанова, низкорослая силачка Агафья, выносливая и терпеливая, была во всех делах советчицей и помощницей своего мужа, но нередко и помыкала им, если он плоховал. Агафья бралась за любую мужскую работу и делала ее не хуже мужиков. На Ингоде на плотбище, ворочая бревна, она немного отставала от Егора, а Федора, случалось, и опережала.

Плоты, или паромы, строили по-сибирски, укладывая широкие плахи на длинные «арты» – долбленные толстые кедровые стволы. Переселенцам присылали на помощь солдат и каторжников, чтобы долбить «арты» и плотить.

В начале июня суда были готовы и нагружены. Переселенцы двинулись вниз со вторым сплавом. Первый ушел еще в мае следом за льдами.

Поплыли скалистые берега сначала Ингоды, потом Шилки, мрачные теснины, хвойные леса. До Усть-Стрелки миновали семь

маленьких почтовых станций – «семь смертных грехов».

«Экая тоска, экая скучища на этой Шилке зимой!» – подумал Егор, услышав такое прозвище здешних станций.

На вторую неделю пути выплыли на Амур. За Усть-Стрелкой солдаты-сплавщики, направлявшиеся к Хабаровску, указали китайскую землю. Разницы не было: и тут и там все было одинаково, она ничем не отличалась от своей.

По реке шло движение, как на большой дороге. Сплавлялись вниз купеческие баркасы, баржи с солдатами, с казенными грузами и со скотом; на плотам плыли казаки из Забайкалья и везли целиком свои старые бревенчатые избы; попадались китайские парусные сампунки, полные товаров.

Ближе к Благовещенску стали проплывать пароходы. На возвышенностях – релках – виднелись распаханная и засеянная казаками земля. На правом вперемежку с «таежками», как назывались тут перелески, попадались китайские деревни.

Когда приставали к берегу, крестьяне-китайцы подходили к плотам, кланялись вежливо, приносили овощи, бобы, лепешки, показывали знаками, что русские плывут далеко и что путникам надо помогать, что у них маленькие ребятишки хотят кушать.

Немало было разговоров про китайцев. Егор ходил в деревню смотреть, как они живут.

– Такие же люди, – оказал он, воротясь.

Но в душе немало удивился тому, что увидел: уж очень аккуратны были китайские пашни, хоть и малы; и все росло – овощи, хлеб. Кругом тайга и луга. Деревня обведена стеной из самана.

На устье Зеи, в Благовещенске, переселенцы получили «порции»: сухари, соль, побывали на многолюдном базаре и в солдатской церквушке подле строящегося собора.

Перед крестьянами открывалась еще одна новая страна. Тайга, чем ниже спускались по реке, становилась веселей, кудрявились орешники, радовали глаз дубняки, липовые рощи; на лугах росли сочные буйные травы, а на зеленых косогорах, и на русской и на китайской сторонах реки, цвели красные и желтые саранки и пушистые белые марьины коренья. Маньчжуры подплывали к каравану на лодках, торговали овощами и дичью, несли какую-то тарабарщину, хватали русские монеты, но кредиток не брали.

– Эх, взяли меня, как с гнезда, и унесли!.. Чего только я тут не наглажусь! – невесело и растерянно говорил дед Кондрат, проплывая расположенный неподалеку от Благовещенска маньчжурский городок с бойким базаром на берегу, с мачтовыми лодками у пристани, с золочеными крышами кумирен и с глинобитной крепостью.

Вскоре китайские деревни исчезли. На обеих сторонах реки стояла сплошная грозная тайга, и с каждым днем все выше вздымались скалы. Кое-где в распадках приютились казачьи посты – несколько свежерубленых избенок – да огороды. Амур, зажатый в каменной теснине, шел местами как между стен. Река зашумела, повлекла плоты быстрее.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ



В Благовещенске вместо солдат-сплавщиков на паромы заступили лоцманы-казаки из недавно переселенных на Амур забайкальцев. С этими плыть стало веселей. Они все тут знали и обо всем охотно рассказывали.

– Мои деды на этом Амуре жили, – рассказывал низкорослый, кривоногий казак Маркел. – Я-то родился на Шилке, в станице Усть-Стрелка, но род-то от старых жителей. Ведь в прежнее время тут русских много жило. Этой реке и название – Амур-батюшка. Волга – Руси матушка, а Амур-то – батюшка! Были тут и города, заимки. Пашни пахали. А потом с маньчжуром сражались и русские ушли –

земля заглохла, стала Азия и Азия. А нынче вот опять топоры застучали. Лес валят, корчуют. Красота!..

– Почему же деды-то уходили с Амура? – спросил Егор.

Маркел не сразу ответил. У него было что рассказать российским переселенцам, и поэтому он не торопился. Казак оглядел мужиков и начал тонким голоском:

– Это было давно. Моего деда дед ли, прадед ли тут жил. Тут было всего: и хлеба росли и люди жили. Китаец тогда за стеной жил. У них коренное государство, ну, вроде Расея ихняя, стеной отгорожена, и начальство строго следило, чтобы за ворота никто не выселялся. А китайцы, конечно, не слушают. Это я знаю, потому сам сидел в Китае в плену и стену видел. Здоровая такая стена, вот с эту кручу, – кивнул Маркел на каменный обрыв, быстро проплывающий над плотами. – Проложена прямо по сопочкам, по степи, где придется. Ну вот, – Маркел кивнул на правую сторону. – В те поры – это давно было – Миколай Миколаич Муравьев говорил: двести лет тому назад маньчжурец пошел на Русь. Маньчжурец в Китае хозяин. Пошли воевать маньчжурские полки. Про китайца в то время слышно не было. Маньчжур до последнего срока был тут грабитель. А китаец вышел на Амур позже. Это народ хороший: труженик и старатель. Сам богдыхан войско привел. Аж до Амура достиг! Выше Благовещенска был большой город Албазин. Отец-то все нам показывал дедушкину пашню – водил на Амур, когда мы в Забайкалье жили. А уж какая пашня! На ней в два обхвата березы выросли. Когда я с отцом ходил, он показывал те места, где был Албазин. А потом отец помер, а у меня знакомых стало много на Амуре из орочен. Я сам часто сюда ездил, ружья возил и охотился, так уж хорошо это место запомнил, где Албазин стоял. А теперь и на тех пашнях тайга, а где так гарь или который лес ветром повалило. А когда-то стоял город, хлеб рос, был скот разведен. Люди жили мирно. Маньчжур и давай воевать. Обложил Албазин. Сперва не мог взять. Но нам помощи нет настоящей – от Москвы-то, говорят, мол, как ее подашь, далеко, мол, через хребты дорога. Стали сдавать крепость, велели народу выйти в Забайкалье, замирились. Обида, конечно... Говорят, шибко плакали старики. Албазинокую-то божью мать слышали? – вдруг с живостью спросил Маркел. – Чудотворную-то икону?

– Казанскую, что ли? – переспросил Федор.

– Какой казанскую! – с пренебрежением ответил казак. – В Албазине была чудотворная албазинская. У нас известно. Икону старики на руках вынесли.

Маркешка рассказывал, какая разница между китайцами и маньчжурами и как их различать.

– Как же Амур-то обратно взяли? – спросил Федор.

– Мы как сюда пришли с Муравьевым, и из ружья ни разу не выстрелили. С китайцами все мирно обошлось. Геннадий-то Иванович Невельской на корабле зашел с моря и устье у реки занял. А Муравьев был губернатор в Иркутске, собой рыжеватенький такой, верткий, как хорек, но с солдатами обходительный. Я уж потом сколько раз с ним встречался. Всегда за ручку здоровался. Это уж обязательно! В пятьдесят четвертом году он в первый раз спустился с нами с Забайкалья на судах и проплыл сквозь весь Амур. Мы имя руководствовали, форвахтер показывали. Кто не потрафлял ему – таку вздрючку давал, бывало, горячих всыплют. Проплыли мы, и с тех пор Расея сюда двинулась. И теперь народ сюда льется, как вода. Китайцы не хотели сначала Муравьева пускать, а потом рассудили, что, мол, соседи, жить, говорят, надо мирно, и не стали препятствовать. Старый договор порвали, написали новый. Миколай Миколаич Муравьев подписал, китайцы кистями расписались, выпили хорошенько, и с тех пор живем дружно. И китайцы довольны, а то они боялись, что англичане в Амур зайдут. Так нам Муравьев Миколай Миколаич сказывал; мы ведь и потом у него были лоцманами. Как раз в тот год, как он договор подписывал в Айгуне, я тоже был на сплаве, лоцманил. Беда, он говорил, эти англичане сильно терзают китайцев. Он говорил, будто для китайцев старался.

– Ну ладно, а как же тогда ты в плен попал к китайцам, если с китайцами дружно жили?

– Ну, это дело мое! – недовольно ответил Маркешка и, немного помолчав, добавил: – Это давно было.

Другой сплавщик, пожилой, безбородый и желтолицый Иннокентий, или, как его все звали, Кешка, засмеялся.

– Маркел ходил охотиться на Амур. Его поймали. Год держали в яме, а потом через весь Китай и всю Монголию вывезли в клетке на верблюде и в Кяхте выдали.

Маркел угрюмо молчал.

– Он зимой ходил на дедушкину землю охотиться на белок и соболей да напоролся на льду на китайского генерала, на начальника Айгуна.

Такое объяснение понятно мужикам; русский барин-генерал или китайский могли при случае поступить, конечно, как им вздумается: нашел, видно, в чем-то нарушение.

– Маркешка оружейник хороший. Ружья сам умеет делать, – продолжал Иннокентий. – Прежде на Амуре русские ружья знали. Он ездил, менял...

– Ведь ружья делать занятие доходное? – удивился Федор, обращаясь к лоцману. – Дула-то где брал? На новом-то месте ружья нужны!

– Я просил у начальства позволения открыть оружейный завод в Благовещенске, – отвечал Маркешка.

– Ну и что же?

– Капитала нет! Сказали: «И не суйся». Говорят, ружья покупать надо у американцев или из Тулы. Еще, говорят, не хватало, чтобы забайкальцы стали свои системы придумывать! Однако, твари, ружье мое схватили и не отдали, и видать было, что понравилось им. Ружье отобрали, сняли с него рисунок и куда-то послали. Оказали, в Николаевске есть оружейная при арсенале, чинят там старые кремневки, фитильные, штуцера – всякую такую чертовщину, туда, мол, нанимайся. А на черта мне это дело сдалось?

Егор с большим любопытством приглядывался к Маркешке. Бледный и смиренный казак этот, как видно, был выдумщиком и смельчаком.

– Он ведь из Хабаровых! – продолжал на соседнем плоту Иннокентий. – Ерофей-то Хабаров в древнее время был богатырь, голова на Амуре. Албазин-то который построил. Хабаров, паря, знаменитый человек! Маркешка-то его же рода, от братьев от его, что ли, они произошли. Муравьев, когда в первый раз Маркешку увидел, сказал: «Какой же ты богатырь, Хабаров, – такой маленький да кривоногий!»

Все засмеялись.

Егор подумал, что и тут, на новых местах, есть, видно, несправедливость.

* * *

Через неделю караван подходил к деревне Хабаровке.

– Твоим именем, что ль, названа? – с насмешкой спросил Федор у Маркешки.

– Нет, это Ерофеевым! – с потаенной обидой ответил казак.

Маркешка простился со своими товарищами и с переселенцами. От Хабаровки он должен был вести часть переселенцев вверх по Уссури, а оттуда по тайге тропами провести во Владивосток военный отряд.

– А семья где у тебя? Или ты холост? – спрашивал Егор.

– Ребят семеро, да жена, да две старухи живут на Верхнем Амуре, – отвечал Маркешка.

– Далек же ты на заработки ходишь!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



В Хабаровке от переселенческого каравана отстали буксирный пароход, баржа с семейными солдатами, паромы с казенным окотом, взятым для продажи новоселам, торговый баркас кяхтинского купца и плоты с переселенцами, назначенными селиться на Уссури. Дальше вниз по Амуру поплыли паромы переселенцев, которым предстояло основать новые селения между Хабаровкой и Мариинском, и лодка чиновника, распорядившегося сплавом и водворением крестьян на новых местах.

Под Хабаровкой река заворачивала на север. Из-за островов пала Уссури, и Амур стал широк и величествен. С низовьев подули ветры. Целыми днями по реке ходили пенистые волны, заплескиваясь на паромы и заливая долбленые «арты». Сплав осторожно спускался подле берегов, лишь изредка переваливая реку и отстаиваясь в заливах, когда подымалась буря.

Местность изменилась. Еще под Пашковой начались крутые горы. За Хабаровкой исчезли казачьи посты. Оба берега стали пустынные и дикие. По правому тянулись однообразные увалы, то покрытые дремучей вековой тайгой, то обгорелые, то голые и каменистые, то поросшие орешником и молодым кудрявым лесом. Левый берег был где-то далеко; хребты его, курившиеся туманами, лишь изредка проступали из ненастья, синевя в отдалении над тальниковыми рощами островов.

Иногда на берегах виднелись гольдские селения. Глинобитные фанзы с деревянными трубами и амбарчики на высоких свайках лепились где-нибудь по косогору близ проток в озера. Переселенцев гольды побаивались и не приближались к ним, да и сами крестьяне сторонились местных жителей, не зная еще, что это за народ, хотя казаки уверяли, что люди мирные и добрые. Убогий вид гольдских жилищ никого на плотках не радовал.

Реже попадались селения русских. Крестьяне, пришедшие на Амур этим же летом, жили в шалашах и землянках и день-деньской рубили тайгу. У староселов, пришедших два-три года тому назад, кое-где уж строились избы; лес отступил от них дальше, на расчищенных от леса солнцепеках были разведены и обнесены частоколом обширные огороды; хозяева разводили скот, сеяли хлеба, коноплю, гречиху, овес.

День ото дня сплав уменьшался. За Хабаровкой отстали воронежские крестьяне. Вскоре высадились на берег орловцы. В одной из старосельческих деревенок отстали и вятские. Дальше должны были плыть четыре семьи пермских переселенцев: их назначили селиться ниже всех – на озеро Додьгу.

Плоты их отваливали от старосельческой деревеньки хмурым ветреным утром. Над рекой низко и быстро шли лохматые облака.

Река слегка волновалась. Ветру, казалось, наскучило бесноваться, он ослабевал и более уж не завивал белых барашков на гребнях волн. Река стихала, она катилась тихо и мерно – мутная, набухшая, бескрайная, как море, уходившая в безбрежную даль, сокрытую туманами и дождями.

Мимо берега, переворачиваясь с боку на бок, проносились огромные голые лесины, коряги, карчи, щепы – остатки деревьев, разбитых неведь где, вынесенные горными речками в половодье.

Повсюду плыли комья усыхающей белой пены, накипевшей в непогоду; и от множества подобных предметов ширь реки становилась еще явственней, глубже и грозней.

Ветер не хотел стихнуть совсем и временами налетал с силой, рассыпаясь по воде, разводя мелкую зыбь и обдавая сырой прохладой собравшуюся у плотов толпу. Народ кутался кто во что мог, мужики и бабы ежились, а босые ребятишки приплясывали, как ямщики на морозе, или стояли на одной ноге, отогревая другую под штаниной, либо сидели на корточках, накрывшись зипунами.

Трудно было предсказать, как разойдется погода. Вдруг на миг-другой сквозь расплывшееся облачко проглядывало солнце и, словно для того, чтобы подразнить иззябших за ночь переселенцев, пробегало по ним веселыми лучами; подставив под солнце голую руку, сразу можно было ощутить, как оно жарко палит, несмотря на ранний час. То вдруг облака темнели, ветер налетал откуда-то со стороны другого берега и приносил с собой частые брызги далеких ливней.

На берегу, подле плотов, собралась порядочная толпа. Староселы и остающиеся переселенцы вышли проводить отплывающих. Однако уральцы некоторое время никак не могли решиться, стоит ли плыть дальше в такой день. Некоторые говорили: коли быть непогоде, то не лучше ли переждать ее в деревне, чем отстаиваться где-нибудь на диком берегу? Казаки, сопровождавшие плоты, стояли за то, чтобы плыть, и говорили, что выгоднее хоть сколько-нибудь пройти дальше, пока позволяет погода, чем стоять на месте.

– На этот Амур и в ясный-то день надежды нет. Все тихо, покойно, а сядешь в лодку, доедешь до середины – он забушует, и не знаешь, как обратно доберешься. Чего зря погоды дожидать.

На берег вышел чиновник, ночевавший в избе у старосты. Это был плотный, скуластый сибиряк с жесткой складкой у губ и живыми серыми глазами. Сплав подчинялся ему по всем правилам воинской дисциплины. Оглядев реку и потолковав со стариками, он приказал казакам отваливать и отправился на свою лодку.

На берегу засуетились и забегали озабоченные мужики с шестами в руках. Заголосили бабы. Тем горше было расставание, что вятские были последними российскими спутниками уральцев. Дальнейший путь предстояло совершать им одним.

Старики на прощанье перецеловались, все кланялись друг другу в пояс и желали благополучия на новоселье. Наконец отплывавшие разместились на паромах, с лодки чиновника послышалась команда лоцмана, уральцы взялись за шесты, лязгнули ими о каменистое дно, и плоты тронулись. Черная толпа провожающих, махая платками и шапками, расползлась по косогорам берега.

– От мыса-то тут коса пошла, ты гляди в оба! – кричал чернявый старосел-вятич казаку– лоцману, шагая по берегу вровень с головной лодкой.

Казак стал отводить лодку от берега. На паромах откладывали шесты и брались за гребни, как тут называли весла.

– Ну, Христос с вами, детки, – крестил проплывавшие паромы седой как лунь дед из, остававшихся вятских новоселов. – Ищите себе земельку да окореняйтесь. И дай вам бог, дай бог! – бормотал старик, и слезы катились по его темным морщинам.

Егору Кузнецову с переднего парома стало хорошо видно всю деревню. С вечера – приставали к берегу в сумерках – он не разглядел ее хорошенько. Теперь вся она была перед ним как на ладони. И как бы для того, чтобы повеселить Егора, в облаках образовалась пройма, сквозь нее заголубело небо, поток ярких радужных лучей брызнул на невысокие холмы и зазеленил на их склонах поля и огороды.

Видно стало, что деревенька ладная. Свежерубленные розоватые избенки ютились по склонам. Ближе к реке виднелись слепые бревенчатые амбарушки, построенные на свайках, но свайки эти были гораздо короче и толще, чем у гольдов. Видимо, у вятских было что в амбары складывать. Подле домов ни деревца, ни куста, словно тут испокон веков стояла безлесая и от этого на вид безрадостная сибирская деревня. Лес поблизости мужики вырубали, как злого врага. И в самом деле, от леса тут жить надо подальше – из него мошка тучами. Ближние увалы были скрыты низкими облаками, и казалось, что кругом деревни сплошные поля и огороды. Родной вид их радовал Егора и укреплял в нем надежду на новую жизнь.

– Вот же окоренились люди-то, – как бы отвечая сам себе, вымолвил он.

– Вестимо, – отозвался с другой гребни темнобородый Барабанов и кивнул на деревянные кресты на прибрежном холме. – Сколько корней-то пущено!

Дед Кондрат снял шапку и перекрестился.

Солнце скрылось, и небо плотно затянуло серыми облаками. Вода заплескалась о паромы, ветер обдавал гребцов брызгами разбитых волн.

Сплав теперь состоял всего из трех плотов. Впереди шла крытая лодка чиновника. Двое забайкальцев в халатах и в мохнатых папахах сидели на веслах. На корме правил лоцман сплава – шилкинский казак Петрован, переселившийся недавно из Забайкалья на Средний Амур. Ветер трепал его неподпоясанную широкую красную рубаху и хлопал ею, как парусом. Изредка над пустынной взволнованной рекой звучал его предупреждающий оклик.

Версты три-четыре все плыли молча, сосредоточенно работая веслами и ощупывая дно шестами, как слепые на чужой дороге. Миновав остров и отмели, караван выплыл на быстрину. Деревня скрылась за мысом. Казаки перестали грести, и лодку понесло течением. Мужики на своих тяжелых плотках, чтобы не отставать от нее, слегка налегали на огромные, тесанные из цельных бревен весла. Одна за другой навстречу плотам выплывали из тумана угрюмые широкие сопки. Волны, всплескивая, ударялись об их каменные крутые подножия.

– А что, Кешка, – обратился Федор к казаку-кормщику, плывшему на первом плоту, – давно, что ль, эти вятские тут населились?

– Чего-то я не помню, который год они пришли, – глухо отозвался Кешка, низкорослый казак в ичигах и грязной ситцевой рубахе. Бледно-желтое лицо его было безбородым, как у скопца, и скуластым, как у монгола. Ему было под пятьдесят, но он выглядел гораздо моложе. Только мешки под шустрыми темными глазами старили его. – Тут, однако, еще до них заселение было, гольды жили на буграх, – продолжал он. – Им немного тут корчевать пришлось: настоящей-то тайги не было.

– Чего же эти гольды отсюда ушли?

– Кто ж их знает! Чего-то вздумалось им, они и ушли. А которые вымерли. В старое время, однако, зараза была завезена. Тут кругом одни гольды – теперь, однако, верст на полтора, кроме их, нет ни души. До самой вашей Додьги поплывем – русского человека на берегу не увидим. Только солдаты кое-где живут на станках. А чтобы

поселение – этого тут нету. За Додьгой, как сказывал я, живет один русский с гольдами.

– Это как ты называл-то его? – перебил казака Федор. – Чего-то я запомнил...

– Бердышов он, Иван Карпыч. Да он сам по себе на Амур пришел, от начальства независимо. Да и он, однако, уже на додьгинскую релку перекочевал. А дальше опять верст семьдесят нет никого. Селили тут каких-то расейских – орловских ли, воронежских ли, да они перешли на Уссури. Чего им тут? Калугу он еще и не поймает, охотник с него никакой, зверя увидит – бежит. Сохатый ему ни к чему. Клюквы, брусники осенью бы набрать, луку дикого насолить – того не понимают. Цинга на них навалилась. Озимые у них затопило, на другой год хлеб с лебедой пекли, толкли гнилушки, с мукой мешали, ослабли – тайгу чистить не могли. Не подошло им и тут. Видишь, не все здесь выживают.

Мужики гребли так старательно, что плот поравнялся с лодкой. Из-за настила стали видны головы казаков, сидевших за укрытием и куривших трубки. Петрован вылез на крышу и уселся лицом к плоту.

– Староселы-то с новеньких теперь сдерут за приселение! – весело крикнул он, кивнув головой в том направлении, где осталась деревенька, в которой высадились вятские. – Тайгу-то обживать, она, матушка, даст пить!.. Недаром, поди, старались...

– То же и на Додьге, если Бердышов построился, придется маленько ему потрафить, – заговорил Кешка, обращаясь к мужикам. – Деньжонками ли, помочью ли – тут уж такой закон.

– Где же их напасешься, денег-то?.. – возразил Федор.

– Кто обжил тайгу, тому уж плати, – поддразнивал его Петрован. – Никуда, паря, не денешься. Рублей по пяти, по десяти ли теперь с хозяйства отдашь староселу.

– У нас дома, в Расее, промеж себя о таких деньгах и разговору не бывало, – вымолвил Егор.

– Зверовать наладишься, так деньги воротишь, – возразил Кешка. – Тут и соболь, и лиса, рысь, выдра – всякий зверь есть; только знай бегай шибче по тайге-то, она прокормит.

– Хлебом одним разве проживешь тут? От гольдов или от Бердышова, уж от кого-нибудь перенимать придется. А меха китайцы скупают! – силился перекричать плеск волн Петрован. – Бердышов-то

тут старый житель; он уж давно сюда пришел. Он теперь, поди, как хозяин на этой Додьге вас встретит, – продолжал он подшучивать над Федором.

– Иван Карпыч не передаст свое охотничество, – серьезно возразил Кешка. – Скорей всего, что от гольдов перенимать придется.

Егор, как человек, решившийся на переселение по убеждению и от души желавший найти для своей жизни новое праведное место, не обращал внимания на рассказы казаков. Он верил, что и тут жить можно и что хлеб вырастет. За годы пути Егор ни разу не посетовал на себя, что снялся со старого места. Он надеялся на свои силы и староселов не боялся.

– На лису-то мы и дома промышляли да на белку, – весело заговорил Федюшка. – Даст бог, и соболя поймаем. Про соболя и у нас дома слышно – на Урале-то.

– Тут кругом охотники ходят, соболюют. Туда вон подальше, в хребтах, уж шибко ладный промысел!

Быстрина несла плоты к крутому обрыву. Из курчавых орешников, росших по склону, торчал горелый сухостой. Выше шел оголенный увал, на склоне его валялись черные поваленные деревья.

– Эй, Петрован, а никак ветер меняется! – оживленно крикнул Кешка. – Кабы верховой-то подул, мы бы, пожалуй, что под парусами, завтра дошли.

– И впрямь сверху потянуло, – отозвался Петрован.

Но не успел он договорить, как ветер с новой силой ринулся навстречу и запенил плещущуюся в беспорядке воду. Петрован слез с крыши, взял правило у молодого казака. Забайкальцы сели на места, и легкая лодка снова быстро пошла вперед.

Ветер полоскал удаляющуюся красную рубаху лоцмана. Хотелось Федору спросить у Кешки, как же все-таки им придется рассчитываться с Бердышовым и много ли, в самом деле, по здешним обычаям следует ему с каждого новосела, но смолчал, чтобы казак лишний раз не посмеялся. «Нет, наверно, зря они балясничают. Быть не может, чтобы Бердышов запросил по десяти рублей», – утешил он себя.

Егора тоже заботила предстоящая встреча на Додьге со староселом. Ссуда, выданная ему, частью уже разошлась, а частью распределена была до последнего рубля.

Берега затянулись туманной мутиью, с плотов, кроме волн и мглы, ничего не стало видно. По погоде следовало бы пристать и отстояться где-нибудь в заливе, покуда хоть немного разъяснит, но пристать было некуда. Под скалами река кипела на камнях, приближаться туда опасно, казаки повели караван через реку. Разговоры стихли, все усердно заработали веслами.

Полил дождь, ветер утих, и волны стали спокойней. Где-то проглянуло солнце, лучистые столбы его света пали откуда-то сбоку, сквозь косой дождь, и вокруг плотов во множестве загорелись разноцветные радуги, перемещавшиеся при всяком порыве ветра. Серебрились, ударяясь о воду, дождевые капли, и казалось, что на реку сыплется множество мелких серебряных монет; весело плескались голубовато-зеленые прозрачные волны, насквозь просвеченные лучами. Повсюду, куда хватает глаз, сквозь многоцветный, изнутри светившийся ливень виднелись яркие просторы вод. Куда девалась их муть, их глинистая желтизна, нанесенная в Амур из китайских рек!

Вдруг пала густая тень, и в тот же миг все снова приняло вид мерклый и серый. Остались лишь косые потоки ливня и мутная река, кипевшая водоворотами.

– Братцы, наляжем!.. – тонко покрикивал Кешка.

Мужики дружно вскидывали в воздух полоторасаженные весла. Поскидав мокрые армяки, Егор и Федор работали в одних почерневших от ливня рубахах; с их зимних шапок и с бород текли струи, на изможденных лицах пот слился с водой, глаза полны были решимости: реку во что бы то ни стало нужно было переплыть как можно скорее.

– Бабы, не удайся мужикам! – покрикивала мокроволосая разгоревшаяся Наталья, ворочавшая на пару с силачкой Барабанихой запасную гребь.

Шумела вода, врезанная торцом крайнего бревна, и полоса ее, гладкая, как стальной клинок, с плеском откидывалась напрочь. Где-то в стороне, неподалеку от плотов, вынырнул малый островок и проплыл мимо, как кудрявая романовская шапка, кинутая в воду. Приближались к отмелям. Федюшку поставили с шестом на носу парома. Промеряя глубину, он каждый раз оборачивал мокрое, скуластое, веснушчатое лицо и покрикивал весело:

– Пра-аходит!..

Вскоре плоты вошли в протоку между островов. Дождь окончился. В спину гребцам, навстречу каравану, подул холодный сырой ветер. Опять пошли волны. Пришлось налегать на шесты. Караван продвигался вдоль берега, укрываясь от ветра под самые островные тальники.

Вдруг откуда-то издали до слуха плывущих донеслись гортанные голоса, тянувшие что-то вроде песни. Время от времени эти дружные расплывчатые звуки перекрывались чьим-то пронзительным тонким криком. Все стали озираться по сторонам. Караван шел протокой меж высоких голенастых тальниковых лесов. Слева мимо паромов проплывал островок, открывая желтую песчаную отмель, тянувшуюся вдоль берега. На косе бесились волны, с грохотом выбегая на нее во весь рост и завивая косматые водяные вихри. За широкой протокой, на матером берегу кучка людей тянула бечевой большую черную лодку с косым парусом. На носу ее стоял человек без шапки и, повизгивая, что-то кричал.

– Переваливать Амур хотят, – пояснил казак. – Это гольды тянут в Китай торговца с мехами. Э-эй, джангуй!^[3] – заорал он. – Твоя майма^[4] откуда куда ходи?

С маймы донеслись слабые отклики. Кешка насторожился, приложив к уху ладонь.

– Однако, это китаец-то знакомый, – сказал он. – Тут их трое братьев неподалеку от Додьги торгуют, в той деревне, где, я оказывал, у гольдов Бердышов жил.

Кешка что-то прокричал китайцам не по-русски и, вслушавшись в их ответ, наконец, уверенно сказал:

– Младший брат в Сан-Син пошел за товаром.

– Лавки, что ль, у них?

– В юртах же торгуют. Места тут глухие, а охота хорошая, они у гольдов меха берут. Эти три брата – богатые купцы, силу тут имеют в тайге. Они еще у Муравьева выпросили позволение торговать здесь. При Муравьеве, однако, только один их отец тут торговал. Все инородцы здешние у них в кабале. Зимой они кругом по тайге нартой ходят. Тут у них все в долгу: и орочены и гольды. Гольдов крепко держит. Чуть что – палкой его. А гольд торговца увидит – на коленки перед ним. Этот китаец последние-то годы стал и с русскими торговать. Верстах в семидесяти пониже того места, где вас селят, на

устье Горюна, есть деревенька переселенческая – Тамбовка, туда они муку возят и мало-мало толмачат уж по-нашему – научились. А дальше начнутся русские деревни, так они и туда ездят. А теперь, говорят, сюда из Маньчжурии потянулись другие торгаши. Как же! Им с русскими выгодно торговать. Тут теперь сколько народу! Раньше им этак-то торговать не давали. Маньчжурские нойоны – те сами не дураки были об этом деле; чтобы не без соболей с Амура вернуться, уж шибко заботились. А теперь, при русских, торговцам раздолье.

У Федора глаза сузились, он так и впился взором в рассказчика.

– Мы первые-то разы тут проходили, маньчжур нойон-то еще ездил по гольдам, собирал с них албан, дань по-нашему, с головы по соболю, да еще выторговывал сколько. Однако, полную майму мехов увозил. А русские тут и прежде до Муравьева бывали, беглые селились, на охоту ходили.

С реки рванул сильный ветер. Паром покачнуло. Огромная мутная волна вдруг поднялась перед тупым носом парома, с шумом обрушилась на настил и разбежалась по нему ручьями. Грузы и продукты переселенцев были подняты на подставки и закрыты широкими берестяными полотнищами. Вода их не коснулась, но ручьи забежали в балаган, устроенный посреди плота. Завизжали ребятишки и, покинув свои убежища, полезли на мешки. Бабка Дарья, Наталья и Агафья стали перебирать подмоченное тряпье.

Снова запенился водяной гребень, и волна обкатила переднюю часть парома. Кешка изо всей силы навалился на кормовое весло, направляя паром следом за лодкой в узкую и тихую протоку, открывшуюся в тальниках.

Иногда было видно, как волна, далеко не достигнув берега, вдруг сшибалась с другой; слившись, они вздымались крутым водяным бугром и, на миг превышая седым венцом все иные волны, победно всплескивали к небу гроздья брызг и тотчас же распадались.

Плоты пристали к берегу.

– Бушует наш Амур-батюшка, – вымолвил Кешка, оставляя правило и озирая реку.

– Не дай бог, замешкались бы мы на середке, была бы беда! – отозвался Федор.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ветер ослаб лишь в сумерках, когда плыть дальше было поздно, и переселенцы стали располагаться на ночлег. В берег вбили колья. К ним подтянули плоты.

Казаки раскинули барину палатку, а сами расположились подле нее, у костра. Обычно они не ставили себе палатки. В хорошую погоду ночевали на лодке, где устроен был навес от дождя. Там у барина оборудована довольно просторная каютка. Сам чиновник предпочитал ночевать на берегу в палатке, где устанавливалась легкая походная койка, укрытая пологом-накомарником.

На этот раз погода была столь переменчива, что и казаки, посидев немного у своего костра, не поленились разбить себе палатку.

Под берегом на широкой отмели устраивались переселенцы.

Мужики разбрелись по лугам острова в поисках наносника для костров. Егор на бугре нашел гниловатую сухую осину, срубил ее и, развалив, по частям перетаскал к огню. Дым от гнилушек отгонял комаров, появившихся сразу, как только стал стихать ветер.

Когда стемнело, к стану подошли казаки и принесли с собой бутылку ханшина.^[5] Они уходили пьянствовать к переселенцам: с глаз долой от барина, который за попойки бранил их жестоко.

Егор не пил. Барабанов пригубил для приличия. Кешка с Петрованом распили бутылку и порядочно захмелели.

Кешка стал рассказывать про Ивана Бердышова. Казак не впервые сопровождал переселенцев и любил похвастаться перед ними знанием здешних мест, жизни и людей. Слушать его собрались крестьяне от других костров. Пришли братья Бормотовы – Пахом и Тереха, низкорослый Тимофей Силин со своей женой Феклой. У балагана Кузнецовых развели большой огонь. Ветер колебал его пламя, обдавал всех сидевших подле едким густым дымом. На палках, воткнутых в землю, сушилась одежда и обувь. Дед Кондрат, стоя над пламенем, поворачивал к нему то изнанкой, то верхом свой промокший насквозь армяк. Федор латал протершиеся ичиги. Егор делал шесты – очищал лыко с тальниковых жердей. Ребятишки грызли сухари.

– Давно еще, – говорил Кешка, потягивая ганзу,^[6] – когда Амур этот отыскиали, Иван-то Бердышов у купца Степанова ходил на баркасе.

Сплавлялись они до Николаевска, по дороге с гольдами торговали, делали меновую. Как-то раз заехал он в Бельго. Стойбище это ниже Додьги верст на пятнадцать-двадцать. Вот торгаш, которого мы сегодня встретили, он оттель же. Там у них самое гнездо торгашей... Ну, а тогда-то хоть и не шибко это давно было, но все же население там было поменьше, хотя китаец этот уж и тогда торговал. Тамока и встретил Бердышов одну гольдячку. Она была у этих гольдов шаманкой.

– Как же это так? – заговорил Тимоха Силин. – Разве девка бывает шаманкой?

– Как же, бывает, – небрежно ответил Кешка. – Еще как славно шаманят!

– Мы до Байкала видели этих шаманов и у бурят и у тунгусов, – заметил Тимошка, у которого подступало желание высказать все, что он сам знал о шаманстве. – Там более грешат этим старики. Верно, слышал я, что где-то была и старуха шаманка, но не девка же.

– Шаманство это как на кого нападет. Кто попался на это дело, тот и шаман, – туманно объяснял Кешка. – Хоть девка, хоть парень – все равно. Ведь это редкость, кто шаманить-то может по-настоящему, – со строгостью вымолвил он, и заметно было, что Кешка сам с уважением относится к шаманству. – Ну, а она, эта Анга, так ее гольды зовут, была первой шаманкой, хоть молодая и бойкая, а, сказывают, как зальется, замолится – гольдам-то уж любо, загляденье... Иван теперь на русский лад Анной стал ее называть.

Ну, была она шаманкой – девка молодая, мужа нет, жениха нет, гольдов этих она чего-то не принимала. Сама была роду отличного от остальных гольдей. Отец ее в первые годы, как отыскиали Амур, помогал плоты проводить, плавал на солдатских баржах, бывал в Николаевске, там научился говорить по-нашему. Он раньше чисто толмачил – не знаю, может, теперь стал забывать, – с ними это бывает, с гольдами: выучится по-нашему, а старик станет, все позабудет, так, мало-мало толмачит, с перескоком. Его сам Муравьев знал. Дед у нее тоже, сказывают, был знаменитый промеж гольдов, он и шаманство знал и удалец был. Его потом убили: деревня на деревню гольды между собой дрались и застрелили его. Это давным-давно было.

Ну вот, значит, встретил Иван ее и встретил. Она, паря, шибко хороша собой была, да и сейчас еще на нее заглядишься... Иван

познакомился с ней. Отец да она жили вдвоем, приняли его, угощали. Они, гольды-то, хлебосольные: как к ним заедешь, так они уж и не знают, чем бы попотчевать. Иван, паря, не будь плох, давай было с ней баловать, известное дело – мужик и мужик. Беда! – усмехнулся Кешка. – Молодой, кровь играет... Ну, она себя соблюдала, никак ему не давалась. Она гордая была, ее там все слушали, все равно как мы попа... Ничего у него не вышло, и поплыл он своей дорогой. Ну, проводила она его и пригорюнилась. Запал он ей в голову. Плачет, шаманство свое забывает, бубен этот в руки не берет. А у Ивана-то, не сказывал я, – вспомнил Кешка, – осталась зазноба дома. Ведь вот какая лихота: у него зазноба, а он баловать вздумал... Сам-то он родом с Шилки, из мужиков, от нас неподалеку, где мы раньше до переселения жили, там их деревня. Сватался он к Токмакову. Шибко это торгован у нас, по деревням, по Аргуни и Шилке славился. Дочка у него было Анюша, не девка – облепиха! Парнем-то Иван все ухлестывал за ней. А послал сватать, старик ему и сказывает: мол, так и так – отваливай... Иван-то после того, конечно, на Амур ушел, чтобы разбогатеть. «То ли, – говорит, – живу мне не бывать, то ли вернусь с деньгами и склоню старика». Свиделся он тайком с Анюшей перед отъездом, попрощался с ней и с первыми купцами уплыл в Николаевск. Своего товару прихватил, мелочь разную.

Ну, плывет, плывет... Где его хозяин пошлет на расторжку с гольдами, он и себе мехов наменяет. Он и в Бельго попал случайно. Купец посылал его куда-то на лодке, а начался шторм, сумрак опустился, была высокая вода, его и потащило, да и вынесло на бельговскую косу. Утром он огляделся – гольды к нему приступают... Вот теперь я правильно рассказываю, – оговорился Кешка, – а то бы непонятно было, чуть не пропустил я главного-то. Гольды позвали его к себе, ну, тамока он и Анну встретил, и все так и пошло. Ну вот. Ничего у него с ней не вышло, а как приплыл баркас, Иван ушел на этом баркасе вниз по реке. Так дальше ехал, опять торговал, помаленьку набирал меха. В Николаевск привез целый мешок соболей, сбыв по сходной цене – он тогда с американцами выгодно сторговался, – набрал себе товару и сам, от купца отдельно, пошел по осени обратно. Как встал Амур, купил он себе нарту и пошел нартой на собаках. И вышла ему удача: по дороге опять наменял у гиляков меха. Ну, паря, все бы ничего, да за Горюном напали на него беглые

солдаты – тогда их тут много из Николаевска удуло, – напали они на него и маленько не убили. Конечно, все меха отняли...

Замерзал он израненный. Наехали на него гольды, отвезли к себе в Бельго. Там его шаманка признала, взяла к себе. Они с отцом ходили за ним, лечили его своим средством. Ну вот, оздоровел он и грустит, взяла его тоска. Амурская тоска – это такая зараза, беда. Как возьмет – ни о чем думать не станешь, полезет тебе всякая блажь в башку, ну, морок, он и есть морок. Нищий он, нагой, Иван-то, куда пойдет? Дожил до весны у гольдов. Лед прошел – плывут забайкальские земляки. Вышел он на берег. «Ну, Иван, – сказывают, – Анюша долго жить приказала. Ждала тебя, ждала – не дождалась». Анюша-то ушла из дому темной ночью на Шилку – да и в прорубь. Не захотела богатого казака... Сказывают, как Ванча наш услышал это, так и заплакал. Шаманка-то его жалеет, гладит по лицу, а у него по скулам текут слезыньки.

Эх, Амур, Амур! Сколько через него беды!.. – вздохнул Кешка. – Иван-то и остался у гольдов, стал жить с шаманкой, как с женой, она свое шаманство кинула. Стали они зверя вместе промышлять. Жил он, как гольд, своих русских сторонился. Потом архирей приезжал, окрестил Ангу, велел им кочевать на Додьгу. Говорил Бердышову: «Отделяйся, живи сам по себе, заводи скот, хозяйство, а то огольдячишься. А мы тебе еще русских крестьян привезем, церковь на Додьге построим». Ну, однако, он уже теперь перекочевал, Ванча-то...

– Эх, паря, и баба у него, адали^[7] малина, хоть и гольдячка, а красивая, – заключил Петрован Кешкин рассказ. – Игривая, язва! Как взглянешь – зачумишься, – покосился он посоловевшими глазами на темно-русую и миловидную Наталью Кузнецову. – Купец Серебров какие деньги давал Ивану, чтобы привел ее на баркас.

– Не взял Иван, – заметил Кешка.

– Тут какую русскую переселеночку дешевле сторговать можно, – продолжал Петрован.

Наталья поднялась и отошла от костра к шалашу. Крестьяне слушали Петрована молча и с явным неудовольствием.

– Баб-то нет на Амуре, не хватает. Привезут баржу с арестантками, так их солдаты разбирают, – продолжал казак. – А уж переселеночки-то другое дело... У нас на Шилке ли, на Среднем ли Амуре есть деревни, богатеют через баб, отстраиваются... Тракт-то

идет зимний, господа едут, купцы – и бабам работы много... – усмехнулся казак.

– Я у вас в Забайкалье свадьбы видел, – заговорил Тимошка Силин, – так казаки калым за девок берут.

– Как же, это что казаки, что крестьяне – первая статья, – ответил Кешка. – У кого девок много, тот и богат. Замуж выдавать – с жениха калым.

– Это только разговор! – сказал Егор, не веривший, чтобы весь народ был так испорчен. Ему казалось, что казачишки хвалятся зря.

– Другой-то муж после с нее весь калым выверстает, – усмехнулся Петрован. – К купцу ее сведет на ночь на проезжую... У нас так бывало... Вот тебе и вся недолга!

– Жену-то! – воскликнула Наталья.

– А кого же? Что ж на нее глядеть, – пьяно усмехнулся Петрован.

– Будет врать-то! – сказал ему Кешка.

– Такого-то окаянного мужика топором зарубить! – с чувством сказала Наталья.

– Пошто ты его рубить будешь? Он не кедра тебе. Или на Кару^[8] захотела? Там тебя надзиратель не спросит, хочешь ты али нет спать с ним... – с обидой в голосе проговорил Петрован. – А муж-то для тебя же старается... Ведь платят хорошо.

Петрован умолк, но в глаза никому не глядел.

Все молчали.

– Попутный потянул, однако, завтра будем на Додьге, – поднялся Кешка. – Пойти к себе, – зевнул он, – спать уж пора.

Вдали белели палатки, ветер доносил оттуда запах жареного мяса.

Казаки, распрощавшись с переселенцами, удалялись в отблесках костра.

– Накачало его в лодке-то, на земле не стоит, – кивнул Тереха Бормотов на захмелевшего, шатавшегося Петрована.

– Ну и Петрован!.. – вымолвила Наталья.

– Кешка-то поумней и поласковой его, – отозвался дед. – Вовремя его увел, а то твой-то чуть было не осерчал.

– Дать бы ему по бесстыжей-то роже, – сказал Егор, – знал бы, какие тут переселеночки...

День я му-учусь, ночь страда-аю
и споко-о-ою не найду-у, —

вдруг тонко и пронзительно запел где-то в темноте Кешка.

– Вот барин-то услышит, он те даст!.. – поднимаясь, добродушно вымолвил Кондрат и, сняв с сука просохший армяк, стал надевать его, осматриваясь, как в обновке.

Я не подлый, я не мерзкий,
а раз-уд-далый ма-аладец! —

еще тоньше Кешки подхватил Петрован.

– Тянут, как китайцы, – улыбнувшись, покачала головой Наталья, выглядывая из-под полога, где она укладывала ребятишек.

Перемокли, передрогли
от амурцкого дождя-я-я, —

вкладывая в песнь и тоску и жалость, вместе нестройно проголосили казаки.

Отыш-шите мне милую,
рас-скажите страсть ма-ю...

– Ну и жиганы!.. – засмеялся дед, хлопая себя ладонями по ляжкам.

Всем было смешно: понравилось, как горланят казаки. Даже Егор уж не сердился на них. «Жизнь их собачья! – подумал он. – На Каме тоже зимой тракт. До продажи жен там не доходили, но из-за денег много было греха, и разврат кое-где заводится от городской жизни, – люди идут на все, лишь бы нажиться на чужом. А тут, видно, нрав людской еще жестче».

Егор подумал, что старосел на Додыге – птица одного полета с этими казаками, надо будет и с ним ухо держать востро. Тут он

вспомнил оружейника Маркела Хабарова, который остался на устье Уссури. У того были другие разговоры и рассказы про другое...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На другой день погода установилась. С утра дул попутный ветер, и плоты шли под парусами. К полудню ветер стих, но казаки ручались, что если навалиться на гребни, то к вечеру караван достигнет Додьги.

Был жаркий, гнетущий день. Солнце нещадно палило гребцов, обжигая до пузырей их лица и руки. Зной перебелил плахи на плотях и так нагрел их, что они жгли голые ноги.

Жар повис над водой, не давая подняться прохладе. Река как бы обессилела и, подавленная, затихла. По ней, не мутя глади, плыли навстречу каравану травянистые густо-зеленые луга-острова. Высокая и строгая колосистая трава, как рослая зеленая рожь, стояла над низкими глинистыми обрывами, и воды ясно, до единого колоса, отражали ее прохладную тень.

Было непривычно тихо. Казалось, жар горячими волнами набегал на лица гребцов, словно в неподвижном воздухе бушевала невидимая буря. Еще жарче стало, когда казаки подвели караван под утесистый берег. Зной, отражаясь от накаленных скал, томил людей двойной силой.

– Экое пекло! – жаловался, обливаясь потом, сидевший у огромного весла, почерневший от жары Барабанов. – Сгоришь живьем...

– Нырни в воду – полегчает! – шутил Кешка.

С травянистых островов на плоты налетело множество гнуса. Зудели комары, носились черные мушки, поблескивавшие слепни как бы неподвижно висели над плотами, намечая себе жертвы. Колючие усатые жучки больно ударялись с разлета в лица гребцов, гнус изъедал босые ноги, впивался в старые расчески. Мошка роями вилась около коротких, осевшихся от стирок порток.

Время от времени Егор, бросив весло, хлопал себя ладонью по голым потным ногам, оставляя багрово-грязные потеки.

Мошки кругом было великое множество. В жару она стояла над плотами черной пылью, а к вечеру над протоками меж лугов слеталась зеленым туманом, на который глядеть было тошно. В зной она не жалила так жестоко, как слепни, но зато набивалась в уши, в рот, в

глаза. Едва же подымалась вечерняя сырость, как мошка с жадностью изъедала на людях всякое неприкрытое место.

Чтобы спастись от гнуса, плывущие обматывали лица и головы тряпьем и платками. Дети укрывались под обширными пологам. На всех плотках дымились костры-дымокуры, сложенные из гнилушек. Слабая синь расстилалась над рекой от каравана.

Греби рвали воду, шесты лязгали о гальку, сопка за сопкой уплывали назад, дикие ржавые утесы становились все круче и выше, нагоняя тоску на мужиков. Вдруг течение с силой подхватило плоты. Каменный берег, выдавшийся далеко в реку и как бы заступивший путь в новую страну, быстро поплыл вправо, и взору переселенцев представилась обширная, как морской залив, речная излучина.

Река достигла тут ширины, еще не виданной переселенцами. Байкал они переходили по льду, а зимой он выглядит заснеженной степью. Сибирские реки в тех местах, где их переплывали переселенцы, ни в какое сравнение с Амуром не шли и еще под Хабаровкой померкли в их памяти.

Далеко-далеко, за прохладным простором ярко-синей плещущейся воды, над зелеными горбовинами левобережья, как замершие волны, стояли голубые хребты.

Легкий ветер засвежил запаленных гребцов, погнал комарье и мошку от их красных лиц. Из-под пологов на ветерок выползли ребятишки. На носу головной лодки показался барин.

– Во-он додьгинская-то релка обозначилась, видать ее! – оборачиваясь к плотам, крикнул Петрован с лодки, указывая на холмы.

У кого из переселенцев в этот миг не дрогнуло и не забилося чаще сердце? Вот и конец пути! Близка новая жизнь, и новая судьба так близка, что даже страшно стало, словно эта неизвестная судьба сама по себе жила на Додьге и поджидала переселенцев. До этого мига будущее все еще было где-то, а где – неведомо. Без малого два года шли люди и верили в будущее, представляя его счастливым, но далеким-далеким, до того самого мига, когда Петрован нашел Додьгу за поймой и махнул на нее своим красным рукавом.

Все стали вглядываться в додьгинокую релку, словно старались увидеть там что-то особенное. Но ничего, кроме леса, там не было видно.

Странно как-то стало Егору, что привычная дорога оканчивалась. Ему представилось, как завтра уж некуда будет ехать, и что-то жаль стало дорожной жизни.

Всю дорогу Егор так верил, что на заветной новой земле его ожидает что-то отменно хорошее, что сейчас даже растерялся. Вера в будущее провела Егора и через черную Барабу и через забайкальские хребты. Он мог бы еще долгие годы брести, голодный и оборванный, ожидая, что когда-нибудь найдет ладную землю и привольную жизнь.

И вот, завидя додзьгинскую лесистую релку, он понял, что теперь надеяться больше не на что, кроме как на самого себя. Сама эта Додьга показалась ему на миг чем-то совсем ненужным, посторонним его хлопотам и заботам, чем-то напрасно нарушающим мерный ход его трудовой дорожной жизни.

– Переваливай! – вдруг неожиданно резко и громко крикнул Кешка.

Все налегли на весла. Течение и гребки повлекли плоты через реку.

– Бабы, подсобляй! – Наталья подбежала к запасным веслам, в голосе ее чувствовалось веселое пробуждение от дорожной тоски.

– Веселей, бабы, мужики, подъезжаем! – покрикивал Петрован.

Грозный каменный берег сдвигался вправо. Над его утесами глянула курчавая зелень склонов, а за ней, в отдалении, как сизая туча, всплыл лесистый гребень хребта.

Навстречу плыла поемная луговая сторона. Ветер доносил оттуда вечерние запахи травы и цветов. Дикае утки вздымались над островами и, тревожно хлопая крыльями, проносились над караваном.

– Эвон дымок-то... Что это? – воскликнул Федюшка. – Никак, люди живут?

За тальниками на пойме что-то курилось. Все вопрошающе взглянули на Кешку.

– Там озеро Мылки, – заговорил казак. – При озере на высоких релках гольды живут, а тут кругом место не годится никуда: болото и болото. Как прибудет Амур, все эти луга затопляет, пароходу до тех самых гор ходить можно, только колеса береги, за талины не задевай... Да вас-то тут не станут селить: ваше место вон, подальше: там релка высокая, на ней тайга и тайга, – поспешил он успокоить мужиков, видя, что они стали растерянно озираться по сторонам. – Есть там и

бугровые острова, на них пахать можно, никакая вода туда не достигнет. Высокие острова, хоть живи на них!

Солнце клонилось к закату. Жара спадала. Горы теряли свои обычные очертания и расплывались синевя. Река ожила, она вся была в подвижных пятнистых бликах, похожих на рыбью чешую, и от игры их казалась набухшей; свет, отражаясь, переполнил ее. Над займищем появились перистые облака. Закат золотил их, ласкал и кудрявил, и они походили на пенистые волны, забегающие на песчаную черту приплеска в ясный полдень при свежем ветре.

Плоты приближались к поемному берегу. Белобрюхие кулики, попискивая, вылетали из мокрых травянистых зарослей и с криками кружились над плотами.

Барин стрелял влет утку. Дробь хлестнула по утиным крыльям и, булькая, рассыпалась по воде. Птица несколько мгновений продолжала лететь и вдруг пала на крыло и камнем рухнула в реку. Тотчас же Федюшка разделся, закрутил на смуглой шее веревочку с медным нательным крестиком и бултыхнулся за уткой. Барин платил ребятам за добытую из воды дичь, и они в оба смотрели, когда он станет палить. Парнишка вскоре подплыл обратно и выбросил на плот пестрого селезня.

На занесенных илом островах виднелись толпы высоких голенастых тальников. В их вершинах, зацепившись рассошинами и корнями за обломленные сучья, висели сухие бескорые деревья.

– Тятя, а как же туда лесины попали? – спрашивал Барабанова сын его, темнолицый и коренастый, похожий на мать подросток Санка.

– Это вода такая здоровая была, наноснику натащила, будто кто швырял лесинами в тальники, – ответил за Федора кормовой.

Все посмотрели на вершины прибрежного леса.

– Неужто вода такая высокая бывает? – удивился Барабанов.

– А то как же... Бывает! Тут, на низу, страсть какая вода подымается, – подтвердил Кешка. – Этих талин-то и не видать, как разойдется он, батюшка. Вода спадет – ты и местности не узнаешь. Где был остров, другой раз ничего не станет – смочет начисто, унесет хоть с лесом вместе, а где ничего не было – илу навалит, коряги нанесет, наноснику натащит, поверх еще илу – гляди, и новый остров готов. На другой год на нем уж лозняк пойдет, трава – остров корнями укрепляться станет. А то, бывает, в тот же год натащит деревьев

живых, кустов, они на этом острове корни пустят, примутся. Начальство приедет, топографов привезет, глядит по карте. Что, мол, такое? Съемщики пьяные были, ленились, как же сымали остров, а он не там! Сымут карту сами, хвалятся: дескать, теперь верно. На другой год пароходы пойдут, так-сяк, опять не там остров! Потом привыкли... Теперь знают.

На белом прибрежном песке под тальниками ходил выводок куличат. К ним прилетел большой кулик и стал кланяться, тыкая долгим носом в песок. Пока барин в него целился, кулик улетел.

В тальниковом лесу открылась протока, розовая и прямая, как просека, залитая водой. В отдалении она расширилась.

– Вот и вход в озеро, – заметил Кешка, кивнув головой в ту сторону, – в самые Мылки. А вон луга на мысу. Гляди, сено стоит. Это для вас – начальство заботилось. Солдаты жили – накосили.

Минуя устье протоки, караван обогнул последние тальники на мысу и приблизился к увалу. Впереди стал виден высокий холм, падавший в реку крутыми желтыми обрывами.

– Вот она, додьгинская релочка, – сказал Кешка. – А там подальше, за бугром, прошла протока в Додьгинское озеро. Это релка меж двух озер: сверху – Додьга, снизу – Мылки. Там как голова, – показал казак на холм, – а сюда, пониже, как хвост протянулся.

Плоты тихо плыли вдоль обрыва. Опутанный множеством корней, этот обрыв походил на переломанный или растрескавшийся от времени плетень у земляного вала старой крепости. Переселенцы, волнуясь, но сосредоточенно и молча осматривали место, выдавая свои чувства лишь нетерпеливыми толчками. Было тихо. Только шесты лязгали об дно, вороша звонкую гальку.

Над прибрежным лесом на вершине сухой ели хрипло ворковал дикий голубь.

– Тимошка, – вдруг воскликнул Петрован, нарушая всеобщее молчание, – это, однако, с тобой здешние птицы здороваются! Давай, мол, знакомиться.

Силин задрал голову, но не нашел нужным возразить казаку.

Дикий голубь вспорхнул и улетел. Над лесом парил коршун. Последние лучи солнца облили его оперение алым светом. Сгорбатившись и вытянув лапы, он повис в воздухе подле вершины

той же ели, с которой только что улетел голубь, и мягко опустился на бескорый розовый сук, складывая крылья.

– Гляди, коршуны-то... И тут есть, – молвил Тимоха.

Все невольно посмотрели вверх. Взрослые как бы безразлично, а мальчишки со злом.

– Гляди, ребята! Курят утащат, – сказал им дед.

Куры у переселенцев были с собой на плотках в решетчатых ящиках.

На носу лодки барин что-то говорил, обращаясь к казакам и указывая на берег.

– Привалива-ай!.. – раскатилась по реке команда Петрована.

Дружно опустились шесты. В последний раз зазвенела по дну галька, плоты зашуршали о песок. Гнус слетался к каравану. Знакомый зеленоватый туман загустел над бережком.

– Ну, в добрый час, господи благослови, – пробормотал Егор и с колом под мышкой перешагнул с плота на мокрую косу.

От его босых ступней на песке оставались пальчатые следы. Вода, пузырясь, сочилась в них. Под обрывом Егор стал вбивать в землю кол. Тем временем Кешка, сойдя с парома, разглядел неподалеку свежие медвежьи следы. Мужики столпились и стали их рассматривать, как будто это для них было сейчас важным делом. Оттиски звериных лап смахивали на отпечатки человеческих ног.

– Ступня, пальцы, адали Егор прошел, – пошутил Кешка. – Недавно же тут зверь был. Еще воды до краев в след не натекло. Косолапый где-то неподалеку гуляет, однако, в малинниках лакомится или до своей ягоды добрался, – певуче и любовно говорил Кешка про медведя, как про закадычного друга. – Со сладкого-то ему пить захотелось, он к реке и выходил.

– Слышь, Иннокентий, ты уж сруководствуй, пособи сыскать здешнего человека – Бердышова-то, – озабоченно проговорил помрачневший Федор.

– Иван-то Карпыч был бы дома, он бы уж обязательно вышел на берег, – ответил казак, разгибаясь. – Да и мишка бы тут не ходил. Ну, да уж ладно, я схожу разузнаю. Барин до него тоже шибко антерес имеет.

Казак сходил на плот, взял ружье и пошел по отмелям под обрывом.

– Ну что, Кондратьич, приехали, – обратился Барабанов к Егору, и голос его осекся.

Кузнецов глянул на Федора: глаза того жалко сузились, словно он собирался заплакать.

Егору тоже было не по себе. «Пристали к пескам, а наверх не взойти, – подумал он. – Тайга да комары».

– Полезем наверх, поглядим, – хмурясь, оказал он Федору.

– Что и делать-то? – растерянно отозвался тот. – Видать, нам больше ничего не остается.

Он усмехнулся горько и зло, глядя куда-то как бы сквозь Егора.

– Пойдем, брат, – для ободрения Кузнецов ткнул его кулаком под бок. – Лесину хоть срубим, а то пристали, где дров нету.

Действительно, плавникового леса поблизости было мало. Весь наносник остался выше. На ночь следовало запастись дровами.

Егор и Федор обулись в кожаные бродни^[9] и, цепляясь за корни и кустарники, полезли вверх по глинистому рыхлому обрыву и с треском стали продираться по тайге. Следом за ними взобрались остальные мужики и парни.

На реке с заходом солнца посвежело, но в чаще стояла влажная духота, пропитанная лесной прелью. Было сумрачно. Под мхами хлюпала вода. Осины, лиственницы и березы росли близко друг к другу. Старая ель, обхвата в четыре толщины, сверху обломленная и расщепленная, словно с нее тесали лучину, внизу, у толстых обнаженных корней, зияла черными дуплами. Пенек, гнилой и желтый, изъеденный муравьями, был разворочен медведем. Какая-то большая птица испуганно и молча шарахнулась с ветвей и, шумно хлопая крыльями, улетела в лес, задевая за густую листву. Из буйной поросли папоротников и колючих кустарников вздымались корни буревала с налипшим на них слоем мочковатого перегноя. Роилась мошка, вздымалась из раздвигаемых трав.

Егор полез через валежины и, вынув из-за пояса топор, подошел к тонкой сухостойной елке – прямой и бескорой, как столб. Он обтоптал траву вокруг и стал рубить дерево. К нему, прыгая через буревал, подбежал Илюшка Бормотов, Пахомов сынишка. Это был неутомимый, бойкий парень, чуть постарше Федюшки Кузнецова. Он мог день-деньской ворочать гребни, толкаться шестом, а вечером на стану его доставало затевать борьбу, плавать через протоки, ловить

птиц. По утрам, поднимаясь раньше других, он шатался по тайге, свистел по-бурундучьи и, подманивая к себе зверьков, бил их. Где и когда приглядел он это, было неведомо.

Проплывая по Среднему Амуру, Илюшка сдружился с солдатами-сплавщиками. Народ это был как на подбор, головорезы. Иногда они собирались по несколько человек добывать себе харчи – попросту говоря, обворовывать огороды в прибрежных китайских деревнях или у казаков – и брали с собой разведчиком Илюшку.

Однажды, еще в Забайкалье, Илья украл у бурят барана из стада. Отец его избил и барана вернул. За Хабаровкой Илья угнал у купцов-сплавщиков лодку. Как ни строг был Пахом, но за эту кражу он страшал сына не от сердца, потому что лодка была тут нужна до зарезу. Пахом, хотя и не умел ездить в лодке, понимал, что без нее на Амуре, как без коня. Он не стал на этот раз драть сына, хотя для порядка все же немного попугал его.

Парень был смугл, под густыми темными бровями глубоко сидели глаза, скулы торчали, как скобы, – все это придавало его лицу выражение жестокости, весь он был какой-то темный и колючий. Неразговорчивый с детства, он был охотник до всякого дела. Воровал он, заведомо зная, что отец его прибьет, и делал это не от нужды, а от избытка сил и из удалства, не ведая еще, какие иные забавы, кроме драк и озорства, заведены для мужиков на белом свете.

Подбежав к Егору, Илюшка стал подсоблять ему и быстро заработал топором. Вскоре раздался треск, и елка повалилась. Егор, Илюшка и Федор живо развалили сухое дерево на части и стали сбрасывать его под обрыв.

Пока мужики были в лесу, на реку спустилась вечерняя синь. На другом берегу не стало видно ни леса, ни утесов, ни горелых полысей на горах. Сопки расплылись и приняли неясные очертания. Облака, плоские и длинные, подобно косам и островам, раскинулись по небу, как по бескрайной и печальной озерной стране. Не было никакой возможности различить, где тут река и где небо, где настоящие острова и где облака. Казалось, что весь видимый мир – это Амур, широко разлившийся и затихший в трепетном сиянии тысячами проток, рукавов, озер и болотистых берегов.

Мужики молча покурили, сидя на поваленном бурей дереве, грустно подивились на чудесную реку и полезли вниз.

– Место высокое, – вымолвил Егор, сойдя с кручи.

Это было все, что он мог сказать в утешение себе и Федору.

– Дай бог!.. – глухо отозвался Барабанов.

Егор раньше времени не захотел загадывать. Будущее представлялось ему сплошной вереницей забот, подступивших с приездом на Додьгу вплотную. Сейчас же голод и усталость так давали себя знать, как, кажется, ни разу еще за все два года пути, и думать ни о чем Егору не хотелось. Он подошел к костру. Вокруг пламени толпился народ. Вернулся Кешка. Он сидел на корточках подле самого огня, окуная голову в дым, чтобы не заедали комары, тянул ганзу и что-то рассказывал мужикам.

– Сыскал я Иваново зимовье, – заговорил он, заметив Егора и обращаясь к нему. – Построился он неподалеку отсюда, в распадке. Избу поставил с полом и с полатами, печку сбил. Никого там нет, только висит юкола на стропилах, а сам-то он в тайге, видно.

– Кабы его покликать, – просил Тереха Бормотов, Илюшкин дядя, осьмивершковый детина с бородой-лопатой во всю грудь.

– Не услышит, хоть стреляй. Он где-нибудь сохатого промышляет. Может, тайгу чистить начнете, застучите топорами, он учует – выйдет.

Казак недолго посидел с мужиками. Кто-то окликнул его из своих, и Кешка ушел по направлению к палатке.

Егор кое-как пожевал солдатских сухарей и вяленой рыбы. Глаза его слипались, и он завалился под полог подле ребяташек. Наталья что-то говорила ему, всхлипывая. Но веки у Егора отяжелели, руки, ноги отнялись от усталости, и он не стал ее слушать. «Пришлось бы сегодня проплыть дальше, силушки бы не стало лишней раз поднять весло», – подумал он, засыпая.

Близко в лесу прозвенела полуночица. Под стук ее Наталье чудился зеленый луг на займище над Камой и табун коней, позванивающих где-то в отдалении боталами.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Рассвет. Заря горит, и все небо в тончайших нежно-розовых и палевых перистых облаках. Сквозь них видно ясное небо. Прохладно. Из-под тальников тянется серебряная от росы трава.

Звонко кукует кукушка. Кудаччет курица на плоту в бабкином курятнике. Река курится туманом. Лес в волнистом тумане, словно колдуны окутали его седыми бородами. Дальние сопки порозовели. Из-за хребта глянуло солнце и полило лучи через лес и реку на желтую отмель, освещая стан переселенцев, как груды наносника, выброшенного рекой за ночь.

Долговязый парень в казачьих штанах пробежал по стану, созывая переселенцев на осмотр местности. Крестьяне полезли из-под мокрых пологов. Женщины раздували в тепле огниц угли. Ребятишки натаскали хвороста. Весело затрещали костры, повалил дым.

Бойко на весь лес заливается кукушка. Звонко и чисто раздается ее кукование в холодной и торжественной тишине утра.

«Долго ли проживем на этом месте?» – загадывает Наталья, стоя на камне и умываясь прозрачной утренней водой. Птица чуть было не смолкла, словно поперхнулась, но тут же, встрепенувшись, закуковала чаще и веселей, словно дерзко подшутила над Натальей и сразу же поспешила ее утешить.

«Не знай, как понять: видно, что первый год тяжело будет, а дальше проживем, что ли... – неуверенно истолковала Наталья кукушкину ворожбу. – Господи, да так ли? – вдруг со страхом подумала она, подымаясь и вытирая лицо. – Где жить-то станем?» – Она оглядела темный лес и реку, несущуюся из тумана.

А кукушка все куковала.

Мужики, вооружившись топорами, собирались к палатке барина. Петр Кузьмич Барсуков был молодой сибиряк, года три тому назад окончивший университет в столице и уже успевший там порядочно поотвыкнуть от родного сурового края. Недавно его перевели из Иркутска в Николаевск на устье Амура, в распоряжение губернатора Приморской области.

В это утро Барсуков испытывал такое чувство, как будто его отпускали из неволи. Наконец-то он водворит на место последнюю

партию переселенцев и сможет подняться в Хабаровку, а оттуда отправиться в Николаевск. Скитания по реке надоели ему.

Несмотря на привычку к путешествиям по тайге и по рекам, тоска, особенно за последние дни, давала себя знать. Это была та странная, внезапно охватывающая человека тоска, которой подвержены почти все, преимущественно молодые, путешественники по тайге. Он знал случаи, когда точно в таком состоянии, какое было сейчас у него, приезжие из российских губерний, военные и чиновники, спивались, либо теряли рассудок, либо кончали жизнь самоубийством. Никакие красоты природы, никакое изобилие дичи, до которой обычно Петр Кузьмич был большой охотник, не могли более развлечь его. Пока шли дожди, он еще кое-как терпел эту тоску и одиночество, но когда началась жара, от которой сгорала кожа, трескались губы и, казалось, таял мозг, терпения его не стало. На ум то и дело приходила семья и все домашнее. Он побуждал себя изучать неведомую и интересную жизнь на Амуре, расспрашивал бывалых казаков, постреливал из ружья, рисовал в альбом и писал дневник, но делал это все единственно потому, что знал – так надо делать, чтобы окончательно не раскиснуть. Но ему очевидно было, что наездился он в это лето досыта и пора возвращаться в Николаевск.

Однако прежде чем плыть домой, он должен был побывать в Хабаровке, чтобы встретиться с другими чиновниками и выполнить кой-какие формальности. Только по окончании всех этих дел он мог плыть пароходом на устье.

Одна мысль долбила его мозг: поскорей водворить переселенцев – и домой. «Но как подумаешь, – размышлял он, – сколько еще придется отмахать вверх на шестах, а потом снова вниз, то жутко становится. Да еще неизвестно, когда будут в Хабаровке пароходы».

Ночь Барсуков спал плохо. Детишки, которых он этой весной перевез вместе с женой из Иркутска, не выходили у него из головы. С думами о них поднялся он, как только чуть забрезжил рассвет, и, едва глянуло солнце, велел казаку идти на стан, будить переселенцев и созывать их к палатке.

– С добрым утром, мужики! – встретил их чиновник.

– Благодарствуем, батюшка! И тебе веселый денек! – кланялись мужики, ломая шапки и обнажая длинноволосые головы.

Барсуков предложил подняться на высокий лесистый бугор, видневшийся в версте от стана, и осмотреть местность. Река, широкая напротив отмели, где стояли плоты, резко, крутым клином сужалась к бугру, который выступал в воду мысом. Бугор был высок, с него, верно, хорошо видны окрестности.

– Что ж, пройтись можно, – согласились мужики.

Толпа, давая ракушки, бодро двинулась по отмелям, следом за Кешкой, взявшимся проводить, обходила заливчики, которые то сужались, то расширялись, образуя чередующиеся песчаные косы.

– Вот где рыбачить-то, красота! – проговорил Кешка, перебрывая заливы в своих высоких ичигах. – На косах-то неводить без задева.

Недалеко от бугра, там, где за тальниками торчали кочки и буйно росла осока, открылся распадок между релкой и бугром. Пологие склоны его были порублены. Меж пеньков виднелась бревенчатая, крытая корой избенка. За ней торчал крытый жердями и берестой свайный амбарчик. Поодаль густо, сплошной чащей, росли березы и лиственницы.

– Иваново зимовье, – сказал Петрован. – Зайдем, что ль, ваше благородие?

– Пожалуй, зайдем, – согласился Петр Кузьмич.

– Айда, мужики! – повеселел Федор. – Поглядим, как тут люди живут.

Петрован открыл ставень, отвалил кол, и толпа полезла в дверь. В избе было сыро и темно. В единственное оконце Бердышов вместо стекла вставил пузырь в крепком решетнике, чтобы зверь не залез в избу, когда ставень открыт. Обширная небеленая печь занимала добрую половину избы. Под потолком налажены были полати. У стены тянулись нары, устланные шкурами. По стенам висела одежда и кожаная обувь, на полках виднелась туземная расписная утварь из бересты и луба. Со стропил свешивались связки сушеной рыбы и звериные шкуры.

Мужики молча оглядывали жильё.

– Оставляет добычу, не боится, – заметил Барабанов.

– Кто в тайге тронет! – отозвался Иннокентий. – Но соболей-то не оставит, хорошую шкуру, конечно, прячет.

– А где прячет-то? – с живостью спросил Федор.

– Где!.. – передразнил его казак. – Мало ли где, это уж он знает.

– Топор, пилу имеет, а настоящего старания нет, – заключил Егор, осмотрев избу.

Барин вскоре вышел наружу. За ним выбрались из избы и мужики, почитавшие неудобным торчать там без хозяина.

– Жаль, что Бердышов в отлучке, – сказал чиновник, обращаясь к переселенцам. – Он был бы полезен для вашего брата. Он и сам давно поговаривал, чтобы сюда населили русских.

– Уживемся ли с ним? – спрашивали мужики.

– Да нет вам никакого смысла с ним ссориться, да и не из-за чего.

– Мы-то, конечно, да как он... – отозвались крестьяне, помня рассказы казаков о том, что по здешнему обычаю староселу за приселение надо заплатить или отработать на него.

– Я же говорю, ему давно хочется жить со своими. Делить вам тут нечего будет. Тайга велика, на всех хватит. Да и он как будто ладный мужик.

Казаки снова подперли дверь колом и закрыли ставень, барин сделал какие-то пометки в записной книжке, и толпа стала подыматься. Разводя руками густой зеленый орешник и молодую поросль кленов, разрубая топорами какие-то цепкие колючие кустарники, перевитые ползучими растениями, мужики кое-как взобрались на бугор.

Вершина бугра была обширна, поросла молодым лесом, кое-где виднелись старые сломы от выгоревших и поваленных ветрами деревьев.

Барин поднялся на груды гниющего, трухлявого буревала и, укрепившись, стал осматривать окрестность в подзорную трубу. Мужики тоже полезли на валежины. Перед ними открылся обширный вид. Могучая река, изгибаясь, разлилась по долине. Один из широких и прямых рукавов ее тек со стороны к главному руслу, пробивая брешь в поемном берегу; вдали он слился с небом.

– Эх, и река! – удивился Тимошка. – Вон там и берега не видать.

– Наискось верст двадцать будет, – подтвердил Кешка. – А на низу еще шире бывает.

– Эвон и леса залила. А протоки-то, острова-то, как лоскутья нарезаны...

Прямо, напротив бугра, за рекой на утесах стоял частый еловый лес. На этой стороне реки внизу, на песках, дымились костры стана и,

как букашки у кучи мусора, копошились люди меж плотов и балаганов. Вдоль реки от холма тянулась додьгинокая релка, куда, собственно, и поселяли крестьян. По релке рос густой смешанный лес. Ближе к падям и заливам курчавилось чернолесье, высились ясени и тополя, дальше шел красный лес, взмахивали к небу огромными ветвями редкие кедры. Близ стана и до самого распада с бердышовской избой релка поросла березой, осиной, елью и высокими лиственницами.

– Вон и Мылки видать, – сказал Петрован, показывая на обширное озеро, залившееся в тайгу верстах в трех выше стана.

– Я давно собираюсь заглянуть в эти Мылки, – проговорил Петр Кузьмич, направляя трубу на дальние холмы. – Говорят, там была усадьба и жил маньчжурский нойон.

– Никак нет, ваше благородие! В Мылках, на нашей памяти, одни только гольды жили. Маньчжурцы эвон где, на той стороне, жили – вернее сказать, иногда наезжали, останавливались напротив этой Мылки, вон, глядите-ка, между гор вроде заливчик и тальники. Это горло в озеро, озеро называется Пиван, вернее сказать, так называется остров и протока за ним, а озеро гольды как-то по-другому называют. На этом Пиване, неподалеку от устья, была городьба, у них была усадьба. Маньчжурцы приплывали сюда и собирали ясак с гольдов. Это я видел, как они плавают на больших лодках. Каждый год ярмарку открывали, торговали с гольдами, гиляками, которых, бывало, догола оберут, обыграют в карты. Тут всякого жулья наезжало. Хватало всего! Как первые-то разы мы с Николай Николаевичем проходили, все это видели. А потом Амур к нам вернулся, маньчжурцы все собрались и пошли домой. Однако решили, что не продержатся; только кто по деревням торговал, те еще остались и сейчас торгуют. Правда, говорят, что один нойон до сих пор сюда ездит тайком и все еще обирает гольдов, но он уж на Пиване не останавливается, а прячется по деревням. А там фанзы и городьба от них остались, и теперь еще колья забиты; если плыть мимо, так с реки видно.

– Не думаю я, чтобы нойоны сюда ездили, – задумчиво возразил барин. – Пограничная полиция знала бы.

– Откуда ей знать! Разве тут усмотришь? Я вам верно говорю.

Барин снова что-то записал в свою книжку.

– Ну, а что же теперь на этом Пиване? – обратился он к казакам, слезая с гнилого ствола.

– Теперь-то уж все кинули то место, никто там не живет, разве гольды когда-нибудь на озеро рыбачить наезжают. Да неужто вы ни разу не были ни в Мылках, ни на Пиване? Да разве не вы назначали места для переселенцев?

– Нет. Там еще до меня бывали другие чиновники.

– Мылкинские-то одно время на реку с озера выселялись, да как пароходы стали ходить, они чего-то испугались и ушли к себе на озерца. Гольды-то, ведь они так понимают, что в этом пароходе черт сидит и колеса вертит. Дальше-то вон идут озера, они туда и перешли. Озерцо за озерцом так и тянутся, как бусинки, да протоки, почитай, верст на двадцать-тридцать, до самых хребтов. Там рыбы этой!.. Как вода спадет на лугах, как пересохнут протоки – собирай ее руками. А где не возьмешь – лужа высохнет, рыба гниет грудями, птиц налетит тьма. Их пугнешь – аж небо как овчиной накроет. Вон луга-то мокрые блестят промеж лозняков, тут и озерца; гольды там при них и привились, как пчелки.

– Вода да болота, – качали мужики бородами, оглядывая окрестности.

– Кабы, ваше благородие, на Бурее-то нас населили. Вот уж там земелька! – уныло пробурчал Федор.

– Земельку-то, ее, матушку, и везде потом польешь, покуда расчистишь, – возразил Петрован. – Или, думаешь, на Бурее пашни тебе приготовлены, дожидаются? Тоже лес рубить надо, а где луга, так и вода заходит. На островах-то и тут хоть нынче пахать можно. Вон, гляди, бугровой остров тянется, пошто ему пропадать? Делай плот, станови на него коня да соху и сплавайся туда. Балаган наладишь, да и вали попахивай! Прошлый год высокая вода была, а теперь года два можно не сомневаться: не затопит этот остров; а что кругом мокро, так это сверху кажется.

– А гляди теперь в эту сторону, – вмешался в разговор Кешка, – туда пошли зверятники, там и лось ходит, и кабан, лиса, рысь, соболь, паря, и тигра бывает – хватает всего! Рысь тут ха-арошая, голубая, пятнистая. Всех пород зверь есть.

– Тигру шибко не бойся, она русского не трогает, – подхватил Петрован. – Ты встретишь ее, сам не трогай, и она, если не голодная,

уйдет, как человека с ружьем увидит.

– С гольдами завести кумовство – тут князьями зажить можно, – вдруг заговорил долговязый казак Дементий, по прозвищу Каланча.

– Кабы торгованов сюда населить, они бы раздули кадило, – согласился Петрован. – Тут бы зацаревали...

Кешка провел мужиков по кустарникам к западному склону бугра. Из-за елей блестело озеро. Бурная горная река падала в него из долины. Шум ее на перекатах слышен был явственно, словно там бурили мельничные колеса.

Озеро протокой соединялось с рекой. За Додьгой и далее во все стороны тянулись леса, исчезавшие во мглистой синеве и туманах.

– Вон и самая Додьга пала в озеро. Рыбы там по осени, когда красная пойдет, полно, как у рыбака в корчаге. Лодкам мешают ходить. Городи эту Додьгу и хватай рыбу, кто чем сумеет. Богатый край, что и говорить! – толковал Кешка, – Геннадий Иванович Невельской первый указал на Додьгу, чтобы здесь русским селиться, – добавил он с важностью.

Кто такой был этот Невельской, мужики толком не знали, хотя и слышали про него не впервой.

Барин велел казакам провести себя по зарослям вниз, к озеру. Переселенцы последовали за ним. У подножия бугра рос пышный лиственный лес. Ветвистые тополя, толстые, как башни, громадные белокорые ильмы, осины, ясени сплелись густой листвой в сплошной шатровый навес.

Кешка, остановившись в высоких папоротниках подле какого-то стройного дерева с перистой светло-зеленой листвой, вынул нож из кожаных ножен и стал легко резать его серебристую морщинистую кору.

– Поди-ка, Кондратьич, – подозвал он Егора. – Глянь, однако, такого дерева нет у вас на Руси.

– Не знаю, что за дерево. Пожалуй, что и верно, такое-то не растет у нас. Кора мякенькая, как бархат, – погладил Егор ладонью ствол.

Мужики столпились вокруг и не могли понять, что это за дерево.

– Э-э, братцы, да ведь это пробка! – заметил Егор, колупнув кору ногтем.

– Это шибко хорошее дерево, – подтвердил казак, снимая срезанный пласт коры и обнажая слой ярко-зеленой маслянистой

заболони.

– С этой коры первейшие балберы^[10] на невода и на сетки ладят. Гольды это дерево берегут, зря не рубят. И вам тут жить – его знать надо.

Подошел барин. Кешка показал ему срезанную кору.

– Вот, ваше благородие, интересовались вы пробкой здешней.

– Так и тут есть бархатное дерево?

– Так точно, оно самое.

Барин отошел в сторонку, где сквозь поредевший навес листвы в темную сырость леса падали солнечные лучи. При свете их он разглядел кусок пробковой коры.

– Да-а, действительно самая настоящая пробка, – вымолвил он. – Что вы скажете? А? Южная растительность на этом Амуре, – обратился он к мужикам.

– Вот то-то и есть!.. – соглашались мужики и вздыхали тяжело, словно в этой самой южной растительности и была для них какая-то загвоздка.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

– Дал бы ты нам, батюшка, денек-другой на раздумье, – говорил Федор, сидя на траве у палатки. Мужики одобрительно поддакивали ему. – Нам ведь тут жизнь жить, надо бы осмотреться ладом.

– Да какое тут может быть раздумье? Очевидно же, что место не затопляется. Земля, ведь сами же вы смотрели, на четыре пальца чернозем, лучше все равно кругом нигде нет, Леса годны для построек, кедр и лиственница, чего же еще надо?

– Это конечно, – соглашался Терешка, яростно мочалая бороду. – Видно, что округ нет получше местности, но все же дал бы ты нам срок, нам ведь тут неспособно селиться. Вот говорили: на Амуре земли много, край незанятый. А где она, земля-то? Ее вот, оказывается, и нет.

– Хм-хм... – недовольно буркнул барин и сморщился, покусывая короткий ус.

– Зря колеса везли, – вздохнул Федор.

– Разве такой лес осилишь? Тебе-то, барин, чем скорей нас водворить, тем лучше, а нам-то как? – с жаром продолжал Тереха. – К пескам пристали, а наверх-то и не взойти.

– Сколько труда в этот лес убьешь, а как земля-то не станет родить? – рассуждал Пахом. – Вон она, сырая. Тут, поди, сгниет все.

– Леса и те погнили. Строиться-то как из гнилья?

– Опять же знать бы, когда коней доставят.

– По-сибироки-то, может, тут и ладно... кто ничего не видал.

– Без скотины тут околеешь, – посыпалось со всех сторон на барина.

– Да вы что, подлецы?! – вдруг заорал Барсуков на поспешно повскакавших с травы переселенцев. – Пора тайгу чистить, а вы в затылках скребете. Что вы думаете, глупее вас люди были, когда это место выбирали, слепые, что ли, они были? Чтобы мне сегодня же представить решение! Надо успеть до осени расчистить место под огороды, пары поднять, а вы что? Смотрите вы у меня!

Окрик барина подействовал. Теперь нечего думать и гадать, как бы не упустить хороших угодий. Барин решительно приказывал селиться на релке, и мужики вновь, как это бывало и на родине, как

бывало и по дороге, безропотно подчинились привычной силе гнета. Противостоять начальству они не могли, но зато, покоряясь ему, становились перед самими собой неповинными на тот случай, если бы место оказалось выбранным неудачно. Совесть их оставалась чиста.

– Ладно, барин, раз велишь, чего же, – осмелился, наконец, седой Кондрат и выступил из толпы. – А ежели мы тут оголодаем, кто за нас богу ответит?

– Ленишься не будете, ничего с вами не станет, дедушка. Тут богатейший край, как это можно оголодать в нем? Это все дурацкие разговоры, наслушались их по дороге. Да ведь вам никто и не запрещает занимать подходящие уголья, если они где-нибудь есть поблизости, – продолжал Барсуков значительно дружелюбнее.

Видя, что мужики идут на попятную, Петр Кузьмич смягчился. Ему неловко стало, что из личного желания поскорее вернуться домой он вспылил и так на них напустился.

– Но сейчас-то надо же где-нибудь селиться, сено тут заготовлено, – говорил он. – Найдете место лучше, затесывайте лес, и уж будет известно, что оно занято. Потом заимки там заведете...

Много чего могли бы мужики возразить Барсукову. Вместо богатых, плодородных земель, промучившись без малого два года в пути, они увидели перед собой горы, дикий заболоченный берег, полугнилой, заваленный буреломом лес и необозримую пустынную реку. Но не было охоты высказывать барину всех обид – их было много, и к тому же каждый понимал, что от пререканий толку не будет. Оставался единственный выход: браться за тяжелый и долголетний труд, чистить лес на релке и окореняться там, где высадились.

– Дивный народ, ваше благородие! – посмеялся Петрован, когда переселенцы разошлись от палатки. – Никакого понятия не имеют, чего сами хотят. Нищета, а тоже корысть-то их обуяла на земельку.

– Ничего, обживутся, тогда все поймут, чего им надо, чего не надо, – возразил Кешка, снимая березовой палкой вскипевший чайник. – Им пока что неохота такую-то тайгу чистить. А как примутся, их и не остановишь. Они сюда шли и, поди, не знай, чего ожидали. Будет время – и окоренятся. Осмелеют еще и поперечничать начнут, – пошутил он.

Пахом Бормотов, возвратясь на стан, выместил свою досаду на девке Авдотье, напустившись на нее ни за что ни про что. Федор охал

и вздыхал, жалуясь Егору на свою долю, хотя в душе он не особенно отчаивался.

Спокойнее всех смотрел на будущее Егор Кузнецов. Хорошенько отоспавшись за ночь, он поднялся на прохладной заре с ясной головой, полный сил, здоровья и готовности к делу. Вчерашней вялости, когда ему даже думать об этой Додьге не хотелось, как и не бывало. В это утро, присмотревшись к додьгинской релке и к ее окрестностям, он решил, что жить тут можно.

Сопки, гнилые деревья, топкая земля и буревал не скрыли от него богатства здешнего леса. Деревья, годные для построек и для любых поделок, росли тут в изобилии. Иных пород Егор и вовсе не знал, но уверен был, что со временем и они окажутся к чему-нибудь годны, вроде как то пробковое дерево, мимо которого мужики прошли бы, не будь с ними казаков. Это не лес, а богатство было перед ним, еще неведомое. Земля, родившая буйные травы, чернолесье, ягодники и плодую дичь, не могла, как ему казалось, не родить хлеба. А чистить эту землю под пашню у него – он знал – хватит силы и решимости.

Нет, не боялся Егор будущего в те дни, когда, тощий и голодный, с впалыми щеками, выдавшимися скулами и надглазницами, в ссевшихся портках и в посконной рубахе, с топором за опояской, стоял он на песчаной додьгинской кошке^[11] против дремучего, от века не рубленного леса. Тайга не пугала и не давила его, словно он от природы готов был бороться с ней.

– Ну ладно, это ведь зря мы перед барином дуру пороли, – с обычной своей прямоотой говорил он мужикам, собравшимся у его балагана. – Теперь надо работать. Конечно, надо же, чтобы начальство за место поручилось. Раз он маленько поорал на нас, барин-то, значит уж поручился, и теперь нам жить тут... Да и то сказать, место тут как место, как везде, тайга и тайга. Робить надо. Поплачем да потрудимся, бог даст, земелька-то оплатит за пот да за слезы. Верно казаки бают: или где нас пашни ожидают приготовлены? А по правде сказать, ведь это не край, а раздолье, тут хоть вздохнешь. Никого нету. Всякий себе голова...

– Раздолье!.. – горько усмехнулся дед. – Эх-хе-хе, Егорушка, родимец! – с сожалением и мягкостью вымолвил он. – Земля эта век впусе лежала, почему-то не жили на ней люди, ты на нее большую надежду не клади.

– Как она хлеба не родит, придется нам на другое место кочевать, – заговорил Тимошка Силин. – На Уссуре ли, еще ли куда.

– Не приведи господь! – вздохнул Пахом.

– Об Уссуре теперь какие разговоры, – недовольно возразил Федор. – Ты бы, Тимошка, еще Барабинокие бы степи вспомнил.

– Надо же кому-нибудь и тут населяться, – стоял на своем Егор, – не пустовать и тут месту.

– А ты, Кондратьич, при барине вроде как бы соглашался с нами? А? – спросил Тимошка.

Кузнецов, казалось, не слышал его слов. Конечно, перед барином и он был со всеми заодно. Чтобы Барсуков не думал, что место может нравиться, и он делал вид, будто поддерживает общество. А то скажут, мол, облагодетельствовали, решат за это мужикам какой-нибудь ущерб нанести, содрать чего-нибудь, недодать, противлений не примут. Решат: мол, лес, чаща – это пустяки, мужик все сдюжит. Так представлял себе Егор рассуждения чиновника.

Всего этого он не стал объяснять мужикам. Они и так его понимали. Вскоре переселенцы разошлись, качая головами и сетуя на амурские непорядки.

Егор думал теперь о том, что лес этот на пятьдесят сажен вдоль берега и вглубь на сколько угодно станет его собственностью и что надо рубить, корчевать и жечь пеньки, подымать целину, потом копать в береге землянку да ожидать, когда сплавщики доставят коня и корову. Теперь некогда было думать и раздумывать, хорошо тут или худо и нет ли где места получше, а надо работать и работать, сколько станет силы. Место, как он понимал, годилось для жилья, на здешней земле можно было пахать и сеять. Правда, по дороге попадались уголья получше, но что было, то прошло, и мало ли где что есть хорошего, да нас там не ожидают.

В тот же день казаки намерили на каждую семью по пятидесяти сажен вдоль берега. Когда дело дошло до распределения участков, мужики, позабыв все свои наветы на додьгинскую релку, на сырость здешней земли и на гнилость леса, сами указали места, где кому больше нравилось селиться. Участки выбрали поближе к бугру, где лес не такой буйный и местами были полянки.

– Однако, уж земелька-то не шибко плохая, – насмешничал Петрован. – Оказывается, покуда споры да раздоры, а местечки-то себе

облюбовали. Лакомые-то куски. Как, еще не столкнулись? А то, бывает, новоселы дерутся на здешних, плохих-то, местах.

Вечером переселенцы перевели свои плоты немного вниз, поближе к распадку, где берег чуть поотложе и где решено было строить землянки.

На другой день, ранним утром, барин и казаки распростились с переселенцами. Барсуков еще раз напомнил, что по инструкции следует сделать в первую очередь, и пообещал принять все меры к тому, чтобы скот и коней доставили вовремя. На всякий случай чиновник предупредил, что скоро на Додьгу для обозрения новоселья приедет исправник. Это последнее замечание он сделал лишь для того, чтобы мужики не вздумали лениться. Но сам он предполагал, что исправник вместе с другими чиновниками задержался по дороге с частью сплава у староселов и сейчас, наверное, все они вернулись в Хабаровку и пьянствуют там в ожидании окончания дел. Пароход, на котором им предстояло возвратиться в Николаевск, возможно, еще и не остановится на Додьге.

– Кланяйтесь Ивану Карпычу! – Кешка, отплывая, помахал форменной фуражкой.

– Ну, слава богу, уехали! – облегченно вздохнули мужики, проводив Барсукова и казаков.

– Чего же «слава богу»? – попрекнула их старуха Кузнецова. – Сколько нам эти казаки про здешнюю жизнь пересказали!

– А без них мы не увидели бы, что ль, чего тут есть, а чего нету? – возразил Егор. – А от барина только и толку, что орет. Сам же нас этим в сомнение вводит.

– Бойкие эти казачишки! – вымолвил Пахом, когда лодка отделилась и, взмахивая тремя парами весел, пошла поперек реки. – Знают здешнюю жизнь. По-ихнему, тут все ладно.

– У-у, гуранье! – сверкнул глазами Илюшка и слегка присвистнул. Но чувствовалось, что свистнуть он может со страшной силой, раз в десять, верно, громче, но соблюдает вежливость, побаивается и барина и тятю.

– Пытать надо землю, хлебушко родится ли, – толковала старуха Кузнецова. – Теперь, сынок, только покряхтывай. Об хлебушке забота.

– До хлебушка-то с наших потов река набежит!

– За дело, в божий час! – крестился Кондрат. – Помолимся да чашу рубить...

В тот день крестьяне начали расчистку леса. Никто уж более не говорил, худо ли, хорошо ли будет жить тут. Все занялись делом.

В тайге было тихо и душно. В облаках горело томящее солнце. Похоже было, что собирается дождик. Облака то сходились, синяя, хмурились и собирались в тучку, то снова расходились, и солнце обдавало людей жаром. Влажный, горячий воздух напоен был пряной и душистой таежной прелью.

Егор и Кондрат обмотались тряпьем, чтобы не заедала мошка, и, расчистив подлесок, принялись рубить большую лиственницу, росшую несколько отступя от берега, в самой трущобе.

Топоры, чередуясь, врубались в красноватую твердую древесину. Смолистые красные щепки отлетали далеко от дерева, ударяясь с силой в соседние стволы. Крепкое дерево с трудом поддавалось рубке.

Наталья, бабка Дарья и Федюшка рубили кустарник и драли из земли корни, а Васька и Петрован, как теперь на сибирский лад называли Петьку, таскали рубленые ветви и сбрасывали все это под обрыв.

Наталья была невысока ростом, но горяча нравом и спора на работу. Завязав юбку между ног, наподобие штанов, она продвигалась по чаще, вырубая кустарник не хуже любого мужика. За ней двигалась вся семья.

Листвянка, которую рубили Егор и Кондрат, стала вздрагивать от каждого удара, ее ветви трепетали. Егор крикнул семье, чтобы перешли поближе к берегу. Кондрат еще разок ударил топором, и дерево начало клониться. Все отбежали.

У комля натянулась и с треском разорвалась недорубленная древесина, ветки, коснувшись ближних деревьев, зашумели, как в бурю, ствол соскользнул с пенька, тучное дерево как бы спрыгнуло и во всю длину своего огромного клонившегося ствола с громом стало вламываться в чащу. Оно переломило несколько берез, сшибло сухую вершину у ясеня, отчего раздался сухой треск, как на пожаре, когда горят сухие доски, и, сокрушая вокруг себя заросли, давя молодые деревца и кустарники, тяжело рухнуло в мокрую землю. Гул пошел по тайге. Следом отвалилась вершина ясеня, где-то задержавшаяся было в качающихся деревьях, и чуть не зашибла Егора.

Долго не могла утихнуть всколыхнувшаяся тайга. По чаще от дерева к дереву пошли толчки, шумела листва; слышно было, как где-то в стороне развалилось и рухнуло наземь старое, гнилое дерево.

Лес валили и Барабановы и Бормотовы. Справа и слева слышался глухой стук топоров.

Солнце поднялось высоко, когда переселенцы, оставив на берегу завалы нарубленных кустарников и несколько поваленных деревьев, спустились пообедать. Накануне они наловили неводишском рыбы. Бабы напекли на огнище хлебцев. Соль, крупу, муку и сухари привезли с собой на плотях. Настя, маленькая дочка Кузнецовых, с утра поддерживала огонь и следила, как варилась уха.

Семья, вооружившись деревянными ложками, расположилась на гальке под тальниками вокруг котла, в котором плавал сазаний жир.

В разгар обеда Федюшка ткнул брата в плечо и показал рукой на реку.

– Гляди-ка, Егор, кто-то сюда едет.

Из-за низкого песчаного мыса выплывала лодка.

– Никак, к нам гольды плывут. – Из тальников, посасывая рыбью голову, вылез Федор.

Стан оживился. Переселенцы оставили обед и молча наблюдали.

В лодках сидели гольды в широких берестяных шляпах. Подняв весла, гребцы тихо плыли мимо стана вниз по течению, с любопытством оглядывая плоты, балаганы и самих переселенцев.

– Услышали, что лес рубим, – вымолвил Тереха. – Тоже, поди, недовольны.

– Вот бы их пугнуть, – ухмыльнулся Федюшка.

– Ты, дурак, не вздумай, – пригрозил сыну Кондрат, – это ведь соседи.

Вдруг, как гром при ясном небе, раздался в тишине оглушительный свист. Из тайги выбежал Илюшка Бормотов. Парень задержался там с ловлей какой-то птицы и, выбравшись из чащи к берегу, вдруг увидел гольдов. Порубив полдня тайгу, он уже почувствовал себя хозяином на релке. Пальцы сами прыгнули ему в рот, и, уж тут не стесняясь, он залился Соловьем-разбойником, чтобы гольды укатывали отсюда подобру-поздорову.

– Геоли, геоли!^[12] – тонкими напуганными голосами закричали в лодке.

Гребцы схватились за весла и поспешно и недружно принялись грести. Лодка закачалась и стала отходить подальше от берега.

Илюшка виновато посмеивался и чесал спину. Пахом ругался надтреснутым голосом и, обломав о сыновью спину сухую хворостину, наступал на него, размахивая кулаками. Илюшка, по-видимому, не очень боялся отцовских побоев и скалил зубы.

На стану бабы и мужики покачивали головами, не одобряя такого озорства, но в то же время и посмеивались над удиравшими гольдами, хотя было в их взорах, обращенных к уходившей лодке, и опасение: никто не знал, что это за люди, придется с ними жить...

– Свой уж один гуран вырос, – говорил про Илюшку дед Кондрат, усаживаясь к котелку. – Вот еще гуранята растут, – кивнул он на внуков – смуглого голубоглазого Ваську и белобрысого Петрована, уплетавших горячую рыбу.

– Мы не гуранята, – с обидой возразил плосколицый Петрован, морща лоб и вскидывая на деда такие же, как у матери, серые с голубой поволокой глаза.

– Вот я тебе, постреленок!.. – пригрозил ему дед ложкой.

После обеда, кто мог спать в жару, забрался под пологи, растянутые в тени. Ребятишки, разгоряченные едой и работой, поскидали одежонку и полезли в реку. Вода на косах была теплая, и вскоре веселые крики и плеск раздавались вдоль всего стана.

Илюшка, пользуясь тем, что все взрослые улеглись, притащил из тайги какую-то горбоклювую черную птицу, связанную по ногам травой. Он ее поймал еще поутру и спрятал в дупло.

– Вот она! Дядя Тимоха которую приметил, как подплывали, на дереве сидела... Я сыскал.

Парень держал птицу за связанные крылья. Пугаясь, птица вздрагивала и покачивалась на них, как на пружинах. Она тупо озиралась на сбежавшихся голышей и, когда кто-нибудь к ней наклонялся, выкатывала остекленевшие зеленые глаза и злобно разжимала клюв.

– Это хищная тварина, – проговорил Федюшка, – она птичек жрет.

– Давай казнить ее, – усмехнулся, поежившись, как бы еще не решаясь на жестокость, Санка Барабанов.

Илюшка осторожно, чтобы не клюнула голое тело, поднял и кинул ее. Птица запрыгала по берегу, сначала медленно, как бы еще не веря,

что ее отпустили, но понемногу осмелела – она запрыгала быстрее, добралась до реки, осторожно вошла в воду и, погрузившись, стала кое-как взмахивать связанными крыльями. Течение быстро понесло ее прочь от стана. Ворох ее перьев и пуха всплыл на поверхности реки, словно на этом месте распорол подушку.

Ребята стали кидать камнями. Птица отплыла.

– Ты, Илья, зачем над птицей изголяешься? – появилась вдруг между талин Агафья. – Вот я скажу Пахому, он с тебя шкуру сдерет! Это ведь божья тварь.

– Это вредная птица, – возразил Илюшка, – она гнезда зорит.

– Птенцов жрет...

– И в пищу не годится, – подхватил Санка.

– Почем ты знаешь, какая это птица? – с сердцем воскликнула Агафья.

– Мы знаем! – небрежно отозвался Санка, выгибаясь и почесывая голые лопатки, изъеденные комарами.

– Пялишься еще, бесстыжий. Ведь это грех птиц так терзать, – стала было корить Агафья ребят, но они, прикрывая срам кулаками, разбежались по косе и кинулись в воду.

Позже из-под пологов вылезли отдохнувшие мужики. Егор, глядя на ребят, тоже стал купаться. Он плавал вразмашку далеко от берега и вдруг, подняв руки, надолго исчез под водой.

– Ну как, Амур глубокий? – спрашивал Федор.

«Смотри-ка, водяной-то! Уж и под воду-то лезет! – подумал Барабанов. – Везде нос сует!»

Дед точил инструменты на круглом камне. Федор правил пилу. Бормотовы двинулись всей семьей в лес. Вместе с ними пошел Тимошка со своей тощей женой Феклой и с ребятами. Вскоре ушли и Кузнецовы. Стан опустел.

В тайге застучали топоры, затрещали падающие деревья, под обрыв повалились вороха ветвей.

Наталья, бабка и Федюшка после обеда рубили толстые ползучие корни у пенька лиственницы. Егор, подкопав пенек, заложил под него вагу. Рыжие и толстые, как бревна, корни не уходили в глубь почвы, а стелились по неглубокому слою перегноя, выдаваясь наружу, и дерево стояло на них, как елка на кресте.

Корни перепилили, обрубали, и Кузнецовы всей семьей принялись раскачивать вагу. Пенек не поддавался. Егору пришлось подрубить мелкие корни и подкопать его с другой стороны.

– Экая духота! – разогнулась Наталья, вытирая потный лоб, облепленный комарами.

Рой гнуса назойливо жужжал над головой. Влажный воздух был тяжел и недвижим, лес молчал, через солнце тянулись облачка. Деревья утихли в истоме. Руки и ноги наливались тяжестью, голова кружилась от прели и духоты, и думать в такую погоду ни о чем не хотелось.

Кузнецовы снова налегли на вагу. Пенек, наконец, отвалился, и переселенцы увидели черный перегной. Слой его был неглубок. На месте поднятых станových корней кое-где проглядывала глина.

– Вот и земляца, – склонился дед, беря щепоть перегноя в темные пальцы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

День за днем, от восхода до заката, переселенцы рубили и выжигали тайгу, корчевали пни и копали землянки в высоком обрыве берега. Понемногу край релки очищался от леса. Из обрубленных ветвей складывали огромные костры, пылавшие круглые сутки и отгонявшие дымом гнус. Эти костры пугали по ночам гольдов в соседних стойбищах.

Как-то раз, вечером, Федюшка на краю вырубленного леса встретил сохатого. Горбатый и бородатый зверь выбежал из леса и стал как вкопанный, с удивлением уставившись на балаганы. Парень во весь дух помчался обратно. На стану он рассказывал мужикам:

– Рогатый зверь выбежал из тайги... Испугал – дух перехватило...

– Эх вы, лесовики! – проворчал дед на сыновей. – Пошто ружье у сибиряков не взяли? Такая туша мяса сама пришла к стану, а вы что? Эх, родимцы!..

Дед никогда не ругался нехорошими словами, а если хотел кого-нибудь попрекнуть, с мягкостью в голосе говорил: «Э-эх, родимец!..»

Мужики поговорили, что надо бы походить с ружьями по следу и добыть зверя. На том и разошлись.

В сумерках кричал филин. Небо затянуло тучами. Ночью пошел дождь, перешедший в ливень. Егор еще с вечера затянул берестинами имущество, оставшееся на берегу.

Под утро крепкий сон его нарушила Наталья.

– Чужие на стану, проснись-ка, – шептала она тревожно. – Слышь, собаки заливаются? Жучка разбудила, сорвалась с места...

Где-то ниже стана лаяли собаки, кто-то не по-русски покрикивал на них. Слышно было, как собаку ударили и она завизжала. По-видимому, неизвестные отгоняли напавших на них переселенческих собак. Издали лаяли хриплые чужие псы, подвывая, словно их удерживали на привязи.

– Это не Бердышов ли вернулся? – вымолвил Егор, отдергивая холстину, закрывавшую вход в балаган.

Брезжил мутный рассвет. Утро было теплое и сырое. В такую погоду весь мир кажется огромным парящим котлом, над которым только что подняли мокрую деревянную крышку. Туман раскинулся по

реке и лесу. За рекой рваные облака ползли по склонам серых сопок и, цепляясь за лесистые распадки, оставляли там белесые лохмотья, стелившиеся снизу вверх, словно там тянули куделю с деревянных зубьев. Дождя не было, но на землю падала мельчайшая водяная пыльца.

Егор, накинув мешковину на плечи и вооружившись колом, пошел на лай. Его босые ноги ощущали мокрый теплый песок. Дойдя до бормотовского балагана, он различил в тумане неясные очертания лодки. Подле нее копошились люди, таскавшие на берег грузы.

– Это ты, что ль, Егор? – высунулся из балагана бородатый Пахом.

– Кто это на берегу? – спросил Кузнецов.

– Сам не знаю, я на всякий случай забил пульку, – осклабился Бормотов. – Не ровен час, как бы не бродяжки.

Неизвестные, выгрузив лодку, стали таскать грузы в распадок, к бердышовской избе. В тумане довольно ясно обрисовывались согнутые, горбатые фигуры с мешками на спинах.

– Нет, это не бродяжки, а гольды, – сказал Егор, вслушавшись в голос, окрикивавший собак.

– Может, родственники Ивана привезли ему товары, – согласился Пахом. – Рассвет – выйти бы к ним. Они, поди-ка, знают, где он промышляет.

– Может, и сам-то он с ними же.

– Голоса-то русского не слышать, – возразил Пахом.

Туман стал редеть. К лодке со взгорья возвращалась женщина, за ней трусил собака. Кто-то хриловато и глухо прокричал у избы. Женщина остановилась и бойко затараторила в ответ.

– Ишь, наговаривает, – усмехнулся Пахом.

– А тот на Кешку голосом сдается. Может, и впрямь Иван Карпыч?

– Ну, бог с ними! Рассветет, тогда пойдем к ним, – сказал Егор и направился к своему балагану.

Спустя полчаса, когда туман рассеялся, толпа мужиков, хлюпая по лужам, подошла к потемневшей от дождя Ивановой избушке. Около нее ярко пылал большой костер. Поодаль двое мужиков, одетых в дабовые, ^[13] халаты, сидя на корточках, свежевали короткими ножами тушу зверя. Егор различил, что низкий горбоносый старик с косичкой на затылке, обутый в долгоносые улы ^[14] – гольд, а плечистый и

рослый, с темными короткими усами, в поярковой шляпе на голове – русский. Обличьем он смахивал на казаков-забайкальцев. В его исчерна-загорелом лице, в усмешливом взгляде исподлобья было что-то сродни Кешке и Петровану.

Гольд, взявши сохатого за растопыренные красные ноги, перевалил его на другой бок и, оттягивая шкуру от хребтины, подрезал ее короткими и быстрыми движениями.

– Бог на помощь, добрые люди, – снял шапку Егор.

Мужики сделали то же самое.

Русский в поярковой шляпе разогнулся, обтер руки о высокую траву, а ножик о полу халата, мельком глянул на мужиков, наклонил голову, будто усмехнулся в темные усы, и что-то буркнул в ответ. Гольд тоже поднялся, мотнул головой и довольно чисто поздоровался с переселенцами по-русски.

Русский вытащил кисет и трубку, достал несколько листьев табаку, свернул их, вставил в ганзу и вдавил большим пальцем. Гольд стал рубить топором тушу зверя. Переселенцы наблюдали. У русского движения были неторопливы. Его широкие покатые плечи и бычья шея таили в себе, по-видимому, большую силу. Он высек огня, помолчал, покурил, искоса поглядывая на мужиков.

– Видать, хозяин приехал? – спросил его Федор.

– Однако, хозяин, – обронил тот. – Знаете, что ль, меня?

– Иван Карпыч, что ль, будете? Не Бердышов ли?

– Однако, Бердышов, – ответил он, и это «однако», которому сибиряки придают множество разных оттенков, прозвучало на этот раз как насмешка над спрашивающими: мол, а кто же другой, как не я? Али народу много тут, не признали?

– Ну, так давай тебе бог здоровья, знакомы будем, – стали здороваться с ним мужики.

– Иннокентия-то Афанасьева, поди-ка, знаешь?

– Это Кешку-то? – переспросил Бердышов.

– Да, амурский же казак, сплавщиком у нас на плоту шел. Он наказывал: кланяйтесь, дескать, как Иван Карпыч из тайги выйдет.

– Он нам и сказал про тебя.

– Ну, а Петроваи был с ним? – спросил Бердышов.

– Как же, и он был, а еще Иван молодой с Горбицы и Дементий – здоровый мужик, долгий.

– Каланча-то? – дрогнув бровями, спросил Бердышов.

– Во-во, так будто его прозывали! Гребцами они у барина, у Барсукова Петра Кузьмича, работали.

– Не знай, что за Кешка, – вдруг со строгостью вымолвил Иван Карпыч и, нахмутив свои густые и неровные брови, подозрительно оглядел мужиков. – А вы с Расеи, что ль? – как бы между прочим, словно невзначай, спросил он, словно «Расея» была где-то тут, неподалеку.

– С Расеи, батюшка, из-за самого Урала, с Камы.

«Экие недобрые эти гураны», – подумал Егор, глядя на нелюбезного хозяина.

Из избы вышла рослая гольдка в голубом шелковом халате, с длинной трубкой в руках и с золотыми сережками в ушах. Она приблизилась к костру, присела на корточки и с любопытством уставилась на переселенцев большими иссиня-черными глазами. У нее была матовая гладкая кожа, легкие скулы и алый рот. Выражение ее лица было живое и осмысленное. Все мужики заметили это, и гольдка понравилась бы им еще больше, если бы она не курила, смачно сплевывая на обе стороны.

– Вот привезли нас на эту самую релку, – заговорил Барабанов. – Мы-то, конечно, сперва не хотели тут селиться, да, пожалуй что, нас здесь силком оставили.

И Федор стал жаловаться Бердышову на чиновника, что он насильно водворил их на Додьгу, не позволил осмотреть как следует окрестности и самим выбрать подходящее место. Говорил он об этом, всячески приукрашивая притеснения чиновника, чтоб Иван знал, что они тут водворены волей начальства, по казенной надобности и чтобы ему не задумалось заломить с них за приселение лишнего.

– Ну, да ничего, обживетесь, – опять как-то между прочим отозвался Бердышов.

По его знаку гольдка сходила в избу, принесла оттуда большую железную жаровню, вытерла ее тряпкой и поставила в огонь. Старик гольд кинул в жаровню вырезку мяса.

Заморосило.

Бердышов позвал мужиков в избу. Там сложены были мешки с мукой, связки сушеной медвежьей желчи, луки – большие и малые,

ружья, колчаны со стрелами, два копья, туес^[15] с ягодой, ворох сушеных щук и чебаков.

Иван Карпыч выставил на стол бутылку ханшина, гольдка принесла жареного мяса и накрошила дикого луку. Мужики разместились на нарах, и Бердышов начал угощать их. В избе он стал порадушней и заботливо подливал ханшин в маленькие глиняные чашки. Он снял с себя шляпу и халат, подсел поближе к мужикам и уж не казался таким недоступным, как на первый взгляд. Его темные волосы по сравнению с черной, как вороново крыло, головой его жены оказались темно-русыми. У него была большая голова, лицо широкое и лобастое. Оно сразу запоминалось какой-то особенной неровной линией густых бровей. Его крепкие руки, поросшие волосами, как видно, были сильны, из-под тонкой потной рубашки выдавались мускулы.

Понемногу крестьяне разговорились и стали рассказывать Бердышову про свое долгое путешествие, про невзгоды и сомнения на новоселье.

Бердышов слушал внимательно и больше уж не усмехался. Подвыпив, он объявил, что сам рад их приезду, что с голых и босых за приселение ничего брать не станет, но просит отработать ему на помочах: очистить остатки леса около его избы. На это мужики с радостью согласились.

– А насчет того, – говорил Бердышов, – что тут нельзя пашню пахать – ни к чему сомнения. Зря беспокоиться – только себя расстраивать. Тут и хлеба пойдут и всякие овощи растут хорошо. Еще и теперь столетние старухи указывают на релках места, где будто бы жили какие-то народы и давным-давно были пашни. Говорят, будто когда-то русские тут проживали. Про это я как-нибудь расскажу еще. Шибко занятно, – переглянулся Иван с женой.

Гольдка улыбнулась смущенно и счастливо.

– Место подходящее. Так что обижаться вам не стоит, Тут высоко, а земля черная. Ее в высокую воду не смывает. Уж эту додьгинскую релку удачно выбрали, не как в иных местах... А то, бывает, приедут переселенцы, а их на другой год топит водой. Конечно, барин, куда бы ни привез, все равно орать бы стал. Его ведь какое дело? Где приказано населить народ, там и вали, водворяй его, а не слушает – ори на него,

да и все. Казенное дело такое – своего ума не надо! Только, однако, на этот раз подфартило же вам!

– Ну, уважил ты нас, Иван Карпыч, то есть так уважил!.. И мы тебя уважим, дай срок! – соловьем заливался охмелевший от вина и от радости Федор.

Его хитрые глаза заплыли, а лицо сияло. Отказ Бердышова от платы за приселение и рассказы его о том, что на Додыге пойдут хлеба, придали Барабанову духу.

– Вот теперь и я вижу, что тут жить можно, ей-ей! – весело приговаривал он, подсаживаясь поближе к хозяину и похлопывая его с осторожностью краешком ладони по плечу и как бы напрашиваясь в друзья.

Егора водка не веселила и новостей, кроме той, что денег с него не потребуется, он не услышал. Как-то уж само по себе это было понятно, что и место тут высокое, и под пашни оно годится, и все прочее. Он был очень доволен, что Бердышов не берет денег, и теперь думал, что жаль – так затянули разговор и затеяли чуть не гулянку, за пьянством пропадает время, годное для чистки леса. «Покуда теплая погода, робить бы, – думал он, – а не пиры пировать». Но уйти было нельзя. Впрочем, и он угощался охотно и с интересом присматривался к Ивану и его жене. Бердышов на первых порах выказал себя ладным мужиком, но Егор как-то невольно был с ним настороже. Он помнил рассказы казаков про нравы и обычаи забайкальских деревень и на Амуре.

Федор сегодня не походил на самого себя, и перемена эта в нем, должно быть, была не от хмеля и не от удачи, а что он останется с деньгами. Было в пьяной радости Федора что-то неприятное и поддельное. Подвыпив, он без всякой нужды хитрил по пустякам, делая вид, будто что-то знает особенное, а перед Иваном всячески старался выказать себя ловкачом. Похоже было, он угодничал потому, что Ивана побаивался в душе. Егор знал его натуру.

Остальные переселенцы радовались, что дело так хорошо обернулось.

Пришел старик гольд и принес свежего осетра.

– Ну, строганины, что ль, отведаем? – предложил Иван мужикам. – Едали, что ль, строганину в Забайкалье? Приготовь-ка нам, Анюта, талу, ^[16] – обратился он к жене.

Гольдка перепробовала лезвия нескольких охотничьих ножей, выбрала самый острый и тут же настрогала тонко и нарубила мелко сырой осетрины, нарезала дикого луку и каких-то кореньев, все это смешала вместе и подала на стол.

– Ну, а теперь под строганинку, – предложил Иван, снова наливая глиняные чашечки.

Старика гольда он называл дядькой Савоськой и пояснил, что это брат его тестя. Впрочем, и он и Анга называли его то Савоськой, то Чумбокой, как звали старика по-гольдски.

На голове старика торчали редкие седые клочья волос, в уши продеты были серебряные кольца. Кольца же украшали его маленькие пальцы. Говорил он по-русски довольно внятно, даже острил. Подвыпив, он расстегнул рубаху и с гордостью стал показывать свой нательный медный крестик.

Пирушка у Бердышова продолжалась целый день.

Под вечер небо прояснилось, и на Додьгу с попутным ветром на парусной лодке приплыл сам Иванов тесть со своей молодой женой и сынишкой, тот самый старик Удога, о котором переселенцы много слышали еще по дороге.

По-русски его звали Григорием Ивановичем. Это был рослый и худой старик с толстой седой косой, с седыми бровями и с черными, как угли, глазами. Серебряные усы он подстригал коротко, как Иван.

Выбравшись из лодки, он с нежностью поцеловал Ангу в обе щеки и, отведя ее в сторонку, потихоньку говорил что-то ласковое.

Молодая жена Удоги – веселая, коренастая, широкоплечая гольдка – была одной из тех крепких женщин, которые всякую работу делают не хуже своих мужей. Восемнадцать верст от стойбища Бельго до Додьги она выгребала веслами против течения, помогая ветру. В гости она вырядилась по-праздничному. На ней бледно-розовый шелковый халат, расшитый редкими синими узорами, в которых, если пристально взглядеться, различались очертания птиц, животных и цветов. На маленьких ногах гольдка носила легкие новенькие обутки, сплошь покрытые мелкой вышивкой. Айога – так звали жену Удоги – встретила с Ангой не как мачеха, а как задушевная подруга. Гольдки обнимались, целовались и, войдя в избу, без умолку разговаривали.

Маленький сынишка Айоги, Охэ, послонявшись между взрослыми, сбегал к лодке, достал оттуда лучок со стрелами и побежал

в тайгу бить птичек. Вихрастые крестьянские ребята дичились, глядя на него с косогора и не решаясь подойти.

Иван и Удога, разговорившись, то и дело переходили с русского языка на гольдский. Из их беседы мужики поняли, что Бердышов и Савоська долго были где-то на охоте, и Удога, услышав от проезжих, что они вышли из тайги, сразу поднял парус и поспешил на Додьгу. Мужики заметили, что Савоська и Григорий не выражали восторга по случаю встречи. Егору показалось, что братья относились друг к другу с прохладцей.

С переселенцами Удога держался с достоинством, – видно было, что он знает себе цену.

В этот вечер захмелевшие мужики пробеседовали с ним недолго и вскоре после его приезда разошлись.

– Ничего, как будто хорошие люди эти гольды, – говорили они между собой про Удогу и про Савоську.

На другой день оба старика гольда приходили на стан, чтобы попрощаться с переселенцами. Они уезжали в свое стойбище.

Вечером на стан заглянул Бердышов. Сидя у огонька, он рассказывал переселенцам про своего тестя:

– Григорий ведь заслуженный перед начальством. Только теперь везде чиновники новые и про него забывать стали, а раньше, бывало, Григорию Ивановичу большой почет был.

– Какая же у него заслуга? – спросил Егор.

– Как же! – заговорил Иван с таким видом, словно удивился, что мужики еще не знают про заслугу Удоги. – Ведь в прежнее время Амур был неизвестным. Жили эти гольды, охотились, приезжали к ним маньчжурцы, сильно их грабили и терзали. Наши русские купцы тоже на свой риск и страх привозили товар на меновую. Проходили через хребты. А маньчжурцы – по воде... Вот тут наискосок Мылок, на той стороне, – показал Иван за реку, – была ограда – нойоны жили. Да и те только наездом бывали. Им, сказывают, закон тут жить не позволял.

– Кешка нам про это рассказывал, – перебил его Силин.

– А ты слушай, чего тебе говорят. Мало ли чего Кешка сказывал, – огрызнулся на него Федор и, состроив внимательное лицо, обернулся к Ивану.

– Когда же этот Амур нашли, – продолжал Бердышов, – и стали проверять, фарватер у него искали, снизу, с Николаевска, приплывали русские морские офицеры. Григорий Иванович-то не побоялся нойонов, показал русским фарватер. Потом, когда была Крымская-то война, и у нас на низу была война. Тут, паря, англичан отбивали на морском берегу, а по Амуру туда сплавляли войска на баржах на подмогу. Григорий с ними проводником плавал и довел баржи в целости до Николаевска. Савоська с ними же плавал, только тому награда была, а заслуги не вышло – он маленько чудаковат, ему не дали заслуги. Потом на другой год они опять плавали. Савоська – тот с родичами еще смолоду поссорился и убежал на море, жил у гиляков. Он с самых первых дней с Невельским ходил, проводничал. Он Невельского-то вверх по Амуру привел и Удогу сговорил помочь экспедиции. Потом уж, вот недавно, как вернулся Амур к Расее, сам губернатор Муравьев назначил Григорию Ивановичу заслугу. Выдали ему казенные сапоги, штаны и мундир с золотыми пуговицами. Это все у него и сейчас в сундуке хранится. А был тут маньчжурец Дыген. Шибко вредный старикашка. Он тут прежде сильно безобразничал. А перешел Амур к нам – на Пиване заросла травой вся ограда, и медведи туда повадились колья дергать. Вдруг этот самый Дыген заявляется к нам в Бельго. Тварина же! – с досадой воскликнул Иван, и было видно, что он до сих пор сам зол на маньчжура. – Как он в старое время донимал этих гольдов!.. И меха у них брал, девок портил, баб, какие понравятся, к себе таскал, а сам, гадина, кривой, глаза у него гноятся. Посмотреть, так замутит.

Иван сплюнул в костер.

– Ну вот, заявляется он в Бельго: давай, мол, ему по старой памяти меха. А я жил тогда, конечно, у них в деревне. «Ну, – говорю, – Гриша, открывай сундук, надевай полную форму». Вот вытаскивает он мундир, обрядил я его как следует, берем мы в руки по винтовке и вылезаем оба на берег. – Рассказывая, Бердышов поглядывал изредка на Наталью точно так же, как Петрован. – Как Дыген увидел мундир да золотые пуговицы – ну, дуй не стой! – подняли на лодке парус и уплыли. Потом, сказывали гольды, он узнал, что это был не русский, и шибко удивился, что простого гольда наши почему-то в такую заслугу произвели. С тех пор в Бельго маньчжур этот не показывается, хотя,

слышно, еще и до сих пор бывает он тут по маленьким деревням. Ищет, где народ подурней.

– Да-а, Грише было уважение, – продолжал Иван Карпович после короткого молчания. – Бывало, сам Муравьев едет мимо – сейчас катер к Бельго приваливает, губернатор спрашивает Григория. Григорий Иванович выйдет на берег и рассказывает все, чего хочешь. Невельской, который этот Амур отыскал, Николаевский пост на низу поставил и самый первый дом на нем срубил, тот все с тунгусами да с гиляками водился. И он Григория-то знал. А теперь уже и начальство новое, и люди не те стали, губернатор другой. Про Григория стали забывать. Китаец-лавочник и тот ему уважения не выказывает. Вот седни жаловался он на этого торгаша. Гольды боятся лавочника, как мы исправника: чуть что – на коленки перед ним.

– А скажи-ка ты, Иван Карпыч, – снова любопытствовал Тимошка, – почему у гольдов всегда гребут веслами бабы, а мужики сидят в лодке сложа руки? Сегодня плыли они – Савоська у правила, а Григорий сидит, ничего не делает, парень на ворон пялится, а баба за всех робит веслами-то.

– Приметливый же ты, – беззвучно засмеялся Иван. – Это уж верно, так у них заведено. Мужик сидит, ничего не делает, а бабы огребаются. Спросишь: «Эй, чего твоя баба работает, а чего твоя сам даром сидит?» – «А чего, мол, ей... Она гребти да гребти, – с живостью представил Иван гольда, сощутив глаза и подняв лицо кверху, – а моя, поди, ведь думай надо».

Наталья от души смеялась, слушая Бердышова, смеялись и все остальные бабы и мужики. Видно было, что Иван представляться мастер.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Цвели желтый зверобой и золотарник, васильки голубели в посохших травах, белые гроздья винограда свешивались с прибрежных кустов. На ранних вырубках розовыми полянами раскинулся иван-чай.

Стояли ясные, сухие дни, и работа у мужиков спорилась. Тайгу быстро оттесняли. Переселенцы работали с утра до ночи.

С приходом Бердышова жизнь на стану несколько оживилась. Каждый вечер Иван Карпыч приходил к шалашам и рассказывал разные истории из здешней жизни. Говорил он много и охотно, признаваясь, что рад побеседовать с русскими людьми, которых все эти годы приходилось ему видеть лишь от случая к случаю.

Впрочем, он не всегда был радушен и приветлив, часто разыгрывал с мужиками разные шутки, пугал их, что может заговорить дерево, и оно не поддастся рубке, или, если захочет, отведет рыбу от невода. То вдруг он становился строг и угрюм, не отвечал толком на расспросы, городил всякую чушь, так что мужикам трудно было разобрать, когда он говорит правду и когда шутит.

Бердышов был человеком сильным и деятельным. Весь его вид говорил об этом. Но если работы у него не было, особенно когда он по несколько дней отдыхал после охоты, он начинал озорничать.

Как-то под вечер Федор, выйдя из тайги, встретил его на берегу. Иван шел в тени деревьев, опустив низко голову в надвинутой на глаза поярковой шляпе, и глядел себе под ноги. Вокруг него вился рой мошкар.

– Здорово, Федор Кузьмич, – вымолвил он, не доходя до Барабанова шагов на десять и не подымая головы.

– Ты как меня увидел? – удивился Федор.

Бердышов молча шел прямо на него.

– Возьми-ка моих комаров, – махнул он руками, поравнявшись с Барабановым, и отшатнулся в сторону.

Вся туча гнуса перелетела на Федора.

– Э-э-э-эй, да ты что, да на что они мне? – завопил Барабанов, отбиваясь от комарья.

Но Иван уже шел своей дорогой, и только покатые плечи его тряслись от смеха.

– Чудной он какой-то, не поймешь его, – говорили про Бердышова переселенцы. – Надо всем смеется, из всего у него шутки.

– В тайге столько проживешь, чудной станешь, – оправдывал его Кузнецов, – а он тут давно живет, уже лет восемь, поди...

– Недаром казаки-то говорили, что у него жена шаманкой была. Это ведь колдунья, шаманка-то. От нее он и перенял, поди, эти выходки. Видишь, какой он переменчивый, то так прикинется, то этак, не дай бог околдует, – не то на самом деле пугался, не то шутил Тимошка.

– Он и над гольдами, над родичами, и то просмешничает, – утверждал Пахом. – Уж таков человек!

– Того и гляди боднет лбищем-то. Вот помяни мое слово, он еще натворит нам делов целую контору, – говорил Силин.

В конце июля на Додьгу прибыли казенные баркасы, доставившие на каждую семью переселенцев по коню и по корове. Кони оказались клячами, а весь скот бракованным, и крестьяне были в отчаянии. Коровы доились плохо. Вместо обещанной муки почему-то привезли зерно.

– Вот еще новая забота, – горевали мужики, – чем же молоть станем?

Они на все лады ругали Барсукова.

– Лошадь отходим! Выпасется на лугах, – говорил Егор жене. – Какая бы заморенная ни была, а откормится – будет конь. Мы сами пришли заморенные, и кони у нас такие же.

В бормотовской лодке мужики стали возить сено, заготовленное солдатами. Но сена было мало, а трава, стоявшая на лугах, уж превратилась в дудки. Все же пришлось косить ее и возить с острова на берег.

– Как солома, – говорили крестьяне.

Бабы расчистили под грядки малые клочья земли.

Вскоре после отплытия баркасов Бердышов напомнил мужикам, что они обещали ему устроить помочь: расчистить тайгу подле его избы. На другой день переселенцы вышли работать на Иванов участок. Там порубили и пожгли все пеньки и деревья, оставив только

несколько листовниц подле самой Бердышовой избы. Теперь кругом нее чернели пепелища.

В награду за труды Иван по обычаю устроил мужикам пирушку: выставил водки и роздал пуда три вяленой сохатины.

А на бабьих огородах, на целинных влажных землях, под горячим солнцем быстро взошли лук, редиска. До осени переселенки надеялись кой-чего вырастить.

Огород был для каждой семьи заветным местечком. Наталье плакать хотелось от радости, когда впервые зазеленели всходы на ее грядках. Лес еще стоял поблизости, тучи комарья туманом зеленели над релкой, но, глядя на такие знакомые, по-старому родные и милые комья черной земли и на стройные рядки лунок с бледно-зелеными ростками, верилось, что будет тут и дом, и пашня, и двор. Хотелось работать еще пуще, и Наталья трудилась не покладая рук и не жалея себя. Это чувство испытывали все переселенцы, и всем работалось в тайге веселей, когда за спиной появились маленькие рощицы.

Вечером после тяжелого труда не было для измученных новоселов большей радости, чем посидеть на огороде и полюбоваться на первую зелень, выращенную среди таежной дичи своими руками.

Иван Карпыч прожил на Додые недолго. Однажды поутру дверь его избы опять оказалась припертой колом, а его дощатая лодка, обычно лежавшая на песке, исчезла.

– На охоту уехал со своей гольдкой, – решили переселенцы.

Парни и ребята любили поговорить между собой про зверей, про охоту и про Бердышова.

Побывавши раз-другой у его избы – часто они боялись туда подходить, чураясь гольдки, к которой присматривались с недоумением, – они забыть не могли охотничьи копыя, ножи, звериные шкуры, луки, сохатиные окорока.

– Встретить бы мне зверя, я бы его пальнул!.. – мечтал Илюшка.

– Пахом тебе ружье-то не даст, – насмешливо возражал белобрысый Санка Барабанов. – Из чего ты его палить-то станешь?

– Тятя мне дать ружье посулил, ей-ей, посулил, – хвалился Илюшка.

Схватив с песка палку, он, пригнувшись, взбежал на изволок берега и нацелился в черное обгорелое корневище.

– Ка-ак бы я его!.. – И он зажмурился.

– Да-а, Иван Карпыч где-то сейчас промышляет, – задумчиво говорил Петрован Кузнецов. – Вот с ним бы на зверя-то сходить!..

В это лето из ребят, пожалуй, не осталось ни одного, который не собирався бы стать охотником подобно Бердышову. Их, подросших в тяжелой и длинной сибирской дороге, привлекала жизнь промысловиков, жизнь, полная приключений и опасностей, о которых они много слышали. И хотя они, дети хлебопашцев, всегда помнили о пашнях, о хлебах, о скоте и хвастались друг перед другом, как и что быстро растет на огороде, но уж тайга все сильнее тянула к себе юных амурцев.

Наступил тихий жаркий август; иван-чай стоял в белом пуху, таволожник цвел белым и розовым. На бузине покраснели ягоды. Стрижи летали высоко над релкой. Кончалась малина, созрела голубица.

Вечерами на реке дымились туманы. Ночи стояли безлунные, редкие звезды мерцали красным пламенем, как отдаленные костры. Лишь над высокой сопкой на северо-западе, куда не достигали речные туманы, ярко и чисто светила Большая Медведица.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Наступила осень. Пospели колючие лесные орехи, ползучие растения опутали тайгу, трава посохла, сопки покраснели и пожелтели, обмелела речка Додьга и, утихшая, бежала слабыми ручейками по широкому каменистому ложу.

В тайге стало посуше. Осыпалась голубица, созрела брусника, от нее было красным-красно, словно кто-то рассыпал по траве бусы. Доходил, синел виноград. Птицы потянулись на юг.

Додьгинская релка понемногу обнажалась, но лес, отступая, еще стоял на ней полосатой темно-белой стеной из берез и лиственниц. На вырубленных полянах торчали пеньки и дыбились корневища.

На берегу подле маленьких огородов достраивались четыре землянки. Обычно в Сибири на новоселье не строили изб. Жизнь переселенцы повсюду начинали одинаково, исподволь, как бы не решаясь окончательно утвердиться до тех пор, пока хорошенько не осмотрятся и не освоятся с местной природой. Землянки не жаль было бы оставить, если место оказалось бы негодным и пришлось опять куда-нибудь переселяться. К тому же постройка избы требовала много труда и времени, а ни того, ни другого мужикам теперь не хватало.

Землянки копали в крутом берегу. Это были обширные ямы с установленными вдоль стен досками – остатками плотов. На них настилали крышу, а весь верх заваливали пластами земли. Печки сбивали из сырой глины чекмарями – так называли деревянные молоты, а глину накладывали в дощатые формы на месте будущей печи. Вдоль стен тянулись широкие земляные нары, служившие и сиденьями и кроватями. Землянки были теплы, обширны, освещались маленькими окнами, обращенными к реке.

В конце августа, когда начался ход рыбы, жилища были готовы. Для скота и для коней неподалеку от землянок выкопали ямы, прикрытые срубамии с накатником. Поверх наваливались высокие кучи сена. Все селение как бы зарылось в землю, готовясь к суровой ветреной зиме.

С доставкой коров пища стала разнообразнее. Появились творог, сметана и простокваша.

Понемногу осваивались переселенцы с амурской жизнью. Осенью они впервые наблюдали ход красной рыбы – кеты, или, как называли ее тут по-гольдски, давы. Еще по пути на Додьгу они много слышали и от староселов и от казаков о том, что осенью из моря в Амур заходят косяки красной рыбы и идут в горные речки. Но никто из них не верил, что будто бы рыбы этой такое множество, что она, как рассказывал сплавщик Петрован, мешает ходить по реке лодкам.

Пришла кета. По Амуру вверх и вниз засновали гольдские лодчонки с рыбаками и с добычей. Мужики время от времени пробовали ловить рыбу на косе у стана, но удачи им не было. Их короткий невод тянул пять-шесть рыбин. Однажды бабы, ходившие на Додьгу по ягоды, увидели, что на горле Додьгинского озера вода словно закипает от косяков кеты, заходящей в мелкие протоки. В тот же день мужики, распаленные этими рассказами, поплыли на Додьгу с неводом. Ловля и на этот раз была неудачной. Неводишко оказался слишком стар; когда его завели и захватили тяжелый косяк, невод разлезся. Вся рыба ушла. Рыболовы пустили в ход палки, багры и стали хватать рыбу кто чем мог.

Кета нравилась переселенцам. Они решили солить ее и сушить, запастись на зиму.

Ход был ранний, кета шла еще не уставшая, жирная и толстая, отливала серебром. По крутым рыбьим бокам – багровые и лиловые разводья. Мужики в толк не брали, что за пятна на кете. ^[17]

– Идет она во множестве, толпой, верно, и колотится друг об дружку до синяков, – предположил быстрый на всякие соображения Федор.

Однажды поутру, выйдя из своей землянки, Егор увидел, что на песчаной косе, выступившей из-под спадавшей воды как раз против его жилья, под берегом, какие-то голды ловят большим неводом рыбу.

Было пасмурно и ветрено. Слабые волны лениво набегали на косу. Казалось, вся природа озябла и сжалась за ночь от сырости и холода. На песке стоял голоногий парень в коротких, выше колен, штанах и держал в руке «пятовой» конец невода. Лодка с гребцами, описав по реке полукруг и ведя «забегной» – передний конец невода, поспешно возвращалась к пескам, как бы стягивая плавучую дугу из частых поплавок.

«Рыбачат под моим берегом без спроса», – подумал Егор.

Гольдская лодка подошла к берегу. Один из рыбаков, ежась, побежал по песку к стогу. Приблизившись, он стал хватать сено пучками и совать за пазуху. Он, видно, промок, замерз и хотел согреться. Егор заметил, что от стога, который накануне привез он с острова, чуть не половина убыла. «Под моим берегом рыбачат без спроса да еще берут сено. На чужом месте хозяйничают!»

Мужик обозлился на рыбаков, как только может обозлиться человек, давно уже не ссорившийся ни с кем, накопивший в себе много разных обид и вдруг решивший все их выместить. Ему и в голову не пришло, что гольды от века каждую осень ловят рыбу у додьгинских кос, а что такое сено и зачем оно нужно, не знают, и что тут никакого посягательства на его права не было и быть не может. Но таково уж свойство новосела – полагать началом жизни в новом краю лишь тот день, когда он сам приехал.

Можно было подумать, что Егору никто не чинил такой большой обиды, так он разозлился. Гольды в этот миг казались бог весть какими злодеями. Да тут и впрямь можно было посердиться и высказать свои права. Как слыхали мужики, гольды были народом смирным и незлобивым, так что обидней всего стало Егору, что именно они, не спросясь, завладели его берегом. Будь это русские мужики или солдаты и нанеси они Егору обиду пожесточе, он стерпел бы. Оно и понятно: обижал бы тот, от кого не в диковину сносить обиды. А тут вдруг... Этого стерпеть никак нельзя.

Егор выбрал подходящий кол и, вооружившись им, скинул бродни, подсучил портки и побрел через заводь к пескам.

Гольды вылезли на берег и с короткими оживленными возгласами бойко перебирали веревку, вытягивая невод на косу. Было заметно, что тянут они порядочную тяжесть. Егор тут заметил, что пучки сена подвязаны зачем-то на подборах невода.

Вдруг вода ожила, забурлила валами. Огромные голубовато-серебристые рыбины с шумом заплескались на мели и наперебой запрыгали из воды, пытаясь выскочить из невода. Мелькали бьющиеся хвосты, пасти с зубами и пятнистые бока. Рыбы было так много, что у Егора зарябило в глазах.

Гольды стали бить кету веслами по головам и закрывать ее сверху широким неводом. За косой, к которой они тянули невод, были мелкие заводи и широкие лужи; некоторые бойкие рыбы пытались по ним

бежать. Одна жирная и грузная кетина, всплескивая воду сильными ударами хвоста, промчалась мимо Егора, выбралась на узенькую кошку, отделявшую лужу от реки, и, быстро толкаясь хвостом и карабкаясь плавниками, пыталась перебраться по мокрому песку; сгибаясь то так, что этак, она словно оглядывалась, опасаясь, что гольд догонит и хватит ее веслом.

– Эй, уходи отсюда! – крикнул Кузнецов, приближаясь к рыбакам.

Но они либо не обращали на него внимания, либо не слышали его слов за ветром и за работой. Нестарый гольд в меховой шапке, двое парней в халатах из рыбьей кожи и девчонка выбирали рыбу из невода. Ловко хватая кету за хвосты, гольды раскачивали ее и бросали в длинную и широкую лодку, до половины нагруженную вздрагивающей серебристо-лиловой рыбой.

На корме сидела патлатая, толстощекая, румяная гольдка. Она была беспокойных рыб веслом, чтобы поскорее засыпали. Одна кета перепрыгнула борт лодки уже после того, как женщина ударила ее.

Вдруг, к изумлению Егора, гольдка подняла за жабры небольшую рыбу, разгрызла ей голову и, присосавшись, зачмокала, морщась от удовольствия.

«Что делает? Живую рыбу жрет!» – подумал Кузнецов и решительно подступил к рыбакам, еще более на них озлобившись.

– Проваливай с этого места! – крикнул он погромче, обращаясь к старшему гольду, перебиравшему мокрый невод.

Тот разогнулся и посмотрел удивленно. У него было плоское лицо, словно вдавленное у переносицы, и выпуклый лоб.

Кузнецов подскочил к нему и, держа кол под мышкой, вырвал невод и толкнул гольда в плечо по направлению лодки.

– Отъезжай, чтобы тут духу твоего не было! Наловил – и дуй отсюда! Не твое место!

Рыбак упирался и что-то с чувством говорил по-своему, тыча себя пальцем в грудь и показывая на берег. Опутанная упавшим неводом, всплескивалась невыбранная рыба. Парни, опустив руки, стояли в нерешительности, со страхом поглядывая на Егора. Проворная девчонка забралась в лодку и, примостившись на корме, казалась довольно спокойной, должно быть полагая себя в безопасности подле матери.

Гольд снял шапку, обнажив высокий лоб. Улыбнувшись виновато и жалко, он заморгал. Маленькие руки его доверчиво потянулись к неводу.

– Ступай, ступай! Нечего балясы точить! – выразительно махнул рукой Кузнецов. – А то нашел где рыбачить! На чужом месте. Много вас найдется!..

Гольд, наконец, рассердился. Его маленькие черные глаза сделались острыми и забежали в косых прорезях. Он закричал тонко и пронзительно.

– Да ты что это? – рассердился Егор, подымая палку. – Говорят тебе, улепетывай и больше сюда не ходи!

Гольд оробел. Он беспомощно развел руками и побрел, опустив голову и что-то бормоча. Девчонка закричала, прижавшись к матери.

Егор последовал за гольдом и, добравшись до лодки, с силой оттолкнул ее.

Лодка отошла. Рыбак догнал ее по воде, а парни побежали вброд через заводь.

На косе остался невод – грубая, крепкая снасть, широкая и длинная, искусно свитая из травы. Поплавки были сделаны из коры уже знакомого Егору бархатного дерева и из свитков бересты, а похожие на маленькие кирпичики грузила – из мастерски обожженной красной и белой глины.

Шум у реки привлек внимание всех жителей поселья. Все переселенцы вышли из землянок на берег. К Егору, хлюпая по холодным лужам, подбежали разутые Федюшка и Санка.

– Ах, Егор, Егор, ты чего же это наделал?! – с укоризной вымолвила, подходя к мужу, босая Наталья. – Зачем невод отнял? Они, верно, не понимают, что у нас сено накошено. Зря ты!..

Егор погорячился и теперь быстро отошел. Сейчас ему казалось, что и верно можно было обойтись не так круто.

Ребятишки стали выбирать из невода оставшуюся рыбу.

– Чего зря! – со злом воскликнул Федор. – Пусть-ка знают, как рыбачить на чужом берегу! Нет, родимые! – с восторгом победителя орал Барабанов, грозя кулаком гольдской лодке, качавшейся в отдалении на волнах. Видно было, как волны разбивались о ее нос и вихрями брызг обдавали борта. – Не тут-то было, теперь без невода-то попробуй порыбачить! Поделом, поделом тебе! – кричал Федор.

– Невод-то широкий, – говорил Тимошка. – Таким ловко рыбачить. Гляди, какой! Теперь понятно, почему у нас не ловилась.

Дед Кондрат в подсученных штанах бродил вокруг, осматривая туземную снасть.

– Смотри ты, какая работа! – говорил он Пахому. – И то правда, каждая пичужка своим носком кормится.

– У них, Иван сказывал, коров нет, – твердила Наталья, – рыба да рыба, а больше им и есть нечего. А ты отнял невод. Зачем так обошелся?

– Между соседями чего не бывает, – уже спокойно отвечал Егор. – Теперь про сено знать будут.

Ему хотелось оправдаться перед детьми. Не желал он, чтобы они научились обижать людей, вот так вот отбирать, что придется.

– Тятка сено косил, старался, он за это сено, мамка! Ты бы щи варила, а пришли бы чужие и съели.

– А они рыбу ловили, а он забрал... – ответила мать.

Васька помутнел взором и косо взглянул на отца.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ



Мужики, занятые постройкой землянок, никак не могли собраться вместе порыбачить. Тем временем невод висел без дела.

Возвратившись на Додьгу, Иван Бердышов ни разу не спросил Кузнецова, где тот взял невод туземной работы. Бывало, пройдет мимо коряг, покосится на растянутый бредень, потом на Егора, и только густая бровь у него дрогнет, но он ни словом не обмолвится. И Егор молчал.

«Хитрый! – думал Егор. – Молчком хочет все узнать. Чует... Он тут как хозяин».

Федор впоследствии рассказал Бердышову, что Кузнецов отобрал невод у рыбаков, но Иван никак не отозвался о таком поступке соседа и опять смолчал, словно не слышал ничего. Барабанов немало этому дивился. Он привык, что люди охотно слушают сплетни про соседей и осуждают их непременно. Впрочем, он поведал про это не со зла на Егора, а из простого желания позабавить чем-нибудь Ивана Карпыча. Но тот никакого удовольствия не выказал, даже обидно было Федору.

Иван и Анга по приезде домой занялись ловлей кеты на зиму. Вдвоем им трудно было управляться с большим неводом. Со своими гольдскими родичами Иван почему-то не хотел рыбачить. Крестьяне в помощь им посылали ребятишек. Илья, Санка, Петрован работали у Ивана, гребли в лодке, тянули невода, возили рыбу. Бердышов обучал их обращаться с неводом. За работу он роздал им лодку рыбы.

– Не даром робыли у Ивана, – говорили мужики.

Лишь часть рыбы засолили они на зиму. Но соли было в обрез. Кету, добытую палками и руками, вялили на ветру. Бердышovy из части своей добычи готовили юколу. У Ивана налажены были длинные вешала из нескольких рядов жердей. Анга пластала рыб ножом и вешала их сушить. Жабры и внутренности рыб она выбрасывала собакам. Жерди, унизанные красными комьями кетового мяса, прогибались от тяжести. Когда ветер тянул снизу, от вешал разило гнильем. В жаркие дни рыбу дочерна облепляли мухи.

– Зачем тебе столько рыбы, Иван Карпыч? – любопытствовал Тимоха Силин. – Разве ты такой постник?

– Как же, паря Тимша, я шибко богомольный! – отвечал Бердышов. – Да и собак кормить чем-то надо.

Тимоха уж и сам догадывался, что это корм для собак, что для своих страшных псин готовит его Иван.

– Так ты для собак? А я думал, сам все съешь и зубы сотрешь жевавши.

– Что получше отдам собакам, а остатки сам догрызу. А ты становись на четвереньки, сунь пасть в реку и цеди. Рыба сама ползет. Сквозь зубы Амур процедишь, рыбу всю сжуешь – и голодный останешься.

Смущенный Тимоха приумолк. Иван за словом в карман не лез.

– А у тебя пошто, Иван Карпыч, собак так много? – спросил однажды соседа дед Кондрат.

– Разве это собаки? – удивился Бердышов и, подмигнув, добавил:
– Это кони, дедка.

Кондрат ничего не сказал Бердышову, но принял ответ его за насмешку и насупился. «Завидует, что нам коней доставили!» – решил он.

Дед запомнил, что Иван ему ответил, и как-то пожаловался на него сыну.

– Он, батюшка, верно тебе сказал. Ведь зимами тут ездят на собаках, вот они ему как кони, – ответил Егор. – Али ты не видал, как по Енисею инородцы нартами ходили?

– Тебе бы, Иван, настоящего коня завести, – сказал дед Бердышову в другой раз, – хозяйство поставить, скотина чтобы была...

– Будет время, однако, обзаведемся, – ответил Бердышов. – Я прошлый год брал коня, да сплавил его в Тамбовку.

Брал он у казны и корову и тоже продал переселенцам, потому что ходить за ней было некому. Анга, бесстрашно охотившаяся на зверей, побаивалась домашней скотины. А Ивану, как на грех, досталась такая бодучая корова из диковатых бурятских забайкалок, что с ней не было никакого сладу. Гольды считали дойку делом неприличным.

– Как тебе не стыдно? – говорили они и смеялись.

Сначала Иван сам доил корову, потом, когда Анга привыкла к ней, Ивану приходилось стоять тут же настороже. Да еще сначала гольдка просила мужа, чтобы он держал ружье наготове. Но когда Бердышovy уходили на промысел вместе, коня и корову не на кого было оставлять.

Хотелось Ивану и пашню пахать и хозяйство завести. Деньжата у него были, он мог купить и коня и скотину. Но не торопился – он хотел, чтобы жена его сначала обжилась подле русских и переняла от них умение вести хозяйство и ходить за скотом.

Анге и самой хотелось поскорей стать русской, чтобы Иван не стыдился ее. Она проявляла любопытство ко всему, что делали переселенки, и живо все перенимала. Она училась говорить по-русски, выказывая в этом редкую способность.

Когда в землянках не было еще печей, бабы пекли хлеба в бердышовской избе. Глядя на них, и Анга стала стряпать калачи и подовые пироги с ягодами. А раньше, кроме пресных лепешек, делать ничего не умела.

Ягоды на Додьге было много. В конце июня, когда приплыли переселенцы, в тайге созрела смородина и малина, вскоре на деревьях зачернела черемуха, которую бабы сушили и толкли, а потом стряпали из нее сладковатые пирожки. По осени на лесных полянах синела опавшая голубица. На болотах, за Додьгинским озером, во мхах понемногу доходила клюква.

На Додьге Анга показала бабам место, где у воды на глинистом берегу в изобилии вился по деревьям дикий виноград, а в трущобе на пойме все шиповники и орешники были переплетены «кишмишем»^[18] со сладкими длинными сахаристыми зелеными плодами.

Когда начался ход кеты, к селению стали подходить звери.

– Ты остерегайся, когда за ягодой ходишь, – наказывал Егор жене. – Медведи в эту пору выходят из лесов ловить рыбу. Не дай бог, встретишься!

Коровники на ночь закрывали на запоры. Ребятишкам велено было в тайгу не ходить.

Как-то раз испуганная Агафья Барабанова прибежала домой.

– Федор, вставай-ка, – тормошила она мужа. – Я медведя встретила. Корова-то вышла, а я за ней. И он там... Кабы не подрал...

Федор не сразу сообразил, что ему толкует жена.

Последние дни Барабанов заленился. Землянку он сделал, а для коня и для коровы рядом с ней выкопал как бы вторую комнату, отгороженную от жилья толстыми досками. Обе были под одной крышей из накатника с землей. Главное, чтобы можно было зимовать, Федор сделал, а до остального не доходили руки. Забота о жилье и о скотине – самая тревожная из забот – отпала, и Федор вдруг почувствовал смертельную усталость. И хотя работы еще хватало, но браться ни за что не хотелось. Сказалась, наконец, усталость от долгого сибирского пути.

– Федор, а Федор! – сильной рукой Агафья потянула мужа за плечо.

Он нехотя поднялся на лавке и с ожесточением схватил себя за подбородок, словно собирался вырвать жидкую бороденку.

– Слышь ты, да ты одурел, что ли? Продери глаза-то... Ступай, кликни Бормотовых али Ивана ли Карпыча, будет тебе валяться: медведь у стана. Вот-вот корову задерет...

– Медведь? – Федор вытаращил свои маленькие глаза и стал живо обуваться.

– Ощерился пастью-то да ка-ак фыркнет!.. Встретился-то, будь он неладный!.. Я бежать, и он ушел. Да корова-то там...

Федор схватил ружье, заткнул топор за пояс и без шапки побежал к Бердышову. По дороге он выпалил из ружья.

– Ты что это? – спросил Егор, точивший у своей землянки топор на круглом камне.

– Беда, Кондратьич, медведь чуть Агафью не подрал! – сказал Федор. – Пойдем к Ивану скорей.

Бердышов, услышав, что к озеру вышел зверь, снял со стены кремневое ружье. Егор пришел к нему с рогатиной – он сделал ее накануне, насадил железное острие на палку, – тоже собирался «воевать» с медведями.

– А почему ты, Иван, не берешь штуцера? – спросил Егор. – Ведь он бьет дальше, чем кремневка?

– По привычке старое ружье таскаю.

– Плохи, что ль, новые?

– Нет. Но я все думаю: неужели хуже охотником стал? Хороший охотник должен уметь из плохого ружья взять зверя. Гольды говорят, самое лучшее – пороть медведя рогатиной, а еще лучше ножом. Я тоже думаю, кто к хорошему оружию привыкнет, будет трус.

Пока мужики собирались, барабановская корова сама прибежала на берег к своей землянке.

Барабанов успокоился, сходил домой, взял сошки, чтобы удобней было стрелять, и впопыхах позабытую шапку.

– Рыба есть, теперь мясо надо заготовить на зиму, – говорил Иван.

– Медвежьего-то, – подтвердил Федор.

– У гольдов обычай: про медведей не говорить, слово «медведь» не произносить. Ночью про медведей не поминают, а то задерет. А мы орем: «Медведь, медведь!..»

Мужики отправились к озеру напрямик через релку, чтобы оттуда идти на Додьгу. Едва вошли они в лес, как сзади послышался топот. Вдогонку охотникам бежал Пахом Бормотов с ружьем. В последнюю минуту и он решил идти на медведя.

– Медвежатничал? – спросил его Иван.

– Приводил господь!

Спустившись к озеру, охотники увидели на песках частые медвежьи следы, шедшие в разных направлениях вдоль берега.

Иван повел их налево, к устью речки, стараясь держаться под зарослями.

– Вон мишка-то лакомился, – показал он на Красноватые кустарники, обрызганные звериной слюной, – загребал лапами и, паря, посасывал.

В голосе Бердышова, как и обычно, когда он говорил про зверей, слышались и умильное любование медведем и дружеская насмешка над его привычками.

След привел охотников к одному из рукавов Додьги. Речка обмелела и притихла. Течение несло красные и желтые листья. Из-под спавшей воды выступило широкое каменистое русло. За галькой на берегах стоял густой елово-лиственный лес, а под сухим подмытым берегом торчали во множестве корни деревьев. Вся тайга, вместе с подлеском и с тонким слоем перегноя стоявшая на белом песке, была видна как бы в разрезе. Отяжелевшие синие грозди мелкого винограда свешивались с оголенных прибрежных побегов.

В воздухе с криками летали чайки и коршуны. В прозрачной зеленой воде вверх по течению стайками пробиралась кета. На камнях поток змеил изображение рыб, как в кривом зеркале.

– Вот лиса рыбачила, – пнул Иван зубастую рыбью голову. – Сейчас все – и звери и птицы – жрут эту красную рыбу почем зря.

На камнях повсюду виднелись гнившие остатки рыб, выловленных птицами и животными.

– Первые-то дни эта рыба была жирная, а нынче отошала, – заметил Егор, – горб у нее растет, зубья она скалит, нос крючком стал.

– Ход оканчивается, – ответил Иван. – Рыба эта из моря идет и всю дорогу не жрет ничего. Последняя самая отошала идет. Сейчас она голодная, злая. Вон, гляди-ка, разодрались. – Иван показал на брызги в речке.

Горбатые, ослабевшие рыбины плескались на мели, хватая друг друга зубастыми пастями. Иван поднял с песка палку и ткнул их.

– Злая эта кета, вон как хватается, аж кожа летит. По речке на самый верх заберется, там икру вымечет, закопает ее в песок, в ямки. Хвостами она закидывает песком эту икру. После этого станет больна.

Одуреет зубатка, стоит, уткнувшись мордой в берег, помирать собралась. Трогай ее – она не шевельнется.

– Она уж и сейчас заблужденная идет. Кому не лень, всякий ее схватит, – заметил Пахом.

– Мишка-то, однако, где-нибудь этой же давой промышляет, – проговорил Бердышов.

Он вдруг приумолк и стал внимательно озираться по сторонам.

– Неужто вся эта рыба сдохнет? – спросил Егор.

– Вся пропадает. Молодь выйдет из икринок, ее унесет водой в море, а вырастет – опять к нам же придет. Гольды говорят, что каждая рыба свою речку знает.

– И потом опять вся передохнет? – с изумлением спросил Пахом.

– Опять, паря.

– Какое богатство! Вот бы в Расею его!..

– И тут найдется куда девать... Ну, братцы, тихо. Эвон Михайло-то Иваныч!

Зверь сидел в отдалении, посреди шумного потока, на корневище затонувшей лесины и ловил рыбу. Оскалив пасть, он водил мордой над водой. Высмотрев добычу, хватал ее когтистой лапой и подкладывал под себя. Меж косматых задних лап зверя видны были головы наловленной рыбы. Он так увлекся своим занятием, что не учуял охотников, кравших за стволами деревьев. Один раз, запустив лапу в воду, медведь потерял равновесие и приподнялся. Мокрые рыбы, лежавшие под его задом, соскользнули с коряги и повалились в речку. Течение унесло их. Медведь, усевшись снова, почувствовал, что под ним ничего нет. Он забеспокоился, поднялся на задних лапах и заглянул под себя. Рыб не было. Медведь, глянув вокруг себя вправо, влево, стал крутиться на коряге и вдруг заревел тонко и жалобно, поднявши морду кверху.

Бердышов выстрелил. Дрогнул тяжелый воздух. Подскочив на лету, словно его перекинуло воздушной волной, испуганно закричал коршун-рыболов и скорей полетел прочь. Медведь громко заревел и, схватившись лапой за морду, как человек, которого ударили по лицу, покачнулся. Не устояв на мокрой лесине, он грузно бултыхнулся в реку и с ревом кинулся было бежать по воде, но лапы его подкосились, зверь вдруг осел и повалился на бок. Вода валом забила через него, как через плавниковую лесину, обросшую водорослями.

Мужики забрели в Додьгу и вытащили медведя на берег.

– Третьяк, – определил Иван. – Отъелся за лето, как купец.

Егор вырубил толстую березовую палку. Лапы зверя перевязали попарно, просунули жердь под узлы. Егор и Пахом подняли тушу вверх ногами, взвалили ее на плечи и отправились в поселье.

– Как он орал-то ребячьим голосом, жалко же ему добычи стало, – говорил Бердышов, идя позади мужиков.

– Много же тут этих медведей. Скотину шибко охранять надо, – рассуждал Егор.

– Зато волков нет, – возразил Иван. – А этот к поселью редко придет, ему в тайге достает чем кормиться. Вот тигра уж ежели повадится, то будет горе-гореваньице. Хищная, пропастина!..

– Бывает тут и тигра?

– Редко заходит, но случается. Гольды ее не стреляют – боятся. Она ежели к кому пристанет – не отвяжется.

Берегом Додьги охотники вышли обратно к озеру. Впереди шел Федор с ружьем, за ним Егор и Пахом несли тушу зверя. Иван замыкал шествие.

– Эй, гляди-ка, это кто еще на озере? – вдруг воскликнул Барабанов.

От устья главного русла Додьги саблей искрилась белоснежная длинная коса, за ней в даль озера потянулись небольшие острова-отмели. На одном из них сидели два черных медведя. Издали их можно было принять за людей.

– Туда шли, как мы их не увидели? – изумился Пахом.

До медведей было далеко, выстрелом не достать. Мужики, положив тушу на траву, разом закричали, стараясь вспугнуть зверей. Но медведи продолжали сидеть, изредка ворочая головами.

Так и не удалось мужикам полюбоваться бегством испуганных зверей; снова взвалив добычу на плечи, они двинулись домой.

Дома зверя освежевали и поделили на части между всеми переселенцами. Иван рубил медвежатину и, раздавая куски, наказывал, когда мясо будет съедено, вернуть все кости.

– На что тебе кости? – спросил Федор.

– Надо. Да ты не забудь...

– Кости мне ни к чему, – с оттенком обиды сказал Барабанов.

– С костей не разбогатеешь, а беду наживешь, – подтвердил Бердышов. – Да смотри, круто зверятину не соли, а то другой раз медведь злой будет.

Егор, подумавший, что Иван шутит, принес домой мясо и позабыл передать жене его наказ. На обед бабы наварили шей и нажарили медвежатины с диким луком. Зверь попался молодой, и все досыта наелись.

После обеда Наталья выбросила полную тарелку костей собакам. А на другой день дочка Кузнецовых Настя, опрометью пробегая мимо отца, кряжевавшего лесину подле огорода, испуганно и злорадно крикнула ему:

– Ага, тятка, попался! – и, сверкая пятками, помчалась к землянке.

Вскоре оттуда появилась Наталья. Настька спешила за ней.

– Какие с нас кости Иванова баба просит? – спросила мужа Наталья.

Егор вспомнил и рассказал.

– Будь они неладны с причудами-то! Вот дочка прибежала и орет в голос, что Анга велит кости отдать, а то, мол, тебя зверь погубит.

– Собаки-то грызли, а Иванова тетка видела. Она говорит, если костей не отдашь, то и Ивана и тебя, обоих вас, медведь задерет, – прерывающимся голосом выговорила Настька.

– Слушай их, дочка, больше! – молвил Егор. – Это Иван шутит...

Глаза у девочки прояснели.

Бабы собрали оставшиеся кости и отнесли Анге, недоумевая, зачем они ей понадобились.

Потом уж Иван, посмеиваясь, признался, что, по здешним понятиям, съевши медвежье мясо, следует кости зверя закоптить и снести в тайгу.

– Этим он как бы отпускается обратно, чтобы еще раз нагулял мяса и приходил опять. Так тут гольды понимают, – объяснял Иван. – Уж такой обычай... Я о вас же беспокоился.

– Да-а... Ишь ты! – удивлялись мужики, опять не беря в толк, дурит Иван или сам верит. – Еще раз чтобы... А коптить-то зачем?

– А коптить-то – это, однако, вроде как шкуру обратно на него надевают. Теперь нас с тобой, Егор, может медведь задрать.

Бердышов смотрел хитро, но не улыбался.

– Охотники! Конечно, может быть, и есть у них такой обычай, – сказал Егор, когда Бердышов ушел. – А может, и чудит Иван.

Все эти разговоры про здешние обычаи и про разное колдовство шаманов и шаманок ему не очень нравились: он опасался, что Иван сам не верит, а чего-то крутит. В то же время Егор старался найти свое место и оправдание всякому здешнему понятию.

– Как-никак, а без ружья, Кондратьич, тут не прокормишься, – говорил Федор. – Надо бы и тебе винтовку купить, вместе бы на зверей зимой пошли.

– Надо бы, конечно, – задумчиво соглашался Егор.

Он понимал, что охота тут будет большим подспорьем. Но сам он шел на Амур за землицей, пахать пашню и сеять, а не зверей ловить, и здешний порядок жизни перенимать не хотел и поддаваться никому из-за охоты не собирался. Становиться охотником он не желал. Он даже ружья не купил, хоть и мог бы сделать это, если собрал бы все гроши и поднатужился.

Он шел в Сибирь землю пахать и без своего хлеба не представлял будущей жизни ни для себя, ни для детей, когда они подрастут. По его мнению, охотник был чем-то вроде бродяги, если у него не было пашни.

А Егор хотел осесть на новом месте крепко, прочно, трудом своим доказать, что он не боится самого тяжелого дела, что не на кисельные берега и не на соболей надеялся, когда шел сюда. Он даже радовался, что рубит такой густой лес и корчует такие страшные пеньки.

Он не был суеверен, не признавал ни леших, ни ведьм, ни чертей, не был и набожен, хотя и молился. Но казалось ему, что чем больше тут положит он сил, чем трудней ему будет, тем лучше будет жить его род, поэтому не жалел он себя. Он желал подать пример и другим людям, как тут можно жить.

«Конечно, почему бы и не поохотиться на досуге? – думал он. – Здесь в самом деле грехом было бы не ловить зверей, если они сами подходят чуть не к избе».

Но бегать за ними и надеяться детей прокормить промыслом он считал позором. В жизни, полагал он, хорошо можно делать только одно дело, хотя бы и другие удавались.

Несмотря на большую бороду, Егор был еще молод: ему недавно перевалило за тридцать – он женился рано, – и он со всей страстью

хотел потрудиться. Упреки в несуразности и лени, которыми допекали его на старых местах богатые мужики, пустое; хотя и богатеи были теперь за тридевять земель и казались Егору ничтожными, но зло к ним осталось до сих пор – так они его обидели в прежнее время, так глумились, – и он хотел построить тут жизнь, которая была бы крепка и свободна. Своим трудом он воевал против старых врагов и их злой дури.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

С каждым днем все холоднее и злее становились ветры. На реке день и ночь бушевали седые валы, омывая песчаные косы.

Еще в сентябре на сопках появилась осенняя желтизна. Ветры гнали из тайги шелестящие вороха красных и желтых листьев. В октябре ударили первые морозы, выпал обильный снег.

На реке появились ледяные забереги; сопки побелели, и река между ними казалась огромным черным озером. Вскоре шуга зашуршала о забереги, и даже в сильные ветры волн на реке не стало.

Погода стояла переменчивая: то начиналась заверть – снегопад с диким крутящим ветром, снегом застилало лес и реку, видны были только кромки заберегов и черные окраины вод; то день выдавался тихий, из тумана проглядывало солнце, а в воздухе стоял по-морскому сырой амурский холод.

Исподволь наступала зима. Бердышов предсказал, что первая половина ее будет пуржливая и падут глубокие снега. Сам он после хода кеты иногда уходил с собаками белковать на ближние горы в кедровники. Жена его, оставаясь дома, чинила зимнюю одежду, делала меховые обутки, самолоры на зверей, готовила оружие к зимнему промыслу, вытачивая железные наконечники для стрел и копий.

Кузнецовы заканчивали устройство зимовки для коня и коровы. Около своей землянки, большой, просторной – не чета барабановской, – они выкопали в берегу широкую яму, укрепили в ней стены жердями и перегородили надвое. Сверху закрыли накатником и дерном, устроили вход с деревянными задвижками, чтобы зверь не подобрался ночью.

Наталью и бабку заботила Буренка. Корова была нестарая и смирная, но либо как следует не раздоенная, либо испорченная: молока давала мало, так что не хватало ребятишкам, а один сосок совсем не доился. Наталья предполагала, что вымя запустили на барже, где за коровами нехотя ухаживали каторжанки.

Наталья следила за выменем, старательно раздаивала, надеялась оживить сосок. Старуха прикладывала к вымени припарки.

Ударили трескучие морозы. Встал Амур. Над его широкими торосистыми просторами мели сухие леденящие юго-западные ветры.

Дни установились солнечные и жгучеморозные. Тоска брала Наталью, когда поутру глядела она из своего маленького оконца на ледяные долины реки. Еще по осени время от времени, весело посвистывая, проплывали мимо поселя пароходы, шли баркасы, везли товары, сплавлялись запоздалые баржи; солдаты и кандальники пели над тихим Амуром заунывные родные песни.

Теперь за окном была безлюдная снежная пустыня; редко-редко промчится под черными обрывами дальнего берега гольд в длинных низких санях, запряженных собаками.

Наталья старалась не смотреть на реку. Страшная стужа, казалось, сожжет, заглушит все живое. Идет зима, нет у семьи ни муки, ни молока, и даже ружья нет у Егора. Мало теплой одежды: все износилось, изорвалось, надо бы делать новое.

Наталья кляла казну: словно в насмешку, доставили зерно. А как его молоть? Но женщина не смела опускать руки. Она знала: если отступится, все погибнут.

Хлеб, муку и зерно крестьяне тратили понемногу. Мука почти у всех кончалась, а ручных жерновов у переселенцев не было. Надо было подумать, как молоть доставленное на барках зерно.

Егор наладил ручную мельницу: он выпилил из крепкой листовенничной чурки пару одинаковых кругляшей, набил в них осколки изломанного чугуна, выдолбил желобки и приделал ручку. Ребятишки глаз с отца не сводили. Между кругляшами, как между жерновами, перемалывалось зерно. Егор молоть обучил ребят. Работали Петрован, Настя и Васютка. Чтобы приготовить муки на квашню, ребятишкам приходилось ворочать деревянные жернова целый день.

Как ни дорога была мука, а Наталья решила делать корове болтушку.

Каждое утро по морозу шла она в коровник, разгребала глубокие снега деревянной лопатой. Буренка мычала радостно, чувствуя, что сквозь сугробы пробивается к ней хозяйка, несет корм. Открывалась дверь. Жаркий мокрый воздух с запахом навоза ударял в нос.

Наталья гладила корову, чистила ее бока в грязных завитках шерсти, садилась у вымени и, вытирая его насухо, трогала соски. Молоко струйками ударяло в подойник.

Вдруг она заметила, что из глухого соска также сочатся капли молока, едва надавишь и оттянешь его пальцами. Вот и ударило струйкой, с визгом.

Радость охватила женщину. Сосок раздаивался! Боже ты мой! Неужели корова выправится?

Васька и Настя выгребали навоз, стелили корове сухую траву. Петрован за перегородкой ссорился с Саврасым. Наталья, идя домой, взглянула на реку – ледяная пустыня уже не пугала ее сегодня так, как прежде: ведь корова-то молока прибавила!

С каждым днем корова стала давать больше молока. По утрам Наталья приносила дымящийся подойник. Ребятишки наедались досыта, и взрослым стало хватать.

Темнело рано. Дети долго рассказывали сказки, потом укладывались спать. Шумел ветер в лесу. Женщины чинили одежду при свете лучины.

Детям кажется, что теперь ничего не страшно: есть жилье теплое, ветер не продует, есть зерно, молоко... Корова в тепле. Такой ветер и стужа, а отец закрыл ее, завалил крышу. Ребятам представляется, что корове и коню в эту холодную, злую полночь так же тепло и уютно, как им самим. Они тесней жмутся друг к другу.

Однажды утром девчонка Бормотовых принесла Наталье свежего мяса.

Накануне Пахом Бормотов с Илюшкой повстречали на опушке чащи имана. Козел прибежал из тайги, по-видимому спасаясь от преследования хищников. Бормотовы погнались за ним на лыжах. Иман вяз в сугробах, дырявил наст, оставляя на нем кровавые следы. Ноги его были изранены, он убегал медленно, и охотники догнали и убили его неподалеку от поселья.

Бормотовы часто похаживали в тайгу на поиски зверя. Пахом оказался запасливей других переселенцев. Всю дорогу он питался Христовым именем и сберег часть ссуды. Летом на Шилке он сторговал себе у казаков три пары охотничьих лыж, подбитых коровятиной,^[19] а еще под Красноярском у кузнецов взял самодельную сибирскую винтовку. Из дому он привез свое старое кремневое ружье. Ночами Илюшка рубил свинец и катал карточки, заготовляя охотничий запас.

Следом за Бормотовыми в тайгу потянулся Федор Барабанов. Он собирался заняться охотой по-настоящему. На родине он ловил лисиц и рысей, ружьишко у него было. Иван отдал ему свои старые лыжи, и Барабанов бегал на них к Додьге проверять поставленные на лисиц ловушки, разбрасывал приманки тем же способом, как это делали охотники на Каме, ходил с собакой белковать на ближние горы, в кедровник.

- А куда будешь продавать добычу? – спрашивал Егор соседа.
- Весной на баркас.

* * *

– Федор, а Федор, – приставала Агафья, когда муж приходил домой, – мука-то кончается, намолоть бы хоть для ребятишек.

– О господи, господи!.. – вздыхал Барабанов и валился на лавку. И его брала тоска временами, никакого дела начинать не хотелось.

У Барабановых запас муки окончился, и они пробавлялись размолотым зерном, из бережливости подмешивая в него толченых сухих гнилушек.

Как ни раскидывал Федор умом, приходилось открывать следующий мешок с зерном.

– Федор, так как же?

Руки опускались у Барабанова. Каждый день приносил ему новые печали и заботы, новый ущерб, а прибыли с самого приезда еще ниоткуда не было.

Однажды Федор собрался с духом и попробовал подговорить Бердышова взять его с собой в тайгу на соболиный промысел.

– Однако, это дело не пойдет, – насмешливо возразил ему Иван Карпыч. – Ходи ко мне, смотри, как я ловушку лажу, а уж в тайгу вместе не пойдем – это ведь зверованье, а не ково-нибудь! – вымолвил он, состроив суровое лицо, такое же таинственное и непонятное, как и то, что он сказал.

Свое «зверованье» Иван держал в тайне. Никто не знал, когда он уходит на охоту. Только свежая лыжня на снегу указывала направление его пути.

Обычно он пропадал на несколько дней, потом так же неожиданно появлялся поутру в поселье. Иногда исчезала вместе с ним и Анга. По его неясным рассказам выходило, что и она была первейшая охотница и меткий стрелок.

* * *

В свободное от охоты время Иван частенько заходил к Кузнецовым. Покуривая трубочку, сидел он в теплой землянке и, посмеиваясь, выслушивал суждения переселенцев об амурской стороне.

– Здешняя рыба против расейской вкусом выдает, – говорил Тимоха.

– Это только кажется! – отзывался Егор.

– Нет! Ешь, ешь ее и никак не наешься, – подхватывал Барабанов. – Брюхо набьешь – и опять голодный.

– Вали в тайгу, там наладишься, оздоровеешь, – твердил Бердышов. – Белки сейчас шибко хорошие.

– Без ружья да без собаки? Куда пойдешь? Шапкой, что ли, белок ловить? – возражал Егор.

– Шапкой! – смеялся Иван Карпыч. – А почто лучком не хочешь? Гляди-ка, гольды сколько этой белки лучками стреляют. Да и орехов наберешь, их снегом сейчас навалило, только подбирай.

«Не хватало мне с лучком идти!» – думал Егор.

После снегопада Анга звала крестьянок сходить в кедрач за шишками, но переселенки боялись уходить далеко от поселья. Немного шишек набрали ребяташки на холме. Несколько малых раскидистых кедров росло на бугре над обрывом. Илюшка посшибал с них все шишки.

Иногда Иван запрягал в нарту собак и, размахивая палкой, лихо ездил.

– Скачет, как на конях! – показывал дед вслед исчезнувшей в тайге нарте. – А я думал, он просмеял меня.

– Чудной все же этот Иван, – говорил Тимошка Силин.

– Того и гляди боднет лбищем-то, – соглашался Тереха. – Нет, помяните мое слово, он когда-нибудь еще натворит делов целу

контору!..

Глядя на людей, Егор сделал себе лыжи-голицы. Подшивать их нечем. У Егора нет ружья. Мужик смотрел в окно. Луга – вот они. От самого горла озера Мылки начинались поймы и острова. Река встала, теперь дорога туда есть. «Неужто я охотиться не сумею?»

На лугах лисьих следов множество.

В заросли желтых трав, торчащих из сугробов, стал приходить Егор. Отсюда видно релку, лес за ней, дымки землянок. Кузнецов расставлял петли и капканы.

Однажды Егор принес в мешке окоченевшую лису. Он подвесил ее к потолку. Лиса оттаяла; и когда кровь стала капать на пол, мужик снял с нее шкуру, а полумерзлое мясо выбросил собакам. Одна шкурка теперь была.

В другой раз Егор пришел с охоты озабоченный. Оказалось, что он видал черно-бурую лису, мех которой ценится очень дорого.

– Иду, а она сидит смотрит. Я близко подошел – не убегает. Кинул в нее палкой, попал по ногам – убежала.

Будь у Егора ружье, он наверняка бы принес богатую добычу.

Дед Кондрат решил сам сходить за черно-бурой лисой. Егор запомнил место. Мужики отправились на остров. Егор показал свежий след хромой лисы. Старик наладил петлю и неподалеку поставил ловушку с приманкой. Но лиса не попадалась.

– Ты ее напугал, – говорил дед, – теперь она боится.

Как ни хитрили Кузнецовы, черно-бурая лиса обходила все их ловушки.

* * *

Однажды поутру, глянув в обледеневшее по краям окошечко, Егор увидел на восходе над горами правого берега темно-синюю зубчатую тучу с раззолоченными краями. В этот день начался снегопад. Ветер утих. Мокрый снег обильно падал хлопьями, наваливая большие рыхлые сугробы поверх старых, крепких задулин.^[20] В тайге от тяжести снега, навалившегося на деревья, с треском ломались ветви.

После снегопада потеплело. С реки подул чистый, свежий ветер. Под вечер ребята, отработавши в стайках и на релке, играли в снежки и делали снеговую бабу с сучьями вместо глаз и носа. Васька наладил из обрывков веревок постромки, запряг в самодельные салазки Серого и Жучку и, подражая Бердышову, кричал: «Та-тах-та-тах!» Бедные дворняги путались в веревках, Васькиных окриков не слушали, а глупо мотались из стороны в сторону, то и дело вываливая своего погонщика в снег. Вдруг из бердышовской избы выскочила Анга. В синем халате, с непокрытой черноволосой головой и с длинной трубкой в руках, она, прыгая по сугробам, подбежала к Ваське. Живо распутавши постромки, она сама помогла собакам сдвинуть салазки и, покрикивая на них, пробежала шагов сто. Когда псы разбежались, она отстала. Санки вязли в рыхлом снегу, но крестьянские собаки, хотя и не были обучены ходить в упряжке, не останавливались и протащили через сугробы визжащего от удовольствия Ваську. Ребятишки с криками восторга разбежались по берегу. Анга, стоя на своем крыльце, курила трубку и смеялась.

Усталые собаки, обежав по релке круг, приплелись к землянкам. Высунув язык и тяжело дыша, они остановились у бердышовской избы. Гольдка, лаская их, присела на корточки и стала растолковывать ребятишкам, как надо учить собак таскать сани, как ими править и как погонять.

До этого случая ребята побаивались Ангу. Теперь между ними установилась дружба. Гольдка с радостью обучала детей езде на собаках. Васька, слушая ее, объездил своих псов, а на него глядя, занялись собачьей ездой и другие ребята. Вскоре черно-белые пятнистые крестьянские собаки стали лихо таскать салазки, а Санка даже приспособился возить на них кадушку с водой от проруби.

Сама Анга понемногу привыкала к новой жизни. Говорить по-русски она стала чище и каждую пятницу приходила к бабке Дарье с просьбой:

– Корыто давай!

– На что тебе корыто?

– Стирать надо.

– Ишь ты! – каждый раз удивлялись бабы. – Ну, чего же, бери вон там в углу. А свое-то когда заведешь?

– Не знай. Иван-то уж наладит ли, нет ли, – отвечала Анга и уходила с корытом. А под вечер у ее избы ветер хлопал обледенелым бельем на веревке, протянутой меж лиственниц.

– Чистотка, – говорили про нее бабы, – не смотри, что гольда.



Когда Иван уходил в тайгу один, изба его становилась местом сборища баб со всего поселья, приходивших посмотреть на Ангу. Особенное любопытство проявляли крестьянки к тому, как она деревянным молоточком выделывала на чурбаке рыбью кожу. Сшивая рыбы шкурки вместе, она кроила и шила из них передники, халаты, обувь с загнутыми морщинистыми носами и даже штаны Ивану.

– Тепло на рыбьем-то меху? – бывало, подсмеивался над ним Егор.

– А где ты тут русскую-то одежду возьмешь? – недовольно возражал Иван. – На баркасе-то она кусается, а у китаецца и того дороже. Ладно, в тайге и так проходим. Чай, не на ярмарке, нас тут не видать.

Впрочем, такие шуточные замечания переселенцев удручали Ивана, и он озабоченно оглядывал свою одежду и вскоре совсем перестал носить штаны из рыбьей кожи.

Мужики были довольны, что, наконец, и они пробрали Бердышова своими шутками, а он на этот раз не нашелся чем отшутиться.

Из сохатых шкур Анга делала теплые куртки, рукавицы и меховые торбаса, искусно расшивая их бисером и цветными нитками.

Егор, раньше недоверчиво относившийся к гольдке, однажды, сидя у Ивана, не удержался от похвалы, глядя, как она хозяйничает.

– Ладно, значит? – с живостью отозвался Иван. – Так ничего, что нерусская?

– Это ничего. Крещеная она – значит, наша.

– Только почему ты ей не закажешь табачищем дымить? – сказала Барабаниха.

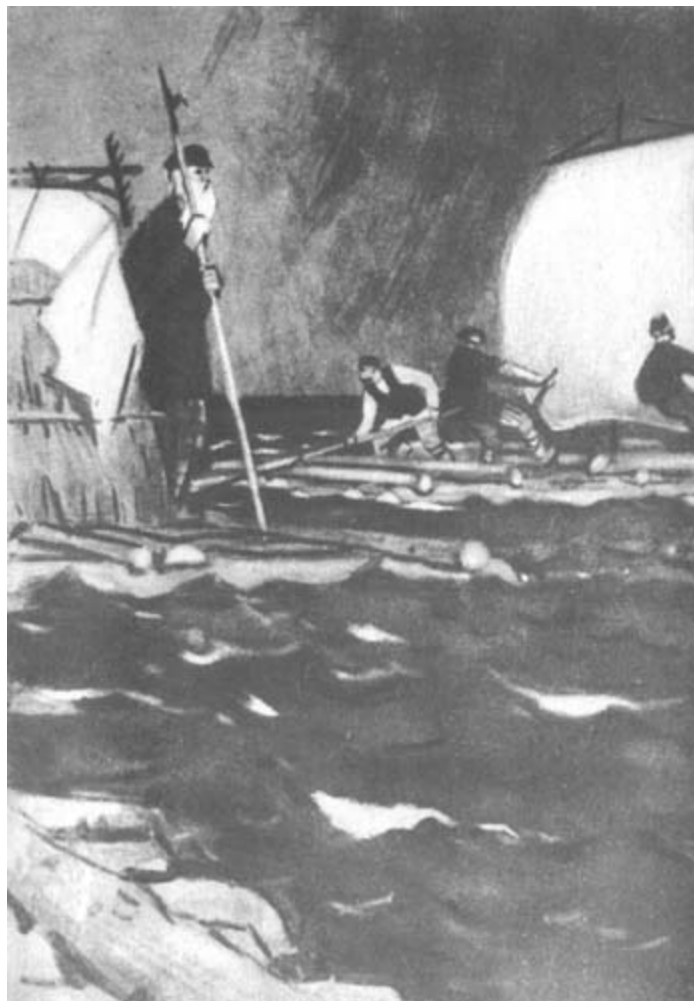
– Охотница же она, в тайгу ходит, – возразил Бердышов, – а в тайге как же без табаку? Никак нельзя. Я знал под Нерчинском старика, так тот всю жизнь эту трубку изо рта не вынимал. Длинная у него трубка была. Спать ляжет – возьмет ее в зубы и лежит посасывает. Трубка погаснет – он проснется, огоньку высекет, опять раскурит – и на бок.

Однажды, глядя в окно, как Бердышovy пошли за нартами на лыжах через Амур, Егор сказал, обращаясь к Наталье:

– Иван со своей гольдячкой в тайгу пошел. Славная она...

– Да ведь какая переимчивая, будь она здорова, скуломорденькая, все понимает, – стуча чугунами у печи, подтвердила бабка. – На все руки излаживается...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ



Непривычная рыбная пища плохо грела крестьян, они мерзли, и дух их падал, они робели и не решались на далекие путешествия в тайгу, чтобы добыть себе мехов и мяса. Быстро сказалась скудность привезенных с собой запасов. Хлеба уходило много, а покупать его было негде. Сознание оторванности от всего мира угнетало переселенцев. В свободное время или в непогоду они собирались в землянках и толковали о своих делах.

И Егора день-деньской одолевали невеселые думы. Правда, он находил себе работу и без дела не сидел, но на душе его было тяжело.

Впрочем, он знал, что хоть камни с неба вались, а он должен здесь окорениться.

Как-то раз сидел Егор у окошка и подшивал бродень, когда в землянку вбежала запыхавшаяся бабка Дарья.

– Иди-ка, Егор, бельговские торговцы приехали! – воскликнула она.

– Какие еще торговцы? – недоуменно глянул Егор. – Откуда взялись?

– Иди, говорят тебе, живо! Китайцы на собаках муку привезли да синее, бязь, что ли...

– На какие вши покупать-то станем? – покачал головой Егор и отложил бродень на лавку.

– Федор сговорился с ними в долг. Сказывают, уж на тот год осенью расчет делать будем. Ступай живей!

Кузнецов вышел из землянки. На снегу под бугром, у барабановского жилья, стояли две собачьи упряжки. Двое торговцев, одетых в мохнатые ушастые шапки и в широкие черные шубы на длинношерстном белом меху, возились подле длинных нарт. Рослый работник развязывал веревки, разгружал тюки и таскал их в землянку к Федору, а другой – сухощавый и подвижной – укладывал собак на снег и разбираал запутавшиеся постромки. Ватага неуклюжих ребятишек, похожих в своей тяжелой одежде на маленьких мужичков, с любопытством наблюдала за ними.

Это приехал Гао Да-пу – хозяин бельговской лавки, решивший ссудить новоприбывших переселенцев товарами. Мылкинские гольды донесли ему, что переселенцы, живущие на Додьге, пробуют заниматься охотой, и купец решил поторговать с ними.

Торг происходил в землянке. Торговцы скинули свои шубы и остались в синих запачканных стеганых штанах и кофтах. Они уселись на корточки на полу и раскладывали посреди землянки дабу, сарпинку, нитки и разные безделушки. В углу на курятнике лежало несколько длинных и узких мешков с мукой.

– Ну, хозяин, как на новом месте поживаешь? – весело спрашивал Гао Да-пу. В умных карих глазах его была настороженность. Бегло, но со вниманием оглядывал он собравшихся в землянке переселенцев. – А-а, Федора, Федора! Знакома имя! Почему старое место бросил? Наверно, там земли мало, на новые места надо ходить, там помещики

есть, тут нету? Моя дома тоже помещик есть, земли мало, там шибко худа жили.

Гао слышал, что переселенцы уходят со старых мест из-за малоземелья и помещиков. Он знал, о чем надо говорить, чтобы расположить к себе новоселов.

– Наша дома совсем худо, наша папка своя стара китайская Расея бросил, на новое место ушел... Своя Расея давно не видала. Ну как, паря Федора, откудава твоя ходи, какой города пришела, какой деревня, какой твоя города фамилья? Че тебе пермяка? Ребята, все сюда таскай! Как не боиза! Шибко далеко ходи! – восклицал китаец и, ворочая белками, ловил малейшее движение окружающих. – Это, однако, твоя товарища, – кивнул он на Егора. – Одна компания, на одном баркасе ходи. Там, Расея, ваша одна деревня жили или разна?

«Да, вот это китаец так китаец!» – подумал Егор.

Он лишний раз убедился, что китайцы – народ живой, это заметил он еще летом, проплывая по границе. Но там он видел китайцев-тружеников – крестьян и рыбаков, а этот был богач, ловкий мужик – с ним надо было держать ухо востро. Он и по-русски говорил так, что заслушаешься.

– Моя на китайска сторона жить не хочу. Русские самые хорошие люди! У меня только коса китайская, а сам я настоящий русский! Только по-русски писать не могу! Как узнаю, где приехали русские, сразу еду помогать. А китайцев моя не любит. Губернатор Муравьев мне тут велел торговать, всем сказал, что меня обижать нельзя! – строго оглядел мужиков торгоаш. – Моя имя русское – Ванька Гао Да-пу.

Однако голодным мужикам было не до рассуждений.

– Ну, а мука у тебя почему? – спросил Кузнецов.

– Мука? Мука, скажем, совсем даром: два рубля восемьдесят копеек.

– А ну, открывай мешок-то!

– О, смотри! – воскликнул торговец, распуская жестокое и сухое лицо в улыбку. – Хорошая мука, белая-белая мука, будет вкусный хлебушка.

Он протянул Егору горсть муки.

– Пшеничная, что ль? Чего-то не пойму.

– Я в Благовещенске такую видал, – проговорил Тимошка Силин, – она с горохом, что ли, не знаю. Кешка сказывал, хлеб из нее черствеет скоро.

– А это что такое? – спросил Пахом, указывая на черную палку, торчащую в мешке.

– Это такой угли, – ответил торговец, – чтобы мука сухой была.

– Ты пошто такую цену ломишь? – вдруг заговорил, поднимаясь с лавки, желтый и тощий дед Кондрат. – Виданное ли дело, родимые, – обратился он к мужикам, – мука с горохом чуть ли не по три рубля!

– Чего кричишь? Чего напрасно? – с горькой обидой в голосе накинулся торгаш на деда. – Зачем говори три? Два восемьдесят! Кушать не хочешь – не покупай! Весной такая мука десять рублей будет. Эту муку сегодня не купишь – не надо! Моя уезжай! А весна придет – тебе хлеба нету. Тебе весной пропади, умирай, а моя другой раз сюда ходи не хочу.

– Да ты хоть маленько уступи, – подговаривался Барабанов. – Мы бы тогда у тебя всю муку забрали.

– Уступи, уступи! – передразнил Гао. – Эта мука настояща цена три рубля. Моя и так убыток торгуй. Покупай! – кричал торговец, вскакивая на ноги. – Знакомы станем! – Он хлопнул Барабанова по плечу, видно подражая русским купчикам, стараясь принять вид заливчатский и развязный. – Тебе чего надо – у меня в лавке все есть. Вали ходи, все бери, какой товар есть – все продаю! Моя сам собаки запрягай, таскай сюда. Тебе соболь убивай, лиса лови, моя шкурка бери – расчете станем. Потом опять долг-бери.

Федор достал из темного угла несколько беличьих шкурок и лису-сиводушку.

– Белка – какой зверь! – пренебрежительно отозвался торгаш, рассматривая шкурки. – Соболь – хорошо!

– Это ты зря говоришь: белка – хороший зверек, – попытался вразумить торговца Пахом. – В Расее-то самый ходовой мех.

– Конечно, белку могу купить, помогай хочу, – подмигнул китаец Федору и передал беличьи шкурки своему работнику, а сам стал смотреть лису, поглаживая ее, дуя на мех и переламывая шкурку.

Рослый работник повертел беличьи шкурки в руках и передал их обратно своему хозяину, что-то буркнув потихоньку.

– Самая хорошая белка – десять копеек, а такая белка – пять копеек, – с горячностью проговорил Гао. – Таковую белку только русский купец летом на баркасе покупает. Наша такой товар шибко не надо, мало-мало надо. Белок невыгодно торгуй, тебе невыгодно такой зверь стреляй. Белка много убей, а товар получи мало. Все равно ничего нету. А тебе один соболь поймай – деньги есть, товар есть...

Тем временем и лиса и белки снова попали в большие руки рослого китайца, и тот упрятал их в мешок.

– Ты хороший человек, – хвалил торговец Барабанова. – Моя не боится тебе в долг давать. Тебе соболя поймай – моя разный товар давай, тебе наша мука кушай, шибко сильный будешь, потом лучок сделаешь, тайга пойдешь, всяка – разный зверь убей. Худой соболь ты поймай – моя два рубли плати, хороса соболь – три рубли, шибко-шибко хороса, паря, моя пять рублей не жалея. Товар всякий бери, водка покупай – гуляй, – соблазнял он мужиков.

– Ну, а лису как же ты ценишь? – спросил Федор, недовольный тем, что китайцы забрали меха, не спросив его согласия.

– Это лиса ничего. Хороса лиса. Такой шкурка можно покупай, – и китаец назначил сходную цену.

Бормотовы принесли торговцу беличьих меха и шкурку кабарги. Пахом был упорней Федора и спорил до седьмого пота.

Егор продал свою красную лису.

Долго торговались мужики с купцами; наконец те уступили, и крестьяне забрали у них всю муку и несколько отрезков бумажной материи, обещая отдать долг к весне мехами либо к осени деньгами.

В разгар торгового в землянке появился Бердышов, только что вернувшийся с охоты.

– Ваня, дорогой, старый знакомый! – кинулся к нему Гао Да-пу. – Давно не видались, шибко давно!

– Э-э, здорово, Ваня! – отвечал Бердышов. – Ну, как торгуешь? Муку продал?

– Продав, все продал. Тебе чего надо, какой товар? Почему давно в нашу деревню не ходил? Тятка Гришка, однако, сильно скучай. Ангу давно не видел. Папку худо забывать.

Иван вынул из-за пазухи сморщенную соболиную шкурку.

– А ну-ка, глянь!

– Лучком стрелял?

- Самострелом!
- Анга тоже в тайгу ходит?
- Конечно, Анга тоже.

Китайцы вывернули шкурку, тщательно осмотрели ее, передавая из рук в руки и обмениваясь короткими замечаниями.

– Шкурку сам снимал? – спросил торговец Бердышова. – Зачем шкурку сломал? – сердился Гао Да-пу, обнаружив, что соболь попорчен ножом. – Сам не умеешь снимать, спроси Ангу.

Это была обида – посылать охотника к бабе учиться, но Иван лишь посмеялся.

Егор знал: торговцам привычно обижать народ. Уж торгаши наглые, зато им время от времени и достается. В России то им красного петуха пустят, то прибьют насмерть. За долгие годы страдания люди с ними расплачиваются.

– Ну, а вот это как? – вынул Иван из-за пазухи еще одного соболя, вывернутого мездрой вверх.

– Это хороший! – воскликнул довольный Гао и принялся уговаривать Ивана Карпыча купить жене стеклянных бус, морских ракушек или цветного ситцу. – Твоя баба молодая, ей русскую рубашку шить надо. Ангу надо русской бабой сделать, юбку надо, сарафан. Тебе деньги не жалеи.

Бердышов все же не стал покупать материю, потому что у Гао была лишь плохая сарпинка и синяя китайская даба. Он уговорился, что лавочник приготовит ему к рождеству муки и двадцать локтей русского ситца.

– А спирту надо?

– Спирту? – Иван нахмурился, помолчал и, вдруг засмеявшись, ответил: – Что же, давай и спирту. Сдохнуть с тобой! Да уже заодно и ящичек пороху – вот и сочтемся, там за тобой еще за старые меха оставалось, спирту-то надо...

Иван как-то странно посмеивался. Но в чем тут могло быть надувательство – Егор в толк не брал.

Агафья приготовила торговцам угощение. Они попили кирпичного чайку и стали собираться в обратный путь. Гао Да-пу сложил соболей в мешок. Рослый работник вынес остатки товаров из землянки и погрузил их на нарты.

За два-три часа, проведенные среди переселенцев, для Гао Да-пу стало очевидным, что они живут бедно и голодно.

Он заметил их оживление, когда они увидели мешки с мукой. Нюхом торговаша он чуял, что тут ему будет пожива, и он стремился затеять с ними торговлю и ввести их в долги.

Гао был уверен, что со временем переселенцы обживутся и так же, как и в других поселках, станут поставлять дрова для пароходов, возить почту и охотничать, тем самым добывать деньги. Впрочем, он рисковал. Каждую весну вновь прибывшие переселенцы повально болели цингой. Многие умирали, а сородичи их, оставшиеся в живых, медленно возвращали долги. Как понимал Гао, цинга должна была к весне появиться и на Додьге, но он не боялся. Он помнил, что торговля – риск, и старался раздать побольше товара всем мужикам, надеясь с тех, кто останется в живых, взыскать убытки.

– Эй, старик! – обратился китаец к Егору, которого по бороде принял за старика. – Тебе ружье надо, нет ли?

– Ружье-то? Что ж, надо, надо. А у тебя есть, что ль?

– Одна штука есть, – китаец поднял кверху указательный палец. – Моя сам не шибко надо, моя уступи могу.

– Его охота ходи нету, – заговорил другой китаец, показывая на хозяина.

– Моя торгуй, моя тайга не ходи, стреляй не надо.

– У тебя ведь фитильные ружья-то, зачем они сдались? – заговорил Бердышов. – Нет, братка, мы себе ружье летом на баркасе возьмем.

– Ну, ничего, – без сожаления отступился китаец от своего намерения продать старое ружье. – Моя другой товар есть, че надо, говори: порох, свинец, крупа, мука, халаты.

Лежавшие собаки, видя, что сборы закончены, зашевелились. Первым поднялся вожак, а за ним и вся упряжка.

Торговцы попрощались с мужиками. Гао, закутавшись в шубу, сел на заднюю нарту. Его работник потянул переднюю нарту, пробежал вместе с упряжкой несколько шагов и, когда псы разошлись, прыгнул на нарту на мешки с товарами.

– Беда этот китаец-торгован! – промолвил Бердышов, кивая вслед Гао Да-пу. – Всякое барахло норовит насовать. Вишь ты, фитильное

ружье хотел сбыть. Хитрый же! Ему зимой-то раздолье – один он тут по всей округе. Муку он нынче подходяще^[21] оценил.

– Политичный же этот китаец! – покачал головой Федор. – Почтище друтого писаря!

– Помещика поминал! – горько усмехнулся дед Кондрат.

Собаки мчались вдоль берега, нарты быстро удалялись. С Амура неся жесткий ледяной ветер. Солнце склонилось за дальние сопки, тайга, красная от заката, раскинулась вокруг.

– Ну, слава богу, теперь с мукой! – с облегчением вымолвила бабка Дарья, когда Егор притащил мешок в землянку.

– Уж теперь настряпаю, – говорила Наталья. – Пирогов напеку. Ягода-то наморожена у меня, ягодного-то пирожка. Отмучились, ребята! Слава богу, теперь молоть зерна не надо!

Зерно оставалось для посева. Все благодарили в душе китайцев. Радовались и дети и взрослые.

«Теперь бы мне кстати поймать чернобурку, – подумал Егор. – Купили бы у торговца еще муки и на одежду».

Егор стал собираться на охоту.

«Эка он разохотился!» – думал Кондрат.

– Видишь, лавочник-то сказал мне, что надо, мол, зверя ловить... – заметил Егор.

Приезд китайца не только облегчил Егору жизнь, но и оживил переселенцев. Оказывается, и тут есть народ бойкий, торговый, оборотистый.

– Наторговались, родимцы! – бормотал дед. – Теперь в долгу как в шелку.

Дверь вздрогнула от порыва ветра, и в землянку клубящимся паром ворвался мороз.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Солнце встало в густом тумане и, поднявшись над лесом, светило тускло. В вершинах деревьев прыгали белки. Под кедррами валялись пустые шишки и ореховые скорлупки.

Федор Барабанов, волоча в глубоком снегу лыжи, забирается на сопку. С тех пор как китайцы побывали в поселье с товарами, он стал больше охотничать. Чуть ли не каждый день поднимался он затемно и уходил на Додьгу проверять свои ловушки. Он расставлял их верстах в трех-четырёх от поселья по лесистой долине, где было много лисьих следов. Там же Барабанов постреливал белок. Хорошей охотничьей собаки у него не было, и за ним иногда увязывалась его старая, уже беззубая дворняжка Серко. Обычно Федор стрелял белок лишь в том случае, когда сам их видел.

В погоне за прыгающим зверьком, переходя от дерева к дереву, Барабанов добрался до старого кедрача. Кругом были толстые деревья с красноватыми стволами и длинными иглами. В их гуще пряталась белка, и Федору пришлось долго бить по стволу палкой, прежде чем зверек решился на отчаянный прыжок. До ближайшего дерева было далеко. Белка побегала в ветвях кедра, несколько раз то появляясь, то исчезая, но глухие удары дубины о ствол снова выгоняли ее из густой зелени. Наконец, изогнувшись и жалко опустив лапки, белка со слабым стоном прыгнула через полянку. С испугу она промахнулась и попала не на ветку, а на ствол и ухватилась коготками за листовенничную кору. Она судорожно вскарабкалась наверх и заметалась по голой качающейся ветке. На миг она было притаилась, расстелив свой пушистый хвост, Федор мгновенно выстрелил. Белка перепрыгнула на кедр, но не удержалась в вершине его и стала падать.

«Готова!» – подумал Федор. Но зверек замер где-то в нижних ветвях. Барабанов с силой швырнул туда палку так, что упали кедровые шишки. Следом свалилась раненая белка и забилась на снегу. Федор добил ее и привязал к поясу.

Шишки он тоже подобрал и, пощелкивая орехи, двинулся дальше. «Да-а, вкусные орешки, – подумал он, – только пальцы коченеют. Пожалуй, что и впрямь стоит сюда прийти с мешком».

На другой день он забрал с собой в тайгу Санку и кузнецовских ребят. Те забирались на лесины, рвали шишки или сбивали их, колотя по ветвям палками. К обеду притащили в деревню полмешка кедровых шишек.

Теперь щелканье орехов слышалось во всех углах. Ореховой шелухой и смолистой кожурой от шишек, прилипавшей к одежде и к обуви, ребяташки засорили пол и лавки. Не привыкшие щелкать орехи, ребята натирали себе пузыри на языке, но все же не могли оторваться от назойливого лакомства.

Вечером в землянку к Кузнецовым заглянул Бердышов. Егор показал ему новую свою добычу – красно-пегого молодого лисовина. Зверь попал в ловушку, и бревно, прилаженное на приманку, придавило его.

– Чего же, ладно. Продашь китайцу... Только сними эту шкуру ладом, а то она ломаться станет.

Наталья поставила на стол деревянную чашу с орехами. Иван грыз их, перекусывая орехи поперек, быстро выбирая языком ядрышки из скорлупок.

– Орехи грызть за мной ты никак не поспеешь, – усмехнулся Бердышов, глядя, как Егор кусает орехи вдоль, ломает и скорлупу и сердцевину, а потом все сплевывает, не сумев разобрать языком, что можно есть, а чего нельзя. – Это еще не такие хорошие орехи: скорлупка толста, щелкать их неловко. А вот у нас в Забайкалье орехи так орехи: скорлупа тоненькая, орешек ядреный, маслянистый. Подсушат их бабы в печи, каленые-то они адали облепиха. Свежие тоже ладны. У нас и масло с них делают и сбойны. Нащелкают девки полну латку, потом заварят кипятком, распаривают, прижувывают веселком. Масло-то отделяется. Эх, у моего отца дома свой завод был: и латки, и камни, и котел! Масло мы делали ореховое. На усдобление идет. Ведь это красота!.. А уж сбойнами до тошноты объедались. Вот как хорошо жилось!

В тот вечер Иван, начавши с забайкальских орехов, вспомнил былую жизнь и долго говорил о своей семье и о родной Шилке.

Он был потомком забайкальских крестьян, которых Муравьев впоследствии записал в казаки. Отец его, небогатый скотовод, земледелец и охотник, всех своих сыновей – их в семье было трое – с малолетства приучал зверовать в тайге. Ивану парнишкой случалось

бывать на Амуре и за Амуром. Отца влекли туда слухи о том, что там видимо-невидимо зверья. Однажды Бердышовы заплутались, долго бродили по трущобе и, выбравшись на Амур, голодные и оборванные, наткнулись на китайский караул. Они еле-еле отстрелялись от него и снова ушли в тайгу.

– В те времена маньчжуры строго смотрели, чтобы русские на Амур не выходили, – говорил Иван. – А инородцы эти еще и в те времена хороши были с нами. Мы им на расторжку всякую мелочь таскали; стеклышки, нитки, сережки. Русский, бывало, у них первый гость. Нас почитали. Рисковое дело было промыслять за Горбицей, по ней раньше шла граница. Ведь, бывало, тыщу верст прешься, как не знай куда. Ну, уж если бы попались, была бы печаль.

Ушел Иван от Кузнецовых в задумчивости и расстройстве, что случалось с ним всегда после того, как поминал он родину и сравнивал старую свою жизнь с теперешней.

Живя на Амуре с гольдами, он надеялся со временем разбогатеть и богатством вознаградить себя за страдания и бедность. Хотелось ему, чтобы слух о его богатстве дошел до Шилки, чтобы и на родине услышали, как зажиточно живет Иван. В Бельго он начал жить без гроша за душой. Гольды, принявшие его, сами были небогаты. А в понимании русского человека – без земли, без скота и без хозяйства на русский лад – были почти нищи. Иван, оправившись, стал помогать им, как мог. Он жил бережливей их, не позволял торговцам обманывать себя, промыслял с настойчивостью, а не поддаваясь воле случая, как они, из года в год добывал все больше и больше пушнины. Анга быстро переняла от Ивана эту настойчивость в стремлении к богатству и помогала ему.

Но, живя среди гольдов, Иван не мог разбогатеть: приходилось делиться с ними своим достатком, платить их долги, отстаивать их в ссорах с торговцами, что ему всегда удавалось сделать если не хитростью, то силой.

Торговцы побаивались Ивана и не перечили ему. Но и он зря с ними не ссорился и со временем стал заступаться за гольдов только в случае крайней нужды.

Почти все бельговцы через жену приходились Бердышову родственниками, и отказать им в помощи он не мог. Когда они проедались или пропивались, Иван кормил их и даже покупал для них

товары на баркасах. Только часть доходов от проданной пушнины ему удавалось утаивать от своих родичей, но больших денег он скопить не мог.

С переселением на Додьгу Бердышов освобождался от назойливых родственников. Анга, которая жила мечтой обрусеть и старалась во всем подражать русским, была довольна отъездом из Бельго, хотя и скучала о доме.

Наступала решающая пора, и Бердышovy стали охотничать особенно усердно, зная, что теперь каждый лишний соболь приближает их к богатству. Воспоминания о доме всегда подхлестывали Ивана. «Поди, уж братья мои и товарищи разбогатели, – думал он. – А я все гол как сокол. За шутками и за озорством жизнь-то и минет. Что с того, что я и силен, и понимаю всякого зверя, и никогда еще не струсил! От силы мне и беда, она зря играет, на безделицу меня прет».

Иван понимал, что больше нельзя терять времени. Однако он знал, что от одного промысла ему не разбогатеть. Были у него и другие намерения...

* * *

На другой день после беседы в землянке ударил сильный мороз. Деревья заиндевели. С реки опять подул жестокий ветер.

Егор поутру пошел к Бердышову, но того дома не оказалось.

– Где он? – с удивлением спросил Кузнецов у Анги.

– Не знай, куда пошел, – уклончиво ответила та, укладывая в мялку шкуру дикой козы.

Егор догадался, что Иван, верно, на промысле.

– На охоту, что ль, пошел?

– Однако, на охоту! – безразлично ответила гольдка.

Пока Егор возвращался к землянке, на усах у него намерзли сосульки, а воротник полушубка закуржавел.

Лес стоял как мертвый. Егор нарубил дров и принес несколько охапок в землянку. Печь жарко раскалилась.

Пришел Барабанов. Он в этот день не решился пойти на Додьгу проверить там свои капканы.

Когда туман рассеялся, Егор заметил, что жена пошла с ведрами на прорубь, но что-то увидела, остановилась как, вкопанная и долго глядела вверх.

– Гляди, на небе три солнца, – сказала она мужу, вернувшись.

Егор вышел, а за ним Федя, дед, бабка и ребята.

Над вершинами лиственниц явственно светили три красных солнца: среднее – яркое и большое, и два малых по бокам, соединенных друг с другом мерцающей огненной дугой. Боковые солнца то расплывались и удлинялись, превращаясь в огненные столбы, то снова круглели.

– Я уж который раз это вижу, – говорила бабка Дарья. – Как-то утром вышла я по воду, гляжу, мать пресвятая богородица, из-за горы два солнца лезут. Я сперва сама не своя стала, а потом смотрю, которое обыкновенное-то поболее сделалось, а другое тает, тает и вовсе погасло.

– Мороз! – сказал Егор. – Как рожки с боков горят!

Холода стояли целую неделю. Потом сразу потеплело, повалили снега, и начались сильные ветры.

Однажды поутру Егор проснулся от шума и треска в тайге. Едва просунулся он в дверь, как снежный вихрь облепил его мокрыми хлопьями, ветер ворвался в землянку. Кое-как Егор выбрался наружу и стал отгребать снег от двери.

Кругом ничего не было видно. Пурга завывала и свистела в лесу, словно по воздуху с размаху секли цельными деревьями, как прутьями. Ветер дул с верховьев. Снег вдруг понесся сплошной лавиной, словно спустившаяся снеговая туча помчалась по земле, заваливая сугробами всякий холмик, пенек и кустик на релке. Но через несколько мгновений прояснело, словно тучи пронесло.

Наталья пошла по воду.

Едва спустилась она на лед, как опять застлало все вокруг. Снег слепил глаза, бил в лицо непрерывным и жгучим потоком. От быстрого ветра перехватывало дыхание. Рыхлые снега на тропе уже были глубоки, местами приходилось пустые ведра подымать вровень с плечами, но тропу еще не совсем замело. Временами рывки ветра останавливали Наталью, тогда она оборачивалась к нему спиной, чтобы хоть как-нибудь перевести дух.

Она дошла до снежной воронки, образовавшейся на месте проруби, разгребла снег, надломила тонкий ледок, настывший за ночь, и набрала воды.

Обратно идти было полегче. Ветер дул в спину, подгонял Наталью, подхватывал ее и нес вперед, а полные ведра, хотя и вязли в глубоком снегу, но прокладывали сами себе дорогу, так что за Натальей оставалось три борозды.

Только подымаясь на берег, она заметила, что ветер всю хлещет воду из ведер. Она зашагала побыстрей. Вот уже в снежной мгле зачернела дверь землянки, и в тот же миг Наталья поскользнулась на обдутом обледенелом гребне косогора и упала, перевернув на себя ведро.

Ветер сразу схватил воду и заморозил ее так, что вся одежда превратилась в ледяную корку. Ведра с грохотом покатались вниз через снежные волны.

До сих пор Наталья терпеливо сносила всякие невзгоды, но сейчас ей стало так обидно, как никогда еще не было за все годы, прошедшие с ухода из дому. Слезы полились из ее глаз.

– Господи, за что мучаемся! – с горечью воскликнула она, падая в сугроб и закрывая голову руками. Рукавички ее проледенели насквозь, и руки окоченели до жжения. Ветер стал заносить ее снегом.

Кое-как собралась она с духом, поднялась на ноги, вытерла сухим рукавом лицо, огляделась и полезла под откос. В сугробах Наталья отыскивала ведра и снова поплелась к проруби.

– Ты, Егор, ступеньки вырубь к бережку, – сказала она, возвратившись с водой в землянку, – а то, гляди-ка, я обкатилась как. – Она стала очищать одежду от ледяшек.

– В такую погоду снег надо таять, а не на прорубь ходить, – ответил на это Егор.

– Задним-то умом ты крепок, – вспыхнув и утираясь, отозвалась жена. – Да будь ты неладен со своим Амуром! Куда завез да как тут жить... На погибель ты нас завел сюда!..

Наталья расплакалась. Егор был смущен такой вспышкой жены и молчал угрюмо.

Наталья отвернула мокрое лицо. Ей стало нестерпимо больно: вдруг все обиды, все страдания этого безмерно тяжелого года подступили ей к сердцу. Она подумала, как бы пожалели ее там, в

России, на родине, если бы узнали, как мучается она с детьми. «Да нет, и не узнают никогда, мы тут как канули в воду». Она вдруг с ясностью почувствовала, что зашла с мужем на край света, что дальше идти некуда, и горше жизни быть не может, и что пожалеть ее тут некому. От этой мысли стало ей так горько, что она скривилась, затряслась и в отчаянии завывала – завывала чуть слышно, как бы не веря, что плач, рыдания могут привлечь к ней чью-то жалость. Егор казался ей в этот миг чужим, постылым. Тут и от слез не было бы толку, и она выла в тупом отчаянии только потому, что не могла сдержаться.

Егор поник. Жаль ему было жену. С ней прошел он самый трудный путь в жизни. Она была его помощником, другом. Ее теплота, совет, доброе слово грели сердце мужика и рассеивали его заботы. И вот Наталья, жена, работница, мать его детей, поддалась.

– Наташа...

Страшно ему стало, что жена поддалась, и еще страшнее было, что воеет, ревет она не для людей, не для него, а про себя, словно никому не желая открывать своих ран. Егор почувствовал себя одиноким. Семья недовольна. Неужто все не так идет?.. Он забеспокоился. Наталья была так обижена, что совсем ушла в себя.

– Наташенька... жена...

Она завывала чуть громче, отзываясь на ласковую его речь. Сердце ее просило участия, сочувствия, доброты.

Егор присел к ней. Она заревела в голос и сквозь плач стала браниться, но Егор понимал, что она уже не сердится, что это дурные думы, зло, все плохое выходит прочь из доброй души ее и что, выбравшись, выплакавшись, снова станет она сердцем с ним.

Пурга, то ослабевающая, то усиливаясь, пробесновалась целый день. А под вечер к Кузнецовым в землянку неожиданно явился Бердышов. Он вышел из тайги поутру и, как оказалось, уж отоспался, успел хлебнуть стакан водки и теперь решил проведать переселенцев. Все были рады его возвращению.

– Как же это ты, Иван Карпыч, домой-то попал, экая погода, ни зги не видать? – спрашивал его дед.

– Маленько не сбился. Однако, тогда была бы беда, – довольно смеялся Бердышов.

Набегавшись по тайге до усталости, он опять был в хорошем настроении. Охота у него была удачная, он раздобыл соболей. После

недельного шатанья по тайге в одиночку он радовался теплу и людям.

– Отец учил нас не блудить в тайге, приметы передавал. Это как грамота, еще трудней – так мой тесть-то говорит. Вот однажды отец воткнул в сугроб бутылку с водкой и говорит: «Вали по следу, ищи ее. Найдешь – твоя, а не найдешь – отдеру!»

– Ну-у!.. – открыл рот Федюшка.

– А-ах! – воскликнул дед. – Ну? Неужто так и сказал?

Иван усмехнулся.

– И выдрал, значит? – продолжал любопытствовать дед.

– Пропала иль нашел? – спросил, в свою очередь, Егор.

– Конечно, нашел, – безразлично ответил Иван, словно это само собой подразумевалось, – куда денется!

– А-а!.. – разочарованно отозвался дед, словно пожалел, что Ивана в свое время лишний раз не выдрали.

Завыл в трубе ветер, и снег с шумом забил по двери. Дрожал ставень. Лучина затрещала, вспыхнула и погасла. Наталья высекла огонь, зажгла новую лучину и воткнула ее в поставец.

– Экая лютая погода, – заметил Егор.

– Нет, не всегда и тут такие зимы. Это испытание новоселам: как, мол, не оробеют ли?

– Чего же робеть? – возразил Егор.

– Даст бог, окоренитесь, – продолжал Иван, кутаясь в козью шубу и прилегая боком на лавку. – Потомит она годик, а потом отпустит. Только бы не высокая вода летом, можно остров распахать, тогда бы уж все ладно было. А непогода – это пустяки. Вообще-то всегда бывает какая-нибудь лиха беда, когда придут новоселы: пурга ли, высокая ли вода, или другое чего.

Пришел Барабанов и стал у двери, отряхиваясь от комьев снега.

– А тебе, Федор, однако, ловушки теперь не найти, – вспомнил вдруг Бердышов. – Занесло всю твою охоту. Ты когда ее проверял последний-то раз?

– Третьеводни был, да ничего не попало.

– А на соболей-то ты ладишь самострелы?

– А как же, конечно, да все без толку!

– Ты чего-то не так устраиваешь, – посмеялся Бердышов в сознании своего охотничьего превосходства.

Рванул сильный ветер и с шумом понесся по тайге.

– Экий ветрина! – вздохнул дед. – О господи!..

– Кто по Амуру сейчас едет, тому уж горе-гореваньице, а в тайге все же не так, – сказал Иван, прислушиваясь к шуму.

– Давно слышал я, еще в Расее, – заговорил дед, – что есть будто у нас земля, а населения на ней нет. Еще тогда баили, что станут выкликать в народе охотников на переселение, а не сыщут охотников, пошлют невольников. Земля та будет сурова, не в пример холодной Расеи.

– А вот ведь, братки, не знаю я, где эта самая Расея, – вдруг сказал Бердышов. – Какая она из себя?

– Даст бог, Иван Карпыч, и тут леса порубим, земли запашем, тоже Расею сделаем – поглядишь тогда, – простодушно ответил Егор.

– Вот теперь я который год от переселенцев слышу: Расея да Русь, сам же русским прозываюсь, а где она, эта матушка Русь, откуда население все идет, – я и не знаю. Забайкалье свое знаю, Шилку знаю, Онон, Ингоду до верховьев – по-нашему это и есть самая Русь. На Селенге бывал, далее – Байкал, в Иркутске дядья мои бывали ходоками от нерчинских мужиков – везде народ по-русски говорит, и мы эти места всегда за коренную Россию держим. – Иван помолчал и усмехнулся. – А оказывается, ниче, паря, я не знаю... Гураны мы, уж гураны и есть, тайга и тайга... самовара не видали.

– Ты, может, и про Питер да про Москву не слыхал? Чего с тобой сделаешь! – молвил Силин.

– Пошто не слыхал! Там император живет, это я знаю, тамока дворцы, соборы, эти города и нам столицы. Да я не пойму только, почто тут-то не Русь? Не одинаково, что ли, с вашей местностью? – хитро прищурился он.

– У нас разве такая жизнь! – воскликнул Федор и стал рассказывать, какие хлеба родятся на Каме, какие там богатые села.

– Я послушаю, как на старых местах народ жил, меня бы, однако, медвежатиной оттуда не сманили. Чего же вы сюда приехали, коли там лучше?

– Чего ты понимаешь про Расею! – вдруг обиделся дед Кондрат. – Это страна великая, народ в ней крепкий, кондовой. Здешний-то край Расее же подчинился!

– Ваши забайкальские-то похожи на бурят, – промолвил Егор.

– Верно, на верхней Аргуни казаки на бурят смахивают, а наши-то, шилкинские, от них совсем отличны. Роды-то наши от первых поселенцев, – со сдержанной обидой возразил Иван. – Кто волей, а кто неволей шли в Забайкалье. Так же, как вы на Амур... У нас деды расейские были, русы волосы имели, еще и сейчас про русы косы до про золоты кудри песни поют, а золотых-то кудрей мало, почитай, ни у кого нет, кроме семейских. А песня-то как поет: «Подойди, родима матушка, русу косу расплети, подойди, родимый братушка, русу косу расплети...»

– Почернел народ, озлился, – усмехнулся дед.

– Это уж потом они маленько почернели. Но все равно родятся беленькими. Пока младенцы – белобрысые.

– Хитрый народ эти забайкальские! – с досадой и восхищением сказал Федор.

– Маленько-то, конечно, хитрованы. Да без хитрости нельзя. Как ты с инородцем станешь жить иначе? Наши забайкальские при границе жили, у них это хитрованство-то как заслон от чужих. Тут на хитрость только и жить. С торгованами, с албанщиками^[22] встречаемся. Тут одни торгоши. Они за работу не уважают, а уж хитрован – первый у них человек.

– Все же сибиряки не похожи на расейских, – шутливо возразил Егор, видя, что Ивана такие замечания хватают за сердце, – за своих трудно признать забайкальцев-то.

– Как разведка на войне! Прадеды наши пошли вперед, стали жить в Забайкалье, далее этот Амур наши же забайкальские отыскали. Это теперь потянулся народ из России. На Амуре-то окоренимся, а молодая-то поросль дальше, может, потянется. В Забайкалье легче было, чем тут. Буряты там ха-ароший народ, с ними жить да жить, они русского человека как следует понимают.

– А как китайцы? Что за народ?

– И китайцы народ хороший!

– Ладно, что они тут торгуют, а то бы совсем худо было, – сказал Федор.

– Конечно! Кто бы торговал? Где бы хлеб-то брали? – подтвердил дед.

– Ну, летом, ладно, на баркасе, – продолжал Федор, – а зимой? Амурские-то купчишки – зверистый народ, сам говоришь, жулики как

на подбор. Поглядели мы на них в Хабаровке, не дай бог к ним в кабалу попасть. Без китайцев бы тут трудно было. А бельговский лавочник вон какой боец да говорун, такой и обманет – не жалко.

– За присказку-то? – усмехнулся Егор.

– Сдались они тут, как в Петровки vareжки! – недобро возразил Бердышов.

Егор уже не впервой замечал, что Иван недолюбливает бельговских торгашей.

– Конечно, настанет время, уйдут, наверно, – сказал Кузнецов.

– Вестимо, – подтвердил Федор, – разве продержишься? Тут теперь с Руси полон Амур найдет народу.

– Охота мне повидать Расею, – продолжал Иван задумчиво. – Я когда-нибудь еще поеду туда...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

С приходом на Амур крестьяне плохо соблюдали старые обычаи, ели мясо в постные дни и в посты, лишь бы было где его взять; если стояла хорошая погода, то работали и в праздники и по воскресеньям, хотя и помнили эти дни. Они считали себя тут как бы свободными от прежних суеверий и предрассудков. Тут было все не так, как на родине. Старые обычаи и приметы были теперь ни к чему.

Какой же мог быть домовый в землянке! Только в пурге некоторые переселенцы еще по-прежнему видели черта, с чем Бердышов никак не соглашался.

– Все черти тут при гольдах живут, – смеялся он, – у них этих чертей, беда, шибко много, а при русских чертей нету. Поразговаривайка с Ангой, она их всех знает, где какой.

Забывались и старые песни. Давно уж не певали их крестьяне, и не хотелось петь, чтобы не бередить душу воспоминаниями о родине.

В рождественский пост переселенцы вовсе оскоромились. Бормотовы подстрелили в верховьях Додьги секача. [\[23\]](#)

К рождеству и у Кузнецовых и у Барабановых были мука и мясо, и бабы стали подумывать, как бы отпраздновать праздники, чтобы хоть чем-нибудь оживить свое унылое житье-бытье.

На последней неделе поста морозы отпустили. Стояли ясные, хотя и ветреные дни. Как-то поутру, еще затемно, в землянку к Кузнецовым ввалились Иван и Федор, одетые в полушубки и в дохи. По их движениям, как они рассаживались на лавке, и по их оживлению Егор, лежа на печке, догадался, что мужики что-то задумали.

– Ну, Кондратьич, подымайся, – хлопнул себя кнутовищем по валенку Федор.

– Чего еще затеяли? – привстал Егор.

– Праздники станешь ли справлять? – спросил Бердышов.

– Стало бы с чего их справлять, – отозвался из теплого угла дед.

– Чего тут! Ни попа, ни церкви, – возразил Егор. – Если метели не будет, робить бы, а то время только зря пройдет.

– Грех в праздник-то робить, – покачал головой Федор. Как он ни был скуповат, но погулять любил, хотя часто жалел после гулянок пропитого и проеденного. – Дело-то не медведь, в лес не убежит. А мы

было в Бельго собрались, в лавку. Думали, и ты с нами поедешь – крупки купить да и на рубахи бы набрать надо. Айда! Да и водчонки возьмем, надо же и погулеванить, а то тут вовсе зачумишься.

– И то дело, поезжай-ка, Егор, – подхватила бабка. – Настьке да Наталье на сарафаны бы привез к празднику. А то, как на Амур пришли, еще нисколечко для «женского» не брали.

– Конь у тебя застоялся, – сказал Бердышов, – слышно, как назьмы копытами отбивает. Запрягай-ка, живо промнешь его. Поглядишь, как гольды живут. Ты ведь еще не видел. Лодку тебе надо, уговоришься, сделают весной. Лыжи купишь. Забегаешь по тайге-то! Берегись тогда, звери!..

– Денег-то нету. Набрать товару не мудрено, да отдавать-то чем станем? – упорствовал Егор.

– Нам и так поверят. А отдавать когда надо будет, тогда и подумаем, – ответил Иван. – Да вот Федюшку свежи, пусть и он приглядывается, – кивнул Иван на паренька.

Тот с радостью вскочил с лавки и опрометью кинулся обуваться. Видно было, что и ему до смерти наскучила однообразная жизнь.

Ущербленная луна уже побледнела над лиственницами, когда мужики на двух санях съехали с берега на широкий амурский лед и покатали в Бельго.

Федор лежал в передних санях между Санкой и Иваном. Бердышов показывал дорогу, чуть намеченную по снегу, а парнишка правил. Настоявшийся Гнедко шел крупной рысью. Егор с Федюшкой и Тимошка Силин лежали в задних розвальнях. Егоров Саврасый, бойко перебирая мохнатыми лодыгами, следовал за передними санями, то и дело набегал на них и, потряхивая гривой, пофыркивал над головой Барабанова.

– Вот ты, Иван, все с бельговскими водишься, – говорил Федор. – А ведь Мылки к нам будут поближе, а из мылкинских ни разу никто не был на Додьге, как мы приплыли. И ты про них никогда не поминаешь.

– Между Мылками и Бельго идет вражда, – проговорил Иван Карпыч. – Они как-нибудь еще драться станут. Мылкинские и меня заодно с бельговскими считают.

– Ишь ты! Чего же это гольды не поделили?

– Из-за девок они в прошлом году поссорились. Тут в Бельго есть старик Хогота, у него сын Гапчи, отчаянный парень, он себе украл

бабу в Мылках, она была женой тамошнего богатого старика. Потом мылкинские всей деревней напали на этого Гапчи, хотели ее отбить, но ничего у них не вышло. Ну и затянулась эта канитель.

Федору только теперь стало понятно, почему Иван ни словом не обмолвился, когда Егор отобрал у гольдов невод. «Однако, это мылкинские тогда были. А ты, видно, тоже тут не без греха», – подумал он про Бердышова.

По реке навстречу едущим дул морозный ветерок. Через торосники дорога, чуть намеченная нартами и изредка проезжающими тут санями, уходила под обрывы правого берега. На середине реки топорщились глыбы битого льда, нагроможденного на мели и вмерзшего во время рекостава.

Заснеженные каменные сопки вереницей плыли назад. Крутые и щербатые обрывы их были черны. Через шесть таких сопек открылся вид на лесистую пойму, на паши^[24] и на глубокую падь, ушедшую клином, как в стены, в крутые и щетинистые хвойно-лесные увалы. Над поймой у самого берега высилась небольшая релочка с обрывами. На ней в порубленных перелесках и уютилось несколько десятков хмурых приземистых фанзушек поселка Бельго.

– Эвон кто такой? – сказал Санка, завидев поодаль от дороги человека, который приник на корточках ко льду и махал палкой вверх и вниз.

– Это рыбак, старик какой-нибудь, махалкой ловит рыбу в проруби, – объяснил Иван. – Как пристанем к лавке, ты беги с Федюшкой, погляди. Без наживы, одним кованцем^[25] таскает.

Рыбак, завидя коней, поднялся и стал присматриваться к едущим.

Бердышов показал дорогу к лавке, и вскоре розвальни, поднявшись на берег, подкатили к глинобитному дому с высокой крышей, стоявшему поодаль от стойбища.

Под свайными бревенчатыми амбарами загремели цепями сторожевые черные псы. Ездовые собаки подлаивали им.

Купцы вышли из фанзы. Гао Да-пу, спрятав руки в разрезы стеганой юбки и согнувшись, короткими шажками выбежал вперед и остановился, не доходя саней.

– Давно, давно, Иван Карпыч, ты в нашу лавку не ходи, – скалил он зубы, поеживаясь. Собрав в жесткие складки крепкое смуглое лицо, торговец поблескивал бойкими глазами.

Тут же суетились, унимая собак, его братья. Старший из них был толст, но проворен. Разогнав собак, он подскочил, чтобы поздороваться с мужиками, и стал с размаху хлопать ладонью по их рукам. Одет он был неряшливо. Грязная стеганая кофта лоснилась, на лысине торчала маленькая засаленная тюбетейка.

Младший брат, напротив, выглядел щеголем. Из-под распахнутой лисьей шубы виднелся шелковый черный халат, голову покрывала новенькая шапочка с шариком на макушке, на ногах он носил теплые туфли с толстыми войлочными подошвами; ходил он, как-то необыкновенно выворачивая пятки и покачивая бедрами. У него были живые, шустрые глаза и острое тонкое лицо с тяжелой и неприятной нижней челюстью. Несмотря на разницу во внешности, и у грязного толстяка и у щеголеватого юноши был одинаковый вид сытости и довольства. Старший – обжора и здоровяк, а младший, как видно, имел слабость рисоваться и во всем подражать богатым городским купцам.

Иван Карпыч называл их Василием и Мишей, а самого хозяина – Иван Иваныч или просто Ваней.

Работники притащили два старых овчинных тулупа и накрыли ими коней, как попонами. Щеголеватый Мишка время от времени резко покрикивал на работников, стараясь показать себя перед мужиками хозяином.

Гао Да-пу обнял Бердышова и повел гостей в фанзу. Там оказалось несколько гольдских женщин; толстяк выгнал их вон, едва русские вошли в дверь. Фанза была полна разных товаров, шкур, китайской мануфактуры, посуды с вином. На канах^[26] стояли лакированные столики. На всем лежал отпечаток благополучия хозяев.

Мужики и торговцы, как обычно во время купли-продажи, заспорили, зашумели, стараясь перекричать друг друга. Брань повисла в воздухе.

Федюшка и Санка, обогревшись, выскочили из лавки и побежали на Амур к проруби. Там сидел горбатый седой гольд, одетый в коротенькую шубейку, и махал своим самоловом.

Едва ребята к нему приблизились, как он выдернул из проруби щучку. Высвободив из-под жабер вершковой крючок, гольд кинул рыбу на снег. Она забилась и запрыгала, но морозный ветер быстро обледенел и усыпил ее.

Ребята, оглядевшись, осмелели и подошли к рыбаку вплотную. Он поднял к ним дряблкое лицо с большими глазами и заискивающе улыбнулся, показывая свой самолов. На короткой палке, на конце поводка, была прикреплена деревянная рыбка, обшитая мехом белки-летяги, а повыше ее – железный крючок. Таково было все устройство снасти.

Старик оказался добрым. Слов его ребята не понимали, но он изобразил движениями, как щука играет с деревянной рыбкой, пытаясь ее проглотить, и зацепляется жабрами или боком за прыгающий в воде остроконечный крючок. Самоловы с ненаживленными крючками ребята видели и по дороге у амурских казаков, но такую простую махалку они наблюдали впервые.

С берега сбежали, направляясь к проруби, двое расторопных гольдят. Однако, разглядев чужих, они помчались обратно, и, как ни кричал им старик, они его не слушали и скрылись в одной из фанз. Гольд сам собрал зачоченевших щук и, ворча, отправился через сугробы, а Федюшка с Санкой возвратились в лавку.

Мужики набрали водки, ситцев, табаку и разной мелочи. Поскидав дохи и полушубки, они, сидя на теплых канах, пили горячий чай. Торговцы поднесли им по чашечке ханшина; бородатые лица переселенцев покраснелись и повеселели.

Разговор шел о землепашестве на Амуре.

– Моя тут маленький огород есть, – рассказывал Гао Да-пу. – Огурец есть, брюква, капуста. Тоже каждый год землю копаем. На Горюн переселенцы первый раз приехали – моя раньше думай, как они в тайге пашню делают? Потом смотри – его тайга рубили, землю копали, хлеб посеяли. Потом другой год хлеб собирали. Его шибко работай – хлеба немножко, совсем мало получи. Моя думай, ваша шибко много лес руби не надо. Надо соболя ловить, соболя поймашь – барыш получишь, мука, водка купи – гуляй можно...

Гао Да-пу советовал мужикам охотничать, суля большие выгоды.

Иван, между прочим, узнал бельговские новости. Оказалось, что в стойбище, кроме женщин, детей и нескольких больных стариков, нет никого. Охотники, ушедшие на промысел осенью, из тайги еще не возвращались.

Погостив в лавке, мужики направились в стойбище с намерением выменять у стариков кой-какие необходимые вещи. Покупки уложили

в сани, распростились с торговцами. Иван, встав на колени в передних розвальнях, тронул вожжами Гнедого. Мужики двинулись пешком вровень с санями, переговариваясь с Бердышовым.

Едва сани переехали редколесье, отделявшее лавку от стойбища, как на улице началось необычайное оживление.

Нарядные гольдки в ярких халатах стали перебегать из фанзы в фанзу или, открыв дымные двери своих жилищ, громко переговаривались между собой, с улыбками поглядывая на мужиков, одновременно и смущаясь и всячески стараясь обратить на себя их внимание. Из лачуг несся оживленный смех.

– Это ведь для нас они, дурехи, вырядились. А то они в рвань ходят, в халатишках из кетовой кожи, – говорил Иван. – Увидали и понадевали на себя всего: и шелка и серебро, чего у каждой лежит.

– Бабы же! – отозвался Егор.

– Тут сейчас бабье царство, – засмеялся Иван, – а торговцы чего хотят, то и делают с ними. Мужья все в тайге, а старики сами всего боятся. Тут сейчас меньшей лавочник, как петух, всех этих баб подряд топчет. А мужики где-нибудь для него же добывают меха.

– Как солдатики, – вымолвил Егор. – Эх, бедность, бедность, – вздохнул он, – везде так-то бывает!

Подле длинной глинобитной фанзы стоял давешний горбатый рыбак. Он бранил низкорослую женщину с серебряным кольцом в носу, стоявшую на дороге. Как видно, женщина наскучалась за зиму и сейчас была в сильном волнении. Она поводила плечами, закатывала глаза и вертела головой, желая, чтобы на нее посмотрели новые люди. Из-за ее желтого халата, расшитого красными узорами, со страхом выглядывала орава ребятишек, мал мала меньше, с глазами, воспаленными от болезней и дыма, с лишаями на лицах, с жестковолосыми черными головами.

Иван поздоровался с горбатым гольдом, и тот, оставив игривую молодуху в покое, поспешно заковылял вровень с санями.

У следующей фанзы, покуривая, сидели двое древних стариков. Один из них слепой, другого согнуло в три погибели от какой-то болезни. Иван вышел из саней и заговорил с ними по-гольдски.

Сопровождаемые тремя стариками, мужики вскоре подошли к дому Удоги – тестя Ивана. Жилье его отличалось от других. В углу сложен очаг наподобие русской печки, а пространство между канов

устлано вымытыми и выскобленными досками. На канах стояли русские сундуки, а в окна вставлены стекла.

Айога и ее сынишка Охэ с восторгом встретили Ивана. Хозяйка хлопотала об угощении.

У всех бельговских гольдов вдруг оказались неотложные дела к Айоге, и они то и дело забегали в фанзу. Некоторые из них, посмелее, усаживались в сторонке, у очага, и с таким видом слушали разговоры приехавших, что казалось, никакая сила не смогла бы сдвинуть их с места.

Айога приготовила гостям кашу с сушеной кетовой икрой. Охэ, полнощекый коротыш в ватной курточке, не отходил от Ивана и ластился к нему, терся большой и чистой стриженной головой о его колени.

– Чего же ты на охоту не ходишь? – спрашивал его Бердышов. – Большой уж, свои нарты пора заводить.

– Тятка не берет, – чисто по-русски ответил ему Охэ.

– Пора бы тебе белок стрелять, как же это ты? Шаманом, что ли, будешь, пошто ленишься в тайгу бежать? – дразнил его Иван. – Еще не собираетесь помириться с мылкинскими? – обратился Иван к старикам.

Бали – гольд с бельмами на глазах, со впалыми щеками и редкими волосами на верхней губе, шамкая, стал с трудом говорить, что Хогота хоть и старик, но еще крепкий и до сих пор ходит на охоту. Ему удалось поймать медвежонка, и он теперь выкармливает его, а летом хочет заколоть, устроить праздник, позвать в гости мылкинских и мириться с ними.

– Ты бы, Ванча, помог нам помириться, – смахнул слезу Пагода.

Это был согнутый болезнью старик со страшной головой. У него на темени седой щетиной торчали стриженные волосы, а маковка и затылок были обнажены, голая кожа на них красна, узловата и морщиниста. Когда-то Пагода попал в медвежьи лапы. Зверь сломал ему шейные позвонки и, ухватив когтями затылок, содрал кожу с головы. Согнулся же Пагода недавно от ломоты в пояснице, так что при ходьбе он касался правой рукой земли.

– С тех пор как ты уехал от нас, нам жить плохо стало, – жаловался старик.

– Нынче весной, если не помиримся, беда будет! – Сказав так, горбатый Бата заморгал красными безволосыми веками. – Мылкинские могут у нас всю деревню перебить. С копьями нападут, станут всех колоть.

Мужикам пришлось долго слушать непонятную беседу Ивана со стариками. Наконец Федор не вытерпел и заговорил о деле. Бердышову и самому надоели жалобы гольдов, и он рад был завести с ними другой разговор, тем более что заступаться за гольдских баб и ссориться из-за них с торговцами он совсем не собирался. Он стал переводить, и мужики через него завели беседу со стариками.

Егор и Федор условились с Батой о цене лодок, которые делал его сын.

Старики брались вязать мужикам невода и сети, делать снасти, шить меховую обувь, шапки, куртки для охоты. Все эти работы они собирались задать своим дочерям, внучкам и невесткам. Однако мужики еще робели сделать гольдам сразу так много заказов и не воспользовались их предложениями.

Тимошка Силин сторговал себе пару лыж.

Старики были очень рады приезду переселенцев. Они подробно отвечали на все их расспросы и всячески старались удружить им. Старым гольдам была приятно, что и они еще кому-то нужны и что нашлись люди, слушающие со вниманием их советы и наставления.

Мужики погостили в Бельго до вечера, смотрели фанзы, амбары, запасы юколы, нарты, собачью упряжь и ездовых собак, самоловы, самострелы и копья. Они побывали около дома Хоготы, где в бревенчатом срубе сидел молодой медведь, предназначенный для угощения мылкинцев.

Прощаясь, Иван звал Айогу на рождество вместе с Григорием и Савоськой, если те к празднику вернутся из тайги.

Затемно мужики двинулись в обратный путь. Ударил сильный мороз, мгла окутала реку, лесистые распадки по склонам сопок казались огромными синими птицами, парившими над ледяной безмолвной пустыней. Мужики кутались в шубы и тесней жались друг к другу, но мороз все же находил себе лазейку. Приходилось соскакивать с розвальней и бегом бежать за конями, только так можно было немного согреться.

Егор, отъехав верст пять и набегавшись, повалился на сено и задремал. Спал он недолго и поднялся, весь дрожа от холода. На реку спустился густой туман. Саврасый, побелевший от инея, перестукивал копытами.

– Не спи, Кондратьич, замерзнешь, – услышал Кузнецов глухой голос Тимошки, толкавшего его в бок. – На-ка тебе!

Силин протянул бутылку. Егор пригубил. В груди его полыхнуло жаром. Федюшка тоже выпил несколько глотков, и братья, соскочив с розвальней, побежали за скрипящими полозьями. Тимошка, закутавшись в тулуп, сидел в санях неподвижно, как бурхан.

Жар горел в теле Егора, лицо жгло и ломило от мороза, дыханье перехватывало. С разбегу он опять повалился на сено. Тимошка снова достал бутылку и, потянувши из горлышка, сунул ее Егору. Кузнецов выпил, завернулся в доху и лег ничком. Голова его кружилась, теплая истома полилась в ноги и руки.

– Эй, там! – закричал вдруг Тимошка, обращаясь к передним саням. – Не спите! Какие-то навстречу едут. Слышь, собаки заливаются...

Егор прислушался. Скрипели полозья, екала селезенка у Саврасого. Конь тяжело дышал и шебаршил копытами по дороге. Откуда-то из темноты вдруг явственно донесся собачий лай.

– Берегись, Тимошка! – громко и насмешливо отозвался Иван. – Едут не наши, а чужие! Шибко едут, держись!

Лай становился все громче и ожесточеннее. Вдруг с передних саней послышались испуганные крики Федора, и сейчас же их перекрыли чьи-то чужие гортанные голоса.

– Никак встретились! – воскликнул Тимошка. Он нахлобучил шапку и, на ходу выпрыгнув из розвальней, исчез во мраке.

Саврасый остановился. В тумане послышались громкие голоса, что-то не по-русски говорил Иван Карпыч. Егор пощупал, не вылетели ли из саней обшвы, что он вез жене. Нет, целы. Ну и слава богу! Он обошел сани и, проваливаясь в снег, направился по сугробам на голоса.

У передних розвальней он различил Бердышова и Барабанова, переругивавшихся со встречными. В своих огромных шубах те походили в тумане на большие соборные колокола. Они обступили мужиков полукругом, сдерживая своих злобно рвущихся собак.

– Ведь он же кричал тебе, – говорил Бердышов, обращаясь к рослому встречному.

Двое людей в шубах оттянули своих лающих собак с дороги и стали их бить.

– Чего случилось-то? – спросил, подходя, Егор.

– Вожак, кажись, укусил Гнедка за ногу... Как встретились, он захрипел и схватил его, – уныло ответил Федор.

– Не захотел с дороги свернуть! – подтвердил. Иван.

Заиндевевший конь стоял, понуро опустив голову.

Между тем из темноты подъехали еще нарты. С них слезли двое и присоединились к толпе.

– Гляди-ка, сколько их едет, – почесал затылок Тимошка.

– Егор, бери-ка мое ружье! – сказал Бердышов.

Кузнецов схватил из розвальней винтовку. Один из встречных, небольшого роста, в пышной шубе с высоким воротником, очевидно хозяин, что-то кричал своим, по-видимому приказывая уступить.

Бердышов пристально вглядывался в него.

– Иван Карпыч, да не трожь ты их, ладно уж, поехали, – заговорил Федор, опасаясь, что начнется драка. – Может, не укусил, не видно... Что зря... Не допусти до греха, бог с ним.

Тем временем встречные быстро собрались и с криками погнали собак.

– Ишь, с пустыми нартами поехали, – зло вымолвил вслед им Бердышов. – Не отняли бы, я бы с ними сцепился, насмерть забил, – говорил он, надевая доху. – Это маньчжурец поехал, начальник их, тварюга! До сих пор они из Китая потихоньку на Амур ездят, гольдов грабят. И дороги не дает, едет как начальник. Они и русских убивают, глаза им выкалывают!

Бердышов пересел к Егору, и розвальни тронулись.

– Ну, Егор, теперь согрелись, не замерзнем! – вдруг неожиданно весело проговорил Иван. – Можно ехать хоть всю ночь, – и он завалился на бок. – Маньчжурец этот ходит сюда на грабежи. Тайно албан – налог – с гольдов берет, пугает их, а они боятся – платят. Русских, говорит, всех надо убить. Если кто соболя не отдаст, уши отрежет. Раньше они летом приплывали, а теперь норовят зимой, пока полиции нет. Они к весне стойбища объезжают и зимние меха берут, а наш исправник живет себе в Софийске, не тужит. Ему хоть бы что!

– Почему собаки коня схватили? – спросил Федюшка.

– Вожак всегда хватается всякого, кто на дороге встречается. Не любят ездовые собаки, когда дорога занята. Если две чужие упряжки встретятся да ездоки недоглядыт – как схватятся, начнут кататься, ну, беда, народом приходится их растаскивать.

– Слышишь, Иван, а почему ты знаешь, что это маньчжурец поехал? – спросил Тимошка. – Может, китайский торгаш?

– Нарты пустые, да и народу много. Они помалу боятся ездить. Все равно никуда не денутся, будет время – попадутся, придет их черед. Мне бы только этого нойона встретить, самого бы главного. Уж он старик старый, рябой, а злой же – хуже медведя. Беда, как его гольды боятся. Он в прежнее время на Пиване царевал, потом уж погнали его оттуда, – усмехнулся Бердышов. – Черт его душу знает, не он ли это поехал? Может, я спьяну не разглядел...

В поселье мужики вернулись поздно. Пока они ездили, женщины выскребли и вымыли землянки, перестирали одежонку, а бабка Дарья повесила в угол на икону белое вышитое полотенце. По сибирскому обычаю стены убрали пихтовыми ветвями, и в жилье пахло свежей хвоей.

На другой день началась стряпня. Наталья напекла рыбных пирогов, а со звездой, в сочельник, Кузнецовы всей семьей выпили ханшина и попели старые песни. Дед оживился и весь вечер рассказывал ребятам сказки.

– Лунь пловет, лунь пловет, – окал он в углу, – сова летит, сова летит...

Попозже пришли Иван с Ангой. Вскоре в землянку собрались все переселенцы. При свете лучины водили хороводы, пели, плясали и разошлись глубокой ночью.

Мела метель. Снежные кудри вились под тускло светившимися окошечками землянок. Хлопья снега, падая на распаленные лица мужиков, таяли и леденели на усах и на бороде.

– Нечистый дух и в праздник покоя не дает, – жаловался Тимошка, пригибаясь и еле шагая против ветра, прячась за широкую спину Пахома.

– В праздник-то самый от него морок, – пояснил ему пьяный Бормотов. – Он тоже это дело понимает.

Егор втайне не любил праздников, всегда жалел бесцельно прошедшее за гулянкой время. Тем более тут, на Амуре, где не было ни попов, ни церквей, праздники, по его мнению, были совсем ни к чему. Впрочем, он всегда старался следовать тому же порядку, что и окружающие. Видя желание семьи погулять не хуже людей, Егор не стал перечить; он съездил в лавку, взял вина, гостинцев и созвал гостей. Но даже в это время из его головы не уходили заботы о деле. Работа его спорилась больше, чем у других. Сквозь бедность и голод Егор предугадывал впереди достаток. Вся его душа, все его радости были в труде, в стремлении к этому достатку, и лишняя поваленная лесина доставляла ему большее удовольствие, чем водка, угощения и бесконечная болтовня мужиков.

На первый день рождества гуляли у Ваньки Бердышова, как под пьяную руку звали на праздниках Ивана Карпыча. Пахом и Тереха Бормотовы взялись корить Барабанова за то, что он сменял им на кабанину плохую муку. Слово за слово, Пахом разошелся и помянул Федору старые грехи.

– Слыхал я, пошто ты из дому ушел. Не с добра ты на Амур перекинулся! – кричал он, ударяя кулаком по столу так, что тарелки прыгали. – И тут за прежнее берешься, – стыдил он Федора при народе.

– А ты, Пахом, зря старое вспоминаешь, – заступился за соседа Иван. – Вот сказал бы этак сибиряку, из каких-нибудь не помнящих родства или ссыльнопоселенцев, и тут же с тебя бы душа вон. Чего с кем было на родине, не нам с тобой судить, а тут мы все одинаковые. Крепостных до «манифеста» и то освобождали, если они заходили на Амур. А мука, – хлопнул он по костлявому плечу Пахома, – какая бы ни была, дороже здесь, чем зверятина.

– Вот это ты верно сказал, – согласился Пахом, трясая бородой. – Но пошто, будь он неладный, горклую-то отдал и не сказал? Сказал бы, ладно уж, все равно мы бы взяли, а то в обман ввел.

Дело чуть не дошло до кулаков. Иван утихомирил Пахома и Тереху.

На другой день после бердышовского угощения большинство гостей его болели, отравившись крепким ханшином. Однако к вечеру мужики, несколько оправившись, снова собрались пить у Тимошки.

Тимошкина жена, сухопарая Фекла, измученная работой и голодом, обычно ворчливая и крикливая, была охотница до самого безудержного веселья, словно на праздниках, под хмельком, когда забывались заботы и печали, старалась она скорей наверстать радости, упущенные в бедной и скучной жизни. Несколько дней перед рождеством она старалась изо всех сил: скребла, стирала, мыла и стряпала из скудных запасов муки рыбные пироги.

Фекла опьянела. Она пела и плясала, ее изможденное худое лицо зарумянилось, она буйно веселилась, топчась с платочком в руках по землянке, выкрикивая плясовую и не обращая внимания ни на кого, словно плясала она не перед людьми, а лишь для одной себя; большие, лихорадочно блестящие глаза ее блуждали.

Братья Бормотовы примирились с Федором, стали обниматься, пороняли на пол дорогие Фекле глиняные чашки. Барабанов, прослезившись, клялся мужикам, будто сам не знал, что мука была прогорклой, и Пахом, наконец, великодушно простил ему обман.

Гости поели все Феклины угощения, выпили водку, нагрязнили в землянке, побили посуду, поссорились, перецеловались и разошлись. Пьяный Тимошка изругал и больно ударил Феклу.

Так минуло рождество, прошел хмель, веселья как не бывало. Снова перед крестьянами были лишь темные землянки, орава полураздетых ребятишек, убогий скарб, худая одежонка и скудные запасы пищи.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ



– Ну, Ивану есть с чего гулять, он богатый, а ты куда лезешь? – упрекал Егор Тимошку. Они сидели на релке, на лиственнице, только что срубленной Егором. – Разве нельзя собратиться песни попеть, сплясать да и водочку попить, но все бы ладом, не тужиться из последнего. Нет, ведь нороят все вывернуть. Ты, что ль, боишься, что на твой век веселья не станет? Ты думал бы, как робить да робить! Ан робить-то нам неохота, нам бы жар-птицу поймать в лесу. Нищие мы, жрать нечего, а на уме пьянство да гулянство. Нам бы тайгу-матушку чистить, а мы все языки чешем, кто прав, да кто виноват, да что зачем, чтобы причина нам была лодырить. Самих себя обманываем, причину

находим: мол, холод ли или еще кто виноват. Языком-то чесать легче, чем робить, сомнениям-то всем твоим грош цена. Э-эх, родимцы, мужички!.. Пошто через Сибирь шагали, али чтобы испиться тут? Китаец-то этот разок-другой даст муки тебе, а после в шею погонит, да долг-то обратно потребует. Кто тебе тут поможет, у кого ты милостыню просить станешь? Тут и по миру некуда пойти.

– Правда, Кондратьич! Да и то сказать, где нам с бедности-то ума набраться, кабы нам это понять! Богатый-то, сказывают, и ума прикупит, а бедный так и есть дурак дураком, – вздыхает Тимошка, глядя на ясное небо. Лицо у него маленькое, рябоватое, с клочковатой бороденкой. Он ухмылялся виновато.

– То-то!.. – хмурился Егор, не понимая толком, что Тимоха хочет сказать.

Подошел Федюшка с наточенными топорами. Егор поднялся, подступил к лесине и стал обтаптывать вокруг снег. После крещенья братья работали от зари до зари. Рубили лес и заготавливали дрова и бревна для будущих построек.

– Возьми топорик да пособи нам, – сказал Егор сурово.

– Дай-ка мне топорик-то, я тоже разогреюсь, – попросил Тимошка через некоторое время, глядя, как бойко и весело братья застучали топорами по березе.

Федюшка засмеялся и отдал топор Тимофею. Тот оживился и заработал с видимым удовольствием.

– А пошто же у себя не робишь? – спросил его Кузнецов, когда лесина с треском повалилась поперек лиственницы.

– Видать, застоялся ты, – смеялся Федюшка. – Как покраснел! Живой опять стал.

– Чистил бы у себя, вот бы и ожил, а то замерзнешь, – твердил Егор.

– Никак не соберусь, – поскреб в бороде Тимошка. – Ведь я один...

– Приходи нам пособлять, а потом мы поможем тебе. Вот и будешь на людях, и работа пойдет.

– При людях, конечно, веселее работать, – обрадовался Силин, – а один я никак не могу. Как гляну я на эту тайгу, тоска меня берет: экая ведь трущоба, да разве один человек тут может? – смущенно признался он. – Я, может, оттого не роблю, что это все понимаю. Да и

как возьмешься, когда все неладно? – с виноватой улыбкой продолжал он, как бы оправдываясь, что позволил себе такое откровение. – Вот теперь Фекле неможется, голова у нее болит, в глазах темнеет, кости ломит, кровь с десен идет, сама она не своя, цинга, что ль, на нее наваливается?

– У нас дедка тоже зубы изо рта таскает, – улыбаясь, вымолвил Федюшка, словно это было смешно и забавно. Для Федюшки в его скучной жизни и дедова немочь была чем-то вроде разнообразия. – Бабка его пользует, – продолжал он. – Ты спроси-ка ее. Она знает траву такую, у нее она засушена, с собой. Будто помогает.

– Это, сказывают, уж каждому надо тут цингой переболеть, никуда от нее не денешься. Лечить ее, поди, зря только время проводить. Наверно, перетерпеть надо – и все. Не стоит и лечиться.

Тимошка все же пошел к Дарье. Старуха побывала у Феклы и велела ей пить пихтовый отвар. Но, несмотря на бабкино лечение, чем теплее становились дни, тем все хуже было Фекле.

Тимошка стал работать, помогать Кузнецовым, а Егор и Федюшка каждый третий день работали на его участке. Тимоха оказался мужиком сильным и работающим. Работая на чужом участке, каждый старался, чтобы не остаться в долгу.

...Дед Кондрат стал плох и уже с трудом выходил из землянки на солнышко.

После Нового года погода стояла переменчивая. То солнце пригревало, и как будто дело шло к весне, и даже однажды в тихий день на солнцепеке подтаяли снега; Егор с Федюшкой, чистившие в этот день тайгу, слегка покраснели от свежего загара. То вдруг снова ударял мороз, как и в начале зимы, лес и реку окутывал туман, и холодные ветры осаждали поселье то сверху, то снизу. Однако морозы были уж не такие стойкие, и, если не было ветра, стоило в ясный день солнцу разогреться к полудню, как холод несколько спадал. Все же, по мнению переселенцев, январь стоял студенее, чем на родине.

Федор Барабанов после праздников старательно охотничал. Он уходил теперь надолго, ночевал в тайге.

Санка был постоянным спутником и помощником отца. За последний год парнишка поздоровел, раздался в плечах, нагулял щеки, стал смугл лицом. Он уже начал покуривать табачок, с ребятами разговаривал небрежно, поглядывая на них с высокомерием, и терся

около мужиков. Во всем его облики сквозили смышленность и пробуждающаяся хитроватость промысловика. Он ходил вразвалку, лениво и в то же время шустро поглядывал по сторонам бойкими светлыми глазами, как бы чего-то все время высматривая. На промысле он был проворен и приметлив. Ему иногда даже удавалось и такое, что не всегда мог сделать сам Федор. Умел он делать дело и помалкивать, в чем был противоположностью Федюшке Кузнецову, который хоть и старше его и на вид казался рослым, здоровым пареньком, но в душе оставался еще подростком – простым, наивным и добрым.

Побывав у гольдов, Санка и Федька устроили себе такие же самолёвы, какие видели они у горбатого Баты. Однако за работой Федьке редко удавалось половить у проруби рыбку. Зато устройство махалки живо переняли другие ребята. Из обломков гвоздей они сами ковали и обтачивали крючки, раскаляя их в печках.

– Какую вы тут кузницу затеяли? – ругала бабка Ваську и Петрована, стучавших у порога. – Может, нужный гвоздь-то стащили. Тут всякая железка дорога.

– Ладно, бабка, – с сердцем отмахивался Васька, увлеченный работой.

– Я тебе дам «ладно»!.. Разве это игра? Вот схвачу тебя за вихры – будешь знать. Вон бери лопату да ступай стайку чисти. Дела полон рот, а им в забавы забавляться.

Санка Барабанов, ходивший с отцом на охоту, смилостивился над ребятами и подбил для них белку-летягу, чтобы было чем обшить деревянные рыбки, вырезанные для самолёвов.

Когда Бердышова не было дома, меньшие ребята со всякой просьбой бежали к гольдке, с которой водили дружбу с тех пор, как она учила их объезжать собак.

Анга, пополневшая – она была беременна, – садилась посреди избы на пол, ребяташки окружали ее, и она помогала им ладить самолёвы.

Однажды веселая ватага ребят ввалилась в землянку Кузнецовых. Плохонькая одежонка детей затвердела от мороза и запорошилась от возни у прорубей.

– Ты где это заваялся?

Наталья растолкала малышей, подбираясь к Ваське, но не договорила и ахнула, всплеснув руками. У мальчика из-под мышки торчала большая пятнистая рыба, несколько мерзлых щучек он придерживал рукой, приподняв полу шубейки.

– Ах, пострел! Никак, сам добыл! – с добротой в голосе воскликнула бабка.

Васька сжал губы и гордо сверкнул голубыми глазами. Побледневшее за зиму, острое, решительное лицо его зарделось.

В дверях появился Петрован с самоловом. Важно и небрежно оглядев всех в землянке и оставаясь безразличным к радости матери и бабки и к визгу Настьки, он стал раздеваться и как бы невзначай поставил махалку на видное место у окошка. Он разулся, повесил ичиги на большой деревянный гвоздь и полез на лавку. Остальные ребята выбежали за дверь и с криком понеслись по морозу к своим землянкам.

Все радовались добыче Васьки и Петрована. Рыба осеннего улова всем надоела, и свежая добыча пришлась кстати.

– Эх ты, кормилец ты мой! – поцеловала меньшого Наталью.

Теперь на ребячью махалку все стали смотреть совсем по-иному.

– Кто же это вам такую снасть показал? – спрашивала ребят бабка, трогая рыбку и крючок.

– Федюшка с Санкой у гольдов подсмотрели, да Иванова тетка нам помогла, мы к ней бегали за нитками, она нам балберы пришивала, – рассказывал Петрован небрежно, как о чем-то давно прошедшем.

– А у нас ведь на Каме тоже на ненаживленные крючки ловят, – сказал Егор, возвратившись домой и рассмотрев сыновьи самоловы. – Это, говорят, русские обучили гольдов.

– Не знаю, кто кого, русские ли гольдов, гольды ли русских, – рассудительно отвечал Петрован.

С того дня ребят посылали к проруби за рыбой, как в кладовку. Вскоре ловля щук стала для них такой же работой, как помощь отцу на релке или уход за коровой и за конем.

После рассказов ребят о том, как Анга им помогала, Наталья стала чаще бывать у Бердышовой. Она видела, что гольдка славная и добрая женщина. Анга, тяжело переносившая беременность, за последнее время особенно чувствовала свое одиночество. Русских баб она все

еще несколько стеснялась. Иван пропал на охоте, родные были далеко. Ее влекло к детям, с ними она чувствовала себя как равня, а они были рады, что во всяком деле у них есть советчик. Но все же гольдка была одинока. Наталья, чувствуя это, потянулась к ней.

Больная Фекла все более и более водилась с Бормотовыми, которые жили большой и дружной семьей несколько поодаль от землянок Кузнецовых, Силиных и Барабановых, сажень в ста выше, ближе к старому стану. Фекле было трудно ходить на верхний конец, и она добиралась туда лишь в случае крайней нужды, но жены Терехи и Пахома Бормотовых бывали у нее постоянно, туда же захаживала часто Дарья.

Другая соседка Кузнецовых – Агафья, была женщина грубая, жесткая и завистливая. Наталья и прежде особенно с ней не дружила, хотя и встречалась с утра до ночи по многу раз. Агафья с приездом на Додьгу стала завидовать во всем Наталье: и что та хороша собой и что Егор ее – мужик работающий, не в пример Федору, прямой, не шатающийся от одного дела к другому. Завидуя, Барабаниха по всякой малости и при всяком случае превозносила себя, своего Федора и все свое и старалась хоть разговорами о своем превосходстве уязвить соседку.

Темнолицая и скуластая, с жесткой складкой губ и низким лбом, плотная и коренастая, Барабаниха была женщиной редкой силы и здоровья. «Жала дома на полоске, – рассказывал про нее еще в дороге Федор, – шаг шагнула – и ребеночка родила». Долгий сибирский путь, во время которого она схоронила двух новорожденных, еще более озлобил ее.

Федор хотя и делал вид, что держит в семье верх, но в душе побаивался жены. На праздниках, возвратившись с гулянки от Бердышовых, он попробовал было под пьяную руку помыкать ею, но она вlepила ему такую затрещину, что мужик только охнул тяжело, улегся на лавку и уж более не заикался.

Барабаниха всегда была зла на кого-нибудь по пустякам со всей силой своей могучей природы и крепкого простого ума.

К Наталье, после того как та сдружилась с Бердышовой, она особенно придиралась. Гольдка среди жителей Додьги была богаче всех, и Агафья усматривала в дружбе Натальи с ней корысть, не

допуская мысли, что с туземкой можно водиться из-за чего-нибудь, кроме выгоды.

– Хитрые эти Кузнецовы, гольдячку обхаживают, – как-то поутру сказала она мужу, заходя в землянку. Она чистила курятник, стоявший в землянке, и только что вынесла помет. – Сейчас идет Наталья и несет от нее новенькие обутки, расписные, гольдяцкие. Так я и знала, что она чем-то у них поживиться хочет.

Надевши подарок Анги – новые унты, Наталья пошла по воду. Любо теперь было и поглядеть на свои ноги. Белоснежная сохатина была мелко и искусно расшита яркими нитками и бисером. Ремешки туго перехватывали голяшки, и мех прилегал плотно и красиво. Обутки были мягки, легки как перышко и теплы. Сильные Натальины ноги, привыкшие к грубой и тяжелой обуви, шли теперь легко, как в скороходах.

Возвратившись с полными ведрами от проруби, Кузнецова повстречала у барабановской землянки Агафью.

– Твой-то опять седни робит? – вздохнула Барабаниха, как бы желая сказать: мол, Егор, бедняга, из кожи лезет вон, старается дорваться до богатства.

– Чего же ему не робить? – возразила Наталья, ставя ведра на тропинку. – Погода позволяет. А твой-то опять, поди, в тайгу собирается? – не без насмешки сверкнула она бойкими светло-серыми глазами.

– Да ты, никак, в обновке? – деланно удивилась Агафья. – Ну, вот и ладно, а то уж больно ты мерзла в рваных-то, жаль глядеть было. Не зря, значит, ты к Анге бегала. Видишь, и потрафила она тебе. А я не стала бы расписные надевать, – выставила она ногу в загнувшемся, подшитом кожей катанке, – этак-то теплее и красивей, чем в расписных ходить. Да и ноги в них подкатываются, – заключила она презрительно.

– Как-нибудь и в этих проходим! – Наталья подняла ведра и пошла своей дорогой. – Где уж нам стары пимы таскать! – кинула она через плечо.

После этого разговора Наталья, чувствуя зависть Барабанихи, назло ей стала еще чаще бывать у Анги, стараясь всячески ей услужить. Иван неделями пропадал в тайге, и женщины часто подолгу бывали вместе. Наталья помогала Анге сшить платье крестьянского

покроя, с оборками и лифом, и сарафан, научила ее повязываться платком на разные лады, как делают это русские бабы. За беременность гольдка располнела, лицом стала бела и румяна, щеки округлились, и скулы сгладились.

– Ты теперь на русскую походить стала, – говорила ей Наталья.

Как-то раз вечером Наталья, подойдя к бердышовской избе, увидела Ангу за странным занятием. Над Пиваном ярко светила луна, и торосы на реке горели, как костры, разложенные по льду, а лес и сопки были видны ясно, как днем. Стоя под лиственницами, гольдка держала тарелку с вареной рыбой и с чашечкой водки. Что-то приговаривая по-своему, она разбрасывала кусочки рыбы кругом себя на искрящийся свежий снег, брызгала пальцами водку и так была увлечена этим занятием, что даже не взглянула на подошедшую к ней подругу.

– Ты чего это делаешь? – внезапно обняла ее Наталья.

– Не знаю, – виновато улыбнулась Анга и поежилась, вбирая голову в красивые плечи. Потом она широким и решительным движением выплеснула остатки водки на снег, сбросила рыбу с тарелки и, нахмурившись, сказала Наталье:

– Это старый обычай. Ты не срами меня за это. Рожать-то мне скоро. Пойдем-ка богу помолимся, чтобы бог добро нам давал, – и тихо, таинственно добавила: – Чтобы нам всем ладно было. Я еще старое не могу забыть, когда одна.

– За что же тебя срамить, бог с тобой...

Бабы вошли в избу, засветили сальную свечу и встали на колени перед маленькими медными складнями.

– Молитва говори, – велела Анга, подымая взволнованные глаза к божничке.

Анга крестилась, низко кланялась и, коверкая славянские слова, старательно повторяла молитву. Когда же Наталья смолкла, она поднялась проворно и спросила:

– А другой-то молитва знаешь?

– Знаю.

– Ну, другой молитва другой раз молиться станем, сегодня, однако, хватит.

– Тебя кто молиться-то учил? – спросила ее Наталья.

– Батька учил, а Иван плохо молится...

– Известно, мужик: гром не грянет, лба не перекрестит.

– Ваша бабка учила. Она много молитва знает, а Иван-то мой плохо знает, он ничего не знает.

Иногда женщины привозили в нартах кадушку воды, переливали ее в печной котел, жарко топили печь и мылись. До переезда на Додьгу Анга мылась редко. В детстве и в юности, до встречи с Иваном, она вовсе не знала мыла. Когда-то, первые разы, купалась она неохотно, но со временем вошла во вкус и теперь с упоением плескалась и обливалась водой. Когда Наталья растирала ей длинную смуглую спину, она приходила в восторг и хохотала.

Потом бабы одевались, приводили в порядок избу, ставили сушить корыто и садились ужинать ухой из свежей рыбы, которую Иван выловил подо льдом снастями и наморозил в амбарушке.

Возвратившись с охоты, Бердышов был приятно удивлен переменной во внешности жены.

– С обновой тебя, что ль? – вымолвил он, высунув поутру лохматую голову из-под мехового одеяла и глядя, как жена обрягается в сарафан. – Поди-ка, щипну тебя. – И он начал щипать жену, баловаться с ней, тянул ее к себе, а она хохотала.

– А Наталья – боец, – говорил он, натягивая на ноги усохшие за ночь ичиги. – Надо нам с тобою уважить Кузнецовых, гостинца, что ль, ей послать.

– Сохатины-то нету... – Анга расчесывала деревянным гребнем густые сбившиеся волосы. – Однако бы, ангалкой^[27] рыбы наловить им.

– Одолжить им, что ль, снасти? – в нерешительности спросил Иван. – Пусть ловят. И сетку дам, ведь они мне сказывали, что на родине ловили подо льдом рыбу.

– А может, Ванча, к китайцу бы нам поехать? Наталье-то товару взять?

Анге давно хотелось побывать дома, но причины не было, чтобы поехать в Бельго.

– Ну нет, к китайцу не поеду, – отмахнулся Иван. – Товар-то им дарить не жирно ли станет?

Анга с сожалением покачала головой. Усевшись на корточки перед очагом, она сложила туда дрова, занесенные в избу с вечера, и стала щипать из сухого полена лучины.

– Ваня, а пошто ты меха нынче у себя держишь, в лавку не везешь? – спросила Анга, склонив голову и лукаво смеясь из-за плеча.

– Маленько обожду. Считай сама: до рождества я Ваньке Галдафу соболей давал, за ним еще оставалось, а чего набрал к празднику, так это пустяки. Куда мне теперь торопиться? Не к спеху, а у них и без меня мехов хватает. Соболь пошел хлестко, гольды им полные амбары натаскают. Дал я им задаток пару соболей, теперь они шишей от меня дождутся. Беда! – вдруг ухмыльнулся Бердышов.

– Ты задумал чего? – мягко и счастливо засмеялась Анга. – Однако, чтобы Гао тебя только не обманули...

– С них станется, – вздохнул Иван. А голос был насмешливо самоуверенный, и Анге казалось, что вышло у него: мол, так я и дался!

Анга догадывалась о намерениях мужа. Иван задумал накопить побольше мехов и продать их весной на сторону, а не бельговскому торгашу. Удога и Савоська были с ним в сговоре и обещали к тому времени тоже подкопить мехов.

Чтобы китаец ничего не подозревал, Иван дал ему из ранней добычи пару соболиных шкур, из которых одна случайно была попорчена при снятии. Уже тогда у Ивана в запасе был десяток соболей. И потому, что он отнес в барабановскую землянку лишь пару, не пожалев к испорченному приложить пушистого и черного, Анга почуяла, что муж ее что-то затевает... В амбаре у Ивана стояли ящики с водкой. Иван ни жене, ни тестю толком не рассказывал, что он задумал. Он всегда все свои предприятия начинал втайне и только при таком условии верил в их успех.

После обеда Бердышов зашел к Кузнецовым.

– Тебе свежей рыбы надо? – обратился он к Егору.

– Мало ли чего мне надо, – возразил тот.

– Эх ты, рыбак! Как же ты на Амур без снастей пришел? А говоришь, на Каме тоже всякий лов ведется. Нет, кабы там было так же, как тут, что эта рыба-матушка нам и хлеб и мануфактура, ты без снастей куда бы не тронулся.

– Два-то года мы, чай, не по реке шли. В степи или в лесу ловить-то было неведом?..

– А разве в степи нет реки?

– Нету.

– А я всю жизнь при реке, так мне кажется, что и мест без реки не бывает. Калужатины сейчас бы нам с тобой, амуров ли этих. Самая жирная рыба амур-то. Бери-ка, Кондратьич, пешню и айда на реку. Жалко, Федор куда-то пропал, а то бы и его взяли. Ты собирайся, а я за снастью да за ангой схожу – не за женой, а за сеткой. Вот она у меня каким именем названа. Чудилы эти гольды, девку «сеткой» назвали... Я спросил как-то Григория: «Ты пошто ее так назвал?» – «Как же, – говорит, – пусть сеткой зовется, чтобы счастье ей ловилось».

Накануне из тайги подул ветер. Ночью он переменялся, и с верховьев опять нагнало холода. День был сумрачный, и даже в полдень стоял трескучий мороз.

– Ненадолго же отпустило. А мы-то полагали, что весна началась, – говорил Кузнецов, шагая с пешней следом за Иваном и за Федюшкой, нагруженный разными рыболовными снастями.

– Не-ет, до весны еще далеко. Тут до шуги-то еще одна зима пройдет.

Неподалеку от острова Иван и Егор проломали старые проруби, выгребая льдинки берестяной чумазкой. ^[28]

– А ты, Иван Карпыч, откуда знаешь, что тут рыба есть? – опросил Федюшка.

– Как же! Это уж я знаю. Я тут все тропинки в Амуре знаю.

В крайней проруби Бердышов утопил веревку, а из другой зацепил ее «нырилом», длинной палкой с сучком на конце, наподобие багра. Протянув веревку подо льдом между несколькими прорубями, он продернул следом за ней сеть и установил ее. Так же Иван поставил и снасть – длинную хребтину с ответвляющимися от нее поводками. К этим поводкам прикреплены были балберы и большие ненаживленные крючки с остро отточенными лезвиями, рассчитанные на поимку крупной рыбы.

Когда мужики возвратились в поселье, солнце уже село, и где-то в стороне Бельго из синего сумрака выплыла меж склонов большая багровая луна, перепоясанная тонким синим облаком. Морозный ветер так нажег и настудил рыбаков, что у Егора окоченели ноги, и он не помнил, как добрался до жаркой и душистой землянки.

– Нос отморозил, потри-ка снегом, – сказала мужу Наталья, когда он выложил из мешка пару осетров.

Егор вышел из землянки, надломил голой рукой корку на сугробе, набрал в застывшие пальцы горсть крупитчатого сухого снега и растер им лицо до боли. Однако поздно было оттирать побывавшее в тепле лицо. Обмороз не проходил. Пришлось бабке после ужина помазать ему щеки кабаньим салом.

– Как же это ты недоглядел, потер бы нос-то, – говорила Наталья. – Теперь лицо мерзнуть станет.

– Завтра бери чепан, да езжайте на коне, – наказывал дед. – Поди, и огонь на льду развести можно.

На другой день мужики запрягли Саврасого и поехали на реку. На снасть попала крупная калуга. Подтянутая к проруби, она заходила ходуном. В водовороте то и дело всплывали ее бьющиеся плавники и жирная спина с зубчатой хребтиной. Калуга ярилась, но острый крючок, вонзившийся глубоко в белое брюхо, не отпускал ее.

– Кабы не сорвалась, – беспокоился Егор, крепко держа веревку.

– Не-ет. На утине-то зазубрик, никуда не соскочит с него. Только шибко не давай ей дергаться, подпускай снастину-то...

Бердышов изловчился, вонзил в калугу багор. Рыба забилась, вышибая столбы брызг из проруби. Ветер, схватывая их, тотчас морозил, и одежда мужиков покрывалась чешуей из пупырчатых ледяшек, а вокруг проруби намерзала скользкая ледяная осыпь.

– Смотри, Егор, не оступись, а то утащит. Ну, что же ты дуришь? – уговаривал Иван бьющуюся калугу, вытаскивая ее на лед. – Сама себе в тягость стала, так разожралась. Столько жиру зря таскать – с ума сойти!

Калуга была хрящеватая и жирная, величиной с небольшую лодку-однодеревку. Взметнув хвост и заиндевелые плавники, она ощерила пасть, оттопырила жабры и выкатила глаза. Рыба застыла в напряженном изгибе, сгорбатив пилообразную хребтину, словно силясь сбросить с себя ледяную корку. Казалось, мороз мгновенно охватил ее, запечатлев исступленное отчаяние. Мужики с трудом, как тяжелое бревно, взвалили рыбину в сани и вместе с мелочью, попавшейся в сетку, отвезли в поселье.

Там было радости и веселья всем семьям. Иван и Егор распилили калугу на козлах, потом большие куски разрубили.

У переселенцев вошло в обычай делиться между собой всякой добычей. Наталья выбрала для Барабанихи самый жирный кусок и

сама его отнесла, обезоружив этим завистливую бабу, не пожелавшую даже поглядеть, как рубят громадную рыбину.

По Иванову совету кузнецовские бабы вместе с Ангой затеяли пир. Решили стряпать калужьи пельмени и варить уху. В землянке былолюдно, шумно и весело.

Бердышов пошел за водкой. Даже Егор, на этот раз намерзшийся и наработавшийся досыта, чувствовал, что утро он провел не зря, и не прочь был выпить и повеселиться. Умывшись и вытерев обветренное лицо полотенцем, расчесав светлые усы и бороду, сидел он на лавке и поджидал Ивана.

Варится рыбка, едет Филипка, —

подпевала под веселый треск лиственничных дров хлопотавшая у котла старуха.

В красной шапке, сам на лошадке,
Детей своих благодарить...

Больше всех доволен был хворый дед, ожидая, что от свежей и нежной рыбы ему полегчает.

— Эх, хороша ушица! — приговаривал он за обедом, прихлебывая из чашки.

— Из щуки-то вкусней, — вдруг с сердцем выпалил Васька.

Все засмеялись упорству маленького рыболова.

— Васька, обидно тебе, что мы калугу поймали, застрамили тебя с твоей махалкой и со щуками? Эх ты, ерш! — ткнул его Иван в бок.

— А ты чего дерешься? Сам ерш! — голубые глаза Васьки запалились злым холодком. — Вот захочу, наловлю осетров... — Парнишка тут же смолк, ухватившись за голову: отец стукнул его по лбу деревянной ложкой.

Петрован по-прежнему казался ко всему безразличным. Уплетая калужатину, он лениво морщился, косясь внимательными серыми, как у матери, глазами то на пьяневших, смеющихся взрослых, то на крепившегося, чтобы не зареветь, братишку.

– Ну, Петька-Петрован, что молчишь, как дурован? – дразнил его Федюшка.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Соболь неумелым ловцам не давался. Единственной шкуркой раздобылся Федор Барабанов, вытащив убитого стрелкой зверька из чужой ловушки. Бердышову он сказал, что сам поймал соболя. Шкурка была рыжеватая, как и большинство амурских соболей; Иван оценил ее в три рубля. Федор отвез соболя в Бельго и выгодно променял китайцу на товар.

Легкость добычи распалила Федора. Он спал и видел удачное соболевание. Целыми днями бродил он с сыном по окрестной тайге, разыскивая соболиные следы и расставляя петли и ловушки. Он похудел, осунулся, скулы его заострились, а глаза поблескивали, как у голодного.

– Что, Федор, с добычей, что ль? – каждый раз окликал его Кузнецов, когда Федор с Санкой выходили из тайги.

– Не спрашивай, Кондратьич, – удрученно отмахивался Барабанов и останавливался.

Намолчавшись в тайге, он принимался долго и подробно рассказывать все свои приключения.

– Замаешься ты, гляди, лица на тебе не стало, – заключал Егор, выслушав его. – А тут Агафья одна без тебя лесины валила, робит, чисто мужик. Ты сам-то как, хлеба станешь ли сеять? Не перекинись совсем на промысел.

– Как же я без хлеба-то, куда же?..

– Тайгу, что ль, сохой поведешь? Избу из чего поставишь? Да и место не расчищено, солнышко-то не станет тебя ждать, Кузьмич.

– Затягивает охота, – говорил про Федора дед Кондрат. – Это как картежная игра. Продуться можно – без штанов останешься.

Каждый раз, намучившись в тайге, Федор зарекался охотничать.

– Пропади пропадом это зверованье, ни за что больше не пойду, с места мне не сойти, – клялся он и решал взяться за чистку леса.

Но проходило несколько дней, и Федора снова тянуло в тайгу. Он бросал работу, заготавливал припасы, чинил обувь и, набив котомку рыбой и сухарями и забравши с собой Санку, снова отправлялся на промысел.

Усталые, пробежав двадцать-тридцать верст на лыжах, Барабановы находили свои ловушки пустыми.

– Он, тятя, стороной обошел, – показывал Санка на обходной соболиный следок.

– Вижу, – вздыхал Барабанов и в печали рубил пихтовые ветви, разгребал снег и располагался отдыхать подле костра.

– Хоть бы нам опять гольдский лучок найти, – подговаривался Санка.

– Хитрый же ты, сукин сын, растешь, – ворчал на него отец. – Ты поймай соболя-то, а чужого стащить всякий сумеет.

В неудачах своих Федор в душе винил Бердышова, подозревая, что тот таит от него настоящее устройство ловушек и показывает не то, что надо.

– Может, он шутит надо мной, изголяется или боится передать настоящее правило и только зря меня по тайге гоняет, – предполагал Федор.

На то было похоже. Иван каждый раз просмеивал его за неудачное соболевание.

– Опять никого не поймал? – с насмешливой уверенностью спрашивал он.

– Ведь и ходил соболь, трогал петлю и стрелку спустил, но не попал, – с досадой рассказывал Барабанов. – Значит, чего-то не так мы настораживаем, – значительно вскидывал он брови. – Не все, что ль, ты мне рассказывал, Иван Карпыч? – Он умоляюще смотрел на Бердышова, словно просил его открыть тайну лова соболей. – Скажи: может, какое слово есть?

Иван лишь посмеивался.

– Прошлый-то раз посчастливилось тебе, это прямо счастье ить! Однако, какой-то соболь дурной был. А то в твои ловушки вместо соболей-то все рябчики, да крысы, да бурундуки попадают.

– Помяни мое слово, Иван Карпыч, все же я этих соболей осилю. Не сойти мне с места! Коли не перейму от людей, так сам, своим умом достигну. Тогда уж засоболую, – и Федор, меняя выражение лица, спрашивал Ивана ласково и умоляюще: – А может, возьмешь меня с собой на охоту?

– Вдвоем в тайгу идти – охоты не будет. С Ангой хожу – ее тоже в балагане оставляю, или она сама по себе охотничает. Да как с тобой

пойдешь? А если вдруг тигра? Не выдашь? У нас, паря, кто товарища выдал – тому пулю. Ты со мной и сам ходить не станешь, а уж я тебе и так все показал! Какой тебе еще холеры надо?

Федор не добился от Бердышова толку и решил ехать к гольдам учиться у них охоте на соболей. Кстати, нужно ему было заехать к китайцу в лавку, отдать лис и десяток белок.

В тихий день, заложив Гнедка в розвальни, покатыл он с Санкой в Бельго.

– Еще соболь есть – нету? – спросил его Гао, перебирая привезенные меха.

– Нету, братка, эти дни соболевать я не ходил.

Торгаш знал, что Федор ходит на промысел. Гао даже догадывался, что он взял соболя из чужой ловушки. О том, что делают додьгинские новоселы, лавочнику подробно доносили его покупатели – мылкинские гольды, соседи уральцев. Недавно брат Гао, толстяк Васька, был в Мылках, и тамошний богач Писотька Бельды жаловался, что у него в тайге кто-то разорил самострел и украл соболя. Охотники ходили по следу воришки и достигли додьгинской релки. Подходить к землянкам они не решились, но, возвратившись к себе в Мылки, поклялись при удобном случае отомстить новоселам за все обиды и утеснения, причиненные им в эту осень и зиму.

Бердышова ни гольды, ни китаец не подозревали в воровстве. Все знали, что он охотится, как гольд, и в тайге ничем от них не отличается. Очевидно было, что соболя украл кто-то из новоселов. Гао Да-пу полагал, что это был Федор, незадолго перед этим привозивший ему шкурку соболя. Торговец никому об этом не сказал, чтобы зря не обидеть покупателя, распространив про него дурную весть.

На счастье Федора, между Мылками и Бельго были нелады из-за кражи невесты, и сношений между этими стойбищами не было. Мылкинские сторонились бельговских и своих новостей им не передавали, так что бельговские ничего худого про Федора думать не могли и не знали о краже в тайге.

– Тебе соболь лови не могу, – язвительно и громко заявил китаец.

– То есть как это ты сказал?

– Люди говори: тебе сам лови не умеи, тебе шибко хитрый – чужой ловушка трогал.

– Ты что это? – раскрыл Барабанов рот. – Одурел? – криво усмехнулся он через силу, хотя сердце его замерло от страха, что поступок его может стать известен по всей округе. «Господи, прости! Чего я наделал!» – с ужасом подумал он, и мысли его заметались в поисках исхода.

– Ловушку трогаешь – хозяин догоняет и тебя убьет, – наставительно говорил торгаш.

– Не пойму я тебя, – чесал затылок Федор, стараясь улыбнуться, но вместо улыбки получилась виноватая гримаса.

Лавочник заметил, что вору стало не по себе.

«Нет, не признаюсь! Я не я, и лошадь не моя, – ободрял себя Федор. – Мало ли кто в тайге мог взять? Какое мое дело, ничего не знаю».

– Сам знаешь, чего моя говори, маленький, что ли? Русский язык не понимаешь, что ли? – раскричался китаец и вдруг, понизив голос, довольно добродушно заявил: – Ну, ладно, не бойся, моя никому не говори. Тебе так больше делай не надо. Моя знакомых не обижает, – подмигнул он Федору. – Моя все кругом знает – ничего никому не говорит. Тут Бельго никто не знает, моя никому не сказала, тебя не хочу обижай. Давай лису, уступай дешевле, – неожиданно заключил он.

«Силен тут торгаш!» – подумал Федор, выбравшись из его лавки, как из печки после парки. Удрученный неудачной меной и упреками лавочника, он в раздумье направился к Удоге.

Старик встретил его с распростертыми объятиями. Накануне Удога вышел из тайги после длительной зимней охоты, чтобы заготовить пищу и снова идти на промысел. У него было прекрасное настроение, старик наслаждался семейным счастьем; сидя на теплых канах в чистом халате на чистом камышовом коврике, сплетенном искусными руками молодой жены, он держал у себя на коленях маленького Охэ и с нежностью обнюхивал его стриженую головку. На столике появились вареная сохатина, тала из свежей рыбы, чумизная каша с кетовой икрой и картонная сулея^[29] с китайской водкой.

Айога, довольная, румяная, с блестящими глазами, хлопотала у очага.

Федор подвыпил, и когда его беспокойство и сомнения несколько пережгло крепким ханшином, он стал жаловаться Удоге на свои

охотничьи неудачи.

– Соболь никак мне, братка, не дается. Лису беру, белку дробинкой в глаз попадаю, – привирал он, – кабана этого возьму, только бы встретить, рысь понимаю, всякого зверя, а вот соболя – никак. За всю зиму единую шкурку добыл, только зря распалился.

– Его просто как возьмешь не умеючи-то? – с достоинством, чистым русским языком говорил Удога. – Соболя ловить – учиться надо, не легче, чем русской грамоте. Меня отец долго учил стрелку ставить. Я был маленький, пошли однажды на охоту, снежок уж был. Зверь опустит стрелку, но в сторону...

– Вот, вот, – подхватил Барабанов, – то-то и есть...

– Надо прямо-прямо на грудь стрелку наводить, – наставляя на сердце палец, показывал гольд.

– А-а, ишь ты! – приговаривал Федор. – Вот оно что!

– Ладили мы, ладили концы на мерку. «Нет, – отец говорит, – плохо». Палкой хотел меня лупить. «Никуда не годишься, – говорит, – никогда охотником не станешь». Вечером сидим мы в балагане, отец курит, грозитя меня убить. Беда, – потряс гольд седой головой точно так, как это делал Иван, – горячий у нас отец был. Ну вот... Прошло три дня, на мою стрелку соболь попал. «Ну, слава богу, – отец говорит, – это я тебя учил, ты умный какой парень. Сразу видно, что мой сын!»

– Григорий Иваныч, ты бы взял меня с собой на промысел, учил бы ловить соболей, – стал просить Федор. – По правде ведь признаться, мы затем и приехали. В ученье к тебе с сыном, как к дьячку за грамотой.

К Удоге стали собираться его сородичи. На этот раз все охотники были дома. После долгих скитаний по тайге они возвратились, чтобы хорошенько отдохнуть, «погулять», побыть с семьями и, нагрузившись юколой, снова двинуться на отдохнувших собаках в тайгу.

Кроме Григория и его брата Савоськи, бывшего в этот день где-то в отлучке, Федор не знал еще никого из бельговских охотников и всех их видел впервые. За зиму он отвык от народа и теперь с любопытством наблюдал гольдов. Их набралось непривычно много, и старых и молодых, закаленных морозами и ветрами, темнолицых, худых, в одеждах, пахнувших звериным салом, чесноком, псиной и табаком, с китайскими трубками в крепких зубах. Они принесли с

собой в тихую фанзу дух тайги и охоты; чувствовалось, что в этих сухопарых, подвижных зверобоях была вся напряженная сила племени, его вечная, неумирающая ловкость, сноровка. Перед Федором был живой клад охотничьих примет, уловов, навыков. Для них не существовало тайн тайги. Мужик надо было разузнать про многое такое, что озадачивало его на промысле и на что он не мог найти до сих пор ответа. Он силился вспомнить, о чем надо расспросить их, но, как на беду, мысли его разбегались от жадности, как завидующие глаза при виде богатства, и он не мог ничего расспросить толком.

Пришел Ногдима, приземистый, пожилой, но еще моложавый на вид старик с плоским темным лицом. Его черные, как смоль, прямые волосы и черные горящие глаза придавали ему вид дикий и жестокий. Глядя на него, живо представлялось, как он, сверкая глазами, гоняет по снегам зверя и, настигнув, бьет его копьем в горло.

Ногдима перевалило за шестьдесят, но он был еще крепок, и на черном лице его морщин не было видно, лишь еле заметные светлые бороздки легли поперек лба, да слабые морщинки лучились у глаз.

Появился седоголовый, больной глазами Хогота, о котором Федор уже не раз слышал, как об отце похитителя невесты и хозяина медведя, предназначенного в угощение мылкинским. Сын его Гапчи, рослый и здоровенный парень в маньчжурской шапке с бархатным околышем и в красном ватном халате, в который он вырядился по случаю приезда русского гостя, торчал тут же. Еще недавно Гапчи был грозой мужей и похитителем супружеской верности гольдских красавиц. Но после того как он увез из Мылок юную жену богатого старика, он сам стал ревнив и уж более не нарушал счастья и покоя чужих семей.

Явился приятель Удоги – Кальдука, по прозвищу Маленький. Скинув лисью шубейку, старичок остался в залоснившемся дабовом халате с серебряными пуговицами и в улах из рыбьей кожи. Его маленькая головка с жалкой пегой косичкой тряслась на слабой шее, круглое желтое личико Кальдуки с мелкими расплывчатыми чертами выражало легкомыслие и беззаботность, движения были мягки и округлы. Улыбаясь и кивая головой, он подал Федору маленькую руку в кольцах и присел против него за столик.

Кальдука был вечным нахлебником Удоги. Про него говорили, что он прожил жизнь чужим умом. В юности он был парень как парень,

только не удался ростом. Старики женили его неудачно, купив ему по дешевке вдову. Она оказалась женщиной грубой, терзала Кальдуку ссорами и капризами, всю жизнь воевала с ним из-за нарядов. Первый ее ребенок был мальчик, но впоследствии она рожала только девочек. Сын Кальдуки погиб уже взрослым на рыбалке, и старик остался в большой семье единственным охотником. Жил он бедно и небережливо. Выдавая подросших девочек замуж, он ненадолго богател, но вещи и ценности, полученные в калым, живо переходили от него к торгашам.

При удаче Кальдука любил попойнствовать, вкусно поесть. Не думая о будущем, он ловил удобный случай, чтобы набрать у торгашей как можно больше товаров, и вечно был в неоплатном долгу. Выручать же его приходилось Удоге или другим сородичам, которые по доброте не могли отказывать ему в помощи, хотя и попрекали потом Маленького в расточительности, в лени, в неумении жить. Впрочем, на Кальдуку эти попреки давно не действовали. За долгую жизнь он привык и к помощи родичей и к их попрекам и надеялся на них больше, чем на себя.

Федор вспомнил, как Иван Карпыч однажды, рассказывая ему про причины бедности гольдов, помянул про Маленького. По его словам выходило, что туземцы могли бы жить и лучше и богаче, не будь среди них таких мотов и бездельников, как Кальдука, привыкших жить попрошайничеством, разоряя зажиточных сородичей.

Охотник Кальдука был приметливый, но не крепкий. В добыче он отставал от других, да у него и не было никогда надежды прокормить промыслом себя и всю свою семью. Обыкновенно его забирали с собой в тайгу хорошие охотники, чтобы он вел их хозяйство в балагане и готовил пищу. За это давали ему часть добычи. Зато летом Кальдука блаженствовал. Женщины работали за него на рыбалке от шуги до шуги.

Приплелись древние старики, знакомцы Федора: горбатый Бата и слепой Бали.

Вскоре вернулся Савоська, ездивший на собаках на другой берег ловить рыбу в прорубях. Еще задолго до того, как он переступил порог, слышна была его русская брань и удары палкой по собакам. Айога побежала распрягать воющих псов, и вскоре в облаках пара появился

Савоська, небольшого роста, сухой и сутулый, в заиндевелой, словно заросшей белым мхом, одежде.

Он быстро скинул с себя заиндевелые кожаные обулки и живо отсыревшую в тепле куртку и, вскочив на кан, начал кашлять долго и хрипло. Кашель, вылетая со свистом из простуженных легких, сотрясал все его щуплое, жесткое тело. Наконец Савоська откашлялся, коротко кивнул головой Федору и, подсев к коротконотому столику, стал пить маленькими глотками водку из чашечки и жаловаться на боли в груди. Застывшее тело старика бил озноб, его маленькие жилистые руки дрожали.

Удога заговорил с братом по-своему, часто упоминая слово «лоча». Остальные гольды пыхтели трубками и лишь изредка прерывали беседу братьев короткими замечаниями. Федор печально слушал гольдов и уж собирался было повторить свою просьбу, когда Удога вдруг обернулся к нему и сказал:

– Вот братка завтра сведет тебя в тайгу, все покажет, он все знает.

Переходя с гольдского на ломаный русский язык, туземцы заспорили между собой, куда и как лучше повести Федора на охоту.

Каждый называл какое-нибудь место: ключ, сопку или падь. Так проспорили они долго, а Федор только удивился, как добродушны и покладисты эти свирепые на вид люди. Спорили они горячо, и каждый, по-видимому, от души хотел удружить ему. И удивительно было Федору, что в их добром отношении к себе он не замечал никакой корысти.

Между тем Санка, наевшись чумизы, откинулся к стене и, устало полузакрыв глаза, с любопытством следил за Савоськой. Разморясь в жаре и непривычно насытившись, сынишка Барабанова давно бы уснул, если бы не этот живой и шуточный старик, иногда смешно коверкавший русские слова. Однако Санка был недоволен, что именно Савоська – больной, иззябший и уставший старик – поведет их в тайгу. Он совсем не казался ему хорошим охотником.

Когда же Савоська подвыпил и стал ругаться по-русски и хохотать надтреснутым смешком, переходившим в кашель, Санке показалось, что смеется он нарочно, только чтобы позабавить народ, и ему стало жалко старика.

«Какой чудной этот Савоська!» – подумал Санка, засыпая. Шум голосов стал отплывать. Санка пошел куда-то по лесной тропинке за

Савоськой, потом плавно и мягко провалился куда-то в пропасть и вскоре забрался так далеко, что возврата оттуда не было.

Наутро Савоська разбудил Барабановых затемно. Собирая свой охотничий припас, он проворно бегал из фанзы в амбар, переодевался в белую охотничью одежду из лосиных шкур, лазил под крышу, вскакивал на кан и все чаще тяжело кашлял.

Охотники собрались быстро и молча, надели котомки, ружья, вынесли на снег лыжи. Савоська кликнул свою лохматую подслеповатую собаку, и все трое тронулись по бельговскому распадку к седловине.

Собака сильно прихрамывала и время от времени прыгала на трех лапах, держа левую переднюю на весу.

– Что это с ней? – опросил у гольда Санка.

– Медведь ей лапу ломал. Потом шибко мороз был, она мало-мало больной лапа отморозила. Такой другой собаки нигде нету, она все понимает, как человек, только говорить не может.

За день Барабановы пробежали за Савоськой верст двадцать. Гольд привел их к зарослям стелющегося кедра у вершины каменистого хребта. Через ущелье видно было, как далеко-далеко за складками сопки белой равниной расстился Амур.

– Тут соболь живет в норе. У него своя дорога есть, он только по этой дороге всегда ходит. Белку, мышь сам убьет, сам таскает и сам кушает. Вот его дорога, смотри, – показывал старик на соболиные следы. – Шибко далеко этот соболь не ходит, по своей сопке ходит. На большой сопке три пары живет, на маленькой – одна пара бывает.

Старик закреплял на расщепленном деревце лук с прикладом так, что он туго натягивал тетиву. К прикладу он прикрепил вязку из конских волос. Клубок таких вязок вместе со свитками волос и с оленьими жилами гольд хранил в особом мешочке. К тропке соболя спускались сверху несколько волосков. Концы их на уровне соболиной грудки перехвачены были малым волоском, который чуть заметно ложился поперек тропки.

– Соболь бежит, – говорил Савоська, – этот волосок тронет, стрелка его убьет. – Гольд тронул волосок палкой, тетива сдвинулась, стрелка с силой воткнулась в сугроб, а лук закачался на ветке.

Самострелы Федор с грехом пополам сам умел делать, но хитрость была в точном прицеле стрелы на грудь зверька и в

поперечном волоске, который следовало наводить так, чтобы он был незаметен соболю. Федору казалось, что он уже постиг тайну устройства самострела, но грубые руки его никак не могли точно навести поперечный волосок.

– Ничего не понимаешь! – сердился Савоська. – Зря с тобой хожу. Ты все равно, какой был, такой и есть!

– Дай-ка, тятя, – вызвался насторожить самострел Санка.

Ловким ударом топора он расщепил елку, зажал приклад, навел стрелку на тропку, наладил волосок и обратил шустрые глаза к Савоське, как бы испрашивая у него одобрения.

– Соболю если попадет, тогда узнаем, молодец ты, нет ли, – произнес гольд и, оставив лук, побежал дальше короткими шажками, переваливаясь с лыжи на лыжу.

Лучки он делал на ходу. Видя след какого-нибудь зверя, он обегал растущие поблизости ели, разыскивал на них природные изгибы, обращенные к северу, быстро вырубал из них луковины и натягивал их, перевивая концы оленьими жилами. Следуя за ним повсюду, Санка стал отличать деревья, годные для поделки лучков.

Вечером под ветвями огромного старого кедра охотники разгребли снег и развели костер.

В тайге было тихо. Огонь освещал красноватую кору кедра, несколько лип на увале и лыжи, стоямя воткнутые в сугроб.

Савоська сказал, что не признает никаких балаганов, так что Федору и Санке предстояло дремать всю ночь, привалясь к кедрине и поворачиваясь к костру то одним боком, то другим.

Гольд сидел на корточках близко к пламени и жадно грыз сухую юколу, разрывая ее пальцами и зубами. Отогревшись, он снова удушливо закашлял, дрожа всем телом. У ног его бежала хромая Токо и облизывала свою черную уродливую лапу. Время от времени Савоська давал ей кожу от юколы. Собака жадно хватала ее и мгновенно проглатывала. Изредка она оборачивалась к Санке, и тот, заигрывая с нею, совал ей в морду тугую сохатиную рукавичку. Токо урчала и скалила на парнишку свои крупные волчьи клыки, а тот улыбался умильно и поглядывал на отца, не то опасаясь, что Федор рассердится, не то приглашая его порадоваться.

– Бродяга-медведь ее лапу совсем испортил, – сетовал Савоська. – Когда самый мороз был, его кто-то напугал. Медведь берлогу бросил,

пошел кругом. А я его встретил и погнал. Зверь шибко злой был, как хунхуз! Медведь тоже бывает хунхуз!

Отбиваясь от собак, зверь хватил лапу Токо зубами. Собаке грозила смерть, если бы Савоська в тот же миг не вонзил в сердце медведя пику.

– Тебе тоже хорошую собаку надо, – назидательно говорил гольд.

– Вот то-то и оно! Да где ее взять?

– Учи, сам учи, собака все может понимать. Она – как человек. Наши старики говорят, что собака раньше давно-давно человеком была, только теперь у нее шкура другая. Медведь тоже был человеком. Ночью ты спишь, а он ходит. Тигр, говорят, тоже был человеком. Такие разные сказки есть, – таинственно продолжал он. – Кто на охоту ходит, должен знать. Друг другу рассказывать. – Старик засмеялся и повесил голову. – Буду тихо говори, тут в тайге хозяин скоро чертей гоняет... – Сайку мороз продрал по коже. – Тут не шибко хорошее место. Старики говорят – тут дурное место, тут амба исиндагуха бывает. Знаешь, что такое амба исиндагуха? Это обход. Черти караул несут, как солдаты в Николаевоком, и делают обход тайги. Надо всю ночь сказки говорить, тогда ничего.

Гольд достал из-за пазухи лубяную коробку с табачными листьями, набил дрожащими руками трубку и закурил.

«С этими соболями не без нечистого, чуяла моя душа! – думал Барабанов. – Ванька Бердышов, будь он неладен, однако, гольдяцким божкам в тайге молится. То-то и не хочет с собой никого брать, стыдно ему».

– Савоська, – задушевно, как бы по-приятельски, заговорил он, стараясь придать своему голосу побольше ласковости, – вот ваши говорят, надо в тайге черту угощение ставить. А мне не надо бы этому Позе^[30] кланяться, лучше бы мне своему богу помолиться. Чужой-то мне ни к чему. Это ведь грех по-нашему. Ты сам крещеный, должен понимать.

– Тебе соболь надо – нет? – вдруг закричал Савоська, вскакивая на кривые ноги. Обутые в белые олочи,^[31] они были как тонкие кривые березки. – Зачем говоришь? В тайгу ты зашел, соболя тебе не надо?

«Шаманом, что ль, обернулся, пугает, сверлит глазищами-то... Индо, черт с ним... помолиться, как велит», – испугался Барабанов.

– Тебе Позя молись – завтра твой лучок будет соболь, – твердил гольд.

«Кабы, правда, поймать бы соболя, черт его бей, – помолился бы, пустяки это, конечно. Но, шут его знает, вдруг не помолишься и добычи не будет?» – раздумывал Федор.

– Ты верно ли знаешь, что соболь поймается? – подловато глянул он на гольда, как бы торгуясь с ним.

– Давай скорее, хлеб у тебя есть – хлеб кидай, все равно сухари можно. Говори: «Мне соболя давай!» Проси его как надо, сам думай, чтобы хороший охота была.

«Разве рискнуть? – подумал Федор. Но ему неловко было перед сыном отступить от закона. – Да и беда будет, если поп узнает на исповеди – епитимью наложит».

– Молись, тятка, – вдруг шепнул Санка, которому до страсти хотелось отличиться и найти зверька в своей ловушке.

– Ах ты, бесенок! – отпрянул от него отец. – Тебе бы только соболя, с малых лет рад от всего отступить.

Беседа прекратилась. Санка еще немного повертелся у огня и, наконец, задремал сидя. Голова его то и дело клонилась к пламени, он вздрагивал и просыпался, каждый раз испуганно тараща глаза на огонь. Вскоре Санка уснул крепко и, не в силах держаться, повалился на пихтовые ветви, уткнулся лицом в рукав и захрапел.

Раздумье брало Федора. И хотя он уверен был, что Санка правильно нацелил стрелку и зверек не минует засады, но все же казалось ему, что дело тут нечисто, недаром в такой тайне хранит время ухода на промысел Иван, недаром ему, Федору, до сих пор, несмотря на все старания, не попался ни один соболь. Опять же и рассказням Савоськи веры не было. «Чего-то он тут хитрит, однако, не такой он чудак, как прикидывается... То говорил „тихо надо“, какой-то обход чертей, сказывал, будет, а потом сам разорался». Подумав так, Федор было осмелел и хотел пошутить над Савоськой, чтобы дать ему понять, что понимает, как он хочет обморочить его. Но вдруг Савоська задрожал, отложил трубку и, обернувши к Федору перекошенное от ужаса лицо, показал на поднявшиеся уши собаки. Токо насторожилась.

«Шут его бей, где наша не пропадала!» – подумал Федор. Он достал ломоть черствого хлеба и протянул гольду.

– Брат Савося, ты лучше меня это дело знаешь, давай-ка помолись... Чего дивишься? Кидай своему Позе, – он подмигнул гольду.

– Как хочешь, – вдруг сказал Савоська. Он сел к Федору боком, не глядя на него, и стал курить, сплевывая через плечо. – Чертей в тайге нет! Я в них сам не верю. Кто хочет быть хорошим охотником – про чертей думает, поверит и на них будет надеяться, а не на себя! Обязательно поймает зверя! Люди – трусы! Тьфу! – злобно плюнул он. – Ты думаешь, Федя, я верю в Позю? Я сам не верю? Правда! А ты уж, я вижу, струсил. Неужели собрался молиться Позе? Эх, Федька... Тьфу! – повернув лицо к лесу, громко плюнул он еще раз. – Тьфу на всех чертей! Вот так надо. Ни черта не бойся! Мой отец был шаман, и его обманули. Я сам шаманство знаю... Но ты не верь... Ха-ха-ха!.. – покотился со смеху Савоська, видя недоумение Барабанова.

Токо опять насторожилась.

– Кто-то ходит! Позя сердится, зачем кричим...

– Свят, свят! – перекрестился Барабанов. – Аминь, аминь, рассыпья! – ограждался он крестным знаменем.

Гольд и мужик прислушались. Гольд вскоре успокоился, поднял трубку и снова закурил, все время искоса поглядывая на Федора.

Стояла такая тишина, что слышно было, как приливает к ушам кровь. В ее прибое можно было вообразить и отдаленное грохотанье телеги, и вой зверей, крики птиц, стук топора, и даже церковный колокол, казалось, звонил то отходную, то к обедне. Федор старался убедить себя, что все это лишь морок, но все же тревога не покидала его.

– Ох, беда, намаешься с этими соболями! – вдруг тяжело вздохнул он.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Как ни велика тайга-матушка, но и в ней человек с человеком встречаются. На четвертый день охоты, под вечер, Иван Карпыч набрел на чужой балаган.

«Это, однако, Родион Шишкин промышляет. Ага! Он мне давно нужен». Для начала Бердышов решил подшутить над старым знакомцем.

– Здорово, Родион! – неслышно подкравшись и заглянув в балаган, гаркнул Бердышов.

Залаяла собака.

– Уф, спугал! – Шишкин обронил котелок с похлебкой. От пролитого горячего балаган внутри застлало паром. – Слышишь, Ванька, брось шаманить – сердце оборвется.

– А где тут шаманство? Ты, однако, задумался, вот и не слышал.

Бердышов залез в шалаш и стал снимать с себя ружье и мешок.

– Ну, я-то задумался, а кобель-то мой тоже, что ль, задумался? – ворчал Шишкин, собирая с пихтовых ветвей куски горячего мяса и складывая их обратно в котелок.

– Чудак, я тебе скридал, подкрался, как к сохатому. Я сегодня лося этак достиг, даже видал, как он глазами моргает. Вот вплотную подходил, как к тебе. Зверь и то не слышал, а ведь твою-то собаку я знаю, завсегда ее обману. Однако, ты ее голодом держишь, она тебе в рот смотрела, я и подкрался.

– Вареву из-за тебя пролил...

– Ничего, – успокаивал его Иван. – Не серчай, сохатина есть, – кивнул он на окорок, подвешенный к суку березы, подле которой налажен был балаган. – Еще наварись. Надо же маленько и пошутить, а то вовсе в тайге одичаешь, зачумишься с кручины.

Родион долил котелок и поставил на огонь. Это был широкоплечий мужик среднего роста, лет сорока. Грудь у него колесом, лицо обросло темной шелковистой окладистой бородой. Он был жителем ближайшего до Додьги сельца, основанного несколько лет тому назад тамбовскими выселками на устье горной реки Горюна. Родион быстрее всех тамбовцев освоился на новоселье и,

сдружившись с гольдами, вскоре стал в своей деревне лучшим охотником.

– Ты как, Родион, по тайге один ходить не боишься? – спросил Бердышов, пуская табачный дым к очагу.

– А кого мне бояться? – отвечал Шишкин, почесывая толстый угреватый нос. – Если мишка встретится, так он меня сам боится.

– Нет, паря, блудне^[32] не попадай.

– Я никогда товарищей не беру. Наши, знаешь, какие охотники!.. Пристанут: «Пойдем да пойдем вместе!» А я им: «Не пойду совсем». А сам чуть свет уйду в тайгу. А ты сохатого где оставил?

– Нигде не оставил. Удул он от меня.

– Кхы-кхы-кхы-кхы, – сотрясаясь от сдавленного смеха, расплылся Родион во всю бородатую рожу. Его большие уши задвигались. – Кхлы-кхи-кхи-кхи, – не разжимая крупных желтых зубов, издавал он сдавленные, хриплые звуки.

– Подхожу я к нему, лежит он на боку, глазами моргает. Шерсть-то на хребте прямая, стоит, а я думал, бок. Как выстрелил, а он ка-ак вскочит...

– Кхл-кхл-кхл, – смеялся Родион.

– Я между двух лип сжался. Не знаю, как остался жив. Маленько он меня рогами не саданул. Истинная правда!

На большом огне ужин сварился быстро. Охотники уселись возле котелка, хлебная варево деревянными ложками.

– Ну, как твои пермские новоселы, живы-здоровы? – спросил Родион.

– Как всегда. Покуда баба да старик оцинговали.

– Ну, это еще полбеды. Наши-то, вятские, которых за протоку нынче населили, почитай что все цингуют. И что эта цинга на них наваливается, не пойму. Наши старухи им бруснику и клюкву таскают. Им теперь хорошо: есть к кому за помощью обратиться. А каково нам было? Как пришли да оцинговали, а ни помощи, ни совета спросить не у кого. К гольду, бывало, придешь, так он и денег не берет, не понимает их, а дай ему тряпочек. А хлеб пожует, пожует, да – тьфу! – выплюнет его.

– Наши-то лес очищают, пашни станут на релке пахать и на острове. На них глядя, я тоже запашу.

– Без коня-то? – ухмыльнулся Родион.

Иван ничего ему не ответил и только пошевелил лохматыми бровями, словно собирался напугать Родиона, но потом раздумал.

– А зверей-то промышляют они? – спросил Шишкин.

– Помаленьку! Не знаю, скоро ли привыкнут. Они рассказывают, что раньше этим занимались у себя на старых местах.

– Конечно, сперва-то трудно. Вон наши вятские! Нашли берлогу в горе. У всех кремневки, да была еще пешня. Они ее накалят – да в берлогу. Пока несут, она остынет. Медведь убежал – ни одна кремневка не выпалила.

– А ты уж обжился на Амуре, не вспоминаешь свою Расею больше?

– А чего мне ее вспоминать? Как мы с отцом помещику да соседям землю обрабатывали да из кабалы никогда не выходили? Да веники помещику ломали, он нам по десять копеек платил. Нищему-то чего вспоминать? Я тут как родился. Тут место лучше, чем там.

После ужина Шишкин стал выпытывать у Ивана, каким способом он неслышно подкрадывается к сохатому на близкое расстояние. Все тамбовские охотники считали Ивана человеком, знающим тайны тайги.

– Это надо уметь, – уклончиво отвечал ему Иван. – Ты попробуй сам, своим умом дойди.

– Откроешь, как скрадывать, я тебя, Иван Карпыч, уважу. Ну, рассказывай, как скридаешь?

– А тебе какое дело? – полушутя ответил Бердышов.

Впрочем, если бы Иван Карпыч и захотел, он, пожалуй, вряд ли смог бы толком рассказать, как он подкрадывается к сохатому. Тут во всем: и в умении определить, где и как лежит зверь, и в умении подобраться к нему тихо и быстро из-под ветра, и в каждом движении была у него выработана звериная же сноровка, которую он мог выразить лишь приблизительно.

– Ну, ты чего рассерчал? Словно третьяк, ^[33] на меня глядишь! Истинно третьяк и третьяк, лоб позволяет и взгляд тоже.

– Сам-то ты третьяк, шаман, – недовольно ворчал Родион.

– Башка у тебя крепкая, как камень, – шутливо сказал вдруг Иван. – Я когда-то видал, как богатые монголы с тоски башками стучаются. Сидят в юртах – жирные, поперек себя толще, чумные от безделья, нажрутся баранины и давай. Башки здоровые, как треснутая

друг об дружку, как орехи колют. – Иван, подсев к Родиону поближе, вдруг изо всей силы стукнул его своим лбом по голове.

Шишкин загоготал, поймал Ивана за руки и, размахнувшись головой снизу вверх, угодил ему затылком в висок.

– Ну, синяк посадил! – еле вырвавшись, ухватился Иван за голову. – Твоей башкой дрова колоть или свайки у гольдов под амбары забивать. Из такой башки и дума не выйдет! Больно! – по своей привычке хитрить он разыгрывал из себя побитого. – А ты что думал, когда один сидел? – отталкивал он наседавшего Родиона.

– А что? – Родион остановился на коленях. – Одному-то, поди, тоскливо иной раз, – признался он и, ободренный шутками Ивана, снова стал подбираться к нему.

– Ну, не лезь, вали, вали! Убьешь еще. – Иван шлепнул тамбовца ладонью по лбу. – Разъярился, как тигра... Ну, слушай, я тебе про сохатого скажу, – заговорил он, видя, что обида у Родиона прошла. – Это надо знать, как скридать сохатого. Много я и сам не знаю. Скридаю, как могу. – Он набил в трубку табачных листьев из Родионовой коробки и глубоко затянулся. – А как скрадывать, ты спроси у тестя моего Григория, он тебе скажет. Он это понимает лучше меня.

После горячего мясного ужина табачный дым завеселил охотников. Иван вытянул к очагу ноги и, облокотившись, прилег на сохатиную шкуру, служившую Родиону подстилкой. На низком потолке из корья пятнами мерцали отблески пламени. Дым от очага тянуло в отверстие крыши. Балаган был дырявый, но от большого огня и от сытного обеда охотникам стало так тепло, что Родион, подсев к Ивану, скинул куртку и остался в одной легкой рубашке. Собаки, уничтожив остатки пищи, тесней прилегли к охотникам. Родион еще подкинул в огонь смолистых лиственничных поленьев. На минуту показалось, что очаг угасает, но вскоре поленья разгорелись, начали стрелять искрами в потолок и в стороны, пламя вспыхнуло еще ярче.

– К сохатому подходить надо с тыла. Он, когда идет, поворачивается и ложится головой сюда же, откуда шел, и замечает под ветками твои ноги. Это охотник должен знать. Должен сбоку скрадывать его. Он, откуда шел, туда и смотрит. А подходить надо с тыла и сбоку. А когда подкрался, пали – и все... Беда, –

неодобрительно покачал он головой, вспоминая свою утреннюю встречу с лосем. – Ка-ак он дунет в чашу, даже тайга загудела.

– Тебе на ночь дрова рубить? – вдруг весело воскликнул Родион, подмигнув Ивану. Он понял, что Бердышов никаких тайн ему не откроет, а лишь зря будет говорить. – Иди ищи сухую листвянку, – и он потянул Ивана за ногу, обутую в унт.

– Эй, ты, обожди, куда тащишь...

– Кхл-кхл, – скалил зубы Родион.

Он стянул Ивана со шкуры на валежник и сам улегся на брюхо боком к огню. Иван, в свою очередь, потянул его за ноги. Мужики разыгрались, как ребята, стали мять друг друга и возиться на шкуре, перепугали собак и чуть не свернули балаган. Иван свалил Родиона чуть не на очаг и подпалил ему бороду, а Родион ловко сдернул у него с левой ноги унт и выбросил из балагана далеко в снег. Ивану с босой ногой пришлось лазить по рыхлым сугробам. Собаки опередили его: Смелый притащил обутку.

– Как медведи в берлоге, расходились. Ну, будет, будет! – возвратившись в балаган, предупредил Бердышов, видя, что у Родиона опять заиграли глаза. – Ты здоровила какой, как амба,^[34] верткий, хвоста только не хватает, а то бы я тебя за хвост.

Шишкин все же вцепился Ивану в ляжку, но тот вырвался, схватил топор и убежал из балагана рубить дрова.

Дважды принес он по большой охапке и, уложив их у входа, стал готовиться ко сну.

Родион притих и задумчиво смотрел на пламя, почесывая толстый угреватый нос.

– А что, Родион, – спросил его Бердышов серьезно, – ты с соседями дружишь?

– С какими соседями? С русскими али с гольдами?

– С горюнскими. Ты сказал мне, что они тебе друзья. Видишь, наши гольды сказывали мне, что в Мылках был недавно маньчжурец Дыген. Не слыхал ты? А оттуда он будто проехал к вам на Горюн.

– Как же! Это я знаю, – нахмурил Родион брови.

– Гольды божатся, что он их опять грабит.

– Да ну-у?.. Скажи, пожалуйста! Ах, язви его в душу! – воскликнул Родион.

– Как бы отсюда отвадить? Разоряют они гольдов, портят их. Покуда этот Дыген где-нибудь поблизости, гольды сами не свои. А начальство наше пропускает. Зимой сидят они у себя в Софийском, жарят в карты, водку пьют, а лед пройдет, приедут на пароходах и начинают кричать. Нет того, чтобы нойону хвост прищемить. Теперь маньчжурец с товарищами, как я слыхал, пошел нартами на Горюн. Там им раздолье. А с Горюна по озерам пойдет к тунгусам. Поймать бы этого Дыгена! – вздохнул Иван, залезая в меховой мешок. – Я давно на него зуб точу.

Закрыв глаза, уставшие за день от напряжения, он стал рассказывать про свою ночную встречу на Амуре.

– Был я хмелен, мы в Бельго у китайцев водку пили. Я в потемках-то не разглядел, кто едет. Если бы знал верняком, что это был кривой маньчжурец, я бы сгреб его и отвез в Софийск, душу бы из него вытряс.

– Вот ты мне что скажи: почему опять Дыген сюда ездит? Ведь он уж стар, ему бы дома на печке сидеть.

– Дыгену туго приходится. Он в карты играть любит. Продуется в пух и прах, все проест, пропьет и едет на русскую сторону за мехами.

– Старый кот, по горшкам ловко лазает!

Охотники еще немного потолковали, и вскоре в балагане наступила тишина. Изредка лишь слышно было, как рушилась в очаге подгоревшая головешка да измученные собаки вздрагивали и стонали во сне. Очаг угасал понемногу. Становилось темно.

Шишкин заворочался в своем мешке.

– Ты не спишь, Родион? – поднялся вдруг Иван.

– А что?

– Че-то тебя спросить хочу, выглянь.

– Ну, чего тебе? – приоткрылся взлохмаченный тамбовец.

– У тебя, однако, дружки-то среди гольдов есть?

– А тебе на что?

– Ты знаешь, каких Дыген с озер соболей вывезет: черных-черных, один к одному. Таких нет у нас. Он через озера да через хребты пройдет, везде побывает и на Амгунь сходит. Соболя там якутские. Пойдет он обратно, вот бы когда нам с тобой подкараулить его. Тебе бы ловко можно поймать его, ведь ты от Горюна недалеко живешь.

Тамбовец молчал и чесался яростно, по-видимому о чем-то раздумывая.

– А я тебе подход ко всем зверям открою, подумай-ка! Всех охотников на Амуре превысишь, богачом станешь. Сохатого скрадывать научу.

Иван давно искал случая разбогатеть. От охотничьего промысла или от меновой торговлишки нечего было и думать нажить богатство. Застрелить кого-нибудь из русских или здешних китайских торгашей – не оберешься потом разговоров. Верней всего было, как он полагал, ухлопать Дыгена, который жил в Маньчжурии и сюда ездил тайно. Дыген был маньчжурским дворянином и в старое время совершал поездки в пустынные, неразграниченные земли. Когда-то, как рассказывали гольды, он приехал впервые и привез всем подарки: кому чашку, кому халат, кому безделушки. За подарки он потребовал соболей. С тех пор он часто являлся в сопровождении вооруженных слуг и заставлял туземцев платить ему как бы род дани.

Теперь он, пользуясь темнотой местных народов, все еще совершал тайком свои поездки.

Иван полагал, что убить Дыгена – верное средство разбогатеть. А Китай не может потребовать расследования, если слух об убийстве дойдет туда. Это значило бы признаться, что маньчжурские чиновники разрешают за взятки такие грабительские походы на русскую сторону. Здесь же за убийство Дыгена, который страшно терзает гольдов, все будут благодарны.

Но Бердышов знал: одному ему не перестрелять целый отряд маньчжурских разбойников. Следовало найти спутников. Родион – смелый человек, хороший стрелок. «Если не поддастся уговорам, найду что сказать, все равно пойдет со мной», – подумал Иван.

Бердышов, не ожидая, что ему ответит Родион, оставил его в раздумье, а сам закутался с головой. Вскоре из мешка послышался его густой храп.

Наутро Иван дружески распротился с Родионом и, ни словом не обмолвясь о вчерашнем разговоре, двинулся в обратный путь. День выдался ветреный и морозный. До вечера крутила метелица. Ночь Иван провел, забравшись в дупло старой ели, а наутро снова двинулся в путь. Ветер все крепчал, временами неся снежок. К полудню, когда

Иван достиг Косогорного хребта, идти на лыжах стало легче, начались гари. Здесь свежие снега были крепко убиты ветрами.

На Косогорном у Ивана были расставлены сторожки на соболей, и он полез наверх проверять их.

Один из самострелов, к его удивлению, оказался разоренным. Пойманный соболь был украден. На снегу лежала окровавленная стрела, под бугор, в горелый ельник, ушла лыжня.

Бердышов понял по следам, что вор был недавно, и погнался за ним. Он бежал, распахнув меховую куртку и не замечая холода и резкого ветра. Лицо его горело, и лоб под сохатыным мехом истекал потом.

Открытой грудью рассекая морозный вихрь, Иван мчался по уклонам так, что мимо лишь мелькали стволы горелых лиственниц.

Еще больше обозлился он, когда следы свернули по пади к Мылкинскому озеру. Недолго думая, Иван помчался прямо в Мылки.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Стойбище Мылки было расположено на берегу одноименного озера, которое представляет собой обширный залив Амура, простирающийся в глубь тайги. На северном берегу его в переломанных зарослях чернотала, подле глубоких проточек в заветные озерца, кишасщие рыбой, приютились жилища гольдов.

Жгучий мороз рвал и метал над широким снежным простором. За тайгой синели округлые купола дальних сопок, и синие же дымки из труб стойбища метал ветер у подножья леса.

Там, где под берегом из сугробов торчали острые носы и дощатые борта плоскодонных лодок, Иван взобрался по крутому яру наверх. Перед ним желтели мазанные глиной приземистые лачуги. Со всех сторон затыкали, лениво сбегаясь, своры тощих собак. Иван крикнул на них, псы отстали. По свежей лыжне он направился к длинной лачуге с окнами, завешенными снаружи вздрагивающими от ветра шкурами кабарги. Шагах в двадцати от фанзы из высоченного сугроба обильно дымилась деревянная труба, сделанная из полого дуплистого дерева. Подле самой лачуги стояли малые амбарчики на свайках. Под ними виднелись нарты, шесты, палки. На пустых вешалах ветер раскачивал тяжелые связки обледеневших берестяных поплавков.

«Давно я тут не был!» – подумал Иван. Сняв лыжи, он с силой толкнул обледеневшую дверь и вошел в фанзу.

Внутри было полно народу. На просторных канах сидели, поджав ноги, старики гольды и обильно дымили трубками. Картина была знакомая. Все присутствующие слушали со вниманием сухого старика с седой плоской бородой и жесткими, колючими глазами. Не прекращая своей речи, старик враждебно посмотрел на вошедшего Ивана.

Бердышов узнал его. Это был хозяин фанзы Писотька Бельды.

У очага хлопотала его дочь, горбунья с прекрасными черными глазами и уродливо тонкими ногами, которые, казалось, вот-вот не выдержат тяжести тела и подломятся. При виде Ивана на ее полных красных губах заиграла недобрая улыбка.

Рядом с Писотькой Иван заметил лысину Денгуры, бывшего родового старосты. Тут же сидели многие другие гольды, хорошо

знакомые Ивану, но все они делали вид, что не замечают его и со вниманием продолжают слушать пискливый голосок хозяина.

– Батьго, – тихо поздоровался Иван, как бы не желая нарушать беседу.

Он скромно присел на край кана и стал дожидаться окончания разговора.

Речь шла о том, что надо высватать невесту сыну хозяина.

«Жених-то, верно, и стянул у меня добычу», – подумал Иван, глядя на бойкого, рослого, широкоплечего хозяйского парня, не похожего на гольда.

Писотька был одним из коренных жителей Мылок. На другой год после оспы, уничтожившей старое богатое стойбище Мылки, он возвратился на родное озеро и первым построил себе большую фанзу. К нему переселился Денгура, а потом и все другие мылкинские, оставшиеся в живых после мора.

Писотька был богат. По стенам на деревянных гвоздях висели белые овчинные шубы, ватные халаты, на нарах высились разноцветные свертки шелков; на двух очагах стояло множество чугунной посуды. Повсюду были расставлены искусно сделанные берестяные короба, ломившиеся от всякого добра.

Иван слышал от Гао Да-пу, что Писотька дает убежище маньчжурам, тайно приезжающим на Амур, и ведет с ними торговые дела. Гао Да-пу не дружил с Писотькой, чувствуя в нем соперника. Не любил бельговский торговец и маньчжуров. Китайские купцы и раньше всегда подговаривали гольдов не давать им меха. Но торговцы лишь втайне противодействовали Дыгену.

У себя на родине они были целиком во власти маньчжуров, а поэтому при случайных встречах с ними на Амуре вели себя внешне покорно, любезно и гостеприимно, опасаясь, что те на родине всегда могут беспощадно расправиться с ними.

В одном лишь, как слышал Бердышов, несчастен был гольдский купец Писотька: стоило какой-нибудь из его трех жен родить мальчика, как тот вскоре умирал. Большак же его, которого он собирался женить, не был ему сыном. Смолоду его старшую жену забирали к себе маньчжуры, и после того в срок она родила парнишку. Старик хотел иметь своих сыновей, но, как ни старались шаманы и знахари, дети не выживали. На этот раз младшая жена Писотьки качала в углу лубяную

зыбку, закрытую тряпкой, и старательно и громко называла младенца девочкой, что означало, как понимал Иван, что под тряпкой у нее лежит мальчонка.

«Боится, чтобы черт не утащил парня, – подумал Иван, – на девку его переделала. Это уж гольдяцкая хитрость известная...»

Между тем гольды смолкли. Им самим до смерти хотелось узнать, зачем явился Бердышов. От любопытства у них разговор про сватовство не ладился. Старики умолкли и стали поглядывать на него.

Иван поднялся. При виде жесткого и злого лица Писотьки в нем вспыхнул гнев. Какая-то сила так и толкала его схватить хозяина за глотку и расчитаться с ним тут же, при всех. Иван негодуя, но довольно сдержанно спросил по-гольдски хозяина, зачем он украл из его ловушки добычу.

Ропот пробежал по канам.

– Следы вора привели к твоему дому. Ловушка была разорена сегодня, и я пришел по свежему следу.

Густые клубы дыма окутывали изможденные лица гольдов.

Вскочил Денгура, продувной торгаш и говорун. Это был тощий высокий старик с лысой головой и худым скуластым лицом. Он еще сохранил живость ума и красноречие. Все более и более возбуждаясь, он стал доказывать Ивану, что «лоча», поселившиеся на Додьге, сами воры и что во всех неладах виноваты они сами.

– Осенью Улугу стал там рыбачить, а один мужик напал на него, отобрал невод и хотел его побить.

– В плечо меня ударил, – поднявшись, робко подтвердил Улугу, кривоногий гольд с плоским лицом. – Я ловил рыбу, русские у нас отобрали бредень!

– А зачем вы сено растащили? – спросил Иван.

– Ну что, Ваня, разве травы жалко? – с кроткой укоризной спросил Улугу.

Гольды наперебой заговорили, обвиняя новоселов в разных поступках.

– Недавно кто-то из них украл из нашей ловушки соболя! – завизжал хозяин фанзы, пуская в ход последний и самый веский довод. – Вы нашего соболя украли, а мы – вашего. Теперь в расчете.

Присутствующие засмеялись.

– Мы тебя в краже не виним, на другого человека думаем, – заметил Денгура, который был осторожнее других мылкинцев и не хотел зря обижать Ивана.

– Откуда же ты знаешь, что соболя взяли наши? – грубо спросил Бердышов Писотьку, уставившись на него исподлобья, как бык.

– Мы тоже по лыжне вора ходили, – сердито ответил гольд. – К вашей деревне вышли... Не знаю, кто теперь нас рассудит, – горько усмехнулся он.

Только тут Иван догадался, какого соболя добыл Федор.

– Ты неверно говоришь, – решительно отрубил Бердышов. – Наши не брали соболя. А невод отобрали – не знали, что это сосед рыбачит. Меня не было, а они подумали, что это чужой человек ловит без спросу.

– А соболя взяли – тоже, понимаешь, не знали, что сосед ловушку поставил? – усмехнулся хозяин.

– А соболя совсем не брали, – упрямо стоял на своем Иван.

– А кто же взял?

– А кто взял? Может, амба взял, – вдруг сделав страшную рожу, ответил Иван. – Черт стащил соболя! – рявкнул он, вскакивая на кан, и с силой ударил себя кулаком в грудь. – Черт! Амба! Ему, может, охота нас поссорить – он украл соболя, а лыжню наладил до нашей деревни, а вы поверили. Он нас ссорит, а мы, как глупые, не можем помириться.

Гольды опешили.

– А ты про черта откуда знаешь? – значительно слабее и уже не так зло спросил Писотька.

– Покуда не знаю, а вот Анга пошаманит, тогда все знать буду. Когда люди ссорятся и обманывают друг друга, всегда амба какой-нибудь виноват, – торжествующе произнес Иван и, оглядев подавленных, притихших гольдов, спокойно уселся на кан. – Бывает же, что черту охота поссорить между собой людей, – продолжал он. – Камлать надо, а не ссориться. Гонять его всем, дружно!

Бердышов хорошо знал гольдов. Видя, что они поддались, он воспользовался их смятением и стал втолковывать, что никто из русских не мог взять добычи из ловушки.

– Надо было сразу ко мне идти, мы бы с Ангой пошаманили и все бы узнали.

Гольды стали переглядываться между собой многозначительно. Многие из них не верили Ивану: как-то трудно было допустить, что соболя стащил черт. Все продолжали подозревать в краже Барабанова, которого хорошо знали по следам старых лыж Ивана, однако удобный миг для спора с Бердышовым был упущен. Никто более не решался оспаривать его слов, тем более что он так хорошо обвинил во всех людских бедах черта.

Этого-то и надо было Ивану.

– А что же вы поздно хватились? Да если бы я узнал, что кто-нибудь из наших украл соболя, я сам бы его застрелил. Но и ты, Писотька, вели отдать мою добычу, а не отдашь – беда будет. – И Бердышов, не говоря лишнего слова, нахлобучив шапку, поднялся и стал надевать ружье.

Угроза подействовала на мылкинцев. Они повскакивали с канов и принялись уговаривать Ивана еще погостить в Мылках. Дандачуй, сын Писотьки, плечистый толстогубый парень, не на шутку перепугавшись, сбегал в амбар и принес оттуда закоченелого соболя. Писотька, заискивающе улыбаясь, отдал его Ивану.

– Ну, давно бы так, – улыбнулся Иван и, возвратив зверька Писотьке, попросил отдать его работникам, чтобы они сняли шкурку.

Потом Иван разделся, показывая этим, что идет на примирение, прощает вора и хочет погостить у хозяина.

На столиках появилась водка. Бердышова взяли под руки и усадили на почетное место. Гольды тесно окружили его.

– Мы не знали, что это твоя ловушка, – говорили они, – твою бы мы не тронули.

– Ты хороший человек, мы на тебя не сердимся...

– Кушай, Ванча, не будем ссориться, – угощал Писотька.

Иван опять стал объяснять, что невод русские отняли за то, что у них взяли сено, а что накосить его и привезти стоило больших трудов, что скот переселенцев кормится травой.

– А зачем скот? – с любопытством спросил Улугу.

Иван рассказал, как и зачем доят коров.

– Мы не знали, – кротко ответили гольды.

– А зачем молоко? – спросил Дандачуй. – Пусть живут без скота, едят рыбу.

Но всем остальным гольдам очень хотелось поехать в Уральское и посмотреть, как это женщины доят зверей и не боятся. Видно было, что гольды уже не сердятся.

– Нам теперь плохо стало, – жаловался Денгура, со свистом потягивая водку из чашечки. – Мы, старики, стали никому не нужны. Эх, в старое-то время в нашей деревне весело было! А теперь нас всякий обидит, – всхлипнул бывший староста и размазал заскорузлыми пальцами слезы, катившиеся по морщинам.

Он хотел было помянуть Ивану о своих охотничьих угожьях под Косогорной, где Иван промышляет без спросу, но смирился. «Тайга большая, всем места хватит», – подумал он и смолчал.

Бердышов стал уговаривать Денгуру мириться с бельговскими и принять у них выкуп за украденную жену.

– Чего тебе сердиться! Теперь пора уж все позабыть. Гапчи и его отец Хогота пир тебе устроят, целую неделю все бы гуляли, – соблазнял он старика. – Я сам с Ангой приеду. Хогота медведя выкормил. Если ты примиришься с ним, для тебя заколют зверя, всю вашу деревню пригласят. Знай гуляй!

Денгура еще упирался, важничал и поминал нанесенные ему обиды, зато другие старики глотали слюнки, представляя себе угощение из мяса молодого медведя. Все начали уговаривать Денгуру мириться.

– Конечно, что же зря ссориться? – поддакивали они Ивану.

Ко всеобщему удовольствию, Денгуру уломали, и Бердышов взялся быть посредником при замирении. Как только окончится зимний промысел, он обещал съездить в Бельго и стовориться о мировой.

– Какой ты хороший человек! – хвалили гольды Бердышова. – Мы тебя, оказывается, совсем не знали.

– Однако, все-таки и на меня сердились? – посмеиваясь, спрашивал Иван. – Знаться со мной не хотели. Помнишь, как мы с тобой в тайге встретились? – обратился Иван к Улугу. – Я тебе кричу: «Иди сюда!», а ты только отмахнулся рукой да в чашу.

Гольды засмеялись.

– Это было, – согласились они. – Маленько, конечно, сердились.

– Шибко не сердились, а маленько-то было, – подтвердил Денгура.

– За одно меня с бельговскими считали, я уже догадался, – продолжал Иван. – А ведь я про вас все время вспоминал. «Что, – думаю, – никого из них нет, не приезжает никто ни ко мне, ни к Анге?» Ну, догадался, что осерчали. Ну, да не беда, теперь как-нибудь станем жить дружно.

Погода разыгралась. Ветер налетал на крышу фанзы с такой силой, словно на нее низвергался водопад. Наступали сумерки, и Бердышов решил остаться ночевать в Мылках, надеясь окончательно упрочить этим дружбу с гольдами, а заодно кое-что выспросить про Дыгена.

Денгура, желая уважить Ивана, стал звать его и всех стариков к себе.

Мела поземка. По озеру метались снежные вихри, тайга шумела, ветер гнул голые тальники, как колосья, раскачивал лиственницы и с воем дыбил к их стволам огромные ветви. К стойбищу намело сугробы, местами превышавшие амбары и фанзы, с их гребней при каждом порыве ветра с воем и свистом взлетали тучи снега, осыпая Ивана и гольдов, трусивших гуськом след в след за Денгурой. Ветер бил в спину и в бока, хлопал полами, рвал пуговицы с одежды, тащил с людей шапки, насильно заворачивал их на ходу или вдруг, навалившись на грудь, не пускал их дальше да еще хлестал по лицу сухим, колючим снегом и мелкими ледяшками. Слышно было, как скрипели на увале вековые деревья. Гольды бежали, пригибаясь и увязая по колено в сугробах.

Вдруг все вокруг застлало белым, не стало видно фанз, ни леса, ни озера, слышен был лишь сплошной вой и свист. Лицо Ивана залепило мягким свежим снегом. Начался снегопад.

Кое-как все добрались до двери фанзы. Гольды отряхивали шубы, раздевались и лезли на горячие кань.

Фанза Денгуры была обширна, в стене ее, обращенной к озеру, тянулся целый ряд решетчатых окон, залепленных цветной бумагой. Ярко пылали два очага; на полу светили раскаленными угольями и грели воздух два больших горшка.

Жены Денгуры сгрудились в отдалении, на другом конце канов. Бердышов мог наблюдать их, лишь когда они приносили и ставили на столики угощение.

Внимание его привлекло новое лицо. Это был усатый пожилой человек с резкими чертами лица и с неровными желтыми зубами. Когда Иван подсел к столику с угощениями, незнакомец только что проснулся и, почесываясь, озабоченно прислушивался к шуму бурана. Денгура назвал его проезжим торговцем. Но у Бердышова глаз был достаточно наметан. Ни у кого не допытываясь, он понял, что это один из шайки, сопровождавшей маньчжура, почему-то отставший от своих. На стене между одеждой висело разное оружие, но длинная сабля, полуприкрытая лисьей шубой, никак не могла принадлежать хозяевам.

Иван завел разговор о покупке невесты для сына Писотьки, и старики оживленно стали рассказывать ему все подробности сватовства. Усатый подсел к ним. Он мрачно молчал. Бердышов перехватил несколько его встревоженных взглядов и понял, что маньчжур исподволь за ним наблюдает. Чтобы рассеять всякие его подозрения, Иван после ужина предложил усатому сыграть в кости. Тот охотно согласился и несколько раз подряд обыграл Бердышова. Гольды этому дружно и от души смеялись, сам Иван вторил им, трясая головой и беззвучно открывая рот, а усатый, несмотря на грозный свой вид, улыбался жалко и растерянно. Бердышов понял, что спутник Дыгена сначала испугался его, а теперь доволен, что все обошлось благополучно.

Усатого и впрямь напугало появление Ивана. Он целый день валялся на горячих досках, тепло укрывшись тяжелым халатом, в приятном безделье, как вдруг в фанзу ввалился этот плечистый человек и с ним ватага гольдов, всячески угождавших ему. По обличию этот русский – настоящий тигр: таков был его пытливый, хитрый взгляд и нарочитая мягкость, за которой чувствовалась хищная сила зверя. Судя по тому, что гольды так хлопотали вокруг Бердышова, усатый полагал, что он либо богач, либо начальник. Только когда Иван заговорил с ним дружески и предложил играть в кости, да еще, не обижаясь, проиграл несколько раз, у него отлегло от сердца, и он разрешил себе поверить, что этот русский не такой уж страшный, как показалось сначала.

Бердышов ни о чем не расспрашивал, несмотря на то, что между ними уже установилось некоторое доверие. Он надеялся в ближайшие дни при случае выпытать о нем все у кого-нибудь из небогатых

мылкинских. С этой целью Бердышов пригласил гольдов к себе на Додьгу смотреть свою новую бревенчатую юрту.

Писотька вызвался в ближайшие же дни привезти к Анге своего маленького сына, чтобы шаманка отогнала от него злые силы. Старик закрыл колючие глаза, заплакал горько и стал жаловаться, что все его сыновья умирают маленькими, а шаманы не могут помочь ему в этой беде, и теперь последний его сынишка тоже прихварывает.

– У нас теперь русская лекарка есть, старуха-шаман, она тебе поставит на ноги парнишку, – утешал его Иван.

На следующий день Бердышов стал собираться домой. Гольды подали ему упряжку великолепных рослых псов. Правил ими Улугу, чем Иван был весьма доволен. Распрощавшись с гольдами, он повалился на нарты. Погонщик поднял палку и с криками: «Та-тах-тах!» – вихрем пустил псов с косогора на озеро.

Вчерашняя пурга, как заботливая хозяйка избу, выбелила начисто уже начавшие было сереть ледяные поля и сопки. Солнце ярко сияло, снега слепили глаза. Вокруг разлилось спокойствие и величие, чувствовался праздник, отдых природы от диких ветров и морозов. Собаки мчались весело, легко и быстро преодолевали сугробы, через дужку нарт ездовых то и дело запурживало свежей снежной пылью.

– А что, Улугу, – заговорил Иван, когда нарты пошли протокой и Мылки скрылись за чащей голого чернотала, – кому ты теперь меха продаешь?

В глубоком снегу собаки замедлили ход. Улугу, видя, что им тяжело, не понукал их.

– Меха-то? – переспросил он, оборачиваясь к Ивану. – Бельговскому торговцу отдаю, мы ему все должны.

Иван помолчал. Собаки, выйдя на гладкий, обдутый ветром снег, помчались быстрее. Вдали, из-за отходившего в сторону полуострова, как битые зеркала, засверкали тысячами солнц амурские торосы. Далеко-далеко, за ледяной рекой, в голубоватой дымке чернел каменный обрыв у входа в Пиванское озеро. Над ним разметались сопки. Их склоны окутаны были легкой синей мглой, оттенявшей ущелья, пади и перевалы. Слева над горизонтом стелилась красновато-бурая завеса, словно где-то там горели леса.

– А кто же это гостит у Денгуры? – спросил Бердышов, отряхивая воротник от комьев снега.

Улугу смутился и заморгал маленькими глазками. Иван не торопил его с ответом, зная, что гольд все равно ответит и не соврет. Чтобы скрыть свое замешательство, Улугу стал размахивать палкой и громко ругать на разные лады собак. Отъехав еще с полверсты и достигнув берега, где начиналась релка, он вдруг проворно обернулся к Ивану и переспросил его:

– Это который человек в кости с тобой играл? Про него спрашиваешь?

Иван молча кивнул головой.

– Это не купец, – вымолвил гольд со злобой.

Собаки, высунув языки, тяжело дышали, вытаскивая нарты на снежный заструг. Улугу, спрыгнув с нарт, помогал им, прихватывая постромки. Преодолев сугроб, он снова вскочил на нарты и погнал упряжку быстрее.

С верховьев чуть колыхнул легкий ветерок. Бердышов, подняв воротник и подставляя лицо теплым солнечным лучам, вытянулся на нартах. Лучи грели по-весеннему, во всем существе Ивана разлилась лень и приятная истома. Только сейчас стала сказываться в нем усталость от долгих зимних таежных скитаний. Воздух был по-весеннему тяжек и томил, а от жаркого солнца слегка кружилась голова и тяжелело тело.

– Не знаю, почему меха у нас берут, – продолжал Улугу. – Соболя им отдай, рыбу налови, угощай их. Где возьму, как на всех напасусь!

– Один, что ли, он приехал?

– Какое один! – воскликнул гольд. – Целая ватага ездит. Сам кривой старик был. Знаешь его? Злой старик, рябой, левый глаз течет. Он тоже был нынче в Мылках, а потом пошел нартами вниз.

– А помощника оставил в Мылках?

– Конечно, оставил!

– Куда же они поехали?

– На Горюн пошли. Вниз они не поедут: там Софийск, Николаевск, русских много. Они по рекам поедут в тайгу, где глупый народ живет, – там напугают, отберут соболей. К тунгусам пойдут. Знаешь, тунгус в тайге живет, ничего не видит, – усмехнулся Улугу темноте и невежеству таежных тунгусов. – Муку, крупу не едят, все мясо да мясо, а если мяса нету, все помирают. Сколько Дыген велит дать – все отдадут.

– Значит, по-твоему, тунгусы дурные, что Дыгену меха дают? – спросил вдруг Иван.

– Конечно, дурные...

– Ну, а сам-то ты как? Наверно, двух соболей Дыгену отдал? Ну-ка, признайся, – Иван слегка тронул отвернувшегося в сильном смущении гольда. – Вот то-то, брат!.. Мы других судим, а сами... Собрались бы вы всей деревней да взяли бы Дыгена в рогатины, как медведя. Чего на него смотреть? Обманывает он вас. Считай: сколько ты ему за свою жизнь переплатил? Эх, Улугу, Улугу!.. – Иван хлопнул гольда по спине.

Вдали за мысом показался дымок. Вскоре стал виден косогор с черными пеньками.

– Видать юрты ваши, – молвил Улугу, не оборачиваясь.

Откуда-то издали донеслось позвякивание колокольцев. Улугу завертелся на нартах, оглядываясь по сторонам.

– Почта поехала, – показал Иван в сторону дальнего берега.

Между торосами рысили запряженные гусем кони.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Замерзшее оконце в оттепель начинало оттаивать, с него обильно текло. Агафья срубила со стекла лед, протерла окошко, и яркий солнечный свет впервые за зиму осветил темные углы барабановской землянки.

Ребята спорили из-за места на солнышке. Гошка начистил до блеска железную тарелку и забавлялся, пуская зайчиков на стены.

– Ну, вот и веселей у нас стало, – говорил Федор, заходя в землянку с Тимошкой.

С утра они работали вместе, валили лес и пришли голодные и уставшие.

– Томит солнышко-то, – сказал Силин.

– У меня аж в ушах звенит, – подтвердил Санка, снимая вымазанную смолой куртку.

– Солнце-то здесь теплое, а у нас об эту пору так не греет. Кабы не ветры, тут бы уж весна была.

Агафья подала сухари и чугунок мелкорубленого мяса кабарги. Следом появился горшок каши и свежая рыба, добытая Санкой на махалку. С пищей у Барабановых за последнее время стало лучше. Федор, охотясь с Савоськой за Амуром, подстрелил кабаргу. Санка поймал на свой самострел соболя, а на третий день промысла Федор взял лису.

Санка и Тимошка доедали чумизу, а Федор глодал кабаржинные кости, когда в землянку вошел Бердышов. Барабанов стал подробно рассказывать ему о своей удачной охоте.

– А ты коня у кого ставил, покуда промыслял? – спросил его Иван.

– Григорий Иваныч, дай ему бог здоровья, позаботился. Кормил, шубой его на ночь укрывал, доху не пожалел на коня.

– Ты в лес с Савоськой ходил?

– С ним.

– Это охотник так охотник!

– А у нас, дядя Ваня, почта ночевала, – блеснул светлыми глазами Санка, давно ожидавший очереди что-нибудь рассказать. – У них

вчера съездил в тростнике подох. Мы с тяткой шкуру с него сымать поедем.

– Ну-ну, охотник, отцу зверей добываешь, – потрепал Бердышов Санку по русым вихрам.

– Он на свой лучок соболя-то поймал.

– Молодец! Ну, будь здоров покуда, Федор Кузьмич, заходи вечерком ханшин пить, обо всем с тобой и потолкуем, – и, подмигнув Санке, Иван вышел.

К вечеру снова началась метель. Под вой ветра в русской печи Бердышов поведал Федору о своей беседе со старыми гольдами в Мылках. Слабо горел жирник, освещая вымытые добела плахи и деревянную тарелку с соленой черемшой.

– Пообижались на нас эти гольды. Сказывают, нет покоя. Стал я их допытывать, какой же им ущерб от нас. Допытал! – Федор насторожился, полуоткрыв рот и перебирая пальцами темную бороду. – Да-а, – продолжал Бердышов. – Они мне все сказали. Я не поверил сперва. «Как? – думаю. – Быть того не может, чтобы сосед обворовал ловушку у гольдов». Нет, они стоят на своем.

Анга поправила жирник, ушла в угол. Собаки скреблись в дверь. Иван поднялся и впустил их в избу. Они вбежали жадной измерзшейся ватагой, стуча когтями по гладким половицам. Отряхивая куржу и снег, слабо урча, разбрелись по избе и стали укладываться вокруг стола. С вожделением поводили они узкими острыми мордами, судорожно позевывая и пощелкивая пастями от голода. Эти могучие, выносливые псы никогда не были сыты. Живя в вечном страхе перед побоями, они не жаловались громко на свой голод, а терпеливо и долго ждали, когда кинут им кусок юколы, и лишь слабым подвыванием, полным тоски, выдавали свои желания. Иван не кормил их досыта, чтобы они были спорей на работу и злей. При нем они и грызлись-то потихоньку и терпели друг от друга быстрые укусы в морду и за уши.

Федор недолюбливал эту мохнатую стаю и с опаской огляделся, когда псы обложили его со всех сторон, словно зверя в берлоге.

– Провалиться мне на месте, – хитро и жестко улыбался Иван, и углы его губ дрожали, – а чего я гольдам пообещал, исполню! Отучу вора воровать. Теперь никто во всей округе чужого не тронет. Своим судом станем судить, хоть брата родного за такое дело, душа из него вон, собаками затравлю.

Такие разговоры Бердышова перепугали Федора не на шутку. Его начинала колотить дрожь. На свою беду, он понимал, что растерялся и ничего не может придумать, чтобы как-нибудь вывернуться. Иван тоже все ходил вокруг да около, и тем неприятней становилось Барабанову, что он и в толк не брал, добивается от него чего-нибудь Бердышов или задумал устроить ему какое-то страшное наказание. Федор хотел было уйти домой, но Иван не пустил его.

– Угощаться будем, сиди, что тебе не сидится? Еще чаевать будем.

Серый вожак, словно сговорясь с хозяином, каждый раз, когда Барабанов пытался подняться с лавки, скалил пасть и начинал злобно хрипеть. В полутьме под столом и сзади, за лавкой, куда бы Федор ни поглядел, повсюду белели клыкастые собачьи морды.

– Оказалось, что варнак этот живет у нас, на Додьге, – продолжал Иван.

В печи страшно взвыл ветер, словно там кто-то томился.

– О господи, господи! – вздохнул Федор, озираясь по сторонам.

– Этого у нас еще никогда не бывало, чтобы охотник у охотника взял добычу. За это у гольдов суд. Выкуп берут с вора: котлы, халаты, ружье. А у русских за такие штуки – пуля. Смерть, паря! – сказал, как отрезал, Иван.

У Федора лязгнули зубы от страха.

– Догонят, к лесине поставят и пристрелят. И сам пропадешь, и детушкам позор на всю жизнь. Они-то виноваты ли? Скажи ты, Кузьмич, Санка твой, к примеру? – продолжал Бердышов.

– Иван Карпыч! – вдруг в голос взревел Барабанов. – Не погуби, помилуй!.. Это я соболя у гольдов взял! – кинулся он на колени.

Вожак, злобно скурносившись, рванулся, чтобы цапнуть обнаженными клыками руку Федора, но Иван пнул собаку в брюхо с такой силой, что она перевернулась на спину и захлебнулась бессильным злобным хрипом, а одна рыжая сука взвизгнула со страха и закатилась в собачьей истерике. Остальные псы посторонились, поджимая хвосты и отворачивая морды от хозяина.

Рыдание клокотало в горле Федора.

– Будь милосерден, не погуби!

– Чего же ты задиковал? – Иван усмехнулся, поднял Федора за воротник. – Ты чудак!

Барабанов всхлипывал.

– От кого ты прятался, скажи? – говорил Иван. – Да что бы ты в тайге ни сделал, я все узнаю. Я ее, матушку, насквозь вижу, по следу скажу, а следы заметет, шаманить стану – как в воду посмотрю. Собаки у меня и те вора чуют, они тебя и не любят, – он отогнал пинком бродившую вдоль стен рыжую суку.

Барабанов, вздрагивая, бился лбом о стол и бормотал что-то несуразное. Голос его заглушали пурга и шум леса.

Изредка доносился слабый треск падающих деревьев.

– Попомни мои слова, Федор. Покуда твое счастье. Ну, ежели ты еще раз в тайге чужого коснешься, не пощажу. А пока – как ничего не было. Слышь ты, – Иван потряс Барабанова за плечо, – не дикуй... Чаевать станем.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Однажды Анга привела в землянку Кузнецовых молодую кривоногую гольдку в щегольском халате и с серебряным кольцом в плоском носу. На руках у нее был заплаканный косоглазый ребенок.

– Бя-я-я... Бе-е-е, – укачивала его мать.

Это была молодая жена мылкинского богача Писотьки. Она приехала на собаках вместе с мужем, чтобы полечить ребенка у Анги, но та шаманить отказалась и привела женщину к старухе.

Раздев младенца, бабка ужаснулась его виду. Ребенку было более года, но мать, по-видимому, еще ни разу не мыла его. У мальчика вздулся животик, тело покрылось струпьями.

– Все мальчишки у нее, как рождаются, помирают, – объясняла Анга. – Отец говорит: «Кто вылечит – ничего тому не пожалею».

Гольдка что-то с чувством говорила бабке Дарье по-своему, прижимая к груди красивые грязные руки в серебряных кольцах и браслетах.

– Болезнь эта – собачья старость, – поучала Ангу старуха, рассматривая голенького ребенка. – Наверно, у нее в избе собак много, а она брюхатая шагает через них. Скажи ей, что бабе нужно обходить собаку, а то дитя больное родится, да и купать бы его надо, а то ведь срамота смотреть – грязищи на нем на палец. И собака щенка вылизывает, а дитя до чего у нее запакостилось. Вылечила бы я ей дитя, да нету у меня муки, надо калач испечь, чтобы было все как следует...

Анга предложила бабке муки. Пока Наталья затапливала печь, Бердышова сбегала домой, принесла муки и завела квашню.

– Какая понятливая! – удивлялась бабка, глядя, как гольдка ловко месила тесто и катала калач.

Бабкино лечение продолжалось весь день. Наталья натаскала воды и нагрела ее в печном котле. Старуха стала купать маленького гольда. Вначале он с удовольствием барахтался в воде, но вскоре купанье ему надоело, и он расплакался. Бабка вымыла его дочиста, вытерла насухо и, завернув в свою чистую посконную рубаху, положила на подушки.

– Насилу отмыла, – с упреком говорила она гольдке, поправляя седые волосы, выбившиеся из-под платка.

Анга переводила ее слова.

Женщины выгребли печь и на горячем поду испекли калач. Гольдке настрого наказали сидеть смирно. Лечение началось.

Помахав калачом, бабка забормотала заклинания от собачьей старости, потом, развернув ребенка, просунула его через калач, и тотчас же, разломив калач на части, выбросила его за дверь собакам. Потом она посадила голого ребенка на деревянную лопату и, открыв заслонку, что-то приговаривая, сунула его в печку.

Гольдка в ужасе с криком кинулась к Дарье, но Анга остановила ее и стала успокаивать.

Мальчик между тем снова заплакал. Бабка все же трижды совала лопату в печь, каждый раз быстро вынимая ребенка. Наконец Дарья сняла его с лопаты и снова положила на подушки. Матери объяснили, что все лечение окончено. Гольдка стала поднимать старые тряпки, брошенные старухой к порогу, намереваясь снова завернуть в них ребенка.

– Эй, тряпки эти надо выбросить, – сказала Дарья, вырывая из рук женщины лохмотья. – Надо новые брать, эти никуда не годятся, чистые надо, давай-ка толмачь ^[35] ей, – велела старуха Анге.

Бердышова эти дни дома не было, и Писотька уехал обратно в Мылки. Жена его еще погостила у Анги, перенимая от нее все, чему та сама за эту зиму научилась от русских. Сына она каждый день носила к Кузнецовым и показывала бабке. Ребенок поправлялся, оживал и все меньше походил на маленького старичка. Желтые щечки его чуть зарозовели, стали круглее и крепче. Мать, глядя на него, не могла нарадоваться.

С тех пор мылкинские гольды повадились лечиться у Дарьи. Их нарты, запряженные мохнатыми псами, часто останавливались над берегом напротив кузнецовской землянки. Бабка ворожила, выбивала больные зубы, лечила разные нарывы, болячки, опухоли.

Постоянное общение с гольдами так приучило бабку к ломаному языку, что она даже кошке, стащившей с шестка кусок лосиного мяса, говорила:

– Чего твоя балуй? А? Ах, ты!.. Вот я тебя ножом маломало секи-секи...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

На рассвете фанза выстуживалась. Женщины поднимались рано, топили очаг и варили в глубокой подвесной сковородке чумизу.

Кальдука Маленький выходил кормить собак. Они обступали его жадной сворой и, подвывая, провожали до маленького амбарчика с юколой. Кальдука залезал в лабаз и давал в зубы каждому из псов по темному пласту костей от сушеной мороженой рыбы, остальное съедено было людьми.

Чуть брезжил рассвет. Заснеженные сопки и река были яркосиними. В глубоких снегах дымились низкие фанзы.

Сегодня Кальдука поднялся не в духе. Ему неприятен был вчерашний разговор с лавочником. У Гао Да-пу за ним накопился огромный долг – в восемьдесят серебряных рублей. И долг этот за последние годы как-то странно и быстро рос, хотя Кальдука брал в лавке то же, что и прежде. Это был опасный признак. С таким долгом нельзя расплатиться иначе, как отдав кого-нибудь из семьи в рабы. Кальдука ничего не понимал в записях торговца, но ему казалось, что должен он гораздо меньше, чем значится в долговой книге. И он пытался уменьшить долг.

Всю зиму Кальдука провел в тайге, лишь изредка возвращался домой, чтобы пополнить запасы юколы. Но что мог он поделать, если хозяин тайги не посылал зверей в его ловушки?

Даже старый осиновый кривоногий бурханчик, служивший еще отцу Кальдуки, был, видимо, бессилен помочь его горю, и гольд, затаив обиду, собирался хорошенько высечь деревянного бога. Но пока Кальдука все еще не решался на такой поступок, откладывал наказание со дня на день, втайне надеясь, что бурхан, может быть, образумится и еще пошлет ему счастье.

Охота кончилась, а пушнины у Кальдуки было мало, и он не мог отдать долг торговцу. Вчера Гао Да-пу велел ему прислать в лавку тринадцатилетнюю дочь Дельдику, за которую Кальдука собирался получить со временем богатый калым.

Вечером, возвратившись из лавки, Кальдука не в силах был сдержать свой гнев. Он раскричался на женщин, наполнявших его фанзу. Их было много в семье: жена – жирная Майога, которую он взял

когда-то по бедности вдовой, в надежде со временем купить девушку, но с которой ему пришлось прожить всю жизнь; седая, с большими ногами мать – Уму; вдовая невестка Одака – жена единственного сына Кальдуки, которого утащил Му-Амбани – водяной черт, и четыре дочери, из которых старшая была косая и такая безобразная, что до сих пор не нашлось охотника жениться на ней; отдать дочку даром за нищего старик не хотел – хоть какой-нибудь калым надо было за нее получить.

– В моем доме много лишних ртов! – кричал Кальдука. – Никаких соболей не хватит прокормить такую ораву. Долг в лавке такой большой, что торговец забирает в рабыни Дельдику.

И разъяренный Кальдука схватил палку и начал драться. Он таскал толстую Одаку за волосы, бил ее по спине и по заду, потому что Одака была самым лишним ртом. В фанзе поднялся вой. Все женщины заплакали и завывали, услышав, что торговец хочет взять себе маленькую Дельдику. Женские слезы еще более распалили чувствительного отца, и его палка пошла гулять по бабьим спинам. Он переколотил всю семью. Досталось даже старухе матери, а заодно со всеми и осиновому идолу за то, что он плохо заступает за Кальдуку перед хозяевами тайги и зверей. «И бога отколотил, и мать, и все семейство. Так им и надо!» – думал Кальдука.

Накормив собак, Кальдука вышел на берег и посмотрел на Амур. Уж много-много лет Кальдука, если только не промышляет в тайге, по утрам смотрит на реку. Возвращаясь с охоты и завидев великий Мангму,^[36] он вскакивает на нарты и громко приветствует его, славя Му-Андури – владыку речных и морских вод.

Мысли старика были печальны. «Сегодня китаец возьмет за долги дочь. Через год-другой за девушку можно бы получить дорогие подарки от жениха. Теперь этого не будет. Конечно, может быть, потом он отпустит ее, но после того, как она поживет в лавке, никто не даст за нее хороший торо^[37]», – рассуждал Кальдука.

Кальдука окликнул Удогу. Старики присели на корточки возле амбара и закурили. Удога уже знал, что Гао хочет взять Дельдику, и сочувствовал беде сородича. Ежегодно торговцы отбирали у гольдов женщин. Перед концом зимней охоты они торопились выколотить долги с охотников до ледохода, опасаясь, что гольды приберегут меха к лету, чтобы покупать товары на русских баркасах.

В воздухе потеплело. Свежий снег еще не таял, но был влажен и комьями облеплял обувь. Чувствовалось, что весна где-то недалеко. Старики долго молчали, посасывая трубки и озабоченно поглядывая по сторонам, словно чего-то ожидая.

– Когда я был мальчишкой, – заговорил, наконец, Удога, – давно-давно это было, мы жили на Горюне. У меня уже были свои нарты, отец меня приучал ходить на охоту, дал мне трех собак, я вместе с ними таскал свой припас и юколу. Савоська был еще совсем малыш.

Над хребтами сверкнула солнечная корона. Синева исчезла, словно с реки сдернули покрывало. Сопки пожелтели. Кальдука выбил золу из трубки и позвал Удогу в фанзу.

– Однажды, – продолжал Удога, расположившись на кане подле очага, – мы с отцом отправились соболевать на озеро, за Амгунь, к морю. Я тяну свою нарту, он – свою. Нашли сопку, соболиных следов было много. Сам я еще не умел ставить сторожки. Отец насторожил пять лучков: три на себя, а два на меня, будто бы я их сам поставил. Пошли дальше и так везде охотились. Немного времени прошло, вернулись мы на сопку проверить нашу охоту. Под мои самострелы попали соболя, а отцовы стоят, как стояли. Отец говорит мне: «Тебе счастье от этих соболей будет».

– А у меня нет сына, – всхлипнул Кальдука, – некому мне помочь.

На себя Кальдука Маленький не надеялся. Он всегда был беспечным человеком. Если у него бывали меха, он покупал водку, устраивал угощения и наигрывал на муэня – это любимый гольдский музыкальный инструмент – железная подковка. Кальдука закладывает ее в рот. Ударяя по прикрепленной к ней пластинке, похожей на язычок, он извлекал дрожащие печальные звуки. Он мог проводить так целые дни. Если бы его не выручали сородичи, он давно погиб бы от голода. Сам Удога много раз помогал ему, а однажды во время оспы спас Кальдуку: приютил его у себя и долго кормил его самого и всю его семью.

– Потом мы переехали в стойбище Бичи, но и там нам плохо жилось, – продолжал Удога. – От торгашей покоя не было, они туда повадились ездить. Отец наш был отчаянный. Помнишь его? Вон Савоська в него уродился. Наладил он лодку, нас всех посадил, пошли мы на Мангму. Соседям отец сказал: «Какой бичинский торгош ко мне на новое место приедет за старыми долгами – убью и кровь выпью; с

другими буду торговать, покупать у всех буду, ни у кого в долг брать не стану». С тех пор до самой его смерти мы никому должны не были. Потом, когда отца убили, я стал жениться, пришел в лавку к отцу этого торговаша, к Гао Цзо... Хитрый был старик. Я у него стал просить халаты, чтобы торо за невесту заплатить. У меня не хватало вещей до полного торо. Мать не хотела, чтобы я в долг брал, а я ее не послушал – молодой был, дурак, бабу скорее хотелось. Я пришел в фанзу Вангба, к Гао Цзо, встал перед ним на колени, поклонился. У него тогда своей лавки не было, он у Вангба жил.

Кальдука много раз слышал этот рассказ, а некоторые события и сам помнил, но все же слушал Удогу со вниманием.

– Старик сидит на кане, лапшу ест палочками, глаза у него узкие были, он их будто закрывает, а сам смотрит. Тихий был, тихий, говорил потихоньку. Я прошу у него: «Дай мне вещи, какие надо». Он отвечает: «Ладно, только не забыл ли ты, что твой отец умер?» Я кланяюсь: «Помню, джангуй!». Гао-отец вздохнул и говорит: «За ним ведь был большой долг...» Я с ним спорить не могу. Раз он так сказал, надо будет платить. Забрал я, чего мне нужно было, ушел, сам дома заплакал. Ну, беда, ой, беда мне была, сколько я мучился! Потом сильно мне хотелось отдать долг, выручить семью, никому должным не быть, как отец велел нам. Как мы ни старались с Савоськой, никак долга скинуть не могли, уменьшался он, но все-таки записаны были мы в книге. Правда, и первую мою жену торгоша никогда к себе не таскали. Брат восстание против маньчжур поднял... Пришлось ему бежать. Потом уж, когда Невельской пришел, брат у него работал. Невельской поймал Гао, узнал все про него, заставил признаться, что ему не должны. Потом на баркасах русские поплыли, я стал проводить их суда: они платили мне хорошо. Молодые офицеры всегда заступались за гольдов и денег нам не жалели, серебро давали. Лавочник при расчете опять меня обмануть хотел, но уж я сам хитрый стал, в Николаевске у русских научился. Не дал себя обмануть.

Удога ушел.

«Вместо Дельдики я пошлю в лавку толстую Одаку», – вдруг придумал Кальдука, и сейчас же ему захотелось привести свою мысль в действие.

– Эй, Одака! – вскочил он, обращаясь к невестке. – Иди живо в лавку, скажи, что я послал тебя вместо дочери. Я не отдам ему

Дельдики! – закричал старик. – Ступай, работай на них, спи с ними, а дочку-я не дам им портить.

Еще не понимая, что ей велят, но уже чувствуя угрозу, потому что свои пояснения Кальдука подкреплял обычно побоями, Одака, как только старик произнес ее имя, замерла в оцепенении, моргая маленькими, заплывшими жиром глазками. Далее она уже совсем не понимала злую болтовню Кальдуки, и ей становилось все страшней и страшней, по мере того как старик, ярьась от своих собственных слов, приближался к ней.

– Иди к торговцам вместо Дельдики, иди, – подхватила жена хозяина, грузная Майога, толстогубая женщина с большим сизым бугроватым носом и с жирными щеками. Она вздрагивала от злости так, что тряслись щеки, а в больших отвислых ушах звенели кольчатые серьги.

– Пусть хоть лавочники растрясут твой жир, – подхватила, слезая с кана, больная ногами бабка.

Обе женщины накинулись на Одаку.

Они никогда не могли с ней сладить и ненавидели ее. Толстая Одака, живя в их доме, все делала им наперекор. Ее ничем нельзя было пробрать, эту ленивую бабу, спокойно и терпеливо сносившую все обиды. После смерти мужа ей, сироте, некуда было деваться, и она была лишним ртом в большой семье Кальдуки. Когда старик объявил, что отправляет ее в лавку, женщины обрадовались.

– Тебя давно надо было отдать китайцам, – шамкала старуха, ворочая желтыми больными белками.

Видя, что Одака упирается, Кальдука разъярился и пустил в ход палку. Он схватил Одаку за волосы, с ожесточением стал колотить и, наконец, вытолкнул ее, босоногую и простоволосую, на мороз.

Дельдика, с ужасом смотревшая на это наказание, от души жалевшая Одаку, вынесла ей шубейку и обутки, и Одака поплелась через сугробы и кустарники к фанзе торговцев.

У всех полегчало на душе, когда черная дверь лавки, с наклеенными на ней красными бумажками, захлопнулась за Одакой. Между тем в фанзу Кальдуки стали собираться соседи, и хозяин, поставив на кане столик, принялся вместе с гостями за пшеничную кашу.

– Какой амба изводит меня? – жаловался Кальдука. – Сегодня ночью я видел во сне, будто ловлю рыбу на косе, на Ондинском

острове, и у меня запутался невод.

Старики, уплетая кашу, качали головами и смотрели на Маленького с сожалением: увидеть во сне запутанный невод означало беду.

– Однако, если беда на девок, то виновата Лаптрюка,^[38] – заговорил горбатый Бата. – За шаманом ехать придется – гонять Лаптрюку.

– Шаман сам узнает, какой амба. Может, Лаптрюка тут не виновата, – возразил Пагода. – Шаман молиться станет – узнает... Это, кажется, крутит тебя не Лаптрюка, а оборотень Нгивы-Амбани. Чтобы отогнать его, можно не звать шамана, а камлать самим. Надо нарубить ветвей тополя и положить их на каны, когда ляжешь спать. Перед сном надо помахать вокруг себя и проговорить: «Не играй, не мешай!»

Вернулся Удога. Он слушал разговоры про злых духов и молчал угрюмо. Много раз пытался он убеждать сородичей, что все это чушь, сказки!.. С годами даже родной его брат, когда-то бывший бесстрашным проводником капитана Невельского и его офицеров и сам ни во что не веривший, кроме как в бога, и тот стал снова, как в детстве, поминать иногда всякую чертовщину.

В это время до слуха сидевших в фанзе донеслись визгливые выкрики торговца и вопль женщины.

Все кинулись наружу.

По тропинке, протоптанной в кустарниках к лавке, Гао Да-пу гнался за толстой Одакой, пиная ее ниже спины и выкрикивая грязные бранные слова.

– Хитрый Кальдука хотел отдать мне лишний рот, – нарочито громко, чтобы всем было слышно, кричал он. – Беги, беги, вонючка, мне тебя не надо!

Торговец остановился на полдороге между лавкой и фанзой Кальдуки и, глядя, как взлохмаченная Одака улепетывает к толпе гольдов, прокричал:

– Хитрые, хитрые лисы! Когда надо справлять праздник, просят: «Хозяин, дай водки!» – изогнувшись, представил он просящего гольда. – Когда голодные: «Хозяин, дай чашку пшена!» А отдавать не хотите, надеетесь на рогатую лягушку?^[39] Посылаете ко мне голодную девку? Нет-нет, – подпрыгивая, взвизгнул лавочник, – отдай молоденькую дочку, а вонючку возьми себе. Сам хочешь получить за

дочку торо, а торговец вешайся от убытков. Видано ли, чтобы долги не были отданы ни к Новому году, ни к концу охоты? – И Гао Да-пу, громко бранясь, поплелся в лавку. – Вечером отдавай долг или приводи девочку, старый лисовин, а то сам приду за ней и отберу ее у тебя! – крикнул он из кустарников, оборачиваясь к Кальдуке.

Весь день гольды курили на канах длинные трубки, рассказывали разные истории об охотниках, о чертях и спорили, какой именно амба виноват в несчастьях Маленького и чем бы отвратить от него беду.

– Никакой черт не виноват в том, что Гао отбирает у нас девушек, – возразил старик Удога. – Помнишь, когда поплыли первые баркасы, шаман Бичинга говорил, что русские – это черти. Если бы они были черти, от них было бы много бед, а оказалось наоборот. Боясь русских, китайские торгаши перестали отбирать у нас девок, теперь они снова хотят приняться за старое.

Все же и Удога не сказал, что надо сделать, чтобы Гао не отобрал Дельдику. Когда-то он храбро ссорился с торгашами и не уступал им ни в чем. Осмелел он после того, как его наградили русские. Он служил у них лоцманом на сплавах, отличился отвагой и знанием реки. Сам губернатор Муравьев не раз хвалил его за усердие. Позже в Бельго поселился Бердышов, он не давал спуску торговцам. Но после того, как Иван и дочь Анга уехали на Додьгу, постаревший Удога снова стал побаиваться лавочника. Взрослых сыновей у него не было, сам он охотился все хуже, Савоська тоже сдавал, и у братьев уже не стало прежней уверенности в себе. Хотя они сами не были должниками, у них не хватало храбрости заступиться за Кальдуку.

Вечером, когда тайга побагровела от заката, ветер донес до слуха стариков голоса. К фанзе подошли Гао-младший и Гао-старший с работником Шином. Они стучали палками в стену так, что сыпалась глина и появлялись дыры, в которые валил мороз. Торговцы требовали, чтобы им вывели девочку.

Женщины заголосили. Кальдука Маленький выскочил наружу и заспорил с торговцами. Тогда Шин, рослый и сильный маньчжур, растолкав гольдов, ворвался в фанзу. Он оттолкнул Удогу, а бойкий Гао Да-лян крикнул гольду:

– Не смей мешать нам, тебя теперь никто не боится!..

И Удога с болью в сердце отступил, сознавая, что он теперь им действительно не страшен. Вряд ли кто из новых русских помнит о

былых его заслугах. Все начальники здесь новые, никто не заступится за него. Надежда была лишь на Ивана, но тот редко наезжал в Бельго, и старых знакомцев, боевых морских офицеров, водивших сплавы, не осталось, все они по какой-то причине уехали.

Много потрудился в свое время Удога, и вот теперь его опять никто не знает. Лавочники скорей всех сообразили, что Удога теперь бессилен. Самый младший из них первый сказал ему об этом.

«Да, теперь меня никто не боится», – с горечью думал старый гольд. Рассказы о его подвигах стали лишь преданиями, сказками. Наконец прорвалась злость торговцев, которую они копили на Удогу много лет. Пока что это была лишь дерзость, но как знать, на что решатся они дальше.

В фанзе поднялся ужасный гам. Женщины пытались отбить Дельдику у китайцев.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Бабка Дарья, коренастая, моложавая, с широким лицом и зоркими глазами, сидела за столом и слушала разговор мужиков про охоту.

– Видно, мужики у нас сами лису не поймают.

Придерживая левой рукой фартук, она приподнялась и пошарила правой по черепкам на полке, достала какой-то травы, намяла ее с тестом.

– Кинь на острове, у норы, – сказала она сыну.

Через два дня Егор пришел с мешком и, сняв его с плеча, стукнул об пол чем-то тяжелым. В мешке была лиса-сиводушка. А на третий день попалась чернобурка.

– Целый месяц мы за ней ходили. Кабы не ты, старуха, не поймали бы, – признался дед.

– Лис да лиса, не пробеги мимо, – напевала старуха какой-то заговор, переставляя черепки со своими снадобьями.

В пятницу на первой неделе великого поста к Кузнецовым приехал Писотька с женой. Старик, увидя бабку Дарью, прослезился от умиления, его плоское лицо просветлело, а колючие, подозрительные глаза смягчились. Он поклонился ей в ноги и выложил на лавку соболя и великолепную чернобурку.

– Спасибо, бауска, sibko спасибо, моя сынка вылецил, – мягко и певуче говорил Писотька, обращаясь с непривычными чужими словами, как с дорогими безделушками. – Моя лиса ловил, народ в тайгу гонял, сам бегал, чтобы тебе гостинца таскать. Баба моя тоже гостинца привез.

Гольдка отблагодарила старуху меховыми сапогами. Стоя на коленях, она вынула подарки из кожаного мешка.

– Ну-ка, бауска, говори такое слово, чтобы никогда мальсиска не хворал. Наса тоже саман есть, да он плохо лецил, все моя мальсиска помирал, а твоя, бауска, sibko хороса...

– Мыть ребят надо, купать в воде хорошенько, с мылом, – втолковывала бабка гостям, рассевшимся на высокой земляной лавке. – Анка Бердышова дала твоей бабе мыла, – обращалась она к Писотьке, кивавшему головой на всякое ее слово, – она теперь сама знает, что с мылом делать. Корыто надо, воду нагревать да купать его, купать, –

старуха делала руками такие движения, словно окунала ребенка в воду. – Его здоровый, шибко здоровый будет.

– Они так-то не поймут, им, поди, показать корыто надо, – с сожалением глядя на гольдов, вставила Наталья.

– Ну как не поймут! – возразила старуха. – Они понятливые.

– Конечно, понимай, как не понимай, – подхватил старик. – Корыто долбить надо, потом вода наливай, купай мальсиска-то. Наса тозе летом купаться ходит, только зимой не могу, сибко холодно...

Пришли Кондрат, Егор и Федюшка. Благодаря заботам Анги, подкармливавшей Кузнецовых соленой черемшой, мороженой клюквой и толченой черемухой, дед понемногу поправлялся. Чувствовал он себя все еще слабым, но все же, стараясь не быть обузой детям, ходил на релку и работал там, потихоньку раскряжевывая срубленные деревья.

Писотька быстро разговорился с мужиками, проявив особенное любопытство к Кондрату. Оба старика, усевшись рядом, поглядывали друг на друга с некоторым удивлением. Более всего Писотьку занимала седая широкая борода деда, а Кондрата – серебряные кольца в ушах и в носу гольда.

Писотька глядел долго на Кондрата и, наконец, попросил у него позволения потрогать бороду.

– Ну, трогай, – сказал дед, подняв подбородок и согласившись только из-за того, что гольд привез чернобурку.

– Ай нари!^[40] – умиленно восклицал Писотька. – Серт не знай, какой мяконький твоя борода!

Все уселись за стол. Гости, подражая русским, учились брать пельмени ложками.

Дарья и Наталья от души старались угодить гостям. Гольды прогостили у Кузнецовых до вечера и на прощание приглашали их всей семьей к себе в Мылки.

Так случилось, что Егор стал обладателем соболя и двух чернобурок. Кузнецовы решили отдать долг торговцу и на свою чернобурку набрать в лавке соли, муки, круп. На другой же день, заложив Саврасого в розвальни, Егор отправился в Бельго.

По дороге Егор сломал оглоблю, вырубил в прибрежном лесу новую и из-за этого задержался. Лишь к вечеру доехал он до Бельго.

Взявши коня под уздцы, он вывел сани на откос берега и поставил Саврасого подле амбара.

Залаяли собаки. Из фанзы выскочил Гао Да-пу.

– Цу-цу! – закричал он на собак и, пряча руки в рукава стеганой кофты, разогнал псов пинками.

Собаки попрятались под амбар.

Торговец поздоровался с Егором и велел ему идти в лавку, а сам, вытянув шею, стал вслушиваться в какие-то неясные звуки, доносившиеся со стороны стойбища.

Собаки снова вылезли и громко залаяли на Егора. Торговец рассердился и погнался за ними.

– Иди, иди! – грубо крикнул он Егору.

Кузнецов пошел в фанзу. К его удивлению, там никого не было. По-видимому, братья хозяина и работник были в отлучке. Егор снял шапку, пригладил волосы, сел на теплый кан и стал ожидать лавочника.

В дальнем конце фанзы пылал очаг, языки пламени то и дело вылетали из-под котла с бурлившей водой. Пахло бобовым маслом, чесноком, прелью залежалых материй, сыростью и дымом.

Егору не понравилось, как торгаш пренебрежительно поздоровался с ним и как покрикивал, словно видел перед собой человека зависимого. Егор знал, что такова повадка у всех торгашей, когда у них что-либо просят. Ему хотелось поскорей показать пушнину и этим доказать, что он приехал не просить товары в долг, а расплатиться.

Гао долго еще ругал разлаявшихся собак, потом с кем-то громко бранился и, наконец, вбежал в фанзу, сильно хлопнув дверью. Что-то приговаривая по-своему, он присел на корточки у очага и стал греться.

– Ну, что приехал? – не оборачиваясь, спросил он Егора.

За последние годы Гао Да-пу насмотрелся на бедствующих переселенцев и не стеснялся с ними. Егор уже был его должником. Торговец знал, что он охотничает неудачно, и поэтому никак не полагал, что у мужика за пазухой лежат меха.

Егор поднялся с кана, размотал кушак, достал из-под рубахи соболя, сиводушку и чернобурок и выложил их на низенький прилавок.

– Ну-ка, глянь, чего я тебе привез, – сказал он.

Лавочник вскочил и зажег на прилавке свечу. При виде мехов он мгновенно оживился. Хватая каждую шкурку за хвост и за голову, он тряс их, рассматривая у огня, дул на них, ласково поглаживая своими сухими желтыми пальцами, и, откинув голову, любовался ими с видом знатока.

Егор подумал, что не зря ли выложил сразу все шкурки. «Надо мне было сперва показать одну, а то он вон как вцепился».

Тут Гао опять к чему-то прислушался. Вдруг он бережно положил чернобурок на прилавок и, ни слова не говоря, выскочил наружу.

«Какой ему нечистый мерещится?» – удивился Егор и тоже стал прислушиваться, но, кроме гудения ветра в дымоходах под канами, ничего не услышал.

При свете свечи Кузнецов подробней оглядел лавку. На глинобитных нарах стояли столики-коротышки с посудой и палочками для еды; на полу громоздились тюки и ящики; вдоль одной из стен тянулись полки с разложенными на них товарами; с поперечных балок из-под крыши свешивались несколько крупных звериных шкур и пучки сухой травы, предназначенной для заворачивания ног; посредине фанзы, над канами, висели шубы и огромное фитильное ружье, аршин двух с половиной в длину; повсюду на деревянных гвоздях сушилась набитая травой обувь.

Ветер донес до слуха Егора чьи-то отдаленные голоса. Где-то в стойбище кричала женщина.

«Что-то тут у них неладно!» – с тревогой подумал Егор.

В фанзу вскочил Гао.

– Две чернобурки – восемь рублей, больше не стоят, это не шибко хорошая шкурка, – живо проговорил он, вешая чернобурок на деревянный гвоздь над прилавком.

– Да-а... – протянул Егор.

Торгаш раскрыл долговую книгу.

– Прошлый раз товар брал, сколько должен?

По его расчетам получилось, что и соболя и обеих чернобурок едва хватало на уплату старого долга. Егор попробовал сказать, что нет такой цены на меха, что каждая чернобурка стоит дороже всех товаров, какие он взял, но торговец так нагло и уверенно твердил свое, что мужик умолк.

Торгаш и слушать не хотел никаких возражений. Он охаял обе чернобурки, нашел проколы в шкурке соболя, совал Егору меха в нос.

Кузнецов подумал, что, быть может, на самом деле меха уж не так и хороши.

Пощелкав на маленьких счетах и что-то записав в книгу, торговец согласился отпустить Егору в долг мешок муки и мерку пшена. Он снял с полки выдолбленную из осины мерку и дважды насыпал ее, каждый раз уравнивая крупу палочкой с краями.

Когда Егор увязывал мочалкой мешок, где-то подле лавки, под берегом, послышалась возня. Кого-то, видимо, волочили по сугробам к фанзе. Слышалось тяжелое мужское дыхание, скрип снега, короткие торопливые возгласы и сдавленный женский стон.

Залаяли собаки. Ветер вдруг усилился, могучий поток воздуха зашумел, покрывая все звуки. Дверь широко распахнулась, и на пороге появился разъяренный толстый брат Гао, тянувший за руку маленькую девушку-гольдку. Ветер трепал ее косы и полы халата. Молча, как пойманный зверек, отбивалась Дельдика от толстяка Гао. Она пыталась укусить его за руку, упиралась о косяки, и только когда торговец подхватил ее за пояс и втащил в фанзу, с ее сжатых губ слетел стон отчаяния.

Следом за Гао Да-ляном, отряхиваясь от снега, вошли младший брат хозяина и работник, вооруженный длинной бамбуковой палкой. Все трое сильно запыхались и о чем-то громко говорили, обращаясь к старшему хозяину. Гао Да-пу тоже закричал.



Толстяк, не стесняясь присутствия Егора, толкнул девочку в дальний угол; она прижалась к стене, закрывая халатиком голые колени и не сводя с торговцев своих больших выразительных глаз, в которых мгновенно отражалось каждое их движение.

Вынося мешок с мукой, Егор услышал, как девочка пронзительно закричала. Возвратившись за вторым мешком, он увидел, как Гао Дапу что-то ласково говорил всхлипывавшей девочке. Остальные торговцы как ни в чем не бывало расселись на корточках на полу и закурили трубки, не обращая никакого внимания на Егора, словно его тут и не было.

«Девку у кого-то отобрали», – подумал Кузнецов и, не прощаясь, ушел из фанзы.

За свою жизнь Егор повидал много людского горя, но все же сердце его не очерствело.

Он оглянулся. Луна уже поднялась над хребтами и посветлела так, что на ней ясны стали пятна. Небо очистилось, ночь обещала быть ясной. Можно отправляться домой, но Егор решил пойти к гольдам. Его удивляли наглость и самоуверенность торгашей. Он готов был заступиться за девочку, но сначала хотел разузнать хорошенько, что случилось. Он запахнул чепан, повязался кушаком, надвинул шапку и отвязал Саврасого от березы. «Ну-ка!» – тронул он коня и повалился в розвальни. Заворачивая, он заметил, что по кустарникам к нему близится какая-то тень.

Едва Егор отъехал от лавки, как из чернотала наперерез ему, прыгая по сугробам и оглядываясь по сторонам, подбежал гольд, повязанный платком. Егор с трудом узнал в нем Иванова тестя – Удогу.

– Батьго!^[41] – ласково кланялся старик. Важности у него как не бывало.

– Здорово, Григорий, – отозвался Егор, остановив коня.

Удога повел его к Кальдуке Маленькому. Фанза его была полна народу. Савоська что-то кричал, обращаясь ко всем присутствующим. Мать, бабушка и сестры Дельдики громко плакали.

– Беда, беда!.. – сказал Удога.

Гольды обступили Егора.

– Его девка пропала! – крикнул Савоська и ткнул в грудь Кальдуки.

По маленькому сухому лицу гольда текли слезы, скатываясь на кофту. Он подал Егору руку в медных кольцах и, кивнув головой, улыбнулся.

– Давай говори, – обратился Савоська к Кальдуке.

Но тот не находил сил и слов, чтобы толком рассказать о горе, а лишь кривил губы в жалкой улыбке, заискивая перед Егором.

– Гао-хунхуз, – хрипло заорал Савоська, – у него девчонку отобрал! – Он показал на Кальдуку, кивавшего головой в подтверждение Савоськиных слов. – В лавке ты был? – спросил он Егора.

– Был.

– Маленькую девку видел?

– Она еще совсем девочка. За этим стариком долг большой есть! Соболя нету, у него сынка нету, сам один охотник, – пояснил Савоська. – Вот сколько тут баба есть – все его бабы. Гао Да-пу в эту

фанзу пришел, бил старика палкой, девчонку взял. Силком ее таскал в лавку, там черт его знай, что хочет делать.

Среди женщин послышались всхлипывания.

Дело было ясное. Егор понял: ему непременно надо пойти в лавку и заступиться за маленькую гольдку. Пока торговцы обманывали самого Егора, он еще терпел, но тут нельзя было не заступиться. Он поднялся, ощупал топор, поправил шапку, надел рукавицы и взял в руки кнут.

Савоська согласился пойти с Егором. Они вышли из фанзы и, пригибаясь от ветра, двинулись по направлению к лавке. Вскоре сквозь вой ветра и скрип деревьев до их слуха стали долетать пронзительные голоса торговцев.

– Ссорятся, что ль? – остановился Егор, не доходя до лавки.

– Нет, наш торговец всегда так кричи, он такой люди.

Егор велел Савоське зайти за лавку и ждать. Залаяли собаки. Егор дернул дверь. Она оказалась запертой. Он постучал. Оживленный разговор в лавке стих. Егор постучал сильнее.

– Отвори, хозяин! – проговорил Кузнецов.

– Это ты, Егор? – спросили из фанзы. – Чего надо?

Дверь приоткрылась, на пороге появился младший брат.

Торгаш поторопил Егора войти в лавку и плотно притворил дверь.

– Чего обратно пришел? – спросил с канов средний брат, запуская палочки в чашку с лапшой.

– Ночью домой не ходи, что ли, черта боиза твоя? – насмешливо спросил его Гао-младший.

Торговцы засмеялись. Они ужинали, сидя на канах. Насколько мог разглядеть Егор, маленькой гольдки между ними не было. «Что за чертовщина? Куда они ее девали? – подумал он. – С них всего станется», – и он насторожился.

– Шибко холодно? – спросил младший брат, глядя, как Кузнецов потер нос рукавицей.

– Холодно, – ответил Егор, снял рукавицы, положил их на нары и сдвинул шапку на затылок, собираясь заговорить.

– Кушать хочешь? – предложил толстяк. – Лапша есть.

– Кушать мне некогда, – возразил Егор. – А я к тебе по делу, – обратился он к Гао Да-пу и присел подле него на кан.

Торговцы стихли. Тут Егор услышал, что подле него, между стеной и глиняной кадучкой, кто-то шевелится. Он пригляделся. Из-за кадучки торчали детские ноги в стоптанной обуви. Маленькая гольдка спряталась от своих мучителей, только бы их не видеть.

– Это кто у тебя за кадучкой? – спросил Егор.

– Это? – Гао Да-пу вскочил с кана и, вытирая пальцы о кофту, подбежал к кадучке. – Это маленькая собака! – воскликнул он и стал ругать девочку.

– Слышь ты, – тронул его Егор. – Обожди-ка...

Но торговец долго еще кричал на девочку. Егор заметил, что Гао навеселе, от него разит водкой и чесноком.

– Ну, так вот, – заговорил Егор, когда Гао Да-пу, наконец, утих и снова занялся лапшой. – Давай-ка, брат, отпусти эту девчонку домой. Ее там отец с матерью ожидают.

– Зря говоришь, – усмехнулся торговец.

– Ты не смейся, я верно говорю. Ты ее лучше отпусти, пока беды не нажил.

– Ничего не понимаешь, – спокойно заговорил торговец. – Старик Кальдука много в мою лавку должен. Мы Кальдуку любим-любим. Ему трудно жить. Мы берем его девку, ее мало-мало кормим, она работать будет, за чушками смотреть. Мне эту девочку жалко-жалко.

– Ну, уж это ты зря, – недовольно возразил Егор. – Я сам видел, как вы ее волокли. Кабы ты ее жалел, она бы за кадучку не залезла.

– Ей тут очень хорошо. Что мы кушаем, она то же кушает. Спать вместе ложиться будем. Ее сюда клади, – Гао-младший показал на ворох тряпья. – Вместе спать шибко хорошо! – и молодой торговец нагло засмеялся в глаза Егору. – Играй, играй можно!

Егор понял, что над ним издеваются.

– Ах вы, язвы вас в душу! – вдруг озлобился он. – Ребят у гольдов отымаешь? Да как же ты смеешь у отца отымать девку?

Торговцы, повскакав, с криками окружили Кузнецова.

– Чего кричишь? Вали отсюда! – крикнул Гао Да-пу.

Торговец схватил Егора за плечи и вдруг ловко ударил его ногой ниже спины.

– Че кричишь! Моя сам губернатор знает! – Он еще раз ударил Егора. – Вали отсюда! Муравьев мой приятель был!

– Отпускай девку, или я тебе всю лавку разнесу! – И, как бы в подтверждение своих слов, Егор, оттолкнув торговцев, пинком повалил на них весь прилавок.

Костяные счета, мерки, аршины, баночки с тушью и все торговые записи полетели на пол.

– Вот я тебе покажу губернатора!.. – гремел Егор, топча ногами долговую книгу.

Видя гибель заветной книги, где записаны все долги, Гао Да-пу ужаснулся. Вскочив на кан, он закричал братьям и работнику, чтобы хватали Егора. Гао-младший, Гао-средний и Шин, вооружившись палками и размахивая ими, стали подступать к мужику.

Оглядев разъяренные лица торговцев, Кузнецов вдруг размахнулся кнутом и изо всей силы полоснул всех троих по головам. Удар с силой пришелся по толстяку и по работнику, но младший брат ловко подставил под кнут палку. Ремень завился вокруг нее, и торговец оторвал половину.

– Не тронь! На куски изрублю! – закричал Егор.

Мужик вырвал из-за пояса топор. Торговцы шарахнулись к нарам.

Видя, что они пререкаются между собой, кому первому начинать нападение, Егор, заткнув топор за пояс, вытащил из-за кадушки Дельдику и понес ее из лавки. Девочка, не понимая, что с ней делают, завизжала и забилась.

– Нельзя! – заорал Гао Да-пу. – Моя стреляй! – и он потянулся к фитильному ружью.

Под руку Кузнецову попал кол, которым подпирают дверь снаружи, когда уходят из фанзы, – он пустил его в хозяина. Торговец увернулся; кол угодил в решетчатое окно, морозный воздух хлынул снаружи.

Как только дверь распахнулась, выбежавший из-за угла Савоська схватил Дельдику на руки и помчался с ней по кустарникам к стойбищу.

Гао Да-лян вцепился в чепан Егора, но тот повалил его в сугроб, а сам стал отходить от лавки, отбиваясь от собак. Только в кустарниках, когда собаки отстали, Егор перевел дух. «Ну, слава богу, девку вызволил и сам жив-здоров!» – подумал он. На лице была липкая царапина. Егор вытер кровь.

Вспоминая подробности драки, Егор подумал, что надо было под горячую руку отобрать своих чернобурок. «Они же на стене висят, что бы мне руку-то протянуть!» Почитая сплошным обманом всю здешнюю торговлю, он не видел особого греха в своем намерении. Мысли о чернобурках отравили ему всю радость победы. Егор вспомнил, сколько положил он труда и времени, добывая чернобурку, и как радовались ей дети. И он вот все отдал торгашу чуть не даром. Чем дальше Егор отходил от лавки, тем обиднее ему становилось, что он так ожесточенно дрался за Ивановых кумовьев, за которых, по правилам, следовало заступаться Бердышову, а для себя не получил никакой выгоды. «Один ущерб: кнут поломали, рукавицы не дали взять... Или вернуться по горячему следу? – Он остановился. – Эх, кабы вовремя, будь я неладен! – досадовал он на себя. – Теперь лис у них уж не отнимешь и к фанзе они не подпустят. – Егор оглянулся на лавку. – Вот нарочно пойду», – решил он.

Оставив кнут на дереве, чтобы не мешал, он вытащил из-за пояса топор, вырубил из молодой березки комлястую дубину и двинулся обратно.

На этот раз он решил не входить в лавку и постучал дубиной в дверь.

– Эй, выходи кто-нибудь!.. Оглохли, что ли?

Незапертая створка задребезжала. Никто не отзывался, словно в лавке все вымерли. «Притаились, будь они неладны!» – подумал Егор и снова постучал.

– Иди, иди, а то стреляем! – вдруг крикнули из лавки.

– Я вот тебе постреляю!..

Егор с размаху грохнул дубиной по стене. Посыпалась глина. Собаки огласили воздух новым взрывом лая.

– Выноси обратно чернобурок, которых я тебе привез! – приказал Егор. – Хватит, повисели они на стенке.

– Товар брал! – восклицал Гао Да-пу откуда-то из глубины лавки. – Чернобурок обратно не дам!

– А если не отдашь, так я тебе камня на камне не оставлю. Кидай чернобурок, или поломаю всю лавку! – Егор снова ударил дубиной по стене.

Дверь распахнулась. Из темноты высунулось длинное ружейное дуло. Грохнул сильнейший выстрел старинного фитильного ружья.

Одновременно в лавке раздался вопль. Егор догадался, что при отдаче стукнуло стрелка прикладом.

Кузнецов отошел от двери и притих. Пахло паленым. Выстрелом опалило ему бороду. Немного погодя из дверей высунулась голова Шина. Егор замахнулся, и будь у него дубина полегче, Шин не успел бы исчезнуть невредимым и захлопнуть дверь.

– Кидай, кидай чернобурок, не раздумывай! – крикнул Егор и принялся колотить дубиной.

Глина на стенах трескалась и осыпалась, жерди на крыше дребезжали и прыгали.

– Эй, Егор! – жалобно воскликнул купец. – Чернобурку отдаю, ты не сердись, наш дом не ломай, мы не стреляем!

– Как это не ломай? А ты детям жизнь ломаешь – это можно?

Торгаши, видимо, признавали себя побежденными, но Кузнецов опасался, нет ли тут подвоха. Прекратив осаду лавки, он остался настороже, стоя между выбитым окном и дверью. Потом он быстро подпер дубиной прикрытую Шином дверь, а сам, вооружившись топором, встал возле окна. Теперь лавочники в своей же лавке были как в западне.

Из окошка выкинули чернобурок. Опасаясь попасть под выстрел, Егор подгрел их к себе топорищем и спрятал за пазуху.

– Теперь рукавицы кидай!

– Какие рукавицы?

– Сам знаешь, какие рукавицы.

Переговариваясь, торговцы забегали по лавке, видимо разыскивая рукавицы.

– Одна рукавица есть, другой нету! – жалобно кричал Гао Да-пу.

– Ищи другую у кадушки, возле прилавка.

Наступила тишина. Торговцы, видимо, искали.

– Есть, есть! – вдруг весело закричал Гао Да-пу. – Нашел, лови!

Обе варежки вылетели через окошко и упали в снег.

– А соболя надо? – кричали торговцы, видимо готовые все отдать со страха.

– Соболя себе оставь. За долги да за покупки тебе хватит его с сиводушкой.

«И соболя-то им еще много будет, – подумал Егор, – соболя-то хороший».

Подняв варежки, Егор зашел за угол и, все еще опасаясь, чтобы ему не выстрелили в спину, отходя, держался той стороны, где в стенах лавки не было окон.

В кустарниках его повстречал Савоська в сопровождении нескольких гольдов. С молчаливым восхищением они отдали Егору найденный ими кнут и повели мужика к стойбищу.

В доме Кальдуки было всеобщее ликование. Старики наперебой кланялись Егору и лезли к нему целоваться. Савоська оживленно махал руками, рассказывая все подробности освобождения Дельдики. Егора усадили за столик, но он отказался от угощения и стал собираться домой. Кальдука снова опустился перед ним на колени, прослезившись, о чем-то его просил.

– Он дочку просит взять с собой, чтобы ты увез ее к Анге на Додьгу, а то, когда ты уедешь, Гао придет и опять отберет девку. Пожалуйста, вези ее к Ивану, – сказал Удога.

...Было еще не поздно, когда Егор с Дельдикой тронулись в дорогу. Застоявшийся конь, чуя, что путь ведет домой, бойко побежал по тропинке. Розвальни закачались на сугробах. Луна, как золотая белка, запрыгала в узорчатых вершинах лиственниц. Егор оглянулся на огоньки в фанзе торгашей и шибче погнал Саврасого.

«Так вам и надо! – подумал он. – В другой раз, может, не станете издеваться над людьми».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ



За думами Егор незаметно добрался до Додьги.

– Доехали, – сказал он маленькой гольдке, остановив Савраску подле Ивановой избы.

Дельдика забеспокоилась и что-то залепетала по-своему. Егор помог ей выбраться из розвальней и повел в избу. Притворив за собой дверь жарко натопленной избы, мужик покашлял, но из темноты никто не отзывался. Слышно было только, как, часто и быстро стуча ногой, зачесалась в углу собака.

– Григорьевна, ты дома? – спросил Кузнецов.

– Кто это? – слышался с полатей испуганный и хриплый голос Бердышова.

– Никак, это ты, Иван? Слезь, я тебе гостью привез.

– Чего это тебя в полночь носит?.. Анна, поди засвети огонька: кого он там привез?

Бердышова слезла на пол, высекла огонь и зажгла лучину.

– Дельдика! – с восторгом воскликнула она, и обе гольдки радостно бросились друг к другу.

Тем временем Иван Карпыч слез с полатей и, поджав ноги, присел на лавку.

– Ты к китайцам, что ль, ездил? – спросил он.

– К ним, – ответил Егор.

Бердышов достал табак и трубку и, поудобней привалясь к горячему чувалу, закурил.

– Я продрог сегодня, беда, иззяб. И с чего, сам не знаю, будто не силен мороз, – посетовал Иван.

– А я полагал, что ты на этот раз подольше пособолюешь.

– Ничего не попало, – удрученно ответил Иван. – За пустяками проходил, измаялся, ног не чую.

Впрочем, и при удачной охоте он редко сознавался, что взял добычу. Возвратившись с промысла, он обычно жаловался, что все плохо, что напрасно проходил в тайге.

– Ну-ка, ну-ка, рассказывай, – оживился Бердышов. – Григория видел ли?

– Как не видел! Кабы ты знал, Иван Карпыч, чего там сегодня стряслось...

– Значит, это ты неспроста девчонку-то привез? Э-э, да у тебя морда покорябана. А что это, синяк?

– Такая там передряга была! – вздохнул Егор.

Бердышов сразу повеселел.

– Как дело к весне подходит, пора гольдам долги отдавать, так торгаши за их девок берутся. Это уж известно. А это гольдам – острый нож.

Егор стал рассказывать про свои приключения.

– Так ты, оказывается, и мехами раздобылся? Ладно, значит, у тебя старуха лекарит. Это хорошо, теперь мылкинские на нее молиться станут, – заключил Иван по-своему рассказ Егора.

Кузнецов, между прочим, помянул, что обеих чернобурок он отобрал обратно и привез домой.

– Теперь боюсь, как бы чего не вышло, – не дай бог, они жаловаться станут.

Бердышов от души хохотал, слушая Егора.

– Здорово ты им задал!.. И не бойся, ничего не станется, – говорил он, вытирая слезы, навернувшиеся от смеха.

– Сам посуди – восемь рублей за пару чернобурок!

Иван Карпыч слез на пол и обулся.

– Ладно, что девку привез. – Он подошел к Дельдике, сидевшей на табуретке, и потрепал ее по голове. – Пусть живет, Анне будет помощницей. Хорошая девка! – вдруг засмеялся он. – Без обмана... Если бы не ты, некуда бы ей деться. – Дельдика замерла от его прикосновения и, не смея шевельнуться, косилась на Ангу. – Так восемь рублей тебе Гао не пожалел за шкуры? – обернулся Иван к Егору.

– А сам-то ты не продаешь ему свою добычу?

– Не продаю и не стану продавать. Больше ему от меня соболей не видать. Вот пойдет с Хабаровки почта, соберу свои меха, доберусь до Софийска или до самого Николаевска. Хочешь, и твоих чернобурок отвезу?

– Можно, конечно, – согласился Егор.

Иван вышел проводить его.

Ветер менялся. Небо затягивало тучами. Луна купалась в белых пенистых волнах.

– Эх, отошала у тебя коняга! – Иван похлопал Саврасого по заиндевелой спине. – Чего это бока-то ей как сшило?

– Корма нет, без овса стоит.

– Ничего, скоро оправится.

– Разве что! – ответил Егор и, взяв Саврасого под уздцы, направился к своей избе. – Завтра приду к тебе.

– Приходи, – отозвался Иван и заскрипел дверью.

Дома у Кузнецовых не спали. Наталья послала Федюшку распрячь коня и внести муку, а сама накрыла на стол. Дети слезли с печи и уселись на лавке. Для них не было большего удовольствия, чем слушать отца, когда он откуда-нибудь приезжал. По его рассказам они узнавали окружающий мир, людей.

Егор умылся и сел за стол. Он ужинал ухой, черствым хлебом. Лучина, воткнутая в светец, освещала русское лицо его со светлой бородой и острыми глазами. Егор рассказал, как поссорился с торговцами.

– Анга тоже сказывала про этих купцов, будь они неладны! – поддакнула мужу Наталья. – Окаянные, что делают с гольдами, а те терпят.

– Торговля: не обманешь – не продашь... – заключил лежавший на полатах дед.

Когда все легли спать, Наталья убрала посуду, потушила огонь и легла подле мужа.

«Завтра чуть свет побегу к Анге смотреть гольдскую девчонку», – решила она.

С содроганием она думала о судьбе, которая ждала Дельдику, если бы за нее не вступился Егор. Муж представился ей смелым, сильным, ее умиляло, что он подвергался опасности из-за маленькой гольдки. И она обняла его крепко, как, бывало, обнимала, когда только что вышла замуж.

* * *

Наутро Егор принес Бердышову своих чернобурок и просил продать их повыгодней.

– Уж постараюсь для тебя, Кондратьич.

День был ясный, солнечный, с крыши обильно капало.

– Как теплеет-то! – говорил Егор, глядя в оттаявшее окошко. – Успеешь ли до распутицы?

– Еще холода будут, – возразил Иван. – Это только немного отпускает, а как ветер подует, ударит морозище, снова закрутит пурга. Беда, как зима сызнова настанет! Амур еще не скоро тронется.

– Нартами ты бы живо отмахал.

– Забота с собаками, да и в городе трудно с ними, – возразил Бердышов.

Он не хотел ехать один с дорогим грузом. С почтой было надежнее.

– Тепло-то тепло, но ненадолго, – снова заговорил Бердышов, выходя из дому. – Сейчас самое время для цинги. Ты смотри, Егор, не оцингуй тут без меня.

Санка Барабанов протрусил мимо них верхом, направляясь к проруби поить коня.

Федор встретил мужиков у землянок.

– Все почту ждешь? – спросил он у Ивана.

– Скоро должна быть.

– Дед у нас занемог опять, – сказал Егор.

– Надо баб гонять в тайгу, чтобы клюкву, бруснику искали, рыбу свежую надо есть, не вымораживать ее, сырую хорошо бы, тоже помогает мясо сырое, хвою пить надо. Разные средства есть против этой цинги.

– По-ошта едет! – вдруг прокричал со льда Санка.

– Где увидал? – отозвался отец.

– Эвон... Через торосник переезжает.

– Обознался ты! Ничего не видно!

– Чего обознался! – кричал Санка, отъезжая от проруби. – Вон она! – парнишка показал рукой и, ударив коня ногами, поскакал обратно к берегу.

– Верно, колокольцы слышать, – согласился Иван. – Востроглазый он у тебя, нас переглядел. Туда вон сколько верст будет!

Часа через полтора к поселью подъезжали груженные кошевки. Ражие детины в собачьих дохах правили конями, запряженными попарно, гусем. В кошевках виднелись ружья.

– С такими не пропадешь, – рассуждал Федор, – покатишь, как у Христа за пазухой, хоть тыщу с собой вези.

– Эй, здорово, паря Ванча! – сказал, ломая шапку, передний ямщик.

Переселенцы высыпали из землянок на талый прибрежный снег встречать приехавших. Ребятишки пустились бежать наперегонки с почтовыми конями.

Дед Кондрат вдруг заплакал и пошел в землянку.

– Ты чего это? – спросил его сын.

– Кабы весточку с родимой сторонки-то... – скривившись, пробормотал старик.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ



С первыми теплыми днями цинга начала валить новоселов одного за другим. Заболели бывшие еще недавно такими здоровяками братья Бормотовы. У Пахома из распухших десен выпадали зубы. Тереха еле волочил ноги, лицо вздулось, побагровело. Сама не своя ходила Пахомова жена Аксинья.

Анга при всем своем желании вызволить переселенцев из беды не могла всех их накормить соленой черемшой и мороженой ягодой. Запасы ее кончались. Из последнего давала она блюдце черемши больной Тимошкиной жене или семьям Егора и Федора.

Анга посылала Дельдику с бормотовскими бабами за Додьгу, на болота, искать под снегами клюкву, или в лес по бруснику. Приезд маленькой гольдки приехал кстати. Дельдика теперь хозяйничала за отяжелевшую, располневшую Ангу, ходившую последний месяц, была ей во всем старательной и услужливой помощницей. Как раньше русские бабы обучали Ангу хозяйничать, так теперь сама она обучала всему этому Дельдику.

Однажды Егор позвал Барабанова ловить сазанов подо льдом.

Федор охотно согласился рыбачить. Все утро мужики провели на льду неподалеку от поселья. Возвращаясь в обед домой, рыболовы заметили вдаль, на снегах, движущуюся черную точку.

– Кто-то едет снизу, – вымолвил Егор.

– Гольд на собаках, – отозвался Санка.

– Видишь, что ль?

– Нет, не вижу, – ответил парнишка, – а шибко быстро бежит.

Точка скрылась за торосами, и переселенцы разошлись по землянкам. Немного спустя Егор вышел еще раз поглядеть, кто же все-таки едет.

Из торосников, которые тянулись верст на пять, на простор гладкого снега вылетела собачья упряжка. Псы мчались во всю прыть, направляясь наискось к землянкам.

«Какой-то гольд к нам торопится, – подумал Егор. – Не от Ивана ли?»

Поравнявшись с кузнецовской землянкой, ездок в шубе соскочил с нарт, завернул их за дужку прямо на поселье и густо рывкнул на собак:

– Кой!

Псы свернули в сторону и снова рванули нарты. Судя по низкому, густому голосу, ехал русский.

На косогор взлетела дюжина огромных золотистых псов. Тут-то Егор разглядел седока. Упряжкой правил здоровенный курносый поп в мохнатой китайской шубе.

– Торо! – воскликнул поп, втыкая палку в снег.

Нарты остановились.

– Батюшка, свет ты наш, отец родной! – выбежав из землянки, восклицал прослезившийся Барабанов.

– Заходите в жило, батюшка, – приглашал Егор, осторожно подступая к упряжке, – а мы управимся с собаками.

– Умеешь разве? – спросил его поп.

– Да как-нибудь.

– Нет уж, давай я сам, – возразил священник и стал укладывать упряжку на снег.

Из всех землянок выскочили переселенцы и обступили попа. Он возился с собаками, изредка поглядывая на собравшихся. Сермяги, рваные шапки, лапти, куртки «крестьянского», еще в России катанного сукна, бледные лица, всклокоченные бороды, лихорадочно блестящие глаза, худенькие полуодетые ребята, девочки-подростки, строгие и молчаливые, как взрослые бабы, темнолицые изможденные женщины с нахмуренными бровями, вот-вот готовые безудержно зарыдать или заговорить о своих бедах, – все это уже было знакомо попу, не впервые видел он нужду, голод и болезни переселенцев.

– Как поселье-то назвали? – весело, густым басом спрашивал он, приглядываясь к лицам мужиков.

– Да еще без названия живем, – угодливо ответил Федор. – Так Додьга и Додьга прозываем.

– Сами-то с Урала, слышал?

– Оттель, батюшка.

– Ну вот и поселье-то Уральским надо называть.

– Да так и зовем! – сказал Егор.

Управившись с собаками, священник подозвал Кузнецова, которого сразу отличил как мужика крепкого и покладистого.

– Веди к себе, богатырь, – вымолвил он. – У тебя стану. Как зовут-то тебя?

– Егором, батюшка.

– В честь святого Георгия-победоносца, – улыбнулся поп.

– Он у нас округ гольдов и китайцев побеждает, – прыснул Илюшка Бормотов.

Все с недоумением посмотрели на парня, словно спрашивая его, зачем он нарушает торжественность минуты.

– Уймись, ты! – Агафья ткнула Илюшку под ребро так, что у того дыхание перехватило. – Нетёс!

Мужики вошли в землянку Кузнецовых. Бабы захлопотали. Запылала печь. Переселенцы тесно уселись на лавках. Поп, отдохнувши, помолился, бабы тихо плакали, мужики хмурились. Всем им молитва напомнила о родине. Только ребяташки, позабывшие

церковную службу, слушали попа более с любопытством и страхом, чем с благоговением.

Амурский «наездной» увидел в этот день всех переселенцев. Когда к Кузнецовым пришла Анга, поп бойко заговорил с ней по-гольдски, как природный гольд. Жизнь здешнюю он знал не хуже Бердышова, но был разговорчивее его и отвечал охотно на любой вопрос. Он знал, как чистить и корчевать тайгу, советовал крестьянам приглядывать по окрестностям места под заимки, объяснял им, когда и как лучше пускать палы, понимал толк в хлебопашестве, в охоте и рыболовстве; священник был знаком с большинством амурских торговцев, знал, когда, в каких селениях и какие бывают цены на товары, сам разбирался в мехах, как заядлый пушнинник. Он меньше всего говорил о божественном и более толковал о хозяйственных делах, ободрял мужиков, уверял, что тайги и дичи страшиться не следует, что здешний край – золотое дно и что тут только лодыри не разбогатеют.

На следующий день поп отслужил молебен в землянке Кузнецовых, помолился об исцелении болящих, покропил водой стены и самих хозяев, потом обошел все землянки, сараи и скотники, освящая строения, кропя коров, коней и птицу.

Анга заказала себе отдельный молебен с водосвятием и по совету Дарьи попросила попа прочесть молитву за путешествующих, чтобы Иван благополучно вернулся из города.

Вечером поп крестил «дорожного», родившегося на плоту, сына Силина и «амурскую», родившуюся на Додьге, дочь Пахома. Крестным Феклина «дорожного» стал Федюшка, а крестной – Анга, выполнявшая все обряды с особенным усердием. Приезд попа ободрил больную Феклу – в эти дни она стала выходить из дому.

Несмотря на то, что, по сути дела, поп помощи переселенцам не оказывал, приезд его подействовал на них благотворно. У них побывал свежий человек, который, хотя и наскоро, но все же вошел в беду каждого, выслушав всех, дал много полезных советов и своими молебнами доставил крестьянам торжественные минуты, которых они давно уже не испытывали. Они верили, что теперь им станет лучше, и от этого, казалось, чувствовали себя поздоровей.

Помочь цинготным поп был не в силах, но обещал походатайствовать в городе, чтобы на Додьгу прислали фельдшера.

Между прочими делами поп, как оказалось, имел из города поручение от пароходной конторы договориться с мужиками о поставке дров для пароходства. Он объявил цены на дрова, условился, какая семья и сколько подряжается выставить сажен, а в довершение всего роздал небольшие задатки.

Наутро, благословив на прощанье всех жителей Додьги, поп укатил на своих собаках дальше, объезжать приход, разбросанный на сотни верст.

– Вот те и поп! – печально усмехнулся дед, глядя на реку, где батюшка помахивал палкой и покрикивал на собак. – Да это не поп, а жиган. Эх, Сибирь, Сибирь!.. – жаловался старик. – Попы – и те торгованы...

Ничто не радовало старика на новоселье. Здешняя жизнь казалась ему ненастоящей, словно она только снаружи была подделана под российский лад, а в сердцевине оставалась чужой и непонятной. Здесь все было не так, как привык он видеть и понимать на родине. Он вырос и состарился на пашне, политой потом его отца и деда, и настолько привык за свои шестьдесят лет к родной природе, что только ее и считал настоящей. Видя, что тут слой перегноя тонок и близка глина, он не верил, что здесь земля будет долго родить хлеб. Снега тут таяли поздно, лето было жарче, чем на родине, зима студеней и ветреней; почва, где ни ступал дед на берег, все лето оставалась мокрой; приметы погоды не сходились ни с одним праздником; леса были завалены гниющим буреломом и заболочены; травы росли быстро и, превращаясь в дудки, не годились на корма; богатства края – рыба, меха, леса – не радовали деда, словно он видел их в сказке или на картинке, а не наяву.

Здешние жители, как и все сибиряки, по его мнению, поголовно были жиганами и варнаками.

– С чего бы им иначе сюда идти? – говорил дед. – Либо сами убежали, либо сослали их на каторгу.

И, наконец, даже здешний «наездной» священник, о существовании которого дед слышал прежде и которого ожидал он с нетерпением, оказался таким же варнаком. Более всего поп допытывался, добывают ли переселенцы меха и подрядятся ли заготавливать дрова для пароходства, и менее всего поминал про бога.

Молодые мужики не заметили в священнике того, что увидел дед. «Откуда им знать... И этим довольны – много ли им надо? – думал Кондрат. – Молодым-то кто помахал кадилом, тот и поп».

Сыновья и внуки, видя, что дед печалится, старались хоть немного оживить его.

– Тепло уж на улице, солнышко-то пригревает, – заговорил с отцом Егор.

– Греет, да плохо. У нас солнце об эту пору ниже и теплей, – возражал дед. – Тут хоть солнце и выше, а земля студеней.

– А ты чего, дедка, в избе сидишь? Иди на солнышко, – говорил Васька. – Весна на дворе.

– Много ты знаешь, пострел, какая бывает весна-то! Вот у нас дома весна так весна!..

– Сегодня уж теплей.

– Не знаю, доживу ли, нет ли до весны-то? – задумчиво говорил дед. – Ты-то доживешь, а я-то уж поспел...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ



Из Николаевска-на-Амуре в обратный путь Иван Карпыч тронулся на паре гнедых забайкалок, купленных им у казака-лошадника.

На восьмой день пути, не доезжая нескольких верст до устья Горюна, он попал в сильную пургу. С утра дорогу переметала поземка, ветер разошелся, нагнал тучи. К полудню началась сильная метель, и во всю ширь Амура, как хороводы белых теней, заходили снежные вихри. Вскоре начался обильный снегопад. Дорогу завалило снегом, дальше ехать стало невозможно, и Бердышов, завернув коней, с трудом добрался до маленького стойбища Гучи, расположенного неподалеку от устья одной из горюнских протоков.

На Гучи он застал всех жителей в величайшем смятении и страхе. В последние дни к жилищам гольдов повадился тигр. Он таскал собак и свиней, а в последнюю ночь долго ходил вокруг одной из фанз, по рассказам гольдов, стучался в дверь, мяукал, наконец, разорвал лапой бумагу и, сломав бамбуковый решетник в маленьком окошке, просунул лапу в фанзу, скреб ею по канам, намереваясь, как предполагали туземцы, утащить кого-нибудь из спавших.

Хозяева, подняв циновку, показали Ивану многочисленные и глубокие царапины от когтей зверя на глиняной поверхности кана и на досках.

Гольды, почитавшие тигра как божество, не смели стрелять в него и относились к его посещениям с суеверным страхом, полагая, что это наказание ниспослано им за какие-то грехи.

Стояла такая погода, что ехать дальше, до Тамбовки, – верст восемь-десять – нечего было и думать. «Утащит эта тигра моих коняг, – опасливо подумал Иван, распрягая своих низкорослых лошадемок и задавая им овса. – Однако, не вовремя я сюда попал». Но делать было нечего. Иван поставил коней подле самой фанзы под ветром, накрыл их старыми хозяйскими шубами, чтобы они не мерзли, а ночью несколько раз выходил к ним с заряженным ружьем. Ночь прошла спокойно, и собаки проспали до утра, не подымаясь. Ночью метель стихла, взошел месяц, день обещал быть ясным.

Под утро, когда хозяева проснулись и было кому разбудить Ивана в случае опасности, он решил поспать и завалился на нары у самого окошка. Бердышов сразу крепко уснул. Спал он недолго и сквозь сон вдруг почувствовал, что кто-то скребет его за бок. «Тигра!» – мелькнуло у него в голове. Иван мгновенно очнулся и вскочил.

– Ну и крепко ты спишь! – оскалилась перед ним бородатая рожа Родиона. – Ты чего? Испугался, не признаешь, что ли? Это же я, я, Шишкин... Ты, поди, думал, что тигра тебя за бок?

– Ты откуда взялся?

– Все оттуда же... А ты куда запропастился? Я тебя который день ожидаю.

– На что я тебе?

– Поднимайся, поедем тигру бить, – отвечал Родион.

– Куда?

– Она сегодня ночью на Чучах чушку поела, поедем со мной на ту сторону.

– Куда же я поеду? Видишь, у меня кони стоят!

– Ванча, поедем, прошу! – молил Родион. – Как я могу на одного себя надеяться? Ведь это тигра, а не медведь, медведя я понимаю, а это хищный зверь...

Родион с утра поехал из Тамбовки за сеном, которое у него на одном из островов было замечено в стогах. Добравшись до Чучей, он услышал от гольдов о ночном нападении тигра и поспешил обратно, чтобы забрать с собой несколько человек охотников и убить зверя. Проезжая мимо Гучи, он увидел, что гольды поят у проруби чьих-то коней. Он свернул в стойбище, чтобы посмотреть, кто там остановился, и, к радости своей, встретился с Иваном.

– Гольдам только дай с конями повозиться, шибко любят, – смеялся Родион, рассказывая, как он заметил, что в Гучи есть кто-то чужой. – Своих коней у них нет, а охота бы и им на коне ездить.

Иван молчал, видимо что-то обдумывая. Вдруг лицо его оживилось. Он усмехнулся какой-то своей потаенной мысли, быстро и хитро глянул на Родиона.

– Ладно, доставай лыжи.

– Давно бы так! – обрадовался Шишкин.

– Ну, а если эта тигра нас сгребет, кому оба моих коня достанутся? – шутливо сказал Бердышов.

– С тигрой этой у нас такое чудо было, – рассказывал Родион. – Она залезла на зады к Овчинникову, мы ее караулили, пьяные, да не слышали, как она забралась в скотник. Сильвестр залез на крышу, провалился меж жердей да ка-ак ухнет – и прямо на нее. Тигра испугалась – и бежать. Ей бы его за шиворот... Потом в переулке ее ожидали, самострел ставили, как на медведя: два кулака на коленку, чтобы ей в сердце пришлось. Но какой рост у нее, не знали – и ошиблись. Ранили ее, она ушла. Долго не было, а вот теперь опять у гольдов появилась. Надо, парень, нам ее уничтожить, а то она скотину давит.

Родион не досказал, что между своими охотниками он похвастался убить «эту тигру», и поэтому никак не хотел упускать зверя. Разделить честь победы с Иваном ему было выгодней, чем со своими, поэтому, встретив его, он решил не ездить в Тамбовку.

У хозяев охотники выпросили две пары лыж и сошку. Бердышовских коней, чтобы зря их не маять, решено было оставить у гольдов. В Чучи мужики поехали на Родионовой кобыле.

– А где у тебя ружье? – спросил Иван, усаживаясь в розвальни.

– Я по сено ехал, не взял, – усмехаясь, признался Родион.

– Так какая может быть охота? Ты смеешься надо мной?

– Прошу, поедем! – умоляюще заговорил Родион. – Я на Чучах у гольдов отниму ружье.

– Да они не дадут тебе ружья: тигра – это бог для них.

– Ванча, силой отыму! – Родион тронул вожжами кобылу.

Отступить было поздно. К тому же охотничья страсть заговорила в Иване.

– Ладно, я тебе потрафлю. Верно, нам с тобой надо поучиться стрелять вместе, – и он подмигнул Родиону.

Шишкин закурил и утих.

– Ну, а у тебя, Родион, что новенького? – спросил Иван, когда сани выехали на дорогу. – Про Дыгена слышал?

– Слышал мельком: едет он по Горюну, гольдов обирает, – протянул Родион.

Иван поднял брови и многозначительно кивнул головой в ту сторону, где Горюн вытекает из гор.

– А у меня к тебе дело из города. От исправника.

– Что такое? – встрепенулся Родион.

– Вот я скажу тебе сейчас. – Иван не торопясь закурил. – Исправник велел мне Дыгена поймать и доставить в город. И тебя назначил мне в помощники.

Родион остолбенел и долго молчал. Он был отважный охотник и меткий стрелок, но душой прост и доверчив. Он верил Бердышову. Новость, сказанная Иваном, озаботила его. Приказ исправника – закон.

– Надо их захватить, но так, чтобы никто не видел, – продолжал Иван.

– Как же это можно сделать? – воскликнул Родион. – А мимо деревни как их повезем? Да и зачем такая тайна?

– Это мое дело. Ты только помоги мне их поймать. А не поможешь – худо будет и тебе и мне. Уж кто-то донес про нас с тобой в город, будто мы с Дыгеном заодно гольдов грабим. Ведь у тебя дружки среди гольдов есть?

– Дружки-то есть, но ведь я никогда... – начал было оправдываться испуганный тамбовец.

Иван перебил его:

– Я-то знаю! А люди думают, что если к гольдам ты едешь – значит на грабеж. Ты уж лучше остерегайся. А то люди наговорят на тебя.

Родион помолчал в раздумье.

– Иван! – сказал он. – А почему полицию не пошлют его ловить?

– Полиция на лыжах ходить не умеет, – отвечал Иван. – Да и стрелять будут – могут промахнуться. От них убежать нетрудно. А про нас с тобой все знают, что мы охотники хорошие и что от нас никто не убежит. Всюду настигнем. Только, паря, это дело следует держать в тайне. Маньчжурца надо схватить тихо. А то у него есть друзья в вашей деревне, а это дело политичное. Начнется, чего доброго, война с Китаем.

Родион в беспокойстве молчал. Его тронуло, что в городе такого хорошего мнения о нем, но, с другой стороны, все это было мужику не по душе, и служить исправнику, которого он не любил, тоже охоты не было, а отказаться, конечно, нечего и думать.

– Придется нам с тобой ехать на Горюн, куда-нибудь за быки, там его и подкараулить, – продолжал Иван. – Гольдов надо взять с собой. Донял Дыген и их и китайцев. Все народы его возненавидели.

– У ноанского торговца чего-то выпытывал, язык ему вытягивал, иголками колол.

– Н-ну?! За что?

– Китайцы сами не знают. Я мельком слышал, что ноанский торговец где-то золотишко добыл. Вот из-за этого... Но в точности не знаю.

– Золотишко? – переспросил Иван.

– У Дыгена один спутник помер на озере, оцинговал, да один больной, сказывают – морок на него навалился. Вместе с этим больным их всего пятеро. Скоро Юкану выйдет с Горюна, его можно взять с собой. С ним будет братан его Василий, тот, который капитана водил с экспедицией. Может, они помогут.

– Юкану я знаю, – ответил Иван. – Я слышал, что он торгует с тунгусами, соболей у них скупает. Они к нему на оленях с озер выходят. Мне помнится, он тебя охотничать учил?

– Было, – ответил Родион. – Давно, первый ли, второй ли год, как я приехал, пошли мы на охоту – человек шесть гольдов и я с ними. Юкану тогда медвежью дорогу нашел. Стали мы гонять медведя, а Юкану отстал, потом слышим: «Бах...» Он палит сзади, кричит: «Кой, кой!» Мы прибежали, а он давай нас всех ругать. Я последним прибежал. Он кричит на меня по-своему, а я еще тогда ничего по-гольдски не понимал. Потом мы догнали этого медведя, стали стрелять, пуля ему попала в ногу. Он заревел – и на нас. Юкану кричит по-русски: «Не стреляй, надо копьём колоть!» И ка-ак ружье с размаху бросит в снег! Ну, мы, все семь человек, с копьями вперед. – Родион снял рукавицы, растопырив пальцы, протянул руку, изображая, как охотники накинулись с копьями на зверя. – Медведь здоровый был, сразу три копыя сгреб и сломал. Ну, тут Юкану крепко его ударил прямо в сердце. Юкану смельчак, ничего не боится. И Василий тоже не робкого десятка, не выдаст. Ружья есть у обоих.

– Это Юкану тебе про золотишко сказывал? Я давно знаю, что там, на речках, золото есть. Еще мой дядя до Муравьева бывал на Амгуни, нашел россыпь.

Родион молчал, помахивая вожжой над крупом кобылы.

– Да-а, однако, этот Дыген богатство везет с собой, – вздохнул Иван.

За разговорами незаметно добрались до Чучей. Кобыла трусцой затащила их на косогор. Несколько жалких фанзушек расположились подле устья горной речки. По долине ее рос густой лес. Кругом виднелись белые раскидистые ясени, безобразные столетние тополя, осины, огромной толщины дубы, клены, черемуховые деревья и голый кустарник, торчавший повсюду из сугробов. А над всем этим чернолесьем высились кедры и ели, иссиня-черные на снежных откосах гор. На островах посредине речки густо рос тальниковый лес с тальниковым же кустарником, который был переломан и повален целыми рядами в ледоход, местами завален льдинами и занесен снегом.

Чучинские гольды оказались неразговорчивыми. Тигра они боялись как огня и наотрез отказались помочь охотникам. Кое-как Родион упросил их хотя бы посмотреть за конем. Уходя из фанзы, он потянулся снять со стены кремневку, но гольды в ужасе закричали:

– Ой, ой, куда берешь? Зачем берешь?..

– Дай, говорю! – кричал Родион, хватаясь за ружье.

– Ой, амба нельзя бить! – вопили гольды, опасаясь, что тигр станет им мстить, если дадут охотникам оружие.

Они обступили Родиона тесной толпой. Оглядывая фанзу безразличным, как бы смущенным взором, Родион заметил под крышей разные охотничьи рогатины и копья; он вдруг ловко вскочил на кан, выхватил из-под потолка геду^[42] и кинулся было вон из фанзы.

Гольды с криками набросились на него.

– Зачем берешь? Зачем берешь? – орали они, хватаясь за геду.

Родион изо всей силы дернул копье, вырвал его и, как безумный, выскочил наружу; проворно надев лыжи, он во весь дух помчался следом за Иваном, лыжня которого ушла в кустарники.

– Дурная у тебя смекалка, – сказал Бердышов, когда Родион догнал его. – Лучше ничего не придумал: с палкой на хищного зверя!

– Обратно, Ванча, сразу нельзя идти: позор, гольды подумают, что мы испугались.

– Зря ты меня сюда затащил, – проворчал Иван и быстро пошел вперед.

– Четкий след у нее, – говорил Родион, кивая на следы тигровых лап на снегу и стараясь узнать, сердится ли Иван.

– Ишь, как снег-то хвостом бороздила, – примирительно ответил Иван. – Чего-то тащила, присаживалась.

– Чушку у этих гольдов унесла, где мы коня оставили, а они ее, тигру, берегут, от нас еще охраняют, чудаки!

– Грех им против тигры идти, сомнение берет, как бы после чего худого не стало. Вроде как тебе же на Дыгена, – ухмыльнулся Иван.

Долго шли мужики по следам тигра, с напряжением всматриваясь в чащу, прислушиваясь ко всякому треску и шороху. Зверь был где-то близко. Шишкин и Бердышов наткнулись на кровавые следы его пиршества. Тигр не отходил от стойбища далеко – похоже было, что он сам следит за охотниками, притаился в засаде. На счастье, лес был тут не так густ, и зверь не мог подобраться незамеченным.

Тигр запутал следы. Побродив по долине, охотники решили отдохнуть на обширной поляне, посреди которой лежала огромная ель, поваленная ветром и полузанесенная снегом: тут все видно вокруг, и зверь не подкрадется незамеченным. Охотники сняли лыжи, стоямя воткнули их в сугроб и уселись на корточки. Рядом с лыжами Родион

поставил в снег копые. Иван достал кисет, и оба мужика закурили трубки.

– Покурим да и пойдем обратно, – сказал Иван. – Хватит на сегодня, набродились. Слава богу, что не встретили. Ты как дите.

– А куда торопиться? Все равно нам теперь дня два ждать в Тамбовке. Лучше тут лишний день пробудем, чем в деревне каждому глаза мозолить.

– Так где теперь Дыген? В Ноане? – спросил Бердышов.

– Сегодня к вечеру должен бы быть в Бохторе. Стар этот Дыген, а отчаянный. Теперь ему годочков шестьдесят, если не больше, а он все еще ездит. Редко они набеги на нашу сторону делают, но здорово гольдов грабят.

– Пстой, – шепнул Иван, вскакивая, и, схватив ружье, взвел курок.

– Ты чего?

– Тигра!

– Где?

– Под елкой, вон хвостом вертит. Где затаилась, подле нее сидели!.. Молчи! – Иван отбежал от елки.

Родион, выдернув копые из сугроба, последовал за ним.

Зверь шевелился под елкой, злобно колотя хвостом по ветвям. Родион приготовил копые. Иван отломил толстый сук и кинул его прямо в зверя. Огненно-пушистый хвост захлестал по еловым рассошинам, сбивая снег с ветвей. Зверь готовился к бою.

– Кошка, – вымолвил потихоньку Родион.

В тот же миг тигр выскочил из-под ветвей. «Ну, это смерть», – подумал Шишкин, крепко сжал геду в руках и встал подле Ивана.

Зверь сделал два огромных прыжка. Иван прицелился в глаз зверя, полный мутной злобы, и спустил курок. Раздался выстрел.

Зверь снова прыгнул, но, перевернувшись в воздухе, повалился в снег и забился в дикой ярости. Он ухватил когтями и зубами пенек и стал терзать его в предсмертных мучениях; щепы летели во все стороны. Родион ударил его в морду копыем. Зубы зверя лязгнули о железный наконечник. Родион вырвал копые из окровавленной пасти и с силой вонзил его в ухо тигра.

– Эй, шкуру не порти! – глухо закричал Иван.

Но Родион еще раз ударил тигра. Иван подбежал и выстрелил зверю в глаз.

Зверь стал утихать.

– В самую бровь угодил, – сказал Родион, рассматривая рану. – Ловко ты прицелился, а то бы нам с тобой не миновать смерти.

– Отойди, а то она схватит тебя, – предостерег Иван.

Словно в подтверждение его слов, зверь еще раз вздрогнул. Охотники отпрянули. Судорога пробежала по телу тигра, вздымая волнами пышный красно-черный мех. Вытянулись и шевельнулись лапы, показались когти, словно зверь потянулся спросонья.

– Готова.

– Теперь издохла, – вымолвил Родион. – Как она на нас озлилась!

– Не заметили бы мы, как она хвостом вертит, накурились бы досыта. Это она табачного дыма не стерпела, а то бы так и пролежала под елкой. Паря, эту бы тигру кинуть к вам в Тамбовскую губернию, вот бы пошла потеха!..

– А ты почему осип, Ванча? – вдруг засмеялся Родион, глядя на Бердышова. – Э-э, тебе бы сейчас в зеркало посмотреться.

– Как же! Тамбовские мужики на весь Амур страху напустили, – отшучивался смертельно бледный Иван. – Ну, ничего, гроза пронеслась! А, оказывается, вдвоем с тобой можно зверовать! Теперь пойдем на других зверей...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Родион давно дружил с гольдами; и когда случалось ему идти куда-нибудь далеко в тайгу, он обращался к ним за помощью. Поэтому никому из тамбовцев не показалось странным, что за последние дни в гости к Шишкину повадились горюньские гольды. Все замечали, что он куда-то собирается, но куда именно, никто не спрашивал – Родион все равно не скажет.

Когда после удачной охоты на тигра у Шишкина зажился Иван Бердышов, для всех стало очевидным, что оба заядлых охотника что-то затеяли.

Родион с Иваном в ожидании вестей о маньчжуре исподволь готовились к предстоящему походу на Горюн.

Родион по многу раз рассказывал своим односельчанам, как он вышел «с палкой на тигру». В довершение своего хвастовства он однажды вывесил тигровую шкуру перед своей избой на зависть своим соседям и соперникам по охоте – Спиридону и Сильвестру Шишкиным.

На третий день к вечеру приехали гольды Юкану и Василий. По их словам, Дыген поутру выезжает из последнего стойбища, где он прожил два дня.

– Откуда знает? – удивился Юкану, когда Иван, войдя в зимник, где остановились гольды, поздоровался, назвав его по имени.

Юкану был рослый, краснолицый и усатый, более похожий на чубатого казака, чем на амурского гольда.

– Знаю, знаю! – загадочно усмехнулся Иван, пожимая его заскорузлую руку. – Батьго, батьго!

В зимнике, просторной теплой избе, где никто из Шишкиных не жил и где зимами квасили шкуры, шили сбрую, шубы, обувь и готовились к охоте, мужики просидели с гольдами до поздней ночи.

Гольды ненавидели Дыгена и согласились помочь Ивану. Он о чем-то долго беседовал с Юкану наедине.

Затемно Иван, Родион и оба гольда выехали на двух нартах из Тамбовки, направляясь к устью Горюна. С ночи падал снежок, на льду намело порядочные сугробы, и нарты двигались медленно.

– А вот теперь скажу тебе правду, – сказал Бердышов Родиону. – Исправник велел нам с тобой этих грабителей перестрелять.

Родион испуганно взглянул на Ивана.

– Смотри не выдай. Дело государственное.

«Час от часу не легче, – думал Родион. – Вот запутают меня...»

Василий, ехавший на передних нартах вместе с Иваном, всю дорогу не давал ему покоя, клянча у него за свои услуги в придачу к серебру разные вещи. Болтливый и назойливый, он не походил на своих соплеменников. То просил Ивана купить жбан водки, то слишком хвалил его охотничий нож, добавляя, что ему самому хотелось бы иметь точно такой же, то вдруг спрашивал, чем станет угощать его Бердышов, если он приедет гостить к нему на Додьгу.

«Какой попрошайка!» – подумал про него Иван.

Василий всем своим поведением показывал Ивану, как он для него старается: гольд безжалостно колотил собак, то и дело кричал, что надо ехать быстрее, потому что они везут богатого, доброго человека, который ничего не жалеет для бедных жителей Горюна. Не находя иного способа выказать Ивану, как он поступает ради него своим удобством, Василий старался всячески потесниться на нартах, хотя для двоих места вполне хватало.

Наконец Василий надоел Ивану, и тот пригрозил, что не даст ничего, если он будет клянчить.

Гольд поморгал большими веками и сначала хотел что-то возразить, но сдержался, по-видимому решив получить подарок. По мучительному выражению, появившемуся на его лице, видно было, что молчание стоит ему великих усилий. Наконец он, видимо, успокоился, сел боком к Ивану и запел.

На моих собаках лоча едет,
Ханина-ранина, —

бойко выводил он.

Звуки песни напомнили Ивану самодельную скрипку, которую ему случилось слышать в Бельго.

Мы джангуя повстречаем,
Ханина-ранина, —

потихоньку заунывно продолжал Василий.

Сам я драться с ним не стану,
Ханина-ранина...
Джангуйни навстречу мчится,
Ханина-ранина,
Мое сердце встрепенулось,
Ханина-ранина.

— Где ты его видишь? — спросил Иван.

— Далеко... Так поется, — ответил Василий по-русски. — Еще
маленько проедем, там встретим.

Нойон Дыген пропал,
Ханина-ара... —

взвизгнул гольд и на полуслове затих.

Издаലെка слышался ожесточенный собачий лай. Нарты
проезжали под черными обрывами горы Голова Рябчика. Собаки,
тяжело дыша, с трудом преодолевали снежные валы.

— Дыген едет! — крикнул сзади Юкану. Он слез с нарт и, чтобы
облегчить работу собак, пошел пешком.

Лай становился все явственнее. Иван слышал, как вожак
встречной упряжки злобно заливался на все лады, — он требовал
уступить дорогу. Собаки Юкану и Василия залаяли в ответ.

Из-за скалы выползли нарты. Десяток собак, впряженных
елочкой, с трудом их тянули, барахтаясь в глубоком снегу. По
судорожным движениям псов, по высунутым языкам, которыми они
время от времени прихватывали снег, по тощим, провалившимся бокам
с включенной мокрой шерстью видно было, что собаки тянут из
последних сил.

Впереди на нартах сидел человек в шубе с мохнатым воротником. Его шапка и плечи были завалены толстым слоем снега. Он все время держал над собаками длинную палку, как бы угрожая им. Нарты ехали прямо. По тупому, безразличному выражению лица и по безумному взгляду, устремленному куда-то вдаль, нетрудно было догадаться, что от долгих таежных путешествий на этого маньчжура напал «морок». Он сидел не шевелясь, тупо всматриваясь вперед, как бы силясь что-то припомнить. Собаки сами себе выбирали дорогу, погонщик лишь изредка, словно очнувшись от своих видений, с силой ударял палкой по собачьим спинам. Среди длинных мешков, привязанных к нартам, спиной к собакам сидел другой человек, голова его была укрыта высоко поднятым воротником.

Третий шел на широких лыжах. Вдали, из-за скалы, появилась вторая упряжка.

Сердце у Ивана застучало. Он скинул доху, пододвинул к себе заряженное ружье и велел Василию сворачивать. Взрывая груды рыхлого снега, нарты встали поперек дороги, чуть отступя от нее.

Сидевший на мешках оглянулся и, увидев встречных, что-то закричал погонщику, но тот, казалось, ничего не слышал. Тогда он проворно соскочил с мешков, к нему присоединился бежавший на лыжах: они стали бить собак и тянуть упряжку в сторону.

Иван и Родион смотрели на них и не трогались с места.

Родион был храбрый человек, верный своему слову. Он никогда не выдавал товарищей. И на этот раз, хотя вся эта затея не нравилась ему, он готов был, как ему велели, стрелять.

Видимо полагая, что русские боятся ехать мимо собак, спутники Дыгена пытались отвести своих псов от дороги. Тем временем приблизились вторые нарты. В них сидел рослый толстогубый маньчжурец, а из-за его спины виднелась чья-то заснеженная шапка, украшенная собольими хвостами.

В рослом погонщике Иван узнал одного из тех встречных, с которыми он спорил ночью под Бельго из-за покусанного собакой барабановского коня. Когда нарты подъехали ближе, человек этот проворно слез на снег и вцепился в хребтину остервенело рвавшегося вперед жоака.

Иван, обернувшись к Юкану, показал на рослого детину.

Между тем встречный в собольей шапке отряхнул снег с воротника и обернулся, по-видимому обеспокоенный длительной задержкой. Иван увидел знакомое рябое лицо, кривой глаз и седые усы, свесившиеся по углам рта. Это был Дыген. Лицо его, с тех пор как Иван видел его в последний раз, пополнило и стало благообразней.

«Вот когда ты попался!» – подумал Иван. Он еще дальше отъехал от дороги и, махнув рукой рослому погонщику, крикнул:

– Проезжай!

Встречные перебросились короткими замечаниями, погонщик повел жоака вперед, согнувшись, держа его за шерсть загривка и за поводок. Нарты приближались к Ивану. Жоак, оскалившись, залаял на него. Собака за собакой пробегали мимо Бердышова.

В широких тяжелых нартах виднелись кожаные мешки, тюки и шубы. Поравнявшись, Дыген уставился мутным глазом на Ивана. Он узнал Бердышова и, как видно, встревожился.

– А-на-на! – вдруг с жаром выкрикнул Бердышов по-гольдски.

В руках у Юкану сверкнула длинная сирнапу – палка с зажатым в нее клинком. Василий быстро кинулся к чужим постромкам и перерезал их ножом, а Юкану ударил по голове рослого погонщика. Упряжка запутала его в поводках и, с воем ринувшись вперед, потащила по снегу.

Иван как зверь рывком кинулся к нарте нойона.

Дыген пронзительно закричал. Он силился обернуться к своим спутникам, но тяжелая теплая одежда мешала ему. Иван застрелил его в упор. Родиону сбоку видно было, как старый разбойник тряхнул простреленной головой, откинулся на спину, перевернулся и повалился ничком в снег. Следом за ним, словно убитый тем же выстрелом, рухнул со своих нарт погонщик первой упряжки и, провалившись в глубокий сугроб, остался лежать неподвижно. «Не с испугу ли помер? – подумал Иван. – Вот как бывает! Или притворяется?»

– Эй, Родион, не зевай! – вдруг крикнул он. – Стреляй!

На первые нарты вскочили двое спутников Дыгена. Один из них погнал собак стороной, а другой, чтобы облегчить сани, на ходу выбрасывал грузы. Однако по целине, в глубоких снегах псы продвигались медленно.

– Стреляй, Родион! – прикрикнул Бердышов.

Родион дважды выстрелил из штуцера и, не дав им далеко отъехать, выбил одного из нарт.

Погонщик, на ходу кидавший мешки, упал.

Его товарищ, яростно колотя собак палкой, быстро удалялся. Юкану и Василий надели лыжи и, вооружившись копьями, побежали вдогонку.

Иван опустился перед Дыгеном на колени и расстегнул на нем лисью шубу. Под ней была стеганая шелковая кофта с серебряными шариками-пуговицами.

– Ну, теперь надо разобраться, сколько он жиру нагулял, во сколько наши грехи оценены.

За поясом Дыгеновых ватных штанов Иван нашел вместе с разными мелкими вещами небольшой, но тяжелый мешочек. Развязав его, он высыпал на руку кучку золотого песка.

– Эй, смотри, чего нашлось, – обратился он к Родиону. – Золотишко!

Подошел побледневший Родион.

Иван вытаскивал из мешочка мелкие щербатые самородки.

Издали донеслись слабые крики. Мужики обернулись. Остановив собак, Юкану и Василий расправлялись с последним спутником Дыгена.

– Ну, вот и все! Отвоевались! Вот и забили тигру. Та, паря, с шерстью, кошка была, а тигра-то, вот она лежит!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Пурга намела в Тамбовке сугробы вровень с избами.

«Завалины было потаяли, – думала Таня, с трудом пробираясь по глубоким сугробам, – а вот опять буран».

Девушка забежала к соседям. Арина Шишкина, высокая худая женщина, стоя у стола, разливала молоко по крынкам.

– Дуняши нету? – спросила Таня.

– Сейчас зайдет.

– Татьяна, что ли, пришла? – не поворачивая головы, спросил Спиридон.

Татьяна обернулась.

В углу при свете сального огарка мужик зачищал напильником железо, делал какую-то новую часть к ружью.

Спиридон, или, как называли его соседи и родичи, Спирька, тоже страстный охотник. В свободное от полевых работ время дни и ночи напролет возился он с оружием, а потом неделями ходил по тайге.

– Что ж, отец-то еще не приехал?

– Нет еще, – ответила Таня. – А Дуня пойдет к нам?

– Пусть идет, – отозвалась Арина. – Носит в такую погоду! – проворчала она.

Зашла Дуняша – тонкая и стройная белобрысая девушка-подросток. У нее худенькие плечики, широкое лицо я глаза, глубоко сидящие под белесыми бровями. Она в лаптях и в белом холщовом платье.

Таня заговорила с ней вполголоса.

– Чего же Родион-то не едет? – снова спросил Спирька.

В Тамбовке все мужики были охотниками. Зверей они били еще на родине, в тамбовских казенных лесах. Придя в Сибирь, тамбовцы селились сначала по Лене, но там им не понравилось, и они в шестьдесят первом году перешли на Амур, на Горюнский станок.

Вскоре после водворения на новом месте охота стала предметом увлечения всего мужского населения Тамбовки, от мала до велика. Охотились тамбовцы зимой и летом, добывая зверя всеми способами, полагая, что в тайге его хватит на века. Этой страстностью и безрассудным хищничеством они отличались на промысле от

урожденных сибиряков, для которых охота – обычное дело, та же работа и которые знают, что зверям и в тайге бывает перевод.

Между тамбовскими охотниками не первый год идет спор, кто же из них лучший охотник. Родион в эту зиму добыл зверей больше всех, но признать его лучшим охотником Спирьке обидно. Спирька сам знаменитый охотник. Его зовут все «Лосиная смерть». Такое прозвище сильно льстит ему, и он желает поддержать свою славу. «Родиону просто счастье, как в карточной игре, – думает он. – Ему удача с тигрой. Она объявилась в деревне, когда его и не было. Мы с Сильвестром и с Санькой Овчинниковым должны были взять на сеновале, сидели, караулили, почти подбили. Нет, ушла и все равно Родиону попалась. А по правилу тигра должна быть наша! Нынче только и разговору везде, что про Родиона, он хитрый, к Бердышову как-то подъехал и с ним дружит».

Спиридон бросил железо на стол, потушил огарок, поднялся. Мужуку лет тридцать пять. Он чуть выше среднего роста, сутуловат, со светло-рыжей бородой, которая в сумерках кажется черной.

– Да как же ты, Татьяна, не знаешь, куда он подевался? Не на охоту? – допытывался мужик.

– Не знаю, – потупив голову, ответила девушка.

– С ума все походили с этой охотой! – пробормотала Арина.

– Ну, айда, – шепнула Дуня, подтолкнув подругу.

Девушки выбежали. Здоровые и крепкие, старшие дочери в семьях, девушки-подростки Таня и Дуняша целыми днями работали, как батрачки. Нравы в Тамбовке были суровые, родители ни в чем не давали девкам воли. Только на работу могли они тратить свои молодые силы. Зато много было радости, когда удавалось им убраться с родительских глаз долой.

– Ну, держись, Танька! – весело воскликнула Дуняша.

Таня пустилась наутек. Дуня была выше, сильнее; легко прыгая по глубокому снегу, она догнала подругу и повалила ее в снег.

– Тебе за тот раз!

– Опять ты...

Пурга заносила их.

– Вы что, девки, с цепи сорвались? – услышали вдруг они знакомый голос.

В волнах несущегося снега стояла бабка Козлиха. Про эту старуху говорили, что она умеет колдовать и ворожить.

– Чего делают! – воскликнула старуха, как бы обращаясь к невидимому свидетелю.

Утихшие девушки поднялись, отряхиваясь от снега.

– Бабушка, вы как на улицу выходите, бурана не боитесь? – бойко спросила Таня.

– Вот я тебя!.. – пригрозила старуха. – Мать-то дома?

– Она к вам собирается, – соврала Таня.

– А-а, – дружелюбно отозвалась Козлиха. – Пусть идет. Скажи, пусть придет.

Старуха пошла своей дорогой.

– Вот теперь тебе будет на орехи!.. – сказала Дуня.

– Сегодня нам с тобой доплясывать. От того разу осталось недоплясано... Ну, отстань, хватит, а то голосу не будет.

– Мать-то уйдет?

– Уйдет, – уверенно ответила Таня.

– А то скажет: «Девки, в пост-то песни орать!» – всплеснула руками Дуня.

– Ишь, метелица...

– Сейчас хоть вечерку с гармонью – никто не услышит.

– Ух, жарко!.. Пурга крутит, – едва переводя дух, вбежала Таня в избу. – Несет как на крыльях. Мама, иди, тебя Козлиха спрашивала. К себе звала...

Петровна управилась с делами и ушла. Таня уложила маленьких братишек, переменяла лучину и уселась на лавке. Выражение истомы и нежности появилось на ее грубом лице, в голубых глазах. Русые пряди липли к смуглому лицу, ресницы и брови были влажны. Щеки горели от ветра и снега. Как бы не в силах сдержать волнующего ее чувства, она заголосила сразу громко, ясно и протяжно.

...Девушки пели, потом, по очереди подыгрывая на бандурке, плясали друг перед другом.

Малыш закричал во сне, сбрыкал толстое одеяло. Таня положила бандурку, присела на кровать, прикрыла братишку, приговаривая нараспев:

Ба-а-аю, ба-а-аю...

Оконце не прикрыто ставнем, и в стекло бьет метель. Из теплой избы смотреть страшно, что там делается. Дуняша задумчиво перебирала струны самодельной бандурки. Таня сказала ей:

– Сегодня Терешка на проруби спросил, почему мы с тобой к его сестре не приходим.

Она села на лавку и обняла подругу.

– Больно он нужен! – с пренебрежением ответила Дуня.

Терешка – сын богача Овчинникова, рослый, бойкий парень – поглядывал на Дуняшу и пытался, как говорится, ухлестывать за ней.

На днях подруги приходили к Овчинниковым. Терешка стал заигрывать и залепил Дуняше все лицо снегом. Она обиделась. Даже вспомнить неприятно.

Сейчас подруги наслаждались тишиной, спокойствием, уединением. Можно было помечтать всласть, наговориться о чем хочешь: взрослых нет, в избе тепло и так хорошо, работать не заставляют сегодня. Отца нет, и мать Таню не неволит, противная прялка убрана.

Дуня и Таня хоть и живут под строгим надзором родителей, но в обиду себя не дают. Они еще не сломлены жизнью и обе полны светлых надежд.

Что Терешка! Опротивевший соседский парень, грубиян! Он драчун, бьет парней. Правда, бывает, и ласково заговорит, но чаще он девчонок норовит схватить за волосы, ущипнуть.

Куда занесет девушек судьба? Что их ждет? Кто их суженые? Еще годик, и выдадут их замуж... Уж поговаривают об этом отцы и матери, и страшно становится. Конечно, любо стать невестой, просватанной, шить наряды... Песни будут над тобой петь... Но страшно...

– А вот вдруг ночью увидит кто-нибудь наш огонек, – говорит Дуня, – и заедет к нам. Молодой да красивый...

Подруги обнялись крепко, глядя на черное окно. Пурга выла, никто не ехал, ничего не случилось в жизни особенного.

– Отец сказал, что надо в тайгу собираться. Скука смертная! – молвила Дуня.

У Спиридона сыновей больших нет, он берет с собой дочь на охоту. Дуня умеет настораживать капканы, но стыдится рассказывать об этом в деревне, говорит, что отцу готовит обед в балагане. Тайги она не боится, были случаи, что ходила по ней ночью, на что не все мужики отваживаются. Ей только странно, что парни не так смелы. Чего же бояться!

На столе книги. Дядя Ваня Бердышов оставил их.

– Это что? – спросила Дуня.

Девушки почти неграмотны, с трудом разбирают буквы, помогая друг другу.

На картинке нарисована девица в бальном пышном платье, в шляпе и накинутом плаще, а перед ней стоит, опустившись на колено, молодой красавец. Что это? Кто они? Понятно девушкам, что парень стал на колени в знак любви и уважения. Хотелось бы самим стать грамотными, узнать, что написано.

– Спросить бы у дяди Вани, он скажет, – сказала Дуня, – он грамотный.

– Счастливый дядя Ваня! Он все знает, везде бывает, – молвила Таня.

Долго рассматривали девушки картинки.

– Давай сходим за Нюркой, – предложила Таня, – покажем ей.

– Ее не пустят.

– Да ну, пойдем! Утащим...

Девушки накинули шали. Пурга на дворе не была такой страшной, как казалась из избы. Едва девушки отбежали от ворот, как со стороны реки из-за сугробов появились черные собаки, три нарты и люди.

Из не прикрытого ставнем окошка избы мерцал огонек, и лучи его падали на несущийся снежный вихрь. Нарты поравнялись с воротами и остановились. Трое в лохматых шубах вышли на свет, направляясь к калитке.

– Кто же это? – с тревогой в голосе опросила Дуняша.

– Тебе чего надо? – стремительно подбежала Таня и встала в калитке, заступая приезжим дорогу.

– Родион дома?

– А тебе зачем?

– Куда он ушел? Моя дело есть, без погоды. Наше шибко холодно.

«Китайцы!» – подумала Дуня.

– Ничего не холодно. Тепло на улице, – сказала Таня. – Видишь, мы раздевшись бегаем.

– Че твоя совсем дурак? – сказал китаец. – Помирай хочешь?

– К гольдам езжай, у них ночуй. Их деревня рядом, вон огни горят.

– Моя знакомый!

– Ты, что ли, Васька Галдафу? – приглядевшись, спросила Таня.

– Ну, чего, узнала? – заблестел тот глазами. – Здравствуй! Моя Васька Галдафу... Здравствуй! – стал здороваться он с девушками. – Ты какая красивая, – он хотел ущипнуть Дуню за щеку.

– Ты смотри, я как брякну по морде, – отпрянула девушка.

– Играй, что ли, нельзя? Наша знакомый!

– Ну, заходи и заводи собак, – сказала Таня.

Толстяк обратился к одному из спутников и что-то сказал, как показалось Тане, по-русски. Приезжие, не открывая ворот, провели собак и нарты через калитку.

– Один-то будто русский, – потихоньку шепнула Дуня.

Девушки, оставив дом и спящих ребятишек на китайцев, сбегали за Петровной. Та позвала Спиридона, чтобы говорил с гостями.

– А это чей же парень с вами? – спрашивал Шишкин у Гао.

На лавке сидел белобрысый рослый молодец с тощим скуластым лицом, красным от смущения и мороза.

– Знакомый! Его отец – мой друг. Фамилия Городилов. В деревне Вятской живет.

– Куда же вы? – обратился Спиридон к парню.

– В город, – быстро, как приказчик в магазине, ответил парень и вдруг смутился и заморгал белесыми ресницами.

– Его имя Андрюшка, – продолжал китаец.

– Пожалуйста, заходите ко мне, – сказал Спирька. – Рады будем...

А как у вас нынче покосы, тоже топило?

Петровна подала ужинать. Городилов отвечал кратко и неохотно. Он осторожно брал хлеб, ломал его маленькими кусочками и жевал неестественно медленно. Спирьке это не понравилось. Шишкин пытался расспросить, зачем он едет в город и как нынче живут мужики в Вятском.

Девчонки зорко наблюдали за приезжим парнем.

Спирька понял, что от вятского не добьешься толку, и заговорил с китайцем.

– Что, Вася, на Горюн не поедешь?

– Нет, там чужой река! Там другой хозяин – Синдан.

– Видишь ты! Значит, у вас разделяются по купцам эти гольды, как крепостные за помещиком.

Гао и Андрей переночевали в зимнике.

Когда Спиридон пришел утром к соседям, Андрея там не было. Он, как оказалось, ушел к Овчинниковым. У него было к богачам какое-то дело. Похоже было, что Андрюшка привез им спирт.

В тот же день в Тамбовку приехал другой торговец, по прозвищу Ченза. Гольды так называли его. Он был с речки Хунгари, впадающей в Амур выше Уральского. Ченза возвращался с низовьев Амура. Там обычно торговал его брат, но недавно он захворал и поручил Чензе собрать долги.

Толстяк Васька и Ченза, щуплый, исчерна-смуглый китаец с сухим, узким лицом и с проседью в черных усах, открыли скупку мехов в Спирькиной избе. Мужики приносили свою добычу.

Спирька по просьбе Петровны показал им шкуру убитого Родионом тигра. Китайцы сразу же назначили хорошую цену, но Петровна отдать не согласилась.

После обеда торговцы собрались ехать. Андрей запрягал во дворе своих собак, надевал на них хомуты. Девушки столпились у ворот. Он бросал на них косые, недовольные взоры.

– Бедненвкий! Он в работники к китайцу нанялся! – шутливо молвила Дуня.

– Ну чего выставились? – грубо спросил парень. – Не видели, как собак запрягают?

Дуня с укоризной улыбнулась. Парень не понимал шуток.

– Бойтся, сглазим, – со сдерживаемой насмешкой уронила Таня.

– А вот нарочно буду смотреть! – подбоченилась Дуня и вытаращила глаза на парня.

В калитку вошел рослый, худой и краснощекий Терешка Овчинников.

– Девки, не смейтесь над ним, – сказал он. – Андрей с рублем. Захочет – так всю Тамбовку нашу сдвинет с места.

– Надсадится, – отозвалась Таня.

Приезжий парень разогнулся и, жалко моргая, словно собираясь плакать, уставился на Терешку. Белые, как лен, брови выступили на густо покрасневшем лице его.

– Ой, девки, зачем вы его обижаете? – умоляюще шептала, трогая Дуню за рукав, толстая черноглазая Нюрка. – Ой, уж как не стыдно вам!.. Просто какие-то бесстыжие...

– Тятя, а кто он такой? – спросила Дуня у отца, когда торговцы уехали.

– Парень не дурак! Китаец говорит, что он повез в город спирт продавать. Тихоня, все краснеет. Я его просил продать спирту, так он мне дал бутылку, а больше не дал. Говорит, мало осталось. Я их знаю! Ему, видишь, невыгодно мне продавать. Он из молодых, да ранний. Гляди, он все моргает, а в городе, знаешь, какие деньги огребет... Он бы и вовсе не сказал, что спирт везет, кабы Васька не сознался, кто с ним путешествует. И Овчинниковы его ждали. Будут гольдов спаивать. Вот так и живем на новом месте. Одни хлеб сеют, а другие контрабандой занялись. Их послушаешь, так все тут только и делают что пьют. В реке, по их словам, не воде бы течь, а спирту.

Вечером Спиридон беседовал с соседом-приятелем – тамбовским богачом, мужиком огромного роста, Санькой Овчинниковым и со своим родичем Сильвестром Шишкиным.

– Давай с тобой возьмемся и превысим Родиона, – говорил Спиридон. – Я полагаю, что надо захватить эту тигру живьем и представить в Николаевск начальству, чтобы по всему Амуру объявили, какие мы охотники. Отправят ее в Петербург на корабле, а? Как ты, Сильвестр, мыслишь? Однако, и там такой животной нету.

– Как ее возьмешь? – угрюмо возражал Овчинников. – Она нас сожрет...

– Пушай попробует, – отозвался Спиридон. – Но если уж поймем ее живьем, Родион не будет над нами насмехаться. Живьем еще никто тигру не ловил!

– Давай мы у Родионовой тигры усы выдерем! – сказал Сильвестр. – Слыхал, что китайцы сказали? Самая цена в усах да в костях! Они лекарство из костей делают для стариков.

– Нет, я на это не согласен. Не годится, – отвечал Спирька.

– Я выдеру сам, а ты молчи! Вот придет Родион, и больше хвастаться ему нечем будет... Тигра останется без усов!

Но ни Сильвестр, ни Спирька не привели замысла в исполнение – усы у тигра ночью выдрал Терешка Овчинников по наущению отца.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Ночью Таня слыхала, как приехал отец, что-то таскали в зимник.

«Грузы, что ль, тятя возить подрядился?» – подумала девушка.

Отец и Иван распрягли собак, покрикивая на них.

– Ты, Иван, ввел меня в грех, – сказал Родион, входя в зимник.

– За товарища надо согрешить... – усмехнулся Бердышов. – Забудем! Исправнику не вздумай сказать!

– Ка-ак?! – изумился Шишкин.

Мужик совсем пал духом.

– А будешь жаловаться – самого тебя затаскают, – продолжал Бердышов.

– Не про жалобу речь, – ответил Родион. – В какое дело я попал!.. – Он сел, опустив плечи:

Иван уговаривал Родиона взять часть пушнины из запасов Дыгена:

– Бери! Все равно мне не увезти. Что ж, бросать, что ли? Подумаешь, паря, в какое дело ты попал! Как не стыдно говорить так! Я ведь не жалуясь, а тебе не совестно изменять товарищу, сожалеть, что помог?

– Да уж что тут! – махнул рукой Шишкин. «У меня дети, что я могу сделать с Ванькой? – размышлял он. – А с полицией не дай бог связываться. Лишь бы не узнали сами. Теперь век буду в кабале у Ваньки».

У Родиона было такое чувство, словно его запутали в силки.

– Но ты не совестись. Мы с тобой, по справедливости ежели рассудить, Горюн от разбойников избавили, славное, паря, дело сделали, для твоих же друзей старались. Осознай-ка!

Родион понимал, что Дыген разбойничал бы без конца, а полиция бездельничала бы. И при том беззаконии, которое было на Амуре, поймай Дыгена и привези его в город – горя не оберешься. Самих же затаскали бы по полициям. Вот и выходит: не убей – он бы ездил грабить, а убил – грех! Куда ни кинь – кругом клин.

– Все же я свою часть пропью! – сказал Родион. – Мне такого богатства не надо!

* * *

– Без ног вернулись, еле живы, завтра уж просим, – говорила Петровна всем мужикам, заходившим утром проведать, с чем вернулся Родион.

Она видела, что муж ее и Бердышов привезли что-то в мешках, и опасалась, что дело тут нечисто. Желая узнать, что делают мужики в зимнике, она зашла туда.

Иван и Родион еще спали. Груды черных соболей были разложены по лавкам.

– Что же это вы, купили или как? – окончательно расстроившись, спросила она очнувшегося супруга.

– Ты помалкивай! – тихо ответил Родион и кинул на жену такой яростный взгляд, что Петровна сразу ушла.

Мужики спали до полдня. Петровна послала Митьку в зимник звать отца и Бердышова к обеду.

– Ты где ночь пропадал? – спросил сына Родион. – Почему тебя вчера не было?

– На той стороне у гольдов в деревне был на празднике, там в медведя играли, – свободно ответил парень.

– Я ему никогда не запрещаю с гольдами гулять, пусть дружит, – сказал Родион.

Митька сел на лавку и, рассказывая про праздник, как бы невзначай водил по мешкам ладонью.

– А вы чего это привезли? – спросил он.

– Ну, пойдем обедать, – строго глянул Родион на сына и поднялся.

– А ты запасливый, – говорил Иван, заходя в горницу, где на столе расставлены были бутылки. – А, тут еще книги мои... – заметил он.

– Книги ваши очень девицам понравились, – приговаривала, суется, Петровна.

За столом сидели долго. Подвыпивший Родион, оставшись наедине с Бердышовым, ругал его:

– Тварь ты! Вот ты тигра-то и есть! А вот ты мне скажи: есть ли черти или нет? Вот вчера мы ехали, и горы были на левой стороне, потом, смотрю, горы справа пошли. Где верх, где низ – понять нельзя, будто другой рекой едем. А потом все обратно установилось.

– Скажи по душе: все же страшновато? – смеялся Иван.

– Да как сказать?.. Маленько есть... Ванька, ты быстро не уезжай, оставайся. Скоро пасха, мы всю деревню песни петь заставим, бабам платков пообещаем, девчонкам пряников, гулянку сделаем... Хитрый ты, тварь! Когда ты на реке Дыгена встретил, почему не сгреб, когда со своими пермскими ездил в Бельго в лавку? – говорил Родион. – Ты его нарочно отпустил.

– Нет, правда, я не знал. Какая мне выгода его отпускать?

– Ты давно в тайге шляешься, понимаешь, когда кого бить, Ты его отпустил, чтобы он жиру нагулял.

– Как же, это надо знать, когда зверя бить, – засмеялся польщенный Иван.

– У нас рядом Халбы – гольдяцкая деревушка, – рассказывал Родион. – Там у них в лесу ящики стоят. В ящиках такие черти с усами размалеваны, куда тебе!.. А у меня там друг шаман. Если ящики пустые, он пошаманит, настрашает гольдей, чтобы несли в тайгу водку, а сам на другой день пойдет опохмеляться. Из этих ящиков всю водку выпьет... А гольды радуются, думают, что ее черти выпивают.

– Как же тебе шаман признался?

– Я сначала не верил гольдам, они говорили, что Позя пьет. А я думаю: «Не может быть!» Выследил шамана, когда он прикладывался, захватил его у самого ящика. Ему уж деваться некуда было.

– В Халбах второй день в бубен жарят, орут, дверь заперли у Хангена и никого не пускают, – стал рассказывать Митька. – Только не Ханген, а заезжий шаман шаманит.

– Родион, пойдём поглядим, как шаман шаманит, – сказал Иван.

Вечерело. Мужики вышли из дому.

Родион лег на брюхо и полез под крыльцо.

– Ты чего, молишься, что ль?

– Я камень хочу достать. Подшутим над ними, кинем камень в окошко.

Иван повеселел.

– Ты погоди, надо бы обутку старую достать.

– Митька, сходи поищи на задах какую-нибудь старую обутку, – сказал Шишкин сыну.

– Чучело бы сделать или бы какой сучок, чтобы на бурхана походил, – предложил Иван.

Митька принес старый унт. Иван положил в него камень, набил сеном.

– Угадай в шамана! – говорил Родион. – В заезжего-то! Знать будет, как у нас шаманить.

Мужики пошли в гольдскую деревню.

– Га-га-га! – орали в одной из фанз.

Родион подошел к окошку и стал всматриваться внутрь.

– А не убьют они нас, если поймают? – спросил он.

– Темно? – спросил Иван.

– Не шибко темно. Печку закрыли.

– Что-нибудь видишь?

– Только что тень ходит, прыгает, а больше ничего.

Крики стихли. Судя по разговору, шамана угощали водкой. Снова забил бубен. Заорал шаман.

– Да, это не Ханген, – сказал Шишкин.

Бердышов продавил решетник окошка и с силой запустил обутку внутрь фанзы. На миг наступила тишина. Иван скинул свою козью куртку, накрылся ею с головой и полез в окошко. Родион держал дверь. В фанзе поднялся ужасный вой.

Бердышов поймал заезжего шамана, содрал с него шапку, ударил по голове, забрал со стола жбан с водкой и выскочил в окошко.

– Ну, теперь беги! – крикнул он Родиону и со всех ног побежал к берегу.

Шишкин спешил за ним. Мужики спустились под обрыв. Сзади выстрелили несколько раз. Иван вскрикнул.

– Ты что? – спросил Родион.

– Только чуть живой, – пробормотал Иван.

– Врешь...

– Ей-богу!.. Пуля... попала... Вот дошутились...

Приятель вернулся домой. Родион осмотрел его. Иван был ранен в мякоть у лопатки, пуля чуть царапнула его.

– Что случилось? – заходя в зимник, спросила Петровна.

– Старого белья дай, – ответил ей Родион. – Гольды его подстрелили. Всадили пулю.

– Это на счастье! – молвил Иван. – Ты свидетель... Вот теперь я, чуть что, славно отбрешусь... Мол, Дыген первый начал драку, и меня подстрелили, стреляли в спину... Молчи. Мы с тобой еще наживемся

на этой пуле. Спасибо гольдам! А маленько бы повыше – до свидания бы! Как раз следом бы за Дыгеном!

– Значит, еще рано, еще долго пропьянствуешь.

– Нет, я много пьянствовать не собираюсь...

– И что ж ты, без конца будешь жить?

– Не знаю, кто следующий меня стрелит!

– Кто-нибудь найдется...

Мужики пошли в избу.

Явились Спиридон и Сильвестр. Шишкин налил им по стакану водки.

– Я не пью, – ответил с достоинством Спиридон.

– Пей, я тебе велю! – Иван содрал со Спиридона куртку и усадил его за стол.

– Садись, сосед, – сказал Родион. – Хлещи!

– У меня пост...

– Гляди, какие у него разговоры! Ты что, поп или писарь? Откуда в тебе такая грамотность, чтобы так рассуждать? Ну, забудь все. Давай по-братски чокнемся. Ну-ка, Петровна, вставай, – разошелся Шишкин, – созывай девчонок!

– Пост, окаянный ты! – всплеснула руками Петровна.

– Чего же, что пост? А мы будем как господа. В праздник гулять всякий дурак сумеет, а вот ты попробуй в пост, – молвил Родион. – Дождать праздников мочи нет. Пускай попы-твари знают... На самом деле? Что за издевки? Почему нам часовню, церкву ли не построят? Пусть знают, что мы через это вовсе сопьемся...

– Кто неграмотный, так и не знает, пост ли, кто ли... – заговорил Сильвестр, которому хотелось выпить. – Верно, вот я, к примеру, я и вовсе не знаю, что сегодня вторник, а что в воскресенье пасха, откуда мне знать? Чего с меня возьмешь, темный – и все тут. Хоть от кого отоврусь.

– Гольдам на Мылке церковь хотят построить, а русским нет, – говорил Спиридон. – Это что такое? А мы как? Иностранцам церкви, а мы в темноте...

– Это уж как водится. У гольдов меха, с них попы наживаются, – сказал Спирька.

– Давай нарочно в пост напьемся и гулянку устроим, – сказал Сильвестр, – а попу скажем, что ошиблись, не знали, когда пасха.

– Кхл... кхл... просчитались!
– Верно. Им, может, совестно будет!
– За этим должен поп смотреть, а его нету. Пусть нас господь накажет, зато видно будет, как мы страдаем.
– А то маленько еще поживем и одичаем.
– На Ваньке Бердышове и так уж шерсть растет.
– Уж дивно вылезло.
– Тигра и тигра: пасть позволяет!
– Вот только что пасть поменьше.
– Митька, лови курицу, кабарина надоела. Или девчонок позови, они хорошо поют, – обратился отец к Тане. – Митька! Наша гармонь у Овчинниковых. Живо! – шумел Родион. – Скажи: ко мне исправник едет.

Но Петровна не позволила созывать девушек, уняла мужиков, не разрешила им устроить гулянку.

– Вот поп те узнает, проклянет, – ворчала она.
– Пущай проклянет: Ванька уж и так давно проклятый.
– Поп ученый человек, он все поймет... – пытался возражать Спиридон.

– Гуляй, Мишка, ее не слушай, баб черти придумали. Дергай, запевай забайкальскую! Митька, дуй за Овчинниковыми, пуццай принесут спирту, у них в амбаре есть. Э-эх!.. Эх, ты!..

С этого дня Родион и Иван загуляли. Бердышов остался в Тамбовке на праздники.

В первый день пасхи на широкой, недавно протаявшей лужайке, на берегу, между Горюном и избами, мужики, парни и девушки играли в «беговушку».

Иван, причесанный, в одной рубахе, без картуза, поплевывал на обе ладони, перекладывая с руки на руку длинную жердь, и подмигивал белобрысому Терешке Овчинникову, державшему в руках тугой и тяжелый, как камень, маленький кожаный мяч.

Бердышов был трезв, но прикидывался подвыпившим и потешал всех.

Терешка подкинул мяч. Жердь со страшным свистом пронеслась у самого его носа, не задев мяча. Иван, видно, и не собирался бить по мячу, а хотел напугать Терешку. Тот обмер и побледнел. Иван пустился бежать. По нему били мячом, он увернулся, кто-то из бегущих

навстречу с силой пустил в него перехваченный мяч. Иван прыгнул, как кошка, схватил черный ком в воздухе и с размаху на бегу врезал им по брюху бежавшего навстречу Родиона так, что слышно было, словно ударили по пустой бочке.

Все захохотали.

Родион пустился за Иваном с кулаками. Все бегали, мяч летал в воздухе.

В другой раз Иван так ударил, что мяч ушел чуть ли не, за Тамбовку; и пока за ним бегали; Иван успел вернуться на место.

Терешка, когда ему приходилось подавать мяч, теперь отступал подальше, даже если бил и не Иван.

К обеду, раскрасневшиеся, веселой шумной толпой гости вошли в дом Родиона.

– Что в этой книге, дядя Ваня? – спросила Дуня у Бердышова.

– Стихи!

– Видишь ты! О чем же?

– Мне сказали: «Читай». Я купил книги, – говорил Иван. – Буду потеть вместо тайги... Городские любят, когда складно сложено. Кто влюбится, читает своей... Вот смотри, вырастешь, ищи себе грамотного...

Он стал читать стихи ей и Татьяне. Стихи были про любовь и разлуку.

Вечером в избе Родиона собрались соседи. Женщины – празднично разодетые, в белых кофтах с расшитыми рукавами. Худенькие, приодетые девчонки в сарафанах сидели на лавке.

– Бабы наши ожили на Амуре и осипли на рыбалках, голосу ни у одной не стало, – говорил Родион.

– А девки хорошо поют, – оказал Сильвестр. – Еще рыбу не ловят!

– У нас невесты еще не выросли, – пояснял Родион. – Есть из новоселок, а наши еще маленькие, но поют хорошо.

– Мы сами еще молодые! – подхватил Спирька.

– А подрастут, можно сватать, – добавил Родион. – Находи нам женихов хороших. Только бы не бандистов. Ищи загодя!

Грянула гармонь. Девчонки затянули песню.

– Петровна, у тебя ладный голос, подтягивай!

– Гуляй, кума!..

– Девчонки еще молоденькие, а славно танцуют, – сказал Спиридон.

– Подрастут – и можно сватать! – твердил Родион.

В избу ввалились великаны братья Овчинниковы.

– Ну че, гулеваним? Давай, давай, – бубнил Санька Овчинников.

Заплясали бабы, замелькали платочки. Петровна проплыла по избе.

Легкая и стройная, в белых рукавах и сарафане, в толстых чулках и ботинках, Дуня вышла на середину избы. Она подняла голову и, разводя руками, легко проплыла по избе.

– Вот Ваньку выбери!

Дуня повела плечами, улыбнулась.

– Гляди – Дунька! Молоденькая, молоденькая, а какой змеей вильнула!

– Парень, ожгла? Куда теперь денешься?

– Эх, ма-а, забайкальские казаки! – пустился в пляс Бердышов.

По тому, как ловко и с каким притопом Иван прошелся по кругу, видно было, что мужик он еще молодой и бравый. Он надулся, вытаращил глаза, лицо его побагровело.

– Гляди, Ванька чего вытворяет!

– Эй, бурхан пляшет!

– Брюхан, истинно брюхан...

Бердышов и Дуняша, взявшись за руки уж после того, как стихла музыка, отделали несколько коленцев, как бы не желая уступить друг другу конец танца.

Иван вдруг схватился за голову и грузно пошатнулся на сторону. Дуня засмеялась.

– Ты что?

– Вы, дяденька, маленечко меня не придавили, – отстранясь, вымолвила она.

Иван взял ее за руки и развел их, клонясь к ее шее.

Дуняша вырвалась и отбежала.

Иван, пошатываясь, отошел к столу.

– Хоть бы и я тигру показывал? А что? – говорил Спирька.

– Усов меньше стало. Кто-то повыдергал! – сердился Родион. – Куда тигра без усов!

– Тебе бы бороду повыдергать! – пробасил Овчинников, желавший отвести от себя подозрения.

– Хотя бы, – безразлично ответил Спиридон. – Что, без бороды не проживу?

– Ты думаешь, эта тигра нам легко досталась?

– Скорей всего, что китайцы выдернули, – сказал Сильвестр. – Мы только в шутку об этом говорили, но ничего не делали.

– Какие шутки! – с досадой воскликнул Родион.

– Вот Овчинников свидетель! – сказал Сильвестр.

– Я ничего не знаю... Это, верно, китайцы!

– Родион, встретишь Ваську Галдафу, повыдергай у него косу – это, наверно, он, – сказал Иван, пристально приглядываясь к Овчинникову, замечая его смущение.

– Ну чего, весело у нас?

– Как не весело! – засмеялся Иван. – И девчонки у вас славные. Я всем женихов найду. А одну, как подрастет, сам просватаю!

– А ты не хотел на праздники оставаться, – хлопнул его Родион по спине.

Шишкин за гульбой повеселел.

Иван гулял во всех домах. Тамбовцы радушно принимали его. В деревне распустили слух, что Иван и Родион где-то добыли богатство.

На прощание Шишкин крепко поцеловал. Ивана, просил приезжать еще.

Голубые озера стояли на льду Амура, и похоже было, что уже нет пути. Иван ехал на риск.

– Иван Карпыч, погоди, – окликнул его на дороге полупьяный Спирька.

– Чего тебе?

– Я тебя уважаю. Я все знаю и никому не скажу. Я сон видел, – таинственно заговорил мужик, – будто пошел я ловить калуг, а на прорубях вместо рыбы...

На огороде ходили Спирькины жеребята. Молоденькая кобыленка подошла к перегородке и потянулась к Иванову жеребцу. Буланый задрожал и, раздувая ноздри, стал обнюхивать ее. Кобыленка жадно тянулась трепетными губами к его морде.

– Смотри, кони милуются. Жеребенок, а покрыться хочет, – перебил Иван.

– Это тебе мерещится все! Не покрыться, а жеребенок просто играет... Глупости все на уме...

Иван проворно слез, вспугнул жеребенка, с жестокостью ударил жеребца кнутовищем по морде и опять лег в розвальни.

– Ты шибко пьяный сегодня, – сказал Иван Спирьке. – Чего городишь – я не пойму. В другой раз потолкуем. Ну, будь здоров!

– И тебе не хворать, – снял шапку Шишкин.

Иван погнал коней.

Едва поравнялся он со Спирькиной избой, как из ворот выбежала Дуня. Увидевши коней, она ахнула и замерла.

– Ты чего, плясунья, ахнула?

– Маленечко вам дорогу не перебежала.

– Смотри, а то я бы тебя бичом, – проезжая, весело молвил Иван. «А ведь славная девчонка подрастает», – подумал он.

Через два дня, где верхом, а где вброд, бросив по дороге розвальни и навьючив тюки на коней, Бердышов с трудом добирался к Уральскому.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Федор решил, что сейчас самое время съездить к лавочникам и что они после драки с Егором станут покладистей. «Хоть с Егоровых кулаков разжиться».

В Бельго он заехал к Удоге, но того дома не оказалось. Айога ушла утром в дальние фанзы, а старик был на охоте. Соседи его не выражали гостеприимства и почему-то враждебно смотрели на Федора. «Узнали теперь все, твари, про мылкинскую ловушку!» – подумал он.

Не хотелось Федору сразу заезжать к торговцам, но деваться было некуда. Чтобы дело повести как полагается, в лавку следовало бы зайти невзначай, даже будто нехотя.

Удрученный, тихо ехал Федор по деревне по направлению к лавке. Вдруг из какой-то фанзы вышел высокий молодой гольд с непокрытой, наполовину выбритой головой и, покачиваясь, пошел ему наперерез.

– Здравсту! – застенчиво улыбаясь, молвил он.

– Здравствуй! Ты какой здоровый детина, а какой стеснительный! Тебе если чего надо, так говори смелей.

– Меня знаес?

– Конечно, знаю! Апчих, что ли, тебя зовут?

– Уй-уй-уй, – удивился гольд. – Как знаю? Моя Гапчи... Уй! Черт тебе знает, как тебе помню все... Уй-уй-уй!.. – радостно засмеялся он тоненьким голоском. – Ты у Удоги гостил, тот раз приходил?

– Гостил.

– Моя тятка Хогота знаешь? Который медведя показывал...

– Знаю, знаю.

– Потом ты как раз был, на охоту ходил с Савоськой в компании...

– Ходил и на охоту.

– Ну, конесно, мы знакомы. Здравсту, – протянул Гапчи руку. – Нам пойдем?

– Зачем?

– Гости нам пойдем. У нас водка есть... Мясо тоже. Вон тот наш дом, там моя отец, моя баба есть.

Федор завернул к фанзе. Выпить водки, хорошенько поесть, завести знакомство с гольдом – все это было кстати. Федор вспомнил,

что вражда между Мылками и Бельго шла из-за жены Гапчи, украденной им у соседей. Барабанов желал узнать все подробности.

Хогота, отец Гапчи, седоусый, приземистый, с красными, воспаленными глазами, радушно встретил Федора. По-русски он разговаривал лучше сына.

– Ну, как живете? Как с лавочниками обошлось дело? – спрашивал Федор.

– Ладно обошлось, помирились... Конечно, еще заботу имеем.

– Слышь, а где же Григорий?

– Тадяна, Тадяна!.. – крикнул Гапчи.

Вошла толстая молодая гольдка, с лицом белым и румяным, как у русской купчихи. Она стала подавать кушанья.

– Моя баба! – с восторгом воскликнул Гапчи. – Че тебе, нравил такой баба? Ей морда белый-белый... Правда? Че сказес?

Гапчи заговорил с гольдкой по-своему. Тадяна остановилась на свету и с лаской смотрела на мужа своими черными, чуть навывкате, маслянистыми глазами.

– Ну как? – снова обратился молодой гольд к Федору.

– Чего же! Славная...

– Моя шибко нравил, – Гапчи радовался, как ребенок, глядя на жену. – Такой другой нету, ага?

– Ты давно женился? – спросил Федор, делая вид, что не знает про вражду двух стойбищ.

– Ой, Федор! – вздохнул старик. – Он ее как брал-то! Увозом женил, таскал...

Хогота стал жаловаться на сына.

– А моя охота нынче хорошо ходил, – перебил Гапчи. Он стал приносить шкуры лис, выдр, рысей, соболей.

Гапчи старался показать, что счастлив; он хвастался всем, что имел: женой, добычей, оружием. Потом стал приводить охотничьих собак. Он, должно быть, радовал всем этим и самого себя.

Когда хвастаться стало нечем, Гапчи сник и повесил голову.

– А я бы на твоём месте не стал мириться. Ну их к чертям! – говорил Барабанов. – Мне, знаешь, эти мылкинские не нравятся.

– Нельзя, Федор, надо. Такой у нас закон.

Гапчи встрепенулся. Он поднялся, ушел в угол, сел там подле жены и обнял ее. Супруги о чем-то заговорили.

– За нее почему бы и не дать выкупа, кабы люди-то хорошие были. Баба славная. Опять же у вас закон.

– Не знаю, что будем делать, если много запросят, – задумчиво говорил Хогота.

– Моя баба всем нравил. Только отец че-то сам не знает – нравил ему моя баба, нет ли! – вдруг с раздражением заговорил сын.

Федор стал догадываться, почему его позвали. Несмотря на достаток и на любовь Гапчи и Тадяны, в этом доме не было покоя. Федору казалось, что невестка не принесла счастья этому дому. По словам старика Хоготы, едва они приехали, как тотчас же на нее обратили внимание лавочники и зачастили в дом. А прежде они никогда не бывали тут. А сын Гапчи – слабый человек. Его стали спаивать, угощать, звать к себе. Хогота понимал, к чему идет дело. Сын радовался, что у него жена красивая, но что в этом было толку, когда лавочники вились около нее, готовы были погубить всю семью. Не на счастье весельчак Гапчи увез ее от старика. А тут еще и нет замирения и мылкинские грозят мстью.

– К чертям всех! Никому ничего не давай! – сказал Федор.

– Они тогда убьют кого-нибудь.

– Пусть только попробуют!.. А если их к становому, знаешь, можно такое им присобачить – сразу охота пропадет. У нас по-русски, без разговоров...

Федор не утешил гольда. Не того Хогота ждал от гостя.

– Ну, а что нового, у вас? – оживился Барабанов, подумавши, что все эти гольдские дела – пустяки, а что ему еще предстоит заехать в лавку. – Как Кальдука-то? Вот старичишка!

– Кальдука женихов ищет, девок хочет продавать, бедным быть не хочет.

– Вишь ты! И ту продавать, что у Ваньки?

– И ту бы, конечно, отдал, да жениха нету.

– Ну вот, значит, теперь у вас все ладно. С охоты пришли, с китайцами замирились. Теперь только Мылки...

– Баба, конечно, хорошая, – снова заговорил про свое старик, – только сын сильно беспокоится, когда в тайге бывает. С охоты домой спешит.

– Поди, боится, что обратно отобьют?

– Зимой молодые все охотятся, а старики не придут, – уклончиво ответил Хогота и вдруг горько усмехнулся. – Не этого, конечно, боится. Вот сейчас-то опасное время. Мы на охоту не идем. Надо кому-то ехать просить замирения. Мне нельзя... Боюсь: если много попросят, чем платить?.. Слух до нас дошел, что пять котлов хотят просить. Где возьмем? Пожалуй, не стоит.

Гапчи разъярился и вскочил с кана. Отец и сын долго кричали друг на друга.

Барабанов стал собираться в лавку.

– Ты когда домой поедешь, то Мылки рядом, нам помогай, – попросил Хогота.

– Как же, постараюсь! Если встречу.

– Ну ладно, если встретишь, тогда уж помогай. Говори, чтоб дешевле мирили.

– Чего-нибудь придумаем. Ванька приедет – с ним посоветуюсь.

Желая утешить старика, Барабанов похлопал его по плечу, думая тем временем, как бы половчей от него отвязаться.

Отъехав от фанзы, Федор почувствовал некоторую неловкость. Ему вдруг стало совестно, что гольд так просил его, а он ничем не взялся помочь.

«Черт их знает! Может, на самом деле как-нибудь пособить. Не так уж трудно припугнуть мылкинских. Такой славный старик. Верно, помочь, что ль, по-человечески? А то, видишь, Ванька, тварь, взялся тут всем помогать».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Когда Федор вошел в лавку, на полу лежала такая груда мехов, что ее не обхватить было обеими руками.

– А-а, Федор! – воскликнул Гао. – Ну, как поживаешь? У меня сегодня братка домой пришел, он далеко ездил.

– Здравствуй, здравствуй! – вскочил с кана младший брат.

– Сиди как дома, – сказал старший торговец, усаживая Федора за столик. – Чай пей буду, ешь? Почему не хочю? Зачем напрасно? Чай пей, лапшу кушай, лепешки у нас шибко сладкие, язык проглотить можно! Пожалуйста, сиди, наша мало-мало торгуй.

Такое дружеское, простое обращение богатого китаец было приятно Федору. Его встречали как своего, выказывали радость, угощали и не стеснялись вести при нем свои дела. Как и предполагал Федор, торговец, после того как его поколотил Егор, заметно переменялся.

«Эх, вот это богатство! – с восхищением смотрел Барабанов на груду мехов. – Вот как ведут дело! Куда Ванька лезет? Никогда ему за ними не угнаться. Вот это жизнь! Чистое дело – торговля!»

Он вспомнил Додьгу, переселенческие землянки, отоцалых земляков, тяжелый их труд на релке... А тут шум, толпа народу, возгласы хозяев и охотников, меха на полу и на канах. Все это было ему по душе. Федор и раньше слышал, что китаецы вывозят с Амура много мехов, но только сейчас, при виде такого вороха пушнины, он понял, что это означает.

Повсюду лежали и висели вывороченные мездрой кверху желтые, как пергаментная бумага, белки с голубыми и черными пушистыми хвостами. На прилавке высилась грудка соболей. Младший торговец и работник разбирали их, откладывая отдельно черных и желтых, и составляли пачки штук по двадцать в каждой.

«Ловко придется, скажу, что Ванька против них задумал... Вот схватятся, – со злорадством подумал Федор. – Они у него все расстроят...»

Гао Да-пу опять не церемонился с гольдами. Все равно теперь меха пошли. Он что-то насмешливо говорил старому охотнику Ногдиме. Гольды то и дело качали головами, усмехались и

переглядывались друг с другом. Заметно было, что они сочувствуют сородичу, но остроумная речь торговца овладела ими, и они понимают, что вряд ли Ногдима сумеет настоять на своем.

Ногдима лишь изредка что-то тихо и неуверенно возражал. До сих пор он представлялся Федору человеком твердым и решительным. Его плоское черное лицо с острыми глазами, в тонко изогнутых косых прорезях, сильные скулы, тонкие, словно крепко сжатые губы – все это, казалось, выражало свирепость, упрямый, крутой нрав, уверенность в себе и в своей силе.

Но перед торгашом Ногдима оробел. Он ворочал мутно-желтыми, в кровавых прожилках белками, стараясь не глядеть на хозяина, как бы чувствуя вину перед ним, и возражал все слабее и слабее.

«Гольды некрепкий народ, – размышлял Федор. – Видно, Ванька Гао, чего захочет, вдолбит им. Это надо знать и мне».

Наконец гольд махнул рукой и с таким видом, словно соглашался на все. Он отдал меха, вышел из толпы и уселся в углу.

– Кальдука, иди сюда! – взвизгнул торгаш.

Все засмеялись.

Маленький выбрался из толпы. Голова его дрожала. Улыбаясь трусливо и заискивающе, он кланялся.

Торговец протянул руку под прилавок. Маленький решил, что хозяин ищет палку, чтобы поколотить его, и повалился на пол. Лавочник вытащил пачку табаку. Шутка удалась. Все оживились.

Подскочил младший брат и поднял Кальдуку Маленького.

– Что ты? Наша помирился... Больше ругаться не будем! – смеясь, говорил Гао Да-пу по-русски, а сам косился на Федора. – Кальдука, вот я тебе этот табак дарю! Я тебе ничего не жалею.

Федор сообразил, что все это говорилось для него. «Считают меня заодно с Егором. Ну и пусть!»

Торгаш закрыл долговую книгу. Гольды разошлись.

– Ну как, ловко я Кальдуку напугал? Моя так всегда играй. Только играй... Моя никогда настояще не бей. Гольды зря говорят, что моя бей. Моя их не бей. Моя их люби!

– Наша только вот так всегда играй, – подхватил младший брат. – Мало-мало шути, играй. Без пошутить как жить? Нельзя!

– Ну, Федора, как думаешь, почему Егор не приходит? – спросил Гао Да-пу. – А? Он разве помириться не хочет? Разве можно так жить?

Друг на друга надо сердиться, что ли? Убить, что ли, надо? Так будет хорошо?

Как Федор и предполагал, лавочник искал в нем своего заступника, выговаривая обиды, просил о примирении и о краже соболя уже более не поминал. «Теперь он не упрекнет меня! Отбил ему Егор охоту! Ай да Егорий!»

Приняв вид очень озабоченный, Гао спросил, как живут переселенцы.

– У нас Тереха и Пахом, братки с бородами, – говорил Барабанов, – знаешь, которые муку брали?

– Знаю, знаю.

– Ну вот, чуть не помирают. Цинга их свалила.

Торговец изумился.

– Ну, конечно! И сами виноваты. Ведь вот ни у нас, ни у Егора нет цинги. Старик у Кузнецовых прихварывал, да вылезился.

Гао Да-пу о чем-то поговорил с братом.

– Ладно, – обратился он к Федору. – Мужики Пахом и Тереха болеют. Пошлю больным людям муку, крупу, у меня чеснок, лук есть. Мужик будет лук кушать, и цинга пройдет. Мы совсем не плохие! Что теперь Егор скажет, а? Зачем его так дрался? Мы правильно торгуем. Людей жалеем, любим. И скажи: денег не надо. Совсем даром! – в волнении и даже со слезой в голосе воскликнул торгаш. – Моя сам русский!

Работник принес луку, чесноку и муки. Несмотря на весеннюю пору, у Гао еще были запасы в амбарах.

– Федор, вот мука. Тимошкиной больной бабе тоже дай. Баба пропадет – русскому человеку тут, на Амуре, жить трудно.

Торговцы приготовили к отправке в Уральское целую грудку припасов.

– Только смотри, Федор, это дело не казенное, надо хорошо делать.

– Как это не казенное? – насторожился Барабанов.

– Не знаешь, что ли? Казенное дело такое. Солдаты плот гоняй, там корова, конь для переселенцев. Солдат говорит: «Наша бедный люди: денег нету, давай корову деревню продадим!» Пойдут на берег – корову продают. Деньги есть – водку купят, гуляют. Потом еще одну казенную корову продадут. Еще другую корову убьют, мясо казаку

продадут в станицу и сами кушают тоже. Потом плот разобьют, совсем нарочно сломают. Пишут большую бумагу, такую длинную... Так пишут: наша Амур ходила, был шибко ветер, волна кругом ходи, плот ломай, корова утонули, кони пропали, наша не виновата. Это русска казенна дело... Русский начальник в большом городе живет – думай: «Черт знает, как много плотов посылали – все пропало! Переселенцы как-то сами жить могут без корова, что-нибудь кушать тайга нашли». Начальник так думает. Его понимает: солдат машинка есть.

– Что такое машинка?

– Как что? Ну, его правда нету, обмани мало-мало.

– Это мошенник, а не машинка.

– Все равно машинка. Пароходе середка тоже машинка есть. Ветер не работает, люди не работают, его как-то сам ходи! Мало-мало обмани есть! Все равно машинка! Люди тоже такой есть. Начальник-машинка тоже есть. Думай: «Разве моя дурак, тоже надо мало-мало мука, корова украли, богатым буду, а переселенцы там как-нибудь не пропадут». Вот такой казенна дело!

– Откуда ты об казне так понимаешь? – обиделся Федор не столько за начальников, сколько за себя, что лавочник смеет подозревать и его в таких же делах.

– Моя, Федор, грамотный. Все понимает, не дурак. Начальников не ругаю. Русские начальники шибко хорошие. Один-два люди плохой, а другой хороший, – поспешил Гао тут же похвалить русские власти, чтобы избавить себя от всяких неприятностей. – Русский царь – самый умный, сильный, хороший: его ума – два фунта. Моя царское дело понимаю. Его птица есть настоящая царская птица, у нее две головы есть, ума шибко много. Когда советоваться надо, царь ее спросит, птица скажет. Русский царь шибко сердитый, людей военных у него много, пушки есть большие, сколько хочешь людей могут убить. Наш пекинский царь тоже есть. Пекинский царь, как бог, силы много.

– Слышь, а вот у меня поясница тоже ломит, ноги мозжат... Как ты полагаешь, не дашь ли и мне луку-то?

– Можно!

– И муки. Ребята тоже прихварывают.

Но уловка Федору не удалась. Торговец отпустил ему муки, леденцов, луку, водки, но все записал в долговую книгу.

Как ни обидно было Федору брать в долг то, что другим давали даром, но он ни словом не обмолвился.

– Федор, помни, – говорил торгаш, – тут только Гао помогает. С нами ссориться нельзя. Если мы помогать не будем – пропадешь. Так всем скажи.

– Это тебя поколотили как следует, вот ты теперь и стараешься, – ответил несколько обиженный Федор. – Все-таки ты, Ваня, русского человека не знаешь! – расставаясь, сказал торговцу Барабанов.

– Ну, как не знаю! – самоуверенно ответил Гао Да-пу. – Моя теперь сам русский. Разница нету.

Засветло Федор вернулся в Уральское с твердым намерением передать больным в целости и сохранности все продукты, посланные торговцами.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Больной, вспухший Тереха лежал на лавке.

– А где Пахом? – спросил Барабанов.

– В стайке, – ответила бледная Аксинья, перебиравшая какие-то грязные тряпки.

– Не хотели должать, да, видно, придется, – сказал Тереха. – Надо куда-то ехать.

Вошел Пахом. Барабанов заговорил с ним:

– Ты, сказывают, в Бельго собрался. Не езд, я тебе и муки и крупы привез, луку. Лавочник прислал. Узнал, что ты хвораешь, и прислал. Без денег, даром...

И Федор стал передавать Бормотовым подробности своего разговора с Гао.

Пахом заробел.

– Нет, не надо нам, – вдруг сказал он, выслушав рассказ Федора, – бог с ним... Уж как-нибудь пробьемся.

– Чудак! Ведь он даром, как помощь голодающим.

– Нет, не надо.

– Не бери, Пахом, – подхватил Тереха. – Не бери! Как-нибудь цингу перетерпим. И не езд... дорога плохая.

– Их обманывали, обманывали... – как бы извиняясь за мужиков, заговорила Аксинья.

Федор рассердился:

– Да ведь ты только что в лавку собирался. Как же так? Сам не лечишься, поднять себя не можешь и другим лечить не даешься? Что ты за человек? Возьми в толк! Мне-то как быть теперь? Куда эту муку? Я для тебя старался, вез, к пасхе тебе желал угождение сделать.

– Убей – не возьму! – стоял на своем Пахом. – Прощения просим.

– Быть не может, чтобы даром! – суверенностью молвил Тереха.

– Вот тебе крест! Не веришь – съезди в Бельго... Не Хочешь даром брать – пусть цену назначит. Мне какое дело? Человек просил передать.

– Не поедем в Бельго: делать там нечего.

– Да ты не бойся.

– Вот луковку возьму. За луковку ничего не станет, – ухмыльнулся Пахом и с видимым удовольствием взял пару луковиц. – А муки не надо.

– Гао обижается, что помощи не принимаем.

– Нам такой помощи не надо. Мы без нее проживем, – твердо ответил Пахом. – Все равно теперь уж скоро весна. Не знаю, сплав вовремя придет, нет ли... Парень-то кормит нас, мясо таскает, – кивнул отец на Илюшку.

– Вот тварь, какой нравный у нас Пахом! – выходя, бормотал Федор. – Никак на его не угодишь, что ни делай, а он как раз поперек угадает.

* * *

С тех пор как отец и дядя заболели и перестали вырубать лес, Илюшка целыми днями пропадал в тайге. Казалось, он даже был доволен тем, что мужики заболели.

Ни у кого ничего не спрашивая, он совершенствовался в охоте. В верховьях Додьги он убил кабана, сделал нарты и привез на себе мясо. Он ловил петлями рябчиков и тетеревов, а когда жил дома, добывал махалкой рыбу.

Сильный и выносливый, он ел сырое мясо, сырую рыбу, глодал какую-то кору в тайге и цинге не поддавался.

Илюшка давно поглядывал на Дельдику. Впервые увидев ее, он, словно изумившись, долго смотрел ей вслед. Встретив ее другой раз при ребятах, он поймал девочку и натер ей уши снегом. Маленькая гольдка закричала, рассердилась и полезла царапаться. Илюшке стало стыдно драться с девчонкой – он убежал.

– Она тебе морду маленько покорябала, – насмехались ребята.

Русские девчонки прибежали к Анге жаловаться:

– Тетя, вашу Дуньку мальчишки обижают.

– Тебя обижали? – спросила Анга.

Дельдика молчала. Ее острые черные глаза смотрели твердо и открыто.

Однажды Илюшка наловил рябчиков. Аксинья велела несколько штук отнести Анге. Бердышовой дома не было: она строила балаган в

тайге. Илюшка отдал рябчиков Дельдике и засмотрелся на нее. Гольдка вдруг засуетилась, достала крупных кустовых орехов и угостила ими Илюшку.

На другой день Санка, не желая уступить товарищу в озорстве, поймал Дельдику на улице и опустил ей ледяшку за ворот. Подбежал Илюшка и сильно ударил Санку по уху. С тех пор все смеялись над Илюшкой и дразнили его гольдячкой.

– Илья Бормотов за Дунькой ухлестывает!

– У-у-у, косоглазая! – без зла и даже как бы с лаской в голосе говорил Илья о Дельдике.

Он опять наловил рябчиков и отнес их Бердышовой. На этот раз Анга была дома. Парень отдал дичь и присел на лавку, ожидая, не заговорят ли с ним. Однако ни Анга, ни Дельдика не выказывали ему никакого внимания. Бердышова всхлипывала, тяжело дышала и куда-то собиралась. У нее были испуганные глаза. Дельдика помогала ей одеваться.

Илюшка, видя, что тут не до него, загрустил и побрел домой.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

– Не жалею невода! Еще невод сделаем, – говорила, обращаясь к Улугу, его жена Гохча. – У меня такой чирей на шее! Сильно болит, стыдно в люди показываться. С шишкой, что ли, на праздник ехать, чтобы люди смеялись? К русской лекарке меня свези, пусть полечит. Все соседки к ней ездят, все знают старуху. Одни мы не знаем, совсем стыдно.

– Может быть, бельговцы не захотят мириться, – нерешительно возражал муж. – Только даром будешь лечиться. И так пройдет.

– Ой-ой, как болит! Все равно поедем... Такой большой чирей! – жаловалась Гохча. – Ай-ай, как сильно хвораю! А про невод не поминай! Хоть бы был хороший! А то совсем старый. Совсем его не жалко!.. Ай-ай, как сильно хвораю!.. Ничего ты не знаешь, по-русски говорить не умеешь. Все от русских чего-нибудь узнают. Что ты за человек? И хорошо, что невод у тебя отобрали! А то новый бы никогда не завел.

«Крепкий и очень хороший был невод», – думает Улугу.

– Гохча к русским собирается, – смеялись соседи. – Хочет, чтобы Улугу по-русски выучился.

– Не ездь, бабу не вози, – пугал соседа старик Денгура, – тебе худо будет: тот мужик, который тебя летом поколотил, он сын русской шаманки, он опять обидит. Русские – плохие люди. Кто к ним ездит, еще хуже заболит.

– Чего не ездь? Ездь! Не бойся! – восклицал Писотька. – Старуха хорошо лечит. Мне парнишку поставила. Самый лучший баба-шаман. Когда Егорка невод отбирал, долго смотрел на тебя?

– Нет, однако, недолго. Один раз меня толкнул, потом ругался.

– Ну, не узнает! Один раз ударил? Тогда не узнает.

– Ты бы его бил, тогда бы он узнал, – усмехнулся сын Писотьки Данда, и все засмеялись.

Толстогубый, с широким мясистым носом, высокий и широкоплечий Данда с годами все более становился похожим на китайца. Ростом и силой он даже превосходил самого здорового из них – работника Шина.

Данда вел все торговые дела Писотьки. Это был парень смелый, дерзкий на язык, просмешник, а в ссорах и в торговых делах мстительный и жестокий. Должники боялись его не меньше, чем бельговских лавочников.

Богатство Писотьки околочено было с помощью Данды. Это он рискнул разорить ловушку Бердышова за то, что Федор украл соболя. Он горячо любил Писотьку, которому, как все предполагали, не был сыном.

– Тебя Егорка никогда не узнает, – продолжал Данда с загадочным видом, и все заранее покатывались со смеху. – Для русских все мы на одно лицо. Только у кого длинные носы, тех они друг от друга отличают. Длинноносых понимают, – при общем смехе и веселье схватил он Улугу за плоский, едва выдававшийся нос. Такие шутки над бедным стариком прощались Данде.

– А ты зачем мне поперек слово говоришь? – вдруг с обидой обратился Денгура к Писотьке. – Конечно, русские плохие люди, воришки. Все украдут... На берегу ничего нельзя оставить – все утащут, а лечить совсем не умеют: от них все болезни.

– Тяп-тяп, – передразнил старика Данда. – Знаю, тебе не нравится, что мы с русскими знакомы. Чего, охота опять, как при маньчжурах, старостой быть?

Насмешка была злая и попала в цель. Старик обиделся и умолк.

– Охота тебе чужим служить? Твое время никогда больше не вернется. Теперь надо по-другому жить. Эй, Улугу. Улугу! – вдруг тонким голосом закричал Данда. – Ты по-русски не знаешь, как будешь жену лечить?

На другой день Улугу повез жену в Уральское.

– Лечить-то они хорошо умеют, – ворчал Улугу, – а вот разве хорошо невод отбирать? Тот старик вместе со старухой живет, я его встречу, что с ним буду говорить? Смешно! Неужели русские, у кого широкие, правильные лица, тех друг от друга не отличают, а у кого лица узкие и носы длинные, только тех узнают? Смешно! Неужели такие дураки?

Кузнецовы только что отобедали, когда Улугу с женой вошли в землянку. Щуплый и жалкий, стоял гольд у порога, переминаясь с ноги на ногу. Дарья заговорила с ним. Она уже знала несколько гольдских слов. Гольдов усадили на лавку.

Улугу время от времени озирался на Егора. Убедившись, что тот не обращает на него внимания и, может быть, в самом деле, как уверял Данда, не умеет отличать гольдские лица друг от друга, Улугу успокоился.

Егор взял пилу и ушел из землянки. Следом за ним вышли мальчики.

– Тятя, а ты у этого гольда летось невод отнял, – сказал Васька, подымаясь за отцом на бугор.

Кузнецов уж и сам подумал, что где-то видел этого гольда.

– Что же, что отнял, – строго ответил он. – За дело отнял.

Спустя час Егор вернулся в землянку. Лечение окончилось, и бабка прихорашивала гольдку. Она отмывала ей грязь со щек. Муж внимательно смотрел на нее, сидя на лавке.

Егор остановился у порога, глядя на Улугу. Он вспомнил осеннее утро, косу над обрывом, ветер, волны. Улугу заметил на себе пристальный взор. Он почувствовал, что русский его узнал. Сердце Улугу замерло. Не желая выдать испуга, он, в свою очередь, пристально и как бы с подозрением стал смотреть на Егора.

Мужик в раздумье повесил голову. Мать его лечила и мыла гольдку. Сам гольд доверчиво вошел в дом, где жили люди, отнявшие у него невод. «А невод ему – что нам пашня».

Стыдно стало Егору, что в свое время, не зная тут ни людей, ни обычаев, сгоряча отобрал невод. Он хотел бы теперь его вернуть, но не решался заговорить об этом. «К случаю придется – отдам, – подумал Егор, но тут же подумал, что надо себя перебороть и честно сказать все. – Может быть, гольд тогда не разобрал, кто его обидел, не знает, что это я».

Егору пришло на ум, что нужно угостить гольда. Он послал мать к Федору одолжить водки.

– Удивил, Егор Кондратьевич! – восклицал, прибежав с бутылкой, Барабанов. – Я бы другому, убей, не дал, а тебе можно.

После первой чарки гольд развеселился. По-русски он не понимал, и говорить с ним было не о чем.

Барабанов начал знаками объяснять, что пора Мылкам мириться с Бельго.

– А то хуже будет. Ой-ой-ой, как худо! Скажи своим, что исправник приедет.

Тут Федор пальцем показал себе на лоб, потом плюнул на ладонь и, сжав кулак, замахнулся.

– Исправник, понимаешь?

– Отоли! Отоли!^[43] – испуганно вскричал Улугу.

Он понял, что речь идет о кокарде и мордобое. Он вскочил с лавки и тоже показал себе на лоб, потом плюнул на руку и тоже замахнулся кулаком.

– Исправник, отоли!

– Вот тут Бельго, а тут Мылки, – показывал Федор ладонью на столе. – Надо мириться, дружно жить. Араки пить надо, – щелкнул он себя по шее.

Когда Улугу, собираясь домой, вышел с женой из землянки, Егор вынес невод и поклонился гостю.

Гольд на миг остолбенел. Он ссутулился и заморгал. Краска выступила на его смуглом лице.

Потом он выхватил невод из рук Егора и бросил его в нарты. Сам прыгнул следом и, не прощаясь, не взглянув на Егора, помчался в Мылки.

Улугу с женой приехали через несколько дней снова. Они привезли Кузнецовым мяса и рыбы. Знаками гольд объяснял Егору, что дома все сказал, велел мириться и что жене лучше. Он все время кланялся и хитро улыбался.

– Гляди, привезли кабанины, – с уважением говорил про гольдов Кондрат, – будет чем кормить ребятишек.

Похоже было, что мир заключен прочный.

Бабка дала жене Улугу свежей мороженой капусты и несколько картофелин.

Улугу стал часто ездить в Уральское.

Понемногу Кузнецов и Улугу сдружились. Когда начались теплые дни, Егор как-то показал гольду соху.

– Вот это, брат ты мой калинка, называется соха! Соха! Понял?

– Соха, – повторял гольд.

Он теперь знал слова «соха», «картошка» и многие другие.

Понемногу гольд учился говорить по-русски.

Федор, встречая Улугу, каждый раз торопил его с примирением.

– А, исправник, отоли! Понимает! Смотри, брат... Скажи Денгуре, что исправник, брат, все отоли. Все понимает! Ой-ой, худо будет!.. Так

и окажи.

С Федором гольд предпочитал объясняться знаками.

– Отоли, отоли! – Улугу, показывая себе пальцем на лоб, быстро плевал на руку и потом замахивался кулаком.

– Исправник-то отоли! – восклицал Федор.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Как из бездонной пропасти, Иван выбрался с конями на релку. Внизу стлалась густая мгла. Льда амурского не было видно: казалось, что там провал. Тускло светила луна, и зеленоватый свет ее кругами расходился по туману. Лишь кое-где, как майские светляки, сквозь мглу просвечивали торосники.

Иван затрусил в распадок. Иззябший и уставший, поглядывал он на огонек своей избы.

«Однако, добрался, – подумал он, слезая с коня, – сам жив, лошади целы, ружье, меха, серебро привез и опять же не без золотишка». Нагрузившись тюками, Иван вошел в избу. Смрадный, жаркий воздух охватил его. У нар собрались бабы-переселенки. Сначала он ничего не понял. И вдруг заметил, что посреди избы к потолку подвешена зыбка.

– Вот и тятка приехал! – радостно воскликнула Наталья Кузнецова.

В тот же миг слабо закричал ребенок. Бабы обступили Ивана со всех сторон.

– Гляди-ко... На-кось тебе дочь-то, – приговаривала Наталья, поднимая младенца.

«Вот бабы, чем радуют!» – подумал Иван, удрученный тем, что родилась дочь, а не сын.

Но едва глянул он на крошечное опухшее личико и увидел в нем знакомые бердышовские черты, как доброта и жалость прилили к сердцу.

– Ах, ты! – покачал он головой, еще не решаясь тронуть ребенка.

– Чего боишься? Бери, твое, – заговорили бабы.

Анга застонала.

– Что с ней?

– Болеет, – сказала бабка Дарья. – На снегу, в лесу рожала-то, что с ней сделаешь! Девчонка прибежала, кричит в голос: «Тетка помирает!..»

Дельдика, вытянув шею, молча и серьезно смотрела на Ивана, желая, видимо, узнать, понравится ли ему девочка и что он станет с ней делать.

– Пошли в тайгу, в самую чашу, – продолжала старуха, – а у нее там балаган налаженный. Она родила и лежит без памяти. Видишь, по своему обычаю, значит, рожала.

Иван подсел на край нар, взял жену за руку и что-то сказал ей. Анга всхлипнула. На потном лице ее появилась плаксивая улыбка. Иван погладил ее горячую руку, перебрал пальцы в толстых серебряных кольцах.

– Не помрет, – молвила старуха.

Наутро Анге полегчало. Иван выпарился в печке, выкатался в снегу и, красный, как вареный рак, завтракал калужьей похлебкой.

Пришли мужики.

– Как дочь назовешь?

– У нас тетка Татьяна была, не шибко красивая, но ума палата. Татьяной назову. Ну, а вы как пасху справляли?

– Водки не было, – отвечал Тимошка. – Хуже нет, трезвый праздник. А ты спирту привез?

– Нету спирта. В Николаевске и спирт выпили и духи. Матросы платят рубль за флакон и пьют. Китайцы сверху везут туда ханжу. Находятся и русские мужики, что за сотни верст везут в город бутылку водки, только чтобы нажиться. У кого с лета остался спирт, те... Там харчи шибко дорогие. Людей не хватает. Казна и купцы большие деньги платят. Город строят, пароходы собирают. Там каторжане, солдаты, матросы.

За чернобурок Иван отдал Егору сорок рублей.

– А Галдафу мне восемь целковых не пожалел, – угрюмо сказал Егор, забирая деньги.

Все засмеялись.

– Я твои шкурки продал в Николаевске американцам. У них там магазин. Чего только нету! Товару, что стены трещат. Я всегда к ним заезжаю, другой раз ночую у них... Ружье купил у американца. Там есть один американец, у него жена – поповна, сам он был матросом на китобойном судне. Корабль их разбился у наших берегов, все утонули, а он в России остался и стал от своих купцов торговать. У попа дочь высватал... Оружье у них шибко хорошее, – показал Иван новенький винчестер.

В те времена винчестер с магазинным затвором был редкостью, самой последней новинкой, однако мужики особенно не удивлялись

устройству американского ружья, полагая, что здесь, возможно, вообще заведены такие винтовки.

– Ты уж из него стрелял кого-то, – заглянул Федор в дуло.

– Как же, испробовал, – усмехнулся Иван, и глаза его заиграли. – С такого ружья не хочешь, да попадешь в кого-нибудь, жалко не стрелить.

– Паря, с американцами сдружишься, они тебя до добра не доведут...

– Это баловство одно, а не ружье, – сказал дед Кондрат. – В нашу пору таких не было, а били метче. Люди были здоровее, глаз имели верный, глаза у них не тряслись, руки не тряслись, воровали меньше.

При виде иностранного ружья Егор невольно вспомнил Маркела Хабарова – тому ружье запретили делать, а самого за то, что он придумал новое устройство охотничьей винтовки, поставили сплавщиком на плоты.

* * *

Солнце просвечивало далеко сквозь голоствольную чашу; как метлы на белых черенах, стояли желтые березы.

– Ручьи играют... забереги есть, – сказал Тимоха.

– Я уж поплавал по дороге.

– Вчера вон те пеньки выворотил, – с гордостью показал Егор вздыбленные, дымившиеся корневища. – Таял землю огнем, а потом уж их легко драть.

– Пойдемте к Пахому, – звал Федор.

Он рассказал Бердышову про случай с мукой, как Бормотовы отказались от помощи.

В землянке Бормотовых на столе и на лавках лежали куски рубленого кабаньего мяса.

– Парень у нас охотничает, – рассказывал Пахом. – Ружье ему отдали. Сами не можем...

– Ходить-то?

– Чего ходить-то! И прицела взять не можем, дрожь в руках. Хоть зверь в избу заходи, ничего не сделаем!

– А ты, Илюшка, и рад, что ружье тебе теперь дали? И слава богу, что отцы свалились?

– Рад-то он, верно, рад. Только, видишь, порох-то мы извели, – продолжал бородатый дядя Тереха. – Ты бы хоть немного одолжил.

– Это можно.

– А ты думаешь, пароходом доставят провиант?

– А почему у лавочника не возьмешь?

– Злодеи они. Девку от отца с матерью отнять хотели. А потом муку присылают. Такой тебе зря муки не пошлет. Девка-то тихая, ладная девка, все услужить хочет...

– Федор-то говорит: «Не трусь!» А нам, видишь, не боязно, да зачем же от злодеев хлеб-то принимать?

– А парень кабана заporол нынче, – перебил брата Пахом. – Мясо есть, даст бог, не околеем.

– Как же ты заколол зверя? – обратился Иван к Илюшке, молча сидевшему в углу.

Парень вдруг ухмыльнулся, надел шапку и ушел.

– Что это с ним?

– Сейчас покажет, – слабо оказал отец.

Илюшка принес самодельную деревянную пику.

Мужики засмеялись:

– Вот дубина ладная!

Они, казалось, не придавали никакой цены Илюшкиной охоте и смотрели на его пику, как на пустую забаву, чудачество.

Иван оглядел палку и покачал головой. Он понимал, какую храбрость и силу нужно иметь, чтобы убить такой штукой кабана.

– Он ее под вид гольдяцкой геды произвел, – объяснял Пахом, – только без железа.

– Как же ты колол?

– Пырнул... Как дал ему вот под это место!

– А он как дал бы тебе клыками... Что тогда?

Илюшкино лицо вытянулось, нижняя губа вывернулась, брови полезли на лоб, парень затряс головой, словно удивляясь, что могло бы с ним случиться. Предположение, что кабан мог ударить его клыками, показалось ему смешным.

– Давно бы ружье надо Илюшке отдать, – сказал Егор, – пока порох был. А то зря спалили.

– Кто же знал, что у него такая способность?

– Мы с матерью все ругали его, что в тайгу бегают. Признали уж, когда пороха не стало.

– Кто же обучил тебя копьё сделать?

– А про него я в гольдяцкой сказке слышал. Санка рассказывал. Они с гольдами на охоту ходили. Я за выворотень спрятался, кабан-то набежал.

– В первый-то раз в ухо угодил? – с живостью расспрашивал Иван.

– Свежинкой поделимся, – говорил Пахом.

– Вечером приходи, – сказал Бердышов. – Выпьем.

– На радостях-то...

– Попа нет, вот беда.

– Сами окрестим.

Пахом послал Бердышовым кабанины. Иван прислал ему пороха и кулек муки.

В сумерки мужики пили ханшин.

– Проздравляем, Анна Григорьевна, – кланялся Пахом.

Иван качал младенца и что-то бормотал то по-русски, то по-гольдски.

Мужики допоздна играли в карты.

Эх, бродни мои, бродни с напуском! —

подпевал Иван. – Первые два года мужиков кормит казна. Они в это время в карты играют – так тут заведено. Вам амурские законы надо знать.

– Теперь такого правила нету, – ответил Егор. – Нынче шибко не помогают – сам себя прокорми.

– Беда, копейку продул. С вами играть – без штанов останешься!

Эх, бродни мои, бродни с напуском! —

крыл Иван Тимошкину семерку.

– С тебя копейку выиграл. Слышишь, моя дочь голос подает? Что, тятюку надо? Девка у нас на бабушку Бердышиху ходит. Я, на нее

глядя, своих нерчинских стал вспоминать, а то было совсем забыл.

Эх, бродни любят чистоту,
А поселенцы – карты!..

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

На Амуре уже выступали забереги. По ним в лодках приезжали к Ивану гольды. Иван раздавал им серебро за проданные меха. У всех знакомых гольдов он брал в город меха на продажу. Явился Айдамбо, совсем еще юный паренек, лучший стрелок на всем озере. Он позже всех вышел из тайги. Мельчайшими красными узорами были расшиты его куртка белого сукна, белые лосиные штаны и унты.

– Соболя есть. Держи, – говорил Айдамбо. – Соболя на, другого на... третьего на... четвертого на... – Айдамбо выбрасывал из-за пазухи черные шелковистые шкурки. – Теперь где водочки достанешь?

– Отдам тебе все! Свое уступлю, ребята хорошие! А ты разве пьешь?

– Отцу покупаю. Да и сам выпью! Отец больной ждет меня. Давай скорей!

Водка у Ивана была. Он берег несколько ящиков. Зная, что у всех торговцев запасы иссякли, дороги по Амuru нет, а мехов у охотников много, Иван открыл свой амбар.

Он знал: меха теперь потекут к нему.

* * *

Айдамбо, увидев Дельдику, замер в немом восхищении. Она мыла посуду точно так же, как это делали русские женщины.

Иван заметил взор юноши.

– Понравилась? – смеясь, спросил он.

Айдамбо покраснел, не в силах вымолвить слова.

– Поговори с ней! – посоветовал Иван.

– Не па-ажваляет, – ответил Айдамбо и захихикал виновато, словно его защекотали. Смелости его как не бывало.

– Кто не позволяет? – спросил Иван с удивлением.

– Жакон не па-ажваляет, – отвечал гольд.

– Ну, уж ты старый закон не слушай. Здесь у нас русская деревня, и можешь говорить с ней, сколько хочешь. Я бы молодой был, сам бы

от нее не отстал. – Он подмигнул парню.

Айдаambo весь день провел у Бердышовых.

– А отец, наверно, покупки ждет. Ты мне говорил, что он больной, ему надо выпить, чтобы согреться, – посмеивался Иван после обеда, – а ты водку не везешь.

– А ну его к черту! – с досадой отвечал Айдамбо.

Однако при упоминании об отце выражение заботы появилось на лице гольда. Вскоре Айдамбо собрался.

– Я скоро снова приеду, – сказал он Ивану, – и привезу тебе меха.

– Ты мне говорил, что соболей больше нет у тебя.

Айдаambo смутился.

– У меня своих нет, но у отца есть, а он мне должен, – соврал он. – Верно, верно! Ведь я ему водки на свои купил.

Айдаambo приободрился, чувствуя, что вывернулся удачно. Он уехал в Мылки.

На другой день к Ивану приехал гольдский богач Денгура. Он был очень ласков с Бердышовым и тоже все время поглядывал на Дельдику.

– Ты бы продал мне маленькую девку, – потихоньку попросил он Бердышова.

– Зачем тебе?

Полой халата старик проворно обтер свою вспотевшую лысину.

– Хочу жениться, – хитро улыбаясь, признался он.

Иван засмеялся:

– У тебя молодую жену отобрали, так ты хочешь на девчонке жениться? Надо тебе! В утешенье-то! А не боишься, что из-за нее опять будет беда?

– Только продай! – обрадовался Денгура, видя, что Иван слушает его сочувственно. – Я тебе все отдам.

Бердышов вдруг нахмурился.

– Она молоденькая еще. Когда подрастет, тогда только решу, кому отдать.

– Ну, отдай за меня! – взмолился Денгура. – Ведь сейчас только уговоримся, а жениться потом, когда подрастет. Возьми у меня подарок, задаток. Отдам тебе вот эти меха. Даром!

Денгура полез в мешок. Там были приготовлены лисы. Иван подарки принял, но обещания не дал. Денгура сказал, что не теряет

надежды. Он предполагал, что за богатые подарки рано или поздно заберет Дельдику.

– А ее больше никто не сватал? – вдруг с беспокойством спросил он.

Иван засмеялся:

– Никто! Никто!

Проводив Денгуру, он велел жене хорошенько вымыть Дельдику, причесать ее, переодеть во все новое.

– Она просит сшить ей русский сарафан, – говорила Анга. – Наталья ее подучила.

– Нет, надо, чтобы в гольдском ходила. Пусть-ка на нее свои заглядываются. Верно, какая она славненькая, – говорил он, любуясь Дельдикой.

Когда из Мылок снова приехал Айдамбо, Ивана дома не было. Анга уходила к соседям, а с ребенком оставалась Дельдика.

Юный Айдамбо всем нравился в деревне. Анга рассказала женщинам-переселенкам, что парень ездит из-за Дельдики.

– Еще парнишка, а добывает мехов больше, чем отец и дедушка.

Возвратившись домой, она увидела при свете лампы, что Айдамбо, стуча умывальником, моет руки, а Дельдика ждет рядом с полотенцем и тараторит без умолку про то, как надо мыться.

* * *

Анга и Наталья сшили Дельдике русское платье и сарафан.

Айдамбо изумился и долго сидел на лавке, не сводя глаз с Дельдики. Ему нравилось, что она во всем чистом.

«А что, если я русскую одежду надену? Может быть, скорей понравлюсь ей?»

Кальдука Маленький приехал к Бердышову. Старик был чем-то обрадован.

– За дочерью приехал, – оказал он. – Спасибо, Ваня, что выручил. У-у, какая стала! – умилился Кальдука, завидя Дельдику, подбежавшую в опрятной одежде и в русских сапожках.

– Как же я ее отпущу! Ее опять там китайцы заберут, – ответил Иван.

– Нет, не бойся, – воскликнул радостно Кальдука, – китайцы уехали!

Но Иван совсем не собирался отпускать Дельдику домой.

– Нет, Дельдика никуда не поедет, – сказал он. – Пусть поживет у нас. Нам надо помогать. А мы ее будем кормить и одевать. Она у нас как дочь родная.

Кальдука совсем не ожидал такого оборота. Он остолбенел.

– Как ты сказал?

– Что она у нас как дочь родная. А ты какой же отец, если не смог защитить!

Кальдука злобно усмехнулся.

– Вот еще один добрый человек нашелся! – воскликнул он. – То мне все китайцы помогали, говорили, что будут ее кормить и одевать. А теперь ты нашелся! Тоже меня любишь и помогаешь.

Старик посидел у Бердышовых и решил сходить пожаловаться Егору.

Кальдука надеялся, что Егор и сейчас заступится за Дельдику. Он рассказал ему про свою беду.

– К ней тут женихи ездят, подарки возят Ивану, – проговорила Наталья.

Кальдука ждал ответа Егора.

– Что тебе сказать? Конечно, нехорошо, что Иван ее домой не пускает. Но тут она все же кое-чему от Анги научится. Ведь он ее не совсем отнял.

– Нет, совсем! – с горечью воскликнул гольд.

– Пусть пока поживет, – сказал Егор, – а там посмотрим. Да он тебя не обидит. Он не такой мужик как будто.

– Он ее замуж выдаст, торо себе возьмет, – стал жаловаться Кальдука, чувствуя, что Егор ничего не сможет поделать с Бердышовым. – Ты, Егор, не знаешь, какой Ванька!

Весь этот разговор озаботил Егора.

– Да быть не может, чтобы он от отца отнял ее, – оказала Наталья. – Анга-то ей тетка родная.

– Все же Иван хитрый мужик, – сказал Кузнецов жене, когда гольд ушел. – Он себе выжмет барыши из этой девки. Но мы должны не допустить до позора. Пусть уж хоть не за старика, а за ровню замуж отдает.

Егор решил при случае поговорить с Иваном, заступиться за Дельдику.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Быстро наступила весна. В тайге стояли широкие лужи: голоствольная чаща в низинах затоплена водой. По балкам шумели ручьи. Воздух теплел и мерцал так явственно, что, казалось, видно движение ветра.

На Амур набегали талые воды, образуя обширные озера. И казалось, что уж нет льда: в ясный день река сплошь голубая, как летом, и только утаявшие торосники выступали из нее белыми островами.

То вдруг ударял мороз, озера на льду застывали, Амур белел, пронзительный студеный ветер приносил снежную бурю. Снова, как осенью, сквозь мглу бурана под обрывами видны были лишь черные воды заберегов, влекущие льды и громадные грязные коряги.

Стихала пурга, теплело. Рябились лужи, пар курился с мокрых крыш и тропинок, из-под снега выступала земля, и уж кое-где на бугорках и под пеньками в желтой прошлогодней траве проглядывала свежая прозелень.

Вода прибывала. Лед, провисший в зимнюю убыль, подняло и выровняло, вода все дальше выступала на отмели, и под обрывами берега понеслось бурное грязное течение.

Грязно-белые льдины отрывались от станового льда и, со звоном ударяясь друг об друга, проплывали по широким заберегам.

Кузнецовы во всякую погоду проводили дни за работой на релке. Егор взялся за чистку пашни еще в марте, когда земля была мерзлая. Свежие крепкие пеньки от рубленных зимой деревьев он выжигал, раскладывая костры в подкопах между корней. Сердцевина пенька выгорала, земля вокруг оттаивала, так что Кузнецовым оставалось драть полуобгоревшие корни.

С теплыми днями земля оттаяла почти на ладонь, и все переселенцы принялись за корчевку.

Вскоре повсюду задымились подоженные выворотни. На рощистях запылали костры.

На рассвете была подвижка льда. Егор проснулся от грохота, доносившегося с реки, и вышел. Верховой ветер налетал порывами, ударял в лицо залпами, словно старался сбить, сдвинуть лед, погнать

его дальше. Остроносые льдины, похожие на баржи и лодки, теснились и с грохотом лезли на берег, продвигаясь вперед толчками, словно одушевленные существа.

«Как звери!» – подумал Егор.

Наутро исчезли забереги. Груды льда громоздились на речные косы. Ледяное поле с почерневшими торосами, похожее на кочковатое болото, передвинулось вниз. Это заметно было по голубым, полным воды колеям дороги, отошедшей от съезда.

Вдали, у мыса Пиван, часть реки очистилась, засияла летней синевой. Это далекое сверкание воды предвещало Егору близкое лето, пахоту, посев.

Ветер бушевал с такой силой, что по релке летали тлеющие головешки от костров. Лед, не двигаясь, стоял день и другой.

Вечерами переселенцы собирались вместе в какой-нибудь из землянок и подолгу обсуждали, что будут сеять и когда придется начинать работы. Все споры и распри были забыты. Бабы уговаривались работать на огородах: на Ирину высаживать капусту, на Фалалея – огурцы. Рассада у них росла в ящиках.

Мужики рассуждали о корчевке, о пахоте и о посевах. Земля их частью еще лежала под лесом, и трудно было загадать, что удастся сделать на Егория и что к Ереме, но загадать хотелось, и мужики вели длительные беседы допоздна, пытаясь проникнуть умом вперед в то время, когда закончат они корчевку и выйдут с лукошками в поле. Все дружно соглашались, что если удастся расчистить и обработать землю, то хорошо бы посеять тут ярицу, овес и гречиху, и что первый год надо совсем немного посеять ярицы, лишь для пробы.

– А то может забить... А озимые еще не знаем, пойдут ли тут. Кабы не вымерзли.

– Овес-то, – окал Кондрат, – он таковский, «затопчи меня в грязь – вырасту князь». Тут всегда мокро, овсы-то, даст бог, пойдут.

О приметах погоды мужики спрашивали Ивана, но он не брался толком объяснить, какие дни стоят тут перед Николой.

– Как с Охотского моря ветер потянет, тогда жди снегов. Оттуда, снизу. Микола летний с морозом... Паря, беда амурский Микола! Баловень же!

Как-то после полудня Егор, работая на релке, сквозь вой ветра в деревьях услышал, как со звоном упал истаявший под жарким солнцем

торос.

– Лыдына развалилась, – сказал Васька, прислушиваясь.

Снова разбился торос и снова зазвенел, но звук этот не стих, а стал усиливаться. Васька глянул подобрав – и обомлел: лед шумел и звенел по всей реке.

– Тятя, Амур тронулся! – испуганно закричал Васька.

Под берегом поползла ледяная скала. Падали и звенели торосы, словно на реке били стекла.

Поле льда тронулось все сплошь, во всю ширину реки. Кромка его задевала за глыбы, нагроможденные на берегу. От трения льдин начался шум и свист. Истаявшие льдины разваливались, превращаясь в груды мельчайших ледышек. Они всползали на берега, бурлили огромными валами и, словно закипая, издавали шелест, напоминавший шипение. По движущейся реке тысячами солнц засверкали рушившиеся торосы. Громадные ледяные поля лезли на мыс, ломались о старые заторы.

Отец и малые сыновья его – Петр и Василий – стояли над обрывом в голой чаще тальников.

– Смотрите, ребята, как пошла река, – говорил Егор. – Запомните, как стояли мы перед дремучей тайгой, собирались хлебушко сеять, а лед ломало... Вам, ребята, жить тут, отец вас сюда привез и поселил... Вы, ребята, возрастетe и с отца спросите.

Егор хотел оказать детям, что как река ломает лед, так и он ломает тут на релке древнюю чашу, начинает новую жизнь.

– Помните, ребята, первый ледоход. Весна началась...

Прожит без малого год, самый трудный, первый год, первая злющая голодная зима. Одним этим половина дела сделана. Выжил человек, вытерпел. Теперь, Егор, прилежи руки – и вот она перед тобой, новая жизнь, возьми ее, полей землю потом!

Подошел Федор и с живостью подмигнул Кузнецову:

– Река пошла... Жди гостей. Торгованы теперь потянутся. Эх, Кондратьич, на торговой реке живем!

– На вольной земле стоим, Кузьмич, – отвечал Егор.

Васька насмотрелся на движущиеся льды, и, когда ушел с берега, все пеньки и коряги и вся релка поплыли у него перед глазами.

День и ночь мимо селения проплывали ледяные поля.

– Тут и ледоход не такой, как у нас, – говорила Наталья. – Быстро несет.

На другой день к вечеру река очистилась, набухла, и в сумерках последние белые льдины проносились по ней, как белые птицы по воздуху.

Подул теплый ветер. Ночью прошел дождь. С криками полетели караваны гусей.

Наутро Егор с отцом, братом и сыновьями в дыму костров, с ломами и мотыгами в руках чистили свою землю.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

За голыми тальниками блестит вода. Даль реки в голубой дымке. Последний ветер угнал облака и стих поутру.

Амур спокоен. Чистые воды его тянутся из-за островов широкими бледно-голубыми полосами и сливаются на фарватере.

Вид вокруг такой обновленный, словно переселенцы перешли на другое место.

Посмотрит Егор на реку, и добрые морщинки сбегутся у глаз.

Мир стал выше, просторнее, светлее. Далеко-далеко над голубыми и синими полями вод мечутся белоснежные чайки. Они падают на воду, то стонут, то плачут, то хрипло и злобно ворчат. В тишине слышно, как всплескивают, взбивая воду, их острые белые крылья.

Земля на релке в дыму.

«Началось!..» – в суровом торжестве думает Егор.

Наталья работает рядом, мотыжит землю, дерет корни.

А за рекой уже очистились от снега сопки, седой щетиной выступил на рыжих склонах березняк, почернели каменные гребни и перевалы, только чуть пониже, повторяя все их извилины, как вторые белые гребни, лежат в тени остатки снегов.

Федор Барабанов тащит огромную вагу. Агафья помогает ему.

У Ивановой избы грохнул взрыв, земля поднялась столбом, коряги, щепы, корни полетели над тальниками. Егор невольно обернулся. На виду у него дрогнул, как бы подпрыгнул, громадный пень, дал трещину, раскололся, дым и пламя ударили из него, как из пушки, и новый взрыв потряс воздух.

– Что делает! Ах, гуран, пороху-то не жалеет! – восклицает дедушка Кондрат.

Иван вылез из-за толстого дерева. За ним с мотыгой на плече брела Анга.

Под вечер Кузнецов и Бердышов поехали в лодке зажигать старую сухую траву на островах. Егор помнил, какие дудки пришлось косить в прошлом году.

– Жечь ветошь надо, чтобы она молодую траву не забивала, – говорил он детям, – будет там покос.

По дороге на острова Егор помянул Ивану про Кальдуку и его дочь.

– Что же, я для тебя, выходит, старался, когда ее отбил? Ты против китайских купцов людей подговариваешь, а сам, как бельговский торгаш, хочешь от нее доход иметь? – шутливо сказал он.

Иван засмеялся и замотал головой.

– Верно! Ты ловко подметил! Но все как раз наоборот! Я с ней ничего плохого не сделаю. Устрою, что Кальдука станет богатым.

Иван открыто и весело говорил об этом, и Егор готов был верить ему.

– Смотри, если обманешь, бить будем тебя, как бельговских торгашей, – сказал он полушутя.

Иван смеялся, но поглядывал на Егора настороженно и испытующе.

Ночью с реки открылся вид на огненное море. Егор и Бердышов зажгли все окрестные острова. Оттуда доносился по воде сухой треск пылающей травы.

* * *

Когда впервые на амурской земле взялся Егор за свою соху и пошел за ней по корчеванной, но еще дикой мокрой земельке, в которой во множестве видны волокна и мелкие коренья, сердце мужика больно и радостно защемило, словно после долгой разлуки встретил он родного человека.

По реке пробегали пароходы, шли самосплавом караваны барж, маймы с соломенными парусами. Маленький казенный «Амур» остановился у Ивановой избы. Пароход, приткнувшись, как лодка, носом к берегу, ждал, когда командир его отгуляет с Бердышовым, разгонит свою тоску и снова пустится в далекий путь на тысячи верст.

Иван собирался в Хабаровку за товаром.

Вот уже другой пароход – пассажирский – подошел к берегу. С него сошел мужчина огромного роста, тучный, с багровым лицом. Он был в форме, со шпагой.

– Эх! Вот этот разнесет!.. – восхищенно воскликнул Илюшка.

Иван надел казачью фуражку с околышем и вышел встречать начальство.

– Здр-равия желаю! – гаркнул он, вытягиваясь.

За исправником, поскрипывая новенькими ремнями, в новых мундирах, с оружием, в начищенных сапогах, шли по сходням становой, урядник и двое полицейских – черный и рыжий. Солдаты отдали буксир и подвели к берегу крытую лодку. Пароход ушел.

Становой и урядник указали, как надо строить избы, пахать землю, садить картошку. Исправник предупредил мужиков, что зимой надо начинать почтовую гоньбу.

– А кони где? – спрашивал Егор.

– Я дам полконя да ты полконя, – говорил Тимошка Силин. – Пахом с Терехой дадут по одной ноге – вот и соберем упряжку, получим за разгон. Я это дело знаю, ямщикил дома.

– Гроза пронеслась! – говорил Иван, когда власти уехали.

– А ты что, струсил?! – воскликнул Силин. – Сколько им выпоил? Или соболями откупился?

– Про это тебе еще рано рассуждать! – недовольно отвечал Иван. – Ты еще амурскую болотину потопчи лаптями!

Пашни переселенцев были запаханы. Над черными клиньями плыл, мерцая, теплый весенний пар.

– Ну, кто сетевое подымет? Кто старший? У кого рука легкая? – обсуждали мужики.

– У тебя, дедушка Кондрат! Тебе общество доверяет первые семена кидать. Ты – самый старший.

Дед отнекивался:

– Недостоин! Какие еще мои годы... Не гожусь я.

– Дедушка, Христом-богом просим... Не обездоль, детей сиротами не оставь, кинь первое семя!

«Вот и я пригодился, – думал Кондрат. – Не зря старика вели дети на Амур».

Вечером дед Кондрат, стоя в корыте посреди избы, долго мылся, плескался, охал. Наконец облил из ведра свое могучее костлявое тело, вытерся, надел чистое белье, расчесал волосы и бороду. За ним помылся Егор, потом начали мыться бабы, ребята.

Наталья прибралась в землянке, вынесла последние помои. И когда перевернутое корыто сохло на дровах у печи, она поставила

Петрована и Ваську на колени перед образами.

– Молитесь, ребята, просите бога, чтобы дал урожай на Амуре, – сказала она. – Бог детскую молитву услышит.

На заре среди лиственниц и болот, на черной от сырости, но пороссийски родной и знакомой пахоте собрались мужики в чистых рубахах и новых лаптях. Дед встал на колени лицом на восток, красневший за рекой, за еловыми лесами, и помолился. Затем он поднялся, проворно и быстро зашагал по полю, широкими привычными движениями разбрасывая семена из лукошка.

– Батюшка, Никола-угодник, благослови семена в землю бросать! – приговаривал старик. – Борис и Глеб, уроди хлеб!..

* * *

Гольды приезжали в Уральское, звали мужиков на праздник примирения, но у Егора дел было много, и он не поехал.

Молодой гольд Айдамбо снова явился в Уральское. Был он низок, широколиц, румян и одевался ярко, в такие искусные вышивки, что русские бабы прозвали его писанным красавцем и шутя заигрывали с ним. Айдамбо, замечая баб, старался поскорей пройти мимо и скрывался у Бердышовых. Все знали, что он ездит из-за Дельдики.

...На релке тишина. Мужики разбрелись кто куда. Все осматриваются в новой жизни, никто не теснит друг друга. Леса, земли, рыбы, зверя множество. Бери, сколько можешь!

«Там, на старом месте, был дом, хотя и не новый, но большой, крепкий, ладный, – думал Егор. – Была земля, хозяйство. Не скоро заведешь все это здесь. Тут еще нет ничего, а душа радуется: всему я хозяин, все мое, к чему только я сам способен. Не рано ли я радуюсь? Дай бог!..»

Как-то поутру вышел Егор и увидел, что земля повсюду дала ровные всходы. А крыша землянки уже заросла травой...

– Хлеб-то наш... – оказал Егор детям. – Вот вам, ребята, и весь сказ, как стали русские мужики жить на Амуре.

Друг-приятель Егора, мылкий гольд Улугу, в шляпе, с трубкой, поднялся на релку. Егор показал ему ниву.

– Че тебе говорит, Егорка! – воскликнул Улугу. – Какой это хлеб?
Это трава!

Деревья, поваленные Егором, громоздились вокруг. Среди них зеленели и краснели гладкие, как озерца, всходы овса и гречихи.

– Глаза страшатся, но руки все сделают, – говорил мужик детям.

Там, где ступил Егор на землю, земля родила.

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ



Новая изба Кузнецовых очень теплая. Некрасивая, но просторная, светлая, сложенная из красноватых лиственниц, с резьбой под окнами.

– Сотню лет простоит, – говорят соседи.

Егор Кузнецов – мужик со светло-русой бородой, сам рослый, кряжистый и могучий, словно рос в дремучих березовых лесах русского Севера.

– А вот избу ты не в улицу выстроил, – замечал ему сосед Тимоха Силин, малорослый и рябоватый. – Начальство тебя не похвалит.

Из ольхи дедушка Кондрат выколол дощечки, сделал бандурку, два конских волоса сплел и натянул струны.

О-ох ты, но-очка моя, —

запевала Наталья.

Ночка те-емна-а-я,

подхватывали бабы. -

Принахмурилась, пригорюнилась.
Или нет у тебя, ночка темная,
Светла месяца, ясных звездочек...

В окне – желтая релка. Гнутся, стонут на ветру голенастые белые березы. Лес сполз с релки, гребень ее облысел, но весь еще во пнях и кочках. Повсюду торчат кустарник и дудки диких болотных трав. Егор сдвинул темный лес, открыл землю солнцу, но еще придется ему не один год корчевать.

На столе, под холстиной, распространяя по новой избе запах свежего хлеба, отдыхают – только что с горячего пода – калачи и караваи.

Два урожая вырастил Егор на новой земле. В первый год голодали, на второй гречихи собрали столько, что хватило на всю зиму, но ярица не уродилась.

– Земля еще не перепрела, – замечал тогда дед.

На третий год для пробы мужики посеяли овес на пойме над озером. Вода была большая, и половину урожая затопило. Бабы ездили по полю в лодках, жали овес на корм скоту, перегибаясь через борта. Поле овса, как колосистая луговая трава, уходило в озеро, и не ветер, а волны колебали его. Колосья плыли в волнах, и казалось, что озеро зеленеет.

Нынче ярица на релке дала хороший урожай. Уродилась пшеница, посеянная Егором по перелогу, на прошлогоднем гречишном поле.

– Гольды обступили меня, – толкует дед, – за бороду уж не хватают, а все про хлеб: «Дедушка, мол, давай мучки». Улугу еще тот год похвалялся перед своими, что на релке хлеб вырос: «Наш, мол, хлеб!» Бабка у нас и хлеб-то испечь умеет... А молодые – те выросли в голоде, хлеб пекли с мякиной. Разучились...

Дедушка Кондрат вдруг ударял по струнам, запевал надтреснутым голосом плясовую.

Белобрысый внучек Васька бил в бубен и пританцовывал.

В таежной тишине неслись глухие удары бубна. В ночи слабо светили оконца новых изб. А кругом леса, хребты – такие, что подумать страшно.

* * *

За годы, прожитые на Амуре, Федька Кузнецов нагнал ростом брата Егора, раздался в плечах. На щеках парня – русый пух и густой румянец.

– Женить тебя пора! – как-то сказал ему Кондрат. – Пока я живой, хорошую девку надо высватать. Я помру – кто о тебе позаботится?

Федька начал было отнекиваться, но дед и уговаривать его не стал. Парень скоро смирился. Он решил, что раз отец с матерью велят – так и быть, они лучше знают.

Кузнецовы узнавали у почтарей, где есть хорошая невеста.

– На Горюне девок брать: народ там окреп, с хлеба живут...

– Иван говорит, славная девка у Шишкиных, – толковал Кондрат.

– Дядя Ваня сказывает: Горюн – речка богатая, с пушниной! – блеснув светлыми глазами, воскликнул Васька.

– Ну, это ему, – молвил Егор, – а нам девку!

– Пусть сватать пособляет, – сказала старуха. – А то девку другой высватает и речку захватит.

– Поедем в Тамбовку, – говорит Кондрат. – Тамбовские-то солодатники. Гром гремит, а они кричат: «Мол, дедушка Илья, не бей в Тамбов, поверни на Пензу, я тебе кусок соломаты дам!»

Словом, что-то родное, знакомое еще по России было для старика в тамбовцах.

– Поедем, Федька, поглядим, какие там девки. Бабушка Дарья, одежду нам наглядь, начисти, прифрантиться надо!

Дед с Федюшкой поехали в Тамбовку как будто по делу – покупать второго коня для почтовой гоньбы, хотя покупать его было не на что. Остановились у Родиона Шишкина. Дочь его Татьяна – малого роста, коренастая, с лицом широким и смуглым, в ичигах и холщовом платьишке – сразу понравилась Кондрату. Возвратившись в Уральское, дед расхваливал невесту:

– Как сбитая девка!

– А нравом?

– Видать, бойкая, шустрая.

Все обрадовались:

– Федьку женить? Вот славно!

– Свадьба на новоселье! Еще не бывало!

Предстоящая свадьба всех взбудоражила. Кто вызывался сватать, кто – стряпать, кто – шить.

Тереха делал погремушки на шлею.

– Нам бы родство завести, – неуверенно, с опаской советовал он брату Пахому.

Федька счастливо улыбался. Нравилось ему, что невеста бойка, ловка, сметлива. Сам он был скромн, смирен.

– Тамбовские акают, – бормотала Агафья. – А наши окают, лучше бы одинаково говорить, а то молодые дразниться станут.

– Пусть дразнятся! – отвечала Наталья. – Шибче любить будут!

* * *

Егор и Тимошка Силин пошли к Бердышову за покупками. Мела метель, билась в каждый пенек. Вся релка дымилась, словно занесло большую деревню.

– Где пенек, где труба – не поймешь! – орал сквозь вихрь Тимоха. – Отовсюду дымит. Но нынче пурга не страшна! Хлеб-то свой! Верно, Кондратьич?

Среди сугробов нашли вход в Иваново зимовье. В открытую дверь за мужиками пурга нанесла на раскаленную железную печь с красным боком затрепавшую снежную пыль.

В лавке сидел Илья Бормотов. Дельдика держала в протянутой руке пышную красноводную рысь.

– Ай, ай, Илюшка, какой ты стал охотник хороший!

Дельдика выросла и похорошела. У нее волнистые густые волосы, пушистые брови, длинные изогнутые ресницы, черные блестящие глаза. Она в платье крестьянского покроя, из ситца в крапинку. И не узнаешь ее, не похожа стала на щуплую, слабую девочку, которую отбил когда-то Егор у торговцев.

Бердышов, краснолицый, бритый, в потертой куртке из пегого олененка и в унтах, стоя на коленях, подкидывал сучья во все сильней красневшую от жара железную печь.

Иван богател быстро, но жил все в том же старом, дырявом зимовье. Он понемногу забирал в свои руки всю округу.

Егор и Тимоха застали его в разгар торга. Илья принес пушнину. С недовольством покосившись на вошедших, что не дают поговорить спокойно, лезут не вовремя, – парень не любил хвастаться добычей, – он, как завзятый гольдский охотник, вытряхнул из рукава еще одну шкурку.

Бердышов, поднявшись, взял соболя у Илюшки.

– Соболя рыжий, плохой, трех рублей не дам, – грубо сказал он.

Дельдика вырвала шкурку и, сжимая ее в кулачке, что-то яростно заговорила по-гольдски. Иван беззвучно засмеялся и замотал головой.

Когда-то Дельдика сама учила Илью охотиться и с тех пор всегда хвалит его добычу. Теперь тетка не позволяет бегать с парнем в тайгу, да ей и самой не хочется. Но стоит она за Илью по-прежнему горой.

– Зачем его обманываешь? – с сердцем вскричала Дельдика.

– Вот, паря, дочку я себе нашел! – воскликнул Бердышов. – Беда! Велит дать тебе пять рублей! Что поделаешь! – вздохнул он. – Всем ее женихам угождать – разоренье! Ну, какого товару отпустить?

– В тебе, Бердышов, силы, как в хорошем коренном, а барахольным делом занялся, – говорил Тимошка. – Крупу развешиваешь, а землю пахать ленишься.

– Я уж сам себя стыдил... Ревел, слезы лил, замок, стал как лягуша! Однако, скоро это дело брошу. Право, паря! – серьезно добавил он.

Мужики взяли покупки и ушли.

– Не ту высватали, – усмехаясь вслед им, сказал Иван.

Анга, сидя в углу, плела тетиву для большого лука. Она нагнулась и прихватила жилу зубами, пробуя, тугая ли, и слушала мужа, косясь острыми черными глазами.

– Им бы Шишкину Дуньку. А деду Татьяна понравилась. Старый сват, понимает!

Дуня – одна из самых красивых девушек в округе. Иван хорошо помнит ее еще с тех пор, когда плясала она с ним на празднике у Родиона. Уж тогда подумал он, что девка эта выровняется и превзойдет всех. Еще девчонкой нравилась она Ивану, не раз привозил гостинцы и ей и ее подружкам.

– Вот бы ее к нам в село! А то выхватят другие и увезут куда-нибудь. Верно, жена, красивых-то бабенок надо бы сюда? А Кузнецовы промахнулись.

Иван посмеивался хитро.

Анга, покачивая головой, тоже усмехнулась, как бы соглашаясь с мужем, но взгляд ее, кинутый исподлобья, был боязлив и насторожен.

«А что же ты им вовремя не посоветовал?» – хотела спросить она, но смолчала.

Часто душа ее сжималась от шуток Ивана. Он был умен, силен, хитер, но она знала, что за каждой его шуткой таится дело не шуточное и что он часто говорит совсем не то, что думает. Анга замечала, что Иван, становясь богаче, словно отдалялся от нее душой. Какие-то свои думы владели им. Чем богаче жили Бердышovy, тем скучнее становилось Анге. Любимая охотничья жизнь отходила. Нового было так много, что она ему не удивлялась, как бывало прежде. Анга по привычке все заботилась о муже, как умела, старалась сделать ему новый лук или хорошее копье, шила охотничью одежду, хотя все это ему было почти не нужно.

– А на Амуре что творится! – притворяя дрожащую дверь, сказал Иван. – В такую погоду невесту верно, что на собаках вытаскивать придется!

* * *

Таня, впервые увидавши Федьку Кузнецова, просмеяла его.

– Долговязый какой!..

Дед с Федькой уехали, и мать сказала Тане, что Кузнецовы будут ее сватать. Таня сама догадывалась, что не зря жили они в Тамбовке. Все же известие это пришлось как снег на голову. Плясунья и баловница, она вмиг погасла, поникла как пришибленная.

Девушки собирались в дом Шишкиных, пели песни, бередили сердце.

– Как же это ты, как же! Ах, подруженька! – причитали они, жалея Танюшу.

– В чужой дом, в чужую деревню!

– Покидаешь нас!

– Ах, жалость!

– Что меня жалеть? – как-то раз отозвалась Таня. Оглядев подружек, она приободрилась. Озорные огоньки промелькнули в

глазах. – Я выхожу, а вы остаетесь, – с насмешкой сказала она, избоченясь.

Девки только ахнули и руками развели. Но опять пели жалостливые песни.

Таня горько разревелась в коленях у матери. Петровна поплакала вместе с дочерью, а потом, утирая слезы и себе и Тане, сказала:

– Не плачь, не плачь! Чай, замуж! Чего же хорошего в девках-то сидеть? Настанет пора – сама хозяйкой будешь! Радоваться надо!

Таня приподнялась на локтях, повела кулачками по мокрому лицу и стихла. И уж больше слез ее мать не видала.

Петровна даже обижалась: «Что уж это за девки нынче пошли! Мало ревела, пожалуй не дает себя как следует».

«Конечно, за кого-то надо выходить», – думала Таня. Она еще прежде хвасталась, что за своего не пойдет. «За дальнего выйду!» – говорила, бывало, она. А вот пришло время выходить за дальнего, она и не рада, что так хвалилась... Лучше бы за ближнего. Все бы дом рядом.

С нетерпением ожидала она второго приезда жениха. И вот Федька сидит рядом, угощает невесту семечками.

– Кедровые-то у нас тоже есть, кругом на сопках, – говорит он.

– Кедровыми-то зубы набьешь, – отзывается невеста.

– А мы подсолнух возвели.

– Вся деревня, сказывают, у вас в один хлыст, всего четыре избенки, – говорит Таня. – Наши ямщики найти не могли.

Девки прыскают со смеху. Федя краснеет густо и не знает, что тут можно ответить.

– У нас охотники хорошие! – бормочет он. – Илюшка Бормотов кабана палкой убил.

– Ружей-то нет, что ли? – спрашивает Таня безразлично и пренебрежительно.

«Эх, вот я попал! Ни одно слово не идет...» – в смятении думает Федя.

– Тоже вот Иван Бердышов...

– Какой Илюшка-то? – спрашивает красавица Дуняша, задушевная Танина подружка, бой-девка.

– Дядю Ваню знаем! Как заедет, пряников ребятам дает. У него уж, верно, ружье-то есть! – говорит Таня.

Она обнимает Дуняшу, и глаза ее смотрят теперь ласково-ласково, но, кажется, это поддельная ласковость, а на самом деле насмешка, лукавство.

Федя отводит взор поспешно.

– Дуняша моя ноги с ним стоптала, плясавши...

– А Илюшка-то какой? – бойко повторяет вопрос стройная, хорошенькая Дуняша. – Смуглявенький?

Федя не знает, что ответить.

– Черный?

– А кедровые мы огнем выжигаем, как гольды идут траву нокту собирать на болото, – говорит Федя деловито и серьезно. – Траву-то нокту знаете?

– Как же! – отпуская подружкино плечо, с насмешкой отвечает Таня. Она хотела отпалить, что пермяки, видно, с гольдами клад нашли на болоте. – Такое-то богатство! Ноги в траву закручивать!

– Такая, как осока, растет на опушке. Ее сушить да смягчить, говорят гольды, потом хоть спи на морозе – ноги не мерзнут.

– Как голодно, так и обутки-то поджарить, – замечает Таня. – Из рыбьей-то кожи!

Все прыскают со смеху.

– А вот пароходы нынче! Как у нас пароводная пристань... Подходят! Экспедиция нынче летом будет. Прошлый год, сказали, телеграф проводить начнут.

Тут слушательницы притихли. А Федя сообразил, что до сих пор толковал не про то. Он пошел про пароходы, про купцов, про товар американский и московский, про барыню, какую раз видел на пароходе.

Такие разговоры прились по душе и невесте и ее подружкам. Они больше не подсмеивались, а Федька не поминал про гольдов и охоту.

Однако когда расходились, Таня оказала подружкам тихо, но так, что и Федя услышал:

– С ним уж ноги не замерзнут. Гольды-то ему траву на болоте...

Что она дальше говорила, никто не слышал. Сдержанный хохот и прысканье девок так и мерещились долго в эту ночь Федюшке, который улегся на широкой деревянной кровати в новой избе Родиона, в то время как хозяева ушли в старую.

Татьяна подшучивала над женихом, но, когда Нюрка было просмеяла его, назвавши «зеленым», Таня вспыхнула и оборвала ее.

– Ах, ты! – вскричала Дуня. – Заступаешься? Уж влюбилась!

Погостив еще день, Федя уезжал. На прощание задумал он выбрать миг, когда останутся они вдвоем с невестой, поцеловать ее, но Таня дала ему такого толчка, что он отшатнулся.

«Ишь, как расхрабрился!» – подумала девушка.

Жених уехал. Шишкины стали готовиться к свадьбе.

* * *

Однажды после рождества, тихим мгlistым голубым вечером, Таня вместе с теткой Ариной и с дядей Сильвестром подъезжала к Уральскому. Брат ее Мишка шел впереди на лыжах, искал дорогу, занесенную пургой вместе с вешками.

На релке завиднелись избы. Четыре крыши в снегу похожи были на пасхальные куличи с глазурью.

Толпа крестьян и гольдов с ружьями в руках, на лыжах и верхами с криками высыпала встречать невесту. Богатый тунгус Афоня, гостивший у Бердышова, выехал верхом на олене. Иван вынул револьвер и выстрелил. Со всех сторон охотники стали палить из кремневок и винчестеров. То тут, то там в синей мгле вспыхивало яркое красное пламя.

В жаркой избе молодых повенчал поп.

– А что Дуня не приехала? – улучив время, спросил у невесты Иван.

– Заришься на плясунью! – с укоризной ответила Таня.

Угощение на свадьбе было скромное: звериное мясо, рыба, пироги с ягодами.

– Один поп кашу любил, – рассказывал рыжий богатырь-священник. – Однажды приезжает на свадьбу, а хозяин говорит: «Мол, есть у меня, батюшка, бараний бок, гусь жареный, курочка, телятина, ветчина да колбаса, пироги с вязигой, осетрина с хреном, калачи... да еще каша. Что подать прикажешь?» – «Давай, – говорит, – мне сперва бараний бок, а уж потом гуся да курочку, телятину, тоже ветчину да колбасу. Пирог не забудь, да уж и осетрину... да калачи». А хозяин-то

подивился: пошто поп кашу не просит? «А кашу-то, – сказывает, – батюшка?» – «А кашу-то опосля», – отвечает поп.

Жених улыбается счастливо, принимает поздравления. Большие красные руки его лежат на белоснежном столешнике. По рукам видно, что он могуч, но нравом тих, кроток.

Грубое смуглое лицо Тани залито пожаром.

«Как же буду жить я с этими бабами? – думает она, глядя на Дарью и Наталью. – Да тут и собака и кошка – все чужое! Тятя, тятя, зачем ты меня в чужие люди отдал?! Малая была, ты все на руки брал да подымал выше головы, говорил: никому, мол, не отдам! А отдал, отдал!.. В чужие люди...»

– Горько, горько! – кричат гости.

– Таракан в рюмку упал!

Федя неумело обнял невесту, коснулся губами ее щеки... «И толкнуть его нельзя! А как бы задала!..»

* * *

Наутро приехали Родион с Петровной, Спиридон и красавица Дуняша.

– Спирту им! Спирту людям дайте, – засуетились бабы, словно спеша спасти приехавших.

Петровна подвыпила.

– Ну, а... – она что-то потихоньку стала расспрашивать.

– Нет у нас такого обычая, – строго отвечала бабка Дарья.

– Нет уж... Ах, ты!.. Да как же так? А может, какие разговоры?

– Да у них ничего и не было, – улыбаясь, сказала Наталья. – Они еще оба ничего не понимают.

– А ты-то почему знаешь?

– Уж вызнала!..

И все бабы засмеялись.

– Да как же это! Ах, ты! – воскликнула обеспокоенная Петровна.

– Что же теперь?

– Заночевали в пути, – весело рассказывал Родион. – А сегодня я коня вином напоил, и он добежал, как зверь.

– У тебя и конь пьяница, – сказал Бердышов.

– Как же, в мороз конь вино любит.

– Полотенце тебе привезла, – говорила Дуняша, отдавая подруге вышитый подарок. – Руки вытирать... А когда и глаза вытрешь.

А как, дяденька, книжки читаешь? – спросила она Бердышова.

– Читаю! А ты грамоте научилась?

– Как же! Я грамотная теперь! – с гордостью ответила девушка.

– А плясать будем? – подмигивая, спросил ее Иван.

– Будем, дяденька! – ответила девушка.

Держа концы шали, она развела руками и прошлась перед Иваном, бойко взглянув на него из-за худенького плеча голубыми глазами.

«А я уж свое отгуляла, отвеселилась, – печально думает Таня. – Ах, тятя, тятя!..»

– Ну, давай, сват, спляшем «Барыню» врасходку, – подымаясь, говорил Родиону дедушка Кондрат. – Васька, сыграй-ка нам «Барыню», как я тебя учил.

– Медведи, половицы поломаете!

– Гляди, печь пошатнулась!

– Тимоха, а ты здорово в бубен играешь, адали шаман! – замечает Бердышов.

– Дунюшка ты моя милая, – говорила Таня, увлекая подругу за печку. – Хоть бы ты меня не покидала! Приезжай-ка жить к нам в Уральское!

Дуняшкино лицо дрогнуло по-детски плаксиво, и слезы засочились из голубых глаз.

– Ей-богу... Дунюшка... – и смеясь и плача, продолжала Таня. – Не ходи за Овчинникова! Выходи за уральского! Вон за Илью-то...

– Ишь ты! – Дуня вытерла слезы и приосанилась. – Фу, бесстыжая...

Ей понравился Илюшка Бормотов. Она сразу заметила его, едва вошла в избу. Она уж слыхала о нем.

– Что, не бравенький разве? А то я тут повешусь с тоски, – шептала Таня.

– Сначала-то советовали Городиловых сватать. А у них сынок бандист, – объяснял мужикам дедушка Кондрат. – Спирт таскает. А теперь взяли дочь у хорошего человека.

– Тоже бандист, – сказал Спиридон.

– Ну, это зря! – с обидой в голосе ответил дед.

– Что зря? А с кем Ванька Бердышов на Горюне американские ружья пробовал? Вон они, дружки, сидят усмеваются.

– Нет, это зря говорят! Глупости! – стоял на своем Кондрат. – Пустые разговоры! Был бы бандист, так разбогател. А Родион небогато живет.

У избы позвякивали колокольцы.

– Поехали по соседям! – Бердышов стал надевать богатую шубу.

– Тимоха, подпрыгайся к Саврасову! – велел Егор.

– Залезай на Гнедого! Гони «гусем»! – молвил Иван.

Дедушка Кондрат надел тулуп. Бабы долго искали его старый кушачок. Когда старик вышел, у избы пьяный Иван потешал толпу.

– Гляди, какие лапы, – подымая ногу коренника и показывая копыто, говорил он тунгусу Афоне. – Хочешь, оленя обгоню?

Бердышов широко размахнулся и стегнул многоаршинным бичом «гусевика», припряженного на длинной веревке впереди коренного. Кони рванули. Девки и бабы кинулись в кошевки. Упряжка пошла «гусем» по узкой дороге, дымя снегом из-под копыт.

«Гусевик» резвился, бил задом, передом, но не тянул. Веревка ослабла.

Иван скинул шубу на снег и в одной рубашке, нахлестывая коней, пустился бегом, не отставая от кошевы. Он бежал по цельному снегу и, проваливаясь, отчаянно вырывался, гикал, щелкал бичом. Испуганные лошади помчались.

Иван, глубоко распахивая сугробы, обогнал кошеву, весь в снегу, в рубахе, мокрой от пота, ухватился за гриву коренного, с разбегу прыгнул ему на спину и оглянулся. Пот залил побагровевшее лицо. От такой проминки кровь его играла. Сзади него в кошеве – в ярких платках и шалях – копошились бабы.

– Эй, Ванька Тигр! – кричал Тимоха. – Гляди, как кошка, прыгнул! Страх на тебя глядеть! Вот такой на шею вскарабкается!..

Следом, стоя у коренника на оглоблях, мчался Егор Кузнецов в рыжем пиджаке. Иван щелкал бичом, делая вид, что хочет достать девок в его санях. Те завизжали.

Невесту привезли в Мылки. Гольды заложили собак и катали молодых по озеру. Тунгус Афоня промчал их на оленях в длинной нарте, крытой ковром.

– Вот невесту катают, носят на руках, – приговаривала Агафья, – а потом по башке ее!

Иван подсел в кошевку, где рядом с молодыми сидела Дуняша.

– Гляди, дяденька, тебе Терешка Овчинников за нее ноги поломают, – сказала Татьяна.

На другой день гости разъезжались.

– Ладно, что священник был, а то на Амуре живут невенчаннны, – говорил Бердышов. – Родится ребенок – и не крестят его. В Сибири бывает, что человек уж за бороду схватится, а его только крестить. Крестится и сразу тут же венчается. Заодно поп кадилом отмахает.

Прощаясь, Дуняша сказала про Илюшу Бормотова, что приглянулся.

– Только смотри не обмолвись! – предупредила она Таню.

– Влюби-ка его, черта...

– Ну, дяденька, приезжайте к тятю, – прощаясь с Бердышовым, сказала Дуняша.

– Летом на Горюн собираюсь! – ответил Иван.

– На Горюн по воде ехать – руки собьешь, – ответила девушка.

– Я не один, работников возьму.

– Гольды какие работники! – как бы безразлично отозвалась Дуняша и мельком глянула на стоявшего поблизости Илью. – Русских бы нанял. Там ведь вода сильная!

Илья в это время смотрел на нее и живо отвел взор.

– Я могу нанять и русских в работники! – оказал Иван, задетый за живое.

Дуня чему-то засмеялась и села в кошевку. Колокольцы зазвенели.

– Вот девка какая приезжала красивая, – говорила Илье про Дуняшу его мать, – статная, брови соболиные... А, сынок?

* * *

Заботы о хозяйстве и детях не заслонили от Натальи беспокойства молодой невестки.

– Сама знаю, как в чужой дом входить, – говорила она.

Наталья часто ласкала Таню, проводила с ней долгие часы в задушевных беседах. Желая отблагодарить за доброту, а отчасти из

страха – слышалась и в песнях и в разговорах, как мучают невесток, если те работают плохо, – Таня изо всех сил старалась помогать ей.

– Какая прилежная, – замечала старуха. – Чистотка!

Таня понемногу привыкала к новой жизни в чужой семье.

– Мы невесток не клюем, – говорила старуха Татьяне. – Не из-за чего. Не то что на старых местах. Меня смолodu чуть совсем не склевали. Я знаю бабью-то долю...

– Напраслина! Напраслина! – сердился дед.

– Ишь, старый, слышит, оказывается!

– Не забыл еще!.. – шепотом пересмеивалась с молодой Натальей.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Егор оделся полегче: рыжие нагольные унты, короткий рыжий пиджак, подпоясался натрое мочальной веревкой, встал на старые лыжи, подшитые коровьей красной шкурой.

Рыжая шапка, светлая борода, рукавицы красной шерсти.

– Весь рыжий, только гольдов пугать, – оказал дед.

Егор взмахнул палкой, ринулся вперед, в глубокие снега. Румяный Васька весело помчался за ним. Егор взобрался на сопку, вздохнул вольно.

– Вот она, заветная сторонка! Студеная да ветреная. Зато воля дороже всего. Теперь свой хлеб есть. Со своим хлебом можно походить, поохотиться. А ну, Васька, айда!..

Васька слушал отца и запоминал. Он плохо помнил старое, но от отца не раз слышал, что тут вольней, чем на старых местах, и это радовало мальчика. А самому Ваське тут по душе. Не то что в голодной дороге, где чуть не все клянчишь у чужих, своего нет...

Вечером, возвращаясь домой, Егор приметил куржу на дереве. На ветке настыл пар, навис косматый иней. В снегу между поваленных ветром и занесенных снегом деревьев – обледенелое отверстие. Лед вокруг с прожелтью, словно из норы дышит курильщик.

– Медвежья берлога! В ней медведь спит!

Васька стоял ни жив ни мертв.

Егор вернулся домой, рассказал отцу про берлогу. Старик вызвался идти на медведя.

– Рогатину сделай, – оказал он Егору.

Всю семью занимала предстоящая охота. Таня принимала в сборах участие. Она была озабочена так, словно сама шла на зверя. Настрога велела мальчишкам не рассказывать, куда мужики идут.

На крутом камне Таня заточила острие и насадила на рогатину. Это понравилось Кондрату.

– Дочь охотника знает, как надо.

– Гольдов бы с собой взяли, – сказала Наталья.

– Зачем нам гольды? – отвечал Егор. – Сами должны...

Дед с ружьем, а Егор с рогатиной поднялись по Додьге, добрались по склону горы к берлоге. Слабый пар курился из дыры.

– Там не один медведь, – сказал Кондрат.

Старик был весело серьезен. Голубые глаза его сверкали из-под косматых пегих бровей. Дома, на Каме, медвежья охота когда-то слыла лихой забавой. Кондрат смолоду хаживал на медведей и мерял силу и ловкость охотников по схваткам со зверями.

Дед заложил ход в берлогу толстым колом. Егор запустил вглубь острую жердь и кольнул спящего медведя. Зверь заревел. Егор подхватил его шестиной, как бы желая приподнять.

Медведь, ухватив жердь, потянул ее к себе, но Егор не дал. Зверь забушевал и вылез, вытолкнув грудью кол и разворотив глыбы снега.

– Медведица!..

Егор встал на обтопанной площадке, укрепился и приготовил рогатину. Медведица повела мордой и скурносила, словно людской запах изъедал ей ноздри. Они вздрагивали, обнажая желтые клыки и десну. Дед выстрелил. Медведица взревела и поднялась во весь рост. Егор увидел когти и ноздреватую, иссосанную добела ладонь. Он сильно ударил зверя рогатиной и сразу повалил.

Медведица заревела и забила головой, словно чесала ухо о сугроб.

– А там еще кто-то есть, – оказал дед, кивая на берлогу.

Егор запустил шестины в лаз.

– Во всех углах пошарь, берлога большая.

Егор нащупал медвежат. Судя по тому, с какой силой вытолкнули они жердь и как ее искусили, медвежата были подростки. Егор стал ворочать шестом, поддевая зверей, словно мешая в печи головешки. Медвежата злобно рычали, подбегали к отверстию, но на свет не лезли. Мужики заложили берлогу кольями и завалили буреломом, а сами пошли домой. Убитого зверя понесли на шесте.

– Медведь! – радостно воскликнула Таня, встретив охотников с добычей. Вспомнилось ей свое, родное: отец, дядя Спиридон и все тамбовские охотники, как, бывало, они из тайги медведя приносили.

Вечером Егор, дед, Федюшка и ребята приехали на Додьгу. Вместе с ними отправился Илья Бормотов. Коня с санями оставили под сопкой, а сами, хватаясь за корни и кусты, поднялись по мерзлой земле обрыва к берлоге. Опять тревожили, пугали медвежат, но выгнать не могли.

– Ну-ка, тятя, поддержи меня, – попросил Егор отца.

Он скинул полушубок, присел, правой ногой уперся в колоду, а левую запустил в берлогу. Егор почувствовал, как медвежонок потащил ногу, и подхватил его ступней под зад. Мохнатый пегий звереныш выехал из берлоги верхом на Егоровой ноге. Он в страхе кинулся бежать, но увяз в глубоком снегу. Дед схватил его за уши и повалил.

– Ишь ты, приткий!

У медвежонка была тонкая переносица, от этого казалось, что он собирался заплакать. Остромордый, черноглазый, он обиженно визжал и в то же время кидался и норовил ухватить за ноги каждого, кто подходил к нему.

– Шерсть-то дыбом!

За другим медвежонком полез в берлогу Илья Бормотов. Зверят связали. При общем смехе Егор надел им на лапы рукавицы. Медвежата боялись рукавиц, визжали, а маленький силился их скинуть.

– Чтобы не поморозили ладони, – сказал Егор. – Надо, надо тебе! – грозил он бойкому медвежонку. – Не балуй!..

Дедушка Кондрат и Егор потянули связанных зверей волоком, на веревках, вниз по горе.

– Вот она, медвежья-то забава! – толковал внукам Кондрат. – У нас на старых местах тоже так. Камские-то звери славились в старое время.

Федька поспешил вперед и схватил коня под уздцы. По крутой обледеневшей горе Егор пустил зверей скользом. Они ревели благим матом. С обрыва медвежата свалились в глубокий снег.

– Не убьются! Поди, звери, а не люди! – оказал дед.

Связанных медвежат уложили в сани. Саврасый храпел, поводил ушами и, едва Федька отпустил повод, шибкой рысью помчался вниз по Додьге. Дедушка держал вожжи. Федька, Егор и Петрован догнали сани и вскочили на ходу.

Васька не успел, отстал и, обиженный, брел пешком.

Вровень с санями за голой чащей прутьев по бугру катилось красное солнце. Вдруг тальники поредели, солнце выбежало на релку, стало больше, словно надулось.

С медвежьим ревом въехали в селение. У Ивана гостили охотники. Все высыпали на улицу.

– Надо клетку делать, – говорили гольды.

– У меня цепь есть, – сказал Егор. – Когда-то давно был у нас в Расее медвежонок. Мы цепь с собой привезли.

– Эй, Егорка, продай медведей, – просили гольды. Они гостили в эти дни у Бердышова.

Дети стали приставать к отцу, чтобы не убивать и не продавать зверей.

– Пусть у нас живут, – оказал Егор.

Пришел Улугу.

– Егорка, наша такой закон, – подговаривался он. – Медведя поймал – праздник делай.

Улугу первый друг Егора среди гольдов с тех пор, как мужик возвратил ему невод, а бабка лечила его жену. Гольду нравилось земледелие, и он сам собирался завести огород.

– Ты шибко большой, тяжелый, как на охоту ходил? – спрашивал он Кузнецова. – Однако, проваливался? Егорка, а где Расея, там зверь есть?

– Как же! В Расее много зверей. У нас медведицы на лесины залезают, – громко, как с глухим, говорил дед, – дикий мед достают.

– А зверя много, так пошто сюда ушли?

– Вот от зверя-то и ушли, – пошутил Егор.

И Улугу, покачав головой, повторил:

– От зверя ушли...

Пришел Барабанов. Он в новых катанках, бледноватый, с взлохмаченными рыжеватыми бровями. Лоб в поперечных морщинах, взор немножко жалкий, как бы жмурится Федор или изумляется все время, оттого и лоб морщит. Нос слегка вздернут, скулы стали поглаже, глядеть на щеки – раздобрел Федор, разъелся, но лоб худой, костистый, наглазницы выдаются, как и прежде, усы светлые, но тонкие, как обкусанные.

– А ты еще зарекался охотничать, – сказал Федор. – А вот, Егорша, потянуло и тебя.

– Тут жить – все надо уметь. Богатство наше – лес да река.

– Да гарь! – смеясь, оказала Наталья.

– Да, без своего-то хлебушка, – добавил Егор, – был я тут гость, а не хозяин.

– Вот ты рассуждай побольше, а люди станут золото добывать да копить... да скупать... Эх, куда мы! Вот уж Ванька-то... Он знает!

Егору кажется, что Федора не берет покой. Ум его в вечной тревоге. Ему все чего-то надо, чем-то он недоволен, на кого-то обижен, завидует, даже злится.

Между Егором и Федором вечный спор.

– Э, Егор!.. В скиты тебе надо... Жизни старой, конечно, тут не бывать. Только я тебе же добра хочу. Про справедливость не думай. Люди – волки! А ты сам себя огради, пока не поздно!

* * *

Илья Бормотов играл в избе с медвежатами.

Кузнецовские бабы сидели у печи и любовались смельчаком, который не побоялся полезть в берлогу.

– Сказать ему? – спросила с нетерпением Таня.

– Скажи! Скажи!

Таня поманила Илью.

– Понравилась тебе Дуня? Что молчишь? Я ведь знаю... Эх, ты! Она мне все уши про тебя прожужжала! А ты что? Два дня лупил zenки, а слова не сказал.

Новость эта как громом поразила Илью. Ему никогда и в голову бы не пришло, что такая красивая девушка, такая бойкая, удалая плясунья может заметить его. Он дрался, охотился, работал и никогда не думал, что кому-то может понравиться. Напротив, до сих пор его все лишь бранили да подсовывали работу потяжелее, зная, что он «все своротит».

– А ты не врешь? – спросил он Таню, не смея поверить.

Молодушка засмеялась и отбежала.

Слыша, что Татьяна о чем-то говорит с Натальей и прыскает со смеху, Илья ушел домой.

Он вспомнил, что на свадьбе Дуня действительно поглядывала на него. Он тогда сделал вид, что не обращает на нее внимания.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Айдамбо оглянулся. Он увидел желтый остров, снега на застывшем озере, релку, а на ней дома русского селения. На льду, близ родного острова, – синие колеи дороги.

«Сколько раз я по этой протоке на Додьгу нартами ездил! Там всегда Дельдику встречал, на нее любовался. Что-то она сейчас делает?»

– Ну, чего остановился? – хрипит Покпа. Старик тянет вместе с собаками нарту. – Иди вперед, прокладывай след, а то тяжело... Опять задумался!

«Никогда больше с отцом не пойду на охоту. На родной дом поглядеть не позволяет. Все время ругается», – с обидой подумал Айдамбо, оправдывая себя и забывая, что смотрел он не столько на родной дом, сколько на крышу Ваньки Бердышова.

Юный гольд замышлял поймать в тайге много соболей. Он считался лучшим охотником в Мылках, но теперь у него была особенная причина стараться: Иван обещал позволить свататься к Дельдике тому, кто добудет много мехов.

Через три дня тяжелого пути охотники добрались до своего балагана в вершине ключа. На другой день Айдамбо нашел тропку соболя.

«Зверь сегодня пробегал», – решил он.

Следы были по свежей пороше. Соболю скрылся под камни. Айдамбо обежал по тайге круг. След из этого круга не вышел – значит, соболю было где-то внутри его. Но россыпь, в которой он скрылся, была очень велика, и зверька не легко найти. Айдамбо потратил весь день, разыскивая на голых, обдутых ветром камнях какие-нибудь признаки его свежих следов.

Стемнело.

«Какая неудача!» – Айдамбо готов был заплакать с досады.

«Ну, ничего, – утешал он себя, возвратившись в балаган и ожидая отца, – еще только первый день охоты».

Он несколько успокоился.

После ужина у костра он достал деревянный гребень и принялся расчесывать косу.

Пришел Покпа. Старик принес прекрасного черного самца соболя и с оживлением стал рассказывать сыну, как его поймал.

– А ты опять чешешься? – заметил он распущенную косу. – Охотишься плохо, ленишься, а все чистишь себя. Соболя не убил, проглядел! На вшей охотиться пришел? Смотри, дурак, вот возьму убью тебя... Зачем бьешь вшей? Что, они мешают тебе?

– На охоту ходить хорошо, что ли, грязным? – слабо возражал сын.

– Я всю жизнь грязный живу, – ворчал Покпа, – и ничего!

Охота у старика была удачной. Он поел похлебки, и от сердца у него отлегло.

– Я знаю, почему ты чешешься! – добродушно сказал Покпа. – Ты, однако, жениться задумал. Уж ей скоро годы выйдут по русскому счету. Иван сказал, когда ей шестнадцать лет будет, тогда ее и отдаст. Раньше не отдаст.

Айдамбо заволновался и заерзал. Он не выносил, когда отец говорил о Дельдике.

– Кто про девок на охоте думает, тому удачи не бывает. А ты всегда плохо охотился, – дразнил его отец. Он был недоволен сыном, но не сердился, а хотел пронять его шутками. – Никогда соболей хорошо не ловил. Только вшей ловко поймать умеешь.

Айдамбо молчал.

– Зачем тебе она? Лучше грязную возьми, да свою. Надо свое любить! – И, подумав, старик добавил: – Она тебе все равно не достанется. Ты только поглядывать будешь, как она из русского умывальника моется. У нее женихов много. Русский парень есть...

От этих слов душа Айдамбо заныла. Ревность, горечь, обида охватили его. Он вскочил и стал браниться, но Покпа уже не слышал. Уставший старик откинулся на спину и уснул, широко раскинув руки, так что правая оказалась за балаганом, на трескучем морозе. Вскоре туда же сползла и голова. Жесткие волосы Покпы заиндевели, но спал он крепко и храпел. Сын втащил его в шалаш, уложил поудобней.

«Отец неправду говорит, он любит насмехаться. Будет и мне счастье, – мечтал Айдамбо, сидя у огня. – Я побольше соболей поймать постараюсь. Иван сказал: „Кто много пушнины привезет, тому ее отдам...“ Теперь только бы соболей».

Ночью Айдамбо готовился к охоте. Он шаманил, тихо ударяя в бубен, старался думать только о соболях. На заре парень ушел из балагана.

Долго бежал Айдамбо. Соболь ушел в нору, перед ней была поставлена сетка. Но у норы был другой выход. Айдамбо отыскал его и закрыл. Он выкурил соболя дымом, поймал и удавил.

«Еще дальше в горы пойду! К отцу не вернусь, – решил он. – Про Дельдику не думаю, про охоту думаю. Вот только не могу вспомнить, какое у нее лицо. Почему-то забыл. Дельдика, Дельдика, совсем не могу вспомнить лица твоего!»

Айдамбо помчался по тайге так быстро, что казалось, в спину ему подул попутный ветерок. Вдруг, заметив новую тропку соболя, охотник встал как вкопанный. И тут же шел другой след. Сразу два соболя! Какое счастье! Надо только взять!

Налево прошла самка, маленькая, уже немолодая, но еще сильная, по лапкам видно. Мягкая, пухлая самка – след так говорит. Значит, волос густой, черный. Это можно узнать тоже по следу. Сильный соболь прыгает быстро, крупным махом, шкура на нем густая. Такой обязательно окажется черным. Надо скорей охотиться!

А направо тянулись следы сухих костлявых лапок. Прошел длинный старый зверек с редкой шерстью. Это лысый старик. Какой толк от его рыжей шкуры!

Айдамбо побежал за быстрой самкой с пухлыми лапками. Он шел за ней весь день. Ночью он высек огонь, жег бересту и упрямо брел по снегу.

Утром тропка прервалась у дерева. Соболь был в беличьем гнезде в ветвях.

«Всегда по чужим гнездам лазает, белок убивает, рвет их в клочья. Всегда других зверьков жрет».

Айдамбо приготовил стрелу. Он постучал по дереву, желая напугать соболя, выгнать его из гнезда. Соболь не выходил. Рубить такую толстую лесину нечего было и думать. Дерево стояло на крутом склоне горы. Айдамбо забрался на косогор, стал вровень с гнездом и замер. Он терпеливо ждал. Мороз прихватывал щеки, стыли ноги, леденела отсыревшая одежда, но Айдамбо стоял, не шевелясь, с луком наготове.

Короткий день кончался. Солнце спускалось во мглу. Краснела тайга. Красное пламя разгоралось, как сияние, вокруг огромной сопки, видимой сквозь вершины лиственниц, за глубокой лесистой падью.

Вдруг соболь вылез и забегал по ветвям. Да, хорошая шкурка у него! Айдамбо выстрелил. Зверек злобно запищал – стрелка попала ему в живот. Соболь упал в сугроб, перевернулся, схватил стрелку зубами, вырвал ее и, кровавая след, мгновенно исчез.

«Какой соболь! – удивился Айдамбо. – Ловкий, как купец!»

Вскоре закат погас, еще до того сгустели тени, поднялась мгла, в тайге стало темно. Айдамбо переночевал в буревале, дрожа от стужи. На заре он снова шел по следу.

«Соболь идти не может, кровь пускает, волочит тело по снегу... только изредка прыгает».

Зверек залез в дупло ели. На этот раз Айдамбо подрубил и свалил дерево. Соболь не выходил. Охотник нащупал его в дупле. «Вот где притаился. Живой, теплый, дрожит». Айдамбо схватил зверька рукавицей и вытащил его. Он зажал пухлые задние лапки самки коленями, а за передние с силой вытянул всю тушку и, нащупав пальцами бьющееся сердце, оторвал его под шкуркой, чтобы не портить пушнины. Содрав шкурку, Айдамбо съел сырого соболя. Долго еще он бродил по тайге, ел дятлов, белок и соболей, спал в дуплах и под корнями деревьев, а иногда и совсем ночами не спал.

– Я знал, что ты не пропадешь, – говорил Покпа, когда сын вернулся в балаган. – Ты, мой парень, умный, не хуже меня охотишься: это я нарочно сказал, что ты ленивый. Я знал, что ты много соболей возьмешь. Когда злой, то лучше поймашь... Теперь вижу – моя порода. А если торговать бы стал, как Писотькин сын Данда, я знал бы, что ты не мой сын... Убил бы тебя.

Старик выпросил у сына трех соболей и на радостях стал собираться домой, втайне надеясь хорошенько отдохнуть и погулять. Айдамбо решил охотиться до тех пор, пока не добудет много мехов, хотя бы пришлось жить в тайге до весны. Ему не хотелось отдавать Покпе трех соболей, но он пожалел отца и уступил.

– Я скоро обратно приду, – говорил старик. – Как продам соболей, сразу вернусь. Я недаром сегодня во сне видел, что пьяный напился.

Покпа живо собрался. Прощаясь с сыном, старик заплакал. Плакал и Айдамбо. Он горячо любил отца и привык с ним охотиться.

Возвращаясь к балагану, он всегда знал, что отец ждет его. Теперь Айдамбо надолго оставался в одиночестве. Кроме него, на много дней пути кругом в тайге не было ни души.

Видя, что сын расчувствовался, Покпа попробовал выпросить у него еще двух соболей. Айдамбо утирал слезы, жалея отца, но соболей не дал.

– Ну, ладно, – согласился старик и ушел.

На другой день Айдамбо отыскал новый след. Крупный соболь прыгал широким махом, ставил обе лапки прямо – правую чуть впереди левой, все время одинаково. По следу Айдамбо видел, что соболь нрава спокойного, сильный, уверенный в себе. Шерсть у него пушистая, обильная, без пезин и пролысней, не то что у злых, неровно прыгающих зверьков, томимых болезнями и непомерной жадностью.

– Этого соболя мне обязательно отдайте, – молился Айдамбо духам.

Ельник, валежник, скалы, каменистые склоны, ключи, марь пробежал Айдамбо. Он шел легко и быстро, так же спокойно и уверенно, как соболь, словно брал с него пример. Крепкий, обдутый ветрами снег не успевал осесть, как легкие лыжи охотника проносились дальше, и только на крутых изгибах снежных волн появлялись трещины.

Лес редел. Деревья клонились во все стороны. Казалось, они падали в сугробы. Повсюду валялись в беспорядке заснеженные ели и лиственницы с высокими белыми шапками снега на корнях и по стволам. Чем выше поднимался Айдамбо, тем холодней и ветреней становилось. Но Айдамбо не мерз. В ожидании удачи тело его пылало и лютый морозный ветер не студил лица.

Соболь запутал след.

«Хитер, ловок, обманывает... Своим же следом обратно идет, потом опять вперед, потом петли делает. Трудно разобраться. Под камень, под валежины забирается, пролезает далеко. А соболь хороший, след тяжелый, чистый волос, ровный. Был бы плохой соболь, в следе кости было бы заметно, как у того, старого».

Айдамбо искал зверька в норах, в дуплах, расставлял самострелы на его путаных тропках. Он разыскивал новый, незастывший след, когда черный, гибкий, длиннотелый зверек вдруг выбежал и стал

прямо против Айдамбо на громадном сваленном стволе. Соболь замер, горделиво подняв голову.

Замер и охотник.

«Что делать? Стрелять? Пока лук снимешь – убежит...»

Айдамбо хлопнул в ладоши и крикнул что было силы. Соболь испугался, громадным прыжком вскочил на дерево и умчался ввысь по стволу, так что слышно было, как царапали сухую кору его молодые острые когти.

Этого-то и надо было Айдамбо. Он нарочно закричал, чтобы загнать соболя повыше на дерево. Не уступая в быстроте соболю, он схватил лук и, мгновенно и метко прицелившись, пустил стрелу между редких голых ветвей. Он сбил зверька. Падая, соболь переломил хребет об острый сухой сук.

Вечером Айдамбр рассматривал свою добычу.

«Если бы ты знала, как я для тебя стараюсь, Дельдика! Сколько я хребтов и речек обегал!.. И еще неизвестно, сумею ли я принести эти шкурки? Не встретятся ли мне по дороге торговцы, не отберут ли все у меня? Не для них ли я стараюсь?»

Блестящая черная шкурка искрилась в его руках.

«Набить бы таких соболей, подарить Дельдике на шапку! Жаль отдавать купцам».

С мечтой о девушке Айдамбо уснул, опустив голову на шкурку соболя.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Старый Покпа был человеком неуживчивым. Он не ладил со своими односельчанами. Его дом в Мылках пустовал, а Покпа с семьей жил в фанзе, стоявшей далеко от стойбища, на острове, на берегу одной из бесчисленных, кишасших рыбой протоков, что идут из Амура в озеро Мылку.

Возвратившись с охоты, Покпа захотел побывать в деревне. Он приехал в Мылки, чтобы показать соболей гольдским торговцам – Данде и Денгуре. Он рассчитывал набрать у них под меха вдоволь водки и разных товаров, но отдавать совсем этих соболей своим торговцам он не желал: «Лучше увезу их к Ваньке Бердышову». На всякий случай часть добытой пушнины старик оставил дома, в свайном амбарчике.

В Мылках Покпу встретил Гао. Торгаш жил в доме Улугу. Он зазвал Покпу, угощал его, подарил ему пачку табаку, иголку и цветную картинку, рассказал несколько забавных историй, хвалил за умение ловить соболей и напоил старика до бесчувствия.

Наутро Покпа поднялся с головной болью. Его соболя были у купца. Когда забрал их Гао, Покпа не помнил. Ехать дальше, к Бердышову, было незачем. Покпе было очень обидно, но он решил показать, что еще не совсем обманут.

– Ты думал, что все у меня забрал? – оказал он Гао. – Нет, у меня еще три соболя есть. Самые лучшие. И еще лиса есть. Тебе не достанутся.

Сколько было должников, столько тонких комбинаций придумывал Гао. Отношения его с гольдами были очень сложны: то он одарял их, то обирал, вводил в долги и вконец запутал всех так, что они иногда даже не могли понять ничего в расчетах.

Услышав, что у Покпы еще меха есть, Гао сделался ласковым, подарил старику бутылку ханшина.

В этот день торгаш уехал в верхние стойбища. Покпа ходил пьяный по деревне, и грозил избить торгашей Денгуру, Данду и Писотьку за то, что они плохо торгуют, обманывают родичей. Злоудобней было сорвать на ком-нибудь из своих, чем на китайских купцах.

Тем временем Денгура послал за женой Покпы. Старуха приехала, грозила мужу палкой, кричала, дралась и увезла свирепого старика домой.

На другой день, под вечер, мохнатые собаки промчали купца Гао берегом озера вдоль дымящих фанз. Нарты быстро скользили, собаки стучали когтями по корке снега, залитого водой и помоями. Гао возвратился сверху из дальних стойбищ. Узнав, что Покпы нет в Мылках, он, не останавливаясь в стойбище, поспешил на протоку, туда, где стояла одинокая фанзушка старика.

Покпа встал перед торговцем на колени и кланялся ему. Потом он угощал торговца, пил его водку, рассказывал про охоту, но меха не показывал. Гао подарил ему трубку, а старухе серьги.

Между тем к Покпе из Мылок приехали сородичи с семьями. Всем хотелось посмотреть, какие соболя у старика и как их выторгует Гао.

Утром торговец попросил показать пушнину.

Покпа проснулся не в духе. Глаз его побагровел, старик угрюмо молчал.

– Чего-то Айдамбо из тайги не идет, – почесываясь и позевывая, молвил он, не глядя на торговца.

Гао снова угостил старика вином.

Вдруг прибежали маленькие дети.

– Ченза едет, Ченза! – кричали они.

Покпа выскочил из дому. В дверь было видно, как он опустился на колени, когда мимо пробежала собачья упряжка и нарты остановились.

Покпа вошел вместе с Чензой. Это был пожилой китаец с проседью в черных усах.

– Вот у меня два купца. Кто меня лучше угостит, тому продам меха, – оказал Покпа. – У меня хорошие лисы. Красные-красные! И черные есть, сиводушки – всякие!

Торговцы любезно поздоровались, но поглядывали друг на друга с неприязнью. Покпа сходил за лисой. Она была хороша.

– Получше меня угощайте, оба старайтесь!

Чензу разбирало зло. «Зачем Гао сюда приехал?» – думал он.

Покпа заметил, что торговцы недовольны друг другом. Это был редкий случай, что купцы не поделили должника. «Нельзя этого

упустить», – решил старик. Он принес соболей и стал дразнить ими лавочников.

– Это мой охотник. Зачем ты сюда явился? – спросил Ченза.

– Твой? – с насмешкой отозвался Гао.

Но он сдерживался. Гао был деловой человек и умел подавлять свои чувства. Он быстро заговорил по-китайски, предлагая действовать сообща, вместе обобрать Покпу и поделить меха или засчитать поровну их цену.

– Нет, это мой охотник! – упорствовал Ченза.

Хотя Гао был главой всех китайских торговцев по округе, председателем их общества, Ченза не захотел уступить. Был уговор, что Мылки принадлежат дому Гао, а все деревни выше Мылок остаются во владении дома братьев Янов, старшего из которых гольды называли Чензой.

«Мылки – богатейшее село, самое многолюдное. Что же еще надо этому Гао? Покпа выселился из Мылок и построил фанзу выше, на острове. Значит, Покпа мой», – полагал Ченза.

А сам Покпа только искал случая забрать товары в долг у любого купца.

– Негодяи и бездельники! Готовы жить на наш счет, – говорили про гольдов лавочники. – Мы, торговцы, – проводники всего нового, высшего и умного. От нас – знания! А они, дикари и воры, этого не понимают.

Торговцы заспорили, закричали.

– Ты заезжал в мои деревни! – с сердцем молвил Ченза.

– Да, я хотел скорей окупить меха, чтобы ничего не осталось русским. Этим я помогаю общему делу, а значит, и тебе.

Ченза был попроще Гао. Он с изумлением посмотрел на своего председателя, не понимая, как это может быть, что если Гао купит его меха и перебьет его торговлю, то это будет на пользу ему, Чензе.

– Я слишком глуп, чтобы понять твои рассуждения, – ответил он. – Но я знаю, что это мой должник.

– И мой!

– Будем ссориться и судиться!

Ченза в ярости подскочил и подхватил свою шелковую юбку, как бы показывая, что готов дать хорошего пинка сопернику.

– Хорошие соболя! Черные! – хвастался Покпа. – Торгаши ссорятся! Уже задирают юбки, – подмигивал он сородичам. – Смотрите, сейчас будут бить друг друга ногами.

– Я старшина! Я председатель! – восклицал Гао.

– А я пожилой человек. Надо уважать старших. Разве не знаешь, что предписывает закон и что сказали об этом великие мудрецы? Не забывай обычаев!

Между бранью оба торговца наперебой угощали старика.

– Покушай сладкого... Угости старуху... Выпей сам, – переводя дух, с нежностью говорил Гао.

– Ты сам тоже выпей, – отвечал Покпа. – И ты тоже, – обращался он к Чензе.

Хитрый одноглазый старик подумал: «Случай удобный! А что, если напоить купцов?»

– А еще у тебя есть копченое мясо в нарте, – бесцеремонно оказал он Чензе. – Тащи-ка его сюда. Да поживей!

Но пришел человек из Омми и рассказал, что там охотник Момэ поймал четыре выдры и что купец из отдаленной деревни едет туда. Торговцы засуетились.

– Скорей продавай мне меха, а то некогда, – попросил Ченза.

– Я тороплюсь, – сказал и Гао.

Старик схватил свои шкурки и выскочил из фанзы. Купцы, не желая уступать друг другу, кинулись за ним.

Покпа, который уже был пьян, шел к амбару и обеими руками прижимал лис и соболей к груди. Оба купца тянули его за рукава в разные стороны. Толпа мылкинцев потешалась у дверей.

– Мне продай, водки дам, никогда трезвый не будешь, – уговаривал Ченза.

– В моем амбаре ханшин можешь всегда ведром черпать! – кричал Гао на ухо гольду.

Чензу так и подмывало подраться со своим председателем.

Тут кто-то крикнул:

– Русский едет!

На берег поднялись нарты, запряженные разномастными собаками. Держась за палку между упряжкой и нартой, легко шел на лыжах плотный, рослый человек с румянцем в обе щеки. Шапка,

воротник и грудь его побелели. Багровую щеку под ветром обметал иней, брови и ресницы были белы.

– Отбира-а-ают! – вдруг заплакал Покпа.

– Что тут за драка? – весело спросил русский.

– А, Ванька... Бердышов! – закричали торговцы. – Здравствуй.

– Здорово!

– Хао! Хао!

– Батьго! А ты куда? – обратился Иван к Покпе.

– В амбар пошел. Меха уношу! Два купца торгуют, цену не дают.

– Дай-ка я погляжу. Эх, какие хорошие меха! Почему же не дают цены? Вот эту крестовку ты где поймал? Однако, на Сихотэ, там такие лисы попадаются. Ну, пойдем обратно в дом. Давай я за тебя торговаться буду. Помогу тебе продать эти меха.

– Нет... Я лучше унесу. Им некогда, они торопятся.

– Ну, что за шутки! Пойдем!

Иван как бы по-дружески обнял старого гольда, потом поднял его и при всеобщем смехе понес в дом. Гао и Ченза, отступя сажень, шли за Бердышовым маленькими шажками и переглядывались.

– Ты не трусь, – говорил Иван, сидя на кане. – Не хочешь продавать – не надо. Я только посмотрю, какой на ней крест. Ну, паря, чудо! Лиса шибко хорошая, крест черный, с серебром. Только бока потерты, как будто в упряжи она ходила. Ты не на ней из тайги ехал? Не ее ли запрягал?

– Лиса в упряжке! – усмехнулся Покпа.

– Ну, так скажи, что тебе за нее давали?

– Черт их знает! Ничего не говорят. У них цены нет. Только водки, дабы дают, а потом, когда пьяный будешь и уснешь, все заберут и уедут.

– Неправда, неправда! – воскликнул Гао.

– Все врет, – подхватил Ченза. – Я давал хорошую цену.

– Сколько?

– Моя большо-о-ой ему цена давал!

– Моя еще больше, еще лучше... А тебе, Ванька, куда поехал?

Бердышов ехал в Хабаровку продавать меха.

– Не отдавай им этих соболей даром, – говорил он гольду. – Пусть цену назначат. Если бы мне соболей надо было, я бы тебе кучу денег отвалил за них.

– Моя есть цена! – воскликнул Гао.
– Наша тоже есть цена! – вторил Ченза.
– На рубли, ну-ка, сколько?
– Рубли – такой цена нету. Наша другой деньга.
– Как это «наша другой деньга»? – передразнил Бердышов. – Ты где, в России живешь?

Ченза стал смотреть в потолок, щурился и что-то бормотал, как бы ведя счет. И тут же объяснил, что перевести его на русский он никак не может, но цену все же дает он Покпе хорошую.

– Наша ему цена сказала, – утверждал Гао и тоже что-то забормотал по-своему.

– Ладно! Не хотите на деньги – не надо! Развязывай мешки, давай ему за эту крестовку пшена десять мерок.

– Что еще скажи! – насмешливо ответил Гао.

– Не хочешь?

– Такой цена нигде нету.

– Ну, если нету, тогда Ченза берет меха. Что ты даешь? – обратился Иван к черноусому торгашу.

– Моя ничего не жалею. Его – как свой братка родной... Его долг большой прошлый год не отдал.

– Однако, ты хочешь обмануть!

– Зачем обмануть! Напрасно! Тебе чего пришел? – вдруг загорячился Ченза. – Это наш должник, наша сам буду торговать. Пошел отсюда к черту! Зачем мешаешь?

Кривой Покпа стоял, слушал спор и делал вид, что ничего не понимает.

– Они обдурить тебя хотят. Это уж обман, а не торговля. Ну, последний раз, какая твоя цена? – спросил Иван у Чензы.

– Его знай. Наша свой расчет.

– Ну, значит, все! Не сговорились, паря, жалко.

Бердышов вдруг схватил Чензу за шиворот и с такой силой швырнул его, что торгаш вышиб лбом дверь и вылетел на улицу.

– Паря, торговля закончилась!

Гао обрадовался.

– Вот шибко хорошо! Его давно так надо! Ваня, наша тебе как братка. Знакома, знакома давно. Вместе гуляй. – Но тут же торгаш

заметался, увидев, что Иван хочет схватить и его. – Наша не трогай, наша с тобой приятели!.. Братка-а-а!.. – завизжал он.

Гао ухватил свою лисью шапку, нагнувшись и разбежавшись, мелкими шажками проскользнул под рукой Ивана и кинулся в дверь. Он обрадовался, выскочив на солнце живым и невредимым.

– Прогнали обманщиков! – оказал Иван и засмеялся.

– О-хо-хо!.. – звонко залился Покпа и вдруг ударился в слезы. – Как ты ловко их гонял...

Он чесал больной глаз и размазывал слезы.

Иван пообещал погостить у Покпы. Старик побежал в амбар за остатками своих мехов. Торговцы в огромных шубах ходили около нарт и перебранивались. Завидя старика, они дружно плюнули вслед ему.

– Товары у русских отравлены! Умрешь! – крикнул Ченза. – Скоро опять приедет нойон и отрубит тебе голову.

Покпа пошел, потом повернулся.

– Вот тебе! – показал он дубину. – В эти сказки я не верю, и ты сам тоже.

Возвратившись в юрту, старик стал просить Ивана купить у него меха.

– Зачем мне! И так их много, еще не знаю, как до Хабаровки довести.

– Врешь! Притворяешься! Ты – хитрый! Я знаю...

– Ей-богу!

Гольд испугался не на шутку. Ему стало досадно, что Иван прогнал купцов, но возвращать их было стыдно.

– Не на что покупать, – сказал Иван.

– А говорил «кучу денег дам»?

– Я сказал, если бы нужны были. Да я уж раздумал торговать...

– Ваня! – взмолился Покпа. Вся надежда была у него на Бердышова, а тому, оказывается, не нужны меха. – Ваня, отдам по дешевке.

Покпа долго уламывал Ивана.

– Ну, возьми даром! Потом отдашь! – плакал старик.

Наконец Иван согласился. Он как бы нехотя забрал лис и соболей.

«Хорошему человеку не жалко! – утешал себя Покпа. – Все же заступился! Конечно, за шкуры-то я ничего не получил. Но как он

ловко Чензу!.. Иван и купец хороший, но дерется, как настоящий хунхуз».

ГЛАВА ПЯТАЯ

В стойбище Бельго вернулись с охоты мужчины.

Дымная и смрадная фанза Кальдуки Маленького залита светом. Сквозь цветную бумагу окон солнце светит на очаг с медной посудой: хачуха, ^[44] глиняная китайская кадучка с синими и белыми полосами, обутки на деревянном гвозде, старенькая коротенькая шубейка со сверкающими пуговицами – все выглядит сегодня по-праздничному.

В такой день совсем не хочется думать, что в лавке запутаны все расчеты и что торговцы сживают тебя со свету. Сейчас хорошо бы вкусно пообедать. Поехать бы куда-нибудь в гости, где есть арака, к кому-нибудь, кто торгует, где есть пряники, свежая осетрина или жир с сохачьего пуза... Конечно, неплохо бы и просто раздобыть горсть буды, ^[45] а то жрать совсем нечего. Кто все время голоден, тот знает, как приятно помечтать о еде.

Кальдука опять не добыл мехов.

«Чего поймал! Оказать стыдно – всего лишь одного соболя. Соболю маленький. Что за соболю! Купец скажет – крыса!»

За свою добычу Кальдука получил буды и овсянки, но в большой семье все живо съели.

Кальдука сидит на кане и тянет трубку.

– Табак, что ли, сырой? Почему огонь гаснет?.. Эй, Талака, Талака! – не сходя с кана, орет он.

Женщины возятся за дверью амбара. Жена Маленького, толстуха Майога, сегодня занялась уборкой. Кальдука больше не пойдет на охоту. «Хватит, – думает он, – все равно с охоты не разбогатеешь. Пусть дураки стараются. Сколько ни бегай по тайге, на купцов не напасешься». Кальдука велел жене уложить в амбар все свое охотничье имущество. «Что там теперь осталось? – с горечью думает Кальдука. – Одно старье! Торгаши все забрали. А какие хорошие были вещи!..»

– Эй, Талака, Талака-а-а! – изо всех сил, так что на шее жилы вздулись, орет Кальдука. Ему не хочется по пустякам подниматься, идти к дверям.

«Другой бы давно богатым стал: столько молоденьких дочерей было! Нет ловкости у меня в таких делах. Пойху, Ладо отдавал – ничего не нажил. Весь калым пошел торгошам. Но не беда! У меня

еще есть девки. Правда, косую Исенку никто и даром не возьмет. Но зато Талака и Дельдика – это целое богатство. Особенно Дельдика! Жаль, что она у Ивана... Но она – моя дочь!»

Хотелось бы Кальдуке посидеть сейчас на солнышке, но он боится. Купец вчера вернулся... Младший брат Гао недавно пошел в деревню и может встретиться.

«Что за люди! Им все мало... В прошлом году отобрали котел. Он стоит сорок соболей. Это больше, чем Кальдука должен им за товары. Хорошо бы все это подсчитать...»

– Эй, Талака, Талака! Диди-и-и!^[46] – визжит Маленький. «Ее бы замуж отдать!»

В дверях появляются Одака и Талака. Они не расслышали толком, кого зовет старик. Одака – рослая, толстая, с заплавленными глазами. Она угрюмо смотрит исподлобья.

– Талака, иди сюда... Вот возьму палку... Кто трубку раскуривал?

Талака – невысокая девушка с полной грудью. У нее черные глазки и плоский нос, приплюснутый почти вровень с широкими красными щеками. Она берет отцовскую трубку, садится на корточки, раскуривает ее от уголька, жадно тянет в себя дым. Еле переводит дыхание, сплевывает, вытирает трубку полой халата и отдает отцу.

Кальдука молчит и курит. Талака ждет – понравится ли отцу, как она раскурила трубку. Она переминается с ноги на ногу. На ней обутки из желтой пупырчатой рыбьей кожи со щегольски загнутыми носами, набитыми травой. От этого нога и в бедной обуви выглядит изящно.

Талака хмурится и вопросительно поглядывает на отца.

– Ну что? – кривит она рот. Низким голосом Талака напоминает мать.

– Вот отдам тебя китайцам! – ворчит отец.

– Китайцам! – тихо, со злой усмешкой передразнивает отца девушка.

– Иди позови Удогу. Скажи, торгаш у горбатого сидит, я боюсь мимо идти... А ты, Одака, чего пришла? Не тебя звали! Какая ты стала услужливая! Где твоя лень?

Одако-толстуха – вдовья невестка Кальдуки, жена его погибшего сына, которую когда-то пинками прогнал Гао на виду у всего народа из своей фанзы.

Она все еще свежа. Лицо у нее грязное, волосы косматые, глаза маленькие, черные, румянец такой, что не заглушить, кажется, ни копотью от печки, у которой она возилась с утра, ни пылью из амбара, где сейчас идет уборка. Она не очень молодая, а выглядит как девка.

Одака в своем рваном синем халатике, из-под которого видны голые, красные от мороза колени, переминалась с ноги на ногу, словно что-то хотела сказать.

Вошла Майога.

– Одака нынче что-то веселая, – насмешливо сказал Кальдука. – Не так ленится!

– У Гао есть работник, – басит жена Маленького.

– Который у них с осени? Немолодой китаец? – встрепенулся Кальдука.

– Он спросил, как ее зовут.

– Не знает, какая она ленивая! Смотри, убью тебя, если будешь бегать к этому китайцу!

– Ну, он еще не старик, – отвечает Одака.

– Пусть купит, если хочет. Следи! – грозит Кальдука жене.

До сих пор Одаку, упрямую, неподвижную как камень, злую, ничем нельзя было пробрать. Мори голодом, бей – чего не захочет, она не сделает. А тут вдруг сама бежит на зов!..

– Одака, ступай наломай дров. Живо!..

* * *

В доме Удоги чисто и уютно. На горячем кане, укрывшись шубой, спит Савоська. Он живет то у Бердышова в Уральском, то у брата в Бельго.

Айога чистит рыбу, режет, раскладывает куски на бересте. На что ни взглянет Талака, во всем чувствует она достаток дядиной семьи. Кан, красноватый от обожженной глины, накрыт белыми камышовыми циновками. Край его укреплен блестящим красным деревом. Талака знает: китаец, недавно приехавший в эти места и живущий теперь в работниках у Гао, нашел это дерево в тайге, распилил его, выстрогал длинный брус, натер его до блеска и украсил им кан Удоги.

«Для дяди всегда люди старались, а над нашим отцом только смеются».

Стены в доме Удоги побелены, в углу иконы, на стенах русские картинки, а в рамс висит генерал, весь в золоте. Талака знает – это Муравьев. Дядя Гриша ездил с ним на баркасе, мерял воду.

«Я большая буду, замуж выйду, у меня в доме так же чисто будет, – думает Талака. – Икону повешу, известки достану, блох всех выведу. Будет чище, чем у Гришки. Как у русских будет, как у Анги».

Талака бывала у сестры в Уральском и видела, как живут русские.

– Что, Кальдука сам прийти не может? – спросил Удога.

– Он боится, – угрюмо басит Талака. Голос у нее перехватило. – Торговец у горбатого сидит... Иди к отцу, – сердито говорит она.

Айога издала какое-то раздраженное восклицание. Старик молчит. Талака думает, что дядина жена, наверное, опасается, как бы Кальдука опять не стал попрошайничать. Обидно за отца.

Вбежал Охе в теплой куртке китайского покроя и в ватных штанах. На его груди белый шелковый квадрат с золотым иероглифом. Эту новенькую, очень красивую курточку купила ему мать. На голове низенькая круглая шапочка с короткими полукруглыми ушами. Мальчик держит в руке по-весеннему багровый прут краснотала. Он ухватил Талаку за халат, потянул, показал ей новую игрушку. Савоська сделал ему «копиури». Это палочки и петля. Надо пропустить деревяшку через петлю и распутать веревочку.

Пришла толстая красавица Тадяна – бывшая жена Денгуры. Ее украд из Мылок смелый охотник Гапчи. Это та самая женщина, из-за которой враждовали два стойбища.

– Свекор и муж скоро с охоты придут, – заговорила она, – а муки нет лепешек испечь. Крысы все поели, – лукаво добавила она. – В лавку нельзя пойти, муж не велит бывать там.

Тадяна чуть заметно ухмыляется и косится на Удогу черными маслянистыми глазами. Айога знает, что все это соседка говорит нарочно. Пока муж на охоте, Тадяна распутничает с лавочниками.

Удога отложил наконечник стрелы, которую он точил, и поднялся.

– Уй, всё рыбу и рыбу едим! – капризно говорит Айога, как бы жалуясь на мужа. – В тайге сохатый лежит. Оленя убили, а сходить некому... Все сидят дома и Кальдуку жалеют.

Старик стал одеваться.

– Ой, как мяса охота!.. Чего Савоська все спит?.. Шли бы с ним в тайгу.

Удога и сам недоволен братом. В самом деле, Савоська все время лежит на канах, жалуется, будто бы грудь болит.

– Рыбу плохую ловит, калугу не поймал, мало на проруби сидит.

– Сама с ним говори, – отмахнулся Удога и ушел.

– Иди, чего тебе! – прикрикнула Айога на Талаку.

Жена старого Удоги, молодая женщина Айога, – разбитная хозяйка. Ее дом – полная чаша. Она верна мужу, но ей всегда любопытно послушать, что рассказывает красавица Тадяна о своих любовных похождениях.

Когда все ушли, женщины оживленно заговорили. Савоська зашевелился на кане. Он поднялся, уселся, долго кашлял и, наконец, выбранился. Айога подала старику чашку чумизы. Женщины с нетерпением поглядывали на него, желая, чтобы он поскорее наелся и ушел.

* * *

– Скажи, Удога, почему Гао не хотят сказать мне, сколько я должен? – сетовал Кальдука Маленький. – На улице вчера встретили, грозились.

Пришли старики гольды: Кирба, Офя и Хольчика. Они принесли с собой стегно сохатины и бутылку водки.

Маленький обрадовался.

Девки разрубили мясо и сварили похлебку. Кальдука поставил столик и чашечки. Он быстро захмелел, стал плакать и жаловаться на торговцев, что они рассказывают про его дочерей разные гадости, поэтому их никто не сватает.

– За это судить нужно! – молвил Удога, знавший русские законы. – Это клевета!

Водку выпили, похлебку съели, остатки отдали девкам. Они уселись в углу фанзы тесным кружком и хлебали молча, лишь изредка с сердцем перебраниваясь из-за кусков.

После обеда сутулый старик Офя достал колоду карт.

– Теперь поиграем! – сказал он. – Эх, жизнь хороша!..

Удога решил помочь Маленькому.
– Пойдем в лавку и поговорим обо всем толком.
– Боюсь туда идти, – виновато улыбаясь, зашептал Маленький и сложил на груди сухие кулачки. – Побьют.
– Побьют, зато все знать будешь, – сказал Кирба.
Всем надоела вечная тяжба Кальдуки с торговцами, и гости посмеивались над его бедами.
Удога и Кальдука пошли в лавку.
– Чего тебе? – встретил Маленького толстый Гао.
Отстранив рукой толстяка, Удога заговорил с Гао-старшим. Тот длинно объяснил, что долг Кальдуки очень велик.
Подвыпивший Маленький вдруг осмелел.
– Ты все врешь! – крикнул он. – Давай мне буды, риса... Котел сорок соболей стоит. Зачем котел забрал? Может, уж продал мой котел?
Гольды поспорили, но толку не добились.
В пылу гнева Гао снова наговорил Удоге обидных слов.
– Не думай, что ты важный человек... Я сам помогал русским! Мы с отцом отдали войскам Муравьева все запасы. Кормили хлебом голодающих солдат, шедших по льду. Я никогда не хвастаюсь! Мой отец Гао Цзо, и я его сын. Но я никогда не вспоминаю своих заслуг! Я – льготный! – неожиданно закричал он по-русски. – Я – льготный! Моя ничего не боится!
– Ну, погоди!.. – пригрозил ему Удога.

* * *

В фанзе Маленького шел оживленный картеж. Савоська сидел среди стариков и дребезжал старческим смешком. Кирба выигрывал и с силой хлестал картами по столику.

Никто не удивился, что Удога и Кальдука пришли ни с чем.
– Не побили тебя? – обратившись к Удоге, с горечью и насмешкой спросил Савоська. – Ты хотел показать, что можешь пойти в лавку и напугать торгашей. Нет, ты не Егорка!

Удоге сильно не нравились рассуждения брата.
«В Бельго люди глупые, – возвращаясь домой, думал он. – Не понимают, что я хотел для них же постараться, еще радуется, что

торговцы меня обидели. Даже брат оскорбил меня!»

Поздно ночью явился домой Савоська. Он был вдребезги пьян.

– Иди завтра в тайгу за мясом, – сказал Удога.

– Сам иди! – пьяно крикнул Савоська. – Тебя и так всегда кормлю, мясо и рыбу добываю, а ты мне всего жалеешь. Я не ленюсь, ты знаешь, но мне обидно... – Савоська всхлипнул, горькие мысли пришли ему в голову. – Я из-за тебя всю жизнь погубил! – вдруг закричал он и стал рвать на себе одежду.

Испуганная Айога выглянула из-под одеяла.

– Уходи! Уходи из дому! Ступай к Кальдуке, – вскочил Удога и толкнул брата с кана.

– Убью тебя!.. – дико заорал Савоська, выхватывая нож.

Удога схватил брата за руку, вырвал нож, поволок Савоську к двери. Тот захрипел, глаза его выкатились в ужасе. Удога вытолкнул его из дому.

– Как дрались, меня напугали! – плакала Айога.

– Тебе не жалко, что я брата бил! Тебе себя жалко, что напугалась, – с обидой ответил ей Удога.

Наутро он сам отправился в тайгу за мясом. Вчерашняя злость прошла. По хребту, на красной заре восхода, чернели узорчатые лиственницы. С горы Удога поглядел вниз. В синих снегах из крохотной фанзы Савоськи курился дым.

«Брат не спит, топит», – подумал старик, и ему стало жалко Савоську. Он вспомнил, каким смельчаком был его брат смолоду, как служил он у Невельского, как еще прежде вместе подняли они восстание против маньчжур. «Какие мечты тогда у нас были!.. И вот теперь трудная жизнь сломала обоих. Раньше мы врагов били, а теперь друг друга. Проклятые торгаши! Это все из-за них. Они несут разврат в наши семьи, из-за них столько раздоров... Да и мы тоже хороши!»

Удога крикнул и, взявшись за дужку, повернул нарты.

Вожак понял его окрик, повернулся и увлек всю упряжку в сторону. Застучали полозья, собаки быстро побежали в тайгу.

* * *

Кальдука узнал о ссоре братьев. Майога послала Талаку проведать старика. У Савоськи на задах стойбища была фанзушка, он ютился в ней во время размолвок с братом.

Дырявая дверь обмерзла и закрывалась неплотно. Талака принесла дров и затопила печку. Взойшло солнце, когда Савоська проснулся от стука. Талака, сидя на корточках, камнем сбивала лед с двери.

Савоська вспомнил вчерашнюю ссору с братом. Ночью со стыда он не решился пойти к сородичам.

– Иди к нам, – сказала девушка. – Кирба еще мяса принес.

Под вечер Савоська опять сидел у Кальдуки на канах, окруженный девками, и рассказывал сказки. Сойпака, Одака, косая Исенка и девчонки-соседки покатывались со смеху.

Вдруг к дому подкатили широкие нарты, запряженные десятком белых, рослых, как на подбор, псов.

В фанзу вбежал испуганный Кальдука.

– Что такое? – всполошились все.

– Писотька ко мне приехал! Денгура!

В фанзу вошли мылкинские богачи – Писотька Бельды и Денгура. Бывший староста явился в пышной шубе.

– Богатые старики приехали! – передавалась весть из дома в дом, по всей деревне.

– На белых собаках!

Все догадывались, какое может быть у богатых дело к Кальдуке.

В доме Маленького набралось полно народу.

– Знаменитый человек! – восклицал Писотька, хлопая Денгуру по плечу. – По всей земле славится!

Семидесятилетний старик Денгура – высокий, худой, носатый, в шубе, крытой шелком. У него совершенно лысая голова, острая, как дыня, лицо красное и тощее. В больших ушах Денгуры – серебряные серьги.

Писотька мал ростом, проворен, как хорек, у него плоское желтое лицо, колючие глаза, седые брови и седая бороденка лопатой.

– Помощь мне давай, – говорил Кальдуке старик Денгура.

– Скажи, что надо.

– Нет, сначала поклянись, что не откажешь.

Все уселись.

– Когда старик на девчонке женится, сразу станет как молодой, – весело говорил Писотька.

Он достал пачку покупного табаку, развалил ее и принялся угощать хозяина.

– У тебя дочь красивая, которая у русских живет. Ты поскорей ее замуж отдавай... Знаешь, русские какие поганые...

Сваты выставляют водку и угощения. Переговоры в разгаре. Все возбуждены. Лица вспотели, глаза сверкают.

«Плохо только, что Савоська тут!» – думает Денгура.

Савоська сидит в углу темнее тучи и молчит.

«Чему радоваться? – думает он. – Денгура – старик страшный, больной. Разве можно красавицу Дельдику отдать такому? Дурак Кальдука – доволен. И как ему не жалко ребенка!..»

– Моя младшую дочь многие сватают, – бойко говорит Маленький, с наслаждением уплетая привезенные сладости.

«Теперь я разбогатею», – мечтает он.

– Чем невеста моложе, тем дороже, – шамкает горбатый Бата.

Все рады. Всем опостылела бедность Маленького.

– Когда девчонка молоденькая за старика выйдет, муж для нее ничего не пожалеет, – быстро отвечает Писотька.

– Меня совсем маленькой замуж первый раз отдали, – басит Майога. – Мужик был здоровый, не такой, как Кальдука. – Она улыбается. Ее глазки скрываются в буграх жира. Теперь те далекие события, когда-то ужасные и постыдные, представляются ей забавными и не стоящими страданий. – Муж крепкий был, не старик... Потом все ничего, – ухмыляется она.

Дверь распахнулась. Из темноты появился торговец Гао в мохнатой шапке. Шепот изумления пробежал по канам. Головы стали клониться.

Гао повел разговор со сватами, держа сторону Кальдуки. Он радовался, что к Маленькому приехали сваты.

«Я помогу получить за девушку богатые подарки, – рассуждал он. – После свадьбы получим с Кальдуки все долги».

Гольды, слушая Гао, были в восторге.

– Какой он умный! – шептала на ухо Айоге красавица Тадяна. – Вот умные люди! Они очень умны!..

Денгура велел лавочнику принести для Кальдуки круп и вина.

– Еще принеси материи на платье... Кальдуке на куртку. И дочерям на халаты... – Денгура оглядел всех дочерей Маленького.

Некрасивая, но рослая и здоровая девка, косая Исенка с трепетом и ожиданием смотрела на гостя.

«А мне? Будет ли мне подарок? Если косая, то уж и не человек?»

Денгура, казалось, понял ее. Он знал, что подарком уродливому ребенку больше всего угодишь родителям. У Денгуры самого была больная дочь, он любил ее больше других детей.

– А косой Исенке принеси материи на два платья... И еще дай ей конфетку. Я у тебя конфетку покупаю. Сколько стоит?

Косая вспыхнула. Такой щедрости она не ожидала.

– Ах, какой хороший!.. – басом вскрикнула Майога.

Даже толстой, ленивой Одаке, вдовой невестке Маленького, и той Денгура купил грубой дабы. Денгура знал, что она ест за троих, работать не любит, что Кальдука рад бы ее спровадить.

Торговцы принесли покупки, и Денгура сейчас же расплатился. Вся семья пришла в восторг, больше всех радовалась косая Исенка.

– Ах, какой дядя хороший! – басом, как и мать, воскликнула она и обняла Денгуру так крепко, что старик смутился.

Савоська долго слушал и молчал. «Человеком торгуют, как собаку продают», – подумал он. Старик смачно плюнул и, выругавшись по-русски, ушел, хлопнув дверью.

«Я напрасно вчера Улугу обидел, – подумал он, – ведь мы с ним не раз богатых маньчжур укрощали. А вчера я не помог ему». Старик решил идти за подмогой в Уральское.

Когда Маленький прислал за ним, дверь Савоськиной фанзы оказалась подпертой колом. Талака вернулась домой грустная, сказала, что дядя ушел.

– Дельдику жалеет! – смеялся Офя.

– Чего ее жалеть? – бормотал скрюченный Пагода.

Кальдука соглашался отдать дочь в Мылки. «Но как ее у Ивана забрать?» – думал он.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Широкие лыжи, подбитые шерстью, волочились за Савоськой по снегу на длинных веревочках. За плечами у старика – лук и ружье, сбоку – нож и колчан со стрелами. Савоська идет к Бердышову.

«Хотя я и старый и меня никто не слушает, но я не переменялся, все тем же Чумбокой остался, и об меня еще зубы обломаете, как и в прежние годы! Но неужели Ванька согласится отдать Дельдику? – думал он. – Быть не может! Нет, однако, не отдаст».

К полудню старик добрал до Додьги. Бердышова дома не было, он уехал в Хабаровку. Савоська погостил у Анги, поговорил с Дельдикой, но про то, что делается в Бельго, никому не сказал ни слова. Потом пошел к Федору, с которым водил дружбу с тех пор, как вместе охотились.

– Живи у меня! Оставайся за своего, – уговаривал Савоську Барабанов, услышав про его ссору с братом. – Что там у вас вышло? Рассказывай, как ссорились...

Барабанов звал гольда на охоту, но тот жаловался, что у него грудь болит, говорил, не стоит идти, надо немного подождать. В Уральском старик целыми днями либо играл с дочерью Ивана, либо проводил время с ребятишками переселенцев. Он учил их делать ловушки, луки, западни. В воскресенье с утра, собравшись в избе Барабанова, ребятишки заставили Савоську рассказывать сказки.

– Дядя, дядя! Про лису, – теребили его дети.

Старик оглядел белобрысых русских ребятишек. Он любил детей и хотел бы иметь своих, но жизнь его так сложилась, что у него никогда их не было.

– Ну, иди сюда. Так, кругом садись. Одна компания будет, – говорил старик.

Дети засмеялись, сдвинули табуретки и притихли. Они смотрели на гольда с восхищением.

Старик набил трубку и поджал под себя ноги. Федор и Агафья уселись на лавку рядом. Улыбки появились на их лицах.

– Тебе кто там? – вдруг спросил старик маленького Сеньку Бормотова.

У парнишки за пазухой кто-то шевелился.

– Ушкан, – ответил мальчик и распахнулся.

Под кафтаном сидел заяц. Дети радостно засмеялись. Заяц забился, раздвоенная губа его задрожала.

– Тебе где взял ушкана? – удивился гольд.

– Илюшка на петлю поймал.

Ребята стали дразнить зайца, дергать его, щипать. Савоська отнял зайца, прикрыл его рукавом и что-то тихо пошептал. Заяц успокоился.

– Его смирный. Самый смирный, он сам всего боится, – молвил старик. – Если человек всего боится, мы скажем: заяц.

– Дядя, а ты что ему сказал?

– Сказал, что обижать никто не будет, тут хорошо. Надо его пускать в тайгу, пусть он домой идет... Ну, слушайте...

Один охотник охотиться пошел, – начал Савоська сказку. – Далеко пошел. На нартах таскал жир. Много жира. Кеори взял – это калужьи жабры, тут вот, – показал Савоська за уши. – Вот идет на охоту по речке. Наши всегда речкой ходят... Откуда-то взялась – идет лиса. Встретились. Лиса говорит: «Здравствуй, дядя!» – «Здравствуй». – «Ты куда?» – «На охоту пошел». Ну, лиса говорит: «Давай буду маленько помогать. У тебя собак мало, меня запрягай, вместе на охоту пойдем. Буду нарты таскать». Старик думает: «Ладно!» Надел ей хомут. Лиса идет вместо собачки. Вдруг охотник след нашел – выдра ходила. Выдра в воде живет. Смотрит – маленечко подальше дырка, как прорубь, пропарина, там выдра лазает. А лиса ноги туда уронила, как будто упала. Только задние ноги уронила. «Ой-ой! – орет. – Ноги сломала... Ой-ой! Ходить не могу, в нарты меня посади». Старик посадил ее в нарты посередке.

«Ой-ой! – лиса кричит. – Дядя, дядя! Ноги больные, тут худо сидеть, там лучше посади, где жир и калужьи жабры, там мягче». Старик ее посадил, спрашивает: «Ничего?» – «Маленечко лучше...»

Дети засмеялись.

– Ну вот, едут дальше. Речку нашли. Лиса спрашивает: «Дядя, дядя, какая это речка?» – «Это большая речка», – отвечает старик. Еще дальше пошли. Там еще речка. «Дядя, а это какая речка?» – «Маленькая речка». Так старик сказал. Вот доехали, где охотиться. Старик думает: «Надо делать балаган». – «Ну, лиса, иди таскай ветки, постель делай». Лиса взяла топор, пошла ветки рубить. Старик ждет. Че-то долго обратно не идет. «Что такое? – думает. – Почему долго

лисы нет? Куда делась? Однако, пропала!» Пошел старик искать. Ходил-ходил, искал-искал – нету лиса!.. «Ой, – подумал, – худо!..» Вот этот старик обратно пришел. В балаган пришел, свою нарту стал смотреть. Что такое? Ни рыбы, ни жира, ни калужьих жабр! Все продукты пропали!..

– Лиса утащила! – воскликнул Мишка Барабанов.

Дети бурно смеялись. Савоська, довольный не меньше их, раскуривал дрожащими руками трубку.

– Бабка нам эту сказку рассказывала, – заговорила Настька. – Только там мужик карасей вез.

Вошла Фекла Силина.

– К Бердышову какие-то богатые гости приехали на белых собаках, – сказала она.

– Снизу приехали? – забеспокоился Савоська. Он живо поднялся и отдал зайца Сеньке. – Надо посмотреть!

– Дядя, дядя, еще сказку!..

Но Савоська не слушал. Он поспешил в дом Бердышова. Чем печальней были раздумья старика, тем сильнее вихлялся он на ходу. Ноги, простуженные и больные, все хуже слушались его и ступали вкривь и вкось, так что со стороны казалось, будто Савоська вытанцовывает.

– Гляди, старик вовсе рассохся, – заметил, глядя ему вслед, Барабанов.

У избы Ивана гольд увидел знакомую упряжку. Псы, свернувшись клубками, лежали на снегу.

Старик ввалился в избу. Там пили чай Денгура и Писотька.

– У-у! Здорово! Зачем приехали сюда? – спросил Савоська.

– Ты откуда? – изумился Писотька.

– Кругом хожу! Че, Аннушка, у тебя водочка есть? – обратился Савоська к Бердышовой. – Надо угостить. Это хороший человек, – и он с силой хлопнул Денгуру по плечу, так что тот поежился.

Писотька с подозрением присматривался к Савоське своими колючими глазами.

– Ты зачем плевался, когда мы сватались? – спросил он. – Ты старый человек, должен понять, что в это время нельзя плевать.

– Болею!.. – Савоська притворно закашлялся, вздрагивая всем телом. – Сюда лечиться пришел, тут русская шаманка хорошо лечит. А

там сидеть совсем не мог, чуть-чуть живой пришел сюда.

Немного погодя Савоська вышел из дому и направился к избам крестьян.

– У-у!.. – со злобой замахнулся старик на белых псов богача.

У барабановской избы играли ребятишки. Савоська подзвал их, взял у Сеньки Бормотова зайца и, подойдя к упряжке, бросил его в снег, чуть ли не на собак Денгуры.

Заяц помчался в тайгу. Белые собаки встрепелулись и кинулись за ним. Савоська свистнул и замахал широкими рукавами рваного халата, словно собираясь взлететь. Нарты сватов с силой ударились о пенек и разлетелись в щепы, постромки зацепились. Собаки выли, рвались за убегающим зайцем и с наскака обрывали ремни. С оборванными поводками они сворой помчались по релке.

Денгура и Писотька выскочили наружу.

Заяц вдруг шарахнулся в сторону, кубарем скатился с обрыва на реку и помчался через торосники. Собаки, распластавшись, неслись как стрелы. Два пса, запутавшись в ремнях, покатались и стали грызться.

Денгура и Писотька, яростно размахивая руками, что-то кричали. Наконец, видя, что собаки умчались с остатками нарт, они со всех ног пустились за ними. Вдруг катавшиеся клубком псы рванулись вперед. Обегая Денгуру справа и слева, они зацепили его ноги ременными постромками. Старик плашмя упал на спину, и собаки помчали его волоком по льду.

– Цо таки? Цо таки? – визжал Писотька.

– Эй, эй!.. Тук-се-е! Туксе-е!..^[47] – орал Савоська.

Он схватился за живот руками и хохотал так, что чуть не падал в сугроб головой.

Заяц помчался по дороге в Мылки и вскоре скрылся. Собаки исчезли в торосниках, но еще долго слышался их яростный вой и отчаянные крики сватов.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В фанзе Гао заседал суд общества торговцев. Купцы в длинных синих халатах стояли перед лакированным столиком. За ним восседал Гао-старший. Горели красные свечи. Гао-младший держал в руках кисть, готовясь начертать приговор. Синдан – полуманьчжур, полухитаец, богатырь с большой головой, хищными острыми глазами и тяжелой нижней челюстью – обвинял. За спиной Гао, у стены, стояли длинные палки с вырезанными иероглифами.

– Сын тунгуса Суокина, – говорил Синдан, – виновен в действиях против нашего общества. Он живет очень далеко, в тайге, на озере. Он подговаривает сородичей тунгусов зарезать меня, овоего хозяина, или ехать жаловаться русскому начальству в новый город. Если бы высокочтимые судьи решили дать соизволение достойно наказать дикаря... – Тяжелые руки Синдана вытянулись, как будто он уже хватал за горло жертву.

Гао, не мигая, смотрел на Синдана. Обычно Синдан не прибегал к помощи выборной власти. Он избивал своих должников сам, следуя неутолимой жажде причинять людям боль и зло. У него на Горюне, как слышал Гао, тоже было что-то вроде своего общества. На этот раз Синдану хотелось особенной казни – закопать дерзкого тунгуса живым в землю. Вот уж несколько дней Синдан пьянствовал, а в лавке Гао шли разговоры о непокорстве «дикарей», как называли торгаши гольдов. Синдану захотелось похвастать своей силой перед обществом. Он решил требовать заседания суда. Гао не возражал.

Брату Чензы, которого звали Ян Суй, даже казалось, что сам Гао побудил Синдана судиться. Но, признавая преступление тунгуса очень тяжелым, Гао-старший противился желанию Синдана закопать виновника живым в землю. Он не соглашался, чтобы при наказании присутствовал кто-либо, кроме Синдана и его работников. Он отвергал пытки, задуманные цайдуном – «хозяином речки».

Приговор был – наказать виновника палкой с надписью: «Бить до смерти».

Синдан и тем был доволен. Все же состоялось заседание общества, целый день все восхваляли его власть и силу, все удивлялись его богатству. Ведь в Маньчжурии еще семь лет назад Синдан был

нищим, а ныне, живя в России, он так разбогател, что считает себя единственным хозяином большой таежной реки Горюна и прилегающих к ней озер и речек со всеми селениями. Семьи гольдов в его власти. Он насилует их жен и дочерей.

Но нельзя же семь лет насиловать, грабить – и не похвастаться!

Гао-старший не соглашался дать для исполнения приговора палку общества.

– У тебя есть свои палки, – сказал он.

– Но у меня нет палок с надписью: «Бить до смерти».

– Заведи себе такую палку, – ответил Гао, – и я поставлю на ней печать.

* * *

Гао Цзо, отец Гао Да-пу, начал торговать на Амуре, как он сам рассказывал детям, много лет тому назад. Впервые он приехал с сумкой побрякушек, а перед смертью ежегодно приплавлял в низовья одну-две огромные маймы.

Гао Цзо, как помнили его сыновья, был крепкий старик с плоской головой и с узко сощуренными глазами. Он был известен среди торговцев как «мудрейший и достославный».

Гао-сын понимал, что тогда было иное время. Не так легко приходилось отцу. Тогда торговать было труднее, чем теперь, при русской власти. Амур был запретной, таинственной страной. Приказами маньчжурских властей запрещалось плавание частных лиц в низовьях. – Наказание грозило тем, кто селился там.

Желая оградить родину своих предков от китайцев,^[48] маньчжуры издали законы, запрещавшие переселение, но китайцы шли и селились в Маньчжурии, откупаясь от дворян взятками. Так было на юге.

Гао Цзо, бывало, слышать не мог о маньчжурских начальниках. Он называл их крысами. Проплывая мимо постов, он бранил маньчжуров, но в то же время льстил им при встречах и покорно нес им подарки. Гао Цзо говорил, что эти чиновники хотят, чтобы на Амуре была пустыня. Но путь по Сунгари в низовья был очень удобен,

а меха, добываемые в неведомых землях, очень хороши. Гао не желал оставить место пустым, а охотников необобранными.

Гао Цзо проник в низовья на свой риск. Он не скупился на взятки чиновникам и вскоре развил по деревням большую торговлю. Но он всегда боялся, вечно готов был ко всяким неприятностям. Товары его никогда не лежали в одном месте, и сам Гао Цзо не знал покоя.

Но вот в низовьях появились русские. Они пришли с моря на кораблях.

Однажды старый Гао Цзо, который никогда ничему не удивлялся, был поражен. По реке шло сверху множество русских парусных и гребных кораблей с солдатами, пушками, лошадьми, коровами. Русские, кажется, были очень богаты. Прошло невиданное чудо – паровые самодвижущиеся маймы, бегающие без ветра против течения. У деревни Онда, где жил Гао Цзо, на берег сошел русский губернатор Муравьев. Гао Цзо недаром прозван был впоследствии «мудрейшим». Он живо сообразил, как надо действовать. Он пал на колени перед губернатором и в слезах просил позволения торговать. Он уже слышал, что русские считают эту землю своей. К маньчжурам, которые постоянно упрекали его, что он был когда-то хунхузом, Гао Цзо не питал никакой привязанности и даже радовался предстоящим переменам.

– Я прошу... прошу позволить... – всхлипывал он, – торговать мне... вот на этой русской земле... – Он показывал пальцами на песок, а глазами из-под опущенных ресниц незаметно косился на губернатора.

Муравьев охотно разрешил Гао Цзо торговать в русских владениях по Амуру. Он благосклонно относился к простому китайскому народу, желал оживленной торговли с соседями и пользовался всяким случаем доказать это.

Амур был возвращен России. Гао-отец торговал на свободе. Вскоре он умер, но сыновья продолжали его дело, изобретая все новые способы выжимать барыши из гольдов.

За последние годы на русском Амуре появились и другие торговцы. Некоторые из них служили прежде маньчжурским чиновникам и ездили сюда. Явились также несколько новых торгашей из Маньчжурии. В большинстве это были уголовные преступники, в свое время сосланные в Маньчжурию. Видя, что русский народ по

большей части трудовой и русские купцы торгуют с гольдами мало и неумело, все эти пришельцы быстро поделили между собой гольдские деревни. Люди особого склада, беспощадные и хищные – некоторые сами бывшие хунхузы, – они еще больше нагнали там, куда их прежде не пускали маньчжурские чиновники.

Одним из таких торговцев, явившихся в Россию, был Синдан, человек жестокий, завистливый и сильный.

Все торговцы несли семье Гао богатые подарки, называя покойного Гао Цзо «указавшим правильный путь к счастью и процветанию».

Однажды весной Гао приехал на Додьгу. Он увидел столбы огня и дыма. Вся релка была в дыму и пламени. На ней, корчугая пни, ссекая кочки и разрывая землю, копошились бородатые мужики в длинных рубахах. Ветер крепчал, временами несло снег, по реке шли грозные волны, а вокруг на островах полыхало сплошное море огня – переселенцы запалили луга, чтобы лучше росла трава. Пламя ходило на островах огромными волнами.

Гао напряженно думал, возвращаясь в парусной лодке в Бельго: «Они умеют работать артелью и помогать друг другу. Мы точно так же могли бы делать свое общее дело!»

Гао пригласил к себе торговцев, обосновавшихся на устьях речек. Он рассказал им о своих намерениях. Все были в восторге. Чтобы легче было жить и торговать, решили составить общество с тем, чтобы поделить должников, а в свои владения больше никого не пускать. Гао избрали председателем общества и главным судьей. Он предложил устав общества, и все признали его. Для исполнения приговоров избрали палачей. Общество завело «палки-законы», нечто вроде скрижалей, с надписями, за что и сколько раз бьет каждая. Осенью и перед Новым годом члены общества съезжались в Бельго для заседаний и развлечений.

С русскими старались жить дружно, выказывать уважение. На гольдов смотрели, как на свою собственность. Некоторые богатые старики гольды, вроде Денгуры, помогали торговцам. Денгура даже ездил сам в Сан-Син на ярмарку, побывал у чиновников, которые когда-то ездили грабить на Амур, уверял, что гольды радовались бы их возвращению и что все население по Амуру недоволено, что русские рыбу пугают пароходами.

Общество установило почтовое сообщение между лавками. Курьер с надписью на жезле: «Не задержит ни снег, ни ветер» – созывал всех членов общества на внеочередные собрания. Гао Да-пу стремился извлекать из организации наибольшие выгоды.

– Ты, Гао, велик, как и твой отец, – говорили торговцы своему председателю. – Ты оправдаешь свое имя когда-нибудь: «Гао – высокий, Да – большой, Пу – магазин».

* * *

Светило солнце. Купцы в ярких халатах и богатых шубах нараспашку прогуливались по берегу. Со всего Нижнего Амура они съехались на праздник Нового года к семье Гао. Праздничные дни прошли в делах: судили гольдов за непочтение к хозяевам, обсуждали устав, спорили.

– Ай, какая хорошенькая дикарка! – восхищались гости, завидев Айогу, проходившую с ведрами мимо лавки.

– У вас в Бельго много красивых женщин. Сюда надо приезжать почаще.

– Нет, нет, – поспешил сказать Гао Да-пу. – Эта женщина недоступна. Это жена Удоги. Он крещен был еще при Муравьеве, служил проводником первого сплава. У него русская медаль. Его дочь замужем за Бердышовым.

Гао не желал никаких ссор с русскими.

– Надо действовать по-другому, – сказал он.

На дверях и на стенах лавки наклеены красные праздничные иероглифы счастья. У входа висит большой фонарь с цветными бумажными лентами, множество малых фонариков украшает фанзу внутри.

«Десять тысяч лет, десять тысяч денег», – обещают пирующим надписи на бумажках.

Синдан, сидя в углу, держал толстую палку и что-то вырезал на ней ножом.

– Синдан, ты хозяин речки Горюна! Мы не мешаем тебе!

Старший Гао подумал, что даже русские, убив Дыгена, помогли Синдану, его избавили от вымогателя. Вот уж и подлинно: «И и чжи

и!»^[49]

– Мы должны быть сплочены, – продолжал Гао. – С этой целью мы составили общество торговцев, определили границы владений каждого и его должников. Но мы сами ссоримся! – воскликнул он и тут же помянул, что его сосед пытался купить меха у должника семьи Гао.

Щуплый Ченза молчал.

«Что я могу поделаться против таких пройдох, как Гао? Назло мне выбрали этого ловкача председателем общества!»

Однако он встал и любезно обратился к председателю:

– Чтобы нам хорошо жить и торговать, надо укротить бродягу, наполовину превратившегося в гольда Ваньку. И это должен сделать председатель. Он должен придумать, как это сделать.

– Да, Ванька – бродяга и хунхуз!

– Неужели мы ничего не можем поделаться с ним? – воскликнул Ян Гуэй, один из братьев Чензы. – Ведь его ненавидят русские и не считают своим. Ты сам говорил нам об этом, председатель!

– Лучше не трогать Ваньку! – вдруг выпалил добродушный толстяк Гао Да-лян.

– Чего бояться? Он убил Дыгена. Кровь за кровь! Есть повод – надо зарезать Ваньку и тех дикарей, которые ему помогали! – воскликнул четвертый брат Чензы.

Бердышова ненавидели все за то, что он родня гольдам, заступает за них, хитер. Да к тому же каким-то образом разузнал про существование тайного общества.

– «Мы, свободные торговцы...» – стал читать Гао устав общества. – Надо, чтобы гольды вступали в наше общество и обязывались продавать меха только нам. Угощать их ханшином при вступлении и показывать палки, чтобы клялись и знали, что отвечать придется кровью. Так поступают купцы с бедняками в обществах у нас на родине.

Запишем так: «Всем известно, что в Китае существуют пять семейных и общественных отношений. Лица, их исполняющие, клянутся, заключая союз, завязывать дружбу. Народившиеся вместе готовы вместе умереть».

Возьмем пример с трех тай-юаньских старцев, которые в древние времена, заключив союз, заставили всех мудрых людей уважать себя.

Да живет тай-юаньская законность тысячи лет, а мы, ее последователи, хотя бы по сто!

– Хао, хао! – вскричали торговцы.

Все поняли, что председатель советуется встать на путь совместной борьбы против Бердышова и сообща осторожно мешать его торговле.

– Я признаюсь, что виноват перед тобой, – Ченза в восторге обнял Гао Да-пу. – Какой ты умный, сын достоправного и мудрейшего!

Все стали утирать глаза, вспоминая старого Гао Цзо.

– Но как жаль, что ты не нашелся, когда Ванька выбрасывал нас из фанзы Покпы! – пробормотал сквозь слезы растроганный Ченза.

Все восприняли это как острую шутку и засмеялись.

– Иван становится наглым!.. Надо скупать меха у его должников, ссорить его с покупателями, – продолжал Ченза.

Недавно пятый из Янов хотел обмануть Бердышова. Иван жил в стойбище Омми, ожидая прихода охотников. Все знали, что трое гольдов несут много мехов. Ян задумал опередить Бердышова и выехал навстречу им в тайгу. Иван узнал об этом, нагнал Яна и выстрелил дробью по его собакам. А спустя несколько дней он выгнал главу дома Янов из фанзы Покпы.

– Это вызов! – в неистовстве кричал младший Ян. – Мы зарежем Бердышова! Я готов убить его собственной рукой!

«Мои друзья не видят в русских того, что вижу я», – думал Гао.

Не меньше, чем русские соперники, заботили Гао члены общества. Это были сушие волки. Гао решил, что должен избрать свой собственный путь к богатству.

Он чувствовал, что, после того как Амур стал русским, возникли такие возможности, каких нет в Китае.

Гао желал сблизиться с русскими. Но в обществе проповедовал тайную вражду к ним, опасаясь, что с ними может сблизиться кто-нибудь другой и опередит его. Гао лишь не любил Ивана и предпочел бы, чтобы здесь торговали другие русские, а не Бердышов.

Поначалу, когда Ванька явился в Бельго, Гао боялся его, потом, когда Ивана ранили и он остался в стойбище, Гао посчитал его ничтожеством.

«Но вот это ничтожество превращается в силу. Гольды ему родня. Он из их грязи поднялся! Он возбуждает их против нас! Бродяга!

Настоящий бродяга! И вот этот бродяга оказался тигром! Как он прыгнул!.. Он обманет гольдов, слабых и несчастных!»

Последняя выходка Ивана была горька и оскорбительна для Гао.

– Иван – ублюдок, наверное, даже не русский, а какой-нибудь гольд! – твердил Гао. – Говорит по-гольдски, пронюхал про общество торговцев, всегда издевается. Он сбивает цены, рушит влияние. Не будь его, гольдов можно было запугать, как в других местах. Надо хорошо жить с русскими, а гольдов запугивать, внушать им, что русская власть скоро окончится. И тогда они будут покорны от всей души, охотно на коленки станут перед купцом падать, а не нехотя... Но там, где Иван, гольд сам не свой. – Дорого бы дал Гао, чтобы убрать Бердышова и дружно зажить с остальными русскими!

В фанзу вошли нарядные гольдки – Тадянака и ее подружки, жены должников Гао. Они работали в эти дни в доме купцов. Их мужья были на охоте. Гольдки готовили кушанья, мыли посуду, а по вечерам оставались с гостями.

Тадянака, толстая и белолицая, с черными маслянистыми глазами чуть навывкате, всем нравилась.

– Эй, Тадяна!.. Вот она, толстая дура! Как свинья! – сказал Гао-младший.

Не понимая китайской речи, Тадянака улыбнулась.

– А теперь тебе надо добиться Айоги, – сказал Ян, обращаясь к Гао-младшему.

Тот умолк, лицо его стало серьезным.

Из своего угла поднялся Синдан. Он протянул палку с иероглифами.

– Вот я вырезал палку для наказания сына тунгуса. Когда Иван прислал товары на Горюн, я составил себе набор палок, таких же, как принято в нашем обществе. У меня есть палки: «Десять ударов», «Двадцать ударов», «Бить до крови». Так я учу дикарей грамоте. Хи-хи! Каждый из них клянется продавать соболей только мне... Теперь я вырезал палку с надписью: «Бить до костей». Вот она, поставь на ней наш знак.

«Горюн очень богатая река», – подумал Гао, ставя на палке знак общества и тонко улыбаясь.

Гао сам бы желал завладеть рекой Синдана или хотя бы получить право торговать на ней, не давая в том отчета обществу. Прежде на

Амуре было самое лучшее место для торговли. Отец знал, где селиться. А теперь торговому дому Гао становилось тесно. Русские рыщут, ходят летом баркасы, Бердышов тут. Чужие речки доходней, так всегда казалось Гао... Известно, Горюн очень богатая река в крае, туда не заходят баркасы.

Предостеречь Синдана от кровавой расправы невыгодно. Обо всем узнают русские... Там у них друзья. Хорошо бы силой русских уничтожить Синдана!.. Но сейчас жестокостью Синдана надо запугать гольдов.

Гао улыбался, молча рассчитывал все в уме, словно разыгрывал сложную партию.

Да, пусть знак общества будет на палке маньчжура. Посмотрим, что получится. То, что сходит хозяевам речек на Имане, на Анюе и на Даубихе, сойдет ли на Горюне? Выгоды будут в любом случае, что бы ни случилось.

Богачи стали разъезжаться. Упряжки одномастных псов с красными кистями на головах, в цветных постромках – вожаки с дугами, колокольцами и бубенчиками – тянули широкие нарты.

– Все было прекрасно: и вкусные угощения и смазливые дикарки, – прощаясь, посмеивался Ян Суй над Гао Да-ляном. – Но женщины красивей Айоги ты никогда не найдешь. А она недоступна. Сколько бы ты ни искал наслаждения, ты не достигнешь красивейшей!

– Она будет моей! – вспыхнул Гао-младший.

Когда гости разъехались, старший брат поссорился с младшим.

– Я слышал, что ты хочешь сделать. Какое хвастовство! Знай меру, а то я возьму палку! Косу тебе выдеру, негодный! Хочешь, чтобы тебя убили? Чтобы стреляли дробью по нашим собакам? Я отправлю тебя в дальнюю лавку, и будешь там жить.

Вечером каждый из трех братьев думал о своем.

«Пусть общество чуждается русских. Все, что я говорил и делал, я должен был сказать и совершить. Пусть хвалят меня за ум. Я останусь их председателем, и они будут слушаться меня, – думал Гао Да-пу. – Быть первым среди них – не в этом счастье. Я не жду больших доходов, даже если гольды войдут в общество. Лишь кое-что это даст!»

Планы Гао были значительно обширней... Захват Горюна – пустяки! Гао замышлял действительно большое дело. Он желал по-

настоящему разбогатеть. Он только опасался, не помешает ли Бердышов.

«Сколько бы мне ни стоило и как бы долго ни пришлось преследовать Айогу, но я добьюсь своего, – думал тем временем младший брат. – Нельзя терпеть насмешек! Я покажу, что любая женщина, если я захочу, станет моей».

«А как мы славно покушали за эту неделю!» – хлопая себя по животу, вспоминал толстяк Гао Да-лян и улыбался счастливо во все свое широкое, лоснящееся, жирное лицо.

* * *

Утром в Бельго прикатил на тройке софийский исправник Оломов. Лошади остановились около лавки. Из тарантаса вылез тучный мужчина огромного роста, с рыжими усами и багровым лицом.

– Ваше высокородие! Шибко холодно? – хлопотали купцы, помогая Оломову.

– Как уговаривались, привез тебе пороху и дробь, – пробасил исправник, входя в фанзу.

«Вот он куда вез такую тяжесть!» – подумал Тимошка Силин, приехавший ямщиком.

Малорослый мужик с трудом внес в лавку тяжелый тюк. Торговцы поспешно отвязывали ящички с дробью.

Они сняли с исправника доху, почистили его валеные сапоги. На столе появился коньяк. Гао достал консервы.

– Только хлеба сегодня нету. Если бы знали, что ваше высокородие приедет, мы бы самый лучший хлеб испекли... Сейчас только пампушки есть.

– Ничего, ничего! – бубнил исправник и думал: «Попадешь к китайцам, сразу любезность чувствуешь, не то что у наших русских мужиков!»

Гао заплатил за дробь и порох. Складывая деньги в бумажник, Оломов прикинул, что заработал он изрядно; пожалуй, не меньше месячного жалованья.

Летом Гао Да-пу встретил его в Хабаровке.

– Как ваша много ездит, – сказал китаец исправнику. – Кони даром гоняй... Надо таскать товар.

– Что же ты советуешь привезти? – спросил Оломов.

– Конечно, порох, дробь...

Наступила зима, и вот большой русский начальник привез на крестьянских лошадях ящики с охотничьими припасами. Гао отлично заплатил. Он часто имел дела с «ямыньскими когтями»^[50] и знал, как надо действовать с начальством. И он узнал, что люди одинаковы: маньчжуры, китайцы или русские – все любят «заработать». Гао понимал, что Оломов тоже не прочь...

Гао неумело ел ложкой с тарелки. Вместе с Оломовым пили коньяк. Толстяк Гао Да-лян приготовил свинину с фасолью.

Тимошка сидел в углу и удивлялся: уж очень вольно китаец разговаривал с исправником, и тот отвечал запросто, как своему. Сегодня утром в Уральском Оломов был зверь зверем, а тут сразу обмяк. «Поглядезь на него – ну, туша тушей, а он, оказывается, проворный, когда надо хапать!»

– Что нового?

– Да ничего особенного, – басил исправник.

– Моя слышал, скоро будут строить церковь? – любезно спросил Гао.

– Да, как же! Большие пожертвования внесены на постройку храмов в новых землях, деньги вносили богатые люди и прихожане по всей России. С нас требуют приступить к делу поскорей. Летом сюда пришлют солдат и материалы.

Гао открыл и поставил перед гостем коробку манильских сигар. Оломов удивился.

– Откуда у тебя?

– Это из Шанхая! Моя знакомые есть купцы, туда ездят и привозят. Я могу все достать, любой товар! Это английский товар. Моя сам скоро поеду в Шанхай!

Гао был ужасно рад, что удивил исправника, показал ему свою образованность, намекнул на большие связи.

«Но русские берутся за дело серьезно, – размышлял он ночью, слушая тяжелое дыхание исправника. – Они позволили нам приходить сюда и торговать, но теперь забирают все в свои руки. Что может поделаться наше общество на Мылках, когда там будет церковь?»

Гао понимал, что по-настоящему богат и счастлив будет тот, кто не жалеет старого, кто найдет в себе силы и ловкость устроиться в новой жизни, хотя бы эта новая жизнь и не нравилась.

Мысли Гао, как мыши, забегали в поисках трещины, лазейки, в которую можно было бы проскочить.

«Построят церковь! Мои должники будут ходить богу молиться; что толку в обществе, когда будет поп в золотой одежде, он станет следить за каждым шагом гольдов. И этот поп – торгаш! А тут еще, как назло, мешается Ванька-купец...»

Утром Гао весело суетился, стараясь угодить Оломову.

– А блохи-то есть у тебя, – пожаловался исправник.

– Ночью блохи меня на воздух поднимали, – сказал Тимошка.

Поговорили о делах. Исправник спросил про нового работника – Сашку-китайца, есть ли у него вид на жительство. Гао попросил все уладить. Исправник обещал.

– Церковь – это хорошо! – воскликнул Гао. – Моя скажет всем гольдам, чтобы крестились. Кто не крестится – будет худо!

– И священник будет жить здесь. Ему построим дом.

Лавочник боялся, что поп, отец Николай, сам торгаш, запретит гольдам торговать с «домом Гао».

Исправник не отрезвел еще от вчерашнего. С утра он выпил стакан коньяку и совершенно опьянел.

– Эх ты, китаеза!.. – вдруг схватил он Гао за косу.

– Ой-е-ха! – увернулся купец. – Пошути, пошути ваша! Как смешно! – Гао подобострастно захихикал. – Наша хочет тоже деньги давать на церковь, но наша боится. Можно?

– Конечно, можно!

– Кони готовы! – вошел Тимошка.

Исправник браво поднялся. Купцы подали ему шубу, и все вышли из лавки.

Зазвенели колокольцы.

– Э-эх! Залетные!.. – с берега вмах пустил коней Силин и вытянул бичом барабановского гнедого, шедшего «гусевиком». Он недолюбливал этого коня, как и самого Федора.

«Славно!» – думал Оломов. Он объехал все китайские лавки от Хабаровки. Везде ему давали взятки и подарки, но Гао оказался щедрей всех. И эти сигары! «Эх, если бы меня назначили в область,

где не было бы русских, а были б одни китайцы!» – кутаясь в шубу, мечтал пьяный исправник.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Пришла почта. Из кошевки, сбросив меховое одеяло, вылез Иван. Он без шубы, в старом пиджачке.

– А где же твое имущество? – спросил Егор.

Рыжебородый, в высокой шапке и рыже-белой собачьей шубе, Егор Кузнецов, казалось, стал вдвое больше. Иван увидел его еще издали. Светлым пятном бродил Егор по релке перед черным лесом.

– Я нынче все продул дочиста, – ответил Бердышов.

– Что так? – удивился Егор и не мог удержаться – улыбка поползла по губам.

– В карты играли, и все, что у меня было, спустил до нитки. Вот погляди, в чем я есть, – ни денег, ни мехов, ни товаров. Беда, шубу продул и даже собак. Хабаровка – самое разбойничье место.

О своем проигрыше Иван рассказывал хотя и с горечью, но усмехаясь.

«Ну, теперь конец его торговле, – подумал Егор. – Враз он разбогател и враз прахом пустил. Как, говорят, пришло, так и ушло».

Гольды приезжали к Ивану. Из остатков прошлогодних запасов он угощал их так, словно был еще богат, но денег за пушнину не платил, откровенно признаваясь, что у него их нет. Но гольды, как видно, надеялись, что Бердышов вывернется и все останется по-прежнему.

Как-то раз Иван, одетый в старую овчинную шубу, пришел вечером к Кузнецовым. Он сел на пол у порога. Анга вошла следом и, держа на коленях девочку, устроилась на табуретке. Она любила послушать рассуждения мужа.

– Я в Хабаровке отца встретил, – сказал Бердышов после длительного молчания.

– Когда продулся-то? – спросил Кондрат.

– Нет, еще до того...

– Ну и как он?

– Еще ладный. Он зимует в станице выше Хабаровки, у брата. Приехал летом, да ходили куда-то, задержались, и уж шуга прошла.

– Не ругал он тебя?

– Как не ругал! Че он – не отец, что ли, мне? Паря, еще и за волосья хватал.

– Что же ему не понравилось?

– Да что столько лет пропадал, не объявлялся.

– Неужто бил? – не верил Федька.

– Как же! Все доказывал, что живу неправильно. У меня здоровый отец. Обещал к нам приехать. Он далеко живет, в Забайкалье. Наезжал гостить к брату Мишке в станицу, и они на два дня являлись в Хабаровку. Отец смолоду всю жизнь хотел на Амур, а не ужился. Вернулся домой на Шилку.

– А брат?

– Брат – атаман в станице. Он всегда ленивым был, ему начальником подходяще.

– Ты не ладишь с братом?

– Пошто не лажу? Нет, мы с ним дружно живем. Это у нас, у забайкальцев, так уж заведено: будто бы ругать друг друга, просмешничать ли... Отец-то мой эту землю завоевал, все в нее стремился, ругал свое Забайкалье, говорил: «Камень один, больше нет ничего». А оказалось, обратно потянуло на камень-то. Пожил тут и опять вернулся в свою деревню... Скажи, зачем человек всю жизнь стремился?

– Не себе хотел – детям.

– Верно, для людей получилось, – молвил Иван.

– А кому ты проиграл?

– Всем понемножку. Китайцу Ти Фун-таю – в Хабаровке, есть такой лавочник; Рубану, Кешке Афанасьеву. Ты его знаешь, Кешку. Он с вами на плоту ехал. Паря, благородная компания собралась! – Иван помолчал и усмехнулся. – А я рад, что проиграл. Лучше! Опять стану вольным человеком, охотником.

– Я и то замечаю, что вместе с собаками в нарты впрягаешься, – сказал Федюшка.

– Обеднел! Хорошего-то мало в торговле: крупу гольдам развешивать, с тряпками возиться, обманывать приходится... Эх, Егор, будем мы с тобой пахать, охотиться, рыбачить!

Но Егор не верил Бердышову. Он чувствовал, что Иван вряд ли смирится. Не такой он был человек, чтобы отступаться.

– Бедный стал, чего запел! – посмеялся Силин. – Вот я теперь припомню тебе все!..

– На охоту теперь опять пойдем вместе, – смущенно смеялась Анга.

Она была оживленна и радостна. Ей казалось, что Иван стал ей таким же близким, как раньше.

– Отторговались!.. – качала головой Наталья.

По вечерам Иван, как бывало прежде, сидел допоздна у Кузнецовых, беседуя о жизни.

– Ты опять как свой стал. А то было отдалился, – говорил ему Барабанов.

– Значит, когда я торговал, то вам все же обидно было?

– Да кому как. А мне ты завсегда приятель – хоть богатый, хоть бедный!

Гольды ругали Ивана, что не торгует.

– Пусть ругаются, я хочу в жизни пожить вольно. Пусть бедно, но вольно, – говорил Иван. – Трусы бедности не терпят, а я сам себя прокормлю. Торговля-то кабалит. Если по-настоящему торговать, надо целую войну вести, башку большую на плечах иметь, видеть все, что впереди и на стороне, а я теперь отдыхаю, – кутался Иван в свою рваную овчинную шубу и ухмылялся. – Завтра вместе на охоту пойдем.

– Как в первый год у нас стало, – говорила Наталья. – Так же люди собираются и беседуют душевно. Только тогда в бедности мучались, а нынче полегче.

Егор помалкивал. Его занимало, чем все это кончится.

* * *

– Иван обеднел! – торжествовали торговцы.

Они навели справки и убедились, что это так. Судьба покарала его за преступление. Возмездие свершилось!

Гао решил съездить к нему. Он полагал, что сейчас представляется удобный случай. «Теперь вся огромная торговля Бердышова может перейти к дому Гао. Потерпев крушение, Иван сразу получит второй удар. Надо испугать его. Человек должен сникнуть. Попробую этот старый, угодный обществу путь... Бедные всегда трусливы. А богатый, вдруг ставший бедным, должен оробеть еще

сильней. Если бы Иван остался богат, я искал бы его дружбы. Но когда он обеднел, его надо добить, чтобы не было опасных примеров. Пусть торгуют из русских другие. Рядом с ними я всегда в выгоде...»

Нарты Гао вихрем мчались по дороге, укатанной почтой и обозами. На сугробах струйка снега ударяла в лицо, и тогда Гао закрывался пушистыми мехами выдр. Он мог терпеть любой ветер, не боялся мороза, но он видал, что богачи прячут лица в дорожные меха, и ему казалось, что, разбогатев, он стал так же нежен, как и они.

«Да, надо добить Ивана! Исправник не пожалует его...»

С убийством Дыгена Оломову было много хлопот. Он простил преступление богатому, сделал вид, что ничего не знает, но бедняку не позволит быть преступником. «Даже я не упущу случая...»

Гао приехал к Бердышову. Он явился в блеске шелков, весь в выдрах. Курма, пышная шапка, сияющее холеное лицо, блестящие черные глаза – во всем было довольство.

– Можно?

– Можно.

– Подериза не буду? – насмешливо и дружески спросил он.

– Нет, драться не буду, заходи, – засмеялся Иван.

«Чем ты меня теперь угостишь?» – подумал лавочник.

«Зачем, он приехал?», – подумал Бердышов.

Иван достал из старого ящика бутылку сладкого вина.

– Церковное вино! Знаешь – церковь?..

Гао с наслаждением выпил два стакана. Он был в ударе. Он чувствовал силу, гибкость, ловкость своего ума. Казалось, ничего невозможного не было сейчас для него.

– Меха у Покпы купил?

Бердышов махнул рукой.

– Что вспоминать!

– Как торгуешь? Зачем подериза! – воскликнул Гао. – Я такой человек, драться не люблю. Торговое дело тоненькое. Надо хорошо делать. Ты, если дерешься, торговать не можешь!

Гао тонко улыбался, подергивался и покачивался, как бы в такт какой-то музыке.

– Если бы я взялся торговать по-твоему, ты бы первый не рад стал, – ответил Бердышов.

Гао испытующе зорко посмотрел на него.

– Я раньше не дрался. А потом, глядя на тебя, драться научился, – продолжал Иван.

– Что ты говоришь!

– Насмотрелся, как ты гольдов лупил. «Надо, – думаю, – с умных людей пример взять».

Иван подлил Гао вина. Собеседники снова выпили.

– Какой ты хитрый! Терзаешь гольдов, орочен. А случай выйдет, и с меня шкуру сдерешь – это ничего. А тебя тронь – обида!.. Торгашей бить нельзя? Надо тоненько с ними?.. Нет! – вдруг вскочил Иван. Он распахнул куртку, свирепо глянул исподлобья. – Я всех согну здесь в бараний рог! – вытянул Иван жилистую руку с мохнатым кулаком. – Ты там объяви. Я знаю, что ты старшина, начальник. Всем объяви, что я их возьмусь подряд мутить... Я из вас таких же черепах себе понаделаю, как вы из гольдов!

– У тебя силы нету! Зря поговоришь! – «Сейчас я его ошеломлю», – подумал купец и льстиво улыбнулся. – Моя хочу помогай, – таинственно зашептал он. – Слышал, как Дыген помирай? Полиция все знает, – уверенный, что смутит Ивана, продолжал он. – Разве ты беды не боишься? Может быть большая беда!

Иван прищурился.

– Когда-то их тут было двое – Дыген и твой отец, – заговорил он. – Гао Цзо помер, а Дыгена ухлопали. За отца ты остался. Теперь, гляди, очередь за тобой.

Торговец опешил.

– Смотри не попадись тем, кто хлопнул Дыгена, – говорил Иван. – Трудно ль лишней пуле найтись? Сколько их было? А? Когда их били, я семерых насчитал. Прилетит восьмая, что тогда делать? Примерно вот из этого винчестера, – протянул Иван руку и усмехнулся, глядя, как испуганный купец вскочил с лавки.

– Ты чего боишься? Ты сиди... Вот лепешки сладкие... Ну, а праздник скоро у вас? Или уж отпраздновали?.. Ты чего трясешься, паря, заболел? Еще никто тебя не бьет? Не бойся, я сам тебе приятель и всегда тебя выручу. Я слышал, что тебя беда ждет, что Дыгена хлопнул твой младший брат Мишка. Тоже полиция узнала про это. Говорят, из-за баб они поссорились. Верно, нет ли?

Гао вспомнил про какие-то дела, стал любезно прощаться и живо собрался домой. Но Иван не отпустил его, не угостив чаем.

«Нет, – рассуждал Гао, несясь верхом на нартах по льду и уж не думая кутать лицо в меха, хотя жгучий ветер дул навстречу, – наше общество не хочет ничего видеть! Общество чтит меня, но не все может понять, что я думаю. А я не говорю им, потому что всегда помню пословицу, что дракон на мелком месте смешон даже ракушкам... Может быть, дружбу с русскими надо начинать не так».

Дневной свет слабел. В небе проступила бледная луна в пятнах, как потрескавшееся голубиное яйцо.

«Иван не беден. Тигр только играет. Иван – тоненький человек, как настоящий китаец! Быть может, надо искать с ним дружбы? С ним в первую очередь?»

Вечером Иван опять гостил у Кузнецовых, но на этот раз душа Бердышова была беспокойна. Возвращаясь ночью от Кузнецовых, он думал, что дело плохо. Иван не жалел проигранного, хотя спустил все, что было. Сегодня перед Гао ему впервые не хотелось признаваться в проигрыше.

Бердышов вспомнил, что обязался поставить американцам большую партию мехов. Дел было множество. В городах налажены отношения с купцами, там ждут его весной. Здесь, по окрестным деревням, в торговые отношения втянуты все охотники. Идет целая торговая война из-за гольдов и орочен. В лавку приучены ездить сотни людей. Бросить все – значит струсить, разлентиться.

«Ну, хватит баловать, впрягайся!» – сказал он себе.

Иван зашел в избу. Анга засветила лампу. На лавке лежал Савоська. Иван растолкал его. Сели ужинать.

– Савоська, завтра бери моих собак и дуй по всему Амуру – в Мылки, в Хунгари, к себе в Бельго. Объявляй, чтобы тащили мне соболей, как албан, – по два меха с головы. А мы наловим калуг, сохатина есть – устроим угощение.

– Давно бы так! – обрадовался Савоська.

Он и сам испытывал недостатки от Иванова проигрыша. Ему совсем не нравилось, что Бердышов обеднел. Старик давно подумывал о том, чем бы помочь Ивану.

– Я их напугаю! Знаю, что сказать! – восклицал Савоська. – У-ух!.. Еще богаче будешь! Нынче соболей много, хорошая охота. Тебе все верят. Знают, что не обманываешь. Ладно! Я всегда говорю: без обмана лучше жить.

– Да скажи, что кто не привезет, тому мало не будет! Я нынче вспомнил. У нас в Расее был начальник: как проиграется, так гонцов вышлет по всему Забайкалью. Приказывает с каждой овцы прислать по клоку шерсти. И сразу все вернет. Еще богаче станет! И людям не шибко убыточно...

* * *

Утром Айдамбо приехал к Бердышову. Он еще ничего не знал про Иванов проигрыш.

– Я хочу жениться на Дельдике! – с чувством сказал он.

– Ты еще молодой, – ответил Иван.

– Но я самый лучший охотник! – воскликнул Айдамбо.

– Я этого не знаю.

– Как не знаешь? А это что?

Айдамбо достал из мешка соболей.

– Это ты сам добыл?

– Конечно, сам! Бабушка, что ли?

– Да, я еще слышал, что ты скупой. Как же жениться скупому?

– Кто скупой?

Айдамбо выворотил весь небольшой, но драгоценный ворох пушнины и с презрением кинул Бердышову на стол.

– Ну, теперь девушку отдашь?

Иван молча забрал меха, смял и, не глядя на них, отбросил в сторону, будто это были старые тряпки.

– Верно, девчонка хорошенькая, – сказал он наконец, – но только когда ей будет семнадцать лет, тогда отдам. Тому отдам, кто привезет хорошие подарки.

«Что же ему надо еще?» – думал Айдамбо.

Дельдика, слушая весь этот разговор, невольно вздохнула. За последнее время ей стал сильно нравиться Айдамбо. Она забывала свою детскую дружбу с Илюшкой.

– Ну, а если я стану русским, тогда отдашь? – в отчаянии спросил Айдамбо.

Иван засмеялся.

– Тогда отдам! Попробуй стань русским!

«Но как стать русским? Даром, наверно, никто русским не сделает?» Айдамбо решил, что надо снова идти на охоту, добывать меха, пока звери еще не линяют. Но ему хотелось хоть немного побыть с Дельдикой. Выйдя, он пожалел, что погорячился, кинул меха, не уговорившись о цене. Но он надеялся, что Иван не обманет.

* * *

Савоська объехал всю округу. Несмотря на яростные старания купцов распусть устрашающие слухи об Иване, их никто не слушал, гольды по приглашению Савоськи съехались к Бердышову со всех деревень.

Улугу первым привез албан. Он знал, что Бердышов убил нойона. Это было важнее всего. Знал он также, что Иван не насилует детей, не бьет и не отбирает жен. Это же знали и все другие гольды. Савоська так расписал про беду Ивана, что всем захотелось выручить его.

Старая изба Бердышова полна народу. Тут и Бельды, и Сойгоры из Мылок, и все бельговские.

Иван сидит в богатом гольдском халате с сероглазой дочкой на руках.

– Ну, что нового? – спрашивает он гостей.

– Наса-то какой нова! – кричал Писотька. – Тайга-то сыбко холодно нынче.

У многих гостей лица обморожены. У Писотьки на щеках черные лепешки.

– Ну, а как там Денгура?

– Его совсем больной. Собаки его, однако, две версты волоком тащили.

– Вот будет знать, как свататься! Ты ему скажи, чтобы он ко мне приехал.

– Ну, а ты нам расскажи це-нибудь, – просил Писотька. – Це нова Николаевское-то Хабаровке?.. Ты теперь наса купец, как придес, должен говорить, где це...

Гольды засмеялись, повторяя:

– Купес! Купес!

– Таргаса! – крикнул Дандачуй. – Хоросо говорить, у-у, сыбко хоросо надо!

– Ну це, как там?.. Це слыхать? Царь-то батюска? Какой Миколавским слух был – негра цернаго видал, нет ли?

– В Петербурге был смотр войскам, – стал рассказывать Иван.

Он взял пример с китайских торговцев. Когда интересных новостей не было, он рассказывал старые сказки, переделывая их на ходу, или сообщал слышанные в городе политические новости, до которых гольды всегда были большие охотники.

– Че солдат рассказывал?

– Ага, солдат!.. Петербург знаешь? Так приезжал туда в гости к нашему царю немецкий император. Это у них омуту^[51] царь. И вот смотр войску устроили. Сперва перед смотром был молебен. Тысяча попов богу молилась, пели поповские песни. Молебен такой служили.

– Батька такой? Такой поп?

– Архиреев собралось со всех областей, наша земля нескончаема.

– У-у! Расея-то! Церт ё знат! – соглашались гольды.

– Ну вот, молебен окончился, и генералы разбежались по местам.

Министр военный подает команду...

– Министр цо таки? – спросил Писотька.

Иван говорил то по-русски, то по-гольдски.

– Войско колыхнулось, музыка заиграла, забили барабаны, земля затряслась!.. – Иван вскочил и, с силой взмахивая ногами, ступил несколько шагов. – Вот так шагают, стекла на втором этаже звенят, это идет гвардия! Ну, и пошло и поперло!.. Идут и рекой и по берегу – все заполонили. Штыки блестят, как Амур течет. Все, что в городе было, прошло... А царь поглядывает за немцем, за императором-то, как, действует ли на него, нет ли? Видит, еще нет. Ну, государь махнул платочком: «Пусть, дескать, с тайги еще войско выведут». Ну, и опять повалило... Ну, беда!.. Генералы считали, считали – им цифири не хватило. Они друг на друга стали раскладывать, и опять не хватило. Немец говорит: «Паря, русские бабы дивно сыновой понаделали». А русские все идут и идут, а ряды широкие – и солдаты, и казаки на конях, и пушки на баржах тянут. Они за городом, на озере, спрятаны были. Там такое здоровое озеро – царева рыбалка, никого туда не пускают без дела. Кто заедет ловить, невод отберут и надают горячих.

Немецкий-то император глядит – дело к ночи. Он позевывает и чего-то от музыки на одно ухо плохо слышит. А уж вовсе темнеет. Он и говорит: «Докель же оттуда, из этой тайги, народ валить будет?» Наш-то царь подзывает генерала и говорит: «Сибирское-то войско пошло, нет ли?» – «Нет, – говорит генерал. – Главное-то не тронулось, только расейские одни, да и то не все. Куда там!..» Генерал старый, с усами, – знает, что ответить!.. Наш-то царь немцу и сказывает: «Тогда, мол, прервемся, а то спать не придется. У нас в тайге еще дивно народу, за каждой лесиной по солдату. И все охотники: как стрелит, так прямо в переносицу гадает». Ну, немец-то и говорит: «Признаюсь, ваша сила здоровей».

– Ух, хо-хо! У-у! А-на-на! – закричали обрадованные гольды. – Церт ё знат! Немец-то говорит: не могу воевай!

– Ванча, наша сила большо-ой!

– Китаец-то говорит: у него народу много, как думай?

– Русский, знаешь, хлебный человек, отчаянный!

– У нас народу больше!

– Пускам ли, рузьям палить – хоросо могу!

Гольды долго еще кричали на все лады.

Айдаambo между тем с немим восхищением все поглядывал на Дельдику.

– Что ты им рассказываешь? – спросил Тимоха Силин, зашедший поглядеть, что тут за сборище.

– Да вот учу про царя, – отвечал Иван, – чтобы знали, какая у русских сила, царя бы хвалили, да и меня боялись, тащили бы меха. Надо с кого-то проигрыш взыскивать. Не с тебя же?!

Васька Диггар, приехавший с Горюна, захмелел и подсел к Ивану. У него острый голый подбородок, острый горбатый красный нос, скуластые красные щечки, лицо безбровое и карие глаза без ресниц. Он верткий и болтливый.

– Продай Дельдику, – попросил он. – Мне! Обязательно!

– Кому?

– Мне!

– Когда семнадцать лет будет, тогда пойдет замуж. По русскому закону еще мала, нельзя отдавать.

– У-уй! Я же тебе много мехов дам.

Айдаambo с ненавистью наблюдал за Васькой.

– Ее много народу сватает, – сказал Иван, – но не знаю, кому отдавать придется.

– Хитрый! А-ай! – восклицает Диггар. – Дразнишь всех. Отдай...

– Да какой же ты жених? Эх, ты!

Иван потрепал его рыбокожий халат и начал его высмеивать. Смущенный такими шутками, Васька убрался прочь, чувствуя, что некстати начал: он легко отступался от своих намерений.

Айдамбо пытался что-то сказать ему, но Васька не захотел разговаривать и отвернулся.

– У тебя собаки плохие! – крикнул ему Айдамбо. – Я тебя на своих всегда перегоню.

Васька вспылал:

– Что ты сказал?

– Ну, давай наперегонки!

– Моя упряжка сегодня с Горюна прибежала, сильно утомилась. Мои собаки лучше... Твои плохие!

– Твои собаки уже отдохнули. Я тоже вчера издалека приехал.

– Тебе дорога знакомая.

– Если ты обгонишь, я всех своих собак из ружья убью! – со страстью воскликнул Айдамбо.

«Ах, какой он гордый! – подумала Дельдика. – Но как жаль, что грязный ходит, с косой и в рыбьей шкуре!»

Молодые гольды уехали на озеро устраивать гонки.

– Девушка хорошая, – ласково обнимая Дельдику и похлопывая ее по спине, говорил Бердышов. – Только давно мне за нее никто подарки не несет. Я, однако, сам на ней женюсь.

– Эй, не женись, не женись! – закричали гольды, видя, что Иван обнимает девушку.

У них существовало многоженство, и они принимали слова Ивана за чистую монету.

– Я привезу тебе подарки! Панты привезу. Отдай мне! – пропищал Писотька.

– Нет, однако, сам женюсь, не утерплю, – продолжал Иван.

Девушка, краснея, старалась отстраниться от него.

Анга не сердилась на мужа, хотя была ревнива. Ей и неприятно было, что Иван так ласкает девушку, но она знала, что он хочет снова разбогатеть и пугает женихов Дельдики, чтобы везли подарки.

– Совсем не как отец обнимаешь! – кричал Писотька.

Среди гостей появился Денгура.

– Ну, ты поправился? Тебя, говорят, собаки разбили? – спросил Иван. – Я слышал, ты больной и помираешь?

– Выздоровел! – отвечал старик.

Высокий, худой, с острой головой и крупным носом, Денгура в своем толстом ватном красном халате выделялся из всей толпы.

* * *

– Отдай за меня дочь Кальдуки, – попросил Денгура, когда все разъехались.

– Ты что, опять жениться задумал?

– Конечно! Чем я не жених? Деньги есть! Халаты...

Серебряные серьги украшали большие черные уши Денгуры. На руках старика – браслеты и такое множество перстней, что пальцы его, как в кольчатой серебряной чешуе.

– Да, ты хотя и старик, но крепкий, – говорил ему Иван. – Да еще и не сильно старый. Сколько тебе, седьмой десяток? Пустяки! Еще кровь играет!

– Отдай ее за меня!

Иван взглянул на него с деланным удивлением.

– Что же ты ко мне приехал? Ты езжай к Кальдуке.

– Можно? – обрадовался старик.

– Конечно, можно.

– А ты мне поможешь?

– Конечно!

– Спасибо тебе, Ваня! – Денгура был глубоко тронут. – Шибко мне дочь Кальдуки нравится. Тебе буду богатые подарки таскать.

– Вот и на здоровье, если нравится.

– Че, Ваня! Верно! – пьянея от счастья, воскликнул Денгура. – Говорят, русские нынче тоже женились?

– Женились.

– Я слышал. И я хочу!

– Верно! На людей-то глядя. Чем ты хуже! Но только ты никому не говори, что я тебе буду помогать. Я так все сделаю, что на будущую

зиму она станет твоей женой. А пока придется тебе подождать. Но сначала съезди к Кальдуке.

– Я уж ездил!

– А ты скажи, что я согласен.

Белые собаки помчали Денгуру в Бельго. Старик сидел на ковре, поджав ноги. Погонщик гольд бежал рядом с собаками, покрикивая на них.

– Еще старого порядка у них вроде придерживаются, – сказал Иван жене. – Гляди, как они старосту возят.

Гольд все бежал вровень с собаками.

– И не отстают. Вот бегун!..

* * *

Когда Кальдука гостил у Ивана, он не поминал про сватовство Денгуры. «Сейчас все меня уважают, – думал он, принимая подарки, угощения. – А если я скажу про Денгуру, станут насмехаться, могут еще вспомнить, как собаки убежали за зайцем, и хоть я не виноват, но и меня как-нибудь приплетут. Довольно насмешек! И так всегда издеваются...»

В глубине души Маленький все-таки сожалел, что сватовство Денгуры, которое так хорошо началось, неожиданно нарушилось. Старик обещал большой калым, можно было бы заплатить долги и пожить сытно. Денгура – человек богатый, степенный, не то что молодые женишки, живущие тем, что сами бегают в тайгу.

И вот вдруг Денгура снова примчался в Бельго. В память былых лет Кальдука встал перед ним на колени.

– Я на сватов не надеялся, – говорил Денгура. – Обманщиков много развелось. Даже старик стал обманывать. Я сам все лучше сделал. Сам сговорился с Иваном.

Кальдука и Денгура на радостях обнялись.

– Хорошо, что Иван надумал так благородно поступить, – со сладкой улыбкой говорил Кальдука, покуривая душистый табак купца.

Ему, однако, не верилось, что Иван так быстро решает отдать Дельдику. «Не обманывает ли Денгура? Он в старое время всех путал. Может, вспомнил, как начальником был».

– Поедем к Ивану! – воскликнул Кальдука. – Там обо всем хорошенько договоримся.

Кальдука стал проворно собираться. Он заискивал перед Денгурой, хихикал, круглая головка его с седой косичкой на слабой, морщинистой шее тряслась от волнения. Он желал поскорее узнать, не надует ли его почтенный гость.

Денгура остановил Кальдуку и опять, как в прошлый раз, велел своему работнику позвать торговцев. Пришел Гао-толстый. Денгура приказал принести для Кальдуки риса.

«Да, пожалуй, верно, жениться задумал, если делает такие затраты, – соображал Маленький. – Или еще хуже обманывает?»

– Сейчас поеду на Додьгу! – Маленький побежал закладывать собак.

Из лавки выскочил младший торговец.

– Он еще даст тебе много товаров, деньги даст, – говорил он. – И если ты не дурак, попроси Денгуру скорее заплатить за тебя половину долга в лавке. Хорошенько попроси, он все тебе сделает. А то буду бить тебя, как паршивую суку!.. Весь долг не проси, только половину, хотя бы половину!

Торговец не хотел, чтобы сразу был уплачен весь долг: это было бы невыгодно. «Тогда нельзя будет, – рассуждал он, – подурочить Кальдуку! А половина может оказаться не меньше всего долга! Надо только уметь торговать! К тому же Денгура очень богат, а свадьба – это подарки, угощения. Да еще другие будут покупать. Все так напьются, что пойдут с просьбами в лавку, и тогда к их долгам можно приписывать сколько хочешь. Пьяные будут! Потом на это сошлемся, когда станут спорить, что много за ними записано: ничего вспомнить не смогут!»

– Не забудь, что мой старший брат помог тебе, – наговаривал торгаш. – Это он потребовал от Денгуры большой торо для тебя. Помнишь?..

Кальдука в рваной шубе нараспашку, стоя на полозьях нарт, помчался на Додьгу. За ним летела упряжка белых псов Денгуры. В отдалении лениво бежали три собаки, волочившие нарту с девками. Дочери Маленького поехали повидать сестру.

– Девку отдавай, пожалуйста, – попросил Кальдука, явившись к Бердышову.

– Твоя девка, ты ее и отдавай, – ответил Иван.

– Так можно брать торо? – в восторге воскликнул Маленький.

– А что он дает тебе за нее?

Кальдука расплылся. Он заговорил про выкуп за невесту. Счастливая хитрая улыбка не сходила с его лица. Так приятно было перечислять котлы, халаты, материи, разные дорогие вещи, которые станут собственными.

– Ну, все это пустяки, мало дает! – сказал Иван. – Я смотрю, Денгура, ты невесту хочешь даром взять.

Богач растерялся. Кальдука Маленький, чувствуя поддержку, закричал.

– Верно! Торо плох, мал!..

Начался спор.

– Долги за меня заплати! – осмелел Кальдука. – Хотя бы половину...

Бердышов сказал Денгуре, что согласен отдать за него дочь Кальдуки, но при условии, если о сговоре никто знать не будет и если Денгура согласится ждать свадьбы и вдвое увеличить торо.

– Но только еще через год. До этого никто знать не должен.

Долго спорили.

Наконец Денгура поддался.

– Теперь зови невесту, – попросил он.

– Э-э! Нет!

– Дай хотя бы поговорить с невестой... Посмотреть на нее. Ведь даю такие деньги! – говорил Денгура.

– Нельзя...

– Но ведь я жених...

– Вот, гляди в окно. Видишь, она гуляет с сестрами. Та, которая в салопе. Вон в бархатном!.. Что, хороша?

Дельдика с сестрами гуляла по релке. Косая Исенка и Талака подхватили ее под руки.

– А разговаривать с ней не смей, а то испортишь все дело. Только знать можешь, что она твоя будет. Должен понимать! И молчи. Я отдам ее тебе на тот год, и, паря, так устроим, что всех одурачим.

Услыхав, что Иван ради него хочет всех обмануть, Денгура обрадовался. Он полагал, что лучший человек на свете тот, кто ловко обманывает.

– Только молчи! Я тебе скажу по душам: она девочка, а ты старик. По русскому обычаю это нехорошо. Но уж если надо тебя удовлетворить и выручить Кальдуку, то я постараюсь.

– Надо скорей! – просил Кальдука.

– Нет, скорей нельзя. Я до тех пор не выдам ее замуж, пока всем не будет видно, что по-другому нельзя поступить. А как я это устрою – мое дело!.. Как раз год пройдет, не меньше. А ты, Кальдука, бери торо. Но молчи! А если обмолвишься, свадьбе не бывать. Весь торо придется обратно отдать.

Гольды уехали.

* * *

– Савоська, а ты у Туку был? – спросил Иван, нахмурившись.

– Был!

– Велел ему дань мне привезти?

– Велел.

– Почему же он не привез?

– Не знаю, что такое.

– Он, наверно, не любит меня. Не хочет, чтобы русский купец хорошо торговал. Наверно, доволен, что меня обыграли. Продался Ваньке Гао?

Бердышов решил проехаться по деревням и расправиться с теми, кто не привез ему дани.

Иван и Савоська приехали к Туку. Это был охотник, живший с семьей в Мылках.

– Ты почему албан не привез? – спросил Иван у гольда, состроив страшную рожу.

Дети Туку закричали и заплакали, видя, что их отца хочет обидеть чужой человек.

– Тебя сейчас повешу! – спокойно сказал Иван. – Савоська, принеси веревку.

Бердышов схватил Туку под мышки. Туку забился, как пойманный зверек.

– Отда-ам... Сейчас все отда-а-ам! – завопил он.

– Нет, теперь поздно!

– Отда-а-ам! – плакал Туку.

Савоська принес веревку и стал со слезами на глазах просить за гольда. Сбежались все жители Мылок.

Но Иван, к ужасу детей, накинул старику петлю на шею.

Савоська схватил Бердышова за руки.

– Не смей! – закричал он.

– За тебя просит, – ухмыльнувшись, сказал Бердышов. – Но помни мое слово: если кто-нибудь не исполнит того, что я велю, – того повешу! И всем так скажи. – Он больно хлестнул гольда веревкой по спине. – Да помни в другой раз, если велю привезти налог, старайся! Захочу – могу тебя повесить! Буду собирать дань – все должны платить!

– Вот хорошо, Ваня, что не вешал его! – радовался Савоська, когда уехал из Мылок и снег на крыше дома Туку слился с сугробами. – А то нехорошо сказали бы про тебя, что ты, как Гао.

– Без строгости тоже нельзя, – отвечал Иван. – Я должен торговать. Значит, другой раз надо и побить должника и веревкой ему пригрозить. Пусть знают, что, если не угодят, им попадет! А может, и на самом деле удавить кого-нибудь придется, – усмехаясь, сказал Бердышов. – Кто грязного дела боится, паря, тому богатым не быть. Я всегда стараюсь помочь людям. Они это видят, ко мне идут и продают мех а подешевле, лишь бы с хорошим человеком побыть. Так что хорошим человеком быть выгодно. За меха приходится платить дешевле! – усмехаясь, говорил Иван. – А кто не верит, что я хороший, – тому бич и петля!

После этой поездки Ивану доставляли все новых и новых соболей, выдр, лис, рысей. В солнечный день он возился у своего свайного амбара.

– Ну как, вернул богатство? – подходя, спросил Егор.

Иван засмеялся, открыл дверцу. Черные хвостатые соболя висели плотными рядами.

– Все вернул, да еще с прибытком! Амбар трещит!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ветер бушевал с такой силой, что проснувшейся Настьке казалось, будто леший чешется боками о бревенчатые стены избы. Со страха девчонка полезла к матери и обняла ее покрепче. Ветер гудел, бил в передний угол избы, потом так загрохотал, словно где-то покатались бревна.

Егор проснулся раньше обычного.

«Всю весну дуют сильные ветры, – думал он. – Земля эта мокрая, жесткая, жить на ней трудно. Отец говорит, потому она и была свободна. Никто тут жить не хотел. Зимой ветры и летом ветры. Ветер сожжет, иссушит. Может, и вовсе выдует мою землю? Вот я трудился со всей семьей и поселил здесь сыновей, а что это за место, толком не знаю. Первый год пришли – осмотрелись. Другой год кое-что собрал. На третий год ярица, гречиха, овес ладно вызрели. Земля стала помягче, стала родить. Первые-то годы хорошо родить должна, а что дальше будет, как узнаешь? Вот мы все болот боялись – стали на юру пахать. А может, и зря? Ветер наверху-то. На низу топь, а вверху – ветер. Как хочешь, так и живи. Хочешь вольной жизни, ступай, ищи такую землю, возделывай ее. Так уж заведено у людей: хочешь воли – сам себе ее произведи. Покажи, что ты можешь, тогда и другие люди в твою вольную жизнь поверят. Начни новое и на этом месте. Верить надо – за труды бог воздаст нам...»

Утром вся семья шла на работу. Голые вершины лиственниц в сумрачное ветренное утро торчали над лесом. Переселенцы жгли костры, корчевали, шире расчищали свое поле. Как-то тяжело было на душе у Егора. «Быть не может, чтобы такой великий труд мы положили зря! – рассуждал он. – Но выдуть нашу пашню может. Вон как крутит, прямо на глазах метет с нее».

Сердце Егора словно обливалось кровью. «Неужели я напрасно здесь поселился?» – приходило ему на ум. Но он убеждал себя: «Нет, ничто зря не бывает, и я не должен отступить. Раз приведен сюда человек такой, как я, что не могу бросить дело на полдороге, значит, тут я и должен все исполнить, осилить эту топь да чашу, разделить ее».

Егор разгибался, оглядывал громадную реку, полную плывущих льдин. «Неужто здесь нет никакой мне подмоги?»

Леса, воды, льды – кругом была пустыня. Но сам он бодрил семью, утешал всех, подавал пример труда и терпенья, никому не выдавал своих дум. Он как бы все грехи и сомнения брал на себя. Семья, казалось, была спокойна.

Только дедушка Кондрат замечал, что у Егора неладно на душе. Он не ведал причину Егоровых забот. Старик привык видеть много недостатков здешней земли. Она ему до сих пор не нравилась. Но дед надеялся, что его-то сын Егор уж должен с ней справиться.

– Эх, Егорушка, родимец! – изредка приговаривал он.

По труду Егора дед видел, что у того есть надежда.

«Да, никто тут жить не хотел, – продолжал свои думы Егор. – И вот эту землю, что никому не нужна была, мужик дерет, пашет, сушит и превращает в богатство. Поднять бы эти земли, завести на них все, что есть в жилых краях, вырастить детей!.. Ладно, что хоть подкармливает тут нас тайга мясом, заработок дает, но надеяться на охоту нельзя, а то изнищаешь и будешь гол, как гольды».

Егор, как и все мужики, ловил лис вблизи деревни. Бывало, попадались ему и чернобурки. Силин в эту зиму добыл двенадцать лисьих шкур. Но никто из крестьян не хотел жить только пушным промыслом, хотя дело это казалось доходным. Каждый на деньги, добытые от продажи мехов, старался улучшить свое хозяйство, больше распахать пашни, набраться силы самому, чтобы летом работа спорилась.

– Я тут оздоровел на зверях-то! – говорил Тимошка.

К весне все крестьяне выглядели бодрей, чем, бывало, в эту пору на родине.

«Дома мы зиму сидели другой раз без дела, – вспоминал Егор. – Были в кабале. А тут лови рыбу, гоняй почту, бей зверей. Зимой занятия денежные. Да вот и весна...»

Тут Егору вспомнилось, как Барабанов уверял его, что справедливой жизни и тут не бывать, что земля на Амуре плохая, и если казна не даст помощи – народ пустится в грабежи и торгашество.

Федор полагал, что так и надо делать, – пусть все видят, какие тут тяготы и мучения.

– Они, окаянные, гнали нас сюда, думали, поди, что мужик им пятерней расковыряет эту топь да камень, – таковы были обычные речи соседа. – А мужик-то желает себя вознаградить. Он себе найдет

тут занятия!.. И никакой новой жизни быть не может. Попробуй укрась эту землю, заведи в ней справедливость! Приедут и сядут тебе на шею, найдутся душегубы! Они только и следят, не завелось ли где что. Нет, Егор, ты ее укрась, эту землю, да так, чтобы никто не видал. А лучше себя самого укрась, свой карман, брюхо наешь потолще, чтобы видели, кто ты такой есть! По брюху-то сразу видно, кто умен, а кто глуп. Живи так, чтобы себе побольше, не думай про справедливость. Все люди грешны, и мы с тобой. Значит, не мы это заводили, и не нам придется отвечать. Не губи, Егор, себя и детей! А то вот как на новом-то месте да придется им батрачить... Ты лучше уловчись и вылазь наверх, а другая волна народа дойдет сюда – ты ее мни под себя. Вот как надо! А то угадаешь под чужие колеса. Ты жалеи не народ, а себя. Пусть всякий сам о себе на новой земле подумает... Эх, мне бы твою силу! Досталась она не тому, кому надо!

Егор не соглашался с Барабановым, но и не осуждал соседа, полагал по старой дружбе, что не так он плох, как толкует, что чудит более. Ведь Федор свой брат, сам дерет чащу... Просто Федор суетливый, да и не крепок, жена его покрепче, а сам он все хочет торговлей заняться, настойчивости нет, терпения не хватает. Вот он и выдумывает. Но иногда Егора зло разбирает на соседа. Федор и в самом деле забывать начинает, что крест носит. И тогда Егор косится... А Федор, кажется, потрухивает. Бабы их бранились часто, а мужики в память совместного великого пути через Сибирь прощали все друг другу.

Егор работал, старался, сухое могучее тело его изнемогало от напряжения. А Барабанов раздобрел, сам торгашил, обижал людей, искал случая утолить свою корысть. Он давал приют беглым каторжникам и заставлял их работать на рощистях, на пашне за харчи.

– Это разлюбезное дело! – говаривал он. – Принайми и ты, Егор, бродяжек.

– Нет, мне не надо, – отвечал Кузнецов. – Я сам слажу. Подневольный человек мне не помощник, он мне только радость отравит. Я уж как-нибудь со своей семьей.

Егор знал, что жадные, хищные богачи могут завестись и здесь. Но знал он и другое: что основа жизни должна быть тут кем-то заложена не из большой корысти, а из желания жить вольно, справедливо. На это полагал он свою жизнь. Он не хотел мять под себя

других. Он желал, чтобы его род стал корнем народа, его сутью, плотью.

«Мне тошно обмануть человека, давить его. Я пришел сюда потому, что тут место вольное. Река, горы... Зверь в тайге, рыба в водах. Край неведомый – мне радость лишь одна, если я это все тут открою!.. Зачем же я стану хапать, когда я из-за хапуг старое кинул?»

Пошел, лед на Амуре. Река очистилась. Синие, зеленые и белые льдины дотаивали в переломанных тальниках. Верболоз зеленел от множества мохнатых сережек.

На новых, намеченных к расчистке клиньях еще стояла топь, торчали синие кривые акации, белые дудки трав с седыми венчиками, прошлогодняя лебеда, голые побеги осин и орешника, обвитые виноградом, как сухой бечевкой. Колыхалась трава на кочажнике. Весна, зелень, жизнь. Над рекой – тишина. В жаркую погоду из тайги тянуло свежестью.

Летели птицы. Они неслись громадными караванами и в узком месте над рекой, между каменными быками дальнего берега и додыгинским холмом, сбивались так, что казалось, стояли в воздухе сплошной тучей.

Покой и радость были в сердце Егора, когда после корчевки сидел он по вечерам у своей бездворой избы, у костра, а вдали дымилась его пашня и темнел голый лес. Две полосы, вспаханные Егором, широко разошлись по релке. Эти полосы Тимошка Силин прозвал «Егоровы штаны». Сейчас они особенно походили на бурые меховые штаны.

«Я поднял эту землю, раскрыл, раздвинул лес, словно вырыл из глуби топей пашню свою», – и Егор верил, что не зря душа его радуется после каждого трудового дня.

Шли тяжелые низкие тучи. Сопки за рекой казались маленькими буграми по сравнению с тучами, тянувшими за собой по ельнику черную лохматую проредь.

Вода все прибывала. В тайге забелели первые цветы. Ворона вылетела на релку.

«Га-га!..» И вдруг со злобой: «Кагр... кагр!» – закричала она, видя, что Егор ставит коня и соху на мокрую вязкую пашню. Васька кинул палку и попал вороне по крыльям.

На Мылке, как бы играя в хороводы, плыли табуны белых лебедей.

Лопнули почки на тополях, таволга дала листья. В берег бились волны. Прибой раскачивал наносник и карчи так, что груды их попеременно вздымались, и деревянный вал пробегал вдоль берега, пряча в себе ударявшую в берег волну. Только изредка меж бревен взлетала седая прядь с ее гребня.

По ярко-синей плещущейся реке, в волнах, тихо брел маленький пароход с большой черной баржей. Над рекой грянула солдатская песня. Подголосок лился, хватал за сердце. Переселенцы бросили работу.

– Эх, служивые! – с удовольствием говорил Пахом. – Солдатики!

– По-расейски поют!

«Солдат да мужик – вот и Расея», – думал Егор.

Солдаты долго не могли подвести баржу к берегу. Мужики полезли с обрыва, чтобы помочь. Долго кричали, махали руками, спорили и, наконец, решили поставить лодку, чтобы через нее перекинуть сходни.

– Прыгайте, – сказал Силин.

Какой-то плотный, невысокий солдат, оглядев пенившийся прибой, сильно разбежался и прыгнул с баржи прямо на берег. За ним через волны стали скакать другие.

– Ой, ноги поломают! – воскликнула Наталья.

– Вот уж расейские! Все нипочем, удалые! – заговорили бабы. – Ух, летают!.. Вон он идет, даже сапоги не замочил.

– Эх, а энтот в воду ка-ак бултыхнулся!..

«Ох, смертушка моя!» – думала Пахомова дочь Авдотья, наблюдая солдат.

– Эка! Ну, сорвиголовы!

– Куриц, Агафья, загони, – сказал Барабанов жене. – А то сейчас все разворуют. Солдат – вор... У него первое – украсть.

– Церковь строить приехали. Вот и церковь у нас будет, – сказал Егор. – Станет место жилое.

Солдаты высадились. Ветер расходился, и белые гребни волн, как белые звери, прыгали с реки на баржу и на берег. Баржа покачивалась, скрипела, стонала. Пароход ушел за остров, кинул там якорь и стал на отстой.

Пошел мелкий дождь. Мокли пашни, черная земля текла под ичигами пахарей, и сквозь нее проступала скользкая глина. Ветер

разогнал тучи, выглянуло солнце и, как бы смирняя, успокаивало природу.

– Слаба здесь земелька-то, – замечал, возвращаясь домой мимо Егоровой новой росчисти, Барабанов. – Чем выше заползаем на релку, тем земля хуже. В прошлом году драли – перегноя больше было.

Сам он новых росчистей не делал.

– На болоте мертвая земля. Вот и надо ее живить, – отвечал Егор.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

С первым пассажирским пароходом на Додьгу приехали старые знакомцы крестьян – рыжий богатырь-поп, исправник и чиновник, ведавший переселенцами, – Петр Кузьмич Барсуков.

Под берегом белеют палатки, виден шест с флагом, черная баржа стоит на якоре. Солдаты носят с нее грузы, сводят лошадей. Солдат с ружьем сидит у схода. Дымит походная кухня. Весело, многолюдно стало на релке.

Переселенцы жгут, корчуют заросли, пашут землю, врубаются в глубь тайги.

– Этот корень я не осилю, – говорит дедушка Кондрат. – Мишку бы надо. Эй, Петрован, веди медведя!

Внук побежал к избе и привел зверя. Егор вырастил медвежонка и обучил его корчевать.

Подошли поп и господа.

– Вот зверь лесной на службе человеку, братия!

– Ну-ка, Миша! – улыбается Барсуков.

Он бодр, полон той энергии, которая бывает у городских людей во время первых весенних разъездов.

Тучный исправник, приседая, уставился на зверя желтыми зрачками. Медведь налег на вагу. Громадный пень с треском поднялся, вздымая корни. Зверь с ревом подлез под него, выворотил, перевернул и злобно стал рвать корни из земли. Все смеялись.

– Ну уж это он сам! Этому я его не учил, – сказал Егор. – Умный медведь, сам догадался. Васька, поди принеси ему юколы.

Зверь сидел на задних лапах и, слюнявя сухую рыбу, толкал ее в пасть. Вокруг жались лохматые собаки и с вожделием поглядывали на лакомство, завидуя.

Барсуков дал медведю кусочек сахару.

– Ну, теперь, Мишка, пойдем лесины валить, – сказал Егор.

Барсуков покачал головой, глядя, как медведь пошел за Кузнецовым не на цепи или веревке, а послушно, как собака.

Земля оттаивала. Уже не попадалось корней со льдом. С корчевки несло перегноем, прелью березовых листьев, соками, смолой. Густо пахла лиственница, мягче, прянее – пихта.

– Дала земля запах, разогрелась, – толковал дед Кондрат барину. – Зверь корень поднял, как лежачую дверь открыл. Так и подуло, как из подполья. Конечно, видать, на этом месте ладный перегной. Вот так и лазаем по релке, ищем, где земля получше. Пашня-то, гляди, штанами и разошлась!

Солнце светило ярко, отражаясь в медных солдатских котелках. Сидя поодаль широким кружком, солдаты ели деревянными ложками кашу.

– Видали, братцы? У мужиков медведь работает, – говорил розовощекий русский солдат, тот самый, что первым прыгнул с приставшей баржи. – Зверь землю корчует, кусты рвет с корнями. Я поглядел – прямо диво! Вот приспособились!

– Ты уж, Сукнов, все разглядел!

– Разведчик, так уж и есть разведчик.

– Занятно, братцы. Зашел на берег, гляжу: земля перепахана, дымки видать, народ сеять собрался... Давно уж я не видал вспаханной земельки!

Солдаты радостно улыбались, слушая товарища. Два года жили они, то строя посты на морском побережье, то выполняя другие работы в разных местах края. В прошлом году их послали на Уссури и Ханку разгонять шайки хунхузов. Там зимовали, а весной весь взвод направили в низовья Амура строить церковь.

«Словно я тут уж жил когда-то, – думал Сукнов. – Все вроде знакомое, свое».

Нравилась ему тут и земля, хороши были лес и река – славное место избрали поселенцы.

– Эй, разведчик! – окликнул его Лешка Терентьев, сытый солдат с тонкими губами и маленьким горбатым носом, повар и пекарь. – А ты там не разведал насчет баб да девок?

Солдаты густо и дружно загоготали.

– Опять, братцы, хлеб сырой, – ворчал худой пожилой солдат. – Будто и пекарня своя. Ты, Терентьев, меня бы печь позвал, если сам не умеешь.

– Поди ты!.. – с насмешкой отмахнулся Лешка. – Без тебя управимся.

– Вор известный, – бормотал солдат. – Опять, поди, муку на водку променял.

Лешка ведал закупкой провизии, харчами и всей амуницией. Он коренастый, плечи широкие. На узком лице, как два пузыря, выдуло толстые щеки.

– Здоровый мужик! – говорили про него солдаты.

Строить церковь решено было на холме вблизи гольдского стойбища, над озером. Часть солдат уже работала там, заготавливая бревна для постройки. Туда же собирался поп: он говорил, что пока разобьет на Мылках палатку-церковь.

Баржа с кирпичами, с конями и с разными материалами сидела глубоко. Ее пришлось разгружать в Уральском, прежде чем вводить в мелководное озеро. Часть грузов оставалась в деревне. К вечеру солдаты закончили разгрузку. Они поднимались на релку, смотрели, как пашут и корчуют переселенцы. Приезжали солдаты с другой стороны реки. Там два взвода рубили просеку для телеграфа. Офицеры жили в десяти верстах выше, где в этом году продолжала работу экспедиция по промеру фарватеров. Все солдаты были из одного строительного батальона.

Около рвущего корня медведя стоял хохот. Солдаты наперебой угощали его. Лешка ткнул разок в морду зверя палкой.

– Тятя, они нашего медведя обижают, – насупилась Настька.

– Ты, солдат, не балуй, – строго сказал Егор.

По могучей фигуре его, по спокойной, серьезной речи да и по огромному, хорошо вспаханному полю солдаты видели, что с этим мужиком шутки плохи. Они притихли, наступило неловкое молчание. Но никто не обиделся на Егора. Каждый увидел в мужике как бы свою родню, старшего, имеющего право так говорить.

– Вот дядя так дядя! Такой даст тебе пуху, – говорили солдаты Лешке, отходя от кузнецовской рощи.

«Не связывайся с солдатами», – не раз советовал Егору сосед Барабанов. Но Егор солдат не боялся.

– Зачем ты так на них? – оговорила мужа Наталья.

– Солдат – он есть солдат, отрезанный ломоть, – молвил Егор. – Дай-ка ему потачку! Видишь, медведь-то работник, а он ему в рыло дубиной.

– Медведь – тоже люди, – подтвердил Савоська, – только у него рубаха другая.

Вечером солдаты, вставши кружком, запели по команде. Собрались переселенцы. Удалые и печальные солдатские напевы неслись над тихим Амуром. Трепетал подголосок, и лихой посвист лился на все лады.

Бабы и девки утирали глаза платками. Некрасивая работающая Авдотья Бормотова была растрогана. Ей представлялись проводы, прощания, умирающие раненые, русые кудри, поседевшие на буйной обреченной головушке, и казалось, что эти самые солдаты сложили песни про самих себя. Девушке жаль было их до смерти.

* * *

Наутро солдаты, отталкиваясь шестами, увели баржу в озеро. Мужики и поп, провожая их взорами, стояли на берегу.

– Вот мы давно толкуем между собой, батюшка, – заговорил Пахом, обращаясь к священнику. – Как же это так, мы – православной веры, нам церкви нет – молись пенью, а гольдам строят церковь?

– Толковать с ним, варнак! – потихоньку ругал попа дедушка Кондрат.

– Сказывают, был тут архиерей, обещал Бердышову, что на Додьге церковь выстроит. Велел ему сюда переселяться: мол, тут-то церковь и будет. Из-за этого человек покинул старое место.

Поп, перебивая мужиков, стал объяснять, что церковь будет миссионерская; она понесет веру в темный и дикий народ – к язычникам.

– Надобно строить ее в самой гуще гольдского населения. На озере – большое стойбище, а острова и релочки застроены одинокими фанзами. Там язычество и мерзость шаманства свили себе гнездо. Они истинного бога не знают. Гибнет их душа, а ведь они люди!

– Туда им в самую середку и воздвигнут крест божий, – льстиво подхватил Барабанов.

– Вот и будем к этим шаманам ездить русскому богу молиться, – пробормотал дед.

– Бог един для всех!

– Бог-то един, да нам-то не все едино!

– Ну, хотя бы не нам, не им, а строили бы посередке, – подал голос Егор Кузнецов.

– Так и будем строить. Не в самой их деревне, а на версту отступя, на чистом привольном месте, на холме. Я туда еду, разобью там палатку, поставлю иконы. Начнем гонение на шаманов. Вы – русские и сами должны сознавать.

– Верно, гольдов надо просвещать, – сказал Тимошка Силин. – Да сами в темноте!..

– С ним и толковать нечего, – отходя, ворчал Пахом. – Бате охота, видишь, возле гольдов обосноваться, где самые соболя. Подальше забраться хочет, чтобы среди дикарей вольно было. У духовных-то глаза завидушие, руки загребушие. Там и зацарюет... Эй, солдат, – обратился он к караульному, шедшему с мужиками. – Там, сказывают, не только церковь, а еще чего-то будет? Дом для попа да еще какая-то домушка?

– Нам все равно. Чего велют, то и построим, – безразлично ответил тот.

Он остался при грузах сторожем, но держался больше около мужиков.

– Как молиться, так десять верст киселя хлебать, – качал головой Пахом. – Прямо зло берет.

– А пусть их подальше строят! – широко махнул рукой Тимоха. – Потом только пусть не пеняют, что про попов песни сложены.

– Что за песни? – хмурясь, строго спросил Иван Бердышов, до того хранивший молчание.

Он с первым пароходом приехал из Николаевска, привез партию американских товаров, и сам ходил теперь в куртке и в американской шляпе.

– Как же, славные такие песни! В Расее, брат, строго, запрещают богохульничать да и начальство ругать, а песни все равно поют. Народ сложил! Как же, брат! Что с глупым народом поделаешь? Народ – работник! Ему хоть бы что!

– Паря, такие-то песни в Забайкалье есть, – сказал Иван и запел вдруг:

Да ехал поп на курце!

Разводя руками, он прошелся козырем, потом заложил пальцы в рот, выпрямился как истукан, дико выкатил глаза, затопал и засвистал.

Дедушка Кондрат схватился за бока:

– Ах пострел тебя возьми!.. В меринканской-то шляпе!

Бердышов с приплясом выхаживал по улице. Хохот стоял на релке.

– Вот так меринканец!

– В Сибири-то не шибко набожный народ, – рассуждал Кондрат. – Все из-за мехов! Попы-то больше по охотникам шляются – все им пушнину подавай!

* * *

Тучный Оломов как вкопанный остановился на грядках огорода напротив кузнецовской избы. Он снял фуражку с красным околышем, вытер платком лысину, блестевшую сквозь рыжую проредь волос, и расстегнул ворот форменного сюртука.

– Эт-то что за безобразие? – чуть нагибаясь всем корпусом и нешироко раскидывая обе руки, спросил он и поднял брови.

Зимой исправник был на Додьге, мельком видел новые избы переселенцев, но не заметил, в каком они порядке строены. Тогда стояли свирепые морозы, приходилось кутаться, пить коньяк и не хотелось лишний раз ходить по деревне в тяжелых шубах. Да и не до того было; по приказанию губернатора пришлось ездить наводить порядки в китайской торговле. Зато теперь в хорошую погоду Оломов все увидел.

– Как же ты избу построил? – загремел исправник на Егора. – Ведь поперек! Да как-то вкось! А что я тебе говорил? Я уже все помню, я велел в линию!

– Так уж вышло, барин! – спокойно ответил Кузнецов.

Изба нравилась ему. Он построил ее не в линию с другими, а как ему хотелось – окнами на солнце.

«Теперь попробуй сдвинь ее!» – подумал он.

– Будут ребята живы-здоровы, сгниет, барин, эта изба, построят другую. Умные будут, так и правильно выстроят.

– Молчать! – в гневе рявкнул исправник.

– Эх, вот это по-расейски! – с укоризной молвил дед Кондрат, стоявший в стороне. – Давно уж не слышать было!

– А паспорт есть у тебя? – с подозрением спросил дедушку Кондрата полицейский, ходивший вместе с Оломовым, делая вид, что принимает старика за беглого каторжника.

– Какой у меня паспорт, сынок, – ответил дед, – мне восьмой десяток.

– У него борода вместо паспорта, – заметил Тимоха.

– Да и пашня у тебя нехороша. Какие-то куски, клинья, – продолжал исправник придирается к Кузнецову.

Оломов знал, что Егор работник хороший и росчисти его обширны и возделаны на совесть, но ему не нравилось, что Кузнецов держится независимо. Надо было осадить его, поставить на место. Исправник по привычке предпочитал бедных, смиренных, приветливых и заискивающих, а из богачей – тех, за которыми водятся грехи, которые побаиваются начальства.

– Ведь где у тебя росчисть, – кричал он, – там должна быть улица! И зачем с пашней так вылез, что за штаны у тебя получились? Порядка не знаете? Первая линия должна быть – избы, вторая – огороды, третья – пашни. А ты все испортил!

В первый год амурской жизни, по весне, несколько лет тому назад, Егор ждал начальства, хотелось ему поговорить по душам. Сколько дум, надежд прошло в ту первую зиму, сколько светлых мыслей о будущей жизни! При первом знакомстве с Оломовым Егор намеревался поделиться мыслями о первой прожитой здесь зиме, сказать, что и тут жить можно, и многое хотелось услышать от начальства. Егору казалось, что и власть здесь, на новых местах, должна быть не такая, как дома. Он полагал, что здешние чиновники должны дорожить хорошими переселенцами, что и они стараются завести здесь новую жизнь. А Оломов оборвал тогда Егора и потребовал того, в чем нет никакого смысла; не стал Егора слушать, а сказал только, что избы надо строить в линию. Это здесь-то! Зло и досада взяли Егора. «Эх вы, ублюдки царевы! – думал теперь Егор. – Ну вот я тебе и построил!»

Он слушал брань исправника и чувствовал, что душа его не колеблется при диких окриках, не замирает от испуга, как бывало прежде. В ней появилось что-то крепкое, негнущееся, заложенное тут,

на новоселье, в свободной таежной жизни. Егор полон был презрения к этим глупым, надутым чинушам, явившимся бог весть зачем на новые земли, не разумевающим ничего ни в жизни, ни в труде.

– Мы потому и выжили тут, барин, и завели хозяйство, и жизнь наладили, что нас эти годы не касалось начальство, что мы не в линию строились, – вдруг сказал Кузнецов и глянул остро и озорно в желтые глаза Оломова.

Мужики переглянулись. У Федора на лице появилось такое выражение, как будто его ударили по голове.

Исправник налился кровью. Он понимал, что сейчас надо бы разнести Егора в пух и прах, но как-то растерялся, у него вдруг не стало напора, энергии для этого. А хватить по роже – так мужики вооружены, у всех за поясами – ножи.

«Разбойники, – подумал Оломов. – Ударь такого – полоснет по горлу! Уж были случаи в Сибири... И мужики словно не те. Ведь я помню их – были в лаптях, нечесаны, в рваных шапках...»

К нему подошел Барсуков.

– Что такое? – спросил он, видя, что исправник расстроен.

– Да вот я все слышу: «штаны», «штаны»! Что, думаю, за штаны? А оказывается – экое безобразие!.. Смотрите, вы! – пригрозил Оломов и, свирепо глянув, сказал Кузнецову: – Убери эту пашню, проведи здесь улицу! Да, смотри, я с тебя шкуру сдеру, если будешь умничать! Ты и тут во власти начальства!

– Я сказал, что начальство тебя не похвалит не в улицу-то строить! – заметил Тимошка, когда господа ушли. – Ты бы его спросил, куда ее, избу-то, двигать надо?

– Не боишься? – спросил Барабанов. – А ну, как оплатит?

Егор о последствиях не думал. Он сказал, что хотел. Тяжелый труд, положенный тут, и новая земля, поднятая Егором, держали его крепко, давали ему уверенность, что тут он не зря, что он – сила.

В этот день Оломов и Барсуков собрались на охоту.

– Придет пароход, задержи, Иван Карпыч, – сказал исправник Бердышову. – И пусть даст свистки. Мы ночевать будем ездить к священнику.

Тереха Бормотов, темно-русый мужик огромного роста, со щербатым ртом и бородой лопатой, должен был везти начальство в лодке. Он притащил целую охапку весел и, разложив их на косе, стал

выбирать пару. Двух одинаковых весел не находилось. Мужик опять побежал в амбар. Потом он не мог найти колков для насадки весел. Оломов рассердился, схватил Тереху за шиворот, потрянул его.

Барсуков выбрал весло, чтобы править, и сел на корму. Они, наконец, отчалили.

Неподалеку от деревни встретила лодка.

– Как это гольды ходят с таким парусом? Посмотрите – из рыбьей кожи, – сказал исправник. – В дождь, пожалуй, размокнет.

Гольды в лодке тоже заметили Оломова и забеспокоились.

– Турге... турге!^[52] – забормотал седой старик. На миг он бросил весла, ткнул пальцем себе в лоб, как бы показывая на кокарду, потом плюнул на руку и замахнулся кулаком. – Исправник дидю!^[53]

Гольды налегли на весла изо всех сил, и лодка понеслась прочь.

– Подлецы, что выделывают!.. Это они про меня, – пробубнил польщенный исправник. – Ну, я им задам!.. Кто в лодке ехал? – обратился он к Терехе. – Ты знаешь их?

– Где их упомнишь! Все на одно лицо, – с силой выгребая против течения, отвечал мужик.

Вчера солдаты не то перепутали все весла, не то украли, за это Терехе попало сегодня. Его разбирала досада и на солдат, которые берут вот этак, сами не зная что, и на Оломова.

«При Невельском гольды были наши друзья, – думал Барсуков. – Тогда чиновников и офицеров повсюду встречали с радостью. Много ли прошло лет, и вот надо сознаться, что гольд видит в кокарде символ мордобоя. Мы превратились в пугало...»

Расступились тальниковые рощи. Петр Кузьмич мечтательно смотрел на голубые просторы вод. За ними виднелись хребты – зеленые и светло-голубые, а еще дальше – темно-синие и снежно-белые.

«Что-то ждет этот край? – думал он. – Границы не охраняются – контрабандисты идут вовсю. А полиция заботится, чтобы у мужиков избы были в линию!..»

На возвышенном берегу проступили палатки. По воде доносилась заунывная солдатская песня.

– Ну, а как вы с гольдами живете? – спросил Барсуков.

– По-соседски, – отвечал Тереха.

– Дикий народ, – заметил исправник, – звери, а не люди. Больны поголовно сифилисом, трахомой, чахоткой. Чем скорее вымрут, тем лучше.

Тереха молчал.

«Такие же люди, – думал он. – Когда голодно, привезут рыбы, мяса. Хлеб приучаются есть, огородничать хотят».

– Надо бы вам гнать их прочь от себя, под пашни русских освобождать места гольдских стойбищ. Знаете, – обратился исправник к Барсукову, – как поступают с дикарями культурные народы? Разве считаются! Сгоняют их с места. Надо русскому быть смелей. Выживать эту сволочь, пусть идут в тайгу за мехами, а не сидят на берегу. Чувствуйте себя господами!.. Пусть уж попы-миссионеры возьмется с ними, крестят их, учат, тогда, может быть, они людьми станут.

Тереха молчал, еще сильнее и старательней налегая на весла.

– Да, наши мужики какой-то бестолковый народ. Видите, что говорит: по-соседски, мол, живут! Китайцы и те считают гольдов низшими существами, а наши не брезгают. Что за темный народ! Нет, видно, из наших мужиков никогда не сделаешь европейца. Темнота! Ведь они язычники, а ты христианин! – обратился Оломов к мужику.

– Все божьи! – недовольно отвечал Тереха.

Вдали завиднелась коса, черная от множества сидевших на ней гусей. Сотни уток пролетели над лодкой.

– Охота здесь сказочная, – говорил Барсуков. – Вон что делается!

Он поднял ружье и велел Терехе быстрее грести. Вскоре над Мылками загремели выстрелы.

* * *

Вечером сытый Оломов в белой нижней рубашке сидел на походной койке. Вход в палатку был тщательно закрыт.

– Гнилой край!.. Гнус, туманы. На Амуре вечный ветер, сквозняк... Иностранцы вымирают по причине отвратительного климата, – говорил исправник. – Кто поедет сюда служить по своей воле? Кому нужна тут оставаться жить? Я сам считаю дни и – давай

бог отсюда!.. По нашему ведомству год службы здесь идет за два. Только это еще и влечет на Амур.

Оломов стал мечтать вслух. Он заговорил о наградах, какие ему еще следует получить.

– Если получше платить, дать побольше наград, орденов, то, знаете, сытому не страшно и в этом климате. Будешь себя чувствовать здесь таким путешествующим англичанином. Только нужен комфорт и все такое.

«И вот этот человек только что распекал мужиков за то, что они не по порядку устраивают свои клинья и полосы, – с горечью думал Петр Кузьмич. – И всюду у нас так! Распоряжаются, учат, наказывают».

Барсуков сам занимал большую должность в области, но чувствовал себя бессильным что-либо предпринять. В дурных порядках он видел способ управления, более угодный власти, чем самостоятельное развитие края.

– А вы знаете, – сказал он, – когда эти переселенцы приехали, не были сделаны распоряжения к их приему. Я привез их сюда, и оказалось, что, кроме сена, для них ничего не заготовили. Но они выжили, справились!

– Ну, на то они и мужики, чтобы работать! – отозвался Оломов и, довольный, что вспомнил кстати такую старую истину, грузно лег на свою походную койку, так что под ним заходили ее скрещенные железные ножки.

Петр Кузьмич задумался, глядя на пламя свечи. Вокруг палатки звенели, жужжали тучи гнуса. Барсуков вспомнил, как водворял он уральских мужиков, как ссорился с ними, и ему показалось, что все-таки славное то было время! Была здесь в те дни особенная, первобытная, девственная чистота. «Это я посадил здесь первых мужиков, – думалось ему. – Плохо ли, хорошо ли, но это мной основанная деревня. Я от души желаю ей добра! А гольды, видимо, действительно со временем исчезнут, ассимилируются или, быть может, вымрут. Ведь так было в Северной Америке и везде, куда приходил белый человек».

* * *

А Тереха, высадив господ, поехал под берегом. На мысу чернела лодка. Егоров приятель Улугушка в белой берестяной шляпе сидел на дюнах. Мужик кивнул ему и, немного подумав, повернул лодку и вылез на берег.

Улугу был глубоко расстроен.

– На Мылках поп церковь строит, – пожаловался он. – Стучит, поповские песни поет.

– Попа встретишь, – плюнь трижды через левое плечо, – посоветовал Тереха.

Улугу не впервой слышал от русских насмешки над попом.

Тереха поругал попа и исправника, и слова его ободрили Улугу. Он почувствовал, что не одинок.

Улугу поехал вместе с Терехой в Уральское. У него были дела к Егору.

* * *

С болота на релку прилетел кулик. Он запищал, заметался над пашней, над лошадьми и мужиками. Он порхал так быстро, что казалось, будто у него четыре крылышка.

«Тя-тя-я... Га-а... уу-ю!» – кричал он.

– Глянь, вьется, как комар, – молвил Тимоха.

– А нынче соловей свистел, – сказал Васька.

Кулик сел на бревно.

– Разорили мы все твое болото, – сказал дед и сочувственно добавил: – Ну, другое сыщешь. Наше болото тоже разорили!

Егор допахивал старую росчисть. Дважды и трижды проходил он ее каждый год. Нынче земля была прелая, перегнили в ней все корни. Бурая, мягкая, пушистая, широко раскинулась она двумя расходящимися полосами по всей релке.

– Идешь по ней, а она дышит. Новая земля! – говорил Егор жене. В земле была вся его радость, вся гордость. Эти две полосы, прозванные «Егоровыми штанами», поднятые в непрерывном труде, представлялись ему как бы живым существом. – Она, видишь, воду пьет и солнце в себя тянет. Вот и ладно, что ветер. Новая-то росчисть сейчас мокрая и глухая. Пусть ее обветрит, станет она живей.

Приехал Улуву. У него жесткое смуглое лицо и плоская, продавленная внутрь переносица, как след от пальца.

– Егорка, я «мордушки», где кочка, поставил. Вода большой, рыбка плескает, ходит травку кушает.

Вода прибывала, и рыба шла в озеро Мылки, на затопленные луга и болота на откорм.

У мужика и у гольда все рыболовное хозяйство было общее. Прошлую осень они ловили кету вместе, связывали свои малые невода в один большой. В свободное время вместе плели «мордушки» – корзины с узким горлом – для лова рыбы.

– А рыбы не привез? – спросил дед.

– Рыбы нету! – со вздохом отвечал Улугу. Он почти весь улов оставил в воде посередине озера, с тем чтобы завтра отвезти его домой. – Щука есть.

– Давай щуку. Щука да карась хорошая рыба!

– Карась наполовину сгниет, а будет жить! Такой живучий, – заговорил Васька.

– Сейчас птичка кричала, который вниз головой падает и кричит, – рассказывал Улугу в избе. – Верхом ходит – и сразу вниз: «Га-га-га!» А когда ведро, ее нету. Ночью, однако, дождик пойдет. Егорка, ты завтра помогай мне! Поедем огород делать.

– А как батюшка, ездит к вам на Мылки? – спросил дед.

– Не знай, поп ли, батюшка ли, – лохматый такой, поет. Страшно, – признался Улугу.

– Смотри, начнет вас за косы таскать! – пошутил старик. Улугу снял со стены ружье Егора и куда-то собрался.

– Картошку мне вари! – велел он Наталье.

– Пошел, – кивнул старик вслед гольду, пробиравшемуся по кустарникам. – «Рыбы, – говорит, – нету, щука есть!» Эх, родимец! Щука-то разве не рыба? Ах, камский зверь!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Рассвело, но заря не занималась. Река, казалось, стала еще шире, оттеснила и принизила сопки на другом берегу. Она побелела и с высокого обрыва похожа была на густой туман, широко застлавший все вокруг. Одинокая черная лодка поодаль от берега на ровной белой воде казалась висящей в воздухе.

Над Амуром, где-то на высоком берегу, у самых изб, прокукарекал петух.

Егор взял ружье, мешочек с хлебом, тятку, лопаты, лом и багор. Тихо. Слышно – утка летит, шелестит крыльями.

Егор спустился с обрыва.

– Ну, поехали! – негромко сказал он.

По утренней, словно недвижимой, реке голос его с ясностью слышался на большом расстоянии.

В отдаленной от берега лодке поднялся Улугу. Он, видимо, на рассвете перебирал снасть и уснул, зацепивши лодку за корягу.

– Поймал?

– Конечно, поймал!

Улугу поднял весло и, ломая гладь, стал грести к берегу. Слабые круги побежали из-под лодки. И только сейчас стало видно, что лодка на воде, а тумана совсем нет.

В носу лодки на свежей траве лежали два осетра. Улугу кинул их на песок.

– Эй! – крикнул он сонному Ваське. Тот вышел проводить отца и, ежась, стоял над обрывом, глядя на лодку. Ему, видно, самому хотелось поехать. – Дедушке тащи!

Мужик и гольд отправились на Мылки. Лодка пошла под берегом, вблизи печальных волнистых песков. У горла озера вздымались высокие бугры. Из года в год, между наводнений, во время спада воды, ветер, особенно сильный здесь, на излучине реки, выдувал песок с выступавших кос, наметывал его к прибрежным рощам и кустарникам, подымая там целые холмы.

Из дюн торчали черные метелки задавленного песками погибающего таволожника. Тальниковый лес боролся, упирался,

полосатая стена его согнулась над прибоем громадных и зыбучих песчаных волн.

Стояла тишина. Пески сейчас мокрые. Кое-где виднелись на них крестики птичьих следов. Берег трескался. Вода прибывала, подмывая крутизну. Слышно было, как пласты песков время от времени бултыхались в мутную воду. А сверху по морщинам песчаных холмов в изобилии пробивалась молодая зелень. Трава и побеги таволожника снова одолевали, опять брали верх, прививались на вновь нанесенных песках.

Озеро Мылки, белое и ровное, в один цвет с рекой, открывалось, как бескрайная долина, затянутая туманом. Ближние низкие увалы и острова синими грядами залегали за озером. Мохнатая мокрая завеса закрыла даль, и только бледно-голубой купол сопки Омми, весь в снегу, с трещинами ущелий, тронутых синью лесов, проступал в ясном небе выше полосы мглы.

– Смотри, вон наша рыбка в озеро пошел... Где рыбки много, вода густо светится, – сказал Улугу. – Егорка, маленько по озеру ездим? Где кочка, там рыбка траву кушает.

– А огород-то? Смотри, у нас дела много еще.

– Ну, Егорка, маленько! Поедем посмотрим, кто-нибудь в наши «мордушки» попал?

Егору и самому хотелось посмотреть, есть ли улов. Он сам плел ловушки из прутьев вместе с Улугу и отцом.

Лодка пошла над затопленным лугом, время от времени шурша о мели широкой плахой днища. Из воды щетиной торчала черная прошлогодняя трава. Редкие полосы ее, а также желтые камыши, свежая слабая зелень и косматые белобрысые кочки тянулись вдаль; и казалось, что все озеро зарастает, глохнет. Лодка остановилась. Слышалось бульканье.

– Наша рыбка кушает... Трава сильно лезет... В траву карась много придет, икру мечет... Видал, как карась икру на траву вешает?

Улугу слез на кочку.

– Вот тут наша «мордушка» стоит.

Егор воткнул шест в ил, закрепил за него лодку и тоже шагнул на кочку, которая сразу осела под его ногой и стала раздаваться пузырясь. В траве плеснулась тяжелая рыба.

– У-у, сом! Хвост видал? – обрадовался Улугу и поднял плетеную корзинку.

Тучный сом со злостью забился в ней о тугие мокрые прутья, обдавая рыбаков брызгами.

Егор и Улугу лазали с кочки на кочку. Егор чуть не валился, то и дело сворачивал кочки набок. Подняли еще одну плетеную «морду», поставленную между кочками, ссыпали рыбу в лодку и снова опустили корзину.

Улугу ушел по воде вперед. Теперь кочек не было видно, тут они затоплены. Из-под ног гольда поднимались муть и пузыри. Егор, ступая по этим следам на воде, попадал как раз на кочки. Он тянул за собой лодку и с удивлением наблюдал, как это Улугу находит ногами кочки в мутной воде и не оступится? А тот уже нагнулся, разыскав еще одну «мордушку». Вдруг гольд опустил ее и присел, вытянув шею, и зорко всматривается в воду. Тучная исчерна-золотистая рыбина, до половины вылезшая из воды, подъедала травяную молодь. Стебли падали как подкошенные.

Чуть подальше, в травянистых грязях с редкой прозеленью, стояли такие же крупные рыбы. Это амуры. Грузные, как поросята, они собрались на теплый ил в мелкие лужи. Раздавался плеск, чавканье, хлюпанье. Озеро жило.

Сом пробирался на плавниках по мокрому лугу. Не было остроги, чтобы его ударить.

«Пошел, как на ногах!» – подумал Егор.

Мужик засмотрелся и, съехав со скользкой кочки, бултыхнулся ногами в воду. Испуганные рыбы молниями метнулись во все стороны. Жирный амур пронесся по мели, рассекая плавником воду, и скрылся в глубине, но на поверхности мелкого озера еще долго несея вдаль стрельчатый трепетный след.

В тишине на далеком берегу раздался удар топора. Улугу вздрогнул и что-то с досадой пролепетал. Звук снова повторился; вскоре там наперебой застучали топоры, и, как бы в ответ им, с другой стороны озера громынул выстрел. Где-то закричали и захлопали крыльями гуси. По воде донесся низом гогот другого птичьего базара, встревоженного, но еще не поднятого в воздух выстрелом.

– Солдат гуся, рыбку стреляет. Прямо ружьем, когда рыбка вылезет, где грязь, – травку кушает, спина видать. Наша стрелкой бьет

– тихо! А они – ружьем. Давай, Егорка, как солдат, на рыбу охотиться. Пробуем маленько!

Улугу любил палить и собирался завести себе кремневку. Ему не было отказа стрелять из Егорова ружья, но на этот раз Кузнецов не согласился.

– А огород-то?

– А вон максун пошел, – любясь, говорил Улугу, глядя вдаль.

Вдруг из-за облаков вышло солнце, и вся ширь озера, лужи, заводи, протоки и затопленные болота засияли, как тысячи зеркал. Утреннее пламя охватило воды.

Около борта из узкой тени лодки выпрыгнула и бултыхнулась в светлую воду небольшая белая рыба. Вода зарыбилась. Тени скользящей лодки и рыбаков зашевелились, зазмеились на колеблемой воде. Пугаясь их, со всех сторон запрыгали встревоженные рыбины. Они, видимо, принимали эти тени за невод или сети и норовили перескочить их.

Егор знал, что в эту пору на Мылки приходят максуны, но никогда не думал, что их такое множество: куда ни глянь – повсюду вылетали рыбины. Казалось, все озеро ожило, заплескалось и заполнилось их хвостами и плавниками. В воздухе гнулись серебристые рыбы, сверкали, отражая солнце, и грузно шлепались у ног рыбаков. Одни, падая, пугали других, и плески пошли от стаи к стае по всему озеру. Случалось, что две рыбы ударялись друг об друга в воздухе. Казалось, кто-то грудями выворачивает рыбу из озера, как из котла.

Улугу побежал к лодке, опасаясь, что рыбы перевернут ее. Грузный самец, норовя перескочить опасную тень, прыгнул через борт и звонко плюхнулся прямо в лодку.

– Тала есть! – воскликнул Улугу, поднимая его за жабры.

В это время другой жирный максун, подскочив, ударил Улугу по шее. Соскользнув по его кожаной рубахе на груды рыбы, он бился и с хрустом резался до крови об острые плавники маленькой зеленой касатки.

– Эй, убьют! – крикнул Улугу, глядя, как рыбы пляшут вокруг Егора.

Мужик и гольд забрались в лодку и поспешно отъехали.

Воздух был влажен, трава мокрая, в лодку набралась вода. В ичихах полно воды, забрызганная рубашка липла к телу. Но тепло, и на

душе весело. Пахло рыбой, илом, гнилью и прелой травой.

– Зачем тут «мордушки» плесть? – сказал Егор. – Толкнуть лодку – рыба сама напрыгает.

Рыбы долго еще плясали. Потом все враз стихло, и озеро начало успокаиваться. Вдруг рыбы опять запрыгали и забултыхались так часто, как будто в воду повалились камни с неба. Какой-то одинокий максун доскакал до мели, завернул и запрыгал вдоль берега, с каждым прыжком все длиннее. Улугу выскочил из лодки и погнался за ним с палкой по мелям, но не настиг.

«Так вот отчего на Мылке вся вода мутная и в пузырьках, – подумал Егор. – Озеро-то битком набито рыбой. В хорошее время поехали мы...»

До сих пор Егор только помогал плести корзины, а ставил их Улугушка; сам Егор бывал на Мылке, но рыбу ловил на протоке, вблизи Уральского.

Утро на озере оживило Егора. Изю дня в день Егор драл чащу, пахал, боронил, привык думать только о пашне и от этого становился угрюмым и суровым. Даже по ночам снились ему новь, сплетенья мокрых травяных корней; их не брали ни тяпка, ни лопата. А тут выдалось тихое сырое утро, жизнь озера открылась Егору; и казалось, стал он богаче и счастливее. Чувствовал Егор, что его еще потянет сюда. Он сам бродил тут в это мокрое утро, как рыба в воде.

Посреди озера торчал шест. В воду уходила веревка. В мешке из сетчатки Улугу оставил вчерашний улов. Он вытянул рыбу веревкой и свалил в лодку.

Егор греб к стойбищу.

От берега проступил и потянулся к лодке черный мыс. По бугру распозлись рыжие крыши юрт, белые амбарчики на свайках, сверху и по бокам крытые берестой. Повсюду, как столбы, торчали деревянные трубы, вешала, похожие на вынесенные из изб полати со множеством шестов, шкур, со связками белой юколы и с чугунной посудой. Видны мертвые деревья, кора с них ободрана, но они еще не срублены, тут же священные столбы с вырезанными божками. Под берегом множество лодок, берестяных – узких и тонких, как осетры, долбленых деревянных – позеленевших от дождей и времени, розоватых, кедровых, дощатых. Весь песок под берегом в лодках, как в завалах бревен или плавника. И Егор, глядя на них, почувствовал, что народ

тут живет и кормится от воды. В лодках виднелись весла, остроги, копья.

– Рыбаки вы хорошие, – сказал Егор, вылезая на берег, – а вот как я буду обучать вас огород делать?..

Пристали у свайного амбарчика, стоявшего под косогором у самой воды.

– Максун умный, – говорил Улугу, выбирая рыбу, – увидит сеть или лодку – скорей прыгает. И как раз попадет! А этот осклиз! – воскликнул он, вытаскивая осетра из-под груды рыб.

– Как же осклиз, когда ты ночью его поймал?

– Давно висел, на волне качался, осклиз, однако, маленько воняет, – ответил Улугу.

Он отрезал хрящи, а самого осетра, еще совсем свежего, выбросил на берег собакам.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ



– Какое у тебя место хорошее! – молвил Егор, подымаясь первым на бугор, где на лужайке, раскинувшейся между переломанных на растопку кустарников, стояла фанза Улугу.

По обе стороны от нее, поодаль друг от друга уткнулись в зеленевший бугор другие фанзы, длинные и низкие, придавленные тяжелыми соломенными крышами.

Егор бывал здесь и прежде. Ему нравилось тут. Взойдешь наверх, оглянешься – и сразу видно все озеро. Сейчас вода поднялась на поймы и острова, тянулась по желтоватым еще лугам бледно-голубыми полосами. Егор представил, как славно легла бы тут пашня: тайгу чистить не надо, пеньков нет, лес вырублен давно.

К стене из кривых, замазанных глиной бревен он приставил лопаты и тяпку. Мимо пробежала собака с живой рыбиной в зубах: видимо, схватила ее на мели или в траве.

– У вас тоже релка, только тайги нет... Место чистое.

Растрепанные, гнущиеся от вечных ветров лиственницы узорчатой редью чернели над кустарником. За релкой, в низине, шумела и плескалась синяя, в белой пене, порожистая речка.

– Ну, дай я погляжу, что за земля...

Егор взял тяпку, ковырнул релку в разных местах. На корнях травы земля была густо-черная.

– Смотри, какая хорошая у тебя земля... Давно бы надо огород завести. Тут и будем пахать – далеко ходить нечего. Это наносники от речки.

Он подумал, что с Улугу возьмут пример соседи, вдоль стойбища можно пахать всю землю до самого ключа.

– А корчевать разве не надо? – спросил Улугу.

– Зачем же корчевать – только время проводить, место и так чистое! Кругом все обтопано, пеньков нет, корни сгнили давно. Такую землю грех не поднять.

Улугу молчал и морщил лоб, держа в обеих руках по рыбине.

– Тут легко будет тебе завести огород.

– Черт не знай, – покачал головой гольд. – Тут копать?

– Конечно, тут копать. Не в тайгу же лезть?

Улугу хитро засмеялся:

– Ну пойдем, Егорка, маленько закусим, там советуем...

– Пойдем закусим, да за дело, – согласился Егор.

Он знал, что, если не станешь кушать, обидишь хозяина.

Войдя в фанзу и услышав запах вареной рыбы, он почувствовал, что здорово проголодался.

– Сом вари, – отдавая рыбу жене, велел Улугу.

– Уй, сом! – воскликнула жена по-русски. – Одна слизь!

Улугу разделся и разулся. Он залез на кан и уселся на белые циновки, поджав под себя босые ноги с толстыми черными пятками.

Разрезом через тучную спинку он распластал максуна так, что жир потек с ножа, развернул по разрезу бело-розовое в жиру и крови рыбье мясо, облизнул нож.

– Давай талу кушаем...

– Разрежешь – с десятину будет, – шутя сказал Егор про огромную рыбину.

Гольд велел жене принести лука и черемши. Вытянув жилистую шею, он держал рыбу зубами, подрезал ее острым как бритва ножом у самых губ и быстро проглатывал длинные ломти рыбы, время от времени прикусывая от пучка черемши, зажатого в кулаке.

Гохча села рядом с мужем. На крепких зубах гольдов хрустела черемша.

В котле закипела уха из сома, белая, как молоко.

Улугу съел максуна, облизал пальцы и посмотрел на Егора с видом превосходства.

– Че тебе! – хлопнул он мужика по спине и принялся за ковригу хлеба, привезенного от Егора. – Китайцы раньше говорили, что наша земля плохая, хлеб расти не будет, русский с голоду помрет. Теперь хлеб есть, давай уху кушаем. Потом буду спай.

Лицо Улугу сияло.

– Чего, Егорка, спай будем? – спросил он, насытившись. – Потом гуляй пойдем! – Он стал икать и поднялся испить воды. – Егорка, ты не такой страшный, как я раньше думал.

– А огород кто будет делать? – отозвался Егор.

– Чего, Егорка, тебе всегда работает? Рыба есть, чего еще надо? Давай отдыхай, маленько спай... Работай не надо... Моя так хочю. Сейчас мошка сильно кусает.

– Вот так славно! Чего же ты звал меня?

– Еще советуем, где копать. Моя тала маленько поел... Вечером озером идем, ружье берем, и как раз гусь летит... Завтра... – он умолк, видя, что мужик недоволен.

– Нет, брат, у меня дни считанные. – Егор, не глядя в лицо Улугу, поднялся.

Егор знал, что новое дело трудно будет начать. Он взял тятку и вышел. «Пока все довольны, а уйдет рыба из озера – станут голодные и злые. Что ты тогда запоешь?»

С релки опять открылся вид на море желтой травы, которое простиралось вдаль и темнело под сопками. Множество синих полос, озероц и болот поглядывало на лугах. Место привольное...

Мужик готов был тут на совесть поработать. Земля стоила того. На ней можно вырастить овощи, табак. Егор не курил, но он так вошел в нужды Улугушки, словно сам собирался здесь жить. И ему казалось,

что уж очень хорошо тут можно зажить... «Табак будет свой! Только бы его к работе пристрастить, а то рыбу увидит – все бросит».

– Егорка! – позвал вылезший из фанзы Улугу.

– Чего тебе?

– Копай не надо, – попросил гольд.

– Нет, приятель, будем копать!

– Жалко! – признался Улугу.

– Чего же жалко?

– Нет, Егорка, жалко... Тут такое чистенькое место... Тут наша собачка бегает!

Гольд со слезами на глазах посмотрел на землю. Конечно, тут во множестве были и щепочки, и тряпочки, и кости зверей и рыб, и собачья шерсть – все следы жизни Улугу, его семьи и предков. Даже на кустарниках всюду собачья шерсть... Ветром туда нанесло. Жаль было запахивать свою землю. Он чувствовал, что если возьмется за лопату, то не только собакам негде будет бегать, но с этого начнутся разные перемены в жизни.

– Толковать с тобой! – ответил Егор и с размаху хватил тяпкой по целине.

Сердце Улугу сжалось. Он не узнавал своего друга. Перед ним опять был тот Егор – суровый человек, который отобрал невод. Он вспомнил про крутой нрав мужика, как он подрался с Гао из-за девчонки. Он видел, что Егор не шутит.

Улугу покорно подошел к нему.

Мужик работал старательно, отваливал пласт за пластом.

– Становись вот здесь, бери тяпку, давай вместе. Ну, враз! – сказал Егорка. – Да в другой раз целого максуна не съедай перед работой. А то полпуда умял.

Улугу, икая, взялся за тяпку.

– Моя думал, спай буду!

Гольд стал рубить тяпкой свою землю. И с первого же удара, после того как тяпка опустилась, ему стало полегче. Труднее всего было, оказывается, приступить к делу.

Раз за разом тяпка рубила землю. Улугу был сильный человек и работать умел, он уже помогал Егору. Как-то незаметно расчистили порядочный участок земли. И вдруг Улугу с радостью подумал, что теперь-то у него будет свой огород, морковь, капуста, тыква.

Бывая в Уральском, он любил смотреть, как работают на огороде, как сажают весной, убирают осенью, сам копал картошку, учился жать хлеб и пахать сохой.

Ему было жарко и тяжело. Он спустился к озеру, сел у воды на корточки, пил горстью и мочил лицо.

– Маленько талы поел! – жаловался он, возвратясь.

Земля становилась мягче. Егору показалось, что она тут была когда-то взрыхлена. «Неужели тут когда-то запашка была?» – подумал он.

– У людей рощистей нет, землю из-под тайги выдирают, а у тебя такое место...

Гольд надсаживался, вскапывая лопатой землю на полянке.

– Комья-то разбивай, секи корни. Своя работа стоит, а на тебя приходится работать! Нечистый бы тебя побрал с этим огородом! Ты думаешь, мне больно надо работать на тебя? Вот плюну и уеду!

– Егорка, не надо! – умоляюще сказал гольд. – Не надо!..

Мужик нашел в земле позеленевший медный крест.

– Это что такое? – разгибаясь, спросил он гольда.

Улугу снял шляпу и вытер ею уши, шею и голову.

– Тебе где взял? Черт не знай! Наши старики говорят – тут раньше русский жил, землю копал. Гришку знаешь? У него баба была, померла которая, у нее дедушка был русский.

Егор помнил рассказы Маркешки Хабарова о том, что у русских на Амуре были городки и заимки. Сейчас, видя взрыхленную землю, почувствовал он, как это было давно, и подумал, что если и нынче жить здесь трудно, то чего же стоило в то время окорениться!

– Что за неведомый человек, который оставил тут крест?

– Егорка! – со страхом спросил Улугу. – Крест нашел, так нас теперь отсюда гоняют?

– Нет, что ты... На что нам!

Кузнецов нашел осколки чашки и бревно ушедшего в землю сруба.

Улугу глазам не верил, смотря, как Егор размечает кустарник. Никогда не думал Улугушка, что рядом с его юртой под лесом может быть такая хорошая пашня.

– Ловко мы с тобой, Егорка, работали!

– Только огород надо огородить, а то твои собаки все разгребут. Он потому и называется огород, что должен быть огорожен. Да смотри завтра с утра талы не наедайся!

Улугу был доволен, но его тревожили некоторые сомнения.

Вечером к Улугу собрались соседи. Все хвалили Егора и удивлялись, что так много вскопано земли. Кузнецову показалось, что Улугушке завидуют.

«А попробуй запахать у них, тоже станут плакать, – подумал Егор, сидя на кане и ожидая ужина. – Настанет осень, вырастет у него на огороде морковь, картошка, капуста, табаку ему насадим, а у остальных ничего не будет. Но зависть свое возьмет. На другой год все возьмутся за мотыгу».

Сын Писотьки, толстогубый Данда, любезно улыбаясь, разговаривал с Улугу. Тот тоже улыбался, но глаза его смотрели зло. Егор не понимал их речи.

Торговец Данда говорил:

– Если ты, Улугу, не отдашь мне соболей, которых поймал весной, то мы у тебя весь огород затопчем. Я всегда найду, как расправиться. Лучше слушайся меня. Не жди хорошего от огорода. А если нажалуешься на меня русскому, я скажу, что ты лжешь. Богатому поверят, а тебе нет.

Но Улугу и не думал жаловаться.

– Только попробуй тронуть мой огород! – сказал он. – Да русские тебя знают, им известно, что ты тайно подговариваешь народ против них.

Данда опешил.

Когда все ушли, Улугу сказал Егору, что Данда хочет разорить у него огород.

– Это он только пугает, – сказал Кузнецов, не допуская мысли, что даже у Данды может подняться рука на такое дело, когда столько труда вкладывают люди в этот огород.

Ночью Егор спал крепко. Под утро слушал, как с надсадой завывала собака.

«Солнце скоро взойдет», – подумал Егор, поднялся и разбудил Улугу.

Собаки выли по всему стойбищу, уставив морды на восток. Чуть светало.

Улугу сидел на кане, морща лоб. Проснувшись, он с отрадой подумал, что у него теперь, как у Егорки, свой огород. «Огород-то сделали, а может, уходить отсюда придется!»

Две молодые собаки: Кадабуду – пегая с белыми торчащими ушами и Путяка – пегая с черной спиной, обе крепкие, как шарики, коротконогие и тупомордые, яростно ласкались к Улугу, лезли на кан, вставали на задние лапы и, высунув языки, восторженно любовались хозяином.

Приехал сын Улугу – худенький розовощекий парень; он поглядывал на Егора с застенчивой улыбкой. Парень привез с соседнего озера уток и охалки сухого белого камыша матери и сестрам, чтобы плели циновки.

Гохча щипала и потрошила уток, резала на мелкие куски и пригоршнями валила в котел.

Улугу недовольно отмахивался от собак. Он хотел, чтобы Егор поговорил с ним и рассеял его неприятные думы.

– Ну, ты опять недоволен? – спросил Егор. – Ну, чего опять неладно?

– Чего же, Егорка, – с раздражением ответил Улугушка, – моя, может, уходить отсюда?

– Что так? Огород вскопал – и вдруг уходить?

– Церковь строят! Поп ходит! Ево лохматый, поет... Русский каждый, который мимо на баркасе идет, как узнает, что церковь строят, так нас дразнит, что поп бить будет, за волосы задирать.

Егор покачал головой: «Ну и ну!..»

Он понял, что, прежде чем заниматься земледелием, Улугу хочет узнать, можно ли будет здесь жить, не стрясется ли беда.

– Зачем же тебе с места на место бегать? Это неладно, – ответил Егор.

– Че, худо разве уйти, если жить трудно? Тебе сам старое место кинул.

– Я старое место кинул потому, что все хочу по-новому сделать. А ты со старого места хочешь убежать потому, что новой жизни боишься. Она тебя все равно настигнет.

– Вот хорошо, Егорка! Ты мне хорошо говорил, – ответил Улугу, улыбаясь, но глаза его неприязненно поблескивали.

Егор догадался, что он только для вида соглашается, не хочет спорить, а тревожиться долго еще будет.

«Не хочет зря пахать, понимает, что бродяжить проще, если в одном месте плохо – плюнул да пошел на другое. А чтобы на пашню человека посадить, надо, чтобы и жизнь шла по справедливости».

Поели варева из уток и пошли работать.

– Там поп, а тут огород, – сказал Егор, выйдя на росчисть.

– Там поп, а тут огород! – согласился Улугу.

Но работать так тяжело да попасть из-за этого в кабалу ему не хотелось. Гольд зажмурился, глядя, как плывет, мерцает воздух над его пашней, точь-в-точь как у Егорки! Он отлично понимал, о чем толкует приятель: если русские привели попа, то они же обучают огородничать.

Дул сильный ветер. Егор и гольд рубили кустарник, ставили колья, потом стали вить плетень. Гохча помогала им.

После обеда Егор собрался домой.

– Теперь доканчивай все сам. Приедет дед с бабами, привезут тебе семян, грабли, докопают, разобьют грядки, помогут посадить.

На обратном пути Улугу и Кузнецов ловили рыбу неводом на протоке. Бурый чистый строй огромных голоствольных тальников, косматых от водорослей, тянулся по берегу. Под ними широкие мокрые пески покоробились и потрескались, как панцирь черепахи. Какая-то птица глухо скрипела, словно дерево в ветер.

На мысу стоял шалаш. Ветер с шумом трепал мохнатые вершины тальников. За лесом шумело озеро. С гор снесло туман, и стали видны все зубцы и белки. Грязная волна накатывала на косу.

Егор, мокрый до нитки, выбирал рыбу из невода. Попались максуны, жирный сазан, грудка щучек и желто-зеленые слизистые касатки, зацепившиеся своими острыми плавниками за сетчатку.

Глядя на пятнистых щучек, Улугу подумал, что надо объяснить Егорке, почему щука не рыба, чтобы в другой раз русские не смеялись.

– Щука раньше была змея, – рассказал Улугу. – Ходила землей. Потом сильно кусался, хватал за ноги. Бог на него сердился за эти дела и кидал в воду.

Рыбаки поплыли вниз по течению. Белые луга волновались на островах, и опять слышно было, как стучали и трещали на них сухие дудки.

Там, где из воды, словно головы, торчали белобрысые кочки, Егор в азарте выстрелом из ружья убил жирного амура, хотя рыбы и так было довольно.

Улугу стрелял амуров из лука, бил острогой.

Медный закат набухал над хребтами. Егор, расплескивая ногами жидкую грязь, с бечевой на плече брел по мелкому озеру и тащил за собой лодку, полную рыбы.

За эти два дня Егор так насмотрелся на рыбу, что стоявшее над рекой перистое облако, все в дряблых полосах, показалось ему похожим на карася с изрезанными боками.

Когда мужик вернулся домой, поднялся на свой обрыв, на уже сухую релку, увидел свой дом, поле на осушенной релке, свою росчисть, соху, то почувствовал, как он соскучился по семье, по своему полю.

Дома стал рассказывать, как копал Улугушке огород и как рыбачил.

В избе топилась печь. Тоже пахло рыбой. Но тут было сухо, чисто. Старик и бабка в белом, в новых лаптях, со светлыми волосами; и в цвет всему обиходу – деревянные тарелки и блюда с резьбой, и плахи пола, и тяжелые плахи стола, и кедровые бревна стен, до такого же бела измытые чисто плотными бабами, как рекой и ливнем коряги на протоке.

– Тут Сашка-китаец приходил, – сказал дедушка, – тебя спрашивал.

– Что ему?

– Да кто его знает...

– Будет он нынче пахать?

– Не за конем ли опять? – спросила Наталья.

– Видно, будет пахать...

Сашка-китаец появился в Уральском летом прошлого года. Он пожил в селении, но на зиму не остался. Узнав, что в Бельго живут китайцы, он осенью ушел туда и провел с ними всю зиму.

В прошлом году он помогал Кузнецовым, потом Егор давал ему коня, и он расчистил маленький клочок земли поодаль от Уральского, за протокой. Уходя осенью в Бельго, Сашка предполагал весной вернуться на свою росчисть. Егор оставлял его на зиму у себя, но

Сашка ушел. Да и Иван отговаривал держать его. Другие мужики тоже советовали Сашке идти к своим.

– Пусть живет со своими. У них же праздники свои, вместе будут справлять.

– На праздник можно ездить, – отвечал Егор.

– Там фанза, жизнь другая... А у нас ему много не заработать.

Пищу нашу он не любит.

Так говорили осенью.

– Значит, китаец слово сдержал! А я уж думал, он не вернется.

Егор решил, что на этот раз коня он не даст. Нельзя без конца всем пособлять – сам без штанов останешься. Пусть его свои выручают – купцы богатые.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

– Авдо-о-отья!.. – покликкала Бормотиха. – Тятя рыбы свежей привез от Кузнецовых, затопи-ка костер, ушицы свари.

Авдотья наломала хвороста, грудой наваленного у бездворой избы, высекла огонь, сунула его в сухую траву, пламя пробилось через ее пучки, девушка завалила, заглушила его, но оно вырвалось клоком, съело всю траву, слизнуло рванье лопнувшей бересты на ветвях, стало охватывать хворост. Слабый дымок завился, засинел, костер затрещал, в котле вода чуть заметно запузырилась, ветерок налетел и выдул огненную прядь с дымом, склоняя ее к крепким смуглым ногам, видневшимся из-под подоткнутой юбки, словно норовя опалить на них все золотистые волосики.

Отец пришел, сел у костра. После работы он снял рубаху, которая залежалась по морщинам, заскорузла от засохшего пота, помылся начисто, причесался. В воздухе уже сыро, но у костра тепло и приятно.

Авдотья ждала чего-то. Ей казалось, что завтра праздник. В самом деле, завтра воскресенье. Девушка приготовила чистую одежду, выстирала и выкатала скалкой платочек, как глаженный стал. Все лежит чистое и новое. И нижняя холщовая рубаха.

Когда все отужинают, надо убрать, помыть, чугуны почистить золой, а потом, в потемках уж, – на косу, да в воду, помыться, накупаться, наплескаться досыта.

Уже все уснут – Авдотья придет, ляжет подле матери на полу в закрытой плотно избе, на свежей траве, на широком, чистом, мягком. А в окнах – стекло, видны звезды... Хоть не спи и любуйся. А грудь дышит, подымается высоко, чувство такое, что хоть лети... «Славно тут у нас в избе, стекла! А на Каме бумага да пузырь».

У Авдотьи подружек нет, она все одна. Таня удивляется, как она ночью не боится ходить купаться. А один раз корова ушла. Авдотья за ней ночью на озеро бегала и пригнала.

– Тятя! – обращается она к отцу за ужином.

– Чего тебе?

– Завтра-то воскресенье...

Отец хлебает уху и молчит.

– В церкву бы...

Матери тоже хочется поехать к попу, но уж она помалкивает, поджимает губы, скатывает конец платка в комочек.

Пахом – человек грубый и без толку крикливый. С чем бы к нему ни обратились свои, он всегда раздражался. О своих он думал, казалось, самое плохое, проку в них не видел иного, как в простой силе, и рассуждения их в расчет не принимал. Бывало, накричит, нашумит, особенно если скажут что-нибудь, не идущее в лад с его намерениями. Обычно он долго настраивался на какое-нибудь новое дело: нелегко давалось ему все на новом месте, где по старинке ничего не сладишь. И вот придумаешь, а им все не так! Не любил он, когда лезли с советами, какие бы они ни были, хоть самые дельные. Даже вдуматься в то, что ему толковали, он не желал. А нашумевшись и накричавшись, он вдруг брал в толк, что совет-то, оказывается, дельный. Само дело подводило к этому. Словом, он был из таких людей, которые, как говорится по пословице, крепки задним умом.

Иное дело, когда советовали чужие или соседи. Тут он был настороже, опасаясь, как бы не облапошили, и поэтому чаще соглашался, но делал это не от души, а для вида, чтобы не подумали чего плохого, не обиделись и не сделали худа. Все же спокойней, когда обойдешься с человеком по-хорошему. Но это не значило, что Пахом жил по этим советам. Он мог согласиться, но делал все наоборот, по-своему. На старом месте его легко было заставить, но и там почти невозможно было убедить, если он того не желал. На новом месте пока что и заставить его никто не мог. Иногда Пахом набирался духу и с необыкновенной стойкостью и упрямством стоял на своем, как, например, когда Федор в первую весну привез ему муку от китайцев. Хотя Бормотовы голодали, но в расчеты Пахома не входило должать. «Свои и так потерпят!» – это было его глубокое убеждение: болел же сам он и не жаловался, хоть зубы выпадали от цинги! Пахом отверг помощь торговца и Федорово посредничество и уперся крепко, словно решалось тогда, быть или не быть новой жизни.

Вообще кому Пахом не верил, то уж не верил ни в чем. На новом месте он никому не желал быть должен или обязан, опасаясь, что его придавят, заарканят. В решительные минуты, когда Пахом имел дело с людьми подлыми, ненадежными, он выказывал и твердость характера и прямогу и выдержку редко терял. Со своими же он кричал, а с детьми еще нередко пускал в ход палку.

Дети шли в отца, с годами характер их крепчал.

Авдотья грубо взяла у отца опустевшую деревянную чашку. Его молчание не нравилось девушке.

Пахом встал. Казалось бы, все хорошо: работа шла, потрудились, поел сытно, день не зря прошел. Но проклятые бабы сами не свои, будто белены объелись. Пахом знал это молчаливое бабье сопротивление. Оно было хуже смертного боя. И нынче все как сговорились. Авдотья вон чашку едва из рук не вырвала.

– Какая тебе церква! Какая церква! – рассердился Пахом и зашумел на своих, но без сердца. Более знал, что сейчас надо кричать, чем кричал от души. – Попов не видали! Толстобрюхого-то! Ах, зараза его возьми! Стоялый жеребец!

И он принялся ругать попа, желая отбить бабам охоту ездить в церковь-палатку и уважение к попу.

– Робить! Робить надо! Погода-то позволяет...

Он пошел от костра, стал ругаться, что тляки не там поставлены – роса будет, железо заржавеет.

– Ну, пошел, пошел наш отец!.. – с обидой сказала мать.

Авдотья, казалось, не слушала привычную отцову брань. Она, как задумала, убралась, искупалась, переоделась в другую рубаху, легла ночью подле матери на траву, закрытую чистым, разостланным в пол-избы пологом, как всегда, посмотрела на звезды за стеклом, над лиственницами, и крепко уснула.

Утром отец загремел. Теперь он кричал от всего сердца. Надо было всех подымать, начинать рабочий день, а ему казалось, что никто не хочет работать.

– Вёдро, поди, будет, а мы тешимся, что воскресенье. Да покос... Ну-ка, богомолки!

– Ступай, ступай, тятя, – сказала ему дочь. – Не ори!

– Тебя-то кой леший к попу понесет? Не солдат ли какой приглянулся? Вон в Тамбовке какой-то Косицын овдовел...

Авдотья стояла, глядя чуть исподлобья, удивляясь: и чего только не скажет отец! Она в старом платье, но платочек новый, выглаженный, да коса заплетена тщательно, – уж этого отец не заметит!

Утро чистое, прохладное, а росы нет. В лесу поют птицы, облака палевые и розовые, сквозь них видно небо.

– Лодка идет. Солдаты едут, – с удовольствием сказал Пахом, когда солнце поднялось над лесом.

Он подвел коней, чтобы оттаскивать пенек, который только что выворотили Авдотья и Тереха.

Авдотья сидела на бревне и даже головы не повернула.

– На лодке! – молвил Пахом.

– Не господа ли? – спросил Тереха.

– Нет, серые, – отвечал Пахом.

Лешка Терентьев и с ним четверо товарищей вышли из лодки. Солдат тянуло в деревню повидать русских мужиков, баб, ребятишек, избы, плуги, пашни, потолковать. Все это напоминало родину и былую жизнь. Они всю неделю ждали этого дня.

Вскоре по берегу пришли другие солдаты, человек десять. Сначала только слышно было, как трещала чаща, а потом, как медведи из тайги, вылезли люди.

– Ты, Лешка, зачем лодку захватил? – грозились они. – Смотри, будет тебе на орехи!..

Рассевшись в лодке, мордастый горбоносый солдат отшучивался. Он угнал лодку, не дожидаясь всех товарищей, пришлось остальным шагать пешком. Приехавшие в лодке подсмеивались над ними.

– Стало быть, по болоту тащились? Ну как?

– Солдат везде пройдет, – отвечал Андрей Сукнов и стал обмывать сапоги в Амуре. Потом он умылся, вытер платком широкое лицо, чистое и румяное. – Ну, братцы, видать, веселья не будет: мужики на полях работают.

Солдаты гурьбой кинулись через чащу и, взбежав на обрыв, остановились у рощи Бормотовых.

– Бог на помощь, дядя Пахом!

– Спасибо, служивые, – приветливо ответил мужик.

Ему нравились солдаты. Это были свои, родные, российские, загнанные сюда на тяжелую службу. Хотелось приютить их, пожалеть. Чего не было, да и быть не могло у Пахома в его жизни, в тяжелом труде его – удали, раздолья, – на то любовался он у служивых. В них видел он страдание, знакомое всему его роду: дед Пахома был солдат, дядя, племянник – все в свое время отбывали царскую службу.

Солдаты в чистых белых рубахах, в начищенных сапогах, бритые, веселые, как выстроились на меже. Потом стали рассаживаться на

бревне лиственницы.

– Ну-ка, закурить, солдатики, – подошел Тимошка.

Его угостили.

– Ладный табачок.

– Маньчжурка! Хунхузов гоняли, зашли на китайскую сторону.

– Меняли?

– Нет, купили. Они падки на наши деньги. Им не велят торговать с нами. Вроде начальство ограждает. А им от этого еще пуще торгашить охота.

Солдаты в одинаковых белых рубахах, с одинаковыми загоревшими лицами, длинным рядом, безмолвно и неподвижно наблюдая, сидели по всему огромному бревну. И вдруг весь ряд поднялся, и целая шеренга пошагала прямо на Пахомово поле.

Авдотья разогнулась, поглядела на солдат искоса, смахнула со щеки черные брызги земли от тугого лопнувшего корня. Теперь уж они не казались ей такими молодцами, как в первый раз, когда баржа подходила к Уральскому. Есть среди солдат и пожилые. Жара, а двое усатых в шинелях внакидку сидят на бережку без ремней. На реке ветерок, от дождя взяли с собой шинели – на случай, если пойдет. Под шинелями ремни через плечо. Вид не солдатский. Устали, работали всю неделю. Молодые в рубахах, волосы намазаны, где-то масла достали, не рыбьим ли? Вот Андрей молодец. А прежде, казалось, все на одно лицо.

– Дозволь, хозяин? – кивнул Андрей Сукнов на соху.

– Умеешь разве? – спросил Пахом.

– Вырос на этом.

Андрей живо снял ремень и верхнюю белую рубаху. С тихой радостью, серьезно и сосредоточенно взялся он за соху, и лицо его засветилось. Он стал пахать, шагая за сохой, и пахал без огрехов, старательно, хватая вглубь, точно так же, как Пахом. Мужик подумал, что, пожалуй, не отличишь, где его пропашка, а где солдатова.

Вскоре на всех рощистях забелели солдатские рубахи.

Авдотья старалась не смотреть больше на них. Все эти дни она помнила Андрея, хотела его увидеть, хотя не признавалась даже себе, что из-за этого собиралась к попу. И вот когда, казалось, надежды никакой не стало повидаться, вдруг он сам явился... А смотреть стыдно. «Зачем я о нем думала? На что он мне?» И она работала без

устали, не разгибаясь, мотыжила землю, только время от времени жаловалась матери, что жарко.

– Хватит, ребята, помогли, и будет, – сказал Пахом, когда солнце поднялось высоко.

Сукнов остановил коня.

– Вот тут у вас между старой и новой запашкой ладный кусок. Надо бы запахать его. Обе запашки слились бы.

– Работы больно много, – отозвался Пахом. – Пеньки да чаща.

– Ну, это что! – ответил солдат.

Сукнов обратился к товарищам. Видно, работа на пашне была им в охотку. Они откатали крупные валежины и сломы, вырубали кусты и стали сечь корни тяпками. Они работали, перегоняя друг друга, чувствуя на себе взгляды женщин и девушек.

Пахом и обрадовался и расстроился. Как-то вдруг словно не нужен он стал на своем поле. Явилась новая молодая сила и разом все сшибла, и пашня стала чуть ли не в полтора раза больше. Целое богатство явилось вдруг у Пахома. Даже обидно стало мужику, что не сам он это сделал. «Солдаты шутя запахали».

Он сказал об этом Андрею.

– Хлеб-то не одному тебе. Поди, и на интендантство продаешь, – улыбнулся Сукнов.

«Молодые, дай им волю, запашут хоть весь вольный свет», – подумал Пахом.

Бормотовы приготовили угощение, наварили ухи, рыбных пельменей, нажарили осетрины с луком. Гречневые блины, молоко, творог, сметана, калачи с маслом стояли на столе. Тереха принес от Бердышова кувшин американского спирта.

– Мериканский-то как-то шибче китайского, – говорил он. – В китайском сивухи много, аж смердит. А этот чистый.

Солдаты перед обедом искупались и, расчесывая деревянными гребнями мокрые волосы, рассаживались по лавкам. Авдотья, покрасневшая до корней волос, хлопотала у самовара.

– Этот обед с твоим не сравнишь, – говорили солдаты Лешке Терентьеву. – У тебя одна чарка, и та разведенная!

– Мы этого ханшина-то попили, – рассказывал Андрей Сукнов. – У хунхузов отбили.

Начались разговоры о родине, вспомнили, кто откуда, где и как живут люди. После обеда, подвыпившие, сытые не по-казенному, солдаты разбрелись. Одни потянулись домой на озеро. Другие укладывались поспать в землянках и избах поселенцев.

– Надо выспаться, отдохнуть, – говорил Пахом и велел наносить сена и постелить на нем солдатам. – Завтра им на работу, а сегодня пускай отдохнут. Это уж нам праздник не в праздник, а они служивые...

– Спасибо, дядя!

Андрей остался работать на пашне Пахома. Мужик, глядя, как он старается и какое удовольствие ему доставляет работа на пашне, не удивлялся.

– Видно, что труженик! – сказал Пахом и сам пошел подсоблять.

Вдруг жена окликнула Пахома:

– Иди скорей домой!

Пожилой солдат, которого Пахом положил у себя в избе, стал вдруг кричать и ругаться, упал с постели, а потом схватил табуретку и, размахнувшись, так кинул ее об пол, что разбил вдребезги.

Пахом не обиделся: понимал, что и это с кем-то должно случиться. Он любил видеть труженика отдохнувшим и выпившим. Мужик мирно уговаривал буяна, но держал его крепко до тех пор, пока тот не успокоился и не уснул на кровати.

Солнце садилось за бурую завесу. За бледно-лиловой рекой плыли бурые и красные поймы. Ярко-синий хребет виднелся за ними.

Вечером отдохнувшие солдаты собрались на берегу. Около них сбились все жители Додьги.

– Ну, девки, бабы, уж нынче походим по малину! – сказал Лешка.

– Колючая шибко, – ответила ему Таня Кузнецова. – Рубаху-то казенную издерешь...

– Ну, по орехи! – подмигивая ей, продолжал солдат.

– Тверды шибко! – резала та.

– По виноград!

– Кислый! Сахару бы в него!

– Природа уж тут не расейская, – говорил Андрей Сукнов, сидя рядом с Авдотьей на бревне.

– У нас дома березнячок, – с робостью поглядывая на солдата, отвечала Авдотья. – Уж такой хороший! Да поляночки, речки тихие. А

тут быстро несется. Бешено местечко.

– Грибов нету вовсе, – заговорила Фекла Силина, обращаясь к Лешке.

– Есть и грузди и всякие, – отвечал тот.

– Да за ими не ступишь. В лесу тигры да медведи.

– Совсем напрасно. Тигру и медведя завсегда можно отразить, – заметил Сукнов.

– Ах, вы только хвалитесь! – игриво отозвалась Фекла и засмеялась, косясь на Лешку.

– Как тигра кинется, они оттуда, как орехи, посыплются! – воскликнула Таня.

– Тигра вас сгребет и поест, – широко улыбнулась Авдотья, – и некому будет церкву строить. Вы ее видали, тигру-то?

– Нет, не приходилось... А вы?

– Я-то видала.

Переселенцы посмеивались над солдатами.

– Пошто же вам тут не нравится? – спросил Сукнов у Авдотьи.

– Нет, тут хорошо, но дома лучше. А вы нешто забыли Расею?

– Как же можно! Расею позабыть никак невозможно. – Тут он живо вспомнил; как следует солдату отзываться о России. – Это все равно, что отца с матерью забыть. Да чем же здесь не Расея? – спохватился он. – И тут жить хорошо можно. Вот я расположил у себя на сердце такую мечту, чтобы службу закончить и вовсе тут поселиться.

Авдотья с удовольствием внимала солдату. Таких рассуждений ей никогда не приходилось слышать.

– Я в книжке читал про здешний край.

– Вы даже книжки читаете? – насупившись, спросила она с опаской: не врет ли?

– Как же! – ответил Андрей с потаенной гордостью, и Авдотья почувствовала, что подозрение ее исчезло. – Тут воздух крепче. Рыбы много, хорошие леса. У моря теплые земли есть. Чернозем. Во Владивосток и в Николаевск со всего света корабли приходят. Так что тут жить можно, – убежденно сказал Андрей.

– На казенных-то харчах! – отозвался Тимоха.

Заиграл гармонист. Солдаты пели и плясали. Фекла поплыла по кругу и с чувством заглядывала Лешке в глаза. Поодаль мужики и

солдаты боролись. Егор валил всех подряд.

– Здоровый! – говорили восхищенно солдаты.

– Здоровый, да с медведем как свой!

– Вот вы тут живете и ничего не знаете, – заговорил Сукнов, когда все снова уселись на бревнах, закуривая и переговариваясь. – А мы были на озере Ханка да в селе Никольском. Так там люди тоже с Расеи населены и живут в тревоге. А тут спокойно.

– Что ж там такое? – спросил Егор.

– Граница рядом. Хунхузы-разбойники часто нападают.

Разговоры, смех и шутки постепенно стихли. Все слушали солдата.

Андрей стал рассказывать, как на юге Уссурийского края была целая война с хунхузами. Переселенцы тесно сгрудились вокруг него на окраине громадного завала бревен. Егор нарубил и навалил к берегу эти деревья с мохнатыми сучьями. Как на плотбище, груды их громоздятся по обрыву. А внизу, на песках, вода в один завал с ними нанесла белого плавника и карчей. Сквозь вершины кустарников видна река с синими уступами далеких мысов.

Когда край солнца исчез за хребтом, враз, словно по волшебству, река, и горы, и лес – все слилось в сплошной голубизне, а остальные краски погасли. Амур замер в тишине, река среди сопок казалась маленьким озером.

Время было ужинать, но крестьяне не расходились.

– Нас с поста сняли и выслали, – рассказывал Сукнов. – Конные казаки пошли из разных станиц и наш батальон. Вот мы и встретили их под Никольском. Идут в беспорядке, колья несут, секиры. Здоровые есть хунхузы. Которые тащат мечи – они у них двухсторонние такие, широкие, с ладонь, чтобы ловчее головы рубить. Ну и пошло у нас!.. С нами были новоселы. Ну, началась перестрелка. Потом китаец знакомый показывает мне налево. Смотрю, с левой стороны то и дело фазаны вспархивают. Кто-то их пугает. Глядим, бегут на нас по траве хунхузы, сами гнутся, ружья волоком тянут по земле. Мы их как «на ура» взяли, они сразу побросали все и сдались. Которые злодействовали, как раз тут же попались.

Темнело. На другой стороне заблестел огонек, а рядом чуть побольше его что-то чернело. Это огромная казенная баржа, на которой прибыли строители телеграфа.

Под берегом раздался треск, и все невольно встрепенулись. Послышались шаги по гальке, и вскоре на обрыве появились два человека в сапогах, с ружьями за плечами. Кто-то из девчонок взвизгнул с испуга. В одном из пришедших мужики узнали Барсукова.

– С охоты, Петр Кузьмич? – спросил Егор.

– Да нет, так гуляли просто... Не было парохода?

– Никак нет, – вскочил солдат.

– Садитесь, садитесь, – махнул рукой Барсуков. – Я ночью у вас, – сказал он крестьянам.

– Милости просим, батюшка, опять к нам.

– Да вот пошел проводить. Да узнать, что слышно о пароходе...

Что это тут у вас?

– Да вот солдат рассказывает.

– Пожалуйте в избу, барин.

– Нет, я тут посижу. – Барсуков присел на бревно. – Ну что же, продолжай, я тоже хочу послушать.

Сукнов несколько смутился и, как бы что-то вспоминая, морщил лоб.

Подошел плотный человек среднего роста. На плечах его блеснули погоны. Солдаты испуганно вскочили и вытянулись. Сукнов поспешно оправил рубаху и ремень.

– Здравия желаем! – гаркнули солдаты вразнобой.

– Садитесь, садитесь, братцы, – глухо сказал военный.

Егор узнал его – это был полковник Русанов, командир инженерных войск, строивших разные сооружения по Амуру. Он был начальником этих солдат. Кузнецов на днях отвозил офицерам кабана, убитого дедом Кондратом, и там видал полковника.

– Так что же? – спросил Барсуков. – Продолжайте, мы тоже послушаем.

– Да вот солдатик рассказывает...

Русанов не садился. Сукнов молчал и морщил лоб. Он не решался продолжать рассказ.

– Да, это дело нешуточное, – с укоризной, обращаясь то к полковнику, то к Барсукову, молвил Пахом. – Война была, солдаты сражались, а мы не знаем...

Егор позвал гостей в избу.

Солдаты уехали в своей лодке. Барсуков дружески попрощался с полковником и отправился вместе с ними. С реки доносилось пиликанье гармошки.

Крестьяне расходились.

– А какой Андрей-то бывалый, – толковала Бормотиха. – Солдаты про него сказывают, будто, когда фунфузов отражали, он начальника ихнего живьем в плен взял. Его фунфузы зарезать ладилась, а он сшиб двоих, а те убежали.

Авдотье казалось, что Андрей у всех на речах и что, если бы не он, хунхузов не одолели бы.

«Солдат так уж и есть солдат, – думала девушка. – Пропадающая головушка! И жаль Андрея, и сердцу люб. Я его теперь никогда не забуду».

– Андрей-то воевал, – сказал дед Кондрат, не доходя до избы. – А у нас нет ли хунхузов-то?

– Тут я забочусь, – заметил Иван. – Не допущу их!

Все смолкли.

– Наши-то соседи смиренные, – ответил Федька.

– Это еще встарь говорили: на границе не строй светлицы.

– Тут-то не страшно, – подхватил Федя.

Егор вспомнил, как радовался он в свое время, что рекрутчины на Амуре не будет и что дети его не пойдут в солдаты. Но теперь, если бы что-нибудь случилось вроде нападения, про которое рассказал Андрей, он дал бы детям оружие, и сам бы взял его в руки, и пошел бы драться не хуже солдат.

* * *

Русанов сидел за столом и при свете керосиновой лампы читал книжку в кожаном переплете. Полковник лыс. Голова и лицо выбриты, оставлены лишь усы. Перед ужином он налил из фляжки полный стакан вина и выпил залпом.

В дверь стали заходить мужики, они рассаживались на лавках и на полу. Вскоре набралась полная изба.

– Вот надо бы оповещать народ... А то не знаем, – снова заговорил Пахом. – Этак вот нагрянут...

– Мало ли ты чего не знаешь, – мрачно ответил полковник, попыхивая трубкой. – Разве дело в хунхузах?

– А в чем же? – спросил дед.

Всем хотелось, чтобы полковник еще сказал что-нибудь. Дед Кондрат подсел к нему поближе.

– Евангелие, батюшка? – спросил он про книгу.

На лице полковника появилось веселое выражение, а густые брови его нахмурились.

Ревет ли зверь в лесу глухом, —

стал он читать вслух, -

Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом,
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов...

Он усмехнулся: «Евангелие!» – и не спеша стал набивать трубку.

Мужикам казалось, что он подвыпил.

Полковник Русанов был инженером, строил первый на Дальнем Востоке телеграф по берегу Амура, из Николаевска в Хабаровку и во Владивосток. Он представил правительству проект строительства железной дороги из Кизи в залив Де-Кастри, с тем чтобы грузы, идущие из-за границы, миновали устье Амура, где пароходы садились на мель. Тогда прекрасная бухта Де-Кастри могла бы служить нуждам Сибири. Тогда бы на Амуре выросли города.

– Вот, дед, ты здесь живешь... Дорвался до земельки – и ничего тебе не надо. А ведь неподалеку, каких-нибудь пятьсот верст, океан. Рядом Китай, Япония... Слышал о таких странах?

– Слышали... – отозвались из разных углов мужики.

– У тебя под носом, в тайге, уголь, железо, золото, нефть, из которой делается вот этот керосин и который мы привозим из-за моря, – сказал он, показывая на лампу. – А ты сидишь на релке и в тайгу не ступишь, лапти не замочишь. А вот эти мальчишки, внучата твои, должны построить дороги к морским гаваням, осушить болота, построить города. Тут в море – тьма зверей. А пока что их бьют иностранцы и зарабатывают миллионы на этом, а должны бить мы. Надо заводить корабли, возить товары в чужие земли. Здешней рыбой можно прокормить всю Россию. Золота здесь столько, что каждому русскому мужику в государстве можно построить по дворцу. А вы живете в нищете, безграмотные. Тут нужно проводить железные дороги. А что толковать про несчастных хунхузов?.. Солдатам хочется отличиться, и они врут больше, чем было на самом деле.

– Так надо дороги-то проводить, за чем же дело стало? – спросил дед.

– Казна-то что дремлет? – сказал Егор.

Русанов знал, что не все может сказать мужикам, а если и скажет, то толку не будет. Жизнь и работа на Дальнем Востоке ожесточили Русанова. Он был обижен, озлоблен столкновениями с начальством. Проектам его не давали ходу, они вызывали насмешки. В нем ценили лишь труженика, безответного строителя.

Русанов стал говорить, что надо зазывать сюда новых переселенцев и уметь самим копить богатство, развивать торговлю, учить детей, открывать школы, разведывать леса, воды, развивать промыслы.

– Вот так-то, старина! – в заключение сказал он Кондрату. – А мы скоро проведем телеграф, дотянем его, соединим с сибирским... Просеку расширим.

– «Старина»! А кабана-то кто тебе убил? – ответил дед. – Это мы лапти-то гноим, по тайге лазаем.

Несмотря на комаров, зудивших около лампы, полковник долго еще читал.

Мужики понемногу разговорились между собой.

– А ты, Иван, чего на полу сидишь, – спросил Силин, – разве на лавке места не хватает?

– Привычка! Как-то уютней на полу. Это у нас такая забайкальская форма. Забайкальский канфорт, паря! У нас так же

вечерами собираются, играют в карты, рассказывают сказки. Каждый чего-нибудь выдумывает, но никто не перебивает.

– Известное дело, казаки! – тихо проговорил дед.

– Дедушка, не смейся! Вот керосин-то раньше в Расее вы не знали. А на Амуре, гляди, какие товары... Лампы горят.

– Ладно, уж не перебьем! – сказал Силин. – Рассказывай!

– Товар, поди, с Расеи же всякий привезен, – отозвался дед. – В Расее всего много, будет ли еще тут когда?

Бердышов чуть слышно крякнул.

– Тут народ населен по реке, как в одну улицу живет, – заметил дед, – а в Расее сопок таких нет, место ровное, и все сплошь запахано...

Все с удовольствием слушали деда. Простые слова его вызывали в их памяти виды родных плодородных пашен и былой жизни.

– Дороги, что ли, плохие, почто товары-то по деревням не возят, коли их там много? Люди оттуда приходят, лампу видят – удивляются, что лапти ночью можно сплести.

– Да там, в Расее, на колесах ездят.

– А Тимоша сказывал, что у них летом ездят на санях, – и Бердышов прыснул, спрятав нос в воротник пиджака.

В избе засмеялись.

Дед уважал Бердышова, но вся душа его переворачивалась, когда слышал он суждения этого сибиряка о России, – Иван так и норовил съязвить.

– А ты, барин, был на океане-то? – обратился Иван к Русанову.

– Нет...

– А вот у Ваньки приятели американцы, – сказал Силин.

– Погодите, в самом деле познакомитесь с американцами, узнаете, как другие народы живут, – сказал полковник.

– Что за народ – не знаем, – продолжал Силин. – Расскажи-ка, Иван, хороши ли люди?

– Приедешь, спросишь, что надо, – продадут, – ответил Бердышов. – Какие у меня для них разговоры! Они хорошие товары из Америки привозят... Вот пошел Амур вниз. Ведь тут море близко. Подходит к морю, раздается шире и выходит... Такой лиман называется. Дальше вода соленая. А поперек, прямо среди моря, залег остров Сахалин, куда гоняют кандальников. Остров весь в хребтах,

леса такие там, красные и черные, соболей дивно. Стоят горы из каменного угля. Не такой остров, как вон у Тимошки, где он в воду упал, а большой, ну, примерно, как отсюда до Хабаровки.

Васька, Санка, Петрован тянули шеи.

– На Сахалине есть сторона теплая, а есть холодная. На холодной стороне уголь горами и керосин есть...

– Дядя Ваня, а ты бывал на Сахалине? – спросил Васька.

– Мои дядья с Невельским ходили и первыми уголь и керосин нашли, – прихвастнул Бердышов.

– В казаках, что ль, керосин-то? – спросил дед.

– Почему в казаках?.. Нет... Просто из земли течет.

– И никто не берет?

– Там и брать его некому. Ведь это Сахалин! Еще ламп не было, а уж дядя мой там был и сварганил такой светильничек, жижу эту подливал, а потом обогреться хотел, да у него шалаш загорелся, и с ним были гиляки, убить его за это хотели. А гиляки давно уже знали, что можно эту штуку вместо жира наливать в плошку, но боялись там огонь разводять, говорили, пески загорятся и спалят весь остров, одно огнище, мол, останется, ни лесов, ни зверей, ни их самих... А уж американцы лампы привезли потом. Это первый изобрел мой дядя и гиляки.

Все слушали со вниманием, хотя и догадывались, что Иван прибавляет и прищучивает, но получалось складно. Кажется, Иван решил не ударить лицом в грязь перед Русановым.

– Жижка это сочится, и лужи натекают черные, с жиром, как хороший отвар. Эту жижу, говорят, перегоняют, как ханжу или хлебное вино, и будет чистый керосин. И в избе светло. Мы сидим и удивляемся, как это горит...

«Иван где-то что-то слышал, вот и брешет, – думал Тимоха, – а мы уши развесили!» Но при барине ничего не сказал: пусть-ка лысый послушает. Впрочем, спору не было, лампу эту привез Бердышов из Николаевска и подарил Кузнецовым на удивление всему Уральскому.

– Я с гольдами топтал там тропки, ходил соболевать, Зверей морских там тьма. Когда идет кета, входит в лиман – звери за ней. Только белые спины видно по всему морю. Белухи прыгают. Они идут за кетой и жрут ее. Вот Егор поймал как-то кетину, на ней раны были. Это от зубов белухи. У нее пасть здоровая и зубы как деревянные

гвозди, и не часто, а редко. А мордой, паря, на птицу походит, но голова с лошадиную... А то сивуч вылезет из воды, как черт, с бородой, с усами. На лодке едешь, он глядит. Потом опять под воду залезет. Кто не знат, так страх!

– Водяной, поди!

– Для расейских там везде водяные. Говорят, что в других морях столько нет зверя. Я нагляделся. Мы сивучей били на берегах. У них лапы на ногах. Они вылезут на берег и лежат, греются на солнышке.

– А мясо у них едят?

– Проголодаешься, так съешь.

Слушатели насмешками перебивали рассказ Ивана, но он не терял духа.

– А что, в Николаевске бойкая торговля? – спросил Федор.

– А ты съезди туда сам. Ты же теперь купец...

Все засмеялись.

– Вот это уел!.. – молвил Тимоха. – Эх! Купец...

Федор и сам смеялся. Летом он купил на барже сарпинки и разной мелочи и теперь торговал понемногу с гольдами.

– В Николаевске – порт. Там и китобои приходят и большие морские пароходы, высокие ростом, с колокольню будет, как выгрузится и подыметса из воды. Приходят и из Америки и из разных стран. Везут товар, от нас увозят пушнину, деньги выгребают. Муку везут, сукно, оружие... Я в Николаевск в первый раз приехал, и мне объяснили, что земля круглая, как башка... А я думал, что на китах стоит... А кабы на китах, давно бы провалилась. Китобои подсекли бы. Сшибли бы зверей, и тогда бы до свиданья!

Полковник, отложив книгу, давно слушал Бердышова. Не ожидал он встретить в бедной переселенческой избе такого землепроходца.

– А где же теплый-то край, дядя Ваня? – спросил Васька с кровати.

– А ты не спишь?

– Он не спит, все сидит слушает, – сказала мать извиняющимся голосом.

– Теплый-то край недалеко! – отозвался Бердышов. – Ты Савоську спроси. Он молодой там жил. Ему там пить дали – он еле убрался. А американцы-то ведь разномастица. У них все новоселы, сброд сошелся, что не ужился на старых местах. Власть себе сами

выбирают, – он подмигнул Егору. – Уж не знаю, что за непорядки! Я спрашивал, как без станových жить...

Русанов чувствовал, что мужик, сидящий в углу на полу, совсем не так прост, как сначала ему показался.

– Вот бы посмотреть, как ты с ними на американском языке разговариваешь. Он у нас на всяком может, – сказал Силин.

– Верно, у меня есть приятель американец, – ответил Иван. – Как напьется, рассказывает. Хорошо по-русски говорит. Они переселились, и старую власть по шапке... С ним есть о чем поговорить... А вот я смотрю – шел сюда народ тоже со старых мест, не ужился там, а уж по дороге сюда, еще не издавши Амура, я слышал, ругали эти места, и порядки будто тут не по ним... Землю не высушили как следует для них...

– Что это тебя, Иван, сегодня прорвало? – спросил Тимоха.

– Как же! – отвечал Бердышов. В темноте едва виднелись его широкие плечи. – Мало ли что я на полу сижу и в козляк летом кутаюсь!

Долго еще шли разговоры.

– Тебя, Иван, – сказал Тимоха, когда все поднялись, – другой раз только слушаешь...

– Во мне двое живут! – весело ответил Бердышов. – Один людям пособляет...

– А другой смотрит, кого бы ободрать...

Мужики разошлись. Полковник посидел, подумал и опять взялся за книгу.

Утром за ним пришла лодка. Отъезжая, он вспомнил вчерашние разговоры мужиков и подумал: «Мы свой „безмолвствующий“ народ не знаем, а в нем, возможно, таится сила, как в бомбе... Еще взорвется когда-нибудь – бог знает чего натворит».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На релке тишина. Переселенцы разбрелись по весенним сырým пашням. Душно, время от времени где-то далеко над низкими снежными еще хребтами в неясно видимых за синью облаках грохочет гром. Идет первая гроза, с ней само лето движется.

Река спокойна, но кое-где видны на ней, если всмотреться, отзвуки грозы, бушующей над далекими горами. Засинеет, зарябит то там, то тут, заволнуется и опять стихнет.

Егор слышал в прошлом году, что один поселенец расчистил двадцать десятин из-под леса. Поначалу не поверил, но люди уверяли, что так, – редкий случай, но нашелся человек.

Когда в Уральском поп, Барсуков, или Оломов, или офицеры – жизнь не в жизнь. А нынче все уехали. Даже солдата караульного нет. За такой жизнью – тихой, трудовой – шли сюда. У берега лежат кирпичи, доски. Тут никто не тронет. Все доверено крестьянам.

К вечеру тучи обложили все небо. Несколько раз из-за сопok выносило ветром лохматые клочья, припускал шибкий дождь, но, видно, хватало стороной, не расходилось.

Ночью над избой Егора грянул гром. Полило как из ведра.

«Не смоеет ли мою пашню, экий ливень?» – думал мужик.

Нет, спокойной жизни не было. Каждый удар грома, каждый новый порыв ливня отзывался в душе мужика. Льет и льет, и в такую силу вошел, что страшно. На старых местах таких ливней не бывало. Уж часы, верно, прошли, а все не стихает.

Утром Егор ходил на пашню. Мокрая, глубоко запаханная, блестела она на ярком солнце. Лес стал зеленой, ярче. Кое-где пробороздил, промыл пашню ручей, на бегу из тайги к реке хватил по «штанам» краем. Порадовался Егор, что выбрал место славное, что земля его устояла, лежит надежно. Но – знал он – надеяться ни на что нельзя и ни от чего нельзя отречься: ни от сумы, ни от чего другого...

«Не выдует ли, не смоеет ли, будет ли родить?.. Думай – век так и скоротаешь! А не дай бог, такая гроза с градом...»

Еще солнце низко, а уж жара... Олять душно.

По траве, где старая ветошь чуть не в рост Егора, а по ней быстро подымается свежая густая зелень, бредет человек к Егоровой избе. Трава сверкает, солнце еще не осушило ее, капли не стекли, вся в воде.

– Здорово!

– А-а, Сашка! Что давно не был?

Сашка, еще не старый, рослый, худой китаец, с большой головой и сильными руками, был всегда серьезен, но, когда говорил, скалил зубы и закидывал голову. Он в мокрых кожаных улах, в черных штанах, мокрых до колен, напивавших в себя воду из травы, в бумажной, добела истиранной, когда-то синей куртке с деревянными шариками вместо пуговиц. За плечами у него длинный мешок.

Он снял его с плеча, тяжело громыхнул о землю.

– Точить! – улыбаясь, ответил он по-русски.

Китаец пришел точить ножи и инструменты да сошник и лопаты взять, которые оставлял у Егора. Мотыга зимовала тут же.

У Егора был круглый камень. Вскоре Сашка заработал, камень засвистел, ссекая ржавчину с железа, полетели искры.

– Что ты поздно? Я тебя давно ждал. Думал, что не идешь, не бросил ли пашню?

– Моя работай, – с улыбкой отвечал Сашка.

– Ну, как ты жил у Гао?

– Хорошо!

– Хорошие люди?

– Хорошие люди! – согласился Сашка и улыбнулся.

Подошел Силин.

– Тебя давно не видели, что, в Бельго жил?

– Да!

– Как там Ванька Галдафу?

– Хорошо!

– У него, брат, все хорошо!

Китаец разжег в яме угли, нагрел сошник, наточил свою особенную китайскую тяпку так, что она стала острой как бритва.

За этим китайцем мужики ухаживали больше, чем за торгашами, угодить ему старались. Уже по прошлому году мужики знали, что он все умеет делать. Кузнецовы накормили его обедом, и китаец ушел с мешком железа на плечах в тайгу по глубокой траве: видно, туда, где за

озером у него в прошлом году расчищен был клочок земли: Есть ли у него конь – никто не спрашивал, чтобы не пришлось одалживать.

После обеда подул ветер. Стало посвежей. Редкие кучевые облака шли по небу.

Далеко-далеко раздался гудок.

– Тятя, пароход идет! – закричал восторженно Васька Кузнецов.

Из-за далеких скал вышел пароход.

– Это «Казакевич» идет! – заметил Петрован.

«Пристанет ли?» – подумал Егор. Он вспомнил, что исправник ждет пароход. Егору хотелось, чтобы он поскорей убрался. «Слава богу, кажется, к нам!» – обрадовался Егор, замечая, что «Казакевич» отходит от скал, переваливает к этому берегу.

Но «Казакевич» пошел серединой реки вниз.

– Н-но!.. – тронул Егор Саврасого и зашагал, налегая сухими руками на рассоху.

Несколько раз прошелся он сохой по новому краю «штанов». Вдруг пароходный гудок гулко и громко раздался под самым берегом. Все вышли с пашен на берег, а ребятишки побежали к отмели.

К Додьге подходил большой белый пароход с огромным красным, похожим на вал с лопастями, задним колесом и с застекленной пассажирской рубкой, которая вся сверкала на солнце.

– Плывет, как лебедь! – с восхищением молвил Тимоха.

– Новый! – сказал Бердышов. – Из Америки привезен. Быстроходный, машина сильная!

«Да, тут все кладется прочно и наново!» – подумал Егор.

Широкие стекла, блеск и чистота, сияющая надпись на борту, громадный зонт над широким задним колесом – во всем чувствовалась Егору близость богатой и чистой, хорошо налаженной жизни.

– Дрова есть? – крикнул в трубу капитан.

– Есть! – заорал Барабанов.

Над отмелью, где пристают пароходы, Федор заготовил еще в прошлом году дрова. Работали у него бродяжки, беглые, пилили лес тут же, на релке, и складывали.

С «Казакевича» кинули чалку. Судно приваливало долго и осторожно; прошло много времени, прежде чем выкатили с парохода пассажирский трап с начищенными медными поручнями и выстлали его ковровой дорожкой.

Исправник и Барсуков подъехали в лодке. Солдаты гребли изо всех сил. Господа вышли на берег и пошли к сходням, солдаты несли их вещи.

А с парохода сошли пассажиры. Один из них, смуглый горбоносый толстяк, с перстнями на пухлых пальцах, обрадовался, увидев чиновников. Тучный исправник подобострастно расшаркался перед ним. Барсуков поздоровался холодно и, не останавливаясь, прошел на пароход.

Егор не в первый раз замечал, что Петр Кузьмич недолюбливает исправника и держаться старается особняком.

На пароходе дали короткий свисток. По вторым сходням сошли матросы. Они стали вязанками таскать дрова на судно.

– Ну, как дела? – с живостью спросил смуглый господин, оставшись с мужиками.

– Как бог даст, – ответил Пахом.

– Дрова? – спросил он, показывая на поленницу.

– Дрова, батюшка!

– А как живете?

– Слава богу!

– Хорошо ли место?

– Да покуда как скажешь?

– Это место выбирал сам Муравьев! Во! – поднял палец толстяк и скривил лицо. – Слыхали про графа Муравьева-Амурского? Я его знал. Мы с ним хорошие знакомые были! Как же, даже очень хорошо был знаком. Так что тут можно жить!.. А что слышно, нет ли по речкам золота? Мог бы быть людям доход... Воспомоществование! Воспомоществование! – словно спохватившись, воскликнул он, найдя нужное слово. – Я знаю одну переселенческую деревеньку, так себе была деревня! – он искоса глянул на подошедшего с трубкой в зубах Бердышова. – Но вот переселились на Амур – и что же? Нашли золото – и миновали бедствий, поставили хозяйство. И мало того что миновали бедствий, но уже гоняют почту и содержат станок. Открывают питейное заведение!.. Простой мужик нашел золото в ключе. А у вас ничего не слышно?

– Покуда не осмотрелись, – отвечал Пахом, с недоумением глядя на толстяка. – А может, где и есть! – оглянулся он на Ивана.

– Я слышал, есть в одном месте золото, – заговорил Бердышов, вынимая трубку изо рта, и глаза его засверкали. – Но не знаю еще, верно ли...

Толстяк снова оглядел Ивана. Неприязнь мелькнула в его взоре. Он быстро отвел глаза, но их как магнитом тянуло к Бердышову. Толстяк словно силился вспомнить, где видел этого человека.

Подошли пассажиры с дамами. На пароходе дали второй свисток. Дрова были нехороши. Капитан обругал Федора и приказал не брать тут ничего. Толстяк вместе с другими пассажирами пошел к сходням, но вдруг обернулся.

– Ну, будьте здоровы! – кивнул он мужикам, как старым знакомым.

– И тебе не хворать! – почтительно отозвался Пахом. – Про золото желает узнать. Кто такой?

– Это Бенерцаки, грек. Банкир, миллионер, – сказал Иван. – У него прииски в Сибири и по Верхнему Амуру. Сам-то он не в Петербурге ли живет?

– Скажи ты, какой богач! А как просто разговаривает!

– Видать, будто ладный мужик!

– Вот и проникают за нами люди с капиталом! – заметил Барабанов. Он поскреб в затылке, сожалея, что дернул его черт за дрова запросить с капитана на водку прежде времени, когда обязался без всякой приплаты по контракту поставлять. – Экая собака! – со злом молвил он про капитана.

Забурлило колесо парохода. Из двух труб повалил дым, раздались удары колокола, и «Казакевич» стал отходить, гулко хлопая по воде широкими лопастями и выгоняя из-под кормы ярко-синие пенистые волны.

– Вот весело, брат ты мой, калинка! – молвил дедушка Кондрат. – У нас в Расее и пароходов нет таких!

* * *

– А старосту мы им опять не назначили, – вспомнил исправник, когда в окне каюты с отошедшего парохода стала видна релка с избами, пашнями и тайгой. – Живут как отшельники!

– Да-а... – как бы спохватился Барсуков. – Ну, ничего! Они приписаны к Тамбовской волости, а там есть старшина... Их так и прозвали – «Медвежье поселье». Пароходы здесь почти не пристают, мы редко бываем... Но теперь священник будет.

Петр Кузьмич не забыл назначить старосту – он кривил душой. Барсуков был человеком либеральных убеждений, которые скрывал от Оломова, как от полицейского, и поэтому как бы чувствовал свою зависимость от исправника, хотя был выше его по должности и по чину.

Барсукова интересовало, как будут жить мужики, если дать им полную свободу. Они порвали с прошлым, покинули свою общину и ушли на Амур. Он замечал, что в крестьянах пробуждается тут сознательное желание нести тяготы и обязанности.

Разовьются ли они, поймут ли условия современной жизни, составят ли сильное общество, или уже все вытравлено из них татарщиной и крепостным правом?

* * *

Вечером мужики собрались на завалине у Ивановой избы. Сверху по реке шел баркас. Хозяин его – купец, видимо не зная, где на ночь глядя в островах и туманах искать деревню, держал курс в протоку.

– Оттуда сейчас, куда ни глянь, – синё!

– В тени мы!..

– Ну, ты теперь видал, Тимошка, – попыхивая трубкой, спросил Бердышов, – какие бывают амурские господа?

Он держал трубку в кулаке, и, когда затягивался, огонь просвечивал сквозь пальцы, которые краснели, как угли.

– Одинаково, хрен редьки не слаще! – отвечал Силин. – Только эти будут попузастей да поносастей.

– Уж рыщут люди, высматривают, где что есть, – молвил Федор Барабанов.

– Это он так просто поговорить вышел, поглядеть, что за новая деревня, – как бы оправдывая грека, примирительно сказал Иван.

– Зачем ему?

– А уж он теперь знает, что есть такая-то пристань, живет столько-то мужиков, что за люди и какая местность, – усмехнулся Иван. – Ему все годится, все пойдет в дело!.. А золото ему найдут без нас. У него разведка своя – много людей нанято!

– Про питейное поминал, – молвил дед Кондрат, сидевший особняком на краю завалины.

– Когда еще никого не было на Амуре, он с мощной сюда пришел. Их таких несколько сюда выпустили. Наняли они рабочих и загнали их на болото золото искать. Сразу дело развернули!

– Вот я и говорю, – перебил Тереха, осклабясь и тыча пальцем в грудь Бердышова. – Мы-то не умеем... А тут, может, самим бы заняться.

– Капитала да сноровки нету! – подхватил Федор.

Темнело. Река тонула в сырой мгле. Дельдика пробежала с охапкой наломанного орешника.

– Идемте в избу, – пригласила Анга. – Сейчас печку затопим, чаю наварим.

Мужики любили посидеть у Ивана. В его покосившемся зимовье пивали они не раз чай и водку.

Всем хотелось к Ивану, но именно поэтому никто виду не подал и не шевельнулся.

Не отозвавшись на приглашение, продолжали разговор.

– Верно, у этого грека и капитал и уменье, – серьезно сказал Федор. – А у мужиков сила есть, руки, а как подступиться – не знают. А здесь земля новая. Может, в ней такие богатства лежат, что ахнешь! А грек-то уж богат! А мы еще не собрались...

– Вот и задача народу – пусть выбьется, – сказал Егор. – На то, говорят, и щука в море...

– А ты, Федя, все про мужиков беспокоишься, – усмехнулся Силин. – Поди, сам хочешь на них, как на почтовых...

– Не худо бы тебя в пристяжные, – засмеялся Иван. – В кореню не потянешь.

– Где его искать, это золото, мы и не знаем! – подхватил Тереха.

– Да нам и ни к чему, – строго сказал Пахом.

– Кто бы и захотел это золото открыть, а старый-то капитал не даст подняться, забудет... Мужик расейский более робкий, ему в голову

вбито, чтобы не браться за новое дело: мол, кроме земельки, ничего не умеешь, не способен ни к чему, – рассуждал Федор.

– Вот и беда, – подтвердил Тереха.

– Мужик поглядит на старый-то капитал, как он в новой земле угнезвился. «Ну-ну, – скажет, – и верно, мол, я – темный, природа моя такая, ни к чему не годный, кроме как работать на других...»

– Какие рассуждения! – тихо сказал дед, злобясь на Федора.

– Но уж тут-то не такие мужики! – воскликнул Силин.

– Сибирский тракт обучил уму-разуму! – согласился Егор.

– Есть закон, – оказал Иван, – если кто нашел золото и хочет мыть, должен внести большие залого. Полиция следит, чтобы зря не мыли, не хищничали... Ну, а все моют – кто тут углядит? Сбивай, Федор, капитал, ищи речку и заводи свой прииск. Разве нельзя нажиться на Амуре? Что уж тут жаловаться!

– Да уж не без того! – отозвался Пахом.

Ему не было дела до всех этих приисков. «Я и без золота проживу, – думал он. – Зачем оно мне? Буду пашню пахать на вольной-то земельке!»

Словно читая его мысли, Кузнецов сказал:

– Нет, от золота нам не надо отказываться.

– Скипел чайник, – сказала Анга, выходя из двери.

– Конечно! Нельзя и нам отставать, хвататься надо! – воскликнул Федор. – На новом-то месте надо разбогатеть.

– На новом месте и жить надо по-новому, – весело сказал Егор.

Барабанов недовольно махнул рукой:

– Смотри: спохватишься, да поздно будет!

– Богатства я не ищу... – молвил Егор и поднялся.

В семье Кузнецовых из поколения в поколение передавалось предубеждение против богатства и богачей. Чтобы сколотить богатство, надо стать сухим, черствым душой. Кто копит – не отзовется душа того ни на что доброе, в ней нет жалости, дружбы, любви.

Добрый, отзывчивый не погонится за богатством. Может быть, поэтому человек с широкой душой всегда небогат.

В старой жизни Егор твердо знал правило, что с трудов праведных не построишь палат каменных. В новой амурской жизни, полагал он,

люди могут зажить трудами, без обманов. Тут всем дано поровну, у кого есть руки.

Но и тут не желал себе Егор палат и богатства. Он искал жизни согласной в семье и с соседями и по трудам достаточной. Слыша, что кто-нибудь богатеет, он не завидовал, а от души говорил: «Ну, это им!.. А у нас свое!» Он радовался, что остается небогатым, но крепким на земле, что дети его растут в работе и ничего не боятся, что крепок он всем своим родом во всех корнях.

Егора разобрала досада. Он смотрел на соседа и как бы не узнавал его. Теперь уже Барабанов не такой черный, спаленный солнцем, как в первый год, когда пришли. Он побелел, отошел в избе от загара, стал как приезжий городской. Неужели тоже хочет рвать и хапать, а не трудиться? Кому завидует?

– Ты, Егор, понять не хочешь, – с чувством восклицал Федор, подскакивая к Кузнецову. – Люди и здесь такие же!

Левое плечо у Егора чуть заметно выдалось вперед и приподнялось, как у молодого кулачного бойца, который похваляется удалью. Светлая борода придавала ему вид молодцеватый, в светлом, открытом взоре была прямота.

– Нет, тут жизнь будет справедливей. Не зря люди сюда поднялись. Старое мы не зря оставили.

Зависть, зло Федора были не по душе Егору.

– А бог-то? – молвил дед Кондрат.

– До бога высоко, до царя далеко! – засмеялся Федор.

Егор в бога верил, хотя попов не любил. Он с силой кинул шапку оземь.

– Человек трудится, страдает для чего-то!

– Ты что это? – опешил Федор, отступая в испуге.

Все засмеялись.

– Что спорить! Золото еще в тайге лежит! – воскликнул Иван.

Как уралец, бывавший на приисках, Егор знал, что от золота может быть помощь хозяйству. Только с золотом на нови надо обойтись не по-старому.

– У меня хуже беда, – сказал Иван, опасаясь, как бы соседи не поссорились, и желая перебить их спор. – На озере поп, еще один скупщик пушнины будет! Долгогривый купец завелся!

Егор поднял шапку, и видно было, что он не сердится. Он решил: стоит ли?.. Да Федор так явно струсил, что и нечего спорить.

– Егор-то у нас, когда молодой был, в гармонь играл, – сказал дед Кондрат. – А как бился! Бывало, выйдет на пруд и улицу пробьет в народе.

– А нынче стал, как начетчик, – насмешливо отозвался Барабанов, живо оправившийся от страха. – Все новую жизнь проповедует!

В глубине души Федор и сам бы хотел справедливой жизни, но теперь разуверился, от всего отступился. У него не было сил, чтобы всю жизнь работать, как Егор. Он верил, что, кто накопит богатств, у того будет справедливая жизнь, только не надо поминать потом про то время, когда оно копилось. Ссорился он с Егором часто, но не расходился. Федору нравилось жить подле Егора, а почему – он и сам бы не ответил. Нравилось ему, что сосед честный, что при таком соседе, как у каменной горы.

– Вот говоришь, мол, подневольный не работник! Да я жалею их! Кормлю! Спроси-ка подневольных-то! Вокруг кого они? Вокруг меня! Я ж компанейский: и помогу и пожалею. А твою избу обходят: мол, Егорка все сам работает. Что, мол, с ним? А люди меня любят! – говорил Федор. – Я их и потешу. С потехой-то они у меня и потрудятся.

Дед махнул рукой и поднялся.

– Пойду-ка я спать, – молвил он. Такие разговоры он не желал слушать.

Мужики еще немного посидели.

– Теперь понятно, почему ты наискось избу выстроил, – говорил Иван. – Он, исправник-то, аж ополоумел! Как тебя мир с ним не берет? Смотри, побьет он тебя, как один раз Тереху. Нашел ты, кому доказывать! Вот смехота!..

– Заразу ему в пасть, этому исправнику! – воскликнул Силин. – Я видал, как он, тварь, с китайцев взятки собирал. Черт с граблями! Этот исправник еще попадет где-нибудь ловко – не сорвется!..

Мужики разом поднялись и стали расходиться. Вокруг не видно было ни зги.

– Барсуков-то посмирней, не так кусается, – говорил Тимоха, когда отошли.

– Петр Кузьмич? Этот водворял нас, – молвил Пахом.

Мужики гурьбой шли к своим избам.

Где-то далеко внизу, как в пропасти, проступило светлое пятно, оно ширилось, зеленело. Там заблестела вода. Из-за туч выкатилась луна, и пятно распространилось по всей реке. Блестящие зеленые дорожки, мерцая, легли к берегу.

– Купец-то ночует в протоке, – сказал Силин, различив вдалеке баркас.

– Завтра с утра, если тумана не будет, сыщет нас.

– Вот бы этот баркас разбить, и стали бы мы с капиталом! – посмеиваясь, сказал Федор.

Егор вошел в избу в потемках. Дверь никогда не запиралась, хотя закрывалась плотно: а то заест мошка. Все спали. С полатей уже слышался храп деда. Он, видно, не очень огорчился, хоть и ушел с бердышовой завалины. Старик был еще здоров и крепок духом и уснул, видно, сразу, едва коснулся головой подушки. На одной из двух широких кроватей, поставленных у стен, спала Наталья, а на другой на всем чистом – дети. Тут простынная бязь привозная и дешева. Все переселенцы завели себе белья хорошего – такого тонкого на старых местах не знали, там было все свое. Правда, свое попрочней здешнего. Много чего продавали тут такого, чего прежде и не видели. За пушнину тут было все; получали на баркасах привозное сверху, а в городе – из-за моря: одежду очень хорошую, шляпы, ружья, железные вещи.

Бабка спала на печи, молодые – на дворе под пологом; он белел в потемках, когда Егор подходил. Собаки – у крыльца, медведь – в шалаше...

«Если недобрые люди на баркасе и сунутся к нам, не рады будут...»

Егор остановился, дыхание спящих слышалось в тишине. Тепло, но не жарко, печь не топят, от нее прохлада летом. В избе отдохнешь от жары, когда придешь полдничать, пахнет хлебом и деревом. Все еще запах свежего дерева стоит. Ставни не закрыты, хотя и есть у каждого окна.

Егор живет открыто. Но иногда на него найдет такое чувство, словно кто-то хочет его ограбить, отнять новую жизнь, достаток, и тем дорожке становится все добытое на новом месте.

Ставни, болты есть на случай. Ружья висят на стене. Собаки чуют, сторожат, чуть что, медведь так сгребет, не рад будешь. Дед, Федька, сам Егор, Васька и Петрован – все стрелять умеют. Чуть что – соседи подымутся.

Егор разделся, стоя скинул обутки, снял рубаху и штаны.

– Ты пришел? – очнулась Наталья и подвинулась, потом поднялась, как бы хотела что-то сказать, но тут же легла, закинув голову, тяжело вздохнула и уснула сразу же, похрапывая.

Егор прилег и почувствовал, как застонали кости, положил жене руку на плечо, как делал всю жизнь.

Васька брыкнул ногами, окидывая простыню. Жарко Ваське и что-то всегда по ночам мерещится.

Утром Егор вышел с ребятами на обрыв. Он любил искупаться поутру. Из протоки несло какой-то пух. Почки, схожие по цвету с пухом утенка, виднелись на тальниках. Кое-где в их местах еще голоствольной чаще дотаивала под рыжим слоем ила огромная, как иссосанная, льдина.

Баркас прошел дальним фарватером и стоял верстах в десяти ниже релки.

– Не заметили нашей деревни! Шибко река широкая! Море! – молвил Кондрат.

– Кто не заметит. А кому надо будет, тот мимо не пройдет и в тени сыщет, – отозвался Егор, памятуя вчерашний разговор с толстяком.

Было у него желание устоять против рыщущих по Амуру хищников, жить без ссор; сельцо малое, неторговое, сбиться всем жителям в одно, чтобы Уральское стало как крепость.

В глубине релки, там, где пашни уже дошли до строя ильмов и дубов, еще смешанных со множеством берез и лиственниц, на солнцепеках зацвела черемуха. Мох, желтый и зеленый, открылся солнцу на стволах деревьев по окраине вновь вырубленной рощи.

Распускалась зелень ландыша, чемерицы, пальчатых лабазников. Появились кукушкины слезки, вьют голубой пополз с цветами по таволожнику, путая его серые прошлогодние метелки. Лиловые венчики подымались из трав, светло-зеленые, синие и красные побеги тянулись на ветвях молодых деревьев, и уж отцветал, опадал, исчезал с глаз долой ранний багульник, хотя большая часть леса еще не зазеленела.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

– Прощай, свет! – насмешливо прошептала однажды утром Наталья, крепко поцеловав мужа, и перелезла через него.

– Ты куда? – встрепенулся Егор.

Чуть-чуть светало. В избе было душно.

– Борода ты моя кустами! – призадержалась Наталья. – Чесал бы хоть, смотреть страшно, как у монаха...

– Чего тебя несет?.. Поспи-ка еще...

– Эка! А кто к гольдам поедет?

Егор вспомнил, что сегодня бабы собрались на Мылки. Они должны заканчивать начатую работу. Прошлый раз ездили дед с Натальей, а ныне бабы наладились одни.

– Ты бы мяса там добыла. Улугушка говорил, на кабана пойдет. Попроси у него. Я управлюсь, так сам схожу.

Наталья взяла подойник и ушла. С раннего утра все надо было сделать на целый день.

Егор уснул ненадолго. Когда он снова проснулся, голова уж была полна забот. И жалко как-то было, что жена уезжает. Но все же славно, едет к гольдам: «Не только сами выжили, построили избу, поставили хозяйство, но и людям можем от своего достатка пособить».

Улугушка мясом кормит, с этим никогда не считается. Бывало, привозил то полсвиньи, то стегно сохатого. В трудные месяцы Улугушка не забывал Кузнецовых.

Утро прохладное, здоровое. Крепкий лесной воздух ворвался через распахнутую женой дверь. Пока нет комаров, избу проветрить. Бабка слезла – засуежилась. Внесли ведро, запахло свежим молоком.

Егор подумал: жена уезжает к гольдам... Мяса сколько хочешь. Хлеб, бог даст, родится... Где-то тут золото... Пушнина... Все рядом, и кажется, все можно взять. Открывается такая жизнь, что сробеешь. Не без робости подступал он на релке с топором к первому дереву... Робко взялся помогать гольду... С опаской входил в тайгу за зверем. Все было непривычно, даже страшно временами, хотя никто из окружающих этого не замечал и всем казалось, что Егор бесстрашен и за любое дело берется, как за привычное.

Егор до сих пор немного страшится новой жизни, как она раскрывается, как забирает с толком, охотно всю его силу, как за труд и терпение вознаграждает с лихвой. Запахали землю, построилась большая, славная изба, все без задержек, без издевок, без лесников; появился скот, конь, жеребушки бегают... Покупные вещи есть: ружье, лампа, пиджаки. Конечно, все надо беречь и охранять – надо, как и прежде, всего бояться. Егор твердит себе, что хвалиться рано, старается не выказать довольства, уверить себя, что может еще быть беда, не привык, что за труд что-то дается. На старом месте сколько ни трудись – знаешь, сведешь концы с концами, на добрый конец сладишь одежонку и прокормишься. А тут сама жизнь сильными толчками подает Егора вперед, и он робеет этих толчков, хотя и радуется им и сознает, что сам он этому причина.

Он привык к тяготам и даже бедам и всю жизнь готов был терпеливо перебарывать их без конца, не помышляя об ином.

Здесь и руки становились сильнее, голова ясней. Человек не узнавал сам себя, осмеливался говорить прямо и открыто. Разве не счастье дать сыну ружье, лучше которого, кажется, нет ничего?.. Сознать, что тут рядом в лесу рысь, выдру, медведя бей – никто не скажет слова. И не смеет Егор верить, что все так ладно и быстро делается. Он еще помнит старый закон, что нельзя показывать достатка людям и признаваться в удаче, а надо хныкать, жаловаться. Трусить и лениться лучше, чем трудиться. А то люди злобятся. Но эти законы становились не нужны. Старый страх не нужен...

Егор пошел на берег.

Несколько дней тому назад кое-где прошелся Егор по лодке смолой, выкатив ее на песок и перевернув. Гольды лодок не смолят, а сладят так, что никаких изъянов, ни щелей. А Егор залил. И вот течь опять... Лодку стукнуло о корягу, Петрован ездил да угадал неладно – ветер начался, пристать не мог, где надо. Доска треснула. Егор дал ему подзатыльник – помнить будет. Была лодка широкая, тщательно отделанная гольдами. Днище – одна плаха. Ладно, лодка не пропала, а могла пропасть. Заказана была в Бельго, гольды уж постарались. Вместо привычной в былой жизни вражды завел Егор дружбу с инородцами, как зовут гольдов господа. Бывало, с татарами дрались, дразнились: нехристь, мол, басурман, и разные обидные прозвища, но и с татарами дружили. А тут гольды любят, помнят, как Егор спас

Дельдику. Егор никогда не поминает им, что они, гольды, нищие, другой веры. В Уральском первый от них почет Ивану, он их держит и когтем за душу и сладью с водочкой подманит. Иногда обидно Егору, что не к нему первому заезжают, но он смиряется, понимает, что от Ивана зависят... Хотя все говорят: мол, ты, Егорка, хороший, стараются удружить, всегда что-нибудь привезут. И бабуку, хвалят, что лечит.

Егор заделал течь и воротился к избе, откуда бабы уже вынесли мешок, корзины и ватные куртки на крыльцо, а сами в новых платках бегали и суетились, доделывая последние дела и давая наказы деду, Петровану, Настьке и Федьке, как обедать, что где взять, когда доить, варить, за чем смотреть.

– Наладил, – сказал Егор.

– На травлю-то ехать, собак кормить! – сказала Наталья и посмотрела ласково.

Бабы давно ждали этого дня, как праздника, когда поедут одни, без мужиков, к гольдам.

Настька с гордым видом стояла на крыльце. Юбка у нее подоткнута, как у взрослой.

– Хозяйничать-то сумеешь? – спрашивает мать.

– А что же! – вскинув серьезные глаза, ответила дочка.

– На тебя надежда.

– Доить-то умеет! – сказала Таня.

– Да уж тятьку не попрошу с ружьем у коровы стоять! – строго ответила девочка.

Мать улыбнулась и покачала головой.

Вскоре лодка отвалила от берега. Васька греб старательно. Надо было проехать мимо всего Уральского, не осрамиться, да и своим не дать повода посмеяться, что, мол, у Васьки силы нет, тужился, мол, чуть не лопнул. Васька гребет ровно.

«Что мне еще надо? – думал Егор. – Грамоте бы детей учить!» Не раз слышал он, что ученье – свет, а неученье – тьма. Но где учить? Егор знал грамоте, знал Федор, Иван был, кажется, изрядно грамотен, но в учителя ни один не годился. «Поп будет, – думал Егор, – станет учить Ваську. Придется ему бегать на Мылки на миссионерский-то стан. Буквари, говорят, есть у купцов на баркасе».

* * *

...В полдень мимо Уральского шла большая баржа, черная от людей.

– Что за народ? Откуда их столько? – удивился Егор.

– Не солдаты и не каторжники, – сказал Силин, – те серые, как вошь, а эти черные, как мухи.

– Эй, да это китайцы!

– Верно, китайцы! – признал Егор.

Не первый раз мимо Уральского везли китайцев. Бывало, что китайцы выходили на берег, но такого множества их не везли еще ни разу.

– Приваливают! – в испуге крикнул Федор своему сыну. – Беги за ружьем! Ей, Егор, охрану выставлять надо! Я чуть что – стреляю...

– Бог с тобой, сосед!

– Буду! Право. Это же саранча, набежит, как солдаты.

– Китайцы не воры, – молвил дед.

Один раз шла осенью баржа с солдатами, пристала к Уральскому. Солдаты разорили огороды. Даже картошку выкопали, а Тимоху, заставшего их, чуть не избили. У гольдов на мысу украли рыбу.

Егор знал, что между собой гольды уж давно так и зовут русских – «воришки». Улугу, бывало, все этот случай вспоминает и твердит: «Русский что увидит – украдет. Не ты, Егорка! Ты хороший, а другой русский плохой. Конечно, воришки!»

Улугу уж не один раз обворовывали. А сам Егор невод у него отобрал. Срам вспомнить! Про это Улугу не поминает. Что Федор стащил соболя у Данды, Улугу про это тоже молчит. Данда и сам, конечно, вор хороший. Себя Егор прощал.

Дед, бывало, сердился, спорил с Улугушкой, доказывая, что русский не вор, а в бога верит истинного, труженик, землепашец.

Егор полагал, что казна и нищета делают людей ворами, казна гоняет людей, как скот, не щадя, отрывает от земли, от семей, от дела, уж очень сильна казна, а народ не в силах противиться, вот и подвернется чужой огород – растащат, барана, теленка уведут.

На этот раз баржа встала под берегом. Китайцы, пожилые и молодые, оборванные, тощие, сутулые, выходили на пески, лезли на

берег, разбрелись по тайге. Федор похаживал у своей избы.

– Везут из Китая рабочих строить казенные здания, – говорил Иван, стоя с мужиками над обрывом, под которым на отмели кучками располагались китайцы. – Недорого ценится их труд, а народ они смиренный.

Проезжая по Верхнему Амуру на плоту, Егор видел, какой это народ. Он знал, что китайцы великие труженики; но и пройдохи, вроде купца Гао, попадают среди них.

Среди толпы выделялись двое китайцев, сытых, толстых, в шелковых кофтах. Они важно ходили по берегу и кричали на своих.

– А это старшинки, вроде наших подрядчиков.

Китайцы кивали мужикам. Некоторые лезли на релку и что-то рвали в траве.

– Собирают дикий лук, черемшу, – заметил Егор. – Беднота, все съедят.

Когда пришло время отправляться, старшинки, размахивая палками, загоняли китайцев на судно.

– Вот народ-то какой! – сказал дед Кондрат вслед отошедшей барже. – Ни один ничего худого не сделал. А мы-то за ружья!

– Китайский труд даровой, – сказал Иван, – а жизнь их там, на родине, – копейка. И все равно свой Китай не позабудут! Как бы тяжело китайцу ни было, он старается заработать, чтоб на родину вернуться. Другой, говорят, будет двадцать лет на чужбине работать, а к себе вернется.

– Вот, говорят, мол, нехристи, – толковал Кондрат. – А ведь не подрался никто, ничего не утащили. Вот те и китайцы...

Баржа села на мель.

Иван сбежал с обрыва и поехал в лодке показывать лоцману, как отойти. Китайцы живо сняли судно с мели, толкаясь во дно заостренным бревном.

– Сашка не знает, – сказал Петрован, насмотревшись на китайцев. – Его бы сюда, он побалакал... Попроведайте бы его...

– Вот поведу тебя учить стрелять, там напроведаешься, – ответил дед.

Петрован смутился.

Ребята опасались стариковского «ученья». Кондрат водил внуков охотиться и «учил» их по-своему.

– Сашка нынче спутался с Галдафу, – заметил Федор. – Такой подлиза... Вот Иван сказывал – там у них общество составлено. Ванька Галдафу, видно, поэтому и злится на Бердышова, что тот все это проведаль.

Мужики жили с торгашами Гао теперь как будто дружно. Только помнили, что братья Гао держат гольдов в долгу. И терзают, но потихоньку, и не в Бельго, а в других, дальних местах. Чуть что – гольд перед ним на коленки. Слухи доходили...

Но с мужиками торгаши всегда смирные, всегда улыбаются, говорят, мол, больше не деремся. Только заметно, что Ивана сильно не любят.

Иван вылез из-под обрыва.

– Эти китайцы работали в Благовещенске и Хабаровке. Теперь их в Николаевск...

– А ты по-китайски знаешь? – спросил Федор ревниво.

– Води с ними компанию, и ты научишься!

Приезжий пограничный полицейский говорил про китайцев, что, мол, нехристи, жестокие очень. «Азия темная и зверская, их надо держать в узде». Но казаки, что вели караван и работали у Барсукова, рассказывали, что с китайцами давно водят дружбу, косят сено и на их стороне. Один солдат жил у китайцев, говорит, что народ славный, честный и работающий.

Егор всегда помнил, как впервые сам увидел китайцев вблизи – они принесли хлеб детям, – потом был в китайской деревне, видел там поля, славные всходы.

В прошлом году в Уральском вдруг появился на берегу какой-то бедняк китаец. Егор подумал: «Мало ли что говорят?.. Как у нас про татар, а татары про русских... Люди – все люди. Гао, как ни плох, а хлеб нам возит. Мы его хлебом сыты были первую весну. Казна бы заморила голодом». Егору жаль стало неизвестного бедняка, стоящего на отмели у лодок. Откуда-то шел пешком по берегу. Перед тем везли китайцев, и похоже, что он убежал с баржи.

Вспоминал Егор кусок хлеба, что дали когда-то его детям китайцы. «Хлеб-соль не попустит согрешить, – пришло ему на ум. – Я обойдусь с ним по-людски!» – решил Егор. Никаких мыслей и опасений, что китаец может оказаться плохим человеком, у него не было. Он, как и большинство русских крестьян, не делал разницы

между людьми русскими и нерусскими, когда дело касалось честности. К тому же он всегда держался отцовского правила насчет хлеба-соли и приютил китайца, позвал к себе, накормил.

– Бродяга! Смотри... – говорил ему Федор. – Гони-ка в шею от греха подальше... Хунхуз!

В этот день Кузнецовы сажали картофель.

Китаец, глядя, как Егор работает, попросил мотыгу. Ударяя в рыхлую почву, он приподымал ее и забрасывал картофель под мотыгу.

– Разве так? – спросил Егор.

– Так надо... Скорей будет! – ответил китаец по-русски.

– Нехристь, – сказал Пахом, глядя на китайца, – а какой прилежный!

– Мало ли нехристей, – отвечал Егор. – Уж мы жили на Каме, всех видали.

– Зачем он тебе?

– Пусть живет.

– Откуда он убежал? Что с ним случилось?

– Какое наше дело?

Китайца стали звать Сашкой.

– Почему ты убежал? – спрашивали Сашку. – Старшинка худой?

Китаец кивал головой.

Приехал Бердышов и живо столкнулся с Сашкой.

– На казенных работах был. Ищет, где заработать, – говорил Иван.

Оказалось, что китаец мастер на все руки. Иван купил на казенной барже кирпичей. Сашка сложил в доме Бердышова русскую печь. Это всех поразило. Китаец умел печи класть! До сих пор Сашку жалели, а тут все стали заискивать перед ним. Мужики заходили, хвалили работу. Сашка сидел на корточках и молча курил. У крестьян в избах были чужалы, сбитые из глины. Всем захотелось сложить настоящие печи.

– Где он русскую печь класть научился?

– Казармы строил. Что, Сашка, твоя из Чифу?

– Чифу!

– Их везут из Чифу к нам и обучают ремеслам. Они живо лопотать по-нашему учатся, народ переимчивый! Вот, гляди, он печи класть научился, лодки конопатить, а допусти его жить на земле, он хороший огород разведет. Китаец – на все руки!.. Вот сколько я ему дал за работу? Пять рублей! А ему на родине за пять рублей год работать.

– У них помещики же, я помню, бельговский купец говорил, да я и сам знаю! – толковал Егор.

На китайца смотрели, как на чудо.

Егор вместе с Сашкой затеял обжиг своих кирпичей.

– А че, твоя бабушка дома еся? – ломая язык и полагая, видимо, что китайцу так будет понятней, спросил как-то Тимоха, придя в шалаш, где Сашка делал кирпичи.

Китаец невесело усмехнулся. Он понял, что его спрашивают, есть ли у него дома жена, и промолчал.

– Чего усмехаешься? Хорошо заработал у нас? Оставайся жить в нашей деревне, земли тебе дадим. Потом за бабушкой съездишь.

Китайцу, кажется, понравилось в Уральском.

– Наша дома кушай нету. Худо. Все помирай. Много люди помирай, – сказал он Тимохе.

– А-а!.. Видишь ты!

Это было понятно всем.

– Значит, как мы: не от нужды по миру ходим, а скучно дома не евши сидеть. Мы с тобой бедные. Что же нам делать! Правда? Оставайся у нас!

Мужики дружно соглашались, что Сашке следует жить в Уральском. Такой мастер везде нужен. Почти никто из мужиков так класть не умел.

Вскоре оказалось, что Сашка раскорчевал клочок земли, но не около пашни Кузнецовых, как советовал ему Егор, а за протокой. Егор давал ему коня и соху.

На зиму Сашка уехал в Бельго. Опасался Егор, что торгоши испортят Сашку, заставят на себя работать. Но вот настала весна, и Сашка вернулся.

– Ты, брат, нас не забывай! – говорил ему Силин, когда Сашка приходил точить. – Мы, брат, для тебя завсегда... И ты мне печь обещал. Я кирпича достал. Теперь церковь строят и привезли. Мне солдаты дадут.

Сашка улыбался, но не обещал ничего.

– Зимой приезжал исправник, спрашивал, живет ли в деревне китаец. Уж кто-то ему донес... Мы сказали: мол, нет, он ушел. Спросил: «Куда?» – «Не знаем!» Не выдали тебя.

Сашка смеялся вежливо и беззвучно, а работал старательно. Смуглые руки его с красивыми овальными ногтями крепко держали сошник.

* * *

«Надо бы Сашку проведать», – думал Егор, ожидая жену.

К вечеру нашли тучи. В ночь разразилась буря. А бабы все не ехали.

«Я как знал, сердце мое болело», – думал Егор.

– Бог знает, что там может быть?

– Заночуют, и все! – сказал Федька.

Егор сидит в избе, не спит.

«Тайгой идти – дороги не найдешь. Отмели затопило. Но если захочешь, так пройдешь. Хотя горячку пороть – только срамиться. Дождусь утра, там посмотрю».

И вдруг ударило в голову.

«А если что случилось? Конечно, гольды – смиренный народ. Но черт их знает, а ну?.. Разве их узнаешь? Мало ли что...» Сам Егор не боялся, против гольдов ничего не таил, а за жену встревожился.

Утром поутихло. Егор пошел за конем.

Петрован вдруг закричал с крыши:

– Тятя, наши едут!

– Слава богу!

Егор посетовал на себя в душе, что нес на гольдов такую напраслину. Но запомнил, что поколебался в вере людям, которых знал хорошо, в людях честных, смиренных, кротких.

«Вот душа-то человеческая, верно, что потемки!» – подумал он.

Приехали бабы, веселые и уставшие.

– Ночь не спали, поди, на новом месте?

– Вчера весь день садили с Васькой, а бабке не дали. День-деньской пришлось лечить, чуть не во всех Мылках ребятишек перемыла.

«А я-то на гольдов худое подумал!» – Егор чувствовал себя виноватым.

– И мяса привезли, – оживленно, не раздеваясь, в ватной куртке, которую надела вчера во время непогоды, говорила Наталья, сидя на табурете и беседуя с Егором, как в гостях. Ей не хотелось снимать платка с головы: видно, так понравилось гостить.

– А что там Улугу?

– Бросил огород!

– Да быть не может!

– Бросил Улугушка, бросил!

– Как же?

– Гохча огородничает.

– Все на жену!

– Разве его пристрастишь? Привез кабана тушу; чего, говорит, дедушка в тайгу не идет, сейчас, говорит, кабанов много, ходят у вас под деревней. И тебя ругал; сидит, черемшу с рыбой ест и ругает.

– Кабаны сейчас тощие, а он где-то ладного взял, – заметил Егор.

– Что же, что тощие! Кто сейчас жирный? Он дал мяса и осерчал. «Русский, – говорит, – какой охотник? Медведя увидит, раз выстрелит, ружье бросает и бежит. Никто себе мяса не добывает». На всем Амуре, мол, только одни гольды мясо добывают и рыбу ловят, а русские только разговаривают и торгуют.

– Это уж его кто-то подучил.

– Кто его подговорит в тайге! Его зло на попа берет, да и сам видит. «Егорка, – говорит, – худой, плохой охотник. Даром, – говорит, – живет, звери рядом...» Но полсвиньи отрубил.

– А на огород не идет?

– Гохча огородничает, не нарадуется!

– Неужто Улугушка не подсобит?

– Уж мы силком выволокли его! – подхватила Таня, только что вошедшая в избу и услышавшая конец разговора.

– Верно, верно! – сказал дед. – Кабаны-то всегда есть на Додьге. Мы уж давно не ходили. Вот уж я собрался, поди-ка, надо сходить. Улугушка-то верно сказал. Зачем побираться у гольдов, когда туши к околице подходят? А под лежащий камень и вода не течет.

– Песни там пели, – встала Наталья и, взглянув в стенное зеркало, сняла платок.

Путешествие кончилось, пора было приниматься за хозяйство.

Настька приласкалась к матери.

– Ну как, хозяйюшка моя?

– Завтра на Додьгу поедем, – оказал дед Кондрат. Относилось это к Петровану и Ваське, хотя ни к кому дед не обратился.

– Зайди к Сашке, посмотри, как он там, – сказал Егор отцу.

Он решил, что зря плохо о Сашке думал: мол, побирается, коня станет просить. «А может, человек там мучается? Я с семьей, а Сашка один. Он на чужбине. Разве Галдафу ему чем пособит? Как он ужился с Гао? У него не узнаешь. Но на того надежда плохая, хотя и говорят, что китайцы друг другу подсобляют».

Соль была, мясо стали солить. Пришлось мыть кадушку. Работы прибавилось. Пашни у Егора были запаханы, хлеб всходил, земля позволяла заняться другими делами, надо было успевать.

Иван зашел вечером.

– Ну, как гольды огородничают? Слава богу? – Иван заметил, что дед, видно, собрался на охоту. Спрашивать об этом не полагалось. – Ну что, Васька, тебя дедушка охотиться учит? – посмеялся он.

– А тебе что? – недовольно отозвался парнишка.

– Почему, когда из тайги придешь, у тебя ухо всегда красное?

Васька ответил с твердостью:

– Если смажу, то за ухо схватит и мутузит.

– Я их выучу, – молвил дед.

– Разве, дедка, так учат охотиться? Надо рассказывать.

– Нечего им рассказывать. Пусть знает: не попал – будет взбучка. Катерининские ружья не такие были, а я в десять лет уж стрелять умел. А потом вырос – у нас зверей не стало.

Дед Кондрат не первый раз вел внуков на Додьгу. Он учил их охотиться там на кабанов. Мясо добывали и себе, но большую часть отвозили за реку солдатам. Поэтому дед сильно обиделся на Улугушку, когда тот сказал, будто русские ленятся.

Ребята давно хотели стать охотниками. Теперь ружья в семье были, их учили стрелять.

Петрован, спокойный и упрямый, меток; какого бы зверя ни видел, широкое лицо его было бесстрастно, бил он без промаха.

Васька всей душой желал стать охотником. Заветная мечта его сбывалась, он трепетал, когда позволяли ему взять ружье в руки. Завидя зверей, Васька волновался и неизменно промахивался.

– Иди-ка сюда, родимец, – говорил дед после каждого промаха и трепал внука за ухо. – Ну, теперь знаешь, как стрелять?

– Теперь знаю! – сквозь слезы отвечал мальчик. – Теперь попаду...

Утром дед и мальчишка отправились на лодке вниз по реке, а потом свернули в озеро Додьгу и добрались до речки, пошли под стеной темного, как туча, смешанного додъгинского леса.

– А к Сашке поедем? – спрашивал деда Васька.

– Убьем, так поедем, – отвечал дед. – Сперва дело, а потом уж лясы точить. Делу – время, потехе – час! Раньше времени не загадывай.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ



Дед не столько удивился тому, что кабаны близко подпустили охотников, сколько тому, что земля, в которой они лежали, уж очень черна. Неужели такой чернозем? Место было вольное, на пойме.

– Видишь свиней? – спросил дед Ваську.

– Вижу... на солнышке лежат.

Свиньи рыли грязь на поляне между белых ильмов, таких толстых, что дупла их казались пещерами. Из грязи повсюду торчали щетинистые полосатые спины зверей.

– Да не ступай ты на валежник, иди потихоньку, а то вспугнешь... Вон пятаки видны. Гляди сюда, под ветки. Ну, еще подойдем. Вот этот

секач... В секача... Свиной не бей. Я тебя подведу поближе, и ты стреляй за мной.

Васька старательно прицелился и ждал. А дед все мешкал.

Он зорко и весело оглядел стадо. Вдруг, вскинув ружье и не целясь, как заправский стрелок, ударил в гущу зверья. Выпалил и Васька. Стадо, ломая кусты, с треском потекло в тайгу. Обнаружился тучный перекопанный чернозем.

– Экий огород распахали! – удивился дед.

Кабан-секач бился в глубокой грязи.

– А ты опять промазал. Торопыга! Разве так стреляют? – сказал дед, но не стал бить и бранить Ваську.

Земля была черная, жирная, и когда дед копнул ее поглубже, то конца ей не было.

Старик покачал головой.

– Ладная земелька, хоть бы Расее в пору. Надо Егорушке сказать.

Васька удивился: дед сегодня не ворчал, не дрался и на обратном пути шутил, пел что-то. Сам греб и завернул лодку на протоку, где жил Сашка. Вскоре видна стала, как большая черная шкура среди леса на возвышенности, распластанная коричневая пашня.

Посреди нее стояла заморенная, тощая коняга, запряженная в самодельную соху, а около с длинной березовой хворостиной, в шляпе – Сашка.

«Эко чудо! У Сашки-то конь свой...»

– Дедушка, – обрадовался мальчишка, – конь у Сашки!

И сам Сашка и его коняга, видно, притомились. Китаец ничего не мог поделаться с клячей. Он замахнулся хворостиной. Лошадь не шла. Голова ее дрожала.

– У-э! У-э! – вдруг дико заорал Сашка, выдвинув нижнюю челюсть, наклоняясь и сделав такое страшное лицо, что Васька замер. Сашка с силой ударил лошадь хворостиной по всей спине так, что раздался хряск. – О-о! У-у! – заревел он. – Э-э! – голос у него с низкого срывался на тонкий.

Лошадь рванула. Сашка бросил свою березовую палку, налег на рассоху, да так сильно, что казалось, он сам толкал соху вперед и разворачивал всю землю, а не лошадь ее тянула.

Сашка ходил по полю, кричал. Лошадь пошла бодрей. Казалось, китаец не обращал внимания на подъехавших гостей.

«Как он страшно кричит», – думал Васька, слыша его отчаянные, то низкие, то тонкие возгласы.

Если Васька утрашился этого зрелища, то дед, напротив, почувствовал к Сашке расположение.

Коняга опять встала. Китаец подошел к старику.

– Ты что же так коня бьешь? – спросил дед.

– Его ничего! – ответил Сашка.

Дед вспомнил разные рассказы, какая жизнь в Китае.

Неподалеку был шалаш, горел костер, варилось что-то.

– А ты землянку себе делаешь?

– Делаю! Будет дом!

– Ты тут целую усадьбу себе сладишь! – сказал дед. – Ты приезжай, я тебе дам кнут. Неужто у вас бьют лошадей палками?

Сашка повел гостей в шалаш.

– Зимой Федька женился? – спросил он.

– Да.

– Шибко хорошо! – улыбнулся китаец.

– Вот и тебе жениться надо! – молвил дед.

Китаец принес чашки. Угостил рисом, дал чаю. После обеда поговорили немного, потом Сашка пошел работать.

– У-э! – орал он и быстро шагал по пашне за лошадью, которая, несмотря на свой заморенный вид, тащила соху.

– Со страху потащишь! – молвил дед Кондрат.

Старик помолчал угрюмо.

Отдохнули немного, и, чтобы не сидеть без дела, Васька, взявши лопату, спросил:

– Можно мне?

Он с удовольствием покопал яму для землянки.

Дед невольно рассмотрел имущество китайца. Ватные штаны, в которых Сашка приходил однажды, сушились на палке, в шалаше – нож, шкура лисы, добытая, верно, еще зимой, черная короткая шкура сохатого и ватное одеяло, ватная куртка, котомка, чашки, связка лука...

Сашка поработал, поставил коня под дым костра и сам пришел, присел с дедом, достал трубку с медной чашечкой и закурил.

– Где ты коня купил? Гао дал?

– Купила!

– Это верно! Ну как у тебя с Гао?

– Хорошо!

– Ты что, его не любишь?

– Не знаю.

– Нет, уж нет... Заметно, заметно, не любишь, хоть и свои. Так ты у русских купил?

– У русских! В Тамбовке!

– Когда покупал, хороший был конь?

– Хороший!

– А теперь худой?

– Сразу как привел его, стал худой!

«Обманули тебя, верно, – подумал дед, – пьяного коня продали. Вот будешь знать русских барышников».

– Ты у кого купил?

– У Овчинникова.

Руки у Сашки дрожат, худая открытая шея мокра, на дабовой куртке черные потеки пота. На нем рыжая кожаная обувь до колен, вся избитая добела о корни и изношенная, но еще целая. Сашка темный, руки коричневые. Он сам как живой кусок земли.

Дед пожалел в душе, что Сашка так рьяно пашет, – значит, в Уральском не будет мастера.

– А печку Тимохе сложишь?

– Пахать кончай и ходи, – ответил китаец. – Ходи и Тимоха работай... Печка делай...

– Ну, я так и скажу!

– Егор как живи? – спросил китаец и вдруг улыбнулся, глаза его заблестели. – Ничего его живи?

– Ничего... Ты тоже тут, значит, развернулся... Где же денег взял?

– Маленько заработал.

Сашка смог купить только такую конягу, и то половину денег пришлось занять у Гао.

«Мы все завели сами, а он за деньги. Купцы пособляют ему, – подумал Кондрат ревниво. – Ему легче, чем нам».

Сошники, лопату, мотыгу дал Сашке в прошлом еще году Иван. Егор помог перековать старье.

Дед пошел к пашне, стал брать землю горстями. Подошел Сашка.

– Земля у тебя хорошая! – сказал дед.

Старик в нескольких местах смотрел землю, брал в пальцы, растирал ее со слюной.

Сашка забеспокоился, недоумевая, почему это так занимает деда? Ведь у них на релке земля не хуже. Зачем он хвалит? Может быть, он завидует, думает, что тут лучше? Чужое всегда кажется лучше. Сашка слышал о русских много плохого и сейчас встревожился.

«А что, если они сгонят меня с земли?» – подумал он.

Но дед не завидовал, а, напротив, рассматривая Сашкину землю, убеждался, что она хуже той, что сегодня видел на Додьге. «Не в пример та лучше и нашей и Сашкиной... Как бы Сашка не пронюхал, – подумал дед, – и не захватил. Тут недалеко».

Так с камнем за пазухой старик и уехал от Сашки.

Добрались домой, выгрузили разрубленную кабанью тушу. Дома Кондрат рассказал Егору про Сашкину пахоту, а потом про находку на Додьге. До сих пор все как-то не верил дед, что тут может быть что-то хорошее, все здешнее считал каким-то ненастоящим. И вот впервые ему понравилась земля. Он сразу понял, какая это ценность. Когда, сидя у Сашки, он подумал, что Додьгу-то могут захватить, ему как в голову ударило: «Ведь богатство! Суший клад!» До сих пор ни на что особенно глаза не смотрели, никто ничего не берет. Не как на старых местах, где на каждый клочок отовсюду глаза глядят. И старик ужаснулся, что земля-то на Додьге не занята, ведь ее мало...

Видя, как отец беспокоится, чего с ним никогда, кажется, не бывало, Егор более поэтому, а не из сбивчивых рассказов Кондрата, сообразил, что земля в самом деле хороша.

– Землица хороша! У самих-то хуже! Как бы он не захватил! Не к ней ли подбирается? Ежели и не видел, а ну как на охоту пойдет даувидит!

«Погоним!» – подумал Егор.

Хищность, желание захватить скорей первым, сбить соперника, если окажется, вспыхнули в его душе. Добрых чувств к Сашке как не бывало. На миг Сашка представился ему злым и хитрым врагом. Рассказы о его пахоте, о том, как он коня купил, – все, о чем с таким восхищением своему тятю рассказывал, сидя на табурете, белокурый, смуглый Васька, не понимавший сути разговора взрослых, пугали, а не радовали Егора. Он слышал в этих рассказах угрозу себе. Сашка, был

сильный, горячий человек, он умел трудиться. У него подмога – богачи Гао, их приятель исправник.

– Ты съезди и посмотри, как он посеял, – сказал Кондрат.

Старик был удивлен тем, что увидел. Китаец умел трудиться.

– Тятя, как он пашет шибко, – сказал Васька. – Мы подсобляли ему, землянку копали.

Егор опомнился, смирился в нем от слов сына этот пыл. А то бы, кажется, готов бы взять Егор сухой, крепкой рукой за грудь любого, кто отымет...

– Гохча говорила, что Сашка был в деревне у них, – сказала Наталья. – Он будто хочет у Кальдуки в Бельго вдовую невестку купить.

Все засмеялись. И у Егора на сердце отлегло. Он подумал было, какой ветер охватил его душу, что за страшное зло явилось в ней на миг.

«Все же не надо мешкать!»

– Может, поедем, братец, – сказал он Федьке, – посмотрим с тобой, что там за земля?

Но в голове была муть. Ничего не мог сейчас решить Егор.

– Езжайте, езжайте! – подхватила бабка. – У сибиряков-то вон заимки у всех заведены, и нам бы, коли земля-то хороша...

Вставши утром, Егор взял с собой сына и брата. Дед поехал показывать.

Побывали на Додьге. Егор сам увидел черную землю. Мужики прошли в глубь тайги, содрали слой листвы и мокрого дерна. Всюду мокро, но место высокое. Заболочено, как везде в тайге, но это не болото, а просто воде не было стока, солнце ее не сушило, вода осталась еще после таяния снегов. А земля хороша!

Постоял Егор среди перекопанной кабаньими копытами грязи, между тучных ильмов, и пришло ему в голову, что надо распахать тут все, снести этот лес, завести заимку, пробить с берега дорогу к Уральскому. «Будем ездить сюда летом... Зимой отсюда ходить на охоту. Здесь пашню не выдует ветер». Егор видел по дороге через Сибирь такие заимки у сибиряков.

– А ну, давай затески будем делать, – сказал он отцу.

Четыре топора принялись рубить стволы ильмов, кленов и пробковых деревьев.

Васька уже знал: будут затески – место это никто не тронет, не смеет никто занять.

– Правда, тятя, никто эту землю не тронет? – спросил он отца.

– А кто тронет – тому пулю! – пригрозил дедушка Кондрат.

– Никто теперь не займет! – успокоил Егор.

С Додьги он сам хотел поехать к Сашке подсобить ему, если придется. Теперь, когда затески на Додьге были, Сашка опять стал ему приятен. Но Егора занимало, что и как у Сашки; сам еще того не понимая, он желал призанять умения у соседа. Егор помнил, какие пашни у китайцев. И не хотелось оставлять в себе ни доли зла к Сашке.

Егор вспомнил, как Сашка работал в прошлом году у него, Егор ему не платил. С Сашкой печь клали вместе, кирпич обжигали, лес рубили...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

«Черт знает, что за люди русские! – думал Сашка. – И как с ними жить? А что, если в самом деле Гао прав? Неужели меня прогонят?»

Старик Кондрат напугал Сашку. До сих пор ему как-то и в голову не приходило, что русские могут ему позавидовать. Ведь земли много, и в прошлом году он жил с русскими очень дружно. Неужели они захотят отнять хорошее поле? Конечно, у них сила.

В Уральское Сашка явился в прошлом году после больших неприятностей со старшинкой. Он бежал с судна во время ночной стоянки и дошел по берегу до русской деревни, которую видел с палубы, проплывая мимо днем. Сашка уже несколько лет жил в России. Пришлось ехать сюда на заработки. В Уральском он узнал, что неподалеку есть китайская лавка и живут купцы. Он знал, что и тут есть купцы-негодяи. В этих местах вообще все люди опасные, сюда едут сорвиголовы, они торгуют в лесах с дикарями. Сашка не торопился пойти в Бельго. Но все же пришлось. Он пришел к братьям Гао, низко кланялся и был хорошо принят. С помощью хозяина он получил у исправника разрешение остаться жить в Бельго. За это Сашка задолжал хозяину Гао.

Сашку уговаривали вступить в общество. Он не смел возражать, но вступать в общество не хотелось. Весною Гао дал Сашке денег, чтобы он купил коня, но дал мало.

Вечерами Сашка копал землянку. Он работал с лихорадочной поспешностью, как человек, у которого вдруг явилась надежда подняться из нищеты, зажить не хуже других.

Он часто думал о том, что требуют от него Гао. Сашка боялся общества как огня. Он знал: братья Гао – опасные люди, это хунхузы, а не честные торговцы. За год Сашка такого насмотрелся и наслушался, что решил: лучше всего убраться от этих Гао подальше. Они жили здесь давно, привыкли добывать богатство не столько торговлей, сколько вымогательством.

Гао твердят, что, как китайцы, они очень преданы своей родине. Но все это пустая болтовня! Сашка не очень разбирался в тонкостях политики, но чувствовал: тут дело нечисто – под тем предлогом, что и он и они китайцы, его хотят втянуть в такие дела, которые к родине

никакого отношения не имеют. Купцы могут так все обставить, что окажешься в разбойничьей шайке. Говорят, что тут уже приканчивали работников, паи которых были в деле. А русские вроде исправника, который приезжал зимой к Гао, или ничего не видят, или смотрят, «прикрывшись веером».

Русские платили Сашке в прошлом году хорошо, давали работу, одалживали коня. С ними можно жить. Но Гао будут недовольны, если узнают, что Сашка принимает помощь от русских, скажут, что, мол, забываешь свое родное... И еще черт знает что могут сказать. Лучше с Гао не ссориться.

Значит, с русскими жить нельзя и с китайцами тоже нельзя. С кем же? Так думал всю зиму Сашка.

Он стал пахать неподалеку от русской деревни. Место хорошее, вокруг никого нет.

Сашка не хотел жить ни с русскими, ни с Гао. Русские довольно хорошо обошлись с ним. Но их тоже надо опасаться. А уйти жалко – хорошая земля. Жить одному нельзя: человек в одиночестве – ничто. Это символ печали, как говорится в стихах Ли Тай-бая. И Сашка придумал, как жить: поселиться неподалеку от русских, но не с ними. Жить проще всего с гольдами. Жениться на гольдке, временно или навсегда – увидим, какая будет жена. Отвечать Гао на все просьбы и домогательства любезностями и услугами.

Сашка не намеревался навсегда покинуть родину.

Но ни одна живая душа не знала, что задумал Сашка, даже Гао не догадывался.

Будет своя пашня. А впереди то, о чем мечтал. Будет у него Одака, он ее купит. Тесть ее бьет, не понимает, какая это прелесть.

Будет Одака, и будет считаться, что Сашка живет с гольдами, – ничего предосудительного! Гао не может придраться. А русские – рядом. Иван за пушнину платит деньгами. Будет рыба, огород, жена, дом, дети...

Но вот дед встревожил его. Вспомнились и полезли в голову разговоры про русских, слышанные и тут и на родине. «Действительно, русские могут оказаться плохими людьми, грабителями, а я задумал жить с ними рядом. Может быть, в самом деле они варвары? У них ложная вера, говорят...»

– У-э!.. У-э!.. – зверски кричит Сашка, весь во власти этих дум, и лупит хворостиной конягу, отгаскивая вместе с ней пень прочь с поля.

Сашка человек пылкий, пламенный. Он и себя не жалел, ему тяжелее, чем коню.

– У-э!.. – Он снова ударил хворостиной, да так, что конь припал на задние ноги, повесил голову, вытянул передние.

– У-э! – рывкнул Сашка в ярости, но конь не вставал.

Сашка потянул коня. Конь совсем лег. Сашка долго пытался поднять его, потом заплакал и сел, закрыв лицо руками.

– Ты что реवेशь? – вдруг услышал он.

Это было так неожиданно, что Сашка затрясся. К нему шел Егор.

– Худо, брат, конь сдыхает.

– Ево уже пропал...

– Я ехал, ты еще пахал, я видел.

– Нет, Егорка, ево пропал... – Китаец всхлипнул.

Егор никогда бы не подумал, что Сашка может так плакать. Он понимал, что значило потерять коня. Не шутка – заревешь! Егор не стал упрекать Сашку, что, мол, не бьют коня такой палкой. Он понимал: Сашке надо поскорее допахать рощицу.

– Ну, может, еще и не пропал... Ты дай ему два дня отдохнуть, не жадничай. Я одолжил бы тебе своего коня, но в Додьге вода большая, – соврал Егор.

– Бери, бери, Егорка, эту землю! – вдруг сказал Сашка. – А я уйду...

– Куда же ты уйдешь?

– В Бельго.

– Бог с тобой! – сказал Егор. – Опомнись! – Ему стало жаль Сашку: он один, конь пал, чужбина. – Уж если сдохнет, я тебе дам коня, – вырвалось у Егора. – Да, может, еще и не сдохнет, – спохватился мужик. – Эх ты, брат!.. – Егору хотелось приободрить соседа.

* * *

Егор недолго пробыл у китайца и вернулся в Уральское к вечеру. Подходя к крыльцу, он услышал громкий смех в своей избе. Войдя в

дверь, он увидел, что на табуретке посреди избы сидел Улугушка с таким злым лицом, какого Егор давно уж у него не видал. На коленях Улугушка держит какое-то ружье. На кровати, покрытой лоскутным одеялом, на лавке и на табуретках вокруг гольда Наталья, Татьяна, бабка, Настька, обе Бормотихи, Фекла, Силина, девчонки, и все покатываются со смеху.

– Конесно! Че смеяться! – с сердцем восклицает гольд. – Че телята и коровы! Раньше телят совсем не было. Лиса не будет, зверей не будет, а будет корова. Зачем мне корова? Надо мясо – я в тайгу, и там сохатый и свинья. А я буду на твою корову смотреть только, молоко, что ль, буду пить? – и добавил заикнувшись: – Из т-тительки давить...

Опять все покатились от хохота.

– Из ти-ительки! У-у-у, ха-аха-ха!.. – чуть не умирали бабы.

– Конесно! Че хорошо, что ли, корову за тительки хватать? – еще пуще злился Улугу.

Глядя, как бабы надрываются от хохота, ему самому стало смешно, и в то же время Улугу готов был заплакать с досады, что все понимают его не так, как надо.

– Ты что, Улугушка, зачем баб слушаешь? – спросил Егор, входя. – Они тебя дурят. Знаешь, русокие бабы обдурят хоть кого.

– А че они! – с досадой отозвался гольд. – У нас на Мылке лес загорелся!

– Солдаты подожгли?

– Конесно, солдат! Кто еще! Пришел, леса горят. Бродяга, огонь бросает и идет, не затушит... И мужик лес жжет. У нас так никогда не горело. Был кабан и сохатый, а теперь где зверь? Куда мне идти? На кого охотиться? На твою корову?

– Тительки-то давить! – подсказала Наталья, и вся изба опять загрохотала от раскатистого хохота.

– А ты что огород кинул? – тыча пальцем в плечо Улугушки, строго спросила сидевшая на кровати Таня, говоря с ним, как с глухим.

– Жена на тебя чертоломит, а ты что? – подхватила Наталья.

Бабы стали ругать гольда со всех сторон, но тот не поддавался.

– Огород маленький, а лес большой. Леса вырубил, а на теленка всех зверей меняли! Че ты? Че смешно? – рассердился он на Татьяну.

– А это что у тебя за ружье? – спросил Егор.

Бабы опять загомонили наперебой.

– Постойте, дайте человеку опомниться, – сказал Егор.

Улугу помолчал, потом поднял брови, сморщил лоб, прищурился, как бы в мучительном раздумье. Он потаращил глаза на Егора, с живостью глянул на ружье.

– Это, понимаешь, Егорка, я купил...

– Когда?

– Сегодня...

– Где?

– На баркасе.

– Разве баркас пристал?

– Нет, шел мимо...

– Как же, не зная человека, купил у него? Ты сам купил?

– Конечно, сам. Как раз увидел баркас и поехал... Не знаю – может, обманщик...

Егор покачал головой. Бабы смолкли, только девчонки прыскали после всякого слова гольда.

С Улугу так бывало. Он быстро делал то, что ему хотелось. Он знал, что русские во всяком деле, особенно с покупками, не советуют торопиться. Следовало бы прийти к Егору, ждать, когда пристанет какой-нибудь баркас в Уральском. С Егором или с Иваном идти покупать ружье, с теми, кто знает, какое ружье плохое, какое хорошее. Но так случилось, что Иван отдал Улугу долг за пушнину, и мясо продалось солдатам. Завелись деньги. Шел баркас, и Улугу поехал, недолго думая, взял ружье. Он перебрал несколько ружей и выбрал, которое больше ему понравилось.

Он уж стрелял из ружей Егора и Ваньки, чистить ружья умел, разбирал их и собирал и знал механизм. Его угощали водкой на баркасе, но Улугу, помня, что пьяных всегда обманывают, держался на этот раз.

– Ружье ладное! – сказал Егор. – А ты стрелял?

– Конечно, стрелял! Как раз на мысу убил ворону.

Девчонки опять прыснули.

– Что же ты в ворону?

– Никого больше не было...

– Сколько ты дал за него?

– Все отдал... Деньги, и два соболя, и чернобурку.

Гольда, конечно, обобрали, продали дорого, но ружье было хорошее.

Улугу, как хотел, выбрал его сам, без посторонней помощи. Но когда выбрал – испугался.

«Может быть, я чего-нибудь не знаю?» – подумал он и поспешил на Додьгу. Но Егора там не было, не было никого из мужиков, а собрались одни бабы. Они стали ругать его, почему не копает огорода, а свалил все на Гохчу. Потом подняли его на смех.

– А где наши? – спросил Егор.

– Разве они не с тобой? – встрепенулась Наталья.

– Нет, я к Сашке ездил, а их высадил, они берегом пошли.

– Господи, уж не случилось ли чего?

Как бы в ответ на эти слова, за дверью послышались шаги, раздался вскрик. Дверь распахнулась. Все вскочили. Вошли дед и Федька, а за ними Васька с завязанной головой, смущенно-счастливый.

– Сынок, что с тобой? – кинулась к нему Наталья.

– Медведя убили, – сказал дед. – Мы шли... Дороги не узнали... Васька повел... Вышел через чащу – и прямо на зверя!

...Медведь осел, как испуганная собака, оскалился. Васька тоже остолбенел. Зверь кинулся на него, но не успел схватить: дед шел с ружьем наготове, выстрелил и попал зверю в глаз, убил наповал. Падая, медведь задел Ваське ногу, а тот со страху разбил голову о дерево.

Васька никогда еще не был так счастлив. Все охали, удивлялись, расспрашивали.

Дед рассказал, что в малинниках столько медведей, что все кусты зашевелились, когда раздался выстрел.

– Как стадо...

* * *

Улугушка ночевал в Уральском.

Утром он шел через огород. Таня сказала ему:

– Бил бы луком зверей-то... Телят-то тебе не надо, а ружье зачем?

– А на черта мне лук! – ответил гольд, вытер лицо ладонью и пошел своей дорогой.

В обед явился Сашка-китаец. Конь его пал.
Не хотелось Егору давать ему Буланого.

– Пойдем, Сашка, обедать, – сказал мужик.

Вошли в избу. Когда Сашка увидел деревянные чашки с дымящейся похлебкой из свинины, глаза его заблестели, и он зажмурился, как бы силясь сдержаться. Он всеми силами старался потушить взор, скрыть охватившую его тайную радость. Егор понял, что Сашка голоден, что работает он без куска хлеба. «Как он сам не сдох?»

– Ваську у нас медведь чуть не подрал, – сказал Егор.

– Ое-ха! – удивился Сашка. – Васька, че тебе?

– Голову разбил.

– Моя есть лекарство, принесу, – сказал китаец.

После обеда Егор сказал старшему сыну:

– Петрован, Буланого веди к Сашке. Надолго тебе коня?

– Два дня все кончай. Завтра обратно...

– А брод есть?

– Есть. Есть брод. Моя переходил, Додьга маленькая.

– Только по малинникам не ездите – там медведей как коров. По берегу ступайте. Да ружье возьмите...

Петровану дали хлеба на двоих. Сашке – кусок кабанины и соленой рыбы амура две штуки. Петрован шел охотно.

Собрались соседи. Егор сказал людям, что у Сашки конь пал, ему допахать осталось немного, и мотыгой мог бы, корни он уж выдрал, только долго провозился бы.

Зная, что Сашка хороший мастер и может пригодиться, все сочувствовали.

– Китаец уж и есть китаец, – сказал Федор. – И коня не жалел. Дашь коня, он загубит.

– Егор потому и Петрована послал, чтобы следил. Парень смысленый, да и китаец будет смирней, – молвил дед. – Эх, я тоже один раз погубил лошадь!.. Забил насмерть... Был молодой, ехал... Скакал. Быстро скакал! И вот она хрипит. А мне надо... Я и не пожалел: мол, сдюжит. И пришлось мне идти с уздечкой... Уж бывает.

– Э-э, чего вспомнил, – вдруг рассердилась бабка. – Чего несет! Не стыдно тебе?

Дед не слушал ее. Он повесил голову, глядя на свои узловатые, сухие, морщинистые руки, как бы не узнавая их.

А Петрован с Сашкой шли у воды по широчайшей отмели. Тут наверху чаща, медведи шатаются.

Петрован вел Буланого в поводу. Отец ему наказал, что делать у китайца.

Далеко впереди, не оглядываясь, проворно шлепал в своих стоптанных кожаных обутках довольный Сашка. Он шел, волоча ногами так, что бороздки оставались на песке, и не размахивая руками, а держа их растопыренными, словно они в грязи или намылены. Лицо его поднято. Сашка идет и думает...

Петровану скучно. Он то смотрит на воду, остановит коня, спугнет зеленых мальков в воде. Стая их дрогнет и метнется вглубь, так что вся вода на мели мелко зарядится.

Когда за додьгинским холмом скрылось поселье, Петрован окликнул Сашку. Китаец встревоженно оглянулся и подошел.

Петрован подвел коня.

– Залезай, Сашка, на Буланого.

Китаец обрадовался и вскарабкался на лошадь. Петрован тоже вскочил на коня и устроился сзади него.

– Н-но! – прикрикнул он.

Петрован обнял китайца. Конь зарысил. Над головами быстро проплывала стена холма, вся в кустах и деревьях, местами изрытая водами, сейчас сухая, с белыми обвалами песка. «Вот бы ползать, там яйца птичьи», – думает Петрован.

На отмели, на чистейших песках, видны следы растоптанных Сашкиных обутков. Он тут сегодня плелся вразвалку с Додьги – бороздил песок...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ



Айдамбо, уставший, босой, без шляпы, с мокрой головой, с рыбокожими обутками, связанными бечевкой и перекинутыми через плечо, сидит на корточках над самым обрывом у избы Барабанова.

Его лодка внизу на песке. В ней оленья шкура, несколько картофелин, сумки, сеть, мешок, зимняя одежда.

– Ночью ветер был, нынче стихает, – говорит стоящий у ворот Федор. – У меня сети в жгут скатало. Вода как нынче прибывает. Смотри, уж скоро ваше озеро видно будет, вон заметно уж, вода блестит. А ты что на ветру с мокрой головой сидишь? Пойдем ко мне, что тут разговаривать?

– У-у! Ничего! Моя могу совсем без голова, – ответил Айдамбо, подымаясь.

Он хотел сказать, что может обходиться совсем без шапки, но, думая о своих делах, спутался.

– Куда это ты ездил? – спросил Федор.

Айдамбо не ответил.

«Раз в лодке картошка, значит он где-то в русской деревне был. Едет издалека... И зачем ему картошка? Да еще выложил на виду!»

– Ну, пойдем в избу. А что это у тебя в мешке? – как бы между прочим спросил Барабанов, проведя рукой по холстине.

– Пушнина, – ответил Айдамбо.

Федор догадывался, что гольд явился откуда-то издалека с зимней добычей и к отцу еще не заезжал.

Во всем Уральском только у одних Барабановых есть забор из бревен и одностворчатые, но крепкие ворота. Оставлена высокая береза тут же.

Во дворе сараюшка и старая землянка из остатков плота и груды навоза. Изба новая, высокая, с сенями и свежей тесовой крышей, смотрит тремя окнами на реку. Бродяжки и досок напилили и крышу покрыли.

У окон хорошие ставни. Федор любил закрываться плотно от пурги, от ветра, в шторм и от своих же бродяжек. Да и в хорошую погоду на душе было легче и спалось приятней, когда ставни прикрыты на болты ночью.

В избе Барабанов – руки в боки – присел на лавку, оглядывая гольда исподлобья и морща бледный лоб, как бы примеряясь, с чего начать.

– Ваньки нету! Худо, – сказал Айдамбо.

Агафья подала водку и закуску. Айдамбо выпил и повеселел.

– А тебе Ваньку надо было?

– Конечно, я к нему приехал. – Айдамбо застенчиво улыбнулся. – Как бы мне, Федька, русским быть? – спросил он.

– Русским?

– Да. А че же? Помогай мне маленько?

– На что тебе русским? – с насмешкой спросила Агафья. – Будь, кем мать родила.

– Нет, хочу русским.

– Ну, ладно. Могу тобой руководствовать! – с важностью сказал Барабанов.

– У меня русская рубаха есть! – воскликнул гольд.

– Ну-ка, надевай! – Федор многозначительно взглянул на жену.

Агафья кивнула головой в знак того, что понимает.

Айдамбо скинул свой расшитый халат и надел красную рубаху.

– Парень, рубаха красивая, но с такими обутками дело не пойдет, – сказал Федор. – Это же улы, у них носы загнулись, как у баркаса. Тебе надо лакированные сапоги, чтобы блестели как зеркало.

– А у тебя есть такие сапоги?

– Есть! Все есть! Я тебя так обряжу, что все ахнут!

Барабанов засуетился. Айдамбо надел старые, потрескавшиеся лакированные сапоги, плисовые шаровары и картуз, а свою вышитую старой матерью одежду со злом кинул за печку.

– Ну как, моя русский?

– Русский, настоящий! На забайкальского казака похож. Только косу спрячь под картуз, а то нехорошо. Надо бы по правилам косу обрезать... Теперь ты смело можешь идти свататься.

Айдамбо помнил совет Бердышова – стать похожим на русского – и решил постараться и преобразиться к его приезду.

«Вот Ванька удивится», – думал он.

– Ну, а теперь надо еще выпить!

– А пьяный буду? Что тогда? Худо, когда пьяный. Свататься как пойду?

– Уж если ты хочешь на самом деле походить на русского, да еще на жениха, надо выпить хорошенько. Как же! Раз жених – надо всем показать, что у тебя есть деньги, меха, что ты охотник хороший и не скупись, всех угощаешь. Сразу скажут: «Вот это жених! На русского походит!»

– Ну, ладно.

Гольд понимал, что одежда, которую дал Федор, стоит дорого. За свое преображение он отдал Федору соболей. Но, как заметил мужик, в мешке у парня еще оставались и соболя и связка превосходных выдр.

– Ну-ка, Агафья, давай, живо! – покрикивал Федор.

Айдамбо нравилось, что из-за него так суетятся, что тут такие хорошие друзья, угощают так любезно. Айдамбо был еще молод и к водке не пристрастился. Но для него, как и для многих бедных

охотников, обираемых и приучаемых к водке торговцами, пьянство представлялось большим наслаждением.

* * *

...В лето первого сева Барабанов много и тяжело работал на пашне, клял здешнюю землю и Егора Кузнецова, который нашел в ней какую-то радость и еще надеется устроить тут жизнь по-новому. Жесткая мокрая целина мучила Федора, но он старался, потому что иного выхода не было.

Осенью он собрал урожай, ладный для первого раза. Земля была разработана. Мужик повеселел, почувствовал, что стал на ноги крепко.

На одном из последних баркасов Федор купил водки, ситцев, колец, побрякушек и менял все это на меха. Тут только понял он, что значит торговать с гольдами, какие барыши можно выгребать. Гольды в большинстве привыкли, что их обманывают и спаивают, они терпели все.

«Эх, тут торгашам не жизнь, а масленица!» – думал Федор, но его разбирало зло, что богатеет медленно. «Умный же народ эти бельговские купцы!» – не раз с завистью думал он.

У Федора недоставало размаха, уменья повести дело широко. Он боялся истратить сразу все деньги – купить побольше товару. Ситцы и водку брал он из вторых рук, на баркасах, не рисковал ехать за товаром в Хабаровку или в Николаевск.

Он скрывал свою торговлишку от властей и поэтому страшился и не любил исправника, опасаясь, что обманы, чего доброго, откроются и тогда придется раскошелиться и давать взятки. Он понимал, что много еще ему надо стараться, чтобы стать настоящим торговцем, и что все еще впереди.

– Ведь я мужик! – часто говаривал он. – Пришел на Амур первым, драл чашу, обтапывал место, заводил тут жизнь.

Федор желал всем показать, что мучился здесь за кого-то и теперь вправе делать все, что захочет.

– Я тут коренной... Я первый сюда зашел. До меня Амур был неизвестный! До каких пор я буду тут надрываться?

Иногда Федор удивлялся, вспоминая, как он в тот год вдвоем с Агафьей разработал пашню на месте тайги и вырастил хлеб. Теперь ему казалось: он должен наверстать все свои былые труды, горечи и обиды. Послушать его – он, казалось, презирал свой труд, давший ему начало в здешней жизни, говорил, что можно было обойтись и без него.

– Робил да робил. А люди торгашили! А я выгоды упустил. А мог бы!..

Иначе как с обидой Федор не говорил про первый год, хотя знал: славное то время было! Но на людях всегда твердил, что страдал зря.

Он был проворен и суетился по-прежнему. Все его помыслы были обращены к наживе. Агафья тоже побуждала его к этому, супруги действовали все решительней.

Только Иван удивлял его. Не раз Федор думал: почему сосед себе хороший дом не построит?

– Некогда! Торгует! – говорил Егор.

– Скупой... – бывало, скажет Агафья. – Копит! И в таком проживет.

– Нет, он не хочет на малом мириться, далеко гнет, куда-то целится, – говорил Федор. – Хватит еще!

И думал: «Пусть бы Иван далеко хватил. Я бы за него тут остался».

* * *

Подвыпив, Федор и Айдамбо, пошатываясь, пошли по берегу.

– Ты крепко его держи, – наказала Агафья.

– Вцепился, теперь не оторвешь! – смеясь, отозвался мужик.

Барабанов подмигивал встречным и кивал на гольда: вот, мол, какой чудак, разрядился, как петух, и что вытворяет. Они направились к Ивану, но того дома не было.

Бердышovy жили в старом зимовье, которое когда-то складывал Иван с гольдами. Теперь лес вокруг вырублен, рядом вскопан огород, поодаль построен из свежих бревен высокий большой амбар для товаров, а зимовье все то же. Под крышей видны копы, рогатины, меховые лыжи. Нарты разбросаны всюду небрежно, как будто, где их

последний раз распрягли, там и оставили. Собаки нарыли ямы и лезут в них, прячут морды в землю от мошки. Летом нартовые собаки ленивые, сонные, линяют: всюду клочья шерсти. У зимовья чугунный котел на камнях и чайник, черный от сажи. На опушке тайги пасутся полудикие кони Бердышова.

Анга и Дельдика на огороде, обе исчерна-смуглые, в белых платьях.

Айдамбо и Федор подошли.

– Ивана нету... Не знаю где! – нелюбезно ответила Анга, видя, что Федор нетрезв.

Разговор не клеился. Гольдки пересмеивались между собой, поглядывая на парня.

– Пойдем домой, сейчас чего-нибудь сотворим, – сказал Федор. – Давай я тебя покатаю.

– Давай!

Втайне Айдамбо желал бы остаться с Ангой и Дельдикой. Долго он был на охоте, ожидая дня, когда увидит Дельдику, отдаст меха Ивану, преобразится в русского. Много хотелось бы рассказать, как старался он в тайге. Сейчас он готов был переступить родовой закон и заговорить с девушкой. Но Федор тянул его обратно. Полагая, что русский лучше знает, как свататься, Айдамбо уступил.

– Пойдем, ладно! – согласился он нехотя.

Федор держал несколько лошадей для разгона. Он поймал гнедого мерина, надел на него шлею с бубенцами. Конь, ступая вдоль берега, на длинной веревке потянул лодку. Гольд и мужик залезли в нее.

– Вот увидишь, ей понравится, помни мое слово.

– Мимо Ваньки поедем? – спросил Айдамбо.

– Конечно! Мы с тобой шуму на всю деревню наделаем. Ну, пошел! – взмахнул кнутом мужик. – Эх, гармонь бы сейчас! Ну, ничего, будем и так горланить!..

– Быстро ехай! – дико крикнул Айдамбо, вскакивая в лодке во весь рост.

Мужик, показывая, как старается и угрожает, еще раз хлестнул бичом. Конь, одичавший – его несколько месяцев не запрягали, – испуганно шарахнулся я, то лязгая копытами и спотыкаясь, то разбрызгивая воду, помчался по косам и заводям.

– Эх, поше-е-ел!.. «По улице мостово-о-ой!..» – заорал Федор.

Поравнявшись с бердышовской избой, Айдамбо выпятил грудь в красной рубахе и выставил ногу в лакированном сапоге.

– Однако, никто не заметил, – пожаловался гольд. – Никого нету.

– Не беспокойся. Все видят! Бабы, знаешь, как наблюдают: ты их и не заметишь!

– Ну, давай еще!

– Давай!..

Федор завернул коня.

– Эй, а это че-то? Порвался, что ли? – вдруг спросил гольд. В трещине сапога виднелся его черный палец. – Черт знает! Как такие сапоги таскают, нога как деревянная!

– В таких сапогах надо чистеньким ходить, в грязь не лезть. А ты в лакированных сапогах лезешь в Амур. Это не бродни!.. – сказал Федор, правя веслом к берегу. – Ну, приехали. Кто такие сапоги долго носит – привыкает, – утешал он гольда, вылезая на косу.

– Да они тебе малы! – заметил гольду Силин, вышедший на берег полюбоваться на новые проделки соседа. – Без привычки поломаешь ноги, пальцы стопчешь!

Федор увел гольда домой и напоил его до бесчувствия. Когда, лежа на кровати ничком, пьяный Айдамбо храпел в глубоком сне, Агафья спросила мужа:

– Это что же, даром поить его? Такая-то гулянка!

Федор подмигнул.

– Убери этот мешок с глаз моих, – кивнул он на вещи гольда.

На другой день приехал Иван. Айдамбо явился к нему. С похмелья у гольда болела голова. Пальцы его лезли из растрескавшихся сапог, он не снимал их и ночью.

– Я русский теперь! – невесело сказал Айдамбо.

На душе у него было нехорошо, он хотел бы все высказать.

– Мутит тебя? – спросил Бердышов.

– Мутит, – признался гольд.

– Я слышал, как ты куролесил. Ладно, меня дома не было, а то бы я выскочил да бичом бы вас обоих с Федькой! А ты что приехал?

Айдамбо молчал, павши духом.

– Свататься хочешь?

– Конечно, так, – покорно, как бы заранее на все готовый, ответил Айдамбо.

– К Покпе в фанзу жену повезешь?

– Да, туда можно.

– Чтобы ее там блохи заели?

Гольд молчал.

– Она крещеная, а ты деревяшкам кланяешься. Верно?

– Так, верно! – кисло согласился гольд.

– Разве ты русский? Ты только шкуру чужую надел! Паря, смех смотреть на тебя в таких сапогах. Лак растрескался, грязные пальцы видать. – Иван потрепал Айдамбо за рубаху и штаны.

У гольда от обиды слезы выступили на глазах.

– Ну, раз так – мне жить не надо! – воскликнул он. – Себя убью!

– Убьешь – только посмеемся над тобой. А ты на самом деле стань русским. А это что! Рубаху может каждый сменить! И отвяжись от меня!

Айдамбо ушел от Ивана смущенный и подавленный. Барабанова дома не было. Гольд снял сапоги и лег на кровать. Он поклялся никогда таких сапог не надевать.

Кто-то толкнул его в плечо. Перед ним стояла Агафья.

– Встань-ка, – сказала она. – Ишь, разлегся!

– Башка болит! – с жалобой в голосе ответил парень.

Айдамбо слез с кровати.

Баба поправила одеяло. Айдамбо долго сидел на лавке. Видя, что Агафья не в духе, он решил обратиться подобру-поздорову.

– Давай мой мешок, – робко сказал он.

– Поди возьми. Я не стану ходить за тобой. Вон он.

Айдамбо поднял мешок. Меха в нем не было.

– А где выдры?

– Какие еще выдры? Да ты что, окаянная душа! – заголосила баба. – Гулял-гулял, пил, всех поил, безобразничал! Да ты что это?

– А зачем толкаешься? – с обидой крикнул гольд.

– Вот, на твои обутки, хоть уху из них вари! И поди ты вон! Грязь за тобой надоело убирать. Я и тебя и Федора изобью!

– Черт не знай, – удивился Айдамбо, выскакивая на крыльцо.

– Попало тебе? – окликнул его Тимошка. – Пойдем ко мне.

Изда у Тимошки маленькая, белая, из начисто обтесанных бревен и крыта колотыми бревнами. Во всю изгородь сушится невод, как

будто Тимоха поймал огород в Амуре и вытащил на берег. Невод с лыковой насадкой и красными глиняными грузилами.

Сидя на солнышке, Силин учил сына плести лапти.

– Ты ловко делаешь! – удивился Айдамбо. – Это че такое?

– Деревянные обутки! – ответил Тимоха. – Ты из рыбы делаешь, а я из липы. Я из дерева все могу сделать: избу, одежду, посуду. На ногах – липа, веревки лыковые. Ты вяжешь из дикой конопли, а я из дерева. Вот, гляди, я сделал девкам утку, куклу... Вот солонка... А тебя русским сделали? Дураков, как мы с тобой, много на свете! Вот ты хвалишься, что кабана да медведя убил, а тут сам попался. С богатыми в другой раз не водись. Оставайся у меня, погости.

Одностворчатое окно избы распахнуто, и внутри, как в темной норе, видны тулупчики на белых бревенчатых стенах. У дома, составленные стоймя, как ружья в козлах, сушатся мокрые лесины. Это плавник, выловленный Тимохой в реке.

Силиниха, худая, с темным от загара лицом, моет травой чугуи.

Айдамбо не хотел задерживаться, опасаясь, не будет ли и тут неприятностей из-за угощений, но Тимоха оставил его обедать.

– Ко мне на угощение, знаешь, трудней попасть, чем к Ваньке или к Федьке. Тем надо пушнину, а я смотрю, какой ты человек.

* * *

Айдамбо сидел на берегу и наблюдал, как багрово-бурое бревно качалось на зеленых волнах. Он ждал, пока вернется Федор, уехавший ловить рыбу. По реке быстро бежала парусная лодка. Федор и Санка, мокрые, довольные, вылезли на берег. В лодке было полно воды и плескались большие рыбины.

– Да, парень, мы с тобой набедокурили, – с сочувствием сказал Барабанов, выслушав Айдамбо. – Ну, давай присядем.

Санка притащил осетра. Федор отсек хрящ и угостил Айдамбо.

– Ты на мою бабу не обижайся. Что с ней сделаешь! Да и то права, мы весь дом у нее перевернули.

На душе у Айдамбо отлегло.

– А выдр и соболя мне обратно отдашь? – спросил он.

– Какую это выдру? – сделал Федор испуганно-настороженное лицо.

– Которая вот в этом мешке была.

– Да ты же мне сам их отдал!

– Ты че, Федя? Не-ет... Моя их прятал.

– Ну вот еще!

Гольд морщил лоб, поглядывая по сторонам.

– Федька, однако, ты обманываешь! – сказал он.

«Выдры были хороши. Шесть штук я перебил на снегу. Они как в упряжке скакали, а я их бил, – вспоминал Айдамбо. – Они полезли под снег. Я кругом бегал, ловил. Жалко...»

– Осенью принеси долг, и больше никаких с тобой разговоров! – как бы рассердившись, крикнул Федор. – Смеешь еще такие наветы делать!

Взяв рыбу и весла, отец и сын Барабановы полезли на обрыв.

* * *

Ветер крепчал. Амур пенился и шумел мерно и ровно, как мельничное колесо. Вода все эти дни прибывает. Айдамбо уехал. Дельдика стоит и смотрит в ту сторону, где поднимается пожелтевшее озеро Мылки.

Дельдика знает, что это ветром и волнами взбило и подняло в мелкой озерной воде весь ил, грязь. Ей бы тоже хотелось туда, половить рыбки или с острогой – на горную речку...

Дельдика очень жалела Айдамбо. Она догадывалась, почему он пустился на такие проделки. Красную рубаху и сапоги он надел ради нее. Все его осуждали, а она понимала, что ему хочется перемениться, жить по-другому, и это ей нравилось. Только он сделал все неумело. Обидно было, что над ним смеялись, отняли у него пушнину... «Лучше бы пришел ко мне. Я все бы показала ему, что и как надо сделать».

Услышав, что Айдамбо грозитя убить себя, она в страхе прибежала к Ивану.

– Останется жив и здоров, – ответил тот.

– Нравится тебе Айдамбо? – спросила Анга.

– Да, он очень красивый, – призналась девушка с потаенной гордостью.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Вода стала спадать. Шире выступили косы, усеянные карчами и стволами мертвых деревьев. Тимоха все вытаскивал их, чтобы сохли, – будут дрова.

Озера уж не видно за лесом. Тишина. Вокруг гладкие воды. Опять летают чайки. Будет долго хорошая погода. Травы быстро поднимаются. Слышно, кто-то лязгает по железу на релке, точит косу.

Пришел маленький пароход и, дымя на всю деревню, встал около Ивановой избы, выгружая товары. Гольды пригнали Ивану четыре большие плоскодонные лодки. В распадке, среди цветущих лип и белой сирени, раскинулись их палатки. Там раздавалась пальба – испытывали новые ружья. У избы Бердышова словно происходило сражение.

Бердышов собирался в далекое путешествие, на таежную реку Горюн. Правой рукой у него Савоська. Старик в суконном кафтане и в картузе хлопотал целый день у амбара, обливаясь потом. Одни грузы носили туда, другие к лодкам, укрывали их... Товар пришлось сгружать здесь, а не у устья Горюна: там, по словам Ивана, некуда складывать, и пароход к деревне не пристает, и помощи у Тамбовцев просить не надо. А то будут завидовать и постараются все испортить. Иван не хотел их подмоги и не желал, чтобы они знали про его замыслы. Там есть свои торгаши, которые тоже хотят захватить Горюн.

Удар надо было нанести сразу, проникнуть на Горюн тихо, чтобы тамбовцы не знали. А товары доплывут эту сотню верст по течению – труд невелик и опасность невелика. «Пройдем в Горюн островами. Но на обратном пути зайду в Тамбовку». Там все-таки надо было показаться. Да и помнил Иван, как Дуня Шишкина намекнула ему насмешливо, что он огольдячился. Для Ивана не было упрека обидней, да еще от Дуни... Без гольдов нечего было и думать идти на Горюн, но несколько русских надо было взять.

Самым подходящим из уральцев Ивану казался для такого пути Илья Бормотов.

Но пошел Иван сначала к Егору, а не к Бормотовым. С Егором скорей уговоришься. Ведь Бормотовы первые ни на что не решаются и,

если узнают, что никто из русских не идет на Горюн, кроме Ильи, не пустят еще его. Иван кликнул Савоську.

Бердышов и гольд пришли к Кузнецовым. Те в два дыма отбивали кострами черный дождь мошки. Бабы в красном и оборванные, черные от жары мальчишки кружком сидели у закопченного котла, под пологом, и хлебали уху.

Иван снял картуз, залез под полог.

– Цел? Не оплошал медведя? – спросил он Ваську. – Я слышал, отец теперь боится тебя в тайгу пускать!

И, усмехнувшись, он покосился на Егора, который с дедом вместе – оба в длинных рубахах – заканчивал распиливать бревно. Собирались делать из досок ворота, ставить забор. Бревна пилили с торца, вдоль, напиливали из каждого по несколько плах. У Кузнецовых перед избой груды опилок.

– Ты что сына в тайгу не пускаешь?

– Кто тебе сказал?

– Да сам не знаю, кто-то сказал...

– А тебе что? Надо?

– Надо!

– Тебе далеко ли?

– Собирался на Горюн!

– У-у, какая река, – сказал Савоська. – Вода там как котлом ходит!

– А без него не обойдешься?

– Никак! Все пропадет.

Иван какой-то легкий, помолодевший, усы подстрижены, рубаха вправлена в штаны. У него острые синие глаза и нос, черный от загара.

– Как здравствуешь, Иван Карпыч? – молвила, подходя, старуха.

– Да вот мне на Горюн ехать – нужен мальчик смотреть за товаром. – Иван обратился к Ваське: – Ты уж большой, стрелять умеешь...

– Зачем это ему стрелять? – строго спросила Наталья.

– Ну, утки полетят...

– Ах, утки! А уж я-то подумала...

– Не грабить же мы едем! Я его стрелять научу как следует. И буду платить.

Егор, услышав про плату, подумал, что, пожалуй, стоит отпустить Ваську. Деньги ведь! Сколько ни трудись, а деньги нужны. Как всякий

мужик, Егор ценил деньги и покупные вещи дороже своего труда.

– А тебе кто, Васька, шкуру порвал? – спросил Иван у мальчонки. – Посмотри в речку на морду... Не на охоту ли ходили? Что, у дедушки лапа тяжелая?

Иван вместо «рука» говорил «лапа». Зубы у него – «клыки», кожа – «шкура», ногти – «когти», рот – «пасть», лицо – «морда».

– Как, жена? Может, пусть едет, поглядит? – молвил Егор.

– Да уж не знаю, – ответила Наталья, но и Егор, и Васятка, и Иван по голосу ее услышали, что она согласна.

«С Иваном-то надежно, – думала она. – Ваське давно хотелось побывать в далекой тайге. Ему ведь уже двенадцать лет, большой».

Егор не желал показать, что случай с медведем напугал его. Но все же в тайге – он знал – опасно. Хотя Иван зоркий, чуткий, тайгу знает, зимой без варежек на охоту ходит, ночью находит дорогу в лесу, а это даже гольды не все могут.

– Не бойся, Егор, – сказал Савоська. – Я присмотрю, и Васе будет хорошо...

Все знали, что Савоська добрый и любит детей.

– Сохачью шкуру возьми, – подымая палец, учил гольд мальчика. – Тебе про Невельского расскажу. Покажу место, где он был.

– Без сохачьей шкуры амурец не живет, – подтвердил Иван. – Обутки, постель, мешок, сумка, шапка – все сохатина да сохачий мех.

– А ружье? – спросил Егор.

– Ружья своего не бери. У нас ружья будут... Егор, а ты осенью хлеб продавал интендантству, еще не осталось ли? Давай хоть один куль или два. Я хочу с собой на Горюн взять русского хлеба. Там уж слух пронесся, что Егоркина мука слаще. Надо для пробы прихватить. Верно говорят: из-под березы земля хорошая, хлеб на ней родится более. И под новый урожай могу ссудить, – сказал Бердышов, – мука мне нужна.

Пошли в избу. Долго толковали.

Бердышов дал мужику двадцать рублей.

Егор велел сыну собираться.

– Пусть привыкает к тайге...

Илья Бормотов услышал обо всем от мальчишек, пришел домой и сказал отцу:

– Тятя, нам денег надо?

– Что зря говорить! – ответил Пахом.

– Дядя Иван даст денег, нанимает людей лодки толкать на Горюн. Пооди к нему.

– Пусть, пусть уж Илья сходит! – заговорил Тереха. – Иван, пооди, деньги ладные даст. Он еще зимой сказывал. Если земля не уродит, хоть хлеба прикупим.

– Нишкни! – прикрикнул Пахом, но сам пошел к Бердышову.

Вернулся Пахом сильно обиженным. Иван ни словом не обмолвился, что ему нужны работники. Пахом изругал бабу и запретил поминать про Горюн.

Однако в тот же день Бердышов сам явился к Бормотовым.

– Жениться хочешь? – спросил он у Илюшки.

– Хочу, – спокойно ответил тот.

– Есть невеста?

Илья покраснел.

– Еще не сватался?

– Нету невесты! – ответил Пахом запальчиво.

Хотя Иван замечал, что Дуня и Илья поглядывали друг на друга, но не беспокоился.

– Ты чего вяжешься ко мне? – грубо спросил Илья.

– Поедем в Тамбовку, там девки – красота! Приглядишь и высватаешь... Пахом, я еду торговать на Горюн. Отпусти Илью, мне надо русских в работники. – Он не стал объяснять с подробностями, куда и зачем едет. Это не Егор, он все равно может ничего не понять.

Илья вдруг вскочил, выбежал из избы, заскакал, в восторге перескочил через низкие барабановские ворота.

«Поеду!» – решил он.

Пахом тем временем расспрашивал о плате. Как раз лето, идут баркасы, купить можно все, что хочешь.

– Видишь, пора-то какая... Нам не подходит, – сказал он.

Но он еще раньше с братом и с женой обсудил, куда истратить деньги.

– А когда ехать?

– Послезавтра на рассвете. У меня все готово, но работники еще не собрались, и муки надо с собой взять.

Раз Пахом спросил, когда ехать, то ясно, что согласен. Но Иван знал: надо дать ему покуражиться.

А вдали опять защелкали выстрелы.

Иван усмехнулся. У него были заведены теперь дела в разных селениях и в городе. Соседи даже и предположить не могли, что он затеял.

– А муки тебе не надо ли? – спросил Пахом, когда уж прощались.

– Да как сказать... Я уж было заказал. Много у тебя?

– Какая цена-то, я не знаю, нынче.

* * *

Васька собирался тщательно, взял новую рубаху, свернул трубкой сохачью шкуру, наточил свой охотничий нож. Иван дал ружье, короткое, легкое, жаль, что не свое, но Васька счастлив, что ему дано и что ружье это как игрушка.

Наутро лодки были загружены. Уезжали раньше, чем хотели. Все сделали за день. Работники – гольды и уральцы – ждали хозяина. Иван что-то замешкался в зимовье.

Вся деревня вышла на берег проводить отъезжающих.

– Илья схитрил все же! Нанялся, чтобы Дуню повидать! – говорила Таня. – Пень с глазами, а изловчился. Смотри, Илья, там не упустит, она уж о тебе плакала.

Она подмигнула парню, сидевшему на носу лодки, и хлопнула его по спине.

– А рубаху-то новую взял? – спросила она. – Васька у нас приготовился.

У Ильи уши покраснели.

– Ну, довольны, ребята? – спрашивал парней Тереха. – С Иваном-то надежно.

– Мозоли на глазах наглядят! – сказал Иван, подходя к лодке.

На нем клетчатые штаны и шляпа.

– С Иваном-то они сами кого-нибудь ограбят, – толковал шутливо Кондрат, когда лодки ушли. – А ты, Егорушка, говорил: «На новых-то местах жизнь пойдет по справедливости». А, гляди, люди работников нанимают. А наши парни уж постараются на соседа. Он с малого начинает. А как приучит их работать на себя, под урожай, вот даст!.. А потом что – не знаем...

– А ты что же раньше молчал? По-твоему, значит, зря я отпустил Ваську?

– Да нет уж, пусть приучается! Ладно! Да все же деньги. Посмотрим, что дальше будет...

Дед сам желал, чтобы Васька заработал денег. Иван платил куда больше, чем на старых местах. Не так обидно батрачить, если за такие деньги. Но в глубине души дед побаивался, как бы Иван не согнул тут всех когда-нибудь.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Возвратившись домой, Айдамбо не стал ни пить, ни есть, ни разговаривать. Дома вкусно пахло звериным мясом. Сестренка варила рыбий жир. Лезли и лизались собаки. Старик Покпа сидел за столиком и, обжигаясь, ел кашу.

– Ну, как охотился? – не оборачиваясь, спросил он. – Иди есть кашу. Хорошая каша.

– К черту иди со своей кашей! – отозвался сын.

– Ай, наори! – весело подпрыгнул Покпа на кане, словно подколотый. В хорошем настроении он все склонен был принимать в шутку.

Айдамбо присел на кан рядом с ним и стал яростно царапать обеими руками голову. Он теперь моется, голова у него чистая, но и с чистой головой не придумаешь, как тут быть. Айдамбо трет ее и скребет.

– Сытый, что ли? – спросил отец. – Русские хлебом накормили? Что такое хлеб? – рассуждал старик. – Лапшу знаю, лепешки знаю, пампушки. А русские хлеб едят – так мне люди сказали. Когда я посмотрел, что они едят, то плюнул. Черный и вязкий. Совсем не на еду похожий.

– А ты сам от грязи черный, – с сердцем возразил ему Айдамбо.

Покпа был вспыльчив, он мог избить сына. Но Айдамбо долго не был дома, он охотился где-то далеко, старик соскучился и простил грубость.

– Как люди живут, ты не понимаешь, – продолжал парень. – Деревяшкам молишься, рубаху грязную носишь, сам никогда не моешься. У нас в доме грязно.

Мать с плаксивой гримасой слушала сына. Так долго не был дома – и вот приехал и бранится. Пусть бы добром сказал, ведь она согласна ради него все сделать: вымыть дом, одежду...

– Откуда ты явился? – удивлялся Покпа. – Ты, парень, однако, сватался, и тебя погнали.

– А из-за чего меня погнали? Конечно, из-за тебя! Мне из-за тебя жениться не дают. Ты меня чистоте не учил. Сам грязный. Смотри, какая на тебе рубаха!

– Я от грязи еще ни разу не умирал, – ответил Покпа самодовольно. – Есть не будешь? И не надо... Я уж все съел.

Старик повалился на кан и, как обычно, лег на спину, раскинув ноги.

– Что невеста тебе сказала? Чтобы ты хлеб ел?.. Я зря тебя в детстве не обручил. Надо было женить тебя на кривой Чуге. Тогда бы ты не был такой умный.

– Тьфу, видеть тебя не могу! – вскочил Айдамбо.

– Ой-ой, сынок! – забеспокоилась старуха.

– К чертям вас обоих вместе с матерью! Я хочу правильную жизнь узнать, как надо все делать... А вы только мне мешаете. Лучше бы вас совсем не было!

Покпа лежал не шевелясь, изумленный рассуждениями и поступками сына.

– Не хочется подыматься, а то бы я оттрепал бы его за косу. Грязь ему не нравится, русские грязи не любят! А вот ты на отца плюнул! Русские на отцов плюют?

Айдамбо, не желая больше разговаривать, стал собираться в дорогу.

– Не езд, сынок, я тебе приготовила новую одежду. Вот посмотри, какая вышивка!

– Оставайся лучше дома, – примирительно сказал Покпа. – Поедем на протоку рыбу ловить. На протоке каких-нибудь торговцев найдем и отберем у них чего-нибудь, – стал он дразнить сына. – Когда я был молодой, мы так всегда делали. Но ты как девка, – подшучивал отец. – Ты уж большой, а толку от тебя все нет. Могли бы с тобой поймать...

Айдамбо, заткнув уши, выбежал из дому, с разбегу прыгнул в лодку и поднял парус. Он направил свою лодку в ту сторону, где на обнаженном холме солдаты в белых рубахах строили церковь. В стороне от нее, в тихом заливе, на песках белела палатка. Из палатки доносились густое пение попа и запах ладана. Через раскрытый вход видны были спины и головы гольдов. На палатке сиял золоченый крест.

Гольд, выйдя на берег, заглянул в палатку. Поп в золотой одежде махал кадиллом. Перед складным позолоченным иконостасом горели свечи. Айдамбо тихо вошел и замер, слушая службу.

Поп стих. Наступившее торжественное молчание волновало горячее сердце Айдамбо. Гольды стали прикладываться к кресту. Поп заговорил о чем-то уже не так торжественно.

Вскоре все разъехались.

– Ну, а ты, сын мой любезный? – спросил поп у Айдамбо.

Юноше не терпелось приступить прямо к делу, и он полагал, что помех не будет: поп пошаманит и чудодейственной силой превратит его в русского. Столько золота, такая одежда красивая, украшенная, огни свечей, на картинах боги в золотых одеждах с сиянием вокруг! Конечно, у попа есть сила, он все сразу может сделать...

Поп догадался, зачем приехал Айдамбо, и позвал его в другую палатку. Там стояли походная кровать, стол и ящик с книгами.

Айдамбо откровенно рассказал попу, что хочет как можно скорее стать русским, что он сначала сменил одежду и думал, что этого достаточно, но над ним только посмеялись.

– Давай мне косу стриги, – попросил Айдамбо.

– Зачем тебе стричь косу?

– Делай меня лоча. Шамань, крови бога пить давай, крести. Пожалуйста, делай меня лоча. Я много мехов тебе таскаю.

– Ты думаешь, что так просто можно сделать тебя русским? Остричь косу – и все?

– А что еще надо? Я на все согласен, только сделай меня лоча.

– Если ты хочешь быть русским, научись жить, как русский. Готовь себя к тому, чтобы креститься. Живи трудом, постом и молитвой. А коса – это лишь поверхностный признак, косу всегда успеем отрезать.

Поп долго толковал ему о душе. Айдамбо не все понимал, хотя поп говорил по-гольдски, как настоящий гольд.

Поп оставил гостя у себя и ушел в свою походную церковь.

Айдамбо поник: «Значит, не так просто стать лоча». Из всех разговоров попа он понял лишь, что придется теперь долго и терпеливо учиться чему-то и что-то узнавать. «Все равно я на все согласен!»

Айдамбо с первого взгляда понравился попу. Глаза умные, взор смелый, открытый, сам здоровый. «Если взяться – из этого дикаря будет толк. Такого мне давно надо было!..»

Поп уже слышал про Покпу и его сына, что они – лучшие охотники на Мылках, добывают меха для Бердышова. Они жили отдельно от всех на протоке. Покпа всегда ругал священника, молиться не ездил и не крестил детей. И вот Айдамбо сам приехал. «Значит, в семье разлад... Нельзя упустить такого случая! Чтобы жениться на крещеной гольдке, он приехал ко мне. Я крещу сына Покпы. Это будет победа христианства. И надо, чтобы он не просто крестился, а воспитать из него ревностного сторонника христианства».

Айдамбо поклялся попу делать все что угодно, только бы стать по-настоящему русским. Он остался жить у попа.

– Труд и молитва, труд и ученье – вот пути к познанию бога, – учил его поп.

Он заставил Айдамбо возделывать землю на церковном огороде. Поп сам копал огород, корчевал, жег пни. Солдаты помогали ему. Теперь работал Айдамбо.

Молодой гольд целые дни проводил с мотыгой в руках. Руки и спина его болели от непривычной работы, но Айдамбо все сносил. Утром и вечером поп занимался с ним. Он рассказывал ему главу за главой из Ветхого завета и показывал картинки.

До сих пор случалось Айдамбо слышать только гольдские и китайские сказки. Ум его не был закален знанием. Всякая новость впечатляла юношу. А тут он услышал про такие чудеса, каких никогда не знал. Ветхий завет изумлял его, повергал в трепет. Он чувствовал себя подавленным и ужасался, как жил до сих пор, не зная всего этого. По ночам ему снились всемирный потоп, Содом и Гоморра, Вавилонская башня.

А поп заставлял его работать все больше. От зари до зари Айдамбо ловил рыбу, чинил сети, делал новую лодку, тесал весла, копался на огороде. Потом начинались занятия. Все его силы и все думы были заняты новыми делами, втянуты в новую жизнь. Ум гольда находился во власти попа, чувства его были подавлены. Айдамбо даже не смел сердиться, как бы тяжело ему ни приходилось. А раньше молодой гольд давно подрался бы с тем, кто предложил бы ему взять мотыгу в руки. Теперь он терпел и старался.

Как-то раз Айдамбо хотел съездить домой, но поп его не пустил:

– Настанет время – и съездишь. Обожди.

Вскоре поп крестил Айдамбо. Он назвал его Алексеем, но косу все не стриг.

– Не следует тебе отличаться от остальных своих сородичей. Это оттолкнет желающих креститься. Все привычное, народное надо сохранить, пусть только молятся гольды правильно и работают.

Косу Айдамбо долго не мог простить попу. «Все равно, когда добьюсь своего и снова буду жить на свободе, – думал он, – к черту отмахну эту косу».

И чувствовал Айдамбо: есть в душе его затаенная надежда, что он все-таки уйдет от попа. Когда он думал о свободе, сердце его болезненно сжималось. Но гольд подавлял в себе все, что противно было требованиям попа. «Пока надо терпеть, – утешал он себя. – Буду русским – к Ивану приду, что-то он скажет? Ну, тогда уж я всем себя покажу. Федьке морду набью!.. Однако, трудно быть русским! Работы много, и работа у них трудная. И думать приходится совсем по-другому. Молиться каждый день сколько приходится!.. Теперь знаю, почему русские такие».

Однажды на Мылки приехал Покпа. До старика дошли слухи, что сын его стал у попа работником. Старик рассердился и приехал с намерением заступиться за Айдамбо и хорошенько поругаться, а если придется, то и подраться с попом. Он полагал, что Айдамбо пожалуется ему на свою жизнь.

– Я теперь не Айдамбо, а Алексей, – строго сказал сын. – Крестился теперь. Каждый день лицо мою, за это лето один раз даже весь вымылся. Вместе с попом купались в озере. Скоро он будет меня грамоте обучать. Землю копать умею. Это самое главное.

«Э-э, совсем испортили, – с отчаянием подумал старик. – Не узнаю его. А какой был славный парень!.. Как-то еще коса цела у него? А говорят, попы косы рубят. Оказывается, врут».

Айдамбо работал на поле, а старик сидел, курил трубку, и слезы катились у него из единственного глаза.

«Жаль сынка... Так много работает... Уж солнце вниз идет, а я все жду, когда он закончит. А он все работает... Вот какой русский шаман, какую работу дал!»

– Ну брось, отдохни, – не вытерпел, наконец, старик.

– Нельзя!

– Да никто не заметит.

– Нет, бог все видит. Нельзя обманывать.

– Ну, дай тогда я сам тебе помогу, отдохни, пожалуйста, – попросил старик.

Айдамбо с радостью уступил отцу мотыгу: пусть и он учится.

Покпа стал копать огород.

– Я видел, как китайцы работают, умею, – подмигнул он сыну.

Мимо ехали мылкинские гольды. Они были изумлены: старый свирепый Покпа работал у священника на огороде!

– Покпа на церковном огороде грязь копает! А-на-на! – Все удивлялись силе русского шамана. – Наверное, и нам придется креститься, – печально говорили мылкинские старики.

Пришел поп и тоже стал работать мотыгой. Он сетовал, что опаздывает с огородом. Разговорился с Покпой. Проработавши час-другой, старик так измучился, что у него уже не стало сил браниться с попом. Он только кивал головой и криво улыбался.

За ужином поп налил гольдам по стакану вина. Айдамбо удивился. Сам поп не пил и редко угощал кого-нибудь. Такое внимание к отцу было приятно парню. Поп хвалил Айдамбо, толковал Покпе, что у него отменно умный, трудолюбивый сын и что дела его сына приятны богу. Старик слушал и чувствовал, что от сладкой речи попа сердцу его тоже приятно.

– Ты такой стал умный, – говорил Покпа, прощаясь с сыном. – Я матери все расскажу про тебя... – Тут старик огляделся по сторонам, отвел его к лодке и таинственно зашептал: – А сейчас как хорошо на сохатого охотиться! Бросай к чертям попа, огород и все эти дела – и убежим! Хоть совсем убежим с Мылок, бросим наш дом и перекочуем на другое место.

На миг представилось Айдамбо былая беззаботная, вольная жизнь. «Да, пожалуй, хорошо бы, конечно... А Дельдика? Нет, уж я не поеду!»

Айдамбо испугался своих мыслей. Он еще вспомнил про Авраама, про Ноя, Хама, про потоп, про Иуду и почувствовал, что эти знания владеют его умом, давят на него. Тетерь уж не видать былой воли. «Теперь я все так просто делать не могу. Должен всегда помнить, чтобы не так сделать, как Иуда, и не так, как Хам или Каин».

– Нет, отец, не думай, – сказал он. – Я не поеду домой. Лучше ты приезжай сюда и крестись.

– Я? – вспыхнул старик.

– Конечно. Надо не деревяшкам молиться. Будет вся семья крещеная.

Покпа обругал сына и в глубокой обиде поехал домой.

– Самого лучшего охотника поп испортил!

Айдамбо всю ночь думал про Хама и Иуду: «Если отца обижаешь – то как Хам, а если попа бросишь – то как Иуда. Хам обижал Ноя, а Иуда предал бога. Как тут быть? Где-то жили вот такие люди, и я должен подумать, как бы мне все сделать не как они. А может, у меня все по-другому, не так, как в Ветхом завете? А мне велят жить по завету...»

Где эти люди жили, о которых учил завет, Айдамбо не знал.

Здоровая, простая натура Айдамбо противилась тому, что он должен делать все по каким-то правилам, которые придуманы кем-то и где-то, неизвестно когда, но ум его, подавленный и напуганный, еще и раньше привыкший к суевериям, полагал, что тут все правильно, все от бога и только сам он, Айдамбо, или, по-новому, Алешка, дикий и темный и ничего не понимает в настоящей жизни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Белье стирали в солнечный день. Таня, подоткнув юбку, стояла в воде у берега. Громадный тихий Амур начинался от голых колен Тани и простирался на долгие-долгие версты. В этом было что-то страшное для юной женщины, похожее на сказку. В Тамбовке нет такой ширины, там узкий Горюн, протоки, острова.

Таня обжилась в Уральском. Федька оказался славный, и сразу все тут понравилось. Тамбовцы острее пермяков, гульливей и, кажется, будто смышленей. Девки в Тамбовке бойчей. В семьях строгости больше, отцы и матери следят за дочерьми. На свадьбах смотрят за невестой, чтобы была непорочная, – требуют простыни. Таню держали там строго, нурили по хозяйству, и только временами, когда оставалась она с подругами, как дым от выстрела, вырывался из нее горячий пыл.

А тут тихо. И все люди – тихие, работающие, и Таней эти люди довольны, рады, что среди них завелась такая бой-баба. Она становилась в семье любимицей. Ехать сюда не хотела, да оказалось, тут свободней, чем дома, и строгостей нет. У Тани такое чувство, будто до сих пор сидела она взаперти, а сейчас открыла дверь и выбралась на солнышко. От этого на душе веселей, работа спорится, и все дивятся, сколько может наработать эта маленькая, плотно сбитая, круглолицая бабенка.

Амур тих, блестит, катит свои ровные воды к ногам работающих женщин. Чуть колыхнет ветерок – слабая рябь широкими синими пятнами ляжет на воду, и вся река словно разделится сразу на множество больших озер.

Другие бабы еще возьтятся, стирают, а беременная, потолстевшая Наталья уже полощет белье, перестиранное ловкой Татьяной. Они вдвоем скручивают мокрые холстины, с силой выжимают.

– Помощница-то у тебя! – кивает Бормотиха. – Поди, не нахвалишься!

Татьяна разогнулась. Голубые глаза ее посветлели на солнце, она щурится, тугое лицо в поту, в веснушках, в загаре.

– Мужик-то твой где? – окая, строго спрашивает худая Арина Бормотова, жена Терехи.

– Сплыл! – бойко отвечает Таня.

– Сплыл! Ты смотри, голубка, худо с ним обходишься!

– Да нет, – наклоняясь к воде, быстро отвечает Таня. – Мы уж бросили это баловство.

– Ну и ну-у!.. – заколыхались бабы со смеху.

И сама тощая Арина, не выдержав вида строгости, улыбнулась и покачала головой. Бабам, глядя на эту ладную молодую, было радостно: в ней каждая как бы видела свою молодость.

После свадьбы Таню часто поддразнивали, что она не сразу стала жить с мужем. Бабы как бы толкали ее к мужику, заставляли заводить семью, вить гнездо, делать свое дело. Они говорили с ней про такие стороны бабьей жизни и рассказывали такие случаи про самих себя, что как бы приучали ее не бояться, не стесняться говорить об этом в своем кругу, спрашивать о том, что заботит. Таня чувствовала, что хотя она так же молода и весела, как и до замужества, но теперь может поступать, не оглядываясь на отца с матерью. Ей приятно было, что с ней, как с ровней, ведут такие речи, хотя она и стыдилась. В Тамбовке тоже приходилось слышать еще и не такое, но там рот раскрыть нельзя было, а тут выпаливай все, что захочешь.

– А вот моя зазноба идет, – сказала Таня.

Бабы приглушенно засмеялись.

– У них с утра опять гулянка была, – молвила Арина.

С горы шла Агафья. Толстоногая, могучая, встала она рядом с бабами, вывалила белье прямо в реку и придавила его камнями.

– Что, соседка, припозднилась? – спросила Фекла.

– Не разорваться мне, – ответила баба. – Я, чай, одна.

Наталья это поняла как намек, что у Кузнецовых есть теперь Татьяна, которая работает на семью. После свадьбы Федьки соседка не раз пыталась замутировать их жизнь.

– Построже смотри за Танькой-то, – говаривала она Наталье. – Далеко ли до греха! Вон она какая ядреная бабенка! А мужик-то зелен...

А встретив Таню, она не преминула заметить ей, что, мол, работы у Кузнецовых много, семья большая.

– Отдохни, чего ты!.. Все равно за всех не набатрачишь.

Кузнецовы привыкли к темным речам соседки и не замечали их. Но Таня, чувствительная и живая, была задета словами Агафьи и чуть

не расплакалась. Обидно было, что соседи видят в ней батрачку. Она пришла домой, молча села на сундук и стала думать о доме.

Наталья тогда же заметила ее печаль.

– Чего же это она науськать меня хочет, говорит – я батрачка? – плакала Таня.

– Людей не слушай! – утешала ее Наталья.

Таня пожаловалась, и ей стало легче.

Она чувствовала, что злая баба, делая вид, что жалеет, хочет поссорить ее с Кузнецовыми. Всю радость своей жизни Таня пустила бы прахом, поддайся она Агафье.

Бабка, слыхавшая разговор ее с Натальей, невольно подивилась, подумала, что у невестки-то ладная голова: мал золотник, да дорог.

– Умная Татьяна-то, – говорила она старику. – И бойкая. Это не то, что наши перминские. Гляди-ка, она живо Агафью раскусила.

После этого случая неприязнь кузнецовских баб к Барабанихе усилилась.

...С приходом Агафьи все замолчали. Настроение переменялось.

Слышны были только плеск воды, удары вальков о мокрое белье и крики чаек, ловивших рыбу. Агафья оглядела баб и по тому, что они молчали, догадалась, что разговор шел о ней. Ей захотелось показать, что бабьих сплетен она не боится и будет делать, что захочет, никого не спросясь.

– Опять с гольдами возилась... – сказала она, и выражение тупого и сытого самодовольства расплылось на ее лице.

Руки у нее сильные, толстые, но тонки в запястьях. Она взмахнула вальком и звонко хлопнула.

Бабы все молчали, ожидая, что будет дальше. Незадолго перед приходом Агафьи мимо ехал гольд с Мылок и кричал с обидой, что никто больше сюда не приедет, ничего в деревню продавать не привезет.

– Ваша обманывает! – кричал он.

Все понимали, что гольд грозит зря, говорит для красного словца, но было неприятно, что за Федькины обманы пятно ложилось на всю деревню. Бабам было любопытно, как пойдет разговор дальше, что и кто ответит Агафье. Каждая ждала, что ссориться начнет другая.

– Чем хвалишься-то! – вдруг с сердцем воскликнула Наталья.

– Хочу – и хвалюсь! Кому какое дело?

– А то! – грубо оборвала Кузнецова. Она задышала тяжело, лицо ее, в веснушках и темных пятнах, но все еще кроткое и милостивое, помолодело. – Утром гольд от вас поехал – плачет. Поди, ободрали как липку!

– Гляди не выпростайся! – с насмешкой ответила Агафья.

– Верно, верно! – подхватила Арина. – Хорошо ли грабить-то людей? Чего ты насмехаешься? С утра крик, вой по деревне...

– Какой он ни будь гольд, а что у нас, пристанище?

Бабы накинулись на Барабаниху. Со всех сторон на нее посыпалась брань.

– Эка, растравились! – ответила Агафья, довольная собой, и замолчала, храня выражение насмешливости и этим как бы отбивая все приступы.

Выбрав миг, когда бабы стихли, Татьяна вдруг что-то сказала про нее Арине. Та покачала головой и улыбнулась.

– К нам же придете, – хмурясь, вымолвила Агафья.

– Конечно, богатые! – как бы нечаянно обронила Татьяна и прыснула.

На этот раз взорвало Агафью. Она понять не могла, что тут смешного. Терпеть еще от такой! Что Наталья злилась – было ей даже приятно. Но что эта молоденькая бабенка хихикнула, поперхнулась смехом, Агафья вынести не могла. И тем больше зло разбирало Агафью, что связываться с ней не хотелось.

– А вот у нас были одни, – заговорила Таня, – тоже ба-агатые, мешок да голодное брюхо таскали! – И она, как бы издеваясь, бойко глянула на Агафью. – Позовут гольда в гости, набьют его да выкинут, а меха отберут. А говорят: «Мы богатые, нам все можно». Тятя-то один раз их за это на сходе давай пороть. Эх и хлестали!..

– Ты помолчи лучше! – злобясь, сказала Агафья.

Если ссоры шли у нее с Натальей, с Ариной, так то были дела старые, и сами те бабы одного возраста с ней и такие же семейные. С ними в брани она была ровня. А эта бойкая, чистенькая бабенка, одетая в новое, еще не обносившая своих нарядов, была другого поля ягода.

Таня не унималась.

– Сказывают, один всех обижал, был богатый, а потом пропал совсем.

– Помолчи, говорю! – взвизгнула Агафья. – За Федьку своего схватись лучше. На булавку приколи его.

– Что мой Федька! Твой-то Федул кабы не надул! У него, слышать, гольдовская старушонка завелась.

– И-и! Ох-хо!.. – так и раскатились бабы.

– Вот я те волосы-то выдеру! – в исступлении шагнула к Тане Агафья.

– А вот это что такое? – протянула та валец. – Я тебя сейчас, как гольд медведя. Под брюхо тебе залезу, толщину-то выпущу!.. Богатство-то будешь собирать!

Агафья стала ругаться, но Таня, ударив вальком по белью и заглушая ее, громко запела:

Эх, во поле березынька стоя-а-ла...

Бабы подхватили, и Барабаниха поняла, что ее не желают слушать.

Управившись с бельем, все так же с песнями бабы поднялись на релку. Дома удивлялись Татьяне.

– Ну и бой! Неужто так и сказала?

– Так и отрезала!

– Как же это ты, Таня?

– Пусть не колется! – весело отвечала молодуха.

* * *

На свадьбе, после первой ночи, Таня чуть не сгорела со стыда, думая, как утром бабы приступят к ней. Выручила ее Наталья. Она заранее догадалась, что ничего у молодых не случится, что Федька еще как малый ребенок.

Минула свадьба, молодые привыкали друг к другу. Часто долгие часы проводили они в обнимку, не шевельнувшись, прильнув друг к другу горячими лицами, тихо беседуя про хозяйство, про куриц, которых заедала мошка, или про пойманную рыбу, раненную кем-то в бок.

Федя все больше привязывался к жене и, отлучаясь, всегда спешил домой. Он часто уезжал из Уральского, и на первых порах Татьяна даже рада была его отлучкам. Но как-то раз, еще зимой, он уехал за почтой. Мела сильная метель. Белые косматые вихри двигались по всему Амуру. Застывшая река и снежная релка опять бегом побежали мимо кузнецовской избы.

Федя вовремя не вернулся. Не приехал он и на другой день. На третьи сутки пришла почта, и ямщики удивились, что его еще нет дома. Они сказали, что Федька очень торопился и уехал вперед.

Тане представилось, как муж к ней со всей душой и заботой, а она чуть не рада, когда он с глаз долой. Вот бог ее за это теперь и наказал! «Сказал, поди, мой Федя: „Все нипочем, в буран поеду!“ – и застыл где-нибудь!..» Она понимала, что пустился он в этот путь ради нее, чтобы поскорей приехать к жене. Она готова была искать его сама, но тут заскрипели полозья, и в дверь ввалился Федька. Оказалось, что по дороге лошадь зашибла ногу о торос и он останавливался в гольдской деревне, пережидая там пургу.

Федька с красными пятнами обмороза на широких щеках сидел на скамейке, а Татьяна сияла от радости.

– Не пущу я тебя больше с почтой! – говорила она.

Федьку так тронуло ее горе; он представил, как бы убивалась она, если бы он замерз, – и у него слезы навернулись на глазах.

– Да уж теперь весна скоро, – утешал он жену. – Еще один раз пройдет верховая – и все. А снизу, говорят, не будет больше почты. Дуня тебе кланялась. Гостинцы послала.

– Ой, Дуня, ягода моя! – хватая сверток и уже забывая горе свое, воскликнула Таня. Она запела и с притопом прошлась по избе:

Да раз-у-да-ла гол-ло-ва!
Пошто любишь Ивана...

– Ну что, напугалась? – спрашивала ее Наталья.

– Не говори! Как вспомню, так до сих пор сердце мрет!

Эх, я за то люблю Ивана, —

с восторгом запела и заплясала Таня, оглядываясь и охорашиваясь в новом фартуке, -

* * *

Федька привыкал к семейной жизни. Близость жены, ее ласки придавали ему духа и твердости. Чистый и здоровый, он всю силу своей души отдавал любви. Вместо тихого Федюшки в нем зрел муж и крепкий работник – Федор Кузнецов. Лицо его зарастало курчавой пегой бородой, и он становился похож на Егора – такой же рослый, но нравом был мягче, нежней, отзывчивей.

Летом Таня одевалась легко, ярко. Малого роста, в цветных ситцах, с крепкими руками и ногами, неутомимая работница и в поле, и дома, и на реке – она радовала мужа. Отец обучил ее с детства ловить осетров. Любила Таня ездить с мужем на быстрину рыбачить. Часто оставались они ночевать на острове, захватив с собой накомарник и холщовую палатку.

Однажды Таня воротилась домой необычайно притихшей. Наталья заметила, что с нею что-то случилось. Татьяна краснела, молчала, но, наконец, призналась, что затяжелела. Она и радовалась и плакала. Бабка Дарья теперь в ней души не чаяла. В воскресенье старуха, шепча какие-то наговоры, испекла пирог. Созвали на угощение соседок. Наталья пошла за Барабанихой.

«Уж бог с ней! – думала она. – Рядом жить да ссориться!»

– Приходи к нам на пирог, – сказала она Агафье.

Барабанихе самой надоело жить во вражде со всеми бабами. Она уж сердилась на Федора, учила его, что надо поосторожней, поаккуратней, а то глаза колют.

– Свои люди, – сказала Наталья, – поссоримся да подеремся.

– А подеремся да помиримся, – отвечала Агафья.

– Ну ты, язва, здравствуешь, – ласково молвила она Татьяне, явившись на пирог. – А мужики-то у вас где?

– А мужики мужичат! Прогнали их. А тебе мужиков? Вон дедушка наш идет!

За пирогом Татьяна помянула про каких-то выдр, которых какой-то охотник будто бы бил с гольдами, а потом не поделил, сам куда-то

исчез после того, а на берегу нашли только его ногу.

– Чего сочиняет? – удивилась Наталья и подтолкнула локтем Татьяну: – Дергает тебя за язык!

– Я хоть про что, раз-два – и сляпаю!

Агафья жевала пирог и молчала.

– Татьяна-то! – изумлялся дед. – Какого зверя укротила!

С этого дня Агафья, казалось, подружилась с Натальей. Однако вскоре Барабаниха снова стала нашептывать ей на Татьяну. А встречая Таню, она ехидничала про стариков Кузнецовых.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Васька сидел на корме лодки и с замиранием сердца прислушивался к отдаленному грохоту воды. Вот когда станет он настоящим таежником – побывает на Горюне, где еще никто из уральских не бывал!

Лодка шла тихой протокой между островов. Шум воды на перекатах становился явственней. Вершины скал поднялись над тальниками. Течение стало быстрее... Вдруг леса и луга расступились, и перед Васькой открылась широкая сверкающая река, с пеной несшаяся по каменным уступам прямо навстречу лодке. Желтые, будто ржавые, скалы теснили ее.

В лицо пахнуло прохладой. Слышно, как во всю ширь реки со звоном и грохотом катится по дну галька.

Брызги вдруг обдали гребцов с ног до головы. Вода била через огромные камни и заливалась в лодку. Васька видел, как на горячих плахах днища солнце сразу сушило темные водяные пятна.

– Кауря-я!^[54] – орет Савоська.

Рабочие дружно поднимаются, лодки оцетинились шестами, как копьями. С веселыми криками гольды, в шляпах, некоторые с трубками в зубах, опускают шесты в пляшущие волны, наваливаются на них, и лодки рывками идут против могучего течения. Васька тоже налегает на шест. Солнце, скалы, крики лодочников, звон гальки, плеск – все нравится ему.

Прошли перекат. Лодки в густой тени лип и ясеней. Вода кажется темно-зеленой. В прозрачной глубине ее видны завалы замшелого, обросшего водорослями колодника. Тонкий корень от затопленного дерева торчит из быстрой, но такой гладкой и на вид тихой воды, что Ваське кажется, будто это корень несется против течения, оставляя журчащий стрелчатый след.

– Тайменя видал? – шутит Савоська. – Чего вниз смотрел?

Уткнув носы лодок в песчаный берег или держась руками за нависшие над водой тальники, гребцы часто отдыхают.

Иван Бердышов почернел от жары. Он работает шестом наравне с гольдами.

– Зверя видал, тайменя видал, – нараспев говорит Савоська, – греб хорошо, шестом толкал... Ладно тебе, Васька, тайга ходить могу!

«Ей-богу, хорошо на Горюне!» – радуясь похвале, думает Васька, хоть и жарко ему и тяжело.

Рубашка липнет к телу, губы потрескались, но вокруг на все посмотреть любопытно, все не так, как на Амуре. Там – желтая вода, тут – прозрачная.

Река подмывает берег. Лес клонится к воде, упали и шумят, шелестят на мелкой быстрине огромные ели. Течение ломает их ветви, колышет, дыбит, наносит к ним щепье и сор. На перекате вода с грохотом валит через лесину волной, тащит ее по камням, дерет и разносит вниз кору.

«Река Горюн! – с гордостью думает Васька. – Горюн! И дерно, что Горюн!..»

Жарища такая, будто пламя пышет. С подмытых берегов лес валится в воду, словно и он пить захотел. Душно. Но Васька знает, что теперь уж, раз поехал, надо терпеть, и он терпит.

– Ну как, охотник? Не сторел еще? – шутит Бердышов. – Егор вас дома не балует, от этого везде легко.

Иван замечает, что парнишка крепкий и ко всему любопытен. Шустрые глаза его ничего не упустят. Есть ребята, им что ни покажи – все равно. А этот не таков.

Бердышову как-то особенно радостно, чувствует он себя совсем молодым, словно ему не тридцать с лишком, а двадцать.

Вечерами жара немного спадала. Над рекой воздух душистый – цветут липа, сирень.

Ломая голубую блестящую поверхность Горюна, навстречу скользили берестяные оморочки. Приехали орочены и тунгусы. Они жили вместе в одном стойбище далеко отсюда, на озере Эворон.

– Сородэ, сородэ!^[55] – кланялись они.

– Сородэ!

– У-у, русский!

– Батигофу-у-у-у!^[56] – в знак того, что Иван нравится ему, тонко и длинно протянул старик тунгус. – Русский купец!

– Чему ты удивляешься?

– На этой речке Синдан ходит, – ответил старик.

– Синдана дома нет, он за товаром пошел, – добавил маленький орочен.

Иван заговорил по-ороченски:

– Мой товар тоже здесь продают. Юкану знаешь? Вместе торгуем.

Васька смотрел на покупателей. Жара, а они в меховых лохмотьях, на пальцах серебро, браслеты на руках.

– Спирта би?^[57]

– А соболь би?

– Би, би! – весело восклицали орочены.

– Синдан не велит покупать у других купцов, но сейчас можно, его нет. Он не узнает! Правда? – спрашивали орочены, лукаво улыбаясь, вытаскивая из-за пазух берестяные трубки и вытряхивая из них соболей.

– Мы с озера. Далекотсюда живем. Шесть дней ехать по речке. Мы обрадовались, что Синдан уехал, и скорей на Амур пошли – купить товар.

Бердышов развернул ситцы, сукна.

– Почему ситец?

Иван назвал цену, показал железный аршин.

– Палка железная! Что за палка?

– Аршин! Материю мерять. Этой палкой, если мерять, обмана не может быть. Китаец махом меряет, вот так, – растянул Иван яркий ситец. – Китайский купец так скажет... – тут Бердышов залепетал по-ороченски с сильным китайским акцентом: – «Моя тебя люблю, твоя хороший, моя с тобой знакомые, за это тебе больше, самый большой мах отмеряю! Только для тебя одного так стараюсь!» – Иван вдруг подскочил и сильно размахнулся обеими руками, растягивая ситец, как бы с насадой выпятил грудь. – «Видишь, как широко руки развожу, как грудью для тебя материю вытягиваю?»

Делая вид, что изо всех сил старается натянуть мах, Иван опускал руки почти по швам, да так, чтобы все видели, как мах получался маленький.

Орочены и тунгусы дружно захохотали. Хохотали до упаду и гольды-гребцы.

– Ты где так научился? – плакал со смеху Савоська.

Широкоплечий курносый старик в шляпе пересел поближе к Ивану. Он вытянул шею и раскрыл рот, как бы не веря глазам, что

русский может так представлять китайца.

– Ну, верно я говорю?

– Верно!

– Кто так делает?

– Синдан! – воскликнул старик. – Который на Горюне купец живет, всегда так делает.

– Он нас бьет и обижает, – вдруг сказал кто-то серьезно, и смех утих.

– Почему так хорошо знаешь китайцев? – спросил толстый тунгус с одутловатыми багровыми щеками.

– Я все знаю!.. Теперь смотрите простой мах. – Иван развел ситец на уровне плеч, и мах оказался вдвое больше, чем в первый раз. – А китаец быстро делает. За ним следить не успеешь! Вот так! – И, ко всеобщему восторгу, Иван заскакал и, выгнувшись, стал быстро приговаривать: – «Я тебя люблю, ты ни у кого не покупай... Русских бойся... Они отравленную одежду продают. Носить будешь – умрешь!..»

Ситец, казалось, волнами перелетал у Ивана из руки в руку, но кусок его, пляшущий на траве, убывал медленно. Курносый старик испуганно затрясся и, поднявшись, пристально заглянул Ивану в глаза.

– Ты смотришь – не китаец ли я? Нет, нет!.. Гляди, глаза белые и два лица – тут и тут, – хлопнул Иван ладонью по своим щекам. – Нос длинный, я – настоящий лоча... А у тебя одно лицо, – показал он на плоскую голову старика. – А у меня правый глаз через нос налево не видит, а левый глаз через нос направо.

После этого Иван показал, как меряется товар аршином.

– Эта мерка у всех русских купцов одинаковая, – объяснил он.

Орочены купили у Бердышова разные товары. Иван угостил их водкой.

– А тебя как зовут? – спросил Иван старого орочена.

– Тири.

– Тири? – удивился Бердышов. – А-на-на! Я знаю тебя.

Старик недоверчиво усмехнулся.

– Речка Дуки, где Унакаси-и-и-камень, – протянул Иван так же длинно и тонко, как старик, когда здоровался. – Там твой балаган был. Два года назад в твой балаган чужой человек заходил. Кусок сохачьего мяса от стегна отрезал. Юколы пять пластин взял. Тебе за это две

пуговицы оставил, которые блестят. В пустой кожаный мешок положил... У тебя балаган около дерева устроен был, а в дупле на палке две лисы спрятаны были, выдра с ними связана была вместе.

Орочены переглянулись, пораженные.

– Так это ты был?

Старик совсем растрогался. Дрожащими руками он обнял Ивана и крепко поцеловал его.

– Эти пуговицы у меня на шубе и на шапке. Это самая большая моя драгоценность. Я тогда подумал, что Позя дал мне счастье. Ты мой благодетель... А я думал, не дух ли лесов принес мне счастье! Не может быть, думаю, что за мясо и рыбу кто-то дал мне это.

Иван, бывало, отправляясь далеко, брал с собой старые солдатские пуговицы.

– Ты наш брат! Охотишься так же, как мы! – говорил тунгус с нездорово полным лицом.

В этот вечер старый орочен с таинственным видом долго рассказывал Ивану про жизнь на Горюне и про здешние беды. Оказалось, что Синдан палкой убил в припадке злости человека на озере, сына почтеннейшего тунгуса. Тот был гордый, молодой, из славного рода.

Иван сделал вид, что не то не придает этому значения, не то не понял, о чем речь. Он угостил своих новых знакомых водкой и сам выпил. Вдруг, усмехаясь, он сказал, что золоченые пуговицы – штука совсем не ценная.

Старик – обладатель двух пуговиц – растерялся.

– Вот ценность! Купи! – показал Иван ему ружье. – А пуговицы теперь подешевели, – добавил он, видя, что старик готов обидеться. – Конечно, и теперь дорогие, но уж не так... Не сильно дорогие!

* * *

После сна работать легко. Но когда солнце разгоралось, над рекой, несшейся в узкой трещине между крутых скал, воздух накалялся, шест тяжелел. Мошка роями вилась вокруг. Лодки шли теперь в тени скал. Местами скалы расступались, отходя от реки подальше и образуя на

берегах довольно широкую долину между гор, поросшую дубом, липой, кленом, осиной.

– Сосчитай, сколько раз шестом толкнулся, – говорил Иван Ваське. – С двух толчков, однако, на полвершка поднялись. Сопки видал с Амура? Вот мы сейчас по воде на них забираемся.

– Балана-балана...^[58] – заводил сказку Савоська. Проезжая родные места, он все время что-нибудь вспоминал и рассказывал. – Вот эта самая гора... Кыа-гыу называется – такой большой кривун. А во-он! – показал старик на острый черный камень, торчащий из воды. – Этот камень называется Кфде-Чихани. Когда-то самый первый наш Самар по Горюну на бате^[59] ехал. Видит – вон на том камне сидит птица Корэ. Большая такая птица, железная птица. Самар потихоньку шел, шел на лодке, думал: «Эту бы птицу убить!» Стрелял, да не попал. Корэ крыльями замахала – улетела. Далеко улетела. Где Хабаровка, там есть такая скала большая – как раз там села. А где стрела попала в камень, метка есть, маленько видать. Вот сейчас ближе пойдем, гляди...

– Что, шибко большая была стрела? – спросил Иван, желая завести разговор и как-нибудь оживить измученных гребцов.

– У-у! Старые люди большие были! Большие стрелы таскали. Сохатого как стреляли – так насквозь!

– И ружья не нужно было, – отозвался гребец с другой лодки. Там тоже слушали Савоську.

– Один раз тамбовский мужик огород копал, табак сажал. Старую железную рубашку нашел, в которой воевали. Я сам помню, как такие рубашки на войну надевали. Такая длинная рубашка. Только он шибко большую рубаху нашел. Я видел, подумал, какой большой человек был. Во-он метка, смотри! – меняясь в лице, быстро подтолкнул он локтем Ваську.

Лодка шла мимо черного камня. Тут глубоко, подойти к камню на шестах нельзя, на веслах тоже трудно – быстрое течение. Иван не хотел зря тратить силы гребцов. Васька издали заметил на камне углубление, как бы выбитое чем-то острым, но рассмотреть камень не пришлось.

– А во-он Бохтор-сопка! Тут такие ямы есть. Это давно было, древние люди жили... – продолжал старый гольд. – А там, где нашли

железную рубашку, – это жили амба-лоча. Давно было. Балана-балана...

– Кто такие амба-лоча? – спросил Иван.

– Разве ты не знаешь?

– Что-то не слыхал...

– Не ври... Назывались амба-лоча черти... Их боялись...

– Амба-лоча – это они нас так прежде величали. Это русские черти...

– Амба-лоча не настоящие русские, не такие, как теперь, – поспешно объяснил Савоська.

– Как не такие? – спросил Иван. – Вот, гляди на меня, я настоящий амба-лоча! Амба-лоча ели детей, всех убивали! Так про нас говорили маньчжуры.

Гольды засмеялись.

– Амба-лоча, – повторяли они.

– Ты расскажи, как деревня Бохтор сгорела, – попросил кто-то с другой лодки.

– На этой стороне Горюна на сопке пожар был, – охотно отозвался Савоська. – А бохторские на Амур или в Сан-Син торговать собрались. Говорили: огонь через речку не пойдет. Обрато пришли, смотрят: юрт нету, амбара нету – все сгорело. Такой ветер был, через Горюн головешки кидал, вся деревня сгорела!..

Вскоре добрались до устья речки Бохтора. Там стояли не глинобитные, а бревенчатые дома, похожие на жилища якутов. Рядом амбары на свайках. На деревьях белели черепа медведей.

– Медвежье место, – сказал Савоська. – Сейчас медведь по Бохтор-речке бегают, купается.

Вдали шумели водопады, и река между еловых лесов была вся в белой накипи. Лодки пристали к берегу. Толпа гольдов и множество лохматых линяющих собак встретили торговцев на берегу. Перед Савоськой бохторцы падали на колени и кланялись. Савоська, в свою очередь, низко кланялся бохторским старикам и старухам. Он с ними одного рода: и сам он и предки его с Горюна.

Васька помогал Ивану, приносил товары, укладывал меха. Он делал все старательно.

В Бохторе ночевали и торговали. На рассвете все поднялись. Караван тронулся дальше.

Из ветвей густого прибрежного леса клубится туман и плывет над утренней рекой. Он так валит, словно в глубине леса бушует невидимый пожар и густой дым с силой бьет оттуда. Солнце взошло за тайгой, туман ярко порозовел, стал прозрачным. Ваське стало видно с лодки, как в розовом тумане среди листвы перелетают птицы.

– Сегодня через самый страшный пережат пойдем, – говорит Савоська. – Вода как в котле кипит.

– Сегодня у меня работать, не зевать, – грозно предупредил Иван всех работников, – а то выброшу в пустоплестье!^[60]

Лодки долго шли по тихой воде вдоль низменного болотистого берега, поросшего лиственницами и березками. К полудню послышался гул, начались частые отмели. По крутому руслу вода сильным потоком неслась между ними, как по песчаному стоку.

Теперь сопки ближе подошли к реке, стало мельче. Наклон дна, по которому падал Горюн, становился круче. Река зашумела, разбиваясь на множество рукавов. Появились острова, похожие на плотбища,^[61] сплошь заваленные белым мертвым лесом, страшными изогнутыми рассошинами, развилинами, корягами, корневищами. Поднявшись из воды, груды плавника громоздились высоко. Начались сплошные пережаты.

Миновали завалы и пережаты, и, казалось, река стихла. Но вот обошли по протоке остров, и река снова, вся в пене, бешено понеслась навстречу.

– Кой, кой!^[62] – заорал Савоська.

У него сломался шест. Лодку понесло вниз, глухо ударяя днищем о камни.

– На мель, на мель! – крикнул Иван.

Савоська правил на косу. Вскоре лодка с шуршанием села в пески. На выручку спустились вниз по течению две другие лодки. Гребцы слезли и пробовали помогать. По колени в шумной, сбивающей с ног воде гольды бродили вокруг лодки, держась руками за борта, толкали без толку.

– Илюшка, иди сюда! – звали они.

– Илья, иди помоги им, – сказал Иван.

Подошла четвертая лодка.

Парень неторопливо разулся, слез, налег грудью на скошенную корму, натужился. Лодка зашуршала днищем по песку.

– У-у, Илюска! Илюска! – обрадовались гребцы.

Когда лодка сошла с косы и караван снова тронулся, гольды о чем-то по-своему кричали Бердышову.

– Илья, тебя хвалят! – крикнул Иван парню. – Говорят, никто не мог снять, а ты слез и сдвинул. «Вот, – говорят, – девки бы видели!..»

У Савоськиной лодки треснуло днище, в нее быстрее набиралась вода. На одном из островов решили сделать привал. Товары выгрузили на берег, и Савоська стал заделывать трещину мхом. Иван решил ехать дальше.

– Ты нас догонишь, – сказал он старику.

– А в Ноан поедем? – спросил Савоська.

В Ноане жил Синдан – хозяин речки. Ивану надо было повидаться с ним, но Синдан в отъезде.

Савоська-Чумбока родился в Ноане. Там все ему родственники. Ноан стоял в стороне на протоке, надо было сделать крюк, чтобы попасть туда.

– Если хочешь, съезди в Ноан, – усмехаясь, сказал Бердышов. – Да только, когда приедет Синдан, не поддавайся.

– Зачем же, Ваня, поддаваться!

– Помни!

– Конечно! Забуду, что ль! А ты сам, когда его встретишь, что будешь делать?

Иван усмехнулся.

– Уж что-нибудь скажу...

– Ты бы его, Ваня, гнал отсюда...

– Уж как придется, – уклончиво отвечал Иван.

– Я родился в Ноан-деревня, – рассказывал Савоська, обращаясь к Илье и Ваське. – Тут близко Ноан-деревня. Ноан – знаешь, какое слово? Самый первый наш дедушка пришел на это место. Встретил его какой-то человек. Откуда его пришел, никто не знает. «Тебе как зовут?» – «На-на». – «Тебе откуда пришел?» – «На-на». Что его ни спроси, все одинаково отвечает: «На-на», – и больше никаких разговоров. Так это место и прозвали Нана, а потом стали говорить Ноан. Наша тут родня, надо маленечко погостить, – говорил старик.

Прощаясь с Васькой, он с нежностью поцеловал русую голову мальчика.

* * *

Явившись в родную деревню, Савоська открыл товары в лодке и показал своим ноанским сородичам новое ружье.

– Бердышов такие продает.

– Это ружье плохое, стрелять не будет, – с грубой насмешкой сказал приказчик Синдана, оставшийся в Ноане за хозяина. Савоську он уверял: – Тут торговать плохо. Никто ничего не купит. Лучше тут не торговать. На Амуре куда выгодней.

– Это мы узнаем, плохо ли тут торговать, нет ли, – ответил ему старик.

На другой день Савоська поставил свою лодку напротив лавки Синдана и стал раздавать товары в долг.

– Зимой звери пойдут, тогда расплатимся, – говорили ноанцы. – Мы с тобой ведь родные. Сначала тебе отдадим, потом Синдану.

Приказчик сидел в лавке и наблюдал через открытую дверь. Он волновался: хозяин станет бить его, если узнает, что в Ноане торговал другой купец. Но еще больше боялся он Бердышова, который со всяким мог поступить так же, как с Дыгеном.

Когда толпа зашумела, приказчик не выдержал и выскочил на берег, желая знать, что там происходит. Он ужаснулся, увидев, что Савоська показывает красивые ситцы, а гольды берут их. Ему захотелось разогнать всех. Торгаш – рослый, красивый мужчина, в туфлях и халате, – дрожа, ходил маленькими шажками, и голова его тряслась.

«Злой как черт, но осторожный, – подумал Савоська. – Надо его раздражить».

– Дай в долг, – просил Савоську плешивый ноанец.

– А чем будешь отдавать? – не выдержал приказчик и подскочил к лодке. – Ты у нас в долгу. Зачем обманываешь? Обманываешь и его и нас!

– Твоя торговля пропала, – сказал Савоська. – Что, не правда? Ты злой как собака... Как Синдан!

Савоська бранил Синдана и его товары, кричал, грозился. Он словно нарочно лез на рожон. Приказчику хотелось ударить старика, избить его. Но он сдерживался, зная, что это будет величайшей

оплошностью. Он знал: Савоська служит у Бердышова, что он тут всем родня.

Савоська вдруг схватил приказчика за руку и, размахнувшись, ударил ею сам себя изо всей силы по щеке и дернулся всем телом, как бы не в силах удержаться на ногах.

– Ой, ой, убил! – споткнулся он.

Вся толпа пришла в движение.

– Ой, ой, человека убили! – заорала какая-то старуха.

– Чего дерешься? Зачем дерешься? – плаксиво, с обидой кричали со всех сторон на торгаша, но никто не смел подступить к нему.

– Ударил меня! – орал Савоська. – Все видели? Сюда больше не приеду!.. Я пришел на дедушкину могилу, а он меня бьет!..

Приказчик побледнел и при виде сгрудившейся толпы застучал зубами от страха. Ссутулившись и злобно озираясь, он быстро пошел в лавку и скрылся в ней.

– Сюда больше никогда не приеду! – продолжал кричать Савоська. – Отдавайте мои товары! – Он вырвал у плешивого старика сверток ситца, кинул в лодку и закрыл холстиной. – Меня обидели. Собирайтесь в дорогу, поедем! – велел он гребцам.

Ноанцы просили прощения у Савоськи и умоляли его остаться.

– Теперь мне дедушкину могилу из-за торгаша забыть надо, – плакал Савоська, стоя с шестом на корме лодки. – Дедушкина могила-а-а! – плакал он, и, глядя на него, лили слезы провожающие его ноанцы, хотя многие догадывались, что почтенный дядя Чумбока схитрил и, видно, ему надо было зачем-то все это. Но из чувства уважения к старшим никто не смел ему перечить.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Чем выше, тем глуше и страшней становился Горюн. Река кипела на острых камнях. Скалы висели над протоками. Лес местами завалил реку. В плавниковых преградах гребцы с трудом находили узкие проходы и по ним перетаскивали лодки.

На грудах мокрого хвойного гнилья, среди реки, росли березы. Запах лесной прели стоял в воздухе.

– Тут еще жарче, чем на Амуре, – жаловался Васька.

Он уж и не рад был, что поехал на Горюн, в такую тягость было ему все, но по-прежнему терпел. Когда Савоська уехал, мальчик очень жалел, что старик не рассказал еще одну сказку – про амба-лоча. Хотел рассказать, да не успел.

Но вот настали такие тяготы, что уж и Ваське не до сказок. Он в душе клянет день и час, когда собрался на Горюн. Хочется к матери, готов зареветь, такая мука: жарко, тяжело, скучно. От воды прохлады нет. Тесно. Сопки сошлись, жгут живьем, скалы кажутся раскаленными.

– Руки гудят, – молвил Илья.

Иван засмеялся:

– Гляди, и Бормотова проняло!

На остановках гольды играли в карты, расположившись в лодке на груде товаров, где-нибудь под кустами, свесившимися с берега, или прямо на солнце, на отмели.

– Всё играют? – спрашивал Иван у Ильи.

Он шел на своей лодке впереди и лишь изредка дожидался остальных.

– Как остановка, режутся вовсю! Жара, мошка, оводы, а им хоть что! Пот с них льет, дядя Ваня, а они кричат – чуть не дерутся.

– Как, не устаете? – спросил Иван.

– Как не устаем! Конечно, устаем! – отозвался гольд.

– Отгони хоть слепней.

– А ну их к чертям! – отмахнулся гребец и продолжал бить козырями.

– Вот, Васька, людям в такой работе нужно какое-то утешенье. Это же убийство – вверх по Горюну товары подымать. Вот он

толкается шестом – клянет и себя, и работу, и меня уж, не без того, но надеется, что остановка за мысом будет и он товарища обыграет в карты. Что поделаешь, люди!.. И я не препятствую, пусть утешаются, лишь бы на меня работали. Я тут как царь. Правда?

Илюшка смеялся: дядя Ваня всегда шутит!

Васька слушал серьезно.

– А нам чего ждать? – вдруг спросил он.

– А тебе что надо, ты сам достигни! Будешь водку пить, в карты играть, паря, да еще утешаться этим – век станешь шестом чужой товар толкать. Ну, поехали! – грозно крикнул Бердышов на гольдов.

Как только близился перекаат, сзади кричали:

– Илюска, Илюска!

Гольды выбивались из сил и льстили Илье, чтобы он постарался. Илья сверкал глазами, изо всей силы налегал на шест и приводил в восторг всех лодочников. Глядя на него, всем работалось веселей.

Горюн разделился на чистый и мутный. Гольды объяснили Ваське, что мутная вода в рукаве оттого, что выше впадает желтая река. К полудню лодки подошли к ее устью. Откуда-то из густого лиственного леса валили мутно-глинистые тихие потоки воды. Вскоре в дубняках и ильмовниках открылся широкий вход в тихую реку с желтой водой. Гольды с облегчением вздохнули, бросили шесты и взялись за весла.

– Теперь по этой реке пойдем. С Горюном прощаемся, – сказал Иван. – Тут тихое течение, будет людям легче.

Холодный вид болот и редких берез открылся за лесом. На берегах исчезли дубы и липы. Виднелись лишь огромные кочки и кустарники, и все было желто, как и вода в речке.

«На Горюне шум, звон, лес, плавники, как-то веселей, – думал Васька. – А тут словно зашли на край света, словно заехали в такое место, где уж осень наступила».

Но вскоре местность снова оживилась. Далеко над желтым болотным кочажником, который протянулся от берега вдоль на целые версты, стала видна крутая, как стена, сопка с буйной дубовой рощей на вершине, а напротив нее, на другом берегу, из-за мыса понемногу появлялось большое стойбище со множеством юрт и свайных амбаров. Своры собак бродили вдоль берега. Видны стали лодки, котлы, связки сушеной рыбы, черепа зверей на вешалах и на деревьях, толпы людей в шкурах, с трубками и ножами, голые ребятишки, костры, а за

стойбищем – вековой лес из высочайших кедров с раскидистыми ветвями.

– Вот и Кондон! – молвил Бердышов.

Юкану встречал гостей. Это старый друг Ивана, с которым когда-то вместе били Дыгена. Юкану краснолиц, бел как лунь, с длинными седыми усами. Он, казалось, был несколько смущен.

Другой былой спутник и товарищ Ивана – Васька Диггар – вертелся тут же, заискивающе смеялся и помогал Ивану вылезти из лодки. Васька нынче зимой был в Уральском, хотел сватать Дельдику, устроил там гонки, менял с Айдамбо собак, они чуть тогда не перестрелялись. После того приезжал к Ивану и сам Юкану.

– Вот я решил на Горюне побывать, – сказал ему Бердышов. – Думал, нынче не соберусь, а собрался все же. А вы, я гляжу, что-то невеселые? Не ждали нас?

Юкану после убийства Дыгена покоя не знал. На Горюне поселился маньчжур Синдан и взял тут большую силу.

Синдан не раз говорил Юкану, что знает все и, если старик не загладит своей вины, выдаст его маньчжурам, которые явятся сюда и расправятся с теми, кто виноват.

Юкану пал духом. Все же нынче зимой он собрался на Амур, побывал у Ивана и рассказал про все свои беды. Иван ободрил его, уверил, что бояться не надо, и дал Юкану немного товару, чтобы роздал сородичам на Горюне и предупредил их, что скоро туда приедет русский купец.

Юкану возвратился домой, стал было раздавать товар, но тут явился Синдан и запретил Юкану всякую торговлю.

– Твои товары буду продавать сам!

– Но ведь товар-то не мой! Как ты смеешь? – разъярился старик.

Синдан сказал, что уж едет чиновник, друг Дыгена, уж скоро будет, страшная казнь ждет каждого, кто не слушается и дружит с русскими.

– Но что я окажу, если Иван приедет?

– Так далеко от своей деревни он не ездит! Кто узнает? Скажи, если боишься, что своим роздал! А торговать будем вместе. Я у тебя не отбираю. Ведь ты не умеешь торговать, а я сделаю так, что тебе будут выгоды и Бердышову. Он доволен останется.

Синдан в самом деле был уверен, что ленивый русский купец на Горюн не заберется, что он только пугает.

Юкану подчинился, хотя душа его не мирилась с Синданом, и старик чувствовал, что поступает дурно. Но он в самом деле не умел торговать, а Синдан умел. Васька Диггар принимал участие во всем этом деле, но держал, как всегда, сторону сильного.

И вот Иван явился. И верно, сильно недоволен. «Да еще навез столько товара. Синдан взбесится. И перед Бердышовым надо держать ответ», – думал Юкану. Он еще надеялся, что, быть может, Иван про сделку с Синданом ничего не узнает, а долги Ивану ведь надо отдавать только осенью. К тому времени Синдан оплатит товар. Никто не ждал, что Иван летом явится.

Иван видел, что в Кондоне все смолкают и смущаются, когда речь заходит о Синдане. Бердышов исподлобья глянул на Юкану.

– Разве совесть у тебя не чиста?

Проезжая по Горюну, он видел у жителей свои товары, которые послал с Юкану. Но горюнцы, оказывается, покупали их у Синдана и втридорога. Синдан торговал ими исполу с Юкану.

Иван почувствовал, что Синдан сильно обнаглел. Это ему было даже на руку. Ясно, что Юкану вступил в стачку с лавочником.

Иван нахмурил брови и, сделав страшное лицо, приблизился к Юкану.

– Я все знаю! Ты хочешь в компании с Синданом жить? В общество к нему вступаешь?

Гольды переглянулись. Юкану побледнел.

– Мои товары с Синданом продаешь? Я с тебя шкуру спущу... Я малую цену велел брать, а ты что делаешь?

– Ваня, пойдем... Я все скажу... Не говори так страшно.

Юкану и гольды многое рассказали Ивану в этот вечер. Но, как он замечал, главное они утаивали. Он чувствовал, что Синдан сидит тут крепко.

– С Синданом мне надо повидаться! – задушевно говорил он, сидя в доме Юкану. – Я с ним тоже дружбу хочу завести. И узнаю все. Может, это ты, Юкану, во всем виноват... Ты его подговорил меня обманывать...

– Что ты! – Юкану задрожал от ужаса. – Он плохой! Как он тебя ругает!..

– Синдан – вор и обманщик! – завизжал вдруг Васька Диггар. – Мы его убьем!

Юкану стал жаловаться на Синдана. Наконец он решил все открыть, хотя ему это было запрещено под страхом смерти. Но иного выхода не было.

Бердышову казалось, что и Синдану старик так же откровенно признавался, как был в Уральском, взял товар; вот так же чувствовал себя виноватым перед Синданом и юлил, как сейчас юлит перед ним. «А прежде был твердый, крепкий. Как он с копьем пошел на маньчжур! Не я ли виноват? Долго на Амуре возился, играл в карты, баловался, а тут меня обошли. Или я трусил сразу идти на Горюн? Еще и теперь страшновато было ехать под головой Рябчика». Показалось Ивану, что, когда шли на шестах под этими утесами, все гребцы старались не смотреть на него, а если и взглядывали, то с ужасом. А Ивану смешно стало, он подумал: «Как будто я страшен только на этом месте. Нет уж, кто страшен, так везде. Я и в другом месте, если придется, ловко ухвачу».

– Синдан со своим приказчиком у тунгуса на озере парня избили, – решительно сказал маленький, тщедушный гольд.

Юкану хотел остановить его, но, заметив взгляд Бердышова, осекся.

– А парень помер, – продолжал гольд.

«Признались! – подумал Иван. – Я и на озеро съезжу, кстати будет!»

– Конечно, так было! – воскликнул Васька Диггар, сообразивший, что уже дальше нельзя молчать и надо как-то выкручиваться. – Что скрывать? Зачем скрывать? – обернулся он к сородичам. – Правда, так было?

– Конечно, было! – отвечали гольды.

– Синдан горячий, – как бы находя Синдану некоторое оправдание, проговорил Юкану. – Не может удержаться, когда злой. Словно зверь.

– Синдан говорит, что скоро сюда маньчжуры приедут, что русские продают им Амур и он будет тут маньчжурским исправником, – заявил Васька Диггар.

...В Кондоне заночевали.

Вертлявый Васька Диггар с утра приставал к Ивану.

– Ночью в тайгу ходил, – угодливо говорил он. – Лося стрелял. Для тебя.

Иней блестел на широких сшитых полотнищах бересты, прикрывающих товары.

«В эту пору на Додьге инея не бывает, тут холодней, – думает Вася Кузнецов. – А грязная какая речка! Течение тихое. Вода в пузырях, как проквашенная».

Вася вчера сидел и не понимал, о чем в темной, мрачной юрте при свете жирника толковал Иван со здешними по-гольдски. Бердышов послал его спать в лодку. Мальчик выпался под пологом и рад, что сегодня не надо ехать дальше, можно отдохнуть, посидеть на утренней прохладе.

– Попробуй. Как вкусно! – протягивает ему Диггар кусок мяса. – Это ноздря сохатого, большая такая! Це? Не хоцу? Ну, тебе тогда дадим вареный мясо.

Иван ел сырые ноздри зверя.

– Как сливочное масло, – говорил он. – Васька, ты только удивишься. А мы и губу сохатого съели.

Древний старик Иренгену сидел рядом и рассказывал:

– Тут место хорошее. Вот пузыри по реке – это от рыбы. Рыбы много! Когда мой дедушка сюда приехал, осень была. Холодный ветер дул с Эворона. У нас тут большое озеро близко, в тайге, называется Эвур, по-иному Эворон. Из него эта речка вытекает. Дедушка мой сидел как раз на этом месте. Услыхал: что-то шелестит. Он подумал: «Может быть, листья сухого дуба шелестят». Пошел на оморочке по реке и увидел в воде ямы, а в них полно чебаков. Чебаки шелестели, как сухие листья на дубах шелестят, когда холодный ветер дует с Эворона.

Горюнцы отрубили лосю ноги, сняли с них шкуру, а кости разрубили. Юкану разбивал их топориком и, причмокивая, сосал мозг. Иван съел сердце. Илья угрюмо наблюдал. «Жилы еще трепещутся, – думал он, – а они жрут, не жуя глотают».

– Сырое мясо кто ест, здоровей бывает, – как бы отозвался его мыслям Иван.

В котле забурлила белая накипь, там варилось мясо. Илье и Ваське дали хлеба и похлебки.

После завтрака началась работа. Товары выгружали на берег. Амурские гольды, приехавшие с Иваном, переносили их в свайный амбар Юкану, стоявший в тайге.

– Отсюда поеду на Эворон, – говорил Иван. – А тебе потом скажу, что с этим товаром делать. Пока храни его, тут много продуктов, водка есть.

Юкану все еще был сильно встревожен.

– А как я этот товар хранить буду? – спросил он Ивана. – Что, если Синдан спросит? Что я отвечу?

– Что скажешь? Да что есть, то и скажешь. Я тебе сказал зимой: «Не бойся!» – и сейчас скажу. А испугаешься – со мной, брат, теперь будут шутки плохи... Ты делай, что я велю! А то, знаешь, второй раз не прощу. Я ведь терплю, терплю, а чуть что, влеплю тебе пулю...

Иван ударил Юкану по сутулой спине так, что у того внутри все загудело.

Снизу пришла лодка. Приехал Савоська. Слезы катились по желтому тощему лицу старого гольда. Он кинулся к Юкану.

– Я в Ноан на дедушкину могилу пришел. Я тут родился, давно не был, хотел сюда поехать, на дедушкину могилу помолиться, – Савоська вдруг подскочил, ударил себя кулаком в грудь и воскликнул с отчаянием: – А торговец меня избил! Ударил кулаком по лицу. Выгнал из Ноана. На моей маленькой сестре ездит в нарте, как собаку ее запрягает! – Савоська ухватил за халат древнего старика Иренгену и стал яростно трясти его. – Ты самый старый Самар. Твой род обижают! А ты чего даром живешь? Заступайся! Заступайся! Или вот дам тебе по морде!

Кондонцы растерялись.

– Какой ты начальник рода? А? Ты что смотрел? – орал Савоська, переходя на русский.

Васька Диггар налил Савоське водки.

– Вот выпей и успокойся.

Савоська залпом выпил кружку.

– Я больной, слабый, рука болит, нога болит, – стал он жаловаться, – а меня обижают!

Юкану вопросительно поглядывал на Ивана.

– Что теперь делать, как думаешь? – робко спросил он. – Я бы поехал в Ноан стрелять и Вана и Синдана, да оленей комар забивает.

Надо стадо перегонять в гольцы.

Савоська кричал, ругал сородичей.

Иван понимал его, но молчал. «Савоське хочется возбудить в сородичах гордость, но не тут-то было! – думал он. – Очень уж горюнцы забиты. Какая у битого и голодного гордость!» Иван видел, что горюнцы ненавидят Синдана, но все терпят из-за мелочных выгод и страха. Он решил, что надо выручать Савоську, пока не дошло до ссоры.

– Ну, хватит спорить! – сказал Иван.

Он пошел к лодке, достал из-под бересты новое тульское ружье.

– Вот, смотрите лучше, какой товар я вам привез!

Иван показал ружье, потом выпалил через реку в дуб на красном обрыве сопки. Толпа гольдов с криками кинулась в лодки. Они стали грести к обрыву.

– Попал! – кричали они с другой стороны, рассматривая кору дерева.

* * *

Наутро Бердышов на двух лодках готовился к путешествию на озеро.

– Пойдешь со мной, – еще с вечера сказал он Юкану. – А товары оставь и амбар не закрывай. Все ведь и так знают, что товар мой, а чужого трогать нельзя.

Бердышов поехал вверх по Желтой реке, держа путь на озеро. Впереди на оморочке шел Юкану.

– Ты зачем вчера родовичей обидел? – спросил Иван у Савоськи.

– А что они терпят! – отвечал старик зло.

Иван догадывался, что драка в Ноане произошла неспроста. В другое бы время Савоська старался скрыть, что его побили. Отсылая его в Ноан, Иван уже знал: дело просто не обойдется. Иногда он сам удивлялся своему звериному нюху на такие дела.

Иван в шляпе стоял на корме лодки с винчестером за плечом. Нал ним проплывали вековые ветвистые дубы, склоненные с прибрежных обрывов к реке.

Выехали на озеро. Туман стлался полосами по бескрайнему водному простору. Вдали проступали неясные вершины хребтов.

– Пойдем вон в те сопки, – обращаясь к Ваське, показал Бердышов рукой вдаль. – Везде надо побывать. Правда?

– Правда, дядя Ваня! – обрадовался мальчик.

– Пойдешь?

– Пойду...

Ему до смерти надоели гольды с их делами. Вид озерной воды напоминал пареньку Амур.

– Вот бы, Васька, тебе на море побывать! – толковал Иван. – А ты, Савоська, – засмеялся он, обращаясь к старому гольду, – не кручинься. Может, еще и недаром старался!.. Зря ничего не случается!

Вид воды и гор в новом, необычайном сочетании был полон свежести и чистоты. Васька с замиранием сердца смотрел на открывшийся перед ним огромный новый мир.

– А вон и белки видны.

На вершинах хребтов белели снега. С той стороны пахнул холодный ветерок.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

От синих лохматых лесистых берегов в озеро протянулся лысый мыс, редко уставленный берестяными юртами. Тунгусы обступили Бердышова. Савоська подвел к Ивану слепого старика.

– Вот Суокина, тот самый старик, у которого ноанский торговец сына погубил.

Тунгус тянул слабые руки, желая ощупать Ивана. Они дрожали, как ветви на ветру.

– Кто хочет узнать, как погиб мой сын?

Старик рассказал, что Синдан избил сына и парень долго хворал.

– Их рода прозвание Ыйден, – говорил Савоська. – Ыйден – значит царь. Этот старик царского рода. У тунгусов давно цари были.

– Вот до чего тунгусские цари дожили! – сказал Иван, обращаясь к Илье и Ваське. – Были цари, да одичали. А самого последнего торгош насмерть, избил.

Тунгус рассказал Ивану, что все они здесь крещеные. Еще до прихода русских ездили они за хребты, и на Бурукане крестил их поп в юрте с крестом.

– Ну, а кто у вас царем был? – спросил Иван.

Старик долго перечислял имена своих предков. Васька смотрел на тунгусов, и не верилось ему, чтобы такие оборванцы были царями.

– Вот был царь так царь!.. – покачивал Иван головой, как бы неподдельно сожалея о судьбе тунгусских владык. – Провинились они в чем или их завоевали?

Иван слышал, что были случаи, когда царей свергали и рубили им головы. Похоже было, что и у тунгусов что-то стряслось с царями.

– Паря, этот случай не худо бы всем царям знать!

«Приеду домой, надо рассказать, что я тунгусского царя видел», – думал Илюшка.

Ыйден пожаловался Ивану, что старухе его не хочется жить на озере. Говорит, в лесу теплей и не так страшно. Боится, что опять Синдан может прийти.

– А русских не боится?

– Нет, русских-то мы не боимся. Я молодой был, помогал русским, – тихо и, как показалось Ивану, с обидой сказал Ыйден. – Мы

ждали, что жизни перемена будет...

Слепой Суокина принял Ивана за офицера и благодарил, рассказал подробно, как погиб сын, просил, пусть русские осудят Синдана.

Ночевали у подножья крутой сопки у стойбища самогиров, как называли родственное гольдам племя, жившее на этом озере. По имени озеро Эворон называли Самогирским.

С вечера Иван изрядно выпил и уснул на корме лодки. Ночью он проснулся, вылез из-под полога и уселся у борта. Черная блестящая вода уходила в бескрайнюю даль. Было прохладно, с озера тянул ветерок. На скалах высились кедры и ели, похожие на черные перья. Над их вершинами горела луна. Слышались удары бубна, крики. В одной из юрт блестел огонек – там шаманили.

– Га-га!.. – доносился голос Савоськи.

– Га-га!.. – кричали гольды.

Шаману них был свой, но Савоська вызвался помочь вылечить больного.

Ивана вдруг взяла тоска. Чувство это изредка, но с большой силой охватывало его.

«Где я? В тайге, на озере, за тысячи верст от людей! – думал Бердышов. – Тут никогда никто не бывал, кроме меня да офицеров от Невельского...»

Человек, привыкший к дикой жизни, выросший в тайге, Иван хотел поехать в людные места, в большой город, посмотреть разных людей, потолковать в живой толпе. Ум его не мирился с тем, что всю жизнь придется скитаться по глухим таежным труппам. Ему казалось, что где-то есть место – многолюдное, яркое, веселое, назначенное ему, – от которого он почему-то отторгнут, и не он один, а весь его род. И вот Бердышovy всю жизнь таскаются по тайге и все не выберутся из нее домой. Иван тосковал по этому неведомому гнезду.

«Я всю жизнь отступаю от того, чего хотел. Что толку, что я помогаю людям? Я не смею делать то, что хочу. А если рискнуть?» – подумал он. Душа защемила от того, что представилось ему. «Это было бы счастье! Неужели я не могу сделать то, что хочу? Только не надо бояться».

Ивану давно уже и сильно нравилась Дуняша. Еще когда ей было тринадцать лет, а он бывал в Тамбовке у ее отца, ему все хотелось

смотреть на нее. Теперь она подросла, ей шел семнадцатый год. Он сам понять не мог, что с ним делалось, когда он ее видел. Он все забывал: жену, семью. Он все ради нее бросил бы: и дела, торговлю, охоту. Он готов был ради нее еще бог знает что сделать, а не только бежать вровень с лошадьми по цельному снегу из Уральского до Мылок. Он чувствовал, что теперь ему не удержаться, его как понесло течением. Он еще сам не знал, как все сделает, умение действовать силой и хитростью было у него в крови.

Он, кажется, не всегда бы смог рассказать сам о своих мыслях и намерениях, как не мог он рассказать о многих приметах охоты на зверя: в его охотничьей душе была выработана почти звериная чуткость, и он знал такие уловки, для которых, кажется, и слов-то людских нет.

– Га-га! – орали в юрте.

«Сейчас пойду шаманить!» – решил Иван.

Ему хотелось сильных движений, буйства, озорства. Он перепрыгнул с лодки на гальку. С разбегу распахнул дверь в юрту. Васька побежал за ним. Илья помчался тоже.

– Га-га! – дико заорал Иван.

– Га-га! – подхватили гольды. – Хорошо, хорошо, давай еще! – орали они из темноты. – Хорошо, русский! Заходи скорей!

– Га-га! – заорал еще громче Иван.

– Уже пошел, пошел, черт! Испугался!.. Вылезает из больного!

Иван схватил бубен, пояс с погремушками и, притопывая, запел:

Она в Шилку пить ходила!

Он завилжал крестцом, как заправский шаман.

– Хорошо, хорошо! Еще надо! – раздавались голоса.

– Вылез черт! Готово! – вдруг закричали дружно гольды.

Иван «перегнал черта» в соломенное чучело, выхватил револьвер и трижды полыхнул в него.

– Готово! Все!

Чучело вытащили. Иван зажег спичку и подпалил его. Гольды наперебой обнимали и целовали Бердышова.

– Сразу вылечил, – говорили они. – Вот так лоча-шаман! Как песню запел, черт сразу бежал. Ты про попа пел? Ух, черт попа боится!
– Как же, мой дедушка был амба-лоча! – говорил Иван.

* * *

Вечером у костра Савоська рассказывал про амба-лоча:

– Однажды, много-много лет назад, на Горюне появились амба-лоча. За ними гнались маньчжуры. Их не могли поймать. Амба-лоча уходили быстро, никак нельзя было догнать. Тогда маньчжуры позвали великого шамана. Тот шаманил долго и вызвал тучи. Сразу выпал снег. Это летом было. Амба-лоча уходили быстро, но следы стали видны на снегу. Их нагнали и всех убили...

– Это наши деды были! – сказал Иван. – Тут их костей немало. Русских все ругают, и все хотят убить. Где бы что русский ни сделал – все плохо. Одно известно везде – русский вор и грабитель! Одна ему похвала – амба-лоча! Это нам с тобой, Васька.

Утро занялось над горами. Зарозовели туман и вода в озере.

* * *

Дела шли к концу. Скоро-скоро уж ехать вниз по Горюну. У Ивана дух захватывало при мысли, что скоро все тут будет закончено и тогда можно повернуть лодки и начать спускаться. Он любил путешествия вниз по горным рекам. Вверх идешь – мука, вниз – отдых. Обратный путь весел, легок и скор. Но еще веселей оттого, что впереди душе отрада, надежда. Другая борьба, приятней этой...

Сотню верст, что прошли с трудом, подымаясь против течения, толкаясь шестами о дно, вниз пронесешься за день-полтора, одну ночь ночуешь, и работы никакой, поглядывай только, чтоб не налететь на бык или корягу. Скалы полетят назад одна за другой, поплывет лес, прогрохочут перекааты, тряхнут раз-другой долбленный бат на порогах, на огромных каменных ступенях, прокатят вниз по прозрачной быстрине и по пене, над близким уступчатым каменным дном.

Но прежде чем идти вниз и отдыхать, у Ивана было еще одно важное дело. Он намеревался отправить в эти места целую партию людей, но не по Горюну, а с другой стороны водораздела – по Амгуни. Часть товаров и продуктов он завез сам. Дело решил начинать в тайге, в глубине ее, между реками Горюном и Амгунью, за озером Эворон. Савоська знал обо всем. В Николаевске уж был надежный человек – старичок из забайкальских Бердышовых, когда-то бывавший тут с Иваном. Он должен подобрать десяток людей и идти с ними сюда. Ивану надо было побывать на месте самому, осмотреть все.

Днем лодки шли по озеру под парусами, перевалили быстро, часа за три. На устье одной из горных речек Бердышов оставил лодки и гребцов. Он сказал Ваське, что вместе с Савоськой завтра идет в тайгу.

– Пойдем с нами.

Парнишка согласился с радостью: пойти в дремучую горную тайгу ему давно хотелось.

Вечером из Кондона приехал нарочный на оморочке.

– Синдан тебя ищет, – говорил он Бердышову. – К тебе хотел ехать поклониться, в гости звал.

– Пусть ждет, – ответил Иван. – Мне надо в тайгу. Кланяйся ему, скажи, что я о нем соскучился.

Оморочки Савоська взял у самогиров в той деревне, где шаманили.

Утром по речке, а потом по болотам Бердышов, гольд и Васька пошли на оморочках. Васька сидел вместе с Бердышовым. Целый день пробирались по воде среди леса, иногда вылезали и волоком тянули оморочки. Заночевали на релочке под пологами и на другой день двинулись пешком по тропе. Зеленые мхи, как линияющие шкуры или заплесневелые меха, свисали с мертвых ветвей. Тропа потерялась на болоте. Дальше прыгали с кочки на кочку. Из-под кочек вздымались пузыри. В тайге, хлюпая по лужам, мелькнул олень.

Иван, гольд и мальчик вышли на таежную реку. Бердышов показал ямы, заросшие травой.

– Вот тут великое богатство. Видишь эту падь? Кругом сплошное золото. Скоро тут будет у меня прииск, заработают машины. Загоню сюда людей, станут они драть эту мокрую землю. Товар для них складывал в Кондоне.

Васька понял, зачем Бердышов вез в верховья реки большой груз спирта, муки и круп.

– Я боялся, что тропу забыл.

Иван копал в старой яме песок, промывал его в лотке, который привез с собой, и показывал Ваське золото – маленькие, тусклые, но тяжелые желтые знаки.^[63]

– Вот будем живы-здоровы, приедешь на это место, поглядишь, что тут будет! Я это золото давно знаю. Еще мой дядя лет двадцать тому назад первый в здешних местах это золото нашел. Возьми-ка лоток да поплещись сам.

Васька погреб песок лопаткой, потащил лоток к ручью и, сидя на корточках, пускал в него струю, как это делал дядя Ваня.

Савоська разбил палатку. Затрещал костер, дым пополз по чаще, сливаясь с бледно-зелеными висячими мхами на деревьях. Что-то варилось, вкусно пахивало.

Ваське надоело мыть. Иван и Савоська ходили вокруг, копали, обсуждали, где и как ставить на будущий год амбар, где брать лес, где будут землянки и барак, как делать разрез, где и как лучше промывать золото.

Люди должны были успеть прибыть в этом году и начать рубку леса и пробную промывку. Весной явится сюда сам Иван, а потом придет целая партия народа, и начнется промывка.

Иван еще должен был съездить в город, сделать заявку, «справить бумаги».

Бердышов и Савоська взяли топоры и стали делать зарубки на деревьях.

– Теперь это место мое! – сказал Иван.

Васька уже знал таежные законы. Отец на Додьге тоже зарубки делал.

Иван сделал много зарубок, гораздо больше, чем отец.

– Зачем ты так много затесываешь, дядя Ваня? – спросил мальчик. – Чтобы видно было?

– Как же! Я тут все показал, где амбар строить, где барак, где бить шурфы. Колодцы, пески подымать и мыть из песков золотишко. Я этим топором разрисовал тут все, целую контору развел, как инженер. Люди зайдут, им сразу будет видно. А зимой я сюда нагряну, погляжу, как

они: спят ли, золото моют ли в потемках, готовят ли лес. Лес ошкурят, высушат, построят дома хорошие.

– Для рабочих?

– Нет, кобылка сама себе сладит землянки. Строить надо амбары, контору. А уж потом и барак. Тут есть золото всюду, тут целый город можно построить. Нынче явятся сюда люди – у них будут продукты. Да еще запас оставил я у Юкану. Пусть лежит на всякий случай.

– А если кто это место займет?

– А никто не займет! Никто! Раз я сделал зарубки, это крепче документа... Тогда мы с Савоськой заедем и тому, кто займет, по пуле в оба глаза. Да того быть не может, еще не бывало. Теперь зарубки сделаны – секрета нет; можешь приехать, отцу рассказать.

– А дядя Родион спросит?

– Пусть спрашивает. Скажи и ему. Не ворованное!

Иван все больше поражал Ваську. У него, оказывается, были какие-то люди, он распоряжался, приказывал. Ездил в город. Он действительно был как царь лесов, Горюна...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Из-за мыса, лязгая шестами, поднимались чужие люди.

– Вон Синдан едет, – сказал Савоська.

Стояло позднее лето. Бердышов с Юкану, с Васькой Диггаром и всеми своими спутниками держал теперь путь вниз по Горюну, на Амур.

Накануне им встретились гольды, ехавшие снизу.

– Синдан тебя везде ищет, – говорили они Ивану. – Хочет тебе поклониться.

Пока Иван путешествовал по озерам, Синдан был в Кондоне, ждал, но не дождался и уехал вниз, на устье Горюна, за товаром, который пригнали для него на большой халке из Сан-Сина. Халка в Горюн не входила. Товары перегружали и везли вверх «на шестах».

На лодках Синдана взмахивают шестами двадцать работников. Издали видно, как время от времени приказчик Ван понукает их, грозя палкой. Лодки быстро поднимаются по реке.

– Синдан катит! Ух, он быстро едет, как на курьерских!

– Синдан едет! Синдан едет! – забеспокоились гольды.

– Синдан едет – дерется палкой!

Завидя палатку, Синдан велел остановиться. Лодки его одна за другой упирались в пески. Сняв соломенную шляпу, к Бердышову подошел широкоплечий человек с большим неприятным смеющимся лицом и с тяжелыми злыми глазами, сильное и хищное выражение которых он старался скрыть широкой улыбкой. Он был высок и сутулился, словно носил на спине тяжелую ношу: видимо, старался казаться пониже. Он поклонился, а взор его оставался жестким и колючим.

– Здорово, Синдан!

– Здорово...

– Ну, ты от меня поклон получал? Вот Юкану все тебя хвалит! А я не верю!

Юкану молчал.

– Как вы тут вместе торговали моим товаром?..

Юкану вздрогнул.

Синдан оскалил зубы и замотал головой, как бы показывая, что не понимает.

Иван то же самое сказал по-гольдски. Синдан кланялся, просил принять подарки и звал к себе в гости.

Иван сел на корточки и закурил.

– Здоровые кулачищи у тебя! Силы в тебе, как в хорошем быке, – сказал Бердышов.

Синдан улыбался и кланялся.

– Ловко ты притворяешься, – строго сказал Бердышов. – Ты когда Ыйдена бил, так же улыбался? Шибко вежливый! Ну, что делать будем? Тебе надо ехать вниз, – махнул он рукой.

Торговец насторожился.

– С ним сейчас ничего не сделаешь, – обращаясь к Илюшке, сказал Иван. – Попробуй ударь его, а он ляжет ничком, как перед хунхузами. А лежачего как бить?.. Что, общество составил? Компания есть? Ты не прикидывайся, я знаю: ты по-русски все понимаешь, Юкану пугал?

Синдан кланялся.

– Ты зачем девчонку отобрал и ездил на ней в нартах, как на собаке? Ты как думаешь, можно пугать людей, что русские Амур продают? Ты тут исправником от маньчжур быть собрался. Думаешь, можно пугать людей, что донесешь нойонам и что, мол, те придут и казнят?

Синдан понял, что совершил ужасную ошибку, поверив зимой Гао, что Бердышов бродяга и ничтожество и скоро разорится.

– Кто сказал тебе, Юкану, что русские Амур продают? Говорил он так? Подтверди!

– Было! – крикнул Юкану, собрав все силы.

– Теперь ты ни на одном языке ничего не понимаешь? – продолжал Бердышов, обращаясь к Синдану. – Ну, так вот, слушай! Ты больше на Горюн не ходи. Ты сам против нойонов, бежал от них, а людей хочешь запугать ими. Кровью велишь им клясться, чтобы с тобой были заодно. Так поворачивайся и уезжай на Амур. Там тебе выгодней торговать. Тебе больше торговать на Горюне нельзя.

– Как так? – блеснул глазами Синдан. – Моя есть бумага, можно торгуй.

– Такой бумаги нет, чтобы детей в нарты запрягать. Ты с Горюна уходи.

Долгие дни Синдан в беспокойстве ожидал Ивана. Он подозревал, что Бердышов, путешествуя по стойбищам, рушит всю его торговлю, что он хитрит, когда говорит о дружбе и приятельстве. Ярость давно клокотала в душе Синдана, но он таил ее и надеялся, что все обойдется.

Иван рушил его торговлю тем, что привез муки, привез хорошие ружья, каких никогда не продавал Синдан. У Ивана все было лучше. Гольды отворачивались от Синдана, смеялись над его торговлей, не хотели покупать. И вот в довершение всего Иван гонит его с Горюна, где за семь лет он разбогател. Он готов был на все, лишь бы не ссориться со страшным Ванькой Тигром. Но сейчас, слыша такую ужасную новость и видя близко его лицо, Синдан задрожал от злобы.

– Ты, может, думаешь, я шучу? Нет, я и палку нашел, которой ты наказывал людей.

Иван вытащил из-под полога длинную палку с иероглифами, которую Синдан узнал сразу: на ней была печать общества.

– Я хотел и Юкану повесить за то, что он продался тебе, но пожалел старика. Вот, гляди, твоя палка!.. Кто у Суокина убил сына этой палкой?

Синдан приподнялся, глаза его засверкали, согнутое тело как бы приготовилось к прыжку.

– Вот когда ты стал самим собой, теперь я тебя узнаю. Здорово, паря!

Гримаса злобы и жестокости исказила грубое лицо Синдана. Глаза его забегали.

– Так признаешь свою палку? Вот на ней написано: «Бить до костей», грамотный я по вашему. А говорят, у всякой палки два конца.

Иван размахнулся и ударил Синдана кулаком в зубы.

Нож сверкнул в руке Синдана. Он зверем кинулся на Ивана. Бердышов нанес ему удар кулаком в грудь. И тут же палкой с иероглифами еще раз по голове, да так, что треснула палка. Торговец покатился по траве, но тут же вскочил, мотая головой: видно, оглушенный. Обезумев, он снова бросился вперед. Новый удар встретил его. Синдан взмахнул руками, оступился, подмытый песок обвалился, и торгаш слетел с обрыва в реку.

Иван выхватил револьвер.

Между тем Савоська, глядя на лодки с товаром, живо сообразил, что можно в один миг разорить Синдана. Он подбежал к берегу и с силой оттолкнул груженую лодку. Подскочил Илья и стал помогать ему рьяно. Огромные плоскодонные лодки одна за другой закачались на бурной реке. Их быстро потащило вниз, поворачивая к берегу то кормой, то носом. Лодки, убыстряя ход, понеслись к перекату.

Приказчик с криками забегал по берегу. Передняя лодка ударилась о камни. Другую тащило по мелководью, било о гребни подводных скал. С разбегу она ударялась о коряги. Нос лодки погружался в воду, и волна захлестнула товары. Могучее течение покатило по всему перекату мешки с мукой и крупой. Мешки рвались, и белые пятна расплзались по голубой воде. Третья лодка громыкала по перекату.

Синдан поднялся и, тупо озираясь по сторонам, стоял под берегом по колено в воде.

– Другой раз никогда на меня не бросайся! А теперь иди лови лодки и ступай с Горюна навсегда. Эта речка моя!

– Суд надо, – прохрипел Синдан.

– Ты и по-русски говорить сразу научился! Зачем мне суд? Вот тебе суд, – показал он револьвер. – Я сам могу с тобой управиться... Смотри: если хоть одного моего должника тронешь пальцем, я тебя разрежу на тысячу кусков, как сказано в вашем же уставе. А палку возьму себе. Кто войдет к торговцам в общество, – сказал Иван, обращаясь к гольдам, – того сразу повешу. Я теперь тут хозяин.

– С твоим уставом я не согласен! – озираясь на Ивана, говорил Юкану поверженному торгашу.

– Что ты с ним вежливо разговариваешь? Плюнь на него! – подскочил Савоська.

Гольды выловили на перекате одну из лодок, подвели ее к берегу поодаль от стана. Синдан пошел туда, ни слова не говоря, быстро сел в лодку и проворно отъехал.

Гольды качали головами, сожалея о гибели великого богатства. За эту муку сколько надо было бы отдать мехов...

Бердышов остался ночевать на мысу.

* * *

На другой день неслись по течению вниз. Поднимались до этого мыса пять дней, а вниз весь путь предполагали пройти за день. Гольды рассказывали, что Синдан вчера ездил, искал на берегах и на отмелях остатки своих товаров и, собирая их, плакал. А утром ушел вниз. Приказчик его ушел по берегу пешком вверх. У него была в Ноане жена гольдка.

– Ну, Васька, теперь отдохнем! – говорил Бердышов, сидя на дне лодки, когда караван шел уже в низовьях и близка была заветная Тамбовка.

Вот-вот над дальними полосами леса на пойме и на острове должны открыться деревянные серые крыши Тамбовки. Виден будет дом Спирьки Шишкина.

Мимо проносились последние скалы. Над блекнувшими прибрежными рощами высились одинокие рыжие каменные пики. Зелень тускнела и желтела от такой жары.

Хотя Ваське драка здорово понравилась, но он теперь как-то побаивался Ивана и ничего не ответил. Вообще он первый раз в жизни видел, что так ловко и смело бьют и кулаком и палкой, и себя ударить не подпускают, и не жалеют чужой головы. Это и страшило и восхищало Ваську. При случае хотелось бы так же самому попробовать.

– Вон и Амур видно! – вдруг радостно сказал Иван.

Он с утра чисто выбрился, стал гладкий и веселый. Не боится, видно, что Синдан пойдет жаловаться.

За множеством островов что-то блестело.

– Отсюда кажется – узкая протока, а это самый Амур и есть. Сейчас на левой стороне будет Тамбовка... Гляди, вон крыша!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Давно не бывал Васька в настоящей русской деревне. После скитаний по дикому Горюну вид ее обрадовал мальчика. Ему казалось, что он уже видел эти бревенчатые избы, высокие крыши, ворота одностворчатые и двустворчатые с шатрами сверху, и был тогда такой же тихий вечер, так же девушки пели песни на краю села. Верилось, что люди живут здесь хорошо, дружно, что все они свои и примут их приветливо. Васька с нетерпением ожидал встречи со своей тамбовской родней.

«А где я-то был!» – подумал он и вспомнил зеленую воду, бьющую сквозь груды бревен, коряги над водой, скалы, стволы, перевернутые иссохшими корнями вверх, вспомнил, как ели медвежатину и шаманили, как нашли золото и как тосковал он на озере, что далеко уехал.

«А зря я тосковал! – подумал Васька. – Не так все страшно. Даже стыдно себе признаться, что струсил тогда».

Темные фигуры тамбовцев брели по берегу. Здешние мужики любопытствовали, кто приехал.

– Эй, Иван Карпыч, здравствуешь! – забрел в ичигах в воду великан Санька Овчинников. – Ты куда собрался, че везешь?

– На Горюн! – ответил Бердышов.

Чуть смеркалось.

«Большое село», – подумал Васька, видя, что домов много и чем дальше идет лодка, тем больше изб появляется вдоль реки.

– Почему с той-то стороны едешь? – спросил Котяй Овчинников, брат Саньки.

В американской шляпе и в болотных сапогах, с револьвером за поясом, Иван вышел на берег.

– Эй, дикий барин! – крикнул маленький вятч Ломов. – Теперь бы тебе клетчатые штаны. Винчестер да шляпа!

– Паря, на мне как раз клетчатые были. Маленько, видно, выцвели, так теперь клеток незаметно. Да вы сами уж не расейские мужики, а амурские колонисты.

– Не-ет! Это нам мало важности! Все равно душа русская, какое ружье в руки ни возьми.

– Ты, Иван, продай товар нам, зачем далеко таскаться?

– Да он уже побывал на нашем Горюне, – сказал светло-рыжий Спиридон Шишкин, подходя к разговаривающим. – Здорово, Ванча! Лодки-то пустые. Никак все распродал?

– Ты где прошел? Как мы не видали? Что на нашей речке шляешься? – спросил Санька.

– На ва-ашей! С каких пор она стала вашей, если ты сам на ней никогда не был выше быков?

С обрыва сбежал Родион.

– Ваня, приятель! Мы уж слышали, что ты по Горюну едешь. – Они расцеловались. – А это кто? Никак Васька?

– Теперь Синдана нет, – объявил Иван громко, как на сходке. – Каждый, кто хочет, может заходить и торговать.

– Смеется. С пустыми-то лодками пришел!

Иван сказал, что Синдан хотел убить его, кинулся с ножом.

– А старшина ни черта не знает! – молвил Савоська.

– Ладно уж! – ответил Родион Шишкин недовольно.

– Савоська, брат, ты ему не в бровь, а в глаз попал, – сказал Иван.

– А где старшина Тамбовска волость? – воскликнул Савоська, обращаясь к толпе. – Моя надо старшина!

– Чего тебе? – спросил Шишкин. – Я за старшину!

Он был теперь старостой.

– Крестьянина твоей волости обидели. Морда били.

– Кто посмел? Кого? Не Ваньку ли Бердышова?

– Нет, Ваньку Бердышова пока еще не били. Меня маленько били, – сказал Савоська.

Все захохотали. Савоська продолжал, смеясь сквозь слезы:

– Маньчжур прямо так оскорбляет, в морду ударил, потом говорил, русский старшина плохой, а будто у них своя старшина есть.

– Ты не врешь?

– Говорил; русский старшина ленивый, на Горюне не ездит, гольдов не защищает.

И под тем предлогом, что все это якобы говорил какой-то маньчжур, Савоська выложил Родиону все, что сам думал про него.

– Че, пороть не будешь?

– Кого пороть-то?

– Да Синдана!

– Нет, ты, поди, так ему отплатил.

– Ну ладно, – согласился Савоська. – Конечно, отплатил. Все отдал!

– Вы прогнали только его?

– Ты на Горюн ехал, почему не позвал нас с собой? – спрашивал Котяй у Бердышова.

– Я нарочно протоками пробрался. Думал, ты уж там, а если в деревне останавливаться, так разъедемся.

Родион позвал гостей к себе. Васька, проходя деревней, радовался: колодцы, журавли, на огородах зелень, грядки. Дома строены тесно, в деревне много скота, коней – во всем была радость для Васьки. Вот как у русских-то!

– А садочки-то, садочки, не то что у нас на Додьге!

– Это наши бабы-девки высадили из тайги сирень, акацию, яблоню, рябину, – говорил Родион. – Ведь мы тамбовские, у нас на родине сады большие, яблоки растут. Вот и сюда пришли – желают, чтобы и здесь все было, как на старых местах.

В избе у Родиона чисто. Пол крашен и выстлан половиками, цветные пологи, огромная печь, зеркало. Горит керосиновая лампа, вокруг стекла во множестве вьется гнус, хотя окна и двери плотно закрыты.

Петровна накрыла на стол. Чистая скатерть, посуда, ложки, самовар – после гольдских деревень все было чуть ли не в диковинку: приятно посмотреть. Повеяло домашним бабьим обиходом. Васька глядел на Петровну, как на родную мать.

На столе появились щи, каша, пшеничный хлеб, свежие огурцы и редька – все свое, привычное. Казалось, вкусней не было еды на свете.

– А мяса нынче нет. Ледник пустой, – рассказывал Родион. – Я эту зиму не охотился и совсем оголодал. Лоси куда-то ушли, а бегать за ними некогда – свадьбы играли... У нас говорят – лосей Спирька всех перебил. Лосиная Смерть. Он, дурак, ради хвастовства не жалеет зверя. Да у меня нынче весной коня медведь задрал, а жеребенок еще малый. Я до того дошел, что, как ваш китаец, сначала с Митькой тянул соху, а потом у Овчинникова коня взял. Он все не уступал, да делать нечего. Зимой придется отдавать соболями.

– Так что, тебе богатство впрок не пошло? – спросил Иван.

– Богатство! Я начальству сколько выпоил. Да еще вдвойне своего доложил. Но я не жалею. Хотя и хватило меня нынче морозцем, но тут не старые места – живо отойду. Ну, Иван, давай выпьем! – Родион разливал водку. – А тебе, Васька, еще рано.

– Пошто рано? – воскликнул Иван. – У нас в Забайкалье с шести лет напиваются. А грудным младенцам бабы нажуют хлеба, намочат в водке и сунут в рот, чтобы не орали. Те лежат-посасывают... Налей ему рюмку.

Васька выпил. Вино ударило в голову. Он снова вспомнил дикую реку, зеленые тучи мошек, завалы колодника, грохот перекатов и приятно ощутил, что сидит в чистоте и удобствах. Подъезжая к Тамбовке, он выкупался вместе с Иваном и Ильей и надел чистую рубаху.

– Давай, ребята, еще! – налил Иван.

– Ну, твое здоровье! – чокнулся Савоська.

Двери распахнулись.

– Дяденька! – вбегая, воскликнула Дуняша.

Иван уж давно ожидал этого мига.

Высокая, тонкая в поясе, гибкая, раздумывавшаяся, она замерла, завидя гостей. Следом вбежали другие девушки. Дуня села на лавку и мгновенно приняла вид серьезный. Пушистые темные брови ее дрожали, выдавая волнение. Девки стали подсаживаться к ней, и вскоре их набралась полная лавка.

– Паря Родион, как у тебя племянница похорошела, – сказал Бердышов. – Это что такое? – подмигнул он ей. – И волосы потемнели? Были как лен, а стали черные.

Дуняша зарделась и приосанилась. Ей приятно было слышать такие похвалы при Илюшке. Дуня уже всем разнесла, что приехал первый красавец на Амуре, и ее подружки бегали к Шишкиным под дверь и под окна. Глаза их сверкали, оглядывая Илью.

Илья подтянулся, приободрился. В голове его шумело от вина и оттого, что девки смотрят.

– Ну-ка, Илья, сказани им чего-нибудь, – молвил Иван, видя, что Дуняша с него глаз не сводит.

Илье и самому хотелось что-нибудь сказать, но он сразу ничего не мог придумать.

Иван ел с жадностью. Искоса глядя на Дуню, он снова воскликнул, не в силах сдержать восторга:

– Шибко похорошела! Щеки-то! А говорят, на Амуре яблок нет!

– А Танюшу давно видели? – спросила Дуня.

– Мы давно из дому, – сказал Иван.

– Уехала ее подружка дорогая, – молвила Петровна.

Девки, видимо, нагляделись. Дуня подтолкнула локтем черноглазую Нюрку Овчинникову. Сорвавшись с места, она распахнула дверь, и все гурьбой посыпались за ней на улицу.

– Вот бешеные, – покачала головой Петровна.

В избу стали приходиться мужики. Одни подсаживались к столу, другие устраивались на лавках. Иван весело, обращаясь более к Родиону, рассказал про горюнскую поездку и с подробностями про изгнание Синдана.

– Много же ты там натворил! – удивлялись мужики.

Рассказ Бердышова о том, как прогнали Синдана, произвел сильное впечатление. Тамбовские богачи поникли, чувствуя, что с Бердышовым им не тягаться. Санька Овчинников и тот присмирел. Казалось, он готов был примириться с тем, что Иван у него из-под носа вырвал и захватил Горюн. Санька уж придумывал, как бы задобрить Ивана, а то запретит на Горюне торговать.

– Что там было, всего не перескажешь.

– Гольды, поди, испугались? – спросил Родион.

– Однако, не всякий на эту речку попадет, – ухмыльнулся Бердышов. – Наверху есть проходы в скалах, там Горюн черти караулят. Без потайного слова не проникнешь. Верно, Савватей Иванович?

– Конечно! Обманываем, что ли! – хитро отвечал Савоська.

Пришел Митька – сын Родиона. Слушая мужиков, он долго ерзал на лавке и, дождавшись, наконец, когда Илья и Васька отужинали, сказал им, что девушки велят идти на вечерку.

– Значит, Илья, испытанье прошел, – сказал Родион. – Можешь идти смело.

– Сходите поглядите, как наши ребята веселятся, – говорила Петровна.

– Только смотри, Илья, не дерись! – строго предупредил Иван.

Иван выставил водки. Мужики продолжали пить.

– Надо и нам сходить на вечерку! – сказал вдруг Бердышов.
– Нет, погоди! – ухватился за него Овчинников. – Вот ты мне скажи, как ты туда проник?

* * *

В бревенчатом зимнике – шум, смех, музыка. Когда Митька, Илья и Васька вошли, пляска только что окончилась. Парни и девицы гурьбой обступили гостей. Илья сразу понравился девушкам: черноволос и румян, а глаза голубые, и лицо как налитое, загорелое.

– Ах, как вы далеко ездили! – заговорила Дуняша.

Девушки, румяные, веснушчатые, курносые, с навитыми кудряшками, беленькие и черненькие, в ярких платьях, красивые и некрасивые, такие, что казалось, кто-то повытягивал им лица одним вдоль, другим вширь, окружили Илью.

– Ну, который на шестах Горюн прошел? Дайте поглядеть!

Только сейчас Илья почувствовал, что значит летом проехать весь Горюн. Ему захотелось что-то сказать смело и умно и вообще показать себя.

– Горюн – мошке столица! – выпалил он, невольно повторяя слова Ивана, и подумал: «Эх, да ведь я еще там тунгусского царя видал!»

– Куда тебе, Андрей! – смеясь, сказал Митька, обращаясь к гостившему в эти дни в Тамбовке белобрысому контрабандисту Городилову и как бы гордясь своими гостями. – Вот они Горюн прошли весь и на озерах были!

Андрей покраснел до корней волос, уши его побагровели. Он заморгал густыми белесыми веками и не нашелся, что ответить.

– Чего уж там – Горюн прошли! – воскликнул Терешка Овчинников. – Поди, не сами, Иван их водил.

Терешка, узколиций, горбоносый парень, с зелеными острыми глазами, почти такой же белесый, как Андрюшка, худой и высокий, был сыном богатого Саньки. Он чувствовал за собой отцов достаток, у него была своя гармонь, хорошие сапоги, он ловко дрался, умел плясать и считал себя первым парнем и женихом в Тамбовке.

Илья не слышал толком его слов, но понял, что тот сказал что-то неладное. Видя общее радушие, Илья решил, что надо рассказать про

трудную дорогу. Хмельной и счастливый, он чувствовал себя сегодня смелей, чем обычно. «Сейчас покажу им, как я могу говорить. Все скажу!» – Илья собрался с духом, но только не знал, с чего начать.

– Ну, послушаем, – подседа Дуня. – Садитесь, подруженьки.

Илья хотел рассказать, как собирались, потом как поднимались на шестах, чтобы все было по порядку.

– Ну, вот... – Он поморщился, тряхнул головой и смолк, обдумывая, как начать Лучше.

– А Дунька-то наострилась слушать! – хихикнули младшие девчонки.

– Да что вы уши развесили? – вдруг в тишине засмеялся Терешка Овчинников. – Он ни стоя, ни сидя вам ничего не скажет. Он заика! Да картавый. Да глухой на одно ухо! Слушайте, как он будет молчать!

Все засмеялись, а Терешка, волоча ноги по половицам, отбежал с приплясом, хлопнул себя ладонями по голенищам и затопал. Кто-то засвистел.

Илья почувствовал, что сердце его оборвалось. Ему хотелось подскочить к Терешке и ударить его, но он помнил, что Иван драться не велел. Приходилось терпеть, а это он умел, до сих пор его терпения хватало на что угодно. Но тем сильнее разбирало зло. Теперь уж он не обращал внимания на то, что парни, девушки и ребятишки ждут его рассказа. Глаза Илюшки разгорелись, он не спускал их с Терешки.

– Илюша, да вы не смотрите так... Ах, бросьте, перестаньте! – стала успокаивать его Дуня.

– Плюнь на Терешку, – посоветовал Митя. – Говори, чего хотел.

– Да Терешка у нас всегда такой. С ним лучше не связываться! – зашумели вокруг.

Но Илья странно молчал.

Заиграла гармонь. Толпа разбилась, и вскоре, кроме Дуни с Васькой, на лавке около Ильи никого не осталось.

Терешка лихо топал, словно норовил сломать половицы, носился взад и вперед, подымая то одно плечо, то другое, петушился, как бы говоря каждым своим движением: «Вот я какой, я тут первый, всех богаче и ловчей! Все тут будет по-моему. Девки тут мои, кого захочу – сосватаю!»

Он прыгал вокруг пестрой оравы девок, как петух. Пробежав по кругу, Терешка остановился против Дуни и сильно затопал обеими

ногами, вызывая ее на танец. Она отказывалась, но он топал еще яростней, пуча глаза, как филин.

Пришлось Дуне танцевать. Выйдя на середину, она подняла руку с платочком и мягко, плавными легкими шажками тронулась по кругу. Все убыстряя шаг, она проплыла мимо Илюшки и улыбнулась ему. Что Илья обижен, что ему не до разговоров и хочется отколотить обидчика, Дуня все это понимала и сердилась на своих подруг и на Терешку. Ей стыдно было за парней и хотелось утешить Илью. Она плясала для него, перегибаясь, улыбалась ему из-за плеча, старалась порадовать его, оживить, как бы звала полюбоваться своей красотой.

Но Илья ко всему был холоден. Он желал смыть с себя позор и полагал, что до этого не вправе пользоваться Дуниным расположением. «Раз я картавый да заика, нечего со мной разговаривать!» – думал он, с тайной болью наблюдая, как пляшет Дуня.

Когда пляски закончились, он не стал с ней разговаривать. Ему обидно было до горечи. Он так надеялся, что удастся высказать все – впечатлений было много, они теснились в голове, просились наружу. Он умел плясать и сегодня, идя на вечерку, хотел это всем показать. «А вот сейчас выставили меня дураком. Сидишь и с места не сдвинешься. А раз я дурак, то не нужны мне ваши утешения!»

– Подойди ты к нему, – подговаривала Дуня подругу. – Смотри, как обидел его Терешка, – он даже потемнел.

– Пошутите с нами! – бойко подбежала к Илье черноглазая Нюрочка.

Илья крикнул недовольно и так сверкнул глазами, что девушка отпрянула.

А Терешка замечал, что Дуня с Ильи глаз не сводит. Это злило его. Терешке хотелось еще сильнее опозорить этого пермяка. Дуня давно нравилась ему. Он сватал ее, но Спирька, у которого Дуня была единственной помощницей и любимой дочкой, не торопился выдавать ее замуж. К тому же у него были нелады с Овчинниковыми. Но главной причиной отказа было нежелание самой Дуни идти за Терешку. Получив отказ, парень стал еще злей и ревниво следил за девушкой.

– Илья-то еще и глухой, – едко сказал он. – Ты ему пела, а он и не слышал. Верно, глухой, как пень.

– И совсем не глухой, – возразила Дуня.

– Ты откуда знаешь?

Дуня не желала больше говорить. Белое лицо ее приняло бесстрастное выражение. «А ведь так хорошо начал. Когда пришел, такой веселый был!» – с сожалением думала она, глядя на одиноко сидевшего Илью. Тот упрямо склонил голову, опираясь руками на лавку.

– Вот это погостили, побывали на вечерке! Смех один! – громко рассуждал Овчинников. – Им только с гольдами водиться! Пермяки – солены уши!

Между тем младшие парнишки и девчонки, обступив Ваську Кузнецова, оживленно разговаривали с ним. Там слышались струны бандурок. Звонкий голосок паренька доносился сквозь шум толпы.

Но вот гармонь, покрывая все звуки, заиграла кадрили. Овчинников хотел подхватить Дуню.

– Поди ты! – грубо оттолкнула она его руку и отбежала.

Пары закружились, парни и девушки, потопавши, перебежали по избе из конца в конец, менялись местами и снова отчаянно топали. Парни скакали с яростным выражением лиц. Мишка Шишкин плясал, вытянув руки по швам, словно работал. Белобрысый контрабандист Андрюшка козырем выхаживал вокруг черноглазой Нюрки. Девицы и парни – сильные, смуглые, плотные – прыгали грузно, тяжело, так что тряслась изба.

– Ну, а теперь давайте я сыграю! – звонко прокричал Васька, когда кадрили окончилась и все с шумом рассаживались по стенам. В руках у него была бандурка.

– Ах, Василечек, сыграй нам! – завизжали старшие девушки, окружая его с хохотом.

– Уж Василек – так и красивый, как василек!

– Ах, какой парнишечка славненький!

– Вот какой-то достанется!..

Белобрысая девчонка, одних лет с Васькой, подперев кулачком подбородок, спокойно и серьезно смотрела на него.

– Ишь, Поля-то на тебя залюбовалась! – засмеялись девки.

Кивнув на нее, Дуня сказала:

– Гостья-то наша! Это приезжая из города!

Мальчик заиграл «Барыню». Несколько пар закружилось по избе. Дуне всей душой хотелось возвратить счастливое мгновение, когда Илья заговорил с ней, хотелось как-то обратить его взор на себя.

– А ты что бегаешь от меня? – подскочил Терешка к Дуне. Он всем желал показать, что ухаживает за ней, что это его девушка.

Дуня отстранилась и перебежала на другую лавку. Овчинников кинулся туда. Началась беготня. Дуня подхватила Митьку. Ей стало радостно. Легко и быстро подскакивая и пристукивая каблучками, она пронеслась мимо Ильи. Буйное веселье охватило ее, она плясала все быстрее и вдруг под села к Ваське, который играл с увлечением, стараясь и по струнам бить и успеть пристукнуть по самой бандурке, перевернувши ее, как учил дедушка.

– Васенька, как славно играешь! – сказала она игриво, ласкаясь щекой к его плечу. Ей хотелось расшевелить Илью и досадить Терешке. Она засмеялась раскатисто, закинув голову, и вдруг обняла Ваську и крепко поцеловала его. Танец оборвался.

– Ну и Дунька! – воскликнула Нюрочка.

Маленькая Поля, любовавшаяся мальчиком и серьезно слушавшая его игру, горько заревела.

Васька испугался. Дуня повалила его на бок и стала целовать горячее.

– Девки, целуйте его!

– Потонул в подолах! – хохотали девицы.

– Ах, бесстыдница! – Парнишка замахнулся бандуркой.

– Девки, не пускайте его! Целуйте!.. Ах, какой мальчишечка!

Маленькая Поля ревела и хватала девок за платья, пытаясь оттащить их от Васьки, чтобы спасти его. Мальчик дрыгал ногами, кричал и, вырвавшись, отбивался бандуркой.

Терешка побледнел. Острые зеленые глаза его загорелись, как майские светляки.

Васька отбился, но тут Дуня вновь подскочила к парнишке и влепила ему поцелуй в самые губы. «А ему хоть бы что», – думала она, искоса поглядывая на Илью.

Илья вдруг вскочил с лавки. Он вытаращил глаза и с удалью, топя еще сильнее Терешки, сплясал такие коленца, что все диву дались. Потом, оборвав свой танец, он заложил пальцы в рот, дико

просвистал и с презрением, не глядя ни на кого, пошел прямо к двери. Васька тоже пошел, перебирая струны бандурки.

– Ах, какой миленочек! – кинулись за ним девки.

Но Васька вырвался и убежал следом за Ильей. Гармонист тоже поднялся и направился к выходу. Вечерка закончилась. На улице от реки подымалась прохлада. Вдали на фоне бледной летней ночи чернели горбы горюньских хребтов. Из зимника вышли девушки. Дуняша, поживаясь, куталась в платок. В тишине слышно было, как плескалась рыба в реке.

– Молоденькие, а зябкие! – смело и громко сказал Илья девушкам.

Дуня засмеялась, но смолчала, желая показать, что знает теперь его нрав.

– Молоденькие, так каменные, что ль? – отозвалась Нюрка, вызывая Илью на разговор.

Но Илья пошел прочь. Митя Шишкин и Васька поспешили за ним.

– Чего-то там еще разговаривает, – вслед ему нерешительно пробормотал Терешка. Он топтался около девок, как бы охраняя их.

Овчинников был смущен и выходкой Дуни и отчаянным танцем Ильи. По дикой, удалой пляске он догадывался, что это за парень, и злился. Он видел, что Дуне нравится Илюшка.

А Дуне приятно было, что Илья пошутил. Он как бы утешил ее, извинился перед ней. Она побежала домой счастливая и этим кратким разговором.

А Митя с гостями ходил к реке. Когда возвратились к дому Шишкиных, откуда-то со свистом пролетел камень и ударился в ворота. Кидали, видно, с берега.

– Эй, Терешка, перестань баловать! – крикнул в темноту Митя.

Парни полезли ночевать на сеновал.

Чуть занималась заря. Сверху опять стали видны очертания горюньских сопок. Васька был счастлив. «Хорошо!» – думал он, оглядывая буйные, кое-где поблескивавшие от росы кусты и поля. Ему вспомнилась белобрысая девчонка на вечерке, но кто она, почему попала сюда из города, он не знал.

– А Терешка мне еще попадетсЯ!.. – пробормотал Илья.

Слышно было, как где-то разговаривали мужики.

Дуняша у ворот встретила отца. Он шел с Иваном Бердышовым.

– Вот уж и вечерка кончилась, – завидя ее, сказал отец. – Наша Дуня бежит. Ну, как гуляли?

– Хорошо, тятенька, – чувствуя взгляд Ивана и приободряясь от этого, ответила девушка. При Иване ей всегда было как-то смелей и веселей.

– Понравились ребята?

– Иван все хотел с тобой идти поплясать.

– Что же не приходили?

– Да отец все – выпей да расскажи, – сказал Иван. – Вот только вышли, и вечерка окончилась. Уж светает, оказывается. Хотел я сегодня поплясать с тобой да ноги поломать твоим ухажерам.

– Всем не поломаешь! – поднявши голову, ответила с потаенной гордостью Дуняша.

– Уж ты бы их не переплясал! – сказал Спирька. – У нее, знаешь, какой хвост выстраивается.

Дуня поклонилась и, показывая, что говорить больше не будет, проскользнула в калитку.

«Ах, Илюшечка! – подумала она, укладываясь. Еще зимой с первого взгляда он понравился ей. – В Уральское бы жить поехать! Илья там, и Таня там. И почему бы Илье на мне не жениться? Что я, урод, что ли?.. Обязательно должен, только нам злые люди мешают. Эх, мы бы с Танюхой зажили в Уральском без отцов-то!.. И дядя Ваня там. Такие все хорошие...»

Терешка ей не нравился, Андрей ухаживал за Нюркой, но если бы она захотела – побежал бы за ней. «Поглядывает... Но Андрей – контрабандист и шляется где попало. И какой-то жирный, zenки лупит, как корова, и все ждет чего-то... Все противные, один Илюшечка мил». Сколько ночей она мечтала о нем! И вот он приехал. «Спасибо дяде Ване».

Для Дуняши сегодня как большой праздник. И завтра праздник – спать не хочется. Только она беспокоилась. «Неужели Иван угонит Илью с лодками? Долго ли пробудут? Теперь когда увидишь Илюшечку? Когда почту начнут гонять?» Она вспомнила, как Иван похвалил ее. «Уж будто бы я так в самом деле красива? Илья понял ли это? Дядя Ваня меня все ласкает, пряников дарит и на меня не нахвалится!»

* * *

– Ну, а женихи у нее есть? – спросил Иван, когда Дуняша убежала.

– Овчинников... Жеребков из Верхнего...

– Илью, брат, цени дороже! Хоть и глухой и маленько не в себе, но огонек. Есть еще один жених...

Спиридон знал сам, что такой жених, как Илья, на дороге, конечно, не валяется. Но особенно Спиридон не думал об этом.

Мужики зашли в зимник. Опять появилось вино.

– Вот скажи, Иван, никто знать не будет, когда ты мне тайное слово откроешь?

– Все тамбовцы пристают ко мне с этим тайным словом. Зачем оно тебе? Тебя и так зовут Лосиная Смерть! Ты тайгу губишь, стада лосей уничтожаешь и так.

Спиридон за эти годы стал знаменитым охотником, его всюду звали Лосиной Смертью.

– Мне нужно тайное слово, чтобы на охоту ходить.

– Но какая может быть охота, сейчас лето.

– На зиму пригодится. Скажи по правде... Мы тут все спорим. Есть тайное слово или нет? Скажи...

– Знаешь, я тебе скажу. Я все тайные слова знаю. И все тебе открою. Я это дело знал еще в Забайкалье.

Шло утро, а спать Ивану не хотелось.

– Ведь я шаманство знаю... Не думай плохого, вот крест есть на мне, а гольдскими духами управляю.

– Гольды этого слова сами не знают.

– Родион покоя не давал, теперь ты. Но, брат, Родиона я отучил про тайное слово меня пытаться!

– Как же?

– Да вот тут, на Горюне, – усмехнулся Иван.

Спирька почувствовал, что он улыбается в темноте.

– Только шаманы самые старые такие слова знают, а теперь их почти нет. Теперешние шаманы трусы... А старые никому эти слова не открывают. А я шаманство перенимал от самых далеких шаманов. Были знаменитые шаманы, я от них ума набрался.

– Что же за слово?

– Вот прошепчешь и иди на охоту. И будет удача!

– Ну, открой!

Иван любил подурочить доверчивых «расейских», притвориться колдуном. Но на этот раз обманывать Спирьку ему не хотелось. «Его воля, пусть теперь думает обо мне, что не хочу выдать тайну, это не худо, но я скажу ему прямо. Конечно, он не поверит, но уж это дело не мое».

– Скажу тебе честно, никакого такого слова, чтобы лентяю звери попадались сами, нет! Умей поймать, вот мое слово, как и все в жизни!

– А что же ты плел?

Иван, казалось, лгать не хотел. Он знал, что Спирька не верит ему, полагает, что это очередная шутка. Тем сильнее Спирьке хотелось знать тайну.

Иван усмехнулся. Он стал объяснять, что не шаманство помогает, а уверенность.

Спирька косился недобро, повесив голову.

– Я тебе правду говорю. Вот святая икона... Просто человек скажет слово и надеется, что будет удача, старается, верит и обязательно возьмет. А я ни в какие слова не верю. Вот бей меня, если вру!

– Скажи, Иван, я на все согласен...

– На все?

– Конечно!

– Но мне ничего не надо, я дружу с тобой из уважения. Ну, так хватит о шаманах! Так Илья глянется тебе?

– Мало что мне глянется! – с деланной обидой ответил Спирька. – Слышно, у него родители славные люди.

– Смирные, пашня небольшая...

«Вот это как раз хорошо! – подумал Спирька, но смолчал. – Больших пашен и капиталов нам не надо».

– Да уж, конечно, Илья ей лучше подходит, чем Терешка или Жеребцов!

– Ты уж не уговаривай, тут без тебя все сладится! Тебе за сватовство не отломится. Она от этого Ильи без ума: как увидела тот раз в Уральском, да еще прежде тут... Я пошутил, сказал, что ты Илью завтра ушлешь вперед, так она даже съесть меня хотела, как будто я виноват; и мать уж мне выговаривала, что это за шутки, – ей же

хочется побыть с парнем. Ты меня тоже знаешь. Я вот весь тут... Меня золотом или еще чем взять нельзя. Дочь – живая душа. А я и так охотник, знаешь сам – Лосиная Смерть, люди прозвали... Если кто попробует сунуться силой, я положу у порога. Ни Терешке, ни Жеребцову, не спущу никому. Добром – пожалуй... Охаживай!.. Ее слово для меня закон. Кого она любит – кто бы ни был!

– Был бы я молодой, сам на ней женился, ей-богу... – вдруг сказал Иван. – Взял бы меня в зятя? Я бы с попами все уладил.

Спирька смолчал.

– Где-то близко пароход ночует, слышишь, что-то гудит? – сказал он. – Ну, пора спать. Вместе ляжем, тут прохладно.

Утром Родион пришел за Бердышовым.

Дуня побежала помогать тетке, приготовила гостям завтрак, поставила самовар. Она принесла парням чистое полотенце, улыбнулась, заглянув Илье в глаза, когда он мылся, и сама смутилась.

– Ну что, ребята, нагулялись вчера? – спрашивал Родион у парней.

– Я слышал, из-за Дуни вчера парни чуть стенка на стенку не вышли, – весело заговорил Иван. – А зачем тебе, Дуня, молодые? Полюби меня. Я хочу жениться на тебе.

Все засмеялись.

– Ты не шибко богатый, – пропуская табачный дым через усы, заговорил Родион. – С тобой она всю жизнь в бедности промается.

– Я ведь Илью прихватил, чтобы он отбил тебя у женихов, а теперь сам не рад. Я думал: твоих женихов по шапке – и сам попробую...

– Ах, дядя, язык у тебя без костей! – в досаде воскликнула покрасневшая девушка.

Илья ухмылялся. Он и в ус не дул. Иван – он знал – шутит. Такие шутки ему были как раз по душе: похоже, Иван в самом деле хотел его тут женить.

Ваське тоже нравилась Дуня. Не хотелось сводить с нее глаз, такая была она красивая, светлая. Но еще понравилась ему «городская» Поля.

Васька посмотрел в окно, на поля спелых хлебов. Он вспомнил, что тамбовцы разговаривали вчера про уборку урожая. Выражение озабоченности мелькнуло в глазах мальчика. «У отца, верно, тоже хлеб созрел». Ваську потянуло к своим, в семью...

Вдруг на реке раздался гудок.

– Сейчас пароход остановлю, – сказал Иван.

Он выскочил в дверь, с разбегу прыгнул в лодку и поднял парус.

– Как он сообразил парус схватить, учуял, откуда ветер? – удивлялись тамбовцы.

– Живо учует. Это же зверь, а не человек, – заметил Родион.

Где-то за островами шел пароход. У нижнего конца протоки Бердышов остановил судно. Пароход подошел к Тамбовке.

– Иван пароход остановил! Мы другой раз всей деревней молим, хоть бы что: не берут, только обругают в трубу-то!..

Спирька задумчиво стоял с ружьем. «Он думает, я ничего не понимаю, куда он гнет. Нет, отец видит, не баран!»

– Савоська, поедешь на лодке, – говорил Иван, сойдя с судна. – Дождешь остальных с Горюна. Будешь старшим. А мы – на пароходе. Ну, Спиридон, прощай! Скоро церковь в Уральском откроется, Дуня, приезжай! – Иван подмигнул ей, показывая на Илью. – И меня не забывай!..

Меха погрузили на судно. Иван простился. Терешка с завистью наблюдал, как Илья и Васька взошли по сходням. Грустная Дуняша стояла на берегу.

– Ну, Дуня, приезжай к нам. Жениха тебе найду хорошего! – крикнул Иван с борта. – Богатого!

Пароход отвалил. С замиранием сердца Васька сидел в каюте. Он впервые в жизни был на пароходе. Тут все ново, все чудесно. В иллюминатор видны зеленые берега, скалы, острова. Когда пароход перевалил реку, далеко за синим простором вод чуть виднелись крыши Тамбовки. Неустанно шумели и стучали колеса, работала машина, дрожал корпус парохода.

Пришел Иван и позвал парней на верхнюю палубу.

Голубая даль реки в легких волнах открылась Ваське как на ладони. Громадная площадь ее со всеми водоворотами и течениями, видимыми сверху, бежала на пароход.

– Это не то что по Горюну на шестах. Верно, Илья? А ты, Илья, ты бы хоть помахал на прощание.

Илья молчал. Он так обрадовался, попав на пароход, что как-то не догадался посмотреть на берег, забыл про Дуню. Когда Илья опомнился, берег был уж далеко. Подымаясь на судно, он даже не

подумал, провожает ли его Дуня. И вот вспомнил, когда Тамбовка была уже далеко и разобрать, кто там на берегу, не было возможности. В досаде он посетовал на свою оплошность. Сейчас Дуня казалась ему особенно желанной; он признавал, что красивей ее девушек нет. Хотелось бы как-то передать ей что-то доброе, сказать, что хочет встретиться с ней. Но как это сделать? Теперь уж поздно... Пароход быстро шел вверх по течению, и вокруг все было такое необыкновенное, что парень скоро рассеялся.

А Васька тоже был встревожен. Он вспомнил вчерашнюю вечерку, как его поцеловала красавица Дуняша и как маленькая беленькая Поля стала его спасать и отбивать от кинувшихся девок, а сама ревела. Какая занятная и славненькая Поля! Пожалела!..

Отъезжая, Васька взором искал Полю в толпе и не нашел. Потом он заметил, как она вылезла между парней и девок, смотрела на пароход с любопытством, а завидя Ваську, улыбнулась и потеряла ногу об ногу.

Ее называли гостьей. Васька прежде никогда ее не видел. Он стал думать и вспомнил, что бабы Шишкиных говорили про какую-то тетку Глашу, что она приехала гостить в Тамбовку откуда-то и что тетку Глашу они не видели с тех пор, как ушли из Расеи, а муж у тети не переселенец, а матрос, и что девчонка у нее родилась тут.

«Это, верно, и есть Полина мать». Вася подумал, что, если Поля приезжая, он больше ее никогда, никогда не увидит, и стало грустно немного. «Вот так увидишься и потом расстанешься, неужели навсегда? Жалко!»

Иван стоял и тоже думал.

Все получилось так, как он хотел. Спирька остался озадаченным, и уж во всяком случае ему отбита охота родниться с Овчинниковыми и Жеребцовыми. «Что Дуня любит Илью, тоже беда не велика. Уж лучше Илью. А девичья любовь – велика ли ей цена? Теперь не оплошай, Иван! А Илью я увез».

Он надеялся, что со временем переломит и Дуню и Спирьку с его гордостью. Но все же не ждал он того, что узнал и увидел нынче. «Я у тамбовцев вырвал Горюн...» Давно мечтал Иван захватить эту реку. Теперь Горюн – огромный, с притоками, с деревнями – перешел к нему. «Ну, посмотрим, кто кого!.. Пока что не надо подавать виду раньше времени». Иван, как всегда, готовил все тихо и осторожно. Он

знал, что многое сказанное им в этот приезд и Дуне и Спирьке запомнится. Тем более что жил он там недолго. «Не увезти ли ее силой? Да она не таковская, не поддастся, и гордая. Как она на меня взглянула, когда я над ее кавалерами подсмеялся».

Пушнина, золото – дороги. Но еще большим богатством давно уж представлялась Дунина красота и прелесть, которую не купишь за деньги и не возьмешь нахрапом.

Дуня выросла и похорошела, здоровьем так и пышет. Тело ее большое, свежее, чистое, лицо прекрасное, радостное, нежные синие глаза.

Иван желал бы взять себе навсегда это пышущее здоровье, эту плоть передать своим детям. Он, выросший среди азиатских народов, всю жизнь стремился к русской красоте и мечтал о ней. Была когда-то Анюша хороша, но и то не так.

Анга чуть заметно старела. Уж раздалась спина, чуть-чуть, но уж кривятся ноги, ступает она не так, как бывало прежде, покачивается на ходу. Была и она хороша в юности, особенно лицом, но быстро все погасло. Она еще молода, а уж вянет. Раньше ли времени созрела и раньше угасает, тяжелая ли жизнь, плохая ли пища с детства – трудно сказать, в чем причина. Неглупа Анга, приметлива, переимчива, грамоте учиться у переселенки Натальи, хоть та и сама знает плохо. Да и была бы свежа, прекрасна, все равно не к ней стремится Иван. Лицом она и сейчас хороша, глаза блестящие, черные, живые.

Ивана, как зверя по весне, гонит вдаль, к тому, что волновало его всю жизнь. И вот он, как зверь на гону, чуток, зорек, насторожен. Но человек не зверь, и не хочет он ступить зря шага, дать себя изловить.

«Нет, быть не может, чтобы Дуня любила Илюшку, мерещится ей! Знает, что надо любить молодого: мол, слаще и славней. Она сама не понимает...»

Страдать из-за любви Иван не собирался. Это было не в его характере. Спешить он тоже не хотел. Но все же он был удручен и тем, что Дуня его не любит, и тем, что Спирька стоит за нее крепко и пока делает вид, что намеков не понимает. «Но никуда Дуня не денется от меня! Я ее с глаз не спущу!» Чувство у Ивана было такое, словно в Тамбовке смазали его по роже.

Капитан пригласил Бердышова к обеду. Иван пошел туда, разговорился с капитаном. Васька сидел на палубе и смотрел, как

китаец-поваренок в белой куртке и белой юбке бегал в салон, подавая кушанья. Сквозь зеркальные окна мальчику видно было, как туда входили мужчины в белых кителях, садились на кожаные кресла и сами заговаривали с Бердышовым. Васька не слышал и не понимал, о чем говорят, но заметил, что Бердышов шутит с ними так же, как всегда со всеми.

Илье и Ваське тоже подали обед в каюту. Парни с удовольствием поели. На исходе дня Васька опять сидел на палубе. В кают-компании Иван и господа пили из бокалов и оживленно беседовали. Окно салона было открыто, и Васька слышал обрывки их разговора.

«Ладно, что мы в чистых рубахах, – думал парнишка, невольно замечая, какая всюду чистота и какие белые, чистые костюмы на господах. – Вот это люди, не то что мы! А если сравнить моего отца с ними...» Ваське вдруг стало обидно, что отец и все свои – бородатые, грязные, что на них, пожалуй, эти и смотреть не захотят. «А то еще выругают...»

Дверь салона открылась, и все вышли. Капитан парохода, сухой пожилой моряк во флотской офицерской форме, сказал, подходя к поручням:

– Ну что же, господа, вот и «Егоровы штаны»!

«Как „штаны“? – чуть не вырвалось у Васьки. Душа его похолодела. – Про „штаны“ на пароходе знают! И как быстро! Сегодня из Тамбовки – и уж „штаны“!»

Он увидел, что из-за леса поднимается релка, а на ней избы, а за избами – рощи.

«Вон гречиха, – думал Васька. – А это ярица... Значит, хлеб у отца хорошо уродился. А вон и наш дом видно!»

Пароход дал свисток. По крыше кто-то пробежал. Зазвенел звонок.

– На «штаны»!.. К Медвежьему! – закричали наверху.

Пароход быстро шел к релке.

«Вот и наши! Татьяна, мамка... дедушка, Петрован с ребятами, отец!» – узнавал Васька. Он по-новому, как бы глазами чужих людей взглянул на отца. Он понял, что над «штанами» не смеются, что отца уважают, что он со своей пашней – веха на берегу Амура.

Через несколько минут Васька был на берегу. Из объятий матери он переходил к бабке, от бабки к Татьяне, к дяде, к отцу, к деду и ко

всем уральским мужикам и бабам по очереди.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ



Поле спелой ржи подошло к избе Кузнецовых. Две полосы, посеянные Егором, широко разошлись по релке. Одна – золотистая от ярицы, другая – красная от скошенной гречихи. Обе видны с реки издалека. «Егоровы штаны» – прозвали эту пашню в деревне.

Дед чуть не заплакал, услышав такое прозвище.

– Когда-то в Расее была у меня земелька – узенький клин. «Кондратова борода» прозвание было, а нынче, видишь, сын широко размахнулся – стали «штаны».

Прозвание узнали крестьяне из соседних деревень и парходные лоцманы. «Егоровы штаны» стали путеводным знаком. Когда парходы выходили из-за мыса, «штаны» на релке видны были ясно.

«Нынче первый настоящий урожай, – думает Егор. – На поту да на слезах мы его подняли. В каждом зерне – капля пота. Мы из болота его возвели. Разве это только ради богатства? Какое тут богатство, в чем оно у меня? Нет, я не за ним сюда шел».

Мошка-«мокрец», самая жгучая, поднялась из тучных трав и обсыпала селение. Собака Серко, обивая лапами гноящиеся, изъеденные глаза, натерла круглые лысины, как очки, вокруг глаз. Корова давала меньше молока, чахла, сохла, боялась подходить к свежей траве.

Переселенцы обмотали лица тряпьем, но работают, жнут и косят.

– Бога молим, ветерка бы. Только на ветру и отдохнешь!

Егор сечет точеной литовкой золотой свой хлеб.

Саврасый бродил в кустарнике за пеньками и вдруг, зазвенев боталом, побежал с обрыва, застучал копытами по гальке. С релки слышно было, как забрел он в реку, зашлепал ногами в тихой воде и счастливо заржал.

Сквозь радость, что хлеб хорошо родится, Егор видит будущие заботы. «Много горяхватишь, как придется землю менять, уходить от ветров за гору, в долину, снова чистить место, драть чашу...»

Местами ярица склонилась от непогоды.

– Но все же вызрела. Хорошо, что вызрела, не полегла, – говорит Наталья.

Она ходит тяжелая последний месяц, но работает, гнется, вяжет снопы. Трудно, голова временами кружится, но она терпит. Только когда совсем станет плохо, Наталья садится, отдыхает.

– Я сама управлюсь, – говорит Таня.

Она не то хочет заплакать, не то улыбается. Брови ее вздрагивают, а взгляд детский, робкий, наивный, словно чего-то ожидающий. У нее у самой растет живот. Таня постоит, подождет, словно прислушиваясь к чему-то, и быстро примется за работу.

– Как в Расее у нас стало, – задумчиво говорит Наталья.

Поле, березняк, рябина в ягодах – все как на родине. Веселый, родной вид радует Наталью, живит, напоминает юность, прежнюю жизнь.

– И воробушки прилетели! – восклицает Настька.

День сухой, жаркий.

– Скоро дожди пойдут, надо торопиться, – говорит Егор. – Давай-ка живей, Васька, не отставай! Это тебе не по Горюну ездить.

Летом клял Васька мошку на Горюне, работая шестом. А тут мошки не меньше, и устанешь так, что рассказывать про Горюн не хочется.

«Нет, на пашне трудней, чем шестом по реке толкать. Лучше охотничать, рыбачить, золото искать, стать таежником. Вон Петровану – тому хоть бы что, он день-деньской работает, как конь пашет. Разогнется, пощурится и опять за дело».

– Эй, Петька-Петрован, что молчишь, как дурован? – дразнится Васька.

Егор доволен, что сын съездил на Горюн, повидал тайгу. «Теперь дома пусть потрудится. Хлеб уберем, будем ветрянную мельницу достраивать».

Еще в прошлом году в Уральское привезли жернова. Пока Васька был на Горюне, отец задумал сделать ветряк. За холмом заготовили бревна, напилили доски, но дело еще только начато. Ваське любопытно, как это отец хочет мельницу устроить. «Мой отец все может!» – гордится мальчик.

Егор похудел, острее стало лицо его, солнце дочерна сожгло кожу, русая борода и брови кажутся еще светлей. Он стал живей, быстрее ходит и работает.

– Да, а ветры тут жгучие, – твердит он.

На релке зажелтели скошенные нивы. И когда сноп за снопом стал прибавляться к богатству семьи, Егор стал веселеть, заботы словно отступили от него.

– Экий урожай! Пудов сто двадцать – сто тридцать с десятины. Да такой еще и дома неведом был, на старых-то местах!

Дед ходил по полю в сильном беспокойстве и никак не мог сосчитать снопы. Пятериками громоздились они по всему полю. Старик глазам не верил, что получается такой большой счет. Он отходил к избе, начинал пересчет сызнава и надеялся, что найдет ошибку.

– Нет, слышь, верно, – говорил Егор.

– Не-ет, ты сбился, быть не может, – толковал дед.

– Как же быть не может! Земля тут новая, только нынче забили в ней траву. Видишь, и колос какой крупный, зерно тяжелое.

Дед опять обошел поля. С палкой в руках, седой, длиннобородый, он, возвратившись, долго стоял подле Егора, глядя то на него, то на поле.

– А ведь верно, – молвил он, наконец, с радостным удивлением. – Это что же такое?

– Что?

– Да снопы-то... Как же это они так?

– Уж так земля родила, – ответил Егор.

– Неужто мы не зря сюда пришли? – покачал головой дед.

– Она только разработалась нынче. Земелька-то молодая. Самый приплод от нее!..

Старик пошел домой, а Егор подивился: неужели отец до сих пор думал, что зря переселились на Амур?

Мимо шли Бердышов и Силин. У Тимохи в поводу конь; холку, круп и шею облепили слепни и мухи. Тимоха остановился. Конь машет головой, рвет повод из рук, туча мошки стоит вокруг.

– У меня в Расее вороны коня склевали, – жалуется Силин. – А тут бьет ее комар и мошка. И, видно, тоже могут забить животное до смерти.

– Паря, лихой конь у тебя был в Расее, – отозвался Бердышов, подмигивая Егору. – Вот так и узнаешь, каково на старых-то местах.

Иван ждал прибытия парохода, чтобы отправить часть товаров из своего амбара. Сам же опять хотел ехать в Тамбовку.

Иван ходил к Тимохе, просил его подсобить денек, – одному, сказал, не управиться. Из амбара надо тюки и ящики свозить на берег, перебрать все в амбаре.

– Что, любишься, Егор? – спросил Тимофей.

– Паря, Егор-то какой кудесник! – воскликнул Иван. – У него даже хлеб растет.

– Вот то-то что! – с видом превосходства сказал Кузнецов.

– Русский мужик хлеб сеять любит, – заметил Бердышов. – Господа и те ездят мимо, как видят поля, радуются.

– Это они радуются, глядя на мужиков, – отозвался Тимошка. – Мол, будет их, господ-то, кому прокормить, они с голоду не сдохнут.

Дед вернулся, хотел что-то сказать сыну, но Иван перебил своими разговорами, старик все забыл и прослезился.

– Ан нет, вспомнил! – вдруг обрадовался он. – В Расее было... Я парнишкой еще бегал. Мой-то дедушка тоже откуда-то пришел в Перминскую губернию. Может быть, он и перминский сам был, но, словом, перекочевал. Он все нам хвалил: «Хорошо, – говорит, – в новую-то землю сеять». А мы не слушали его. Все думали: чего хорошего чащу драть, намаешься только!.. А тоже был новосел, дедушка-то мой. Любил новую-то землю. На той земле наше село построилось.

– А потом эту землю захватили. И тебе, дедка, пришлось Сибирь-то смерять, – сказал Иван.

Дед печально покачал головой.

«Верно, нам на роду написано чащу драть», – подумал Егор.

– Земля тебя потому и позвала, – сказал ему Тимошка, – что на старом-то месте приперли!..

Но Егор не стал говорить об этом.

– А снопы-то на бурханов походят, – задумчиво молвил Бердышов.

Дело стояло, а людям не хотелось расходиться.

– Тебе везде брюханы, – сказал Силин. – Видать, что шаманской веры!.. У меня хотя и меньше силы, чем у Егора, но все же нынче я и своим хлебом обойдусь.

– Ну вот, Иван Карпыч, ты хотел поглядеть, какая Расея, вот тебе и Расея, – сказал Кузнецов. – Поля, березняк – все так же. Скоро мельница будет.

– Простить не могу! Как же это вы без меня мельницу начали?

– Обчество-то – сила! А с тебя деньги за помол... На релке всегда ветер, хлеб-то сподручно молоть.

– Только поставь мельницу, со всех сел приедут.

Постройка мельницы была делом нужным и для Ивана. Молоть зерно тут же, получить муку для продажи – чего еще желать! Он даже досадовал, что не начал этого сам. Жернова лежали с прошлого года, никто за них не брался. Стоило Ивану уехать, как Кузнецов уж затеял общественное дело. Иван винил себя, что думает только про привычное: про охоту, скупку мехов, торговлю водкой, про золото.

– Пусть пароходы на мельницу правят, – сказал Егор. – Ее далеко видать будет.

– Верно! А то все на твои «штаны».

– У нас стало как в старых деревнях, – говорил Силин. – Мне и в тайгу идти неохота, так и жмешься к релке, как к родимой сторонушке. Глядишь – и все не нагладишься.

– Как будто тут раньше не Расея была! – сказал Иван недовольно. – Я вот еще соберусь с духом да махну... Сам поеду посмотрю, в саму Русь поеду.

– А тайга-то без тебя заплачет.

– Паря, я и тайгу не брошу!.. А ты, Тимошка, какой просмешник стал. Гляди, язык не потеряй...

– Промнись Сибирским-то трактом!

– Мне еще американец советует вокруг света пароходом ехать.

– Ты привези сюда этого американца, – сказал Егор. – А то спирт и ружья ихние продаешь, а самих бы посмотреть.

– Я и сам думал, что надо бы к себе пригласить. – Иван хитро засмеялся. – Но боюсь че-то! Их привадишь, потом не отвяжешься.

– И откуда ты, Иван, все знаешь? – схватил его за шею Силин и стал трясти.

– Смотри не сглазь! – потрянул головой Иван.

– С американцами у тебя дружба, с начальством ты водку с прозвездью выпиваешь. Я думал раньше, что ты одних гольдов можешь понимать. А ты и американцев!.. Мне давно охота послушать, как ты с американцами на американском языке разговариваешь.

– Американского языка нету. Есть американские консервы, револьверы, ружья... Торговля американская есть, а языка нет. Вот мы с гольдами живем, а американцы на нашем бы месте давно их перестреляли. У них оружие любят делать. У них большое убийство дикарей идет в теплых странах. Я когда ружье купил, мне тоже захотелось попробовать. Думаю, жаль из такого ружья не стрелять. Не хочешь, да попадешь в кого-нибудь.

Мужики вытянули шеи, как по команде, и невольно переглянулись. Все слыхали про убийство Дыгена, и никто этому делу не сочувствовал. Заметно было, что в последнее время Иван не скрывает своего преступления.

– С американцев пример брать будешь, они тебя до добра не доведут, – сказал Егор. – У нас все по-другому.

Он не раз слышал о разбоях американцев на побережье, куда подходили иностранные суда, хищнически бьющие китов и морского

зверя в русских водах.

– У них товары все по части убийства – ружья, револьверы, – заметил дед, которому тоже уходить не хотелось.

– А ты, Иван, этот раз какой-то невеселый приехал. Что так? Не приворожил ли кто? – спросил Силин. – Н-но-о, зараза! – дернул он повод и стал сгонять слепней.

Иван сделал вид, что не слышит. Он пустился в веселые рассказы, стал шутить, чтобы все видели, что он такой же, как всегда.

– Мало ли, что я с гольдами жил. Мой отец мужик, а с губернатором, с Миколой Миколаевичем, был хороший друг. Тоже пахарь отец-то, только в ичигах ходит, а не в лаптях. Лапти у нас не носят. У кого увидят – смеются, – кивнул Иван на ноги мужиков. – Ладно, теперь и вы как казаки, вот только Тимоха липку никак не позабудет.

– Пускай смеются. Мы подождем, кто над кем потом засмеется! Ну, бреши дальше.

– Ну вот, слушай... Отец губернатору услугу сделал по амурскому делу, помогал снарядить сплав, баржи строил. За это его перечислили в казаки. Я сам ходил со сплавом, видал господ офицеров, барынь, жену губернатора. Геннадий Иваныча знаю. Купцов всех старых, которые ходили на баркасах. С них амурские тузы и произросли. Про новых купцов я уж не говорю: что вспоминать про это барахло!.. Все знаю и понимаю деликатность.

– Деликатность понимаешь, а говоришь «Миколай»!

– Кому надо, не скажу «Миколай», а скажу «Николай», – ответил Бердышов серьезно. – Брат у меня атаман в станице. Сестра двоюродная была красавица, вышла замуж за офицера. Он только чуть от нее с ума не сошел – так убивался. Увез ее в Расею. Он еще, паря, не князь ли.

– Ну, понес!.. – махнул рукой Силин. – Первых здешних жителей послушаешь – одно вранье!

– Если я родню выставлю, так все попятятся! – Иван пошел к своей избе.

– Губернатор, а в зимовьюшке живет. Избы новой не поставит, – кинул вслед ему Тимоха и пошел за ним, ведя коня.

* * *

На скошенном поле, в стерне, звенит кузнечик. А вокруг выше человеческого роста – желтые дудки трав, голубые колокольчики, сплошной белый цвет на буйных кустарниках.

«Лес тут есть, бери сколько хочешь, – думал Егор. – Хлеб родится хорошо, надо только разработать землю. Гречиха – та и по залогу даст сто пудов, на Додыге черная земля... В тайге стада кабанов, стада лосей. В вершинах – соболь, на лугах, на поймах – лиса, енот, в речках – выдра. Изба построена из доброго леса, хотя и без двора и без амбаров. И вот нынче хлеб! Хлеб в копнах, хлеб в мешках...»

Мечта Егора сбылась. Он шел в землянку, где в мешках и ларях был хлеб, и, любуясь своим богатством, перегребал зерно, набирая полные ладони, жадно дышал знакомым, родным запахом хлебной пыли.

«Как его хранить? В мешках? Продать часть, пока крысы не завелись?»

Из зерна нового урожая бабка Дарья и мальчишки на ручной мельнице намололи муки. Невестки напекли караваи – в семье радость.

Каравай разрезали на куски, и вся семья, как лакомство, ела свежий хлеб.

Еще не все было сделано, кое-где пятериками громоздились неубранные снопы, и Кузнецовы еще трудились не покладая рук, но душой уж отдохали от забот, волнений, от тяжелой, беспокойной работы за все эти годы.

Беременные бабы по вечерам, обнявшись, пели песни так протяжно и жалостно, что душа просилась передохнуть, обождать с работой, с делами.

Расти, черемушка, крепкая,
Расти, не шатайся!..

Под бабье пенье хотелось подумать, как дальше пойдет жизнь.

«Что вдруг случилось, что захотелось мне осмотреться вокруг себя? – думал Егор. – То мы все работали и работали, не зная покоя, а

то хочется собраться с мыслями и понять мне свою жизнь. Достаток в семье, все довольны, все хотят порадоваться...»

Главные работы были вскоре закончены. Оставались огороды, рыбалка и достройка мельницы. С мельницей надо было ждать, когда управятся на поле другие мужики. Огороды копали не торопясь. Никто не ленился, но работали ровно, спокойно, не таким приступом, как прошлые три лета.

«Ну, радуемся мы, что хлеб собрали. А дальше что?.. А дальше, – успокаивал себя Егор, – станем пахать, корчевать, обоснуем здесь жизнь, дальше заведем все».

Мысли эти тревожили Егора. Чувствовал, что еще не все он сделал. Не только достатка, богатства желал он, не только за едой, теплом, имуществом шел сюда.

– Стало у нас как на родине, Егорушка, – ласково говорит Наталья. – Изба-то уж темнеет. Мало заметно, а уж не такая, как строилась.

Наталья подойдет к мужику, посмотрит без улыбки, но мягко, ласково. Егору кажется, тревога зреет в ней, и она ждет его поддержки, душа ее просится к его душе.

Со стороны видно, что Егор доволен. В богатырской осанке его, в широкой костистой груди, во взоре ясном, как небо, явилась веселая уверенность. Вот таким же орлом был он, когда она выходила за него замуж.

«А когда в старой деревне жил, – думает Наталья, – чуть было не склевали его мужики. Все толковали: мол, Егор ни к чему не способен. Было поник Егор, стал темен, мрачен. Черные-то люди хоть кого заклюют... Ах ты, Егор, Егор!.. И сила в тебе, и слаб ты, как дитя!»

Лето на исходе.

«Все у меня сладилось, а чего-то хочется еще, рвется сердце, просит. Чего-то не хватает. Ах, природа-то людская, все-то ей мало!.. Изба за избой тянутся вдоль полей, снопы еще видны на соседних пашнях. А поля-то, поля!.. – И радостно и почему-то грустно от этого вида на душе у Егора. – Родину напоминает!» – подумает он, и сердце обольется кровью, и не в силах сдержать вдруг нахлынувшей тоски. Егор подыметя и выйдет на крыльцо.

– Эй, Кузнецов Егор! – кричали с проходившей баржи.

«Что такое? Кто это? Откуда меня знают?»

– Кто-то тебя кличет, – подходя, молвил брат. – А далеко. Эх, и далеко же!.. Не разглядишь.

– Эй, Кузнецо-ов!..

– Чего надо? – зычно отозвался Егор.

– Кузнецов, что ли?!

– Я – Кузнецов, чего надо?

– Тебе дядя Степан кланяться велел!.. – кричали с баржи. – Тебе дядя кланялся! Из Расеи шлет привет. Все здоровы! Только Семка... тот год о Петрова дни ногу сломал... Теперь хромает.

– Господи боже мой! – всплеснула Наталья руками. – Неужто кого-нибудь из наших на каторгу гонят? Ну-ка, живо езжай-ка, Егор!

Кузнецов схватил весла.

– Хлеба привези! – кричали с баржи.

– Ну-ка, давай каравая три в мешок. Свежего-то хлеба.

Бабы засуетились. Егор захватил с собой рыбы, мяса, хлеба. Васька столкнул лодку. Наталья плакала от нетерпения:

– Я поеду!

– Нет, ты останься, – не пустил ее в лодку Егор.

Все население Додьги высыпало на берег. Кузнецов быстро заработал веслом.

Подойдя ближе, Егор и Васька разглядели, что огромная баржа битком набита народом. Слышался звон кандалов. Волны ударились в обшивку баржи, могучее течение бурлило у бортов.

Солдат-рулевой переложил правило и велел подымать из-за борта водяной парус. Баржа замедлила ход. Над ее бортом видны были бритые головы столпившихся каторжников. С завистью, тоской и любопытством смотрели они на приближающуюся лодку.

Егор подъехал стоя. И в том, как стоял он, и как ловко гнал лодку одним веслом, и как смотрел – открыто, зорко, – во всем была привычка к свободной жизни.

– Вольный-то и на Амуре живет, – переговаривались арестанты.

На Сибирском тракте, на пересыльных пунктах – всюду, где были каторжники, все делалось медленно, и эта медлительность убивала человека, тушила в нем всякие желания.

И когда арестанты шли, они шагали тоже медленно, переставят ногу, потом, словно нехотя, другую... Времени было много, его как-то

надо протянуть, прожить подневольную каторжную жизнь. Торопиться некуда.

А тут явился человек – гонит лодку быстро, сам торопится, словно у него жизнь короче, чем у других.

– Давай сюда! – позвал один из арестантов, плешивый, с испитым лицом. – Родные наказывали тебе кланяться... Наказывали передать Кузнецову Егору на Амуре, что живы и здоровы. Только Семка будто поломал ногу.

Егор подал каторжному хлеб и мясо. Арестанты с тоскливыми, болезненными лицами тянулись к нему через перила.

– Сами пришли? – спросил пожилой каторжник.

– Сами...

Арестанты вдруг зашумели. Егор почувствовал, что эта огромная истомленная толпа живо отзывается на каждое его слово. Едва он заговорил, все стихли мгновенно.

– Да как узнали, что мы тут? – спросил Егор.

– Уж узнали, – ответил плешивый.

– Уж узнали! – на барже снова все оживились. И, как по команде, смолкли, ожидая слов Егора.

Заговорил плешивый:

– Выше Хабаровки-то казаки живут, значит – тебя искать ниже. За Хабаровку заехали – там воронежские. Мы спросили их. Вот они и сказали, что пермяков на Мылки загнали...

Егор расспрашивал о родных. Каторжники слушали весь разговор со вниманием. Всю дорогу занимала их судьба неведомого Егора. Привет, привезенный из такого далека, волновал всех. Быть может, во встрече с Егором каждый из них видел другую, желанную встречу. Кто-то им передаст привет с далекой, покинутой родины?

– Ну, смотри, Егор, – продолжал плешивый арестант, – обратно пойдем – накормишь... – Плешивый намекал на побег.

Мгновение стояла тишина, потом вся толпа захохотала. Смех каторжников был грубый, болезненный и громкий.

– Ну, а ты как на новом-то месте?

– Конвою чего-нибудь дай. Он баржу задержал, рупор давал скричать.

Егор дал солдатам рыбы.

– Ну, ребята, бежать будем, так работа у мужиков найдется!

Арестанты опять захохотали. Смеялись и солдаты конвоя.

– Сами с голоду не подохнут, так прокормят, – сказал унтер.

– На мужиков всегда надежда.

– У нас уж есть двое, – сказал Егор. – Живут в деревне у соседей.

– Эй, эй, от борта! – крикнули с кормы.

– Как тебя зовут-то? – спросил Егор.

– Аким.

– Куда вас теперь?

– На Соколин остров.

– Вот тебе, Аким, еще рыбы соленой.

– Дай мне!.. Дай мне!.. – потянулись худые руки. Тощие, желтые, в серых халатах, со злыми, истомленными, больными глазами, арестанты заискивающе улыбались Егору.

– От борта! – орал часовой. – Хватит, спускай парус!

– Дай мне! Дай соленья-то! – молил Егора какой-то старик и толкался по отходившему борту, цепко хватаясь за него руками, оттесняя с силой товарищей. Он облизывал губы и глотал слюну.

Егор подал ему последнюю рыбину.

Вода вдруг зашумела, волны заплескались. Егор отвел лодку, баржа пошла. Водяной парус в огромной деревянной раме ушел под воду. Течение быстрее погнало судно.

Арестанты долго еще махали Егору.

– Видишь ты, какой он!

– Вольный, сам пришел...

С тоской они смотрели на отплывающие далекие избы вольных поселенцев.

– Хорошо на воле!..

– Гляди, братцы, места. Замечай деревни!..

Угрюмые, печальные лица теснились вокруг плешивого.

На барже долго говорили про Егора и радовались, что нашли его и что живет он ладно и вольно, счастлив, видно, завел пашню, сына с собой в лодку берет, приучает мальчика. Мысленно входили в его жизнь и радовались, как своему счастью.

На корме завели тоскливую песню.

* * *

Егор и Наталья часто вспоминали родню. За разговорами о них Наталья, казалось, забывала свою тяжелую беременность. А Егор чувствовал, что судьба теперь уже не даст ему покоя никогда. «Только я обрадовался, собрал хлеб – сокровище свое, чего желал столько лет. И показалось мне, что я утвердился тут крепко и как будто успокоился, заботы о будущем отпустили меня. Как вдруг эта весть издалека...»

Мир людского горя открылся Егору. И он понял, что дремать ему нельзя, что судьба гонит его вперед, не дает отдыха. «Одно наладил, и сразу же дана мне новая забота».

– Не зря мое сердце болело, – говорила Наталья.

«Я вот все хотел чего-то», – думал Егор.

– Мы-то ладно живем, а они-то как? – говорил он. – Горя-то, поди, немало у людей. Диво, поклон на Амур прислали! Вот уж я не ждал, что кто-то сыщет нас. Конечно, им охота знать, как дошли, устроились ли. Им тоже, поди, хочется на новые-то клинья.

Чувствовал Егор, что Русь велика, а люди – как в одной избе.

– Молва-то людская... Она не зря идет, – толкует дед. – Расея-то матушка нам весть послала. Дескать, детушки вы мои, родину-то не забывайте, нас-то в лаптях. Мол, где вы там? А мы-то на старом месте... – Старик прослезился. – А я-то думал: мы ушли и как стеной отгородились. Гребень да степи, море да леса.

– Всюду один народ тянется, – отвечал Егор. – Все одна Расея.

* * *

В деревне докапывали огороды. Егор готовился к осенней рыбалке, делал бочата из полых деревьев. Улугу привез ему новый невод. Летом Кузнецов купил на баркасе пуд конопли и отдал приятелю Улугушке, чтобы связал из нее невод.

Над рощистями – осенний вид. Снопы хлеба, снопы льна; вдали – березы, листья чуть золотятся. Красные гроздья рябины видны в чаще, и большие ягоды шиповника как яблочки на оборванных, оголенных ветрами ветвях.

Не плеснет рыба на реке, волна не набежит. Погода ясная, сухая, теплая. Слышно, как где-то далеко за лесом шумит горная речка Додьга.

Мужики на желтой релке достраивали мельницу.

Сашка-китаец тоже приходил помогать.

– Видишь ты, как китаец чисто работает, – замечал Тереха. – В аккурат старается.

В обед с постройкой все шли по домам.

– И ты, губернатор, подсобляй! – говорили мужики Ивану, проходя мимо его зимовья. – Ленишься, гуран!.. Где опять пропадал?

– Далеко не ездил. Парохода жду. Ко мне пароход не идет, – отвечал Бердышов. – Я в город собираюсь. У меня все дела запутались, сижу думаю день и ночь.

– Как гольд на корме, – отозвался Егор, напоминая Ивану его же рассказы.

Иван делал вид, что удивляется.

– А у вас быстро же идет работа. Ну и расейские! Оказывается, все могут сделать!

Жара томит, звенят кузнечики, мошка стоит над селением.

Из-за мыса выходит судно. Слышится песня.

– Опять гонят невольников-то... Люди на старых местах страдают без хлеба и без земли. А народ добром на новое место не умеют подвинуть, вот и гонят все невольников, – тихо говорит старик.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ



– А Сукнов знай гвоздит и гвоздит. Все работает на Пахома! – удивлялись мужики.

Всякий свободный день солдат приходил к Бормотовым и помогал им по хозяйству. Весной он помог Пахому посеять, потом ездил с ним на покос. Мужик привык к солдату, считал его своим, сама солдатская рубаха казалась ему родной. Пахом полагал, что и солдату тоскливо без пашни, без крестьянской работы, и, как ему казалось, он понимал Сукнова.

– Солдат-то нанялся, что ли, к тебе? – спрашивали соседи.

– Парень молодой, о семье скучает, – отвечал Бормотов.

– Верно! Этот не такой безобразник, как Лёнка.

Солдаты посмеивались над товарищем.

– Чего ты, Андрюшка, все шляешься в деревню? Позарился на девку? – спрашивали они.

Андрею нравилась дочь Пахома. Она была некрасива – смуглая от загара, в веснушках, нос толстый, волосы русые, в темных завитках на лбу, ладони широкие, шершавые. На вид неловка, грузна, плечи широкие, могучие, так что, глядя на них, чувствуешь, что у нее не девичья сила. Но, когда солдат был рядом, некрасивое лицо Авдотьи ясно, и казалось, кроткая душа светится в ее серых глазах. Ни у кого еще не видал Андрей такого живого лица, такой ясности взора. Она как бы расцветала при нем, и Сукнов видел в Авдотье то, что для всех было скрыто.

И в пахоту и на покосе часто случалось, что солдат оказывался подле Авдотьи, и они помогали друг другу. Солдату доставляло наслаждение работать подле нее. Тяжелым трудом своим он как бы выказывал ей внимание, труд был свидетельством глубины его чувства, серьезности намерений. Он оберегал ее честь, ничем не подавал повода смеяться ни над собой, ни над ней, и если разговаривал с Авдотьей, то только о деле.

Солдаты пробовали поддразнивать его, но, видя, что Андрея насмешки не задевают, отстали.

– Помяните, братцы, мое слово, он не зря там околачивается, – зудил Лёнка. – Он смирённый, непитущий, а в тихом омуте черти водятся.

Сам Лёнка попался на воровстве – его отставили от котла. На общих работах он стал злей и драчливей.

За несколько дней до того, как начали строить мельницу, в воскресенье, Сукнов пришел помочь Пахому. В белой нижней рубахе гнулся он, работая серпом, поднимал и срезал поваленную ветром ярицу. Рядом жала Авдотья. Широкое лицо ее выражало спокойную радость.

Они с Андреем без слов понимали друг друга.

Авдотья чувствовала в нем силу, умение не рваться, а спокойно, упорно добиваться своего. И она верила, что все будет так, как он захочет. Хотелось ей, чтобы он заговорил, подошел поближе, взял за руку. Но она ждала чего-то большего, ради чего стоит ждать и терпеть.

Он узнавал по труду ее нрав, крепкую, спокойную натуру. И чем ближе подходил к ней, тем ясней ощущал, что эта сильная, коренастая девушка чего-то ждет от него.

Кругом золотистая спелая ярица, то высокая, то поваленная ветром. Никто не видит их, нет вокруг никого. Уж время обедать, а солдат и девушка, не разгибаясь, работают серпами, много раз прошли золотистое поле, столько выжали, что Пахом удивился, как много можно вдвоем наработать.

– Смотри, сегодня Авдотья с солдатиком вдвоем на поле остались, – говорила Пахому соседка Фекла Силина. – Не боишься?

– Чего бояться! Ты лучше посмотри, сколько они выжали, так эти глупости из тебя выйдут! – отвечал Пахом.

Но такие разговоры задевали его за живое. Пахом и сам стал замечать, какая бы ни была работа, солдат и Авдотья все рядом, но никогда не видал он, чтобы они баловались или пересмеивались.

Однажды Пахом увидел, что сарафан дочери и белая рубаха солдата – два ясных пятна – долго задержались на дальнем конце поля, у опушки, и как бы слились.

Мужик живо побрел ложком в тайгу, тихо пробрался по кустам, подошел с другой стороны и сел за пень.

«Никак хочет сбить девку. Ну, я тогда ему ноги переломаю. Нашелся помощник!»

Слышно было, как серпы режут колосья. Солдат и девушка работали молча.

Пахому вдруг захотелось, чтобы солдат сказал или сделал что-нибудь такое, к чему можно было придаться, выбрать его. Что ни сделай сейчас Андрей дурного, мужику все бы пришлось на злую радость.

Дочь с солдатом прошли мимо. Пахом ждал.

Полоска тут была неширокая. Он увидел, что дочь его опустилась на колени, подвязывая косынку.

– Все ж землю тут сильно выдувает, – сказал солдат.

Авдотья молчала.

– Пашню надо заводить в тайге, чтобы лес вокруг стоял.

– Силы много надо, – отвечала девушка. – У нас дядя Егор и тот не собирается.

– Своего добиться завсегда можно. Надо только не бояться и знать, чего желательно, – отвечал солдат.

Авдотья опять принялась за работу, и скрип серпов стал удаляться.

«Ну, ничего худого нет! – с облегчением подумал мужик. – Про хозяйство говорят».

В досаде, что без толку просидел в кустах, мужик вернулся домой.

– Ну что? – спросила жена.

– Смирно работают, молчат. А ты ступай-ка лучше, помогай им. А то рада, что солдат батрачит... Ну-ка, вы! – рассердился Пахом на брата Тереху и на жену его Арину. – Гляди, солнце-то где... Авдотья на вас чертоломит.

Выругавшись, Пахом несколько успокоился. Досада его прошла. Он был рад, что про солдата ничего плохого сказать нельзя.

Андрей в смену с Лёнкой караулил грузы, доставленные парохомом, и жил в деревне. Когда закончили уборку хлеба, Сукнов поправил крышу на избе, сделал топором резьбу над дверью. Как замечал Пахом, плотник он был изрядный. Крепкий, приземистый, он долго приглядывался, прежде чем начать что-нибудь, но, взявшись, делал все быстро и хорошо.

– Всякое дело знает! Солдат! – восклицал Тереха.

Андрей пошел вместе с мужиками строить мельницу. Лёнка тоже ходил на постройку. Иван нанимал его работать. Терентьев даже удивлял мужиков своей старательностью и силой. Старались и бродяжки, жившие у Федора в работниках.

Между тем жена Пахома разузнала, может ли солдат жениться, кто должен выдать позволение, сколько Сукнов служит, довольны ли им поп и начальство.

Когда соседи намекали ей на солдата и Авдотью, Аксинья делала вид, что ничего и знать не знает. Но в то же время выражение удовольствия являлось на лице ее: она гордилась своей Авдотьей – даже солдат и тот старается из-за нее.

– Ей-богу, свататься будет, – говорила она мужу.

– Ничего ты не понимаешь, – возражал Пахом. – Про это у них и разговора нет. Он человек умственный. – И Пахом раскидывал руки над головой.

– Умственный! – передразнивала Аксинья. – А то он будто из-за тебя ходит!

Слыша речи жены про сватовство, Пахом и сам задумывался. Снова досада разбирала его: «Ну, тогда чего же он ждет, чего молчит? Будь он неладен!»

Сукнов скоро подружился со всеми переселенцами. Он вырезал дудку, вечерами играл на ней и учил танцевать кузнецовского медведя. По праздникам приходили другие солдаты.

Пашня была убрана, и мужики достраивали мельницу.

Сукнов ушел на постройку церкви и долго не был в деревне. Вскоре прошел слух, что солдаты собираются уезжать.

Однажды Андрей в начищенных сапогах, бритый, в белоснежной рубахе пришел к Бормотовым. На груди его была медаль.

Тереха всплеснул руками:

– Гляди, какой храбрец!

– Скоро уезжаем. Работы наши закончились.

Сукнов вдруг повалился Пахому в ноги.

– Тятенька, отдайте за меня дочь, будьте отцом родным!

Авдотья заревела, слезы залили лицо ее; она схватилась за платок и опрометью кинулась вон из избы.

Все эти дни она с трепетом ожидала: что же будет? Как же он, милый, уедет, скажет ли ей хоть слово? Она уже ни на что не надеялась, исстрадалась ожидая. Она жалела, что работы закончились, что нельзя уже более потрудиться рядом, и те часы, когда они косили и жали вместе, считала самыми счастливыми в своей жизни.

И вот Сукнов пришел и сразу все сказал.

– Пиши отцу в Рязанскую губернию: пусть вышлет благословение, – сказал Пахом. – Где у тебя: в Рязанской или в Пензенской?

Сукнов согласен был ждать ответа и благословения.

– Век буду молить. Службу кончу – выйду, на Амуре поселюсь.

Привели Авдотью.

– Согласна ты?

– Тятенька-а-а... – опять заплакала она.

Отец вспомнил, как, бывало, он бил ее вот по этой самой покорной и сильной спине палкой, и жалко ему стало дочь.

– Экая ты! Согласна ли?

– Тятенька-а...

Мать тоже заплакала.

– Да согласна, согласна, – поспешно говорила она сквозь слезы, видя, что от Авдотьи отец толку не добьется.

– Чего же ты раньше молчал? – спрашивал Пахом у солдата.

– Солдату какая вера! Вот и молчал.

– Напрасно. Я солдата уважаю. У меня дед был солдат. Еще с французом воевал.

Авдотья, сидя на скамейке рядом с Андреем, счастливая, глядела в его лицо. Теперь она могла смотреть на него, сколько хотела. И чужой он был, и милый, и так много было в нем нового, незнакомого. Но душу его она уже давно знала.

«А отец все чего-то городит», – думала она. Авдотья чувствовала, что самое важное сейчас в ней, а не в отцовских разговорах.

– Я солдат не боюсь, – говорил Пахом. – Это другие мужики: «Ах, солдат, да ах, солдат идет! Берегите кур, а то сейчас растащат! Мол, солдат – грабитель!» А у нас в семье все были солдаты. Дед наш, бывало, выпьет и сейчас скомандует: «Во фронт!» – и старые песни запоем с нами. Ну-ка давай, как вы нынче поете про турецкого-то царя?..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ



– Идолища поганые, постыдные... Окаянство это прочь!

Поп хватал в фанзе гольда деревянных божков, ломал их, топтал и бросал в огонь.

– Ведь это кусок дерева, как ты не понимаешь! – гремел он, обращаясь к гольду. – Ведь это ты сам придумал, сам вырезал – какой же он бог? Подумай, чему ты молишься?

Однажды поп застал шамана в доме Покпы. Он оттащил колдуна за волосы, все шаманские предметы изломал, сжег; а железки выбросил в воду, зная, что гольды нырять не умеют и в реке их не найдут. Досталось и Покпе.

Шаманы боялись попа как огня. Один из них, Хангани, пробовал сопротивляться, но поп явил такую силу, что все пришли в ужас.

Завидя попа, гольды прятали божков и бубны, но на молитву собирались охотно. Пение попа, его парчовая одежда, кадило с благовониями, евангелие в серебре – все нравилось им. Гольды верили ему, крестились и кланялись, признавали, что главный бог один и что их молитва дойдет до него.

Но вот поп уезжал, и снова они доставали своих идолов, бубны, сушеных ершей и разные другие талисманы.

Поп знал об этом, но верил, что сломит их упорство.

– Язычество, мракобесие я искореню, – говорил он.

Айдамбо был его верным и неутомимым помощником. Он путешествовал с попом по самым отдаленным протокам и горным речкам, помогая ему отыскивать спрятавшихся шаманов, открывать их убежища, уличать в шаманстве сторонников старой веры, и, не задумываясь, вырывал из рук своих соплеменников идолов, бубны и ломал их тут же. Он знал, что раз взялся работать на попа, то должен все делать честно.

Айдамбо был бесстрашным человеком. Кроме того, поп не давал ему покоя. Он все твердил про грехи, про ужасы ада, которые ждут идолопоклонников и тех, кто не борется с ними, и тех, кто не слушает священнослужителей. Айдамбо чувствовал, что поп как бы все время держит его когтем за душу, не дает отвлечься, помечтать, подумать о чем бы то ни было, кроме церковного дела.

«Как у хорошей собаки чутье: все знает, если я что-нибудь задумаю, и сразу все по-своему заставит делать», – думал Айдамбо и тотчас же сетовал на себя, что так смел подумать про попа.

Летом Айдамбо все терпел. Временами новые занятия даже нравились ему. Но вот наступила осень.

Айдамбо и мылкинские гольды вместе с попом ловили рыбу. Они приехали на лодках под Уральское, на Егорову косу.

– Богу приятно занятие рыболовством, – толковал бородатый и волосатый поп в штанах, завернутых до колен, налегая на веревку. – Христос был рыболов... Русский бог был рыбаком, рыбу ловил.

Известие, что русский бог был рыбаком и ловил рыбу, всегда глубоко трогало туземцев и располагало их к новой вере.

– А почему, Егорка, попа не гоняешь? – спрашивал Улугушка, явившийся в этот день в Уральское. – Зачем на нашей косе рыбачит?

Сам Улугушка теперь ловил кету каждую осень на Егоровой косе. Балагана он не делал, а приезжал вместе с семьей к Кузнецовым, жил у них и без спросу брал сено на подвязку к неводу. Обе семьи – Егора и Улугу – связывали вместе свои невода в один большой и рыбачили артелью.

– Что я могу с батюшкой сделать! – отвечал Кузнецов. – Знаешь, у них ручки загребушие, глаза завидушие...

Гольды наловили попу рыбы. Упершись в днище лодки тяжелыми босыми ногами, поп сам погнал лодку одним шестом вверх по течению.

Отработав на попа, мылкинцы разъехались, и Айдамбо, возвратившись на постройку церкви, опять остался один. На этот раз ему пришлось копать картошку на огороде.

«Это уж плохо. Такое дело я не люблю. Рыбу ловить могу, в лодке грести тоже могу, а огород копать совсем не хочется. Ах, как не хочется браться за работу, если бы кто знал! Лучше не знаю что сделал бы!»

Айдамбо не желал долго исполнять одно и то же, да еще новое, непривычное, скучное дело. Не было ни охоты, ни навыка, плечи болели по вечерам. Ноги и руки тянуло, как при болезни. «Кто сам не копал картошку, никогда не поймет меня, – думал молодой гольд, со злобой наблюдая весело ездивших мимо сородичей. – У них сейчас самое хорошее время. Можно наесться досыта рыбой. Сейчас можно жениться. Все сыты. Морской бог один раз в год досыта народ накормит, только надо поймать рыбу. Во-он там свадьба, наверно, в лодках едет!»

Иногда Айдамбо казалось, что он зря не послушал отца, не убежал домой.

«Люди мимо ездят – смеются надо мной. Чего они смеются? Людям жить можно, как они хотят, а мне нельзя? Я должен ума набраться. Все надо сделать, как обещал. Тогда Дельдика не скажет про меня, что я дикий».

* * *

«Побили меня! – думал Покпа. – Все-таки нашелся, кто сильно поколотил. Еще ни разу не били так, как поп».

Покпа невольно проникся уважением к священнику. С такой силой ничего не сделаешь. Его сила крепче, чем у шамана.

«Сразу явился, когда узнал, что молился, и выворотил плечом дверь. Уж не знаю, правильна его вера или нет, но поп шибко дерется, как настоящий разбойник».

Покпа чувствовал, что попался. Бежать, уйти на глухие речки нечего было и думать: сын остался бы в залоге у попа.

«Ну, раз попался длинноволосому хунхузу, то делать нечего. Я к нему поеду и покорюсь, покажу, что я за него, а то жить мне трудно будет. Может быть, тогда сын не станет меня ругать. Обидно, конечно, что не можешь жить, как хочется! Но раз тебе бока так обломали, то сразу понимаешь: надо делать, как велят».

Покпа поехал на озеро. Он явился к попу, привез подарки, низко кланялся.

– Брось свое шаманство! – строго сказал ему поп. – До тех пор сын твой не вернется домой, пока ты не надумаешь креститься.

Покпе такие разговоры не понравились.

– А ты че, моего сына купил? – спросил старик. – И чего тебе надо от нас?! – пришел он в ярость. – Зачем ты его, как китайского раба, держишь?

Поп молча повел глазами, нахмурил брови, и Покпа стих. Он чувствовал, что попа ненавидит, что креститься ему не хочется, что Айдамбо в кабале, но после разгрома, который поп и сын устроили в его фанзе, старик боялся. От одного взгляда попа он сразу струсил и стал улыбаться.

– А ты все землю копаешь? – зло спросил он сына, уезжая.

– Все копаю...

Покпа через несколько дней снова приехал и робко попросил отпустить сына домой половить рыбы на зиму.

– Я больной, глаза нету... коленка болит, старуха больная...

– Крестись – и поедет сын домой, – отвечал поп. – Суди сам: как он с тобой, безбожником, язычником, станет жить?

«Такого человека загубили! Был лучший охотник и рыбак, а теперь землю копает и бьет родного отца, как собаку. И потому как раз

бьет, что поповский закон учит отца и мать любить и уважать; за то, что отец не поверил, что так закон учит, его родной сын за это побил!»

Покпа думал горькую думу и не уезжал.

– Крестись, отец!

Пока русские ходили мимо, платили честно за услуги, давали водки, да еще товары у них дешевле, чем у китайцев, – все было хорошо, Покпе русские нравились. Но вот норовят они залезть в душу, хотят выбросить бубен, божков. Это худо... Покпа никогда не любил шаманов. Молился редко, часто насмеялся над колдунами. Случалось, и бивал их. Но сейчас он горой стоял за шаманство. Будет предательство с его стороны, если он теперь, в беде, отступится от шаманов.

– Крестись, отец! – твердит Айдамбо.

– А если креститься, то бубен надо выбрасывать, косу резать?

– Конечно, надо все по закону сделать.

Но как-то раз, когда поп занят был дни и ночи на достройке церкви и, казалось, коготь его отпустил душу Айдамбо, молодой гольд во всем признался отцу. Он рассказал, что работает у попа, желая выучиться всему русскому, стать русским и жениться на Дельдики.

– И ты крестись, – посоветовал он.

– Старый закон кидать жалко, – плаксиво отвечал Покпа.

– Ну, потихоньку будешь шаманить. Что мы, одни, что ли, так? Все люди так делают.

– Так-то можно! – обрадовался старик. – А мыться-то надо или только рубаху другую надеть?

– Мыться надо обязательно.

– А вот это худо!

Требованиями попа Айдамбо еще мог поступиться, но вкусы и желания Дельдики были для него законом непреложным. Отца надо было вымыть, выскрести, иначе нельзя везти домой невесту.

– Черт тебя знает! – удивлялся Покпа.

Старик собрался домой с намерением подумать хорошенько. У него стало легче на душе.

«Значит, ум еще остался у сына, не совсем одурел», – думал он.

Покпе даже нравилось, что сын пустился на такую хитрость, чтобы завладеть невестой.

«Хочет всех перехитрить. А-на-на! Пожалуй, и верно, чем скорей я крещусь, тем лучше пойдет дело. Только бы не проболтаться кому-нибудь, а то мы с ним пропали!.. Конечно, я тоже пойду креститься, тогда жить будем лучше. Я так и подумал сразу, когда меня побили».

– А старуху тоже крестить? – спросил он у попа.

– И мать тоже, чтобы вся семья отошла от язычества.

Довольный Покпа отправился домой.

«Что теперь моя старуха скажет? Обязательно ее крещу. Пусть будет правильно все понимать», – со злорадством думал он.

Узнав, что Иван приехал в Мылки, Покпа явился к нему.

– Ну, как Айдамбо? – спросил Бердышов.

– Стал у попа работником, – отвечал старик.

– А зачем же ты его пустил к попу? – спросил Иван недовольно.

– Как зачем? – с недоумением ответил гольд. – Он сказал, что это ты велел ему русским стать. Это он для тебя старается из-за девки.

– Пусть приходит ко мне, – сказал Иван, – я помогу. Что обещал Алешке – сделаю!

* * *

Ветер нес песок, шумел в кустарниках за пустым огородом.

«Вот уж и все сделано! Выкопал я огород, ссыпал картошку в подполье. Вот как у русских делается. И ладно! Я словно от этого крепче стал. Не страшна мне теперь и на огороде работа».

Айдамбо было грустно, что ныне на охоту он не пойдет, что придется ему зиму не в хребтах бегать на лыжах, не ловить соболей, а жить у попа в работниках. Но он крепился. Природа звала его в тайгу, на простор, в вершины сопок – за зверями, по следу сохатых. Но Айдамбо не давал воли воображению. «Я огород выкопал и стал крепким, как сам поп!»

– Выкопал попу огород и обрадовался, – смеялись солдаты. – Эй, Алешка, смотри, поп тебя заездит!

– Теперь ты знаешь, как русскому достается! Тебе еще на поляночке пришлось огородничать, а вот ты попробуй, где тайга, болото!.. Но ты и так ладно потрудился. Можно тебя похвалить.

«Да, русские – крепкий, терпеливый народ, – размышлял гольд. – Но почему-то не очень бойкий и неловкий. А я теперь знаю почему. Сам в русской шкуре побывал».

На холме заканчивалась постройка церкви.

Новенькая бревенчатая церковь со свежескрашенными зелеными луковичами купола и звонницы высилась над краснеющей осенней чащей, над озером, поймами и островками. Отовсюду была видна церковь.

Работы прекращались. Убрали леса.

Бедное убранство малой церкви казалось Айдамбо роскошным. Подолгу стоял он, глядя на иконы, на нимбы вокруг ликов, на золоченые рамы. В этой тускло освещенной, сложенной из сырых кедровых бревен церквушке все было в диковину для гольда.

Из города привезли колокола. Айдамбо подымал их на колокольню вместе с солдатами. Солдаты напилили дров. Поп стал учить Айдамбо топить печь. Священник хозяйственно готовился к зиме.

– Будет долгие годы стоять эта церковь, – говорил поп, – и увидит она многое, и пройдут через нее люди, понесут свое горе и радость, хвалу богу и печали.

Солдаты уехали. Как-то поутру с песней, с ранцами за плечами ушли они по широкой отмели на пристань. Не стучали больше их топоры, не слышно было их песен. Нет палаток, не играет гармонь, не бренчит по вечерам балалайка. Нет веселого солдатского шума. И чувствует Айдамбо, что жалко ему солдат: лучше бы еще тут жили. Пусто без них. Кажется Айдамбо, что хорошее это было время, когда стояли тут солдаты, строили церковь и он в это время работал на огороде.

«Нет, не так уж все плохо было. Не так страшно. Как будто совсем солдаты мне не нравились. Я все думал: вот пришли на наше озеро, стучат, леса много рубят, рыбу пугают. А теперь почему так тоскливо без них? Может быть, и от попа если уйду, тоже буду скучать?»

Айдамбо жарко топил печи. Поп изредка заходил, щупал стены: просыхают ли? Он служил в походной церкви. Ждали приезда архиерея, чтобы освятить храм.

А осенняя тайга все сильнее звала Айдамбо к себе. Как птица в перелет, не мог он оставаться на месте.

Однажды Айдамбо отпросился у попа в Мылки. В стойбище все были пьяны. Толстый Гао жил у Денгуры и раздавал в долг водку под зимнюю добычу. Обезумевшие от вина охотники бродили по стойбищу, орали, дрались, валялись где попало.

– Пойдем на охоту с нами, Алеша, – звали молодые мылкинцы.

«А что, если я не вернусь к попу? – подумал Айдамбо. – А Дельдика? – Вот он идет в тайгу, по ключу, вверх, в распадок через хребет, к югу, к морю... – А она все дальше от меня. А тут уж рыщут Денгура, Васька и гиляки-сваты...»

Айдамбо в бешенстве выскочил из фанзы, покинув круг гостей, и вернулся на миссионерский стан. Церковь показалась ему теперь желанным, родным местом. Он сам вложил свой труд в нее. Это уже было его дело, созданное им самим. Сменять эту новую жизнь на кабалу у купцов, на пьянство и драки в стойбище, где нельзя сесть на кан, чтобы блохи и вши не вцепились в тебя со всех сторон?

«Нет, уж я отвык от этого. Много раз, догола раздеваясь, в озере с попом купался. Я теперь другой человек. Конечно, хорошо бы на охоту сходить, но сначала надо жениться. А если я в церкви работаю, то обязательно узнаю, кто захочет на ней жениться. Поп говорит, что все русские свадьбы бывают в церкви».

Ревели осенние ветры, шумело озеро, и волны подкатывались к подножию церкви. А в бурю с гребней их брызги доносило по ветру до узких окон храма.

Айдамбо любил стоять у окна и смотреть в бушующую даль. Нравилось ему, что за стенами ревет буря, идет дождь со снегом, а тут чисто, тепло, сухо, и все видно сквозь стекла, что делается вокруг. В окнах с одной стороны гнется, мечется на ветру тайга, с другой – озеро, а вдали – острова, протоки, редкие фанзы на релках и на далеких желтых лугах.

Затопив печь, Айдамбо подолгу смотрел сквозь стекло. Думы о Дельдике владели им. Но что бы ни случилось, он тут, в церкви, он на ее пути. Айдамбо слышал, что Денгура ее сватал и будто бы уплатил за нее Кальдуке выкуп.

«Сердце болит. А что, если обманет Бердышов? Соболей ему дать? Идти в тайгу? Лучше не думать! Поп ее с Денгурой венчать не станет. Тут я на ее пути».

Поп в эти дни сидел в своем домике у окна и что-то писал и ругал городских священников, что не едут на торжество. Он заготавливал продукты, приводил в порядок дом, двор и церковь, говорил Айдамбо, когда и кому надо отвезти в Уральское муку и что там должны испечь.

На досуге долгими вечерами при свете керосиновой лампы поп учил Айдамбо грамоте и обещал назначить его прислужником в церкви. Айдамбо втайне мечтал о том дне, когда покажется людям в парчовой одежде, почти такой же, как у священника. И пусть Дельдика его увидит... Он с большим любопытством ждал всегда урока, новых рассказов попа о боге и святых.

– Неважно мне, какая у тебя одежда, – говорил поп. – Рубаху русскую ты всегда успеешь надеть. Пусть будет и такая, из рыбьей кожи, только чистая. Но еще важней, чтобы душа твоя чиста была перед богом. Гольды приедут и увидят, что их племени человек у нас в церкви служит, – вот это хорошо. Славный пример подаешь своим, сын мой! Я из тебя сделаю примерного гольда-христианина. Для всех будешь образцом!..

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ



– На богомолье приехали, – вылезая из лодки и обращаясь к встречавшим его уральцам, сказал рыжебородый Спирька Шишкин.

На широкой плахе днища виднелись шкуры, одеяла, поваленная мачта с парусом и какие-то узлы.

– Дунюшка!

– Татьяна! – встретились подруги.

– Как узнала, что церкву открывают, рвет и мечет: хочу богу помолиться! – рассказывал Спирька о дочери. – Всю дорогу ветра не было, она шестом толкалась. Че-то набожность на нее напала, – говорил Шишкин. – Какие девки богомольные пошли!

– Вот у меня тоже! Я натерпелся, – отвечал Пахом. – Все говорит: «Поедем на богомолье». Солдаты церкву-то строят. А я – не сметь!.. Не пустил... Да как же! Вот к нам солдат ходит, хороший такой человек. Он сам говорит, что у них балуют...

– А у меня противиться силы не хватило, – отвечал Спирька. – Я слабей ее. Она вертит отцом как хочет. Она молиться любит. Ничего другого нет у нее в уме. А я попов боюсь. Как встречу, потом не могу отплеваться. А она набожная... В мать. Бабы меня победили...

Спирька врал. У него были свои намерения, которых и дочь, как ему казалось, не знает. Илюшка понравился Спиридону Шишкину. Он хотел поскорей выдать дочь за хорошего парня, пока ее не сбили с толку здешние кулацкие детки или, еще хуже, Ванька Тигр.

– Да, надо иметь терпение, чтобы семьдесят верст поднимать шестом лодку, – сказал Егор, с удивлением поглядывая на высокую, стройную и тонкую девушку.

Лицо ее окутано белыми тряпками, и только насмешливые голубые глаза бегают в прорезях.

– Что это в узлах привезли? – весело спросил Федя.

– Спрашиваешь! Наряды, поди, – бойко ответила Таня. – Молодая девка-то!

– За нами еще три лодки идут, люди мучаются против воды. Всю деревню всполошили!.. Как заговорила про богомолье, про церкву, и другим отстать не захотелось. Куда там!.. Мы их далеко перегнали.

Платье на Дуне изорвалось, просолилось от пота, лопнуло под мышками. Собрав узлы, Дуня и Таня поспешили в избу.

Сходили на Додьгу и выкупались в ледяной воде. Дуняша переделалась в новое платье.

– Лицо все закрывала, чтобы не сгореть. Илюшка тут, нет ли?

– Здесь, – отвечала Таня.

– Ну, как я? Верно, почернела, как гилячка.

Илья узнал, что Дуня приехала, и уселся у кузнецовских ворот. Он долго сидел, делая вид, что смотрит на реку, не едет ли отец.

Из-за угла мелькнули яркие платья, раздался звонкий смех. Девичий стан, темные тяжелые косы пронесли мимо, и, казалось, обдало Илью чем-то таким приятным, чего он отродясь не чувствовал. Дуня показалась так хороша, так красива, что он подумал: «Может, она теперь и смотреть на меня не станет».

– Да вот он! – воскликнула Таня.

– А-ах! – Дуня приосанилась. – Здравствуйте! – молвила она застенчиво, а из глаз ее так и брызнул голубой огонь.

Вечером у избы Кузнецовых играла бандурка. Парни и ребята плясали. Дуня, разморясь от жары и пляски, поглядывала на Илью, сидя в обнимку с сестрой его Авдотьей.

Утром чуть свет Таня прибежала к Бормотовым за чугуном.

– Твоя подружка красивая! – сказала ей Аксинья.

Таня взяла чугунок, но не уходила. Пахом услышал, как женщины возбужденно гудят.

– В вашем Илюшке души не чаает! – быстро рассказывала Таня.

– Да это клад, а не девка, – подхватила Арина. – Семьдесят-то верст шестом лодку толкала!

– А как поет!..

– Мы вчера заслушались, как она «Не белы-то снега» вытягивала, – подтвердила Авдотья. – Вот уж выголашивает!

– Истинно, что клад.

Аксинья – женщина мягкая, слабая, впечатлительная. У нее бледно-серые глаза, русые волосы и широкое бледное лицо с прямым длинным носом. Она была глубоко тронута, что такая красавица, оказывается, полюбила ее сына. За одно это девушка была ей по душе.

– А я-то гляжу, парень стал охорашиваться. Никогда с ним этого не бывало.

– Верно, верно, – подтверждала Агафья. – Обходительный стал.

– Видишь, девка-то молодец какая!

Пока бабы судили и рядили, виновница их разговора спала глубоким утренним сном, раскинувшись на Таниной постели за пологом. Таня прибежала по холодку и растолкала ее.

– Вставай... Иней на дворе. Тихо.

Дуняша потянулась из-за полога к солнышку, щурясь и улыбаясь сладко, по-утреннему, во все свое румяное лицо.

– Ну-ка, девки, живо! А то сейчас бичом, – молвил дедушка Кондрат.

Бабка Дарья завела блины. Дуня стала разбирать свои узлы.

– Тут у меня и гостинцы есть, – она раздала ребятишкам конфетки и пряники. – Сама на баркасе брала... Мы малину сушим да сдаем на баркас.

– Платье-то какое наденешь?

– Нынче уж другое. Вчерашнее-то в узел. Вот у меня синенькое есть. У меня на неделю платьев набрано. Из материнских перешила да два ситцевых.

– Сейчас наглядимся! – молвила молодая хозяйка.

* * *

Бабы разошлись.

Аксинья напекла блинов. Илья сидел за столом, а мать с любопытством приглядывалась к нему. Она была по-женски удивлена успехами своего сына.

– Нравится тебе Дуняша? – ласково спросила она.

Парень не ответил, наскоро закончив завтрак, выскочил из-за стола.

Бормотова желала, чтобы Илья женился на красавице.

– Мы всю жизнь мыкались в нужде, а нынче в люди вышли. Гляди, ладно живем, – говорила она мужу. – Сами некрасивые уродились, так пусть хоть невестка красавица будет.

– Верно, надо нам Ильюху женить, – соглашался Пахом. – Хватит ему травить зайцев. Если девка хорошая, ждать нечего. Спирьку-то я знаю, он смирный мужик.

– Да отдадут ли за нас? – молвил Тереха.

– Татьяна-то сказывает, и Спирька в Илье души не чает. Ему бы, дескать, только охотник был хороший.

Авдотье тоже хотелось, чтобы Дуня пришла в дом.

«Я бы с нее все наряды по-новому, по-городскому перешила».

Тереха хотел что-то молвить несогласное со всеми: что, мол, от красивых невесток в семьях бывают несчастья, но Пахом велел ему молчать. Из всех людей меньше всего желал он слушать своего брата.

После полудня в Уральское приехал поп. Он собрал хозяек.

– Великое торжество наступает, – говорил он, сидя у Кузнецовых под образами, и, засучив широкий рукав рясы, размахивал своей громадной рыжеволосой рукой. – Сегодня с пароходом прибывают к нам городские гости. Храм божий откроется, освятится. Зазвенит колокол в безлюдных, неведомых ранее пустынях.

Поп сказал, что после освящения храма будет трапеза. Он велел хозяйкам напечь к воскресенью мясных и ягодных пирогов и нажарить дичи.

– Хорошо бы уток жирных и рыбы – осетрины. Вот отроковица-то хорошо готовит, я знаю ее, – кивнул поп на Дуняшу. – Она да Татьяна еще девчонками были, бывало, пекли вкусные пироги. Пусть поможет. А вы, мужи и отроки, берите ружья и езжайте на охоту.

От такой похвалы при всех бабах Дуня смутилась.

– Зарделась, как маков цвет, – кивая на нее, подтолкнула Наталья Арину, та Агафью, а та Бормотиху.

Аксинья улыбнулась и согласно кивнула головой. Она все время украдкой наблюдала девушку. Здоровое красивое лицо ее, скромность, опрятное платье, широкая в кости рука – во всем была сила, пригожесть. «Хороша!» – думала она.

После отъезда священника Пахом позвал Спиридона к себе.

– Где мы попу возьмем рыбы да дичи? – сетовал он.

– Парень-то у нас нынче трех медведей убил, – рассказывала Аксинья. – Первого-то где ты убил? Как ты сказывал, речка-то?

– На Додьге, – недовольно отвечал Илья. «Рядом живем, а мать до сих пор не знает названия речки».

– Вот, вот, на Додьге!

– погоди, об этом я скажу, – строго перебил жену Пахом.

Илья потупился. «Зачем выхваляют? – думал он. – Больно нужно хвалиться!» Он полагал, что все и так должны знать и видеть, охотник он или нет.

Спиридон радовался, но не подавал виду. Он чувствовал, к чему клонится разговор. Дуня прожужжала ему уши, какой Илья охотник. Такого зятя ему и самому хотелось.

После обеда Дуня и Авдотья вышли погулять. Илья поехал на охоту. Девушки, скучая, посидели на бревнах. Вышла Таня. Спели несколько песен и разошлись по домам.

На другой день явился Илья, мокрый, в изорванной одежде, с ножом за поясом и с ружьем за плечами. В корме и на носу его лодки лежали груды битых гусей и уток.

– Где охотился?

– На косе!

– Че, Ильюшка, отличился?

- На церкву набил, – гордо сказал парень собравшимся мужикам.
- Еще больше можно настрелять, – вяло молвил Тимошка. –

Сейчас как раз перелет.

Женщины стали выбирать дичь из лодки. Под птицей оказались осетры и тучный калужонок.

- Ну, бабы, надо жарить гусей к празднику, – сказал дед Кондрат.
- Добычу разделили между семьями.

Мать Илюшки затопила печь.

- Давайте я помогу, – вызвалась Дуняша.

Она живо взялась за дело: разожгла во дворе костер, щипала дичь на пне, палила ее, собирала пух и перья.

Во всех домах шли приготовления к торжеству. Илья всем дал работу. Теперь было что везти на праздничный обед.

Трубы задымили. Во дворах пылали костры. Девки и девчонки то и дело бегали на посылках из дома в дом.

Пришли еще две лодки с тамбовцами – мужики собрались у Пахома.

Илья, босой и уставший – он не спал ночь, – сидел на низкой скамеечке.

Дуня выбежала из избы, подседа к нему и заговорила полусшепотом, с горячностью:

– Все знаю про тебя. Сегодня твоя гольдячка приехала. Ездил гостить к своим. Ты тут за ней ухлестываешь. Я еще тебе зенки за нее выцарапаю. – Девушка вскочила и убежала в избу.

Илья улыбнулся, довольный. Слаще, казалось, ничего не могла сказать ему Дуня.

– Здорово, Иван! – сказал Спирька, встретив Бердышова, который тоже отправлялся куда-то с новым ружьем, в новых сапогах и в новом картузе.

– Здорово!

– Ну, поговорим!

– С дочерью приехал? – спросил Бердышов.

– С ней! Как обещал – привез! Ждешь, что полюбит тебя? Быть может. А не полюбит, не получишь. Пулю в лоб тебе!

– А полюбит, тогда отдашь?

Спирька ухмыльнулся.

– Я для тебя на все согласен, – сказал он. А сам подумал: «Надо бы ее скорей просватать».

Иван поехал на остров на охоту и пробыл там до вечера.

Пока он охотился, Пахом и Спирька ударили по рукам. Решено было, что Дуня пойдет за Илью.

* * *

Дельдика, возвратившись из Бельго домой, где она гостила у отца с матерью, помогла Анге испечь хлеб и приготовить кушанья. Управившись, она умылась, переделалась в русское платье, натянула чулки и башмаки, глянула в зеркало и побежала на берег.

В сумерках молодежь собралась у бревен. Дельдика присела к девушкам, весело смеясь вместе со всеми.

«Вот какая красавица русская», – думала Дельдика про Дуню и осторожно взяла ее под руку.

Дуня, вздрогнув, обернулась. Она увидела смуглое лицо, яркие черные глаза, пышные вьющиеся волосы, заплетенные в косы. Дельдика ей понравилась.

Дочь Кальдуки, нищего, вечно битого, сама чуть не загубленная торгашами, выросшая в дыму и смраде, Дельдика пользовалась каждой минутой, которую проводила подле Дуни, стараясь заметить, что и как делает русская красавица.

Дельдика думала только про Айдамбо. Теперь все очень много говорили про него. Она пожила в Бельго и узнала, как Айдамбо знаменит. Поп и Айдамбо были предметом бесконечных разговоров во всех гольдских деревнях. Она мечтала о том дне, когда поедет вместе с Иваном и Ангой на открытие церкви и увидит его там.

А Илья дивился, глядя, как Дуня и Дельдика быстро сдружились.

К вечеру жаркое и пироги были готовы во всех домах. Мужики и бабы гурьбой ходили по селенью из дома в дом, смотрели и пробовали кушанья.

Ватага их ввалилась к Бердышову. Пьяный Иван спал под лавкой. Его растолкали.

– Ну, че ты тут?

– Паря, я ловко напекарил, – спохватился Иван.

– Чего уж ты напекарил! Валяешься, как чушка.

– Вот будем теперь откармливать попов и начальство! – поднимаясь на ноги, воскликнул Бердышов.

На улице играла гармонь, плясали девки и парни.

«Еще ладно, что Татьяна брюхатая, – думал Спиридон, – а то бы они с Дуней вдвоем натворили бы делов!»

– А ваша Дуня где? – спросила Силиниха про Дельдику.

– Гуляет со всеми.

– Илью на части рвут, – сказал Силин.

– Нет, Дельдика хитрая, – отвечал Бердышов. – С ним дружит, а себе на уме. У нее гольденочек завелся. Шибко вздыхает по нем.

– Обезумели девки! – проговорила Наталья. – Прибегут, в зеркальце посмотрят – и опять на улицу.

– Пойду и я гулеванить! – Иван выскочил из дому.

– Ну, Дуняша, женихов много? – тронул он Дуню за руку.

Девушка приотстала от подруг и улыбнулась. С дядей Ваней можно было обо всем поговорить откровенно. Ему легче признаваться, чем отцу с матерью.

– Илюша нравится, – тихо и скромно сказала Дуня.

Иван тряхнул головой.

– Околдовали! Что такое? Я уж заметил! Пошто меня не любишь? Мне обида!

Она счастливо засмеялась, довольная, что нашелся человек, с которым удалось поговорить по душам, и побежала к подругам.

– Догоню! – Иван свистнул и поспешил за девушками, разгоняя их по берегу и норовя ухватить Дуняшу.

– Истинный зверь! – молвил в страхе Тимошка Силин, сталкиваясь с ним. – Ты что? Тебе тут не отломится.

«Но как я ничего не заметил зимой? – думал Иван. – Плохой я охотник за дичью, главного зверя пропустил».

Иван остановился и вдруг, ни слова не говоря, дал Тимохе такую затрещину, что тот упал.

...Туман полосами кутал лес, рваными клочьями спускался на реку. Где-то вдали, как в дыму, виднелись розовые вершины сопок. Было сыро и холодно. Мгла кутала тайгу.

Ох да эх, ох да эх!
Отношу я в церкву грех, —

горланили парни.

Лязгала цепь, ревел медведь: его, видимо, заставляли танцевать под гармонь.

Тамбовские ребята удало выкрикивали новые, неслыханные в Уральском плясовые.

Размахивая платочками, кружась в широких платьях, из тьмы то выплывали, то снова исчезали танцующие девушки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ



Над тихим озером ударил колокол, и гул его понесся от стойбища к стойбищу и достиг Уральского.

При звуках его всех охватывало чувство праздника, торжества.

– Батька в большой колокол ударяет, – говорили гольды. – Свой дом открывает.

В лодках и оморочках они подплывали к церкви, с любопытством ожидая, что же будет дальше.

Измученные, сожженные солнцем и ветрами, выбирались на берег русские крестьяне. Из разных деревень съезжались они на Мылки:

десятки верст на веслах, на шестах и под парусами добирались на богомолье.

Дымились костры. Приезжавшие разбивали палатки, раскидывали пологи. Многие, отдыхая, засыпали прямо на берегу.

Появились долговязые Котяй и Санька Овчинниковы.

Терешка в шелковой рубахе и румяный гармонист Андрюшка Городилов дерзко оглядывали девок. Когда толпа, приехавшая из Уральского, проходила мимо, они окликнули Дуняшу Шишкину. Терешка пообещал ей поджечь косу в церкви.

– За глухого тебе будет... Так свечой и запалим.

Дуня сделала вид, что не слышит.

Бабы привезли узлы с пирогами и караваями. Поп пробовал пальцами, пышны ли сдобы и пироги, отрывал крылышки у гусей и уток.

Тем временем гольды из козел и длинных досок, оставшихся от постройки, сложили большой стол для народа и другой, поменьше, для начальства. Бабы накрыли их скатертями.

Айдамбо торжествовал.

«Вот я теперь одет красиво и чисто и буквы умею писать. Сегодня пусть она меня увидит».

Колокол мерно и звучно бил на звоннице, и гул его волнами несся в амурские дали.

К паперти подкатила лодка, большая, со многими гребцами, покрытая ковром. Из нее вылез Гао Да-пу. Он низко поклонился священнику.

Айдамбо был неприятно удивлен.

«Зачем это купец приехал? – подумал он. – Это церковь для бедных людей, кто страдает много и хочет правильно жить. Русский бог от бедных людей родился. Если бы он к купцу попал, может, еще хуже его мучения были бы».

Айдамбо подошел к попу.

– Китайца отсюда прогнать?

Священник рассердился.

– Ты смотри у меня!.. – И, подумавши, добавил, приставив палец ко лбу гольда: – Храм открыт для всех. Кто угодно пусть ходит в храм. И в дурной душе может явиться раскаяние.

«Да, пожалуй, так правильно будет, – подумал Айдамбо, несколько успокоившись. – Но все же Гао гонять бы отсюда хорошо. Напрасно ему позволяют тут быть. Он только обманывает всех. Отца поил часто и отбирал все меха даром. Если бы не Егорка, он забрал бы Дельдику. А один раз трое братьев Гао связали пьяного отца».

Душа переворачивалась от гнева, когда Айдамбо, вспоминая все это, смотрел на Гао.

«Этого торгаша хорошо бы удавить веревкой и выбросить в озеро с камнем на шее».

Между тем народу собиралось все больше и больше. Айдамбо пошел в домик священника, переоделся в парчовую одежду.

Двери церкви открыли, и громадные волосатые попы в сияющих ризах, провожаемые восторженными взглядами, пошагали в храм. Следом за ними такой же пышный, яркий, весь в золотой драгоценной ткани шел Айдамбо.

Но на душе у него было неладно. Он был удручен и все делал невпопад. Поп два раза подталкивал его в бок, а один раз пребольно дернул за ухо.

«Совсем не может быть у Ваньки Гао раскаяния. Он не такой человек, чтобы по закону жить. Я думал, что хоть в церкви от него отвязался. Забывать про торгашей стал», – думал Айдамбо.

В церкви места не хватало. Большая толпа гольдов стояла во дворе. Хором певчих из крестьян управлял Федор Барабанов.

Гао Да-пу пролез вперед. Стоя неподалеку от исправника и чиновников, он низко кланялся иконам. У Гао были деловые намерения, и он желал поближе сойтись с попами. Гао истово крестился.

Красавица Дуняша в ярком платье с цветами и со множеством оборок стояла подле Тани и время от времени любопытным взглядом обводила молящихся.

Густой толпой стояли бородатые, косматые, лапотные новоселы и бритые староселы-амурцы. Сашка-китаец оказался между Егором и Тимохой.

Все женщины в чистых платьях и белых платках. Дома день за днем проводили они в труде, в рабочей одежде, а тут светлым нарядом как бы выражали праздник души.

Когда запел хор, в церкви раздались всхлипывания, и, глядя на плачущих матерей, закричали в голос малые ребятишки и младенцы.

Дельдика стояла в кругу русских девушек и думала: «Почему нигде нет Айдамбо? Ходят русские в золотых одеждах, а его нигде нет».

Но вот один из русских в золотой одежде обернулся, и девушка увидела знакомое лицо. Или это не он? Нет, это Айдамбо! Сердце ее забилося...

Айдамбо тоже заметил взгляд Дельдики. Он дважды прошел мимо нее, чтобы она все видела хорошенько. Он как бы взглянул на себя ее глазами и подумал, что Дельдика должна понять, как он теперь не похож сам на себя. Он совсем оживился, стал прилежнее служить, и поп похвалил его.

Старый Покпа был потрясен и смущен, завидя сына в таком наряде, как у попа. Пение хора, колокольный звон, золотые одежды, общая обстановка торжества окончательно сломили старика. Когда по рядам пошли собирать на храм и все вынимали деньги и даже Сашка-китаец, прослезившись, положил на блюдо двугривенный и, втянув голову в плечи, стоял всхлипывая, Покпа заволновался еще сильнее. Он пошарил в мешочке у пояса, там ничего не было подходящего. Покпа снял серебряный браслет с руки и положил на тарелку. Незнакомая сильная радость охватила его. Он был сейчас заодно со всем этим разным, но сбитым церковью в одну толпу, одинаково чувствующим общую силу и торжество народом.

После службы Покпа подошел к священнику.

– Крести меня, – попросил он.

«Вот когда я тебя, поганца, пронял», – подумал поп.

Гао Да-пу подошел к начальству.

– Наша тоже хочу деньги давай, – сказал он. – Моя шибко хочу крестица.

К ужасу Айдамбо, который все видел и слышал, Гао при попах и чиновниках пожертвовал на храм двести рублей.

– А ты мне говорил, что больше хочешь дать! – как бы с неподдельным удивлением воскликнул Иван. – Нехорошо, паря! Креститься хочешь, а денег жалко.

В толпе заулыбались.

– Ваша пошуты, пошуты! – с достоинством ответил Гао. Богатырь поп молча и серьезно смотрел на него. Он знал, какой это ловкач и в какой кабале держит он всю округу.

– Гао большие деньги дает на церковь! – удивлялись гольды. – Батьке деньги дает.

– Ну, тогда придется и мне тоже, – сказал Бердышов.

Он положил на блюдо триста рублей.

– Иначе нельзя, – выходя на паперть, говорил он Барабанову. – Богу молиться, да на китайские деньги – куда годится! Пусть лучше на мои.

Новоселы и гольды гурьбой выходили на паперть.

– Че-то маленько пристал, хочу посидеть, – пожаловался Улугу, выбравшись из церкви. – Можно?

– Теперь можно, – ответил Силин.

– Черт не знай! Как русский не устает?

– А мы в бога верим. Стоим – веруем.

– Если бы молиться да ходить – тогда бы ниче!

– Это по-шамански – молиться да ходить! А вот ты говорил, что русский шестом толкаться не умеет. Шестом что! – усмехнулся Силин. – Ты попробуй заутреню выстоять. Я могу не шевельнувшись, как литой. Вот и называется, что русский стойкий!

Ослепляя народ блеском мундиров и эполет, по склону холма спускались чиновники. Оломов, в синем сюртуке, что-то бубнил, тыча пальцем на отдаленные хребты.

– Это будет не только церковь, – рассуждал Барсуков, – а как бы форпост колонизаторов. Она и строена из таких бревен, что не пробить ядру.

– Говорят, батюшка сам выбирал лесины и помогал таскать солдату.

– Да, мужик он хозяйственный.

Городские попы с интересом приглядывались к Гао.

– Азиат, но, видно, доброй души, – вполголоса говорил горбоносый толстый протоиерей с сизыми щеками и черной бородой. – С кротостью подношение его. Может быть обращен в христианство!

– Чуют, твари, что тут можно поживиться, – заметил Силин.

– Какая девушка, удивительной красоты! – сказал Барсуков, кивая на Дельдику. – Я обратил на нее внимание еще во время службы.

Оглядывая толпу, Дельдика кого-то искала.

– Да, да! Чудесная! Мохнатая, как японский цветок, как хризантема!..

Чиновники остановились.

– Какое-то влияние юга. Побьюсь об заклад, что в ней есть что-то малайское.

– Эка куда вы хватили! – отозвался Оломов.

– Моя приемная дочь, – сказал Бердышов. – Она подросла и стала как мохнатая курилка.

– Да, она хороша! В русском платье – сочетание необыкновенное.

Иван поманил Кальдуку.

– Вот ее родной отец.

Кальдука подобострастно кланялся и дрожал от страха. Барсуков через Ивана спросил его о предках:

Кальдука ответил, что дедушка брал жену с Сахалина – аинку.

– Как он узнал, кто у нас в роду? – спросил старик у Бердышова. – Я не потому ли такой маленький, спроси вот этого, который с бородой: он все, наверное, знает.

– Айны родственны туземцам южных морей, – рассуждал бородатый чиновник в очках.

– А спроси-ка его: в тайге у нас еще много зверей? – приставал Кальдука к Бердышову.

Вокруг чиновников собралась толпа. Илья слышал, что говорят о Дельдике.

– Ты, я слышал, не хочешь ее выдавать за русского? – спрашивал Барсуков у Ивана.

– Ей свой нравится.

Дельдика заметила, что ею любят. Она захотела обратить на себя еще больше внимания.

– Илюся! – позвала она.

Илья быстро шагнул к ней, но мимо шли девушки, его окликнула Дуняша.

– Эй, надвое разорвешься, – раздался Терешкин голос.

– А у тебя ни одной, – отозвался Илья.

Неожиданно для него вокруг засмеялись.

– Илья нашелся! Вот сказанул!

Все смеялись над Терешкой.

Толпа молодежи двигалась к роще. Золотисто-красный, чистый березовый лес стоял на молодом, поднявшемся из озера мысу.

Тут не было бурелома, на новой земле росло первое поколение берез. Деревья были стройны, молоды и не теснили друг друга. Чистая трава зеленела, как в мае.

Девушки вошли в рощу, обнявшись. Стояла немая тишина. Чувствовалось последнее осеннее тепло. Кругом все в цветах осени – яркое солнце, желтые листья, голубая вода и голубое небо.

– Терешка с Ильей сегодня драться будут, – поговаривали парни.

Илья заметил, как скуластый Овчинников что-то сунул в кулак белобрысому Андрюшке Городилову и, сверля его зелеными глазами, что-то шептал.

«Вам же хуже будет...» – подумал Илья.

Городилов широко растянул гармонь. Терешка разбил хоровод, растолкал девиц. Дуня с гордостью отстранилась, избегая его прикосновений.

Терешка пустился в пляс. Волоча ноги, он обежал поляну и вызвал Илью. Ко всеобщему удивлению, и тот, избоченясь и лихо заломив картуз, проскакал по кругу. Тогда Терешке захотелось передразнить его, и он попытался изобразить, как Илья пляшет.

– Козелком-то, – небрежно молвил Илья.

И снова все засмеялись.

– Терешке крыть нечем, – хохотал Санка Барабанов.

Дуня, вытянув свою гибкую, в русых завитках шею, зорко следила за соперниками: Илья пустился вприсядку. Могучие ноги, взлетая то вправо, то влево, долго носили его стройное тело по траве.

Гармонь заиграла веселей. Андрюшке, видимо, нравилось, как Илья пляшет, он заулыбался и под звуки гармонии покачивал головой.

Илья ползунком добрался до Терешки.

– Ух, ух! Раз-раз! – с восторгом приговаривали вокруг, хлопали в ладоши, притопывали, подсвистывали.

Веселье охватило всех. Побледневший от злости Терешка опять пустился плясать, но Илья явно забивал его.

Парни, как кочеты, то подскакивали, то отскакивали друг от друга в танце.

– Еще не дерутся, а уже налетают! – посмеялся Санка.

Услышав о драке, Терешка подумал, что, быть может, его подозревают в трусости. Подскочив, он ударил увлекшегося танцем Илюшку. Илья споткнулся, но устоял на ногах.

Глаза его загорелись. Развернув грудь, он ринулся вперед.

– А что тебе? Еще надо? – бледнея, отступил Овчинников.

Бросив гармонь, сбоку подступал рослый Андрюшка Городилов.

– Илья! – отчаянно вскрикнула Дуня.

В этот миг Илюшка шагнул к Терешке. Размахнувшись правой рукой, он вдруг неожиданно для всех с силой коротким ударом левой руки хватил не его, а Андрюшку. Тот упал на спину. Из кулака у Городилова выпала свинчатка. Вторым ударом Илья сшиб Терешку.

– Всех подряд! – крикнул кто-то.

Толпа тамбовских парней с криками кинулась во все стороны по березняку.

* * *

В разгар пира поп, не стесняясь присутствием городских гостей, громко сказал, обращаясь к Гао:

– Ты не надейся, что скоро крестишься. Грешешь много, окаянный. Пока не раскаешься, крестить не стану.

Но Гао улыбался с наглостью. Сегодня он сделал, что хотел. Гао показал всем должникам, что близок русскому начальству и попам и даже деньги дает на церковь. «Дикари теперь поймут, – думал он, – что жаловаться на меня некому». На сочувствие мылкинского попа Гао раньше времени не надеялся. «Но городским чиновникам и священникам взнос должен понравиться. А это мне еще пригодится».

Гао не ошибался. Сизый поп с черной бородой то и дело с вожделением поглядывал на богатого китайца.

– Как мышь на крупу! – приговаривал Силин, которому чернобородый попище был как бельмо на глазу.

А Гао весьма заинтересовал попа. «Новое поле деятельности открывается перед нами, – размышлял он. – Китайцы, как видно, народ сообразительный, услужливый, с ними скорее можно столковаться, чем с тунгусами и гольдами. Начальство надо убедить, чтобы везли

сюда побольше китайцев. Привезут рабочих, а из них, глядишь, поднимутся и богатенькие».

– Да, рыбак рыбака видит издалека, – ловя поповские взгляды, бормотал Тимошка.

Взнос Гао тронул и рыжего мылкинского попа. Деньги были нешуточные, но поп чувствовал, что среди своей паствы высказать благодарность китайцу он не смеет. Поп понимал, что сейчас надо потрафить народу – мужикам и гольдам, побудить их на ревностные деяния. «Китаец дал мне хороший повод», – думал он и в душе хвалил Гао, но внешне старался показывать Гао, что строг и грозен. Возвысив голос, он сказал торговцу:

– Запишу твой взнос не от тебя, а от должников твоих. Это деньги народа...

– Наша русскому богу давай. Наша русских начальников любит, любит, – улыбался китаец, косясь на исправника и попов.

– А вот сегодня один мужик дал на церковь десять рублей, – продолжал священник. – Вот это славный взнос! Для мужика десять рублей – плод великого труда его, пота и крови, пролитых на пашне. Десять рублей – это куль муки. Надо было мокрую землю выдрать из-под тайги, высушить ее, вырастить на ней зерно, построить мельницу. Богу приятны такие дела.

Говоря так, поп думал, что если умело повести дело с Гао, то, пожалуй, с него можно еще получить и не такие деньги.

«Он, хитрец, хочет церковью прикрыться, заставить попа работать на себя. А я смотрю, как бы заставить его постараться в мою пользу. Поглядим еще, кто кого. Я его, окаянную душу, нехристя поганого, приведу в христианскую веру! Довольно ему, поганцу, разбойнику, быть некрещеным».

– А вот гольд сегодня дал один рубль, – назидательно, как бы читая проповедь, продолжал поп. – Рубль – тоже угодные деньги. Свой рубль получил он за ранние мехи, за плоды неусыпных трудов.

– А ты, Сашка, креститься будешь? – спрашивал Силин сидевшего по правую руку китаец.

– Нету! Моя не надо! Моя мужик, моя не купец!

За столом бородатый чиновник беседовал о попе с Барсуковым.

– Служил он хорошо, вдохновенно. Я сам прослезился. Знаете, как подумал, что такое церковь на Руси, – заволновался. Ведь издревле

вся Русь стоит на трех китах: церковь, острог и кабак. Как ни печально, но это именно так. И вот, как вспомню наши великие просторы и этак, знаете, колокольный звон на пасху. От церкви к церкви – по всей Руси звонят колокола... Но сейчас, надо признаться, вам, похож батюшка больше на атамана, чем на попа.

– Да, будет поп-атаман у наших таежников, – смеясь, согласился Петр Кузьмич. – Он, говорят, при случае не прочь на кулачки выйти. А какова паства?

Взор Барсукова обежал длинные ряды краснолицых, покусанных мошкой и сгоревших от солнца пьяных прихожан, сидевших за соседним столом. Родион Шишкин, скаля большие желтые зубы, трясся от смеха, слушая рассказ Бердышова. Сильвестр что-то кричал на ухо великану Саньке Овчинникову. Темнобородые братья Бормотовы, старый одноглазый Покпа, Сашка, Улугу, нервный, дергающийся оборванец Савоська, рябой Тимоха Силин с умными глазами и десятки других мужиков, гольдов и китайцев пили, ели, ссорились, спорили, обнимались. Изредка к ним подходил могучий поп – торгош, деляга, колонизатор и путешественник, пахарь, плотник и рыбак.

– А вы знаете, что этот поп-конквистадор составляет грамматику гольдского языка? – сказал бородатый чиновник.

– Да, он грамотный и любознательный человек. Его не сравнишь с нашим отцом Константином, – кивнул Барсуков на чернобородого попа в лиловой рясе.

– Он ученик преподобного Иннокентия. Тот хвалил его всегда. Немного огрубел и, кажется, опустился.

Оломов разгладил усы, крякнул и подмигнул Петру Кузьмичу, как бы приглашая его смотреть, что будет дальше. Он обратился к попу:

– Покажите нам, батюшка, свое ружье. Да, да, не удивляйтесь, я все знаю. Я понимаю вас: ружье амурскому священнику необходимо. Покажите, покажите, не стесняйтесь.

Поп послал Айдамбо за ружьем. Исправник ждал с видом превосходства, как бы заранее уверенный, что обнаружит неполадки в ружье священника.

– Гуси, гуси! – вдруг крикнул Писотька.

Гости повыскакивали из-за столов.

Айдаambo прибежал с ружьем. Поп, стоя среди городского начальства, показывал ружье, не выпуская его из рук.

– Ну-ка, дайте мне, – пробубнил исправник.

Он заглянул в дуло, попробовал курки, оглядел ложе. Все было в порядке. Он отдал ружье священнику.

– Более держу для просветления дикарей, для примера и назидания, каково превосходство современного оружия перед их кремневками и фитилями.

– Батюшка, гуси летят, – теребил попа за рясу пьяный Силин. – Дай мне ружье, я стрелю... Гуси летят!

– Да вижу я. Отлынь, ирод!

Над озером летела громадная стая гусей. Из-за тальникового леса, из-за пойм, со всех сторон, заполняя небо криками и хлопаньем крыльев, поднимались все новые и новые караваны птиц. Они летели прямо на людей, словно в страхе спасаясь от чего-то. Кругами поднимаясь ввысь, они шли за озеро над островами и гольдскими стойбищами.

– Солнце им глаза слепит.

– Эти гуси, сыны мои, сидели на косе, окруженные со всех сторон водой, – спокойно и поучительно заговорил поп. – Они отдыхали от перелета. Их испугнул медведь. Медведь этот еще вчера ходил там и пугал их; я ехал на омбровке, видел его следы и лежку. Вот он вылез на косу и встревожил птиц.

– Батя, дай, дай ружье! – умолял Силин.

Охотники разбежались, хватая ружья из лодок, на ходу заряжали их. Савоська и Айдамбо побежали к церкви.

– Братья! – громогласно продолжал поп, размахивая ружьем. – Не смейте стрелять у храма! Что тут, стрельбище?

Но попа уже никто не слушал: гусей было невиданное множество, и они шли совсем низко. По берегу раздались одиночные выстрелы.

– Рано бьете, дайте подлететь, – не выдержал поп.

– Один только раз, – спросил Тимошка.

Он вырвал ружье из рук попа, выстрелил, но промахнулся.

– Эх ты, стрелок!..

Гуси летели со всех сторон. Вдруг поп отнял ружье у Силина и, вскинув его, выпалил по вожаку. Слышно было, как дробь густо пробарабанила по перьям, дырявя крылья птицы. Гусь пролетел за

палатку и пал камнем. Тотчас же, как по команде, по всему берегу пробежал разнобой выстрелов.

Гусей били из ружей и стреляли из луков. Охотники толпами бежали на холм, гольды стреляли с паперти. Покпа палил, стоя по пояс в воде, Улугу отплыл на оморочке, а Савоська и Айдамбо, забравшись на колокольню, били гусей в упор, пристроивши свои тульские дробовики между колоколами.

– Вот это побоище! – басовито воскликнул исправник.

* * *

Прибежали девки. Дуняша кинулась к отцу.

– Дрался! – с восхищением, так что взвизги прорывались в ее голосе, зашептала она. – Терешку и Андрея укротил!

– Кто это? – пьяно спросил Спирька, кидая гуся на стол.

– Илюшка...

– А-а! Ну, этот может. Живые?

– Не убились! – воскликнул Сильвестр. – Живучая порода.

– Конечно, – ответил Спирька. – Он же зверя зубами поймал. Такого охотника еще не было. А гусей-то он стрелял? – обратился рыжий к дочери.

Терешку повели к реке. Отец его забеспокоился, ткнул в бок дядю Котю и велел пойти узнать, как сын.

– Да что ты! Они подерутся и помирятся, – увещевал его Тереха. – У Илюшки дедушка был, как по голове кого ударит – кровь из носа и из горла. Если люди дерутся, он придет: «Ой, дураки, вы чего!» И все разбегутся. По лицу ударит – шкура трескается. Так что ты не тревожься, все будет хорошо.

– Осенью парни из-за девок всегда около церкви дерутся, – сказал Силин. – Ничего худого нету. Надо только драться уметь.

Овчинников бранился, грозил отплатить Бормотовым, если с сыном что случится.

– Отплатишь! – передразнил его Пахом. – Это еще как сказать!..

– Дуня-то умница какая! Парни дрались, а она их разняла, – говорила Аксиныя. Она была мягкая и слабая душой женщина, ей хотелось, чтобы так было.

– Церковь взыщет с грешных, – говорил поп. – Кто дерется и грешит, не уйдет от наказания. У меня ни один грешник не избегнет наказания! Пусть в храм несут грехи... Пойдут сюда молодые и старые, понесут горе и радость. Здесь, у церкви, в этой земле ляжет прах наш, – потрясая ружьем, гудел поп. – Священна будет ограда сия для потомков. Здесь положим мы якорь народа нашего, кости мучеников за амурское дело!..

Молодой чиновник устанавливал аппарат, желая заснять необычное зрелище паствы с ружьями и вооруженного попа на фоне церкви.

– Вот, господа, снимочек будет!.. Амурские колонизаторы. Малайка уж есть, теперь этот... Так альбом и составится!

Пришел Илья. Он заметил Дельдику.

– Я хотела, чтобы ты ко мне Айдамбо позвал, – улыбаясь, сказала ему девушка. – Но теперь уж не надо. Он сам ко мне подходил. Мы с ним разговаривали, – с потаенной гордостью молвила она, блеснув из-под пушистых ресниц вишневыми глазами.

* * *

Сидя на скамейке на берегу озера, Айдамбо рассказывал Дельдике, как он строил церковь, копал огород, садил с попом овощи, а потом все лето ездил по рекам и озерам – гонял шаманов.

Дельдика слушала его и куталась в шаль точно так же, как это делала Дуня.

За это лето Айдамбо много раз свободно беседовал с женщинами и девушками. Ему приходилось объяснять им, что надо креститься. У орочен, удэгейцев, гольдов он помогал попу уговаривать народ.

Мимо проходил Иван.

– Надел поповскую одежду и думаешь, поди, стал умный? – Иван прыснул. – Ты и жениться раздумал?

– Как раздумал?

– Ко мне не приходишь.

– Я русским хочу стать.

– А ты попом заделался. В подряснике в деревню не показись. Наши засмеют.

«Ивану не нравится?.. Или не хочет мне отдать девушку? Обманывает меня? Я так трудился, так старался!.. Что же теперь делать, как же научиться жить правильно? Неужели нет на свете человека, который мог бы мне сказать, как надо правильно жить?»

Тревожило Айдамбо и другое. А что, если Иван прав? В душе Айдамбо временами шевелилась неприязнь к попу.

«Вдруг окажется, что я на самом деле неправильно все делал? Почему неправильно, не знаю. И как будет правильно, тоже не знаю».

Тем временем Бердышов спорил с попом.

– Ты что же моего охотника себе забрал? – спрашивал Бердышов.

– Я его крестил, научил труду, – отвечал поп, – человека из него сделал.

– Он из-за невесты пошел креститься, – отвечал Бердышов, – это я ему велел.

– Вот и не стану венчать, коли так! – густым басом воскликнул священник.

– А невеста-то у меня, – усмехаясь, сказал Иван и похлопал попа по плечу.

– Миром надо, миром, – сбавляя тон, забубнил поп в бороду. – Уговоримся, Иван Карпыч, не подеремся, поделимся.

– А то давай драться. Ты мужик здоровый, с тобой славно подраться, – сказал Иван, засучив рукав.

– Эй, Ванька Тигр с попом из-за охотника драться хочет! – закричали подростки, подбегая к мужикам.

– Не подерутся, – отвечал Егор Кузнецов. – Милые бранятся – только тешатся.

«Может быть, Иван на самом деле мне скажет, как жить надо? – оставшись в одиночестве, с надеждой размышлял Айдамбо. – Пусть бы только Дельдику мне отдал. Уж тогда бы я знал, как мне жить».

Сердце Айдамбо не знало покоя.

Подошел отец.

– Что же людям надо от меня? – спросил его Айдамбо.

– Шкуры надо! – отвечал Покпа. – Без хорошей шкуры не проживешь.

* * *

Оломов впал в гнев.

– Перепорю всех! – орал он на вятских мужиков, сунувшихся к нему с какой-то жалобой.

Те надеялись, что на гулянке барин окажется подобрей. Оломов побагровел от злости, накричал на них и отогнал.

– Вон, вон! С глаз долой!.. Сюда хочу назначить им нового пристава, – обратился он к Барсукову. – Скажу вам откровенно: все эти фламандские нравы мне претят. Из этого добра не будет. Я полицейский, и мне за этих мужиков отвечать. Их надо обуздать. Нельзя позволить им вообразить себя какими-то вольными поселенцами. У меня на этот счет бумага секретная.

– Ну да, тут близок океан... – заметил Барсуков. – Могут быть опасения по части иностранцев.

– Нет, совсем не то, – отвечал исправник. – Иностранцы на виду и мало беспокоят меня. Да они люди благоразумные и практичные, главным образом очень дорожат тем, что тут порто-франко, умело этим пользуются. Они с полицией уживаются отлично. В Николаевске есть американец, так он однажды поставил в известность полицию о разговорах, которые вел один ссыльный. Американцы – торговцы, коммерсанты. Они, знаете, хотят заработать и хорошо жить. Вот и все их идеи. То же, собственно, что у полиции, – пошутил Оломов. – Я уж не знаю, какая там у них в Америке демократия, а тут мы сходимся. Только за ними приходится следить, чтобы не искали подставных лиц для занятия запрещенными иностранцам промыслами. А то золотым промыслом закон не позволяет заниматься иностранцам, так они ищут подставных лиц, и, кажется, Бердышов нагрел их на этом деле. За американцами надо следить по части уголовных дел, а политическим они не сочувствуют, так как политические – народ нищий и с них не заработаешь. А вот сущую опасность для нас представляют разные такие разночинцы вроде Максимова. Знаете его? Ученый географ, приехал из Петербурга и живет в Мариинске. Зачем только их пускают сюда! Знаете, неприятно его поведение и разговоры тоже нехорошие. Амур слишком удален от Петербурга, и тут может быть стремление к революционности. А подавить будет трудно. Вот что опасно! Могут забыть бога и царя! Надо поменьше разных ненужных экспедиций. Говорят, что сей Максимов знаком с адмиралом Невельским по Петербургу. Адмирал, при всем своем громком имени, личность

весьма недоброжелательная. Он, как говорят, всюду, где возможно, льет грязь на чиновников, которые трудятся в Приамурье... Оскорбляет ученых, опровергает авторитеты! Послушайте-ка, что рассказывает про него Телятев, недавно приехавший из Петербурга, поинтересуйтесь... Телятев – талантливый человек. Решаюсь назначить его сюда становым. Он тут наведет порядки, отучит уральских мужиков умничать!

Барсуков знал, что из центра России приехал полицейский офицер, что Оломов хочет определить его на должность станового, но что убрался Телятев со старого места из-за каких-то злоупотреблений и из-за этого пока дело стоит.

– О! Это штучка с ручкой! – говорил Оломов про нового станового. – И как раз наступает на будущий год время взысканий ссуд, выданных на переселение. Будем еще облагать кое-какими сборами. Я сам, ей-богу, не могу сладить с мужиками. А Телятев найдется. Он выкрутится...

Оломов заговорил о том, что важнейшим мероприятием по благоустройству новоселов он считает удачное проведение приказа о разбивке округа на новые станы с назначением в каждый из них полицейского офицера.

– Мы сделали большое дело, надо сознаться! Теперь будет больше полицейских станов. – И, придя в хорошее настроение, Оломов пошутил: – Полиция – тоже переселенцы!

Приезжие чиновники и попы ушли отдыхать в домик. Там для них были приготовлены постели. На дворе, сидя на пеньке, остался лишь Петр Кузьмич Барсуков.

Поп собрал уральских крестьян.

– Ну, погуляли, порадовались, а теперь есть к вам дело.

Мужики обеспокоенно переглянулись.

– Живете вы в достатке, сыны. Каждый из вас стяжает для себя. А церковь? – подняв палец и выкатив глаза, грозно спросил поп. – Не надо забывать об украшении церкви, а то ведь тут бревна одни. Надо нам наложить на себя обязанность, а То гордыня может обуять.

– Видишь ты какой, – молвил дед Кондрат.

– Сколько же тебе надо? – спросил Тимоха Силин.

– Ты уж до нашей косы добрался, – обратился к священнику Егор Кузнецов. – Рыбу ловить приехал, а позволения не спросил. А что,

если бы я погнал тебя?

Мужики вспомнили попу все обиды. Но поп чувствовал, что возьмет свое.

– Тут господ нет, церковь мужицкая, – заговорил он. – К кому же мне обращаться?

Егор думал: «Хитер поп. Хотя он и амурский, и гусей стреляет, и на медведя ходит, но все же это поп, и он станет все тянуть, да еще будет когтем от начальства».

– Может, тут и молитва хлеще пойдет, с нового-то места скорей господа достигнет, – продолжал поп. – От новой земли молитва угодней. – Мысль эта ему понравилась. – Земля сия не запятнана грехами. Мне нет расчета вас разорять. Не оберу. Но и без поборов вас по тайге пустить – бога забудете.

– Уговор вот какой, – весело сказал Егор. – Худо молиться будешь, земля не уродит, тогда уж мы тебя палками выгоним из деревни.

Поп ударил с мужиками по рукам.

Барсуков хотел было сказать, что урожай не от попа зависит, что все это глупости, но спохватился.

Довольные необыкновенной сделкой, мужики толпились на берегу.

– А це бы наса так? – спросил гольдский купец Писотька. – Соболей поймал – долю попу, а его пусть хорошо саманит.

* * *

– Что, Алеша, невеселый? – встретив Айдамбо, спросили бабы.

– Иван обещал девку отдать, – отвечал молодой гольд, – а не знаю, отдаст ли.

– Он всем так отвечает, – молвила Наталья.

– Уж мы заступались за тебя, – ласково добавила Таня.

Айдамбо нравился бабам.

– Вот уж красавец! Черненький! Сама бы влюбилась, – смеясь, говорила Наталья.

– Страдает!

Бабы обступили Ивана на берегу.

– Почему Алешке жениться не позволяешь? – спросила Наталья. – Дайте-ка мне хворостину, сама не нагнусь, – попросила она.

– Бабы, мне сегодня не до смеху... У меня сегодня печаль.

– Вот за это тебе еще, что не до смеху! За печаль! Знаем твои печали!..

– С горя да с печали сравнялась шея с плечами!

– Бабоньки, хватайте палки! – воскликнула Татьяна.

– Бейте его!..

Видя, что бабы не шутят, Иван хотел бежать, но в него вцепились и не пускали.

– Егор девку отбил, а ты срамишься, за старика ее хочешь выдать.

Мужики смеялись, глядя, в какой оборот попал Иван.

– Так тебе и надо!

– Эй, бабы! – закричал Силин. – Шут с ним! Он же злопамятный.

– Убьем тебя! – кричала Бердышова Арина.

– Паря, беда! Пьяные бабы страшней мужиков! – сказал Бердышов. – А ты почему думаешь, что я злопамятный? – спросил он Тимоху.

Илья с Дуняшей рассаживались в разные лодки. Они прощались на берегу, когда появился Иван с веслами.

Илья посмотрел на Бердышова с видом превосходства и ухмыльнулся.

– Что скалишься? Смотри старайся, а то отобью...

– Эй, Иван, – толкнул его в бок Егор, – хватит с девками баловать!

Поедем.

Егор оттолкнулся от косы.

– Пошел! – крикнул Силин.

– Ну-ка, давай! – воскликнул Бердышов.

Гулко забили весла по воде. Лодки пронеслись через озеро, и, когда гребцы подняли весла, длинная вереница лодок, бесшумно скользя, вошла в протоку.

Толпа богомольцев, дома и палатки – все скрылось, и только зеленые маковки церкви и звонницы виднелись над чащей.

Навстречу лодкам открывались громадные, по-осеннему бледные воды Амура.

– Весной вода в речке красная, – говорил Кузнецов, цепко держа весла жилистыми руками, – а осенью густая, грести тяжело, пароходу

и лодке идти трудно.

– Я в Амуре горную воду сразу узнаю, – отозвался с соседней лодки Иван. – Горная вода – черная, а сейчас идет коренная.

Поодаль от берега стояли пароход и баржа. Лоцман готовился к отвалу. Тамбовцы сговорились с ним плыть вниз на барже и полезли из лодок на ее борта.

Буксирный пароход пыхтел, разворачивался. Матрос на корме готовился кинуть конец.

Илья увидел, как Дуня полезла на баржу и как ее там обступили солдаты. Он забеспокоился.

– Кидайся в воду, – посоветовала Таня.

Пароход взял баржу на буксир, и тяжелое судно тронулось.

– Завтра будут дома, – сказал Иван.

– А у тебя рука тяжелая, – заметил ему Тимоха Силин.

– Откуда знаешь?

– Ты пьяный меня вчера ударил.

Дуня долго махала с борта белым платком. Илья приехал домой, сел на ту скамейку, на которой Дуня обещала ему за Дельдику глаза выцарапать, и сердце его защемило. Он долго смотрел вслед уходящей барже.

Ночью ударил мороз. Красные и желтые пятна на сопках тускнели, лес редел, выступали синие зубчатые гребни сопки, похожие на комья руды с прожелтью, со ржавчиной. Только на Додьге, в теплом ущелье, ярко краснели клены, а нежно-желтые осины, казалось, подвинулись из лесу поближе к людям.

Погода переменилась. Полили дожди. По ночам шел снег.

Пурга, мороз, лед на лужах радовали Илюшку. Он ждал зимы, как бы торопил ее. Сопки уже побелели, река стала похожа на огромную черную отмель, мелкие волны цвета зыбучих мокрых песков лениво и слабо ползли к берегу.

– Вот когда вода тяжелая! – оказал дед.

Посредине Амура выступила заваленная снегом, белая, тонкая, очень длинная коса, поделившая поверхность черной воды на два озера. Белые сопки, казалось, выросли за рекой. Мимо прошел пароход с сугробами на палубах и пристал где-то за рекой между сопки.

В Уральском часто говорили теперь про церковь. В эти дни забылись проделки Гао и торгашество в храме, корысть и

назойливость попа, драки, охота на гусей, пьянство. Помнилось торжество, общая радость, слезы волнения, просветленные лица, толпа в белых платках и светлых платьях. В сырой, конопаченной мохом церкви крестьяне чувствовали себя заодно со всем народом и своей родней, оставшейся на старых местах, и терпеливо выстаивали такие же непонятные, но торжественные службы.

Когда с озера сквозь белый вихрь, крутившийся над черной рекой, доносились звуки колокола, чувство торжества вновь овладевало душой крестьян. Хотелось бы им чего-то поясней, попонятней поповых проповедей – новая жизнь многое открыла людям, пришедшим на Амур. Но пока что, кроме попа и колокола, у них ничего не было.

Колокол звонил и в пургу, и в туман, и в осенний холод, напоминая людям о старых местах, с которых пришли они сквозь великую Сибирь на берега Амура.

Пришел пароход. Опять Ивану привезли товары. Сгружали ящики, тюки, мешки. А из Иванова амбара часть товаров опять носили на берег, грузили на этот же пароход. Савоська уезжал в низовья. Он должен был сгрузить все на устье Амгуни, где его ждал доверенный Ивана, его дальний родственник, старик Бердышов с поисковыми рабочими. Савоська должен был провести всю партию туда, где Иван на водоразделе между Горюном и Амгунью занял участок, с тем чтобы начинать разработки.

* * *

А за рекой, на сопках, загудели провода. В маленьком стойбище Эчки заканчивали постройку телеграфного станка.^[64] С последним пароходом туда прибыл молодой чиновник с женой и ребенком. Чиновник нанял одного из гольдов сторожить станок и топить печь. Туда же назначены были два солдата, которые должны были в случае обрыва проводов ходить по линии, искать повреждение.

Одним из этих солдат был Андрей Сукнов. Он и прежде работал на проводке телеграфных линий, а теперь выпросился у полковника служить на станке.

По свежавыпавшему снегу бродил он на лыжах с сопки на сопку. Внизу, за Амуром, среди лесов вились дымки. Белела вырубленная релка, как маленькое пятнышко.

По черному Амуру плыли льдины, похожие на стынущее сало. На одной из них с края на край испуганно бегала крохотная рыжая коза.

Провода гудели все сильнее, хотя в воздухе стояла тишина. Где-то далеко-далеко начиналась буря.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Синдан жил у Гао.

– Общество торговцев должно мне помочь, – говорил он. – Кто я теперь? Разоренный изгнанник.

Гао кормил Синдана и поил ханшином, но Синдан замечал: ему уже не выказывали былого уважения.

Одежда его обтрепалась, штаны и куртка лоснились. Живя у Гао, он временами забывал свою ненависть к Ивану, который хотя и разорил его, но был далеко. Синдан злился на своего хозяина.

«Почему он невежлив со мной? Он стал пренебрегать мною, тяготиться. Уж не такой я тут почетный гость, как бывало. И чем дальше, тем хуже».

Синдан был грубый и жестокий человек. Он привык теснить, терзать людей и вскоре возненавидел Гао, потому что жил с ним и не смел тиранить его.

Несколько лет Синдан был властным и богатым. Он и сейчас не верил, что нельзя восстановить былого могущества, хотя он и гол и разорен, товары его потоплены, а лавка сожжена. Синдан привык верить, что торговцы всесильны.

«Если они захотят, все будет мне возвращено. Я опять стану хозяином реки. Тогда уж отомщу не только тунгусам, но и самого Юкану закопаю живым в землю. Гао пожалеет, что пренебрегал мной. Почему он не хочет помочь мне? Семья Гао так богата и влиятельна, что может всего достигнуть. Стоит только поехать на Горюн, припугнуть дикарей, дать взятку русскому начальству. О-е-ха! Если бы мне власть, я бы показал! Нет напрасно я щадил дикарей. Это они меня подвели, знал бы раньше, я бы с них три шкуры содрал. Но почему Гао не хочет мне помочь?»

Синдан ждал съезда торговцев. По осени они обычно съезжались к Гао для азартной игры.

«Напрасно выбрали старшиной Гао. Надо избрать Чензу. Ченза – смельчак. Его брат Ян Суй также мог стать председателем. Он помнит зло. Иван стрелял дробью по его собакам. Он долго будет помнить зло, всю жизнь. Кто будет судить Ивана? Неужели Гао допустит, чтобы Бердышов остался безнаказанным?»

Синдан содрогался от ярости и, стараясь не глядеть на хозяина, тучный, все еще могучий, ссутулившись, выходил из фанзы и долго смотрел на реку.

Близок ледоход, а он все сидит и ждет чего-то... Ехать в Сан-Син? Но с тех пор как убили Дыгена, Синдан опасается ехать на родину. Дыгена застрелили на его речке.

Синдан приходил и ложился в углу фанзы на грязные лохмотья.

– Иди кушать, – звал хозяин.

Синдан молчал.

«Гао ездил к русским, был в церкви, – думал Синдан. – Хочет перед русскими выслужиться. Дает им деньги. Понимаю, зачем он это делает. Это может быть полезно всему обществу. Но мое дело разве этому помешает? Дать русскому начальству богатую взятку, заплатить попам и чиновникам – и все сразу решится. Правда, нужно много денег. Для этого надо собрать их. Председатель должен позаботиться и об этом. А я пойду снова на Горюн и за два года выбью из гольдов такой капитал, что хватит дать взятку всем начальникам и раздать все долги».

Завыли ветры, волны заходили по реке. По утрам лужи затягивал ледок.

В Бельго приехали братья Чензы – Ян Гуэй и Ян Суй. С низовьев явился торговец Чжин, а с озера Болен – долговязый, сутулый У.

Все сочувствовали Синдану, но никто не говорил прямо, что надо отобрать Горюн у Бердышова. Только молодой Ян кричал, что следует убить Ивана.

Хвастовство брата Чензы не нравилось Гао. Ему надоели призывы к убийству. Он чувствовал разницу между собой и членами своего общества.

«С русскими можно жить и торговать, – думал Гао. – Русские крестьяне работают и кое-как торгуют. С ними можно стать по-настоящему богатым. Только не надо сторониться их, не надо ссориться с ними. На родине мы никогда не чувствовали бы себя свободными торговцами. Всякий маньчжурский чиновник, какой бы ни был он начальник, хотя бы генерал, – торгош сам. Надо стать русским. Тогда можно разбогатеть. А мои друзья лавочники из-за своих грошовых дел могут все испортить. Сначала надо отвязаться от Синдана раз и навсегда».

– Надо действовать осторожно! – говорил Гао. – Мы добьемся своего лишь терпением. Надо ждать, хотя бы пришлось ждать годы. Пусть представится удобный случай.

– Старая песня! – Синдан усмехнулся. – Чего еще ждать? Долго ли еще ждать? – Он подбежал к Гао. – А я тебе окажу, что надо дать взятку исправнику.

Торговцы зашумели.

– Молчите! – крикнул Гао Да-пу. – Иди на место! – сверкнул он глазами на Синдана.

Маньчжур отошел. Каждый почувствовал, что Гао был в ударе. Его любили и уважали за дерзкий, острый ум и мужество. Перед торговцами был старшина, всевластный Гао, вольный казнить и миловать. Черные глаза Гао пылали. Это был тот Гао, который однажды собственноручно закопал живым в землю орочена, своего врага. Он не только избежал наказания, но и заслужил этим поступком великое уважение. Гао первый из торговцев выдумывал новые наказания за то, что не отдают долгов.

– Дать взятку? – с едкой злобой воскликнул он. – Дать взятку! О-е-ха! А у Ваньки Тигра нет языка? А у него нет денег на взятку? И дикари не расскажут, как ты мучил детей?

– Ты сам подучил меня, – оправдывался Синдан.

– Кто? Я? – Тут Гао стал перечислять все преступления Синдана. – Надо уметь все делать тихо, не под носом у тигров. О-е-ха! Я старшина, я ваш начальник. Изобью бамбуками! Тебя, младший Ян, за призыв к резне, за непочитание старших приказываю наказать бамбуками. Не смейте ссориться с русскими!

– Хо-хо! – закричали торговцы.

Яна повалили на пол, но Гао тут же простил его.

Синдан, ссутулившись, сидел в углу. Ярость его, казалось, стихла, но на самом деле она лишь ушла в глубь его души, чтобы пустить там корни во все стороны и потом явиться с новой мощью. Синдан понимал, что Яна хотели бить, но стремятся укротить, заставить молчать его.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Наутро приехал Ченза.

Он сразу заговорил про Ивана Бердышова.

– Ивана нельзя жалеть, – утверждал он.

Все опасались Бердышова. Похоже было, что Иван задумал вывести всех соперников на Амуре.

– Нет, суда нельзя избежать! – поднимая оба кулака, завопил Синдан.

– Смерть Ивану! – кричали торговцы.

В это время дверь широко распахнулась, и в фанзу в обледенелой одежде вошел Иван Бердышов.

– О-е-ха! – ужаснулся Ченза.

– Я легок на помине, – строго сказал Иван и поставил ружье в угол.

– А, Ваня, дорогой! – с неподдельным восторгом обнял его Гао. – Ну, иди садись. Мы с тобой всегда братки. Надо хорошо поговорить.

Иван ехал в лодке, подбитой полозьями, то на веслах по воде, то на собаках, выгоняя их из лодки на двигавшиеся льдины. Он замерз, измок и, поравнявшись с Бельго, кинулся в лавку, зная, что завернуть лучше всего к Ваньке Гао; Ему известно было, что торговцы в эту пору съезжаются к Гао и что Синдан живет там.

На всякий случай у Бердышова в обоих карманах было по американскому револьверу.

...Иван возвращался из Тамбовки. Он ездил туда как бы по торговым делам. Он хотел еще раз повидать и Дуню и ее отца. Но Спирьки в деревне не оказалось. Управившись с полевыми работами, он уехал вместе с Дуней, а куда – никто не знал. Иван не мог понять, почему он исчез. Сказали, что ушел на лодке.

Иван жил у Родиона, без дела не сидел, по округе скупал меха и собирал долги и все ждал Спиридона и Дуню.

Лед пошел. Иван поехал домой на лодке, с собаками, – так и не дождался Спирьку. Дальше нельзя было сидеть в Тамбовке.

Котяй Овчинников сказал ему перед отъездом из Тамбовки, что Спирька говорил, будто ищет хорошее место, хочет еще раз переселиться, что он собирается за перевал.

– Илья будет у него зятем, и они с ним уйдут.

«От меня не уйдут!» – думал Иван.

...Бердышов выпил.

– Меня еще рано резать, – сказал он. Подходя к фанзе, он слышал, о чем говорили торговцы.

Все с тревогой посмотрели в угол. Богатырь Синдан сидел там, как загнанный зверь. Он видел, что его бывшие друзья перепуганы, что горячие речи их пусты.

«Вот когда вы струсили», – подумал Бердышов и сказал:

– Ну, Синдан, иди сюда, чего боишься?

Синдан не шел. Иван, медленно ступая, приблизился к нему. Чем меньше расстояния оставалось между ними, тем слабее чувствовал себя Синдан и, наконец, в ожидании удара низко склонил голову, словно силы совсем покинули его, опустил на колени и пал ниц.

– Ты что это? Опять ложишься? Ты уже один раз ложился передо мной – не помогло. Вставай... Ванька, – обратился Бердышов к хозяину, – подыми его, а то я боюсь, что его трону, еще больше напугаю.

Иван присел на кан.

Торговцы стали уговаривать Синдана и подняли его на ноги.

Иван и члены общества быстро разговорились. Все видели в Бердышове не страшного Ваньку Тигра, сокрушающего их торговлю, а гостя. Хозяева были вежливы, умели забыть неприятности и выказать себя радушными.

Гао решил всем показать, что нет такого разговора, на который он не осмелился бы.

– Ваня, дорогой! Это хороший человек, – показал он на Синдана. – Ты его погубил совсем. Нам его шибко жалко. Надо об этом деле поговорить и ему помогать.

Иван выпил водки и почувствовал, что хмель ударил ему в голову.

– Пожалуй, говори, только смотри: я пьянею, не натворить бы чего-нибудь.

– Зачем! – испугался Гао. – Наша тебе братка!

– Ну, раз братка, то говори.

– Зачем ты его погони, как так можно? Надо его обратно пустить на Горюн-речка.

– Он же хотел ехать жаловаться в город. Почему не поехал?

Торговцы молчали.

– Я согласен. Как-то надо ему помочь, – сказал Бердышов.

Все оживились.

– Там, где можно, всегда надо избежать ссоры и договориться, – толковали торговцы.

Добрые отношения их председателя и Бердышова вдруг по-новому представились всем. Они поняли, как справедлив их старшина.

– Но обратно на Горюн его нельзя пустить. Он туда больше не пойдет.

– Тогда надо платить! – воскликнул Гао.

– Сколько? – спросил Бердышов.

Отражая пламя красной свечи, заблестели и выступили из темноты широкий лоб и щеки Синдана. Торговцы подступили ближе. Начался общий разговор.

Иван предлагал за Горюн триста рублей.

– Мало! Мало! – закричали торговцы.

– Речка не его! Ему Горюна больше не видать. А я даю деньги за то, что товары его мы по Горюну катали. А больше я ни за что платить не могу. Должников покупать-продавать нельзя. Крепостное право давно уже отменили. Мне Синдана жалко, и я могу ему помочь. Вот гляди на него, он у тебя тут отощал. А у меня бы жил – растолстел. Он и теперь, наверное, надоел тебе, а скоро всем вам опротивеет. Станет шляться из фанзы в фанзу, злиться, завистничать. Так что я для общего нашего дела могу дать ему триста рублей. А Горюн-речка – ничья. Заходи на нее кто хочет и торгуй.

Все поняли, что Гао умен, но и этот Тигр, кажется, не глупее. Бердышов был прав. Все озирались на Синдана.

– Он уже битый! – продолжал Иван. – И стал не такой, как был раньше, когда палки вырезал. Вон уж из него вата лезет, – схватил он торговца за продранный рукав. – Эй, Синдан, я тебе советую: подбру-поздорову вали отсюда, пока за тебя свои же не взялись. Ты, Ванька, – сказал он хозяину, – поди, и сам думаешь, как бы его отсюда сплавить поскорей.

– Как можно! – встрепенулся Гао.

Иван задел самую сокровенную струну его. Гао решил переменить разговор.

– Тебе кости люби играй... Вот кости, – предложил он Бердышову.

Синдан был глубоко опечален и молчал.

– Паря, попал ты к волкам в переплет, – оказал ему Бердышов.

Иван стал играть с Гао. Он кинул кости. Китайцы обступили столик. Всем хотелось видеть, как будет играть русский.

– Один раз уж я продулся. Помнишь, без шубы когда таскался? А ты хочешь вытряхнуть меня, чтобы я опять разорился, – сказал Иван. – Давай по маленькой. А то нечем будет платить Синдану.

Иван дважды выиграл, но на третий раз, учетверив ставку, все спустил. Он притворно сокрушался. Хозяева радовались его проигрышу.

Иван еще и еще увеличивал ставки и все чаще проигрывал.

– Ну, хватит, – вдруг заявил он. – А то меня оберешь. Меня один раз китайцы в Хабаровске обчистили. Нойоновы же деньги им спустил, – усмехнулся Бердышов и замотал головой.

Все вздрогнули от такой шутки.

– На тебе проигрыш, и я больше с тобой не играю! – Иван кинул деньги и, отойдя, стал набивать трубку.

Торговцы, распаленные зрелищем игры, схватились за кости.

За столик сели Ян Суй и толстяк Гао Да-лян. Вскоре началась общая игра.

Иван лежал на кане и курил. Под шум игры он уснул.

Проснулся он под вечер и по возгласам понял, что идет большая игра. Иван вспомнил, зачем ездил в Тамбовку. «Что я затеял?» – подумал он. На душе было невесело. Вспомнилась вся жизнь, безрадостная, не такая, какой хотелось бы. Он прожил жизнь среди разных народов, а своего не знал. Стремление к Дуне сливалось в нем с жадным интересом к старой родине, откуда вышли предки. Сейчас он чувствовал дружеское расположение к китайцам. Они были такие же скитальцы, бродяги, как и он. Сейчас ему было с ними спокойней, чем с русскими, которые, кажется, о многом догадывались и все были против него. Ему не хотелось подыматься. Он решил еще поспать и повернулся на другой бок.

Через некоторое время кто-то тронул его за плечо. Иван открыл глаза. Над ним склонился Синдан.

– Что тебе?

Маньчжур что-то слабо пролепетал.

– Говори громче.

– Деньги дай... – пробормотал Синдан.

Иван присел и оглядел фанзу. При свете красных свечей полуголые игроки неистово резались в кости.

– Ну что ж, попробуй счастья.

– Горюн продаю... – Глаза Синдана смотрели остро, с тревогой.

Бердышов шутливо сказал:

– Может, с моих денег вернешь все богатство. Тогда мы с тобой встретимся, поцарапаемся еще раз.

Синдан ослабился.

– Ты так улыбаешься, что страх смотреть. – Иван отсчитал деньги. – На тебе еще сто рублей лишних на игру. Паря, мне любопытно посмотреть, че получится.

– Сесиба!^[65] – задрожал Синдан, хватая деньги.

Он поклонился Ивану и, повернувшись к нему сутулой тяжелой спиной, пошел в глубь фанзы.

Синдан дерзко крикнул игрокам что-то, выпрямляясь во весь рост. «Коршун», – подумал Иван.

Его тоже потянуло к столу, он вскочил.

– Мои деньги счастливые. Сейчас всех обыграешь, – подбодрил он Синдана.

Гао-младший зажег свечи. У очага три гольдки помогали Гао-толстяку готовить ужин.

На лакированном столике шла большая игра. Торговцы пьянели от ханшина и азарта.

Ян Суй теперь уже не думал помогать Синдану. Он ненавидел этого тучного богатыря с квадратной лысиной.

Синдан вкладывал в игру всю свою неутоленную жестокость, силу и энергию, скопленные за долгие дни безделья. Если он проигрывал, то смело удваивал ставки и возвращал проигрыш.

Ян Суй вскоре проигрался. Тогда подбежал Ченза, старший в доме Янов.

– Я играю...

У Чензы были деньги, товары, лавка.

Груда лоскутков цветной бумаги высилась около Синдана. Это были выигрыши. К ужасу братьев, Ченза проиграл весь свой капитал. Он готов был убить Синдана. Рыдая, отошел Ченза от столика.

Иван зорко следил за китайцами. Он игрывал и в кости и в карты. Страсть к игре тянула и его в общий круг. У лакированного столика собрались опытные, бывалые игроки, выдавшие и не такие проигрыши. Шла настоящая игра, игра осеннего ледохода. За такой игрой делали состояния и спускали богатства, накопленные годами, становились счастливыми или кончали жизнь самоубийством. Никто не жалел Чензу: на то была игра.

– Ну, я пошел, – вдруг сказал Иван.

– Куда? Сиди, сиди! – закричали игравшие.

– Пойду проведу Григория и сейчас же вернусь, тоже буду играть.

«Не везет с девками, так я с досады хоть их обчищу!»

Иван ушел. У него не было денег, он все отдал Синдану, а занимать у своих соперников не хотел.

– Ставлю речку Хунгари! – кричал Ченза.

– Ставь свою половину! – воскликнул Ян Суй. – Половина речки моя.

– Ставлю свою половину речки Хунгари!

Синдан выиграл половину речки.

– Лавку, речку, что еще? – спросил он.

Подошел Ян Суй и сделал последнюю ставку. Вся речка Хунгари перешла Синдану.

– Теперь я! – воскликнул Гао-председатель.

Он сразу выиграл сто рублей.

Тело Синдана била лихорадка.

– Двести!

Гао проиграл двести рублей.

Глаза Синдана засверкали: «Вот когда я отомщу ему».

– Триста! – крикнул Гао.

– Триста есть! – заорали игроки.

Синдан опять выиграл.

– Сейчас узнаем свою судьбу! – воскликнул Гао. – Пятьсот! – Гао проиграл.

– Тысячу!

– Где у тебя тысяча?

– А это что? – властно крикнул Синдан, показывая на расписки. – Я снова хозяин! Моя речка Хунгари!

Ченза лежал на кане, судорожно обхватив руками колени. Братья его теснились у стола.

– Тысячу проиграл! – в восторге вопили торговцы.

Руки Гао дрожали. Он не хотел выказывать волнения.

– Играй на лавку!

Кинули кости.

Председатель проиграл. Лавка, амбары, собаки, долги, гольдки-любовницы, их битые мужья – все переходило к Синдану.

– О-е-ха! Судьба! Судьба! – кричали кругом.

Глаза Гао дерзко заиграли. Он не сдавался. Крики не смущали его.

– На жизнь! – тонко крикнул он.

– О-е-ха! – прошептал толстяк Гао.

Все замерли.

Синдан кинул кости. Слышно было, как они дробно стукнулись и покатались по лакированной доске.

Лавка вернулась к Гао. Синдан отпрянул.

– Играй, играй! – крикнул Гао.

– Вот тебе так! – Синдан кинул кости.

– Вот так!

– Лавка опять не твоя!

– Нет, опять моя лавка.

Синдан начинал злиться. Ему вдруг показалось, что, рискнув жизнью, Гао перебил его счастье, его удачу. Старшина словно хлестал его, делая выигрыш за выигрышем, и эти удары были злобны, верны.

Синдан все проиграл.

– Ты мясо мое хотел резать, давай на твое мясо.

– I Давай на мясо! – хрипло, с отчаянием вскрикнул Синдан.

Все закричали, когда Гао выкинул предельно большое количество очков. Как ястреб, накинулся он на соперника, схватил Синдана за косу и поволол его.

– На кан! Будем резать мясо на груди.

Синдан вдруг со страшной силой ударил Гао по лицу, но тут на него с яростью кинулись все присутствующие в фанзе. Они били его по глазам, по щиколоткам и между ног.

– Давай на сердце играть! – орал Синдан.

Но его уже никто не слушал.

* * *

Бердышов занял денег у Удоги, чтобы поиграть, и собирался уходить, когда вбежал Кальдука.

– Торговцы человека вешают!

– Ну, доигрались!.. Не успел я денег занять, а они уже и лавки и самих себя продули.

Иван выскочил из фанзы.

Толпа с криками волокла по земле человека, на шее которого болталась веревка.

Пока Иван бежал от стойбища, веревку перекинули через рассошину березы и жертву вздернули на воздух.

– Эй! – крикнул Иван и, выхватив револьверы, открыл пальбу.

Торговцы разбежались.

Иван поднял с земли полузадушенного человека. Это был Синдан.

– Иван... – захрипел он.

Бердышов затащил его в фанзу.

– Зачем, Ваня, стреляй? Так нехорошо! Наша закон такой нету, – с обидой заговорили торговцы.

– Наша закон – его надо убивай! Зачем тебе мешай? – не на шутку рассердился Гао.

– Ну, может, это и так, но зачем мне в грязное дело лезть? Раз уж вы его не удавили, не тащить же мне его снова на виселицу! – оправдывался Иван.

– Тебе ошибка давай.

Синдан присел на кан.

Торговцы долго о чем-то говорили. Синдан вдруг поднялся и стал собираться. Иван понял, что его приговорили к изгнанию.

– Ну, я тебе хороший совет дам, – усмехнулся Бердышов. – Теперь тебе хунхузить можно. Отрасти бороду, выкрась ее красной краской – и пошел! Только русских не трогай, а то худо будет. Ты тормози своих купцов, чиновников: поймаешь такого – и контрами, ^[66] – провел Иван пальцем по горлу.

Синдан поклонился обществу, и все поклонились ему.

Потом он подошел к Бердышову, обнял его, и рыдания потрясли могучее тело старого злодея.

Иван чувствовал, что теперь, если и дальше повести дело умно, Синдан будет его верным рабом и злейшим врагом общества торговцев.

«Идти ему некуда. В Китай он не посмеет возвращаться, да там ему и делать нечего. Рано или поздно он придет ко мне».

Когда Синдан, простившись со своими бывшими друзьями, покинул фанзу, Гао положил на стол указательный палец и, сверкнув глазами, занес над головой топор. Торговцы кинулись к своему председателю, но Гао с силой опустил топор. Отрубленный палец, обрызгав всех кровью, глухо стукнулся о стену. Гао страшно и подумать было, что еще час тому назад он лишался всего своего богатства. Никогда больше не желал он поддаваться своей страсти и снова так рисковать. Он отрубил себе палец, чтобы помнить свою клятву – никогда не брать в руки игральные кости.

– Навсегда прекращаю! – торжественно объявил Гао, подымая окровавленную руку.

* * *

На другой день ярко светило солнце, и река, полная движущихся, сверкающих, как зеркала, льдин, казалась еще громадней.

Гао и Бердышов в обнимку ходили по берегу.

– Моя тебя люби, люби, – приговаривал Гао. – Только напрасно Синдана не удави. Зачем его пожалел? – с упреком воскликнул он.

– Ну, не за проигрыш же человека давить! – отвечал Бердышов. – За что другое – можно. А за долги да за то, что продулся, – не годится! А как же теперь Ченза? Ведь он речку проиграл.

Гао хитро ответил, что речка ведь ничья, что он сдал теперь бывшую лавку Чензы самому же Чензе в аренду и что все лавки на устьях рек, впадающих с правой стороны в Амур, теперь принадлежат дому Гао.

Пьяный Гао кричал, обращаясь к огромному сверкающему полю движущихся льдин:

– Наша Амур пополам!.. Один берег – китайска, другой берег – русска!.. Половинка – Ванька Бердышова, половинка – Гао! Наша с тобой приятели?

– Конечно! Лучше тебя у меня нет друзей.

– И твой самый дорогой мне друг, – обнимал Гао Ивана.

– Нас с тобой одинаково каждый день из-за лесины пуля стережет.

Могут и меня и тебя ухлопать. Я слышал, уж пулю отливают на тебя.

– Черта дело!

– Верно, мы с тобой подходим друг другу: игоян^[67] компания!

Мы, если вместе за дело возьмемся, устроим тут обдираловку и гольдам, и китайцам, и русским. Верно?

– Ах, Ваня, зачем так скажи! Наша с тобой богаты, честны люди. Буду одна компания. Мы честно торгуем. Совсем обдирать не надо. Надо тоненько, честно... А че бы твоя делай, если жизнь проиграй? – как бы шутя, спросил пьяный Гао. – Тогда бы помирай надо? Наша бы тебе хорошо давила. Помирай быстро.

Иван заметил, что пьяный Гао говорит об этом с удовольствием.

– Ты бы меня не пожалел. Я бы тогда уж раскачивался на березе. А вот это видал? – вынул Иван из обоих карманов по револьверу. – Я на такой случай запасся.

Иван был доволен. Он знал, что теперь с обществом торговцев дело пойдет на лад.

Иван намеревался развить в будущем большие дела. И общество китайских торговцев и Синдан еще пригодятся.

Китайцы тоже имели свои планы в отношении Бердышова. Они не отпускали его домой. Он гостил у них уже два дня. Гао Да-пу предложил Бердышову вступить пайщиком в «общество свободных торговцев». Торговцы были в восторге от своего старшины. Это его выдумка. Действительно, очень умно! Завести общую торговлю с Бердышовым, поделить с ним не только гольдские, но и русские деревни.

Иван согласился.

– А ты в самом деле пустил бы на Горюн Синдана? – спрашивал Гао.

– Нет, это я только пошутил. Горюн-речка впадает слева в Амур. Понял?..

– Понял!

Гао хотел спросить Ивана, зачем же он на «правые» речки торговать ездит, но смолчал.

А на Амуре лед все еще шел. Льдины сверкали и ударялись одна о другую, переворачивались и бултыхались в воде, как купающиеся звери.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В обширной фанзе Денгуры – сборище. Поп сидит у поставца с медными чашечками и буддийскими божками и бранит гольдов за то, что не привезли детей учиться. На Мылках открывается школа для гольдских ребятишек.

Гольды угрюмо молчат, пуская из коротеньких трубок обильные клубы дыма.

– Школа цо таки? – с живостью в сотый раз спрашивает Писотька. – Худа не будет?

– Не будет, – отвечает священник. – Сколько раз вам толковать?

По ледоставу поп и Айдамбо ездили по округе, объясняли в стойбищах, что открывается школа, где будут учить детей туземцев молитвам, грамоте, пению. Гольды, как всегда, слушали попа с удовольствием, но детей в школу не везли. Для них поп был чужой и страшный человек. Как доверить ему детей?

– А кто будет противиться, бог того покарает, – объявил поп.

Отцы будущих учеников стали просить попа подождать, кланялись ему, опускались на колени, обещали подарки, жаловались, что ребятишки больны, говорили, что в соседней деревне много умных, хороших ребятишек.

– Будут хорошо учиться. А наши больные, глупые...

Поп был неумолим. Опечаленные, хмурые, выходили гольды от Денгуры. На улице собралась толпа.

– Поп всех загубит, – от одного к другому перебежал толстогоубый Данда. – Не смейте отдавать детей. Надо спрятать их в тайгу.

– Поп идет, поп идет, – испуганно зашептали в толпе.

Все стихли.

В дверях низкой фанзы появился священник с посохом, а за ним Айдамбо.

Данда изогнулся, лъстиво стал кланяться и даже перекрестился.

Поп и Айдамбо двинулись по стойбищу. Они входили в фанзы. Детей силой вырывали из семей, под вой и крики всего стойбища. Айдамбо хватал испуганных мальчишек и вытаскивал их наружу.

Поп и Айдамбо забрали в Мылках пятерых детей и отвезли их на миссионерский стан. Охранять ребят приставлен был Покпа.

– У меня ни один не убежит. Я кого поймал – держать умею, – решительно сказал он. – Хорошо караулить буду!

Поп обещал Покпе, когда школа откроется, отпустить Айдамбо на охоту.

– А мы отправимся собирать учеников дальше.

Поп и Айдамбо уехали.

Покпа зорко смотрел за ребяташками. Приезжали родители, предлагали ему водки, лис, соболей, чтобы отпустил ребят, но старик подарков не принимал. Он позволял отцам лишь поговорить с мальчишками.

– А как тут кормят?

– Поп бьет?

– Почему подарки не берешь? Поп не узнает. Бери.

– Нельзя! Бог все видит! – повторяя слова сына, с важностью отвечал Покпа.

Гольды чувствовали, что если хунхуз Покпа поддался новой вере, то, видно, скоро всем придется подчиниться попу и отдавать ему все, что он потребует.

– Если подальше от церкви убежать, тогда спастись можно? Как ты думаешь? – спрашивали Покпу.

– Кто попу попался, никуда не денется, – отвечал Покпа. – Не убежишь. Пропал уже!

Поп не возвращался. Морозы крепчали. Днем старик рубил дрова, топил печи, ловил вместе с ребяташками рыбу, варил им уху. Озеро промерзло до дна. В глубоких озерных ямах осталось множество карасей. Пробили прорубь. Вода пузырилась. Рыбы сами стали прыгать из воды на лед – так душно было в грязной яме.

Маленькие гольды помогали Покпе, таскали рыбу и дрова. Вечером все вместе топили печь в церкви.

– А это кто? – спрашивали дети, показывая на изображение Христа, распятого на кресте.

– Богу плохо делали. За руки и за ноги его прибили к кресту за то, что правду людям говорил.

– А это кто? – показывали дети на разбойников.

– А это хунхузы.

Сырые дрова горели плохо. Ребяташки бегали в тайгу за хворостом, печь разгоралась. Старик и дети усаживались у огня. Покпа

чувствовал себя у печки, как в тайге у костра. Он невольно доставал трубку и закуривал.

Темнело. Распятие в алтаре сверкало, отражая пламя печи. Покпа рассказывал детям, как однажды черт унес у тунгусов ребятишек, хотел зажарить их и съесть.

Дети жались друг к другу. Покпа, желая развлечь ребят, вспоминал гольдские сказки, путая их с преданиями из Ветхого завета.

– А когда я молодой был, то мы ходили на Сунгари-Ула – на ту речку, где высокие каменные хребты. Как увидим, что китайский купец майму гонит, выезжаем на лодках, кидаем стрелки. Купца припугнем, а товар забираем. Славное было время! Я много хунхузничал – это самое хорошее дело. Вон русский бог, а сбоку два хунхуза. Бог хунхузов простил, а торговцев не простил. Я сам неграмотный, не могу правильно рассказать.

Покпа задумывался. Конечно, если бы все, что говорит поп, было верно, тогда бы ладно. Страдания русского бога, его вражда к торгашам вызывали у Покпы сочувствие.

Покпа сам в жизни много страдал. Но вот в этой церкви сидят ребятишки, насильно разлученные с отцами. «Чтобы учиться, как не надо страдать, их страдать заставляют... Бога к палке прибили гвоздями, а поп за это с нас меха собирает. Как раз то делает, что бог, прибитый гвоздями, делать не велел».

Желая утешить ребят, старик тут же, в церкви, давал им всем по очереди пососать свою трубку.

«Айдамбо из-за девки тут живет, а я из-за него. И оторваться от попа не может, – размышлял Покпа. – Мне бы только Айдамбо выручить, и тогда к чертям отсюда, пусть хоть все ребятишки разбегутся».

Покпа надеялся, что после свадьбы Айдамбо он вместе с сыном освободится от попа. Но в надежде на лучшее будущее оба гольда, сами того не замечая, все крепче попадали в кабалу к попу и к Ваньке Бердышову и опутывали себя все новыми долгами и обязательствами.

Вскоре поп вернулся из Бельго и привез еще шестерых мальчишек. В церкви ударил колокол. На другой день в школе начались занятия. Поп стал учить детей грамоте и счету. На первых порах грамота давалась ребятам с трудом, но считать и писать цифры они научились быстро.

* * *

Наступила зима, и лед на Амуре окреп.

Мылкинские гольды, приезжая в Бельго, рассказывали, что в школе поп, когда учит, бьет детей.

Горбатый Бата плакал и собирался ехать к попу просить за внука.

– Чем-то надо задобрить батьку, – говорил он.

Гольды привыкли, что при случае все тянули с них меха. Они полагали, что и школа открыта с целью вымогательства, чтобы держать детей заложниками, и что поп будет бить и терзать их до тех пор, пока не привезешь хороших подарков.

Бата знал, что подарок никому и никогда не вредит. Сколько жил Бата на свете, сколько перевидал он разных людей, а от подарков, если подарок хороший, никто не отказывался. Если плохой – бывало, не брали, но меха соболей и выдр всегда все принимали охотно. Бали, Падога, Бата решили, что только подарками можно будет спасти ребятишек.

Удога спорил с ними, досадовал на своих сородичей. Он сам уговорил гольдов отдать детей в школу и теперь желал доказать им, что от учения ничего плохого детям быть не может. Собственный его сын Охэ тоже учился у попа.

– Завтра же коня своего запрягу и поеду на Мылки, – сказал он. – Докажу, что там поп ничего плохого не делает.

Осенью Удога, или, как называли его на русский лад, Григорий Иванович, купил лошадь, и это долго было предметом разговоров в стойбище.

– Гольд лошадь завел. Зачем Григорию лошадь? Ездить надо на собаках, а не на звере.

С открытием почтового тракта Удога отдал лошадь тамбовским мужикам. На ней гоняли почту, а Удога получал за это деньги. Раза два в свободное от охоты время старик сам ездил с почтой.

Удога полагал, что пора всем гольдам заводить коней и огороды, учиться жить по-новому. Он видел в крестьянах сильную подмогу для своего народа. Простые правила жизни русских казались ему тверже и лучше казенных законов. От крестьян гольды получали хлеб, овощи,

учились стрелять, лечиться. Удога хотел, чтобы сородичи его стали крестьянами.

Старик сходил на станок, приехал оттуда верхом, запряг коня в сани, взял тулуп, ружье и отправился в Мылки. Бата, Бали, Падога и другие бельговцы в тот же день поехали следом за ним.

Школа – светлое бревенчатое здание рядом с церковью – полузанесена снегом. В прихожей, куда вошел Удога, с пола поднялись какие-то люди. Григорий Иванович узнал мылкинцев.

– Тоже попу подарки таскаешь? – живо спросил его Писотька.

– А зачем здесь ты? Ведь у тебя сын еще маленький! – удивился Удога.

– Племянник учится.

Удога присел на пол в прихожей. Потихоньку, чтобы не мешать уроку, гольды разговорились. За стеной слышался голос священника. Временами что-то отвечали ученики.

Урок окончился. Поп вышел из класса. Гольды поднялись и поклонились ему.

– А-а! Удога! Кстати пожаловал.

Гольды сидели здесь с раннего утра, видели своих ребят, толковали с ними и терпеливо ожидали, когда можно будет подойти к батюшке. Поп позвал Удогу в класс, подвел к нему Охэ, похвалил мальчика. Священник оставил Удогу на уроке. Дети занимались, сидя за столами. Поп показывал им картонные буквы. Удога вспомнил, как в Николаевске его вместе с двумя гиляками учила грамоте Катерина Ивановна Невельская, и прослезился.

После уроков поп пригласил Удогу пить чай. У дверей Покпа разгребал снег деревянной лопатой.

– Устал, фу-у-у!.. – протянул он жалостно и, когда поп прошел, подмигнул Удоге и приложил ко лбу два растопыренных пальца, показывая, что поп «рогатый» – сердитый.

Поп привел гольда в свою комнату. Удога заметил, что хотя он вежлив и угощает гостя чаем и булками, но ему скучно. Похоже было, что поп чего-то ожидал и думал про свое, а похвалы Удоге за устройство жизни на русский лад сказаны им лишь из вежливости.

Под окном проковыляли гольды. Плелся горбатый Бата, за ним брел Бали, и, дотрагиваясь рукой до земли, с трудом переставлял ноги сведенный болезнью Падога.

Поп кашлянул в волосатый кулачище, метнул в окно оживленный, полный любопытства взор и быстро погасил его, приняв строгий и важный вид.

Удога понял, что поп ждет этих гольдов и потому так рассеян и невнимателен.

Едва дверь приоткрылась и в нее заглянул Писотька, как поп приосанился, велел гольдам побыть в сенцах, а сам продолжал беседовать с Удогой.

Гольды, о чем-то поговорив между собой за дверью, вскоре опять вошли в комнату.

Поп оглядел их мешки.

– Ну, что вам? – спросил он.

– Подарки тебе таскали, – робко молвил Писотька.

Бата захихикал умиленно и полез к попу целоваться. Удога, знавший, как дед в душе ненавидит священника, немало удивился его притворству.

Гольды стали вынимать меха: лису, соболя и выдру. При виде их поп, заядлый пушнинник, не мог удержаться от возгласа восхищения. Раскинув пышную лису, он встряхивал ее так, что мех бежал волной.

Удога поднялся. Поп охотно отпустил его, хотя и предлагал выпить еще чашечку чаю. Удога нагонял на него тоску своими разговорами о справедливости и соблюдении законов. На такие речи поп сам был мастер, они ему осточертели, и он знал, что если кто-нибудь говорит так, то с него не разживешься.

Удога вышел из домика. Маленькие гольды-ученики катались с крутого берега на поленьях. День был яркий, свежие снега так и блестели.

Охэ в задумчивости сидел на крылечке, поджидая отца. Завидя его, он поднялся и подошел к нему с грустной улыбкой. Охэ был стройный, не по годам рослый мальчик. У него большая голова и длинная смуглая шея.

Удога обнял и поцеловал сына. После безрадостной беседы с попом он почувствовал к сыну особенную теплоту и нежность.

Охэ и Удога присели за церковью на бревнах. Мальчик пожаловался: поп часто бьет его по рукам линейкой – и стал проситься домой.

Удога понимал, что сыну тяжело, но не хотел отступаться от своего.

– Учись обязательно, – сказал он строго.

Охэ расплакался.

– Учись! – в гневе воскликнул Удога.

Возвратившись к попу, Удога невольно поклонился ему так же льстиво, как Бата. И чуть было не сорвалось у него с языка обещание привезти подарок. Но старик сдержался и, попрощавшись с попом, запряг коня и поехал домой. Охэ провожал его. Он рассказывал, что ребятишки курят трубки, табак достают у Покпы, что маленький сынишка Кады убежал из школы, но поп вернул его и выпорол.

У мыса Удога велел мальчику слезть. Жалея сына, он оказал, что в скором времени возьмет его из школы на несколько дней. Счастливый мальчик побежал обратно в церковь.

* * *

– Откуда, Удога? – окликнул гольда Егор Кузнецов, когда тот подъехал к Уральскому.

– В школу ездил, сына Алексея проведаль.

– У нас Петька тоже бегаёт. Это ещё встарь говорили, что грамотников будет больше, чем лапотников, – пошутил Егор, – все станут одной веры, а толку не будет.

– Я нынче огорчился, – пожаловался гольд, – сын у попа учится, а сам его боится. Жалуется, что поп по рукам линейкой больно бьёт, – продолжал Удога. – Но я рассудил, что хотя и тяжело ему, а пусть учится. Грамота пригодится. Хотя и обижает поп ребят, но все же учит. Сын-то по-русски читать умеет.

Старик слез с подводы и зашагал рядом с Егором.

– Конечно, если бы я русским стать захотел, тогда бы проще – ушел бы в вашу деревню. Вон дочь живет с Иваном. И я бы дом построил. Не прогнали бы. Но я, видишь, своего бросать не хочу. Ведь я сам грамоте учен, когда у Невельского в экспедиции был. Тогда мы хотели всех своих учить.

«Дочь-то с Иваном, да надежен ли Иван?» – подумал Кузнецов.

Чувствуя, что Егор слушает с охотой, гольд оживился и стал вспоминать:

– Жил Невельской в Николаевске. У нас пост был как крепость: городьба из кольев, флаг висел, пушки были. Оттуда офицеров посылали по всему краю, снимали планы, реки мерили. Потом сверху сплав с войсками спустился. Сам Муравьев ехал. Тогда все узнавали, где уголь, где золото, куда какой рекой проехать можно, где хорошая гавань. Невельской – так тот, бывало, голодный, больной, а едет и маршрут чертит на бумаге. Себе никакой выгоды не получал. Говорил, что так нужно. И мы с ним себя не жалели. Гиляк Позь был, чуть не помер, голодный вел экспедицию через Сахалин, уголь искали. Я лоцманил на сплаве. Довел до Николаевска корабли. На Императорскую гавань ходил. Бывало, Невельской рассказывал нам, в каких бухтах порты можно устроить, где дороги проложить, в какие страны ездить. Мост, говорил, на Сахалин можно перекинуть с мыса Погиби через пролив, там ширина верст семь, как Амур. Говорил, машиной можно возить людей. Говорил, можно канал прорыть из Кизи к морю. Мы старались, железо искали... Ради такого дела ничего не жалко было. А теперь словно все забыто... Вот так, – покачал головой Удога и задумался. – Помню еще, как брат Савоська на пароходе из Николаевска в Бельго приехал. Пароход был хороший, бегал быстро, русские сами построили его на Шилке. Теперь пароходы из других стран привозят, собирают в Николаевске, а Невельской говорил: «Можно бы своей силой здесь корабли делать». Пароход гремит, дымит, вся деревня разбегается, бабы ребятишек хватают, в тайгу гонят. Люди на лодках выезжают, хотят в пароход стрелять из луков. А Савоська стоит на мостике... Люди наши как увидели его – обомлели.

Старик довольно засмеялся.

– Я объяснил им, какой пароход, из чего сделан, сказал, что не надо бояться. Я бы и сейчас мог таким делом заняться. Людям бы все рассказывал, учил бы их... Повел бы экспедицию в тайгу или на море. Силы есть!

Удога заехал к дочери, но гостил недолго.

Возвратившись в Бельго, он все еще вспоминал Невельского, как тот много работал и ничего за это не получал. Удога подумал, что и попу нечего зря корыстничать. Он твердо решил не давать ему ничего за учение сына.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Мужики артельно строили баню. Бревна носили на руках в распадок.

– Тимошка, у тебя силы нету. Такого бревна один не можешь сдержать, спотыкаешься. Ну-ка, Пахом, подхвати, подсоби! – говорил Егор.

Тимошка виновато кривился, тужился.

– Не надорвись... Лучше не хватайся один.

– Силин, почему у тебя такое прозвание? – приставал после работы Бердышов. – В шутку, что ли, дали?

– Я откуда знаю! Есть имя такое – Сила. Вот я – Силин. Бывает же Иванов! Че ты вяжешься? А ты пошто Бердышов?

– Кто-то из дедушек у меня со старинным оружием воевал, с бердышом. Вот Кузнецов, так понятно. Сказывают, на Урале железо добывают, а у него кто-то в роду ковал, кузнечил. А уж Силиных должна быть порода из себя видная.

– Эх ты, гуран! – огрызнулся Тимошка.

– Какой же я гуран? Гураны с рогами.

– Эвон почта идет, колокольцы звенят. Эх, поехал бы я по всей земле глядеть, где что есть! – вздохнул Силин.

– Доехал бы до своей деревни, откуда вышел на Амур, – с горестной усмешкой молвил Пахом.

С открытием почтового тракта опять веселей стало в Уральском. Летнее движение по реке не касалось крестьян. Лишь изредка приставали к берегу пароходы и баржи. А зимой каждый проезжий останавливался погреться или заночевать, беседовал, рассказывал новости.

Три подводы с грузом и сопровождающими солдатами поднялись на берег. Один из приезжих, скинув шубу, объявил мужикам:

– Я являюсь посланным из канцелярии окружного начальника для производства переписи живности. – У приезжего было острое веснушчатое лицо и вздернутый нос. – Извольте мне соответствовать!

– Ах, пострел!.. – пробормотал дед Кондрат. – На что ж тебе наша живность?

– Я тебе не позволю со мной так разговаривать, – строго сказал писарь и, подумав, добавил с обидой: – Про то я могу рассуждать.

Остаток дня писарь отдыхал у Бормотовых. Почта ушла.

Писарь объявил, что есть распоряжение с этого года начать взыскивать с переселенцев ссуду, выданную им для обзаведения на новых местах.

На другой день писарь ходил по домам, производя перепись коров, лошадей и свиней.

– А медведя-то? – спрашивал Тимошка. – У нас хорошие медведи, умные. Вот у Кузнецовых Михайло-то: он бревна колет и воду таскает. Запиши-ка.

– Кто это? – переспросил писарь, прослушавший начало рассказа.

– Медведь-то.

Писарь позеленел от злости, но не нашелся, что ответить.

– Вот и церковь построили... Теперь податью поплатиться велят, – замечала Аксинья. – Все, как в Расее.

– Ладно еще, лекаря не прислали, – говорил Пахом. – У нас в Расее лекарь ездит, так его просто нельзя принять. Ему перво-наперво подай кушать. А чем его кормить? Ему наука не позволяет кушать с нами, ему надо на особицу. А у нас дома последние годы и куры-то передохли. А хлеб с гнилушками если подать – кинет. В нашей стороне бедная жизнь.

– Верно, в Расее лекарь, – согласился Егор. Последние дни, что бы ни делал Егор – молотил ли, ездил ли по дрова, – картины прошлой жизни вставали в его памяти. Вспомнил он, как на старом месте приезжали писарь и лекарь. – А то приедут из уезда и начнут назначать – то не смей, это не моги, сюда не ступай!.. А тут уж такой прижимки нет.

– Как-то наши там поживают? Ох-хо-хо!.. – вздохнул дедушка Кондрат, явившийся, как и другие мужики, к соседям, где «стоял» писарь. На этот раз и старик, не в похвалу старой жизни, сравнил ее с новой. – Кланялись нам... Каторга-то поклон принесла. Душа болит. Мы наладились, а они все горе мыкают.

Писарь целый день сидел на лавке, ожидая почты, чтобы ехать дальше.

– Давай-ка пиши нам письма, – молвил дед. – Тебе за это дадим на водку.

Курносому писарю и самому надоело бездельничать. Он переписал живность, больше не стало повода бранить мужиков, и писарь поник, заскучал. Ему хотелось бы выпить, но до сих пор не было предлога потребовать с мужиков водки. «А теперь у меня есть право», – размыслил он и быстро, приказав подать водки, достал бумагу и чернильницу.

Щурясь и клоня голову набок, любовался своим почерком. Писал он с явным презрением к мужикам, как будто не то важно было, что они говорят, а то, как ловко и с какой манерой водит он пером по бумаге.

Вскоре он опьянел и улегся спать.

«Вот таких-то в Расее хватает, – подумал Егор. – Надо бы и от этого отбиться, Ваську бы грамоте как следует обучить...»

Ночью пришла почта. Писарь уехал вниз, а письма остались недописанными.

Егор выехал с почтой вверх: была его очередь ямщичить. На Быстрый Ключ следовало поспеть к солнечному восходу.

Егор замечал, что в эту зиму из Николаевска стали возить много казенных грузов. Раз от разу обозы проходили все длинней, все больше требовалось лошадей и ямщиков, а самой почты часто в кошевках совсем не было.

Ночь стояла морозная и звездная. На Эккский станок, где был новый телеграф, совсем не заезжали. Сопровождающий после Эчки пересел к Егору в кошевку и закурил, сидя спиной к ветру. Это был усатый пожилой человек. Он жаловался, что работы стало больше, что морской порт из Николаевска хотят переводить, и разные грузы перебрасывают оттуда во Владивосток и Хабаровку, и что со временем, видимо, вся жизнь перекинется с низовьев Амура на юг, в Приморье, где земля мягче, где теплей и лучше растут хлеба. Сопровождающий мечтал построить во Владивостоке домик.

– Надоело ездить, – говорил он.

К восходу прибыли на Быстрый Ключ. На устье протоки, бежавшей из таежного озера, на низкой релке среди рубленой тайги стояли три избы переселенцев и почтовый станок. Почта пошла дальше. Егор простился с разговорчивым сопровождающим, покормил коней и после обеда пустился в обратный путь.

Не доезжая мыса, за которым скрылось Уральское, он свернул к Эчки. Навстречу ехал поп на лошади. Егор поздоровался с ним. Священник часто посещал эккский телеграф, посылал посылки попадье в Николаевск.

Солнце шло к закату, но сияло ярко. Повсюду, куда ни кинь взор, горели свежие снега.

Под боком сопки уютился бревенчатый дом на высоком кирпичном фундаменте. От станка по обе стороны выбежали по просеке столбы, тянулись звеневшие провода. Тут был строгий казенный мир.

* * *

Сергей Вихлянцев вырос в старой переселенческой деревне под Николаевском. Он хром на одну ногу, поэтому отец считал его негодным для работы в хозяйстве и послал учиться. Парень оказался любознательным и способным. Он учился хорошо, поступил на курсы телеграфистов и, успешно окончив их, получил чин и должность.

С женой и ребенком Сергей приехал со старого места службы в Эчки. Изба была крепкая, построена за ветром, под обрывом. Дров заготовлено вволю. Аппараты новехонькие. Два солдата ходили на линию, если случался обрыв проводов.

Ударили морозы, река застыла, покрылась густым туманом. В тайге трещали деревья. На тысячу верст кругом, кроме маленьких, зарывшихся в снега переселенческих деревушек, не было жилья.

Сергей не скучал. На станке тепло и уютно. Постукивает аппарат, сообщая свежие новости. На столе – газета, на стене – географическая карта. Телеграфист часто затевал разговор с телеграфистами других станков.

Другая половина дома отведена для жилья. Там широкая, сделанная самим Сергеем деревянная кровать, а в зыбке, подвешенной к потолку, спит его сын. Стол, стулья, шкафчик с книгами и другой – с посудой – между двух обледеневших окон на Амур да горшок с цветами – вот и вся обстановка в доме Сергея.

Рядом с телеграфом – зимовье, где останавливались ямщики. Уральцы, гонявшие почту, бывая на новом станке, перезнакомились и

подружились с Сергеем.

Егор, подъехав к телеграфу, вытащил из саней пудовый мешок. Он привез Сергею гостинец – белой муки.

– Я летом сам собираюсь расчистить клочок да посеять, – с радостью принимая подарок, говорил русский курчавый телеграфист.

Мука была кстати: паек из города задерживали. Сергей уж послал за ним в Софийск солдата.

Жена Сергея завела квашню. Телеграфист надел ватную куртку и сходил за дровами. Кузнецов попросил его приехать завтра утром в Уральское – помочь написать письма на родину, сказал, что мужики дадут ему за это на водку.

– Да я не пью, – весело ответил Сергей.

После ужина улеглись. В избе было жарко. Сергей лежал на кровати и рассказывал Егору, что турки грабят и разоряют славянское население на Балканах, что сербы и черногорцы сражаются против них. Он говорил, что может начаться война с Турцией.

– Перевозки на Амуре идут – это к войне. Во Владивостоке порт укрепляют. Если начнется война с Турцией, то можно ждать событий и на Востоке. Могут за Турцией подняться англичане, а у них флот на всех морях...

Он рассказал про англичан: как они завоевывают все новые и новые земли во всех странах света.

Егор подумал, что раньше все такие события его мало касались, а теперь он живет в другой стране, где и чужие государства близки и океан рядом.

Поздно ночью Егор вышел на двор. Светло горела полная луна. Ночной вид реки, гор и звезд, сияние снегов, тишина на миг околдовали мужика. Густо звенели провода. На тысячи верст вокруг сопки, леса, пади, заваленные снегами, застывшие реки. Егор подумал, что не только гул пурги, но и другие бури – бури людской жизни – стали доноситься теперь сюда по этим проводам. Он знал, что есть на свете разные народы и сильные государства.

Прежде, в первые годы, Егора тревожила близость Китая, который, как он слышал, был многолюднейшим из государств; много толковали всегда про китайцев проезжие господа, даже Барсуков, уверяли, что их надо бояться, что они все возьмут своим числом. Но здешние люди говорили, что сами китайцы народ ладный. С течением

времени Егор совсем перестал видеть возможных врагов в китайцах, хотя Барсуков пугал, что они со временем тут могут всех окитаить. С другой стороны, вот там, за горами, раскинулось море. Хотелось Егору повидать море, он, как и мальчишки его, тая дыхание, слушал рассказы приезжающих из Владивостока и Николаевска. «Что идут перевозки, что укрепляют порты – это хорошо», – думал Егор. Всякая опасность для государства прежде всего отзывалась на мужиках. Мужик платил подать. Мужика на старых местах брали в солдаты, отстаивать государство приходилось своей кровью мужикам. Поэтому крестьяне всегда жадно ловили всякий слух про дела государственные. Но на новом месте в солдаты не брали и налогов не было, и, казалось бы, нечего было Егору тревожиться, но именно тут, где и дети его освобождены от службы, весть о том, что может начаться война с англичанами, озаботила его сильнее, чем когда-либо.

Чем дольше жил Егор на Амуре, тем чаще слышал он про англичан. На море они били китов. Про англичан поговаривали, что у них большой флот, но что среди них много пиратов, и слово-то «пират» Егор услышал только здесь. Говорили еще про Какого-то русского Семенова, который тоже пиратствовал на море не хуже англичан.

«Надо звать на Амур своих, чтобы крепче стоять, когда дойдут сюда эти бури, – думал Егор. – Пока что тут край земли, дикий угол».

Ученый-исследователь Максимов, офицер, бывавший в Уральском с военной экспедицией, не раз рассказывал Егору о том, что, может быть, когда-нибудь заселится сплошь и оживет великое пространство между Волгой и Амуром, будут и города и железные дороги.

Что-будет, если на этих землях люди сядут так же густо, как в тех странах, о которых говорил Сергей? Какая силища будет у такого государства! И, может, станет Амур всей России батюшка, а не одним переселенцам. И заживут люди между Волгой и Амуром, как между отцом и матерью.

Утром Сергей и Егор на розвальнях, закутавшись в тулупы, съезжали с высокого берега. На станке осталась жена Сергея, знавшая телеграфную азбуку.

Мороз ударил градусов в сорок пять. Ночью было ясно, а сейчас в густом тумане трудно разглядеть побелевшую голову лошади. Провода звенели все сильнее.

Егор вспомнил, как, уезжая, полковник Русанов сказал мужикам, что церковь развалится, а телеграф будет стоять веки вечные.

Из мглы, словно отвечая проводам, раздался мерный гудящий удар церковного колокола.

Егору пришла мысль, что такими проводами можно связать Россию воедино, так же как попы связывают людей единой верой.

Сергей рассказывал по дороге, как в бурю огромные деревья, падая на землю, рвут провода, и потому обычно после Пурги работа телеграфа прекращается. Теперь на разрывы линии ходит только один солдат. Сукнов как раз поехал за пайком.

Иногда Сергею самому приходилось вставать на лыжи, ходить в сопки, искать повреждения. Сергей рассказал, что На просеке, около телеграфных столбов, он устраивает ловушки на зверей.

Подвода долго переваливала Амур. Время от времени в тумане проплывали еловые вешки, торчавшие из глубоких сугробов.

Егор пытался представить, что будет здесь потом, когда оживут великие просторы и откроются России и миру сибирские богатства. Как каждый русский труженик, живущий за Уралом, он думал об этом будущем, глубоко верил, что несет тяготы не зря и что такое время настанет.

А пока что вокруг была пустыня.

Колокол еще несколько раз ударил во мгле и стих. Слышно было лишь, как скрипят и поют полозья саней.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

– «Нынче сняли мы урожай пудов по сто двадцать с десятины, – диктовал Егор. – Это ярицу... Гречиха с первого года родится хорошо». Написал? «Поставили избу новую, леса тут бери сколько хочешь. Мы все живы и здоровы, чего и вам желаем. Только первую зиму все сильно хворали цингой. Не знаем, даст ли бог здоровья дальше, но про цингу теперь уж не слышно. А как нынче собрали урожай – первые думы про вас: как-то вы там живете? Не пора ли и вам подняться, тронуться по нашему следу...»

Дед всхлипывал. Всем вспомнилась жизнь на старых местах.

– Жаль старый край! Хорошо и там... А серость, кабала, беднота.

Егор представил всю родню свою: дядю Степана, Семку, Анну, Пелагею, – все они воскресли в его памяти, измученные заботами и трудами. «Уж там бревна не достанешь. Лес любо-дорого посмотреть, а подойти к нему – нужно позволение!»

– «Прошлую зиму женили мы Федюшку, – продолжал диктовать Кузнецов, – взяли невесту из соседней деревни. Осенью рыбачим большим неводом, артелью, со здешними жителями – гольдами. Один невод, бывает, тянет пять сотен рыбин, каждая фунтов по десяти, по пятнадцати и больше. Рыбы тут много всякой, и лови, кто сколько хочет, но мало соли и, если много наловишь, приходится вялить на ветру. Нынче построили мельницу и баню, а то мылись в печах. Хлеб свой...»

«И то еще не все», – думал Егор. Не то хотелось написать ему. Не в том главное, что на Амуре есть зверь и рыба, что земля родит, церковь и мельница построены. Он понимал, что главное не в этом. Ему хотелось бы написать, что живет он тут наново, все создает сам, что это будит в нем небывалую силу, страсть к созиданию, какой никогда в нем прежде не бывало. Он хотел чувство своей радости от новой жизни переслать на родину. «...А от вас привезли поклон кандальники, сказали, что Семка ногу сломал. Мы дали им хлеба. Дедушка теперь все говорит про вас, и все мы часто вспоминаем. А земля и здесь хорошая. Была глухая тайга, а нынче места обтопались, построилась деревня».

Пришел Иван. Он только что возвратился из поездки по гольдским селениям.

– Работает контора? Ты че, Сергей, в ярыги записался? – спросил он телеграфиста. – Смотри, я грамотный, сейчас все разберу. Мог бы сам написать соседям, да мне веры нет, они боятся, что я отвалю в их письме чего-нибудь... Не в Расею ли письма пишем? Ну-ка, настрочи им от Ваньки Бердышова: дескать, собирается на старые места, откуда они хотят податься. Пусть прочтут в письме, что есть на Амуре Ванька Бердышов, по прозванию Тигр, вышел из Забайкалья, родом ведется от расейских же поселенцев, но одичал. И желает заехать обратно в Расею, посмотреть, откуда произошли его дедушки. А почему такое прозвание – когда переселятся, узнают сами.

– Напишет, не развалится, – кивая на телеграфиста, сказал Тимоха.

Сергей молчал.

Начал диктовать свое письмо Пахом. Когда он передавал поклоны близким и соседям, лицо его стало грустным, выражение глаз было детски робкое.

– «Торговля тут не в пример нашей...» В наших-то местах торговли нету – как бы извиняясь, что пишет такое, обратился он к мужикам и к Бердышову. – Там, где мы жили, на деньги и не продают, только на обмен. Ничего не поделаешь!.. Мы не на Каме были, а двести верст в стороне. К нам купцы, бывало, приедут и без денег все возьмут.

– На что деньги, когда и так даром все забрать можно! – подхватил Федор.

– Ну, пиши: «По реке тут плавучие лавки ходят, и в них все есть, что только угодно, – можешь купить. И начальство не шибко притесняет... Мы живем от города далеко. Купили ружья, потому что звери подходят близко. Живем на самом берегу. Земля родит, только требует силы много...»

Федор Барабанов в письме кланялся братьям, а про себя написал коротко. Помянув о материнной могиле, он нахмурился и, отойдя в сторону, долго сидел задумавшись. У всех была тяжесть на душе от воспоминаний о былом.

– Го-го-го! – вдруг вскочил Федюшка. – Уж они там живут! Уж, поди, в Расее всех передрали и недраных никого не осталось!

Парни засмеялись.

– Там реку-то, говорят, всю поделили.

– Молодые вы, дураки! – рассердился дед.

– Ну, Тимошка, пиши письмо, – сказал Егор.

Силин махнул рукой.

– Нечего писать...

– Как нечего? Надо написать, – заговорил Сергей. – Урожай собрал на Амуре?

– Это мало важности, что я урожай собрал. Я везде могу прокормиться. Я самый выгодный человек для царя. Меня на какое болото ни кинь – я проживу. Мне много не надо.

– Чудак ты, Тимофей! Ну, тебе не нравится, так узнай, как дома живут, что там у них нового. Родина же там!

– Вот ты, помнишь, спрашивал, откуда у меня такое прозвание, – обратился он к Бердышову. – У нас дедушка рассказывал, что еще его дед был прозван «Силин». Будто бы сильный был мужик. Невзрачный, а сильный. Клали полную телегу мешков с хлебом, а он подымал ее за колеса. И грыжи не нажил.

– А внуки – те уж не в него, – язвительно промолвил дед.

– Видишь, он был силен, а у нас уж той силы-то нет, род извелся от натуги да голода. Теперь только слава, что Силин, а уж без силы. На старых местах народ изникает, слабеет. Нечего туда и писать зря! Если туда писать, так надо им подвижку сделать. Призвать их к новому-то.

– Вот и призови, – сказал телеграфист.

– Не-ет! Я напишу сам, а то вы смеяться будете.

– Как ты напишешь – ты неграмотный?

– Почему ты знаешь? Туда писать – надо заманивать. Кто со старого места тронется по вашим письмам?

– Народ ищет, где бы жизнь устроить по-новому. Куда бы уйти. Кто на Амур... В урманы... Беловодье какое-то появилось, – толковал дед. – А устроится на новых местах и думает: «Не зря ли старую-то землю кинули, хорошая там земля, кому она достанется, если вся родня оттуда выедет, может, там как-то надо устроиться?..»

Верно, и там хорошо! Любил Егор и ту землю, и те горы, и ту реку. «Хорошо у нас там, сколько про горе ни вспоминай... Не отступился ли я от своего, перейдя сюда? Родина ли мне тут? Не там ли надо было стоять?»

В зыбке закричал ребенок.

– Вон наша родина-то орет, – кинулась к зыбке Наталья.

Она ласково заговорила, утешая ребенка и расстегивая кофту.

Егор просветлел. Сразу, одним словом жена направила по-новому все его мысли.

«Да, Алешке уж тут родина!» – подумал Егор.

Третий сын родился у него. «Один сын – не сын, – говаривал он, – два сына – полсына, три сына – сын. Моим детям уж тут родина».

Силин начал, как и все, с поклонов, перечислил всю родню, описал, как построил дом, как завел пашню.

– Да еще пиши так, – продолжал он, – пиши, пиши, не смейся: «Тут на телеге едешь – колеса красные от ягоды. На деревьях пирожки растут. Весло в реку воткнешь – стоймя плывет, не тонет: рыбы много». Иначе их не зазовешь!.. – при общем хохоте заявил Тимошка.

– Вот я не пойму, почему деда мои ушли из теплой стороны, от яблоков, – перебил его Бердышов. – Расейским хочется на Амур, а мне в Расею.

Гости стали расходиться.

– Ты бы взялся сына грамоте учить? – спросил Егор телеграфиста.

– Пожалуй, – охотно согласился тот.

Наутро Сергей увез письма в Эчки, чтобы со станка отправить их первой почтой.

* * *

Дедушке Кондрату сладу не было со внуками, когда речь заходила про жизнь на старых местах. Васька и Петрован плохо помнили, как там жилось, но ничто российское, по их мнению, в сравнении со здешним не шло.

– Живете вы тут, верно, сытней и лучше, но старые-то места помнить надо.

– В России ичигов нету, – говорил Петрован. – Зимой – лапоть, летом – лапоть... Да еще, дядя Ваня сказывал, лаптем щи хлебают.

– Река – мелкая.

– Соболя нету, только зайца лови.

– Тебе хорошо, – отвечал дед, грозя белым дряблым пальцем. – Тебе уж после меня в землю ложиться. А мне-то как – первому: болота, глина, а я один буду... – Старик всхлипнул. – Тут и кладбища нет. Зароют на бугре. А потом какой-нибудь дурак кости вытряхнет... или водой их размочит...

Расстроенный старик пошел запрягать коня, чтобы ехать за дровами. День был сумрачный, небо заволокло тучами.

Едва дед завел Саврасого в оглобли, как в воротах появился Бердышов. Иван был навеселе. Мохнатая соболья шапка его в снегу.

– Ну что, дедка? Письма уехали? Слава богу!.. Ты не серчай на меня. Ты ведь только говоришь про Расею, а сам, поди, рад, что выбрался оттуда.

От волнения руки у старика затряслись, и он выронил оглоблю.

– Нет, ты не думай так. – Дед отставил дугу в сторону. – Там земля, знаешь, вся сплошь запахана...

Дед подозревал, что все неуважение к старой родине идет от Ваньки Бердышова.

– Ну, что ты расстроился? – воскликнул Иван. – Я пошутил. Сам же я русский, всегда Расею помню и желаю туда съездить.

Иван, трясая головой, пошел со двора.

Старик огляделся, схватил бич и вдруг, размахнувшись, стегнул Ивана ниже спины так, что тот подпрыгнул.

– Ты че это? – обернулся он. – Больно, дедка!

– Ничего! – сурово ответил старик. – Иди с богом. Про Расею больше не шути!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Коротко подстриженный, в сапогах и в русской вышитой рубахе, Айдамбо стоял перед Иваном. С ним приехал Покпа.

– Сватаемся, – коротко и добродушно сказал старик.

– Здорово, Покпа.

– Моя теперь не Покпа! Моя крестили, русское имя дали. Теперь моя другой имя... Мария!

– Как, ты сказал, тебе новое имя? Повтори.

– Мария меня назвал поп.

– Мария? Что так?

– Че Мария? – вспыхнул Айдамбо. – Я ему говорю: конечно, не Мария.

– Че не Мария, что ли? – рассердился старик.

– Да почему Мария? Поп, что ли, пьяный был?

– Такой имя.

– А старуху ты крестил?

– Крестил! Его тоже рубаху надели. Моей старухи теперь имя Аникей.

– Он Аникей, а она Мария, – недовольно оказал Айдамбо. Видно было, что ему уже надоело спорить об этом с отцом.

– Мария – такое имя баба не годится, – рассуждал Покпа. – Конечно, лучше буду моя Мария! Че Аникей! Как баба.

Покпа согласился креститься и все исполнял, как велел сын, но называться именем, по его мнению, похожим на бабье, он ни за что не хотел.

– Нет, Аникей – то имя как раз баба попадает! – отвечал он на все уверения. – Моризэ^[68] – знаешь, че такое? Какой же баба Моризэ!

– Ладно, паря, будешь Маруська, – смеялся Иван. – Это как кому понравится называться. Назови хоть горшком, только не сади в печку.

– Моя теперь Мария. Сынка теперь чистый русский, грамота учит, поповская песня поет, на церковь работает, все понимает.

– А как старуха... Аникей-то?

– Аникей тоже так. Женить велит.

Покпа встал на колени. Оба гольда низко поклонились Бердышову.

– Я тебе скажу, Алексей, что ты мне теперь больше нравишься, чем в поповской одежде. А на охоту не ходил?

Айдамбо дважды ходил в тайгу на промысел и оба раза возвращался домой с хорошей добычей. Часть пушнины он отдавал на церковь.

– А ты кому меха отдаешь?

– Попу!

– А жениться едешь ко мне? Пусть поп тебе невесту ищет.

– Он говорит: если подарка не таскаем – грех, – вступился Покпа. – Венчать не будем. Тебе тоже привезли! – делая вид, что вспомнил, воскликнул старик. – Поп правду учит. Правильно учит. И ты тоже правильно учишь. Но я знаю: без хорошей шкуры не проживешь.

– Конечно! – весело воскликнул Иван.

– Я лучше знаю, что хорошим людям надо. Теперь у нас два хозяина и два долга, – с простодушным видом продолжал старик. – И нам в два раза больше мехов надо добыть, чтобы домой на озеро уехать. Еще мы наша дом мыли! Разный барахло тряхали... Невеста чистенький дом поедет, – тянул Покпа. – Ну, говори, наша женили будет, нет ли? Че играешь? Я че даром чистился, рубаха менял?

– Мне это не надо было. Для меня ты мог рубаху не менять. Ну, да ладно!

Самые богатые женихи были приучены ездить к Ивану. Долго хлопотали они из-за девушки, но Иван так вел дело, что все надеялись, но никто не был уверен.

Лишь Бердышов знал, какие выгоды были ему от Дельдики. Но нынче наступала пора отдавать ее замуж. Иван тянуть больше не собирался, но и выдать ее, полагал он, надо с умом. Айдамбо был лучший охотник во всей округе, и он любил ее.

Иван позвал жену и Дельдику.

Дельдика давно ждала этого дня. Она потупилась, но все же на миг взглянула на Айдамбо. Он стоял перед ней счастливый, растерянный, с любовью во взоре.

– Вот Покпа из-за тебя даже бабье имя взял, – сказал ей Бердышов.

– Че бабье? – возмутился Покпа.

Все засмеялись.

– Но уж уговор такой: оба должны сдавать пушнину мне, а не попу. Ладно?

– Ладно, – покорно ответили отец с сыном.

– И торо тебе за нее? – спросил Покпа.

– И торо мне.

– Ладно, ладно, – кивнул Айдамбо.

Гольд отдал невесте подарки: колечко с камнем, шаль и башмаки, такие же, какие были у тетки Анны.

В этот день Савоська съездил за Кальдукой.

– Дочь твою за Айдамбо выдаем, – сказал ему Бердышов. – Созывай всех на свадьбу.

Старичок ужаснулся:

– А торо? А Денгура? Уй-уй! Меня убьют! Род войну откроет... Да вон и сам Денгура идет!

* * *

В красной шубе и шелковой шапке Денгура подступил к Бердышову. За поясом у него был огромный нож. Толпа гольдов, скрипя рыбокожъей обувью по снегу, обступила Ивана. Куда бы ни глянул он с крыльца, везде виднелись остроскулые темные лица, меховые одежды.

– Зачем обманываешь? – кричал Денгура. – Почему жениться не даешь?

– Кто тебе жениться не дает? Ты одурел от старости.

– Жениться мне обещал, а девку отдал другому.

– Так иди женись! Что ты ко мне вяжешься?

– Женись! – с насмешкой воскликнул старик.

Он молча оглядел толпу, как бы призывая всех в свидетели, какой Иван обманщик.

– Ты Кальдуке за девку платил? – спросил Иван. – Ты получил, Кальдука, торо? Верно?

– Верно, – выбрался вперед Кальдука Маленький, насмерть перепуганный. Он боялся, что сейчас на нем, как на самом бедном и слабом, выместят зло и те и другие.

– Верно, верно, – подтвердил, в свою очередь, Денгура.

– Вот видишь, ты сам согласен. Ты дал калым, шибко богатый калым. Верно?

– Конечно, богатый, – согласился Денгура.

Толпа пришла в движение.

– А теперь что тебе надо?

– Жениться надо.

– Ну и женись.

– Какой ты хитрый! Как женись, когда невесты нету? Ты ее другому отдал.

– Кого? – грозно спросил Иван.

– Девку!

– Э-э! Какой хитрый! Ты сватал одну, а хочешь жениться на другой. Нет, женись на той, которую сватал. Ты меня и Кальдуку обмануть хочешь? Это ты в старое время мог так обманывать. Помнишь, как ты всех дурачил? Вон у Писотьки жену увел, отдал Дыгену. Так было? Молчишь? Вот как ты обманывал! Зачем же ты врешь перед народом?

– Как это врешь? – опешил Денгура.

– Цо таки, цо таки! – пробирался вперед Писотька. – Конечно, обманывай его, – показал он на Денгуру, мгновенно забывая свое намерение вступить за него. – Обманывай, обманывай! – перебил он бывшего родового старосту, вдруг вспомнив былые обиды.

– Так на ком же я должен жениться? – закричал во весь голос Денгура.

– Как на ком? На невесте!

– А кто же моя невеста?

– Косая Исенка!

Толпа загрохотала.

– А Дельдика? – слабым голосом спросил Денгура.

– А Дельдика – моя дочь с тех пор, как бежала от китайцев. Ты лучше соглашайся, а то тебя будем судить. Дельдика помолвлена с парнем из вашего же рода. И ты не смей мешать ему, а то утащим тебя в церковь, отдадим попу, скажем, что ты опять шаманил.

– Как же так? – недоумевал Денгура. – А ты еще говорил: «Смотри в окошко на нее...»

– Ну да, Исенка гостила у нас, гуляла. Я как раз на нее показывал. Откуда же я мог знать, что ты не на ту смотришь?

– Ладно, пусть Исенку! – вдруг воскликнул Кальдука с таким видом, будто его долго уговаривали и вот теперь он, наконец, согласился. – Еще даже в придачу можешь взять Одаку.

– Одаку не отдавай, – сказал Иван. – Мы с тобой еще возьмем за нее торо.

– Нет! – не сдавался Денгура. – Ты сказал: «Гляди в окно, она в бархатном салопе».

– Ну, в салопе, в халате – какая разница?

– Дельдика была в бархатном!

– И косая тоже в бархатном, – быстро возразил Иван. – Только истерся бархат.

– Конечно, так, так! – подхватил Маленький. – Шерсть истерлась, а шкура осталась. Самый бархат раньше был.

– Теперь женись на косой Исенке! – воскликнул Савоська. – Я ей дядя и тебя убью, чтобы девушек не позорил!

Денгура струсил. Он попробовал выговорить себе скидку.

– Нет, ты дал нам слово заплатить полный торо, – возразил Бердышов. – Слово – закон! Если мы уступим, то получится, что не ты нас хотел обмануть, а мы тебя. Как обещал, все должен исполнить. А Исенка девка молодая, крепкая, приветливая, работница. Она хорошей женой будет. А ты умен и хитер, – польстил Иван старику.

Кальдука был доволен. Торо не надо было отдавать, Покпа за Дельдику обещал новые подарки.

– Смотри, тебе все почти даром обошлось. Ка-ак ты меня хотел обмануть! – покачал головой Иван, обнимая Денгуру и направляясь с ним в избу. – Исенка только косая, а девка она красивая, здоровая. Ты ей нравишься. Ей лет двадцать восемь, она тебе будет как раз. А на молоденьких жениться нехорошо. Молодая от тебя все равно убежит.

Денгура глубоко задумался.

«А может, в самом деле жениться на Исенке? Сделать вид, что это я хотел Ивана обмануть».

Приехал тесть Ивана. Удога, или, как его все звали, Григорий Иванович, – высокий красивый седоусый старик. Он крепко обнял Ангу. Григорий Иванович явился, чтобы благословить Дельдику.

– А я, Ваня, нынче тоже дело делал. Люди не хотели детей в школу отдавать, а я растолковал им, что грамоты страшиться не надо.

Своего Охэ сам отдал в школу, первый вызвался. Я нынче много обид на себя от народа принял.

– Ну, как твой конь?

– На станке почту возит, – отвечал старик.

Денгура и Кальдука покатили в Бельго решать свои дела.

– Ты хорошо сделал, что проучил Денгуру, – сказал Григорий Иванович. – Ты, Ваня, всем угодил. Исенка с охотой пойдет за него, и он мужик еще крепкий. Может, будут хорошо жить.

– И все смеются! – подхватила Анга.

– Верно, всех развеселил! – воскликнул Бердышов. – Все довольны и меня же хвалят. Это надо уметь так обманывать!

Айдамбо и Покпа поехали к попу уговариваться о дне свадьбы. Поп согласился венчать молодых гольдов.

– Но с условием, чтобы меха вы сдавали не только Ваньке Бердышову, но и мне. Ладно?

– Ладно! – чуть не плача, ответил Покпа.

– Ты как-то отвечаешь неохотно, – сказал поп, хмуря рыжие брови.

– Ладно, ладно! – крикнул Айдамбо, видя, что у отца уже глаза засверкали и он готов схватиться с попом. Ему казалось, что если придется добывать двойное количество пушнины, так и на то он согласен, лишь бы жениться на Дельдике.

– Оба нам помогают, и оба с нас здорово шкуру дерут, – говорил Покпа сыну по дороге из церкви. – Так помогают, что мы скоро с голоду сдохнем.

– Не сдохнем! – отвечал Айдамбо. – Только бы жениться, а там еще посмотрим!..

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Дул сильный ветер, низовик. Несло снег с деревьев. Поземка переметала путь. Ветер все крепчал, и громадная река была как в белом дыму.

Дельдика, разодетая по-городскому, в шубке и пуховой шали, отъезжала в церковь. Анга благословила ее иконой. Дельдика перецеловалась со всеми.

– Мужики-то не поддавайся, – приговаривала, обнимая ее, Татьяна.

Дельдика расплакалась.

– Ну, скорей едем, поп ждет! – весело крикнул Силин. – Жениться так жениться!

Бабы всхлипывали. Татьяна и Наталья помогли Дельдике сесть в кошеву.

– Ну, пора!

Зазвенели бубенцы, кони тронулись. Тимоха гикнул, и кошева с грохотом помчалась с крутых съездов релки.

Дельдика в последний раз махнула платочком.

Следом за тройкой, лежа в санях, покатыл на жеребце Бердышов.

Свадьбу решено было справлять в Мылках, в новом доме Айдамбо. В этот день мимо Уральского проезжало много нарт с нарядными гольдами.

Толпа уральцев, провожавшая Дельдику, расходилась по домам.

«Скоро и я так поеду», – думал Илья.

– Хорошая была девка, привыкли мы к ней, – говорили бабы.

– Как своя!.. Такая славная у нас выросла, – оказала Бормотиха. – Не ваш бы Егор, была бы она больная от купцов. Так бы и высохла!

После пурги потеплело. Голые вершины сопок, занесенные снегом, выступили из рыжей тайги. Илья вспомнил, как он бегал на эти хребты охотиться, приносил шкурки Дельдике. Казалось, это было так давно...

Зазвенели колокольцы, снизу шла почта. Белые от мороза кони медленно тянули по сугробам тяжелые лубяные расшивы с громадными кожаными кошельями.

* * *

С обозом вернулся из Софийска Андрей Сукнов. Телеграфист посылал его туда по делу.

– Хороший солдат! Молодой, а бывалый, – говорил про него Егор.

Он позвал солдата и Бормотовых к себе.

– Когда же свадьба?

Солдат ждал письма из дому.

– Ну, рассказывай новости. Люблю тебя слушать.

– Я тут привык, – тихо говорил Сукнов. – Здесь я положил годы. Мы, бывало, в тайгу придем – ранцы долой, ружья в козлы, палатки разобьем. Тайгу рубим, дома ставим, посты, станки... Много я тут повидал.

Работал Андрей и на высоких скалах, в душистой южной тайге, где ставились первые дальнобойные батареи и где, бывало, тайфун достигал такой силы, что казалось, дышать нечем, не успеваешь ртом воздух хватать.

Наталья и Татьяна, обе коренастые, босые, смуглые от загара, с белесыми бровями, обнявшись, слушали солдата.

– А теперь желает осесть на Амуре! – с восторгом восклицал Тереха.

Вечером бабы пряли, пели. Мужики рассказывали сказки.

Андрей и Авдотья сидели на дровах за печкой. Солдат долго играл на балалайке.

– Телеграмму можно отбить, куда желательно, – говорил он. – Полковник завсегда говорил, что телеграф – первое дело.

Утром Сукнов съездил к попу, отдал ему документы и пакет от начальства.

* * *

Из тайги вышел обоз оленных тунгусов. Заиндевелые рогатые олени, понуро опустив головы, целыми днями простаивали у дома Бердышова.

С тунгусами пришли Юкану и трое русских, рослые, длиннорослые, одетые в дубленые полушубки и в старинные суконные полукафтаны.

Тунгусы грузили в нарты тюки, бочки с маслом, ящики с инструментом, муку, спирт. Савоська, уже давно возвратившийся с устья Амгуни, распорядился ими, кричал, показывал, что и как надо класть и перевязывать. И тунгусы и русские слушались его.

Из Мылок со свадьбы вернулся Иван.

Далекие леса синевой вползали на хребты к белым вершинам. Олени позванивали колокольцами.

У бердышовской избы толпились мужики, гольды и ребятишки.

– Еду в тайгу на прииски, – говорил Бердышов. – В такие места, где топко. Летом по болоту не доберешься. Вернее сказать, доберешься, но трудно грузы доставлять. Все завезти надо санным путем. А ты, Илья, все неженатый?

– погоди, вот скоро уж... – с неприязнью поглядывая на рогатых зверей и побаиваясь подступить ближе, отвечал за Илью Пахом.

– Что ты боишься? Олень не страшней коровы. Тунгусы коров боятся, а ты оленя.

Илья завидовал Бердышову. Он с большой охотой пошел бы вот так в тайгу на прииск.

Иван оделся в оленью парку и в белые высокие торбаса.

– Поедем далеко, до Тамбовки; там свернем на Горюн – и по нему в верховья, а потом по озерам и болотам.

Морозный пар клубами валил из его рта.

– У тебя, поди, уж и заявка сделана? – спросил Федор у Бердышова.

– Не без того! – потрянул головой Бердышов так, что замотались длинные уши его шапки. – времена переменялись: молодые женятся, а мы хватаемся за новые дела. И ты, если хочешь торгашить, брось все, завози товар. Успевай, Федор! – похлопал он мужика по плечу. – А то тут найдутся другие... А ты думал, что я век буду развешивать пшено да муку? Нет, я тоже хочу развернуться.

– Где ты оленей-то нанял?

– Пошто нанял? Купил! Это теперь мои олени, – весело ответил Бердышов. – А летом из Николаевска пароход потянет вверх по Амгуни баржи с людьми. Много людей я нанял.

На разных речках Иваном еще в былые годы найдены были россыпи, богатые золотом. Теперь он чувствовал себя в силе, чтобы начать на них работы.

Анга в старой шубейке хлопотала у возков. Она была счастлива. Ее Иван прямо и решительно шел к цели. Она радостно помогала ему готовиться, чувствуя, что нужна.

– Чего еще ждать! – говорил Иван. – Дай пожить, пока не состарились.

Анга напекла на дорогу пирогов, нажарила оленьего мяса и наморозила два куля пельменей.

– А ты, Илья, слышал, что под Тамбовкой барс объявился? – спросил Иван парня. – В деревне все испугались, и никто не смеет выйти в тайгу убить зверя. Я бы, если на прииски не ехал, проучил этих тамбошей.

Желваки заиграли на скуластом лице Ильи. Он давно хотел показать тамбовцам, как надо охотиться.

Бердышов рассказал про охоту на барса, как один смелый охотник ловко убил матку, подойдя к ней вплотную, а барсенка захватил живьем.

Тоскливым взором наблюдал Илья сборы каравана. По виду его нетрудно было догадаться, что новость, сообщенная Иваном, не дает ему покоя.

– Только барс – зверь чуткий: к нему надо подкрадываться в одиночку, осторожно. Но смотри не попадись ему. А то Дуня другому достанется. Зато если убьешь, она тебя шибко полюбит. А зверь тебя сгробет – тогда худо. Но если ты хороший охотник, зверь это чувствует, тебя испугается, никогда не сгробет, можешь подходить к нему.

Иван отошел к оленям.

– Онакер! Старик! – хлопал Иван по морде могучего оленя. – А вот Ыйден – Царь!

Заслышав свои клички, широкогрудые звери вздрагивали.

Тунгусы уселись в нарты. Иван поцеловал жену и девочку.

– Ну, барыня, обнимай дедушку. – Савоська подставил маленькой Тане обмороженную щеку.

Иван оглянулся на избы переселенцев. Егор с мальчишками стоял на бугре. Бердышов махнул им рукой.

Колокол зазвенел на груди у Онакера. Юкану протяжно завыл, охотничьи собаки россыпью пошли по снегу, перегоняя оленей. Савоська выстрелил в воздух.

Олени и нарты быстро окрылись в синей утренней мгле. Только звон колокольца, подвязанного к груди Онакера, доносился с реки.

– Эх, я бы опять с дядей Ваней поехал! – с чувством признался Васька.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Посредине улицы в Тамбовке, у амбара, опираясь на ружье, стоял Спиридон Шишкин. На нем рыжая куртка самотканого сукна, ичиги, высокая папаха. На усах настыли сосульки. Бороду и воротник забелила куржа.

Из амбара вылез коренастый темнобородый Родион в одной рубахе и беличьей шапке.

– У вятских все неладно, – вымолвил он, вытаскивая через порог амбара мешок с чем-то тяжелым, – то комары коня склевали, то тигра в избу залезла. Уж вятский так вятский – народ хватский.

Густой, лохматый иней обметал под крышей тяжелые бревна амбара. Голубые пучки лоз торчали из берега. Голубые избы тянулись по снежным холмам.

Вся деревня была в клубах тумана и дыма, и мужики, разговаривая, пускали белые клубы.

Спиридон чуть свет бродил с ружьем около росчистей и огородов. Идти на тигра в глубь тайги в одиночку мужик не решался. А делить честь охоты на тигра со своими соседями не желал.

– Тигра уже смеется над вами. Она скоро в деревню жить переедет, – закрывая амбар на чеку, сказал Родион. – Говорит, в тайге холодно ей.

Из-за угла показался Котяй в желтом тулупе. На правом плече его дулом вниз висело ружье.

Скрипя по снегу, Сильвестр семенил короткими ножками через улицу.

Заметив, что у амбара стоят заядлые охотники Родион и Спирька, полагая, что речь у них идет не иначе как про тигра, тамбовцы вылезли на улицу, и вскоре вокруг Родиона собралась вооруженная толпа. В эти дни без оружия никто не выходил из дому.

– Я смотрю, что такое! – с жаром воскликнул Родион. – Охотники боятся в лес идти! Тигра объявилась, и вся деревня как в осаде. – Родион взвалил мешок с сохатинными стегнами на плечи и пошел прочь.

Долговязый Котяй, а за ним и остальные мужики пошагали за Родионом.

За избами вошло солнце. Легкий ветер метал дым из труб и потянул по небу розовые каракули. Мужики ввалились в обмерзшую дверцу. В жарко натопленной низкой избе они расселись за вымытым добела столом.

– Пока вы будете уговариваться, тигра у нас всю скотину передавит. – Широкий, коренастый, с грудью колесом, выпиравшей из-под темной рубахи, Родион говорил твердо, с уверенностью.

– Ты, Спирька, не лезь. Не похваляйся. Тебе никогда тигру не убить, – тонким голосом говорил Сильвестр.

– Кому? Мне?! – сверкнул глазами рыжий Спирька.

– Хотя бы...

– Да я лучше тебя охотник!

– Ты-ы?... – с презрением оглядел его Сильвестр. – Нет, я лучше!

Ты – Лосиная Смерть, а не тигриная!

– Как ты можешь знать!

– Я лучше! – злобно кричал русский толстощекий Сильвестр.

Дверь неожиданно распахнулась, и в избу с рыданием вбежала Петровна.

– Что такое? Тигра? Где? – вскричали мужики.

– На скотник к вам залезла! Дунька и Арина с ней сражаются!..

Мужики схватили ружья. Кучей толкая друг друга, они долго не могли пролезть в дверь. Родион сильным ударом плеча вытолкнул их всех. На улице началась беспорядочная стрельба.

...Арина и Дуняша ждали гостей из Уральского и пекли пироги. Вдруг закричали ребяташки. Мать глянула в окно.

На стайку^[69] прыгнула громадная пятнистая кошка.

– Тигра! – воскликнула Арина и схватилась за детей, пересчитывая их.

Все были здесь.

Зверь стал разгребать жерди на крыше. В стайке испуганно замычала корова.

Буренка была кормилицей всей семьи. От нее ждали нынче теленка. Не помня себя, женщина с криком кинулась наружу.

– Да я тебя!.. Ах ты, окаянная!

Дуня выхватила из печи головешку и выбежала следом. Голоса что есть силы, но не решаясь подступиться к зверю, мать и дочь бегали у крыльца.

Зверь поджал хвост и прыгнул с настила на крышу. Он злобно замыкал.

Дуня слышала от охотников, что тигр боится огня. Несколько лет назад охотник, сидевший у костра, отбилась ночью от тигра, кидая в него горячие угли. Размахнувшись, изо всей силы, она пустила в зверя головешкой. Пламя обожгло ему морду. Зверь фыркнул и покотился по крыше на другую сторону.

В это время раздалась пальба, и гурьбой набежали мужики. Сильвестр кинулся к стайке.

– Ладно все же я дал ей! – приговаривал он. – Одна пуля попала все же!

– Кхл... кхл... – смеясь сдавленным смехом и багровея, трясся Родион.

– Ты ее и не видел, эту тигру! – молвил Спиридон. – Да это и не тигра, а барс! – воскликнул он.

Во мгле зазвенел колокол, и вскоре караван оленных нарт потянулся на рысях из-за острова.

Бердышов остановился у Родиона. Мужики толпились на дворе и в избе, удивляясь и любопытствуя. Низкорослые тунгусы в меховой одежде по-русски не понимали, а бородатые староверы, сопровождавшие Ивана, отмалчивались. Иван сказал, что едет на прииски, но толком ничего не объяснял.

– Я задержусь на денек у тебя, Родион, – говорил Бердышов хозяину. – У меня старший олень что-то неладный. Хочу дать ему отдых.

– Пустяки, Ваня. Это тебе кажется, – уверял Савоська.

– Нет, пусть отдохнет. Посмотрим, каков он завтра станет. Лосиная Смерть мне говорил, у вас ягельник хороший есть. Пусть покормится.

Пошли к соседу узнавать про ягельник.

Сын Родиона и тунгусы угнали оленей к вершинам гор.

В избе Родиона собрались девки. Иван, по обычаю, роздал им гостинцы.

– Ну, любишь меня? – шутливо спросил он Дуню.

– Люблю! – она в тон ему ответила задорно.

– Ну, поцелуй! – подставил он тугую щеку.

Дуня, вытянув белую шею, поцеловала осторожно.

– Ай, срамница! – завизжали девушки.

«А что бояться? – подумала Дуня и с гордостью взглянула на подружек. – Даже забавно!»

– Эх, Дуня, ягода моя! – воскликнул Иван. – Тебе за это подарок.

Молодежь помчалась по домам показывать обновки.

– Спасибо, дяденька, – скромно вымолвила девушка, оставшись с Бердышовым наедине.

Иван взглянул еще пристальней.

Из-за нее терял он всякую радость от своей веселой жизни, из-за нее не поехал с товаром на Амгунь, ездил по деревням вокруг Тамбовки, ждал, как зверь на лежке, когда с отцом вернется она с охоты. Настал час, надо успевать. «Была бы она моей женой, да я бы весь Амур перевернул! Попы тут продажны, они мне все сварганят, что я захочу». Ангу, как ему казалось, он не обидел бы. «Погорюет да смирится, у них в семьях по многу жен, их бабы привыкли к этому. Уж она и теперь чует».

Из-за Дуни сыграл он злую шутку с Ильей, пробудил в нем желание идти на барса в одиночку, а потом еще подумал, что Илья дитятко малое и стоит ли его подводить. «Хоть он и зверобой первейший, а детей навек останется!»

Из-за Дуни, еще когда была подростком, Иван задержался на гульбе в Тамбовке, из-за нее, под ее взглядом, гнался по цельному снегу в день Таниной свадьбы за конями, из-за нее захватил Горюн, развернул там торг по всей тайге, сбил Синдана, знал, что ей об этом расскажут. К ней только стремился, когда на далеком таежном озере ночью, проснувшись под удары шаманского бубна, мечтал об иной жизни.

И вдруг узнал, что все зря, что любит она другого. И с тех пор Иван ушел в себя, прежде в самом деле шутил, а теперь только делает вид, что шутит. «Нет, Иван, гни свое...»

Он надеялся на силу, на богатство и на ловкость своего ума.

– Ты помнишь, малая была, про книжку меня спросила? Я с тех пор и читать приистрастился, – заговорил он. – Читаю, а все мне кажется, что чего-то не хватает... Я бы тебе читал в голос. – Он усмехнулся.

У нее был вид, как у птицы, которая услышала первый отдаленный выстрел охотника, подняла голову и не знает, взлететь ли и

умчаться прочь, или отсидеться на месте, пока опасность пройдет стороной и все стихнет, или, быть может, промчаться дерзко над охотником, сыграть со смертью.

– Дуня, ведь ты Илью не любишь, – твердил он свое, – а я тебя люблю! Одумайся да полюби меня. С Ангой я не венчан... Не люблю ее! Я в несчастье, погубленный пристал к ним, сам стал гольдом, поднялся, а всю жизнь ждал, что придут поселенцы с Расеи и полюбит меня девица. Так мне и колдовали, предрекли с тобой любовь. У меня шея крепкая, руки дела не боятся. Мне люди говорят, что я всю тайгу захвачу. Было бы для кого! Мне надо ради чего-то жить... Я бы горы своротил – тебе бы все! Но я все брошу, и прииски... Зачем мне?

Казалось, он говорил искренне. Он не жалел богатства.

– Дуня, ну, скажи... Скажи!.. – ласково молвил он. – Почему молчишь? Скажи смело...

– Илюшу люблю, – клоня голову, прошептала она слабо, стыдясь словно, что так жестоко обижает дядю Ваню.

Втайне ей так приятно было слушать все его слова. Но идти за него, за женатого, за приятеля отца, за старого, – ему уже лет тридцать пять, верно, – да что он, смеется!

«Ну, что с ней будешь делать?! – думал Иван. – Как я могу заставить ее полюбить себя? Илья ее околдовал. Бойкая, ловкая, ума – палата... Как она не поймет?»

В голубых глазах Дуни мелькнул огонек.

«Или она играет со мной?» – подумал Иван, и в этот миг душу обдало жаром. Глаза ее смотрели открыто, вызывающе, озорно; они поднимали в нем зверскую, неведомую силу. Казалось, она понимала, что происходит с ним. Сейчас он готов был на любое преступление...

Иван протянул руку, обнял ее крепко.

– Дуня...

– Да поди ты к чертям, дяденька, с такими шутками! – вдруг грубо ответила Дуня и оттолкнула его.

За дверью послышались голоса. Тунгус бранился с Савоськой.

Иван засмеялся и замотал головой.

– Разве ты меня не любишь? А я надеялся! Но все равно помяни мое слово...

Вошли Спирька и Родион.

– Помяни мое слово!.. – с деланной ласковостью повторил Иван.

Народ к нему все шел и шел.

– У нас к тебе дельце, – таинственно шепнул Санька. – Зайди вечером.

* * *

Шатровые ворота Овчинниковых утонули в сугробе. Из тяжелых снегов курился дымок. Белые пряди инея, как седая грива, висят над крышей и над дверью. На цепи лязгает, лает собака. В просторном, полупустом доме Овчинниковых, как в лабазе, пахнет мукой и залежалым товаром. Пол застлан половиками.

Братья – голубоглазый Санька и кареглазый Котяй – уселись по обе руки гостя. Вечер шел в разговорах о торговле и охоте, но между делом Санька помянул про главное. Он просил Бердышова помочь женить Терешку.

– На ком желательно? – оживился Иван.

– На Дуньке Шишкиной. А я тебя так уважу, что удовлетворишься. Ведь ты все можешь...

– А ты что поздно хватился? Она уже просватана. Она Илью Бормотова любит.

– Ну какая там любовь! – от души воскликнул Санька. – Мы богатые, а они голь, нищета!.. Будь милосерден, прижми-ка Спирьку, а то к нему подступа нет.

– Уж подсоби, – слабо просил Котяй. – Ты захочешь – сотворишь.

– Да почему именно ее надо?

– Она девка здоровая. А нам невестку в дом надо хорошую. Хозяйство большое, а старуха одна не управляется. Она бой-девка, подсобляла бы нам. Опять же породу не испортит, – подмигнул он.

Котяй и Санька так чисто смотрели Ивану в глаза, словно затевали доброе дело.

– Я бы взялся, да мне ехать надо, – весело ответил Бердышов. – А верно, вам в дом надо хорошую работницу!

Для Саньки все это было так ясно, что он и поддакивать не стал. С печи слез Терешка и подсел на лавку, подложив под себя подушку.

– Ты что, Терешка, отдыхаешь? – спросил Иван.

– Отдыхаешь! – тихо передразнил отец. – Он болеет. Злые люди оговорили. Его на сходе драли. Ворота будто Дуньке хотел вымазать, да вроде попался.

Санька не сказал, что сам он подучил этому сына. На сходе мужики решили выдрать Терешку и дали розги в руки его собственному отцу – Саньке. «Твой сын, учи-ка его!» – велел Родион. Под розгами Терешка стал винить отца, признался, что его подучивал насильничать, затянуть Дуняшу в пустой амбар. Отец, озлобившись на такие признания, избил Терешку розгами до полусмерти и теперь каялся.

– Мне ехать послезавтра утром, – оказал Иван. – Но все же я попробую тебе подсобить, – хитро засмеялся он.

Овчинников рассказал, что к Дуне многие сватаются, что приезжал недавно один богач из города.

Санька удивлялся, что хорошего и Дуня и отец ее нашли в Илюшке.

Иван посмеивался, поддакивал, а сам думал, что Дуня, видно, прославилась, из-за нее шла целая война. Люди бьются в дом Спиридона, охотников много на его дочь. «Чем милей и старше становилась она, тем больше спрос, как на товар. Но еще посмотрим, кто лучший охотник! Неужто Илья?»

– Попробуй, попробуй! – с надеждой говорил Санька, провожая его. Он полагал, что Иван хочет набить цену. – А я не постою.

– Ладно, а ты жди, – уходя, сказал Бердышов. – Может, что-нибудь и получится.

В зимнике и в избе у Родиона на сохачьих и медвежьих шкурах улеглись вповалку тунгусы и работники Бердышова. Родион лежал в кровати. Иван присел к нему и сказал, что был у Овчинниковых.

– Они просили меня помочь сосватать Дуню.

– Я с ними поссорился, – отвечал Родион. – Сына его драли мы на сходе. За что – я тебе говорил... А летом я у них одалживал коня. Теперь придираются ко мне, требуют соболей. Чем Санька богат? Кому надо занять, идут к нему. Он с гольдами тоже здорово торгует!.. Только он от своей избы и не шагнет далеко. Как ты, по речкам не таскается. Ему выгодно, что Синдана прогнали. Горюнцы теперь чаще к нему ездят. А сам он выше первых быков по реке не поднимался,

говорит, что хлеб за брюхом не ходит... Бродяги у них в тайге живут, лес рубят для пароходов.

Бердышов сидел повесив голову.

– Я замечаю, что злодеи на Амуре заводятся, – сказал он, и глаза его заиграли.

– Эка поздно же тебя доняло! – оживляясь и выпрастывая свою окладистую темную бороду из-под красного ватного одеяла, молвил Родион. – А ты почему быстро хочешь уехать? Ведь хотел задержаться? Однако, тигры струсил.

– Между прочим, приедет Илюшка скоро. Спиридон и ваши звероловы распалят его на тигру...

– Ладно, я его не пушу. Уж если надо будет, сам с ним схожу. Я думаю, что надо народом ее уничтожить. Давай ложись, Иван, а то холодно. Избу сегодня выстудили.

– Я в избе сам мерзляк. В тайге не мерзну, а дома чуть что – застыну.

Бердышов стал раздеваться.

– Овчинниковым желательно согнуть Спирьку. Они же свои, соседи, из старой деревни шли вместе, а спят и видят, как бы задавить его. Они злятся, что он не хочет Дуню выдать за их Терешку.

– Это верно, – подтвердил Шишкин.

– Ты, Родион, только не дерись ночью, – поворачиваясь к приятелю спиной, весело сказал Иван.

– Я еще в тот раз рассердился на тебя, – отвечал Шишкин. – С тобой спать нельзя. Ты во сне обнимаешься.

Иван ухмыльнулся в подушку и тут же получил тычка в бок.

– Тамбовка – тигриное место. Тигры откуда-то берутся! – вздохнул Шишкин.

– Тигры охраняют вход на Горюн, – отвечал Бердышов. – Тут их гнездо, тигрятник.

Родион, кое о чем догадывавшийся, хотя Спиридон еще ничего никому не говорил, помолчав, ответил:

– Нет, тигрятник в Уральском, там самая тигра.

* * *

– Эх, Иван! – с затаенной надеждой взглянув на Бердышова, говорил наутро Спиридон. – Ты ли не зять! Каждый бы гордился. Ты с деньгой, – и он дружески и покровительственно хлопнул Ивана по плечу. Но тут же нахмурился, встал как ни в чем не бывало, отошел в угол, где стояло ружье. Деньги, кажется, соблазнили Спирьку.

«Хорош же будет у меня тестюшка! А ну, как дочка в него?» – мелькнуло в голове Ивана.

– Я дурной, всего не пойму никак! – сказал он.

– Помозгуй...

– Я не все пойму, что ты толкуешь.

– Я давно хочу с тобой поговорить, но побаиваюсь: язык у тебя длинный.

– Это верно, – согласился Иван.

– Ты в шутку будто, а все выболтаешь...

Говорили околичностями и намеками и никак не сговорились. Шишкин сказал, что согласился бы отдать дочь, но прежде надо отказать Илье и сделать это политично, а то рассердятся все: и тамбовские и пермские.

– Твое дело – волчье: схватил, да и был таков, а я отец.

Еще хотел он узнать, венчан ли Иван с гольдкой.

Толковали долго.

– Но твердо не обещаю, – уклончиво говорил Спирька.

Иван знал: чем сильнее такой человек чего-нибудь хочет, тем менее старается это показать.

Иван затеял угощение в избе Родиона. Так часто случалось, когда он приезжал. Мужики этому не удивлялись.

Пришли Овчинниковы и опять затеяли разговор про сватовство. Иван поддерживал их, подмигивая Спирьке. Советовал ему соглашаться.

В это время в горнице в доме Спиридона было полно девиц. Они пели за прялками. Иван пришел туда. Он подсел к Дуне.

Она в новом сарафане, в светлых рукавах. Он знал: ее собирают к венцу.

– Ты не обиделась на меня?

– Нет, – спокойно ответила Дуня и взглянула, как бы желая спросить: «За что же?»

– Какая ты светлая, белая, чистая.

Она засмеялась.

– Шибко хороша!

– Эй, эй, чего ты ей поешь! – вступились девицы.

Иван вспомнил, какое злое чувство пробудила она в нем прошлый раз. А сама скромная, нежная.

– Знаешь, Дуня, я люблю утром пойти тайгой, послушать, как птицы поют. Солнышко чуть всходит, чисто на душе, так светло. Как в детстве, душа радуется... Птица сидит, перышки чистит, ясная, свежая. Воздух какой!.. И вдруг вскидываю ружье – бац, грохот, все к черту, эта самая красавица птица валится вся в крови, перья летят... Скажи, не зверь ли человек?

Она глядела на него с огорчением: дядя Ваня опять глупости порол.

– Так же ведь и с любовью, – продолжал он, глядя странно и пристально.

Она вспыхнула от стыда. «Попробуй!» – как бы ответил ее взор.

* * *

Олени Старик и Царь бежали, широко раскидывая ноги. Закутавшись в доху, Иван лежал в нартах и смотрел вперед. За рогами оленей виднелись ущелье и снежная равнина. Он вспомнил разговор у Саньки. Овчинников ждет, пока соседа нужда задавит. Край богат, а он от избы не отойдет и из соседа гроши выжимает. Он даже хвалиться стал, что к нему все с нуждой идут.

Нынче повсюду в деревнях росли торговцы. Началась борьба за богатство. Иван не боялся. Он чувствовал, что все эти люди, пришедшие на Амур издалека, со всеми их желаниями и грехами еще понадобятся ему, что от богатых пригодится богатство, от бедных – труд. «Спирька склонялся... Но не врет ли он, расейский хитрован? Толкует: мол, твердо не обещаю... Может, я умом рехнулся, поверив ему? Ну, пусть-ка...»

Стены каменного ущелья поползли над нартами. Острые черные скалы в белых березах лезли ввысь, во мглу. Сжатый между ними Горюн застыл буграми и торосами. Глубокий снег завалил лозы.

– Ы-ий!.. Ы-ий!.. – как волки, были во мгле погонщики.

Сквозь изморозь и туман косматым желтым пятном едва проступало солнце.

«А как бы барса на самом деле Илью не съела», – думал Иван. После разговора со Спирькой зло его к Илье стало стихать, но как он злу этому и прежде старался не давать воли, так противился он теперь и доброму чувству, что явилось в душе к парню. Он вообще не любил поддаваться чувствам и всю жизнь был настороже. Даже своей душе не верил иногда и держал ее в узде. С такой душой, он знал, можно гору своротить.

«Неужели Спирька меня обманывал? Цену набивал?» – подумал он. Еще никто не обманывал Ивана.

«Но что она нашла в Илье? Говорит, что любит его... Сам я говорил Илье, чтобы на Горюне свататься. Но никогда не думал, что так случится. Вот, говорят, на грех из палки выстрелишь, ударило из пня, из Ильи! Вот шутки! Шутил, шутил – и дошутился. Уж очень плохо судил об Илье...» Надежда была на богатство... «Я люблю ее, а она Илью. Я готов на руках ее носить, а она меня не видит».

Иван уснул и проснулся под той горой, где перебил он кучу людей.

«Что это я задумал? Может, пусть она любит парня?» – мелькнуло в голове.

Нежность и боль явились в душе Ивана. «Пусть она будет счастлива с парнем. Она молодая».

А другой голос нашептывал: «Погоди, еще все переменится, поживет, полюбит и тебя. Начал бить, Иван, бей дальше! Не жалея никого!»

* * *

А Спиридон, проводив Бердышова, подумал: «Поверил Тигр! Но, слава богу, я нашелся»!

Он сказал дочери:

– Берегись всю жизнь Ивана, он тебя сватал, не постыдился, говорит: полюбил, чуть ли, мол, еще не выдавши тебя. Как сладко врет!.. И ямщики подтверждают, что Илья собирается сюда.

Жене сказал:

– Надо торопиться. Иван нас за дурачков принимает. Я слышал его рассказы, что у них в Забайкалье богачи с девками творят. Тут есть отец, и этому не бывать! Дочь я ему не продам! Надо скорей играть свадьбу. Я его утешил, сказал, что свадьбу отложим будто бы до весны, но с условием, чтобы он не мешался, убрался бы с глаз, а то люди осудят. У него же складно врать научился!

Дуня очень обрадовалась, услышав, что приезжает Илья и что отец торопится со свадьбой.

В этот приезд Ивана многие заметили, как он лип к Дуняше. И хотя Ивана любили, но тут он хватил через край. Даже Родион – друг его и приятель – полагал, что нельзя поддаваться торгашу. А Сильвестр прямо сказал: пусть он свои разбойничьи замашки оставит и здесь мощной не трясет. Все надеялись, что Спирька не даст себя объехать на кривой.

– Отец, – приговаривала Петровна. – Свое дитя!

– Отец отцу рознь. Мало ли какие бывают отцы!..

Все понимали, что Иван хотел купить и отца, и мать, и Дуняшу.
Тигр!

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

– Эх, жених, туда-сюда на почтовых гоняет! – закричали девушки, разбегаясь, когда, чуть не наехав на них, Илья вкатил с колокольцами на «обратных». Он приехал погостить к невесте.

– А где Пахом Терентьич? – выскакивая без шапки на улицу, окликнул его Спиридон.

Илья осадил коней, бросил вожжи, выпрыгнул из кошевы.

– Отец дома остался, потом на своей лошади приедет.

– Я слышал, что вы вместе собирались.

– Собирались вместе, – отвечал Илья. – Тятя и меня хотел задержать.

– Что так? – небрежно спросил Спиридон, втайне насторожившись. Он опасался, не запустил ли Иван какое-нибудь сомнение в душу Пахома.

– Да он вот-вот будет. Сам все хотел повидать вас.

– А-а!..

Илья пошел в избу.

Дуня, увидев Илью, засмеялась счастливо и, схватив его за руки, наклонила голову, словно желая прислониться к его груди.

Илья снял шубу.

Мать, сидя у прялки, искоса наблюдала за ним и за Дуней. Они разговаривали стоя. Речь у обоих так и лилась, ласковая и кроткая. В лице выразилась спокойная, мужественная уверенность. Он ласково и снисходительно слушал свою подругу. Он был выше Дуни на полголовы и смотрел на нее сверху, как сильный и старший.

Видела мать, что приезд его – отрада для дочери, что она не на радуется, не наговорится с ним, что на его сильной и широкой груди желает она найти покой и защиту.

Дуня тронула вышивку на косом вороте новой его рубашки, взглянула в смуглое лицо, в синие глаза, тронула копну его в кружок стриженных волос. У нее самой голова такая же темно-русая; две тяжелые косы легли на спину. А Илья повзрослел, похорошел, взор его стал тверже. Она рада, что жених ее так прекрасен.

Мать смотрела, и сердце ее радовалось и болело. Радовалась она, что они рады друг другу, что не наговорятся, что, видно, они друг

другу всласть, не чувствуя ног, стоят, не насмотрятся. Все забыли. И льется, льется речь их... О чем бы? Ах, молодость!.. Вот дети равные, одногодки.

Дуня уже заглянула к нему за кушак, вытащила кисет, потрогала ножны кинжала, что купил он на баркасе.

А болела материнская душа, это над этими детьми, которые не наглядятся друг на друга, вьется коршун...

Жених с невестой ушли в горницу и беседовали там.

Спиридон пришел. Сели к столу. Спиридон позвал их. За обедом стал осторожно спрашивать, как живет Пахом, желая выведать, нет ли опасности с этой стороны. А потом, переменив разговор, рассказал про нападение барса.

– Вся деревня струсила у нас. Заметил, когда въезжал, Сильвестр с ружьем ходит? Вот охотники! А все хвастались, что могут взять зверей. Вот пусть попробуют. Родион и тот трусит. Потому что настоящей смекалки нет.

Илья, зная, что будущий тесть его знаменитый охотник, посмотрел на него вопросительно.

– Ты не вздумай!.. – сказала Арина.

Но Спирька и не собирался на барса. Сейчас вокруг ходит зверь пострашней. Отец силы бережет и сам начеку. Рисковать идти в такое время на барса – нечего и думать. Но чем больше он издевался над трусостью соседей, тем внимательней слушал его Илья.

Явился Родион, послушал разговоры и сказал:

– Ты не вздумай Илью послать на барсу. А то ведь хочется отличиться перед невестой. Скажет, мол: «Она зверя гоняла, а я чем хуже?» Ты слыхал, как Дуня головешкой барсу напугала?

Илья хранил гордое и бесстрастное молчание: он твердо решил убить барса.

– Он ко мне пойдет ночевать, – сказал Родион. – Завтра есть к нему дело общественное.

По пути домой мужик при свете луны показал свежие следы зверя. Сидя на корточках и ползая от следа к следу, Родион тыкал в них прутиком. С досадой поглядывая на чашу, скрывавшую барса, он сказал:

– Вот этой стороной и пошла: прямо пашней – и в ложок. Но такого охотника еще не нашлось, чтобы один убил барсу. Был какой-то

вятский, кидал огнем в нее, но не убил.

Шишкин привел Илюшку домой и велел лезть на печь. Парень вскоре захрапел.

– Спит, – сказал Митька, заглянув под занавеску.

– Надо за ним присматривать.

Под утро сквозь сон Шишкин услышал, как скрипнула дверь, и проснулся.

За Окном стояла густая предутренняя синь. Должно быть, Илья вышел на двор.

Мужик лежал, ждал и слушал. Илья не шел. Родиону хотелось спать. Он перевернулся на другой бок.

Вдруг словно кто толкнул его. Родион проворно вскочил.

«Скоро же рассвело!» – подумал он с удивлением, глядя в окно.

Илюшки на печи не было. Исчезло и ружье его.

– Ушел на барсу! – воскликнул Родион и босой выскочил в сени. – Эй, Митька, живо собирай всех!

Дуня прибежала к Шишкиным.

– Я тебе, дядя, глаза выцарапаю! – кричала она. – Ты и тятя сами его распалили! Чего городили при нем! Он, знаешь, горячий какой? Про охоту слышать спокойно не может. Зачем его бередили? Хрыч ты старый! Я бы ночь не спала, его укараулила.

– Ну как я не уследил!.. – хватался Шишкин за голову.

Прибежал Спирька. Оба охотника, перепоясанные патронташами, с ружьями в руках пошли на лыжах по следу Илюшки.

Лыжня его шла по свежим следам зверя. Взобрались на отрог хребта и, тормозя ход, налегая на палки, помчались, падая вниз, в долину.

«Далеко же он успел уйти!» – думал Родион.

Вдруг Спиридон, быстро мчавшийся впереди, вздымая лыжами волны снега, резко повернулся и встал лицом к вершине. Из сугроба торчали красные космы шерсти и пятнистые бока барса.

– Эй!.. Тут тигра! Уже готова!

Родион поднял лапу зверя:

– Еще не остыла, теплая... Он ее недавно застрелил.

– Давай-ка перевернем!

Мужики вывернули зверя из снега.

– Ловко он ей попал!

– А вот и он сам! Эй, Илюха, вставай! – крикнул Родион, уверенный, что если охотник убил зверя, то сам жив.

В снежном заструге, как бы утонувши в нем, распластавшись, ничком лежал Илья Бормотов.

– Лицо в курже!

– Значит, дышит, – сказал Родион.

Илью пришлось растирать снегом. Он стонал. Рубашка его была в мерзлой крови.

– Он ее, видишь, застрелил, а она, уже пристреленная, его схватила. Вон сколько он пролетел, как распахал сугробину: хотел, видно, к дереву подойти... Все же он ее достиг!

Раненого привезли в деревню.

– Сокол ты мой ясный, это я тебя загуби-ила!.. – ревела Дуня, кидаясь к саням.

Илью подняли, и она увидела его растрепанные волосы и обезображенное страданием красное лицо с заледеневшими слезами на ресницах.

– Ох-ох!.. – застонал он.

Дуня, рыдая, кинулась к нему.

– Да отведите ее! – дико крикнул Родион. – Она только зря ему сердце травит. Ничего с ним не станет. Ты, Илья, не слушай ее!

– Караульщик ты несчастный! – кричала Дуняша. – Как не станет! На нем лица нет!

– Вот сейчас начнется карусель!.. – сказал Шишкин. – Пахом приедет... Это мужик крутой, он с нас за сына спросит... Что бы сделать? Старуху бы Кузнецову сюда, она быстро вылечит. А то, может, шаманку из Халбы? – Растерянный Родион стоял среди толпы. Шапка его перевернулась задом наперед. – Или давай Козлиху! Есть своя лекарка, и ладно!

– До свадьбы заживет, – обмыв рану, утешала Илью знахарка Козлиха. – Кости целы. Вари-ка ему, Дуня, вот этой травы да прикладывай. Хорошо бы свежего мясца, говядинки с чесноком, с хреном, да спирта. А лучше всего чайку крепкого. Кровь-то разогреть...

– Бабонька, родимая, я тебе шаль свяжу, – обнимала ее Дуняша, – только вылечи!..

– Еще крепче будет, касатка, – улыбаясь кивала старуха. – И-и, родная, разве это раны! Днями встанет и пойдет.

* * *

Пахом и Тереха Бормотовы молотили снопы на амурском льду. Работа шла весело и дружно, когда с Экки на лыжах прибежал Васька Кузнецов. Все пошли в избу, и там мальчик прочел телеграмму:

«Илью погрызла барса, не беспокойтесь. Илья живой. Надо отцу приехать.
Родион Шишкин».

Сразу ехать Пахом не мог, так он был взволнован. Мужик высидел в избе полчаса, потом опять пошел молотить. Он лишь забыл надеть шапку, хотя на Амуре начался ветер.

Пахом работал и думал об Илье, не желая поддаваться отчаянию.

На другой день он дождался низкой почты. Ямщики рассказали про охоту Ильи на барса. Разузнав все толком, Пахом отправился в Тамбовку.

Ехал он, не торопясь, не изнуря лошадь.

Встречные передавали Пахому все ту же весть и удивлялись его спокойствию. Через два дня, подъезжая к Тамбовке, Пахом примерно уже все знал. Он догадывался, как тамбовцы беспокоятся, что случилась с парнем такая беда и что отец рассердится на них. «Илья не утерпит, если ходит поблизости зверь, – как им было углядеть?..» Пахом не винил тамбовцев и взыскивать ни с кого не собирался.

* * *

– Я утром встал, поглядеть пошел, – лежа на постели, рассказывал отцу Илья, – вижу – след. Мы и накануне ходили следы глядеть, а видно было плохо.

– Это я его распалил, – сетовал Родион.

– Ну, думаю, дай погляжу, что дальше. Сходил домой за ружьем – на случай, если тигра встретится.

– Это я слышал, как он за ружьем заходил, – сказал Митька.

– Ах ты, тварь! – не вытерпел Спиридон. – Что же раньше молчал?

– Нет, это я виноват, упустил, – твердил Шишкин. – Винюсь...

– Ну, ничего, как-нибудь. Только вот зачем же телеграф беспокоили?

– Это не мы, а Дуня. Требование представила, чтобы выбить телеграмму про Илью, – оправдывались тамбовцы.

– Кричит на меня, – продолжал Родион: – «Караульщик ты несчастный, поезжай на станок, тятю, маму утешь, а то ямщики приедут – наврут!» Покоя не дала, пока телеграмму не отбили.

* * *

Через неделю в Тамбовку с почтой приехал Сашка-китаец. Он распряг лошадей и поспешил проведать Илюшку.

Сашка удивился и обрадовался, встретив его на улице.

– Илюшка сам ходит! Ну, здравствуй! Моя слышал – тебе барса убил. Тебе здоровый теперь. Холосо! – Он обнял парня.

Сашка пообедал у Шишкиных. Вечером вместе с другими ямщиками и с тамбовской молодежью он сидел у ворот.

– Тебе стал толстый, – говорил он Илье. – Че тебе, как лечился, какой корень кушай?

– У нас какие корни, – отвечал Илья. – Хрен да редька.

– Ему, Сашенька, невеста каждый день пироги печет, – заговорили девки. – Уж она его откармливает! А тебе бы тоже надо жениться. Тебе бы твоя баба талой да чумизой порала бы каждый день, да хреном с редькой.

– Наша есть китайская пословица: больной кушал хрен, чай пил – и не надо фершала: выздоровел и сам пошел!

– Саша, а мы слышали, что ты женишься, – подседа черноглазая Нюрка.

Сашка чему-то посмеивался.

– У тебя глаза красивые! – сказал он Нюрке. – Дуня такой глаза – расширял он двумя пальцами свои веки, – а тебе такой, тянул он кожу выше скулы, так что глаза скосились.

Девушки рассмеялись.

– Ну, Саша, расскажи мне что-нибудь, – попросила Дуня.

– Что скажи? Моя знай, ваша скоро свадьба, – кивал он на Илью и на нее. – Тебе жениха лечи: Моя знай, все слыхала. Тебе шибко хороша жена буду. Наша есть такой закон: дедушка родил отец, его родил сынка, сынка – внука, внука еще роди сынка, и все живы! Никто не помирай!.. Так надо живи, много внука надо, вот такой наш закон. Так хорошо. Лучше нету.

– И у них такой закон тоже будет, – смеялась Нюрка и подталкивала Дуняшу локтем.

* * *

Бормотовы были небогаты, но справляли свадьбу широко и щедро. Пахом полагал, что, если отец ничего не пожалеет на свадьбу, сын будет жить счастливо.

– Весной тигра кормится барсуком, – громко рассказывал Илюшка. – Где его нору найдет, там сидит и караулит. Как он вылезет, она его цап – и сожрет. У нее вся повадка кошачья.

Спиридон души не чаял в зяте. Теперь Иван бессилен, сбит. Спиридон видел, что Илья настоящий охотник, хороший работник, что он будет сильным, разумным мужиком.

Дуняша в пышном платье и высоком кокошнике кажется рослой, плечистой. Никогда не думал Спиридон, что дочь его такая величавая красавица.

Гости пили и гуляли. Играли скрипки, дудка и бубен. Бабы угощали пирогами, рыбой, окороком.

Спиридон начал рассказывать, как однажды он семь дней не работал, чтобы не дрожала рука, чтобы метче стрелять, а потом пошел в тайгу, встретил стадо оленей и стрелял их одного за другим, не сходя с места.

– Навалил, как рыбу, на снег! – говорил он, а сам все помнил, что опасность еще может быть, что Иван хитер... Но уж теперь ничего не

сделает. Мир против него. Тут не торгашеская слободка, девок не продают. Иван не сломил, ожегся.

Пахом пододвинул блюдо с белым хлебом.

– Покушай, сват, – кротко попросил он.

– Хоть камни вались с неба, если я задумал – иду! Я знаю, где зверь. Я оленя могу понимать.

– Хлеб наш. Отведай! – упрямо просил Пахом.

Спиридон поморщился недовольно, не понимая, зачем он пристаёт со своим хлебом. Спиридон выпил, ему захотелось поговорить, Ивана поругать, а еще про охоту рассказать те необыкновенные случаи, которые на самом деле бывали с ним и которые рассказать никогда не удавалось – никто не верил, что так может быть.

– Я палкой убил одиннадцать выдр! – с чувством выкрикнул Спиридон.

А для Пахома в этом хлебе было два года пути, годы жизни на Амуре, труд на болоте, сушка, корчевка.

– Вот мы его и возвели! – Мужик придавил хлеб пальцем, полюбовался его пышностью и покачал головой, сожалея, что другие не любуются. – У нас мельница своя.

Пахом хотел сказать, что муки такого помола еще не было, что это он к свадьбе сына не пожалел зерна и размолот по-российски. Но мужик заметил, что Спиридону что-то не понравилось. Пахом был смирный и вежливый человек, он совсем не хотел обидеть свата и притих.

«Как люди, так и Марья крива», – повинился он в своем хвастовстве и, подумав, добавил сибирскую пословицу: «Сам себя не похвалишь, как оплеванный сидишь!»

Между тем Спиридон умолк. Он пожевал хлеба. Хлеб на самом деле был хорош. Такого хлеба на Амуре Спиридон еще не пробовал. Илья пахал. Дочь будет счастлива, значит, с куском хлеба.

– Из-под березового леса земля, – уверенно заметил Спиридон.

– Как же! – радостно подтвердил Пахом. – Береза да орешник дают земле силу. А осина все соки из нее высасывает и сама плохо растет. А где стояла береза, там хлеб родится белей. А вот акашник корчевать – жилы высосет. У него, у акашника, что у липы, корень редькой.

Белые груды хлеба громоздились по всему столу; и казалось, хлеб был главным угощением на свадьбе. Белы и румяны были лица детей и молодых крестьянок. Хлеб дал им силу, здоровье.

Затанцевали польку, закружились шали и яркие ситцы. Беременная, растолстевшая Танюша, не смея тронуться с места, порозовела, как румяная булка. Бойко, как девчонка, переглянулась с ней Дуняша.

А Егор сидел и думал, что вот и молодые научились бить барсов, что нынешний год, как и прошлый, начался со свадьбы, и молодежь сплетает деревню с деревней, что там, где на болоте стояла темная чаща, куда страшно было с плота переступить, народ живет, словно здесь вырос. А из-под того леса вырвана земля, на ней выросли тучные хлеба, и на стол легли белые караваи.

– Мечта наша!..

Мохнатый бурый медведь покорно, как собака, лежал в ногах у Егора и грыз кость. Худой, русобородый, не мигая, смотрел Егор на круг гостей. Он радовался за людей. И тем горше было ему знать, что в новой жизни все больше заводится старого. Он замечал тревогу Спирьки. О многом догадывался Егор. Люди построили здесь новые дома и сделали росчисти, играют свадьбы, взрастили хлеба, но еще не умеют устроить жизнь по-новому.

Егор понимал, что своей силой он мог сдвинуть лее с релки, но удержать людей от зла и корысти не может.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Егор и Улугу, взмахивая палками, поднимались на хребет. Черная редь листовниц слабо, как мелкая трава, пробивалась вниз из сопок, похожих на сугробы.

Улугу весь в белом, только на круглой шапочке, в цвет скуластому лицу, желтый соболиный хвост. Егору трудновато подыматься в гору: лыжи у него иногда скользят.

– Егорка, а у тебя шкура на лыжах истерлась, – говорит Улугу, – плохо идти.

– Я ведь и на голицах ходил.

– Какая это охота, на голицах ходить! – отвечает гольд. – И копыа у тебя нет?

– Нет.

– Худо! А чем ты эти лыжи подшивал?

– Коровьей шкурой они подшиты.

– Еще в Расее делали?

– Ну да...

– А надо сохачьей шкурой подшивать.

Саженьях в полустах от охотников по гребню горы тянулся голый молодой осинник. Охотники шли вверх над обрывом, но гребень подымался круто, солнце, казалось, шло не к полудню, а к вечеру, оно тонуло в чаще и вдруг запылало там, просвечивая всю ее насквозь.

Видно стало, как по редкому осиннику бредет зверь, похожий на кошку.

Чаща прутьев раздвинулась, из нее выбрел тигр.

Егору невольно вспомнился Ванька Бердышов. Тигр и на самом деле походил на него. Что-то бердышовское было и в походке зверя и в его широкой, словно втихомолку усмехающейся морде с усами.

Прожив годы на Амуре, Егор впервые видел этого зверя.

Учуяв людей, тигр повел головой, но шагу не прибавил. Временами он проваливался и барахтался лапами в глубоком снегу.

Вдруг он зарысил, закинул голову, будто его ловили петлей, и сделал несколько прыжков так плавно и мягко, словно раскачивался на веревке.

Тигр убежал машками к красному косматому солнцу, становясь меньше.

Соболиный хвост на шапочке гольда, тигр и солнце слились в глазах охотника, и зверь исчез в красном полыме за перевалом.

– Ну, Улугушка, гроза пронеслась! – весело сказал Егор. – Тигр напал, че бы ты делал?

– Амба!.. – с суеверным страхом молвил Улугу. – Близко ходит!

– Какой амба! – пошутил Егор. – Это Ванька Бердышов.

Гольд показал под обрыв:

– Вот место, где будем охотиться. Надо спускаться.

Они налегли на палки и помчались в падь. «Тигр, тигр...» – застучали лыжи. Охотники рулили палками в снегу, чтобы не налететь с разбегу на пень или лесину. Навстречу быстро поднималась широкая долина, заросшая редкой лиственницей и березой. Мимо стали пролетать вековые черные и белые березы с зеленой от мхов, толстой, потрескавшейся корой.

На раскате лыжи стали двоить удары:

«Ванька Тигр... Ванька Тигр...»

Егор думал про Бердышова.

Иван превратился в большого воротилу, забрал в руки всю пушную торговлю, завел работы в тайге. Народ не зря прозвал его Тигром. Хватка у него, как у зверя. Егор слышал про убийство Дыгена и за последнее время стал верить, что это сделал Иван. Каким бы Дыген ни был, а он человек. Людская молва не прощала Ивану убийства. Поминали про это, как про грех. Иван убил человека не в честном бою.

Егор сам, бывало, думал: «Этот человек как будто веселый, а ведь он людей убил и ограбил и пойдет на любой грех, хотя он и умен, и славен, и совет его делен. Почему так?» Иван и нравился ему, и боялся он его. Чувствовал Егор, что страшный зверь сидит в Иване, что тигр, которого все боятся в лесу, живет с ним рядом, в соседнем доме, и от него всего можно ждать, что если он убил Дыгена, то при случае и другого убьет.

В высоком, погибшем от пожара лиственном лесу, как в пустом амбаре с падающими балками, расставив задние ноги, стоял сохатый. Трепетными толстыми губами зверь ловил тенета висячих мхов.

По крупу, по ногам и торчавшему хвосту видно было, что лось сильный, сытый. Мха на лиственницах было множество. Повсюду висели его зеленые бороды.

«Стреляем?» – знаками спросил Улугу, показывая на ружье и прикладываясь.

Егор решил выгнать сохатого к деревне и там убить, чтобы не ездить за мясом в такую даль.

Мужик хлопнул в ладоши. Зверь споткнулся, вырвался из сугроба и поскакал. Наст, проламываясь, как бы хватал его за ноги. Охотники ринулись за ним.

Они загнали зверя в ущелье. Кругом теснились скалы. В ветвях черных елей белели снежные гнезда. Сугробы висели над головой Егора. Грудь и шапка его заросли белой шерстью, он сам был как косматый белый зверь.

Лось злился. Убегая, он изрезал свои лодыги о льды наста.

Зверь кинулся на охотников и занес узкое копыто. Гольд ударил из кремневки. Сохатый с ревом шарахнулся в сторону, низко поводя рогатой головой, как бы нюхая снег.

Егор выстрелил. Сохатый взвился на дыбы и побежал обратно по ключу вниз.

Крепчал северный ветер, небо краснело. Таежная речка белоснежной лентой обегала утес. За поворотом открылись сопки. Как стадо лысых горбатых зверей, рассыпались они по долине.

Лось остановился под лохматой, протянутой, подобно руке, ветвью лиственницы. Егор отломил от сухого дерева рассоху и кинул ему на рога. Лось побежал. Он уходил по Додьге и дальше, через озеро. Охотники загнали его на релку, в селение, и у почтового столба повалили двумя выстрелами.

– Егорка, а шкура моя, – сказал красный и вспотевший Улугушка, утирая шапочкой лицо и лохматую голову.

Шкуру взял Улугу, а мясо разделили пополам. В стайке у Кузнецовых рос бычок, низколобий, красный, с рожками, похожими на шишки. Из-за него Егор бегал в тайгу за зверем: не хотелось колоть бычка на мясо.

– Пусть живет бычок, – сказал он. – Бык и для приплода и работник.

Ветер пробушевал неделю. На один день он стих, сияло солнце, наступила оттепель, и снега, наметенные ветрами, подтаяли и обледенели. Солнце смотрелось в насты. словно тысячи солнц горели в тайге.

Наутро потянуло с другой стороны. Ветер снова крепчал. Казалось, вся масса воздуха, прошедшая за неделю, начинает возвращаться обратно.

Семь дней дул ветер с юга и достиг страшной силы. Опять краснело небо над гарью.

В воскресенье ветер утих. Снежная пыль засверкала в воздухе. С крыш потекло.

– Весна идет, – сказал Егор и стал греть сошники на углях.

За его избой застучал молот по железу.

– Нынче снега были высокие, – толковал дед, стоя на ветру в одной рубахе. – Пашни наши может смыть, когда пойдет вода.

Мужики, бабы и ребятишки ходили в церковь. Вербой украсились избы. Свечами накопили кресты на притолоках.

Из-за голых берез доносились крики птиц и благовест. Ребятишки дарили крашеные яйца приходившим в деревню гольдским детям.

У Федьки родился сын. К потолку в обширной избе подвесили еще одну зыбку. На длинной веревке между листовницами сушилось теперь вдвое больше пеленок. Младенцы подавали голоса из разных концов избы.

На тополях набухли почки, цыплячьим пухом зажелтел на солнце верболоз. На Амуре начался перезвон падающих торосов. На релке пеньки от рубленных зимой деревьев оказались выше людского роста и стояли, как горелые столбы. Сквозь снежную проредь стали проступать комья черной земли. Вскоре пашни и огороды открылись во всю ширь.

В ночь с грохотом разбился и тронулся Амур. Вздунулась и зашумела вода и, как на листовом стане, выкатывала на берег разноцветные льды. Как слышал Егор, синий лед из Тунгуски, желтый – из китайских рек, зеленый – с Зеленого Клина, с Уссури.

Вешние воды заботили Егора. Бороздя додыгинскую релку, забурлили они по косогорам и распадкам, смывая чернь, роя глину, и мутными широкими падунами, с плеском и шумом низвергались в

разлившийся после ледохода Амур. В прошлом году тревожили ветры, а нынче – еще страшней – вода пошла по полю.

На мокром склоне релки Егор, дед Кондрат и Федька копали канаву, отводили воду, чтобы с гребня релки шла она мимо пашни, не смывая верхнего черного слоя земли.

Егор хотя и задумал пахать в тайге на Додьге, но и в мыслях не держал оставлять свою старую росчисть.

– Жизнь тут требует подспорья, – утверждал Тимоха. – Чуть тебе «штаны» не перемыло, – толковал он.

– Ну, старая-то росчисть высоко, – отвечал Егор.

– «Штаны»-то в вершине, да снег быстро таял, все же источил земельку, – заметил дедушка Кондрат. – Сильные нынче снега были.

Вешние воды тронули самый дорогой для крестьян верхний черный слой. Ветры быстро сушили землю. Река затопила отмели, плескалась и билась в обрывы. Бурые пряди водорослей цеплялись за корни тальников.

Багровая ольха с сединой крапинок на коре распустила красноватые почки. Жар, прель томили людей. Вербка пустила зелень, на болоте появились белые цветы.

Воздух пряный, густой от таежного настоя; в нем чувствуется свежая зелень, запах задышавшей коры, соков, цветов, озер, тины, протаявшего гнилья и рыбы, затухшей грудями в застойной воде.

Зеленые кедры пятнами выступали из желто-красной тайги. Сила бродила в деревьях, соки побежали по всему бесчисленному множеству стволов. Большая тайга стояла еще почти без зелени, но была уже не в один серый цвет, как зимой.

«Так вот и народ... – думал Егор. – Живет народ, сер и слаб, и вдруг забродили соки, пошли пятна. Чуть заметно оживились люди. А солнце ударит в чашу – и в каждой былине поднимается сила, зелень, цвет; все переменится. Люди оглянутся – и сами себя не узнают: „Мы ли это?.. Кругом все зелено, все в цветах!“»

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Амур все бьет и ломает. Тальниковый лес с подмытого треснувшего берега плетнем повалился в реку.

Улугу подъехал к обрыву в оморочке.

– Берега нету, пристать некуда? – крикнул он Силину.

– Чего сердиться? – отозвался Тимошка.

Гольд не ответил ему, с досадой вытащил оморочку в кустарник, швырнул ее и, захватив вещи, проворно полез на обрыв. Забравшись наверх, он оглядел реку, лес, озеро, с досадой что-то пробормотал и побрел к огороду Кузнецовых. Там сел на сломе и закурил трубку, глядя, как работают хозяева.

– Ну, как живешь, Улугу? – подсел Федюшка. – Дай закурить...

– Худо! – отдавая берестяную коробку с табаком, ответил гольд с таким выражением, как будто это само собой разумелось.

– Чем же худо? – подошел Егор.

Гольд покосился на него и смолчал.

– Что молчишь?

Улугу поглядывал по сторонам. Вид у него был такой, как будто русские к нему приехали и пристают, а он не желает разговаривать.

Видя, что Улугу не в духе, Кузнецовы снова принялись за дело.

– Ребята, не досаждайте ему, пусть одумается человек, – сказал отец.

Улугу долго сидел и курил.

* * *

– Ну, худо, что ли? – восклицал Улугу, сидя вечером в избе Кузнецовых. За столом у него отлегло, и он стал разговорчивей. – Лед прошел, а гусь дорога нету?

– Как это гусям дороги нету?

– Конечно, гусь надо другую дорогу искать. Старая дорога пропали. Вот с колокольни гуся стреляли. Теперь другой дорогой летает.

Кузнецов недоумевающе смотрел на гостя.

– Ты заговариваешься, – заметил Тимоха.

Улугу метнул злобный взор на Силина.

– Гусь раньше близко садился, а теперь далеко. Раньше как раз на протоке садился. Чистенький такой коса, гусей много сидели, – оживляясь, с умилением сказал Улугу. – Ружьем палить прямо из дома можно... далеко не ходить.

– А теперь?

– Что теперь! – махнул рукой гольд. – Теперь косу затопило, вода верхом ходит, оморочкой ехать надо далеко, однако, кругом острова.

– Парень, кругом острова ехать – руки отмахнешь, пол версты будет. Конечно, из дома лучше бы тебе стрелять...

– Кто же виноват, что косу затопило?

– Кто виноват! – зло воскликнул гольд. – Русский виноват!

– Как так? Ведь это в прошлом году гусей стреляли. Разве гусь помнит?

– А разве нет? Что его дурак, что ли? Косу еще не затопило, гусь на старое место летал, а поп как раз на колоколе каждый день играл, пугал, наш гусь обратно пошел. Конечно, если не русский, так кто виноват. Моя, что ли?.. Конечно! – оживляясь, продолжал Улугу. – Рыбка тоже пугали. Дерево стучит...

– А рыба слышит, что ли?

– А че, его глухой? – с обидой воскликнул Улугу. – Когда лес рубили, его слышит...

– Парень, ты здорово по-русски говорить стал, так и режешь.

– Конечно! Худо, что ли! – с гордостью ответил Улугу.

– Ну, это все ничего! – сказал Егор. – Как оспа-то?

– Оспа, его ходит... Уже недалеко. У нас в деревне одна старая фанза была, где Покпа, Айдамбо жили, знаешь? Айдамбо новый дом строил, и Покпа туда пошел. А старый фанза бросали. Туда чужой бедный люди приехал и поселился. Там оспа теперь. Еще у нас много людей теперь голова болеют, – пожаловался Улугу. – Они понимать не могут ничего.

– Верно, много гольдов за эти годы трянулись умом, – согласился Тимоха.

– На нашем озере теперь худо жить. Сибко сум...

– Какой сум?

– Ну, его сумит, гремит, народ чужой ездит. Как праздник, так идут, кричат, рыбка пугают...

– Парень, это в голове у тебя покоя нету, вот ты и придираешься, – обнял гольда Тимоха. – Ты лучше оспы бойся. Эту фанзу сжечь надо и людей к себе не допускать.

– Че тебе! – со злом скинул с плеча его руку Улугу. – Наса саман тихонько играет, – продолжал он про то, что тревожило его, – гуся, рыбу не пугает. А тот играет – сибко сум...

– Как это поп играет?

– Колокол его, у-у, как играет... Сибко колокол стучит, Саман бубен играет, а поп – колокол. Все равно бубен. Только бубен веревка нету. Все равно богу молится.

– Поганный ты нехристь! – рассердился дед и отошел.

Улугу нахмурился.

– А как огород-то?

– Гохча копает, – ответил Улугу. Но его тревожили общие вопросы, а не огород. – Теперь каждый дом свой саман есть. Кругом люди заболел. Жить трудно.

– Вы еще не видели, как бывает трудно жить. Вам только руку протянуть – мясо в тайге ходит.

– Нам не трудно, что ли?

– Гуся, рыбы у вас до черта.

– Что тебе, скажи! – с презрением воскликнул Улугу. – Разве гусь всегда тут живет? Зимой, что ли, он летает? А сегодня опять какой-то русский озером ходил и пугал все. Прямо не знаю, куда от русских деваться!

– Спокойно не живется?

– Нет!

– На русских и русским же жалуешься, – молвил Федя.

Улугу не ответил.

Уральцы были ему соседи, к ним уже все привыкли, и они, по убеждению Улугу, не считались теми русскими, которые мешали жить.

– У нас бога нету, что ли? Че наш бог худой? – вдруг с обидой обратился Улугу к деду.

– Бог на небе живет!

– Наса маленький бубен играли, ево все равно слышит.

– Бог-то все слышит, – с угрозой отвечал дед Кондрат.

– Конечно, бог один.

– Бубном чертей гонять, а не богу молиться, – сказал Федя.

– Все равно! Колокол тоже помогает, – подхватил Силин. – У-у, черти колокола бояться, ка-ак ударит – и враз чертей отбивает. Они, знаешь, черти эти, на приступ лезут, человечью душу схватить, а он их как крупной дробью. Вот заметь, парень, стало почище у вас на озере.

Улугу молчал, видимо сравнивая в уме, как шли дела с чертями раньше и как теперь.

– Все равно русский пришел – худо! – решительно молвил он и повалился на лавку, не выказывая ни деду, ни Егору никакого внимания.

Так много на отвлеченную тему, да еще русским наперекор, он никогда не говорил. Поэтому устал до изнеможения и едва прилег, сразу уснул и захрапел.

В том, как рыба ходила, какой дорогой гусь летал, была, казалось, прежде стройная гармония жизни. А теперь то тут, то там, и в больших делах и в мелочах, эта гармония нарушалась. Приход русских, рубка леса, постройка церкви интересовали Улугу. А вот гуси колокола испугались. Мелочи сильнее всего досаждали Улугу, и он не мог смириться с тем, что весь строй старой жизни разваливался. Что бы ни случилось, Улугу казалось, что во всем виноваты русские. Конечно, их мало, а тайга велика, но они лезут всюду. Они проникли в душу Улугу.

В беседе с Кузнецовыми Улугу не высказал и малой доли того, о чем думал. Он говорил про гусей и про рыбу, про зверей, про рубку леса, но не в этом было главное. Он знал: гусей и рыбы еще много, стоило только отъехать, протянуть руку за ними. Улугу чувствовал другое: что жизнь теснит его, что все делается по-новому. Русские заводят все по-своему, и из-за них приходится все переворачивать.

Отдохнуть, уйти, сбежать от русских можно, но в своем уме и в своей душе, он чувствовал, завелось что-то русское. Временами он ненавидел и огород, и жену, и Егорку...

Дым с релки от громадных костров, разводимых корчевщиками, гнал мошку и комарье. Сейчас Улугу казалось, что жаль было даже мошку. Хотя эта мошка надоедала и ему, но он сочувствовал всем, кого гнали русские. «Это наша мошка, – думал он, – зачем ее так пугать? Если надо будет, сами прогоним, и нас она так не кусает, как русских».

Колокол гремит – Улугу жить мешает. Слова не дает сказать. Кругом летит звон. Русский поп доказал Улугу, что молиться по-старому неправильно. А по-новому, правильно молиться у него не лежала душа. А по-старому хотелось, а оказывалось, неправильно...

Гольд остался в Уральском ночевать.

– Домой неохота идти. Тут лучше. Там русский ходит, шибко мешает.

– Ах ты, камский зверь! – сказал дедушка.

– Верно, тут без русских спокойней, – сказал Федя.

Наутро Улугу помогал бабам на огороде. Вдруг, оставив лопату, в шляпе, щурясь, заковылял он к Наталье.

– Вот этот худой, расти не будет, – заметил он и ткнул черным пальцем гниль, стержнем ушедшую в сердцевину картофелины.

Улугу зажился в Уральском.

– А тебя дома не хватятся? – спросила его как-то Наталья. – Ты сказал, куда поехал?

Улугу некоторое время молчал раздумывая. Он не сказал, куда поехал. Уж так велось, что любой из мужчин подолгу не бывал дома и вестей о себе не подавал. Дома о них особенно не беспокоились. Айдамбо однажды пропал полгода.

– Бабам зачем знать? – сказал Улугу. – Сами, что ли, не проживут? Рыбка рядом в озере, птицы до черта много.

– А огород? Или ты зарекся огородничать?

– Пошто зарекся? Бабы посадят.

– А они умеют?

– Как же!

– Ну, тогда им еще лучше, что тебя нет, на тебя не работать. У вас ведь бабы все на вас делают. А мужик, чужой ли, свой ли, проезжий, какой ли другой, всегда найдется. Пока ты у его бабы, а он у твоей!

Бабы засмеялись.

Пришел Савоська и позвал Улугу:

– Ну, пойдем ко мне, работать будем.

– Что такое?

– Надо зимнюю белку разобрать по сортам. Поможешь мне?

Улугу оставил лопату на недосаженной борозде и поспешил к Бердышову.

– Эх, огородники!! Ему и горя мало! – молвил дед. – Вот как его к земле пристрастишь? Услыхал про белку и все бросил! Мало еще поп их за волосья таскает!

* * *

Савоська нашел для Улугу самое приятное занятие – разбирать белку по сортам.

Смуглые, оба с косами, с трубками в зубах, гольды целый день копались в грудке мехов.

Савоська и Улугу сетовали на жизнь, но друг друга не слушали. Савоська жаловался на жену брата, что обижает его, не дает жить дома, а Улугу – на русских.

Улугу был рад-радешенек, что ему пришлось заниматься купеческим делом. Перед ним товару на тысячи. Тут белки и синие, и темно-пегие, и голубые, и даже белые. Савоська открыл перед Улугу все пушные богатства Бердышова.

У китайцев не бывало столько мехов. «Мы сейчас самые богатые!» – думал Улугу. Он отродясь не видел столько белок. Шкурки разбирали по цветам, по глубине меха, по размеру, упаковывали в тюки. К июлю Савоська должен был отвезти часть этого товара в Хабаровку знакомым забайкальским купцам, наезжавшим туда каждый год.

Улугу, жизнь проведенный на добыче пушнины, живо сообразил, как надо подбирать меха, выучил слово «сорт» и уже знал, какая белка идет в первый, какая во второй и третий.

– А соболь тоже есть сорт?

Весы, аршины, палки – все, на что, приходя к купцу, смотрели с удивлением и уважением, сегодня было доступно Улугу. Свои, мылкинские, казались ему жалкими, ничтожными людишками. Сидя на белках в узком проходе из высоких тюков, Улугу чувствовал себя близким богатой жизни.

На душе у него отлегло.

– Тот раз соболь скрылся в норе...

Начинался один из бесчисленных рассказов про охоту на соболя в норе. Савоська слушал с удовольствием, ему наскучило копать в

мехах одному. А Улугу подумал, что наука, как подбирать меха, пойдет ему впрок, теперь уж китайцы не обманут его, когда будет продавать им пушнину: «Сам знаю сорта. А то раньше всегда думал, что такое сорт? Торговцам какую шкуру ни покажи – всегда плохая. А теперь, оказывается, есть сорт! Ладно». И в восторге, что теперь торгаши ему не страшны и что вообще теперь ему море по колено. Улугу, как бы невзначай, взял железный аршин – предмет гордости и уважения всех покупателей – и помешал головешки в очаге. Однако, вдруг о чем-то вспомнив, он вытер аршин полый халата и кинул на место.

Чай вскипел.

«Тут не жизнь, а радость! – подумал Улугу. – Пить чай, кушать, спать на мехах, рассказывать друг другу про охоту, потом опять за чай и все время копать в грудах драгоценных мехов...

Я не зря торговал. Говорят, самое приятное – держать в руках меха, добытые другими. Тогда, если есть на плечах башка, можно, глядя на каждую шкурку, что-нибудь придумать, вспомнить какой-нибудь рассказ про охоту или случай. Или догадаться, как эту шкурку, добыли и какого нрава был зверек, где и как он бежал».

На душе было очень спокойно. За сытным обедом чего не придумаешь! «Если бы еще не русские, которые везде шлятся», – думал он.

На улице сыро, но тепло, яркое солнце, а гольды топят очаг вовсю. В доме жарко.

– Черт не знает, – вдруг воскликнул Улугу, видя, что Савоська вытащил бутылочку. – На Амур, когда ни выедешь, всегда дело найдется: тому огород копать, тому меха подбирать.

За обедом досказал он, как целый день, стоя на коленях на снегу, между костром и норой соболя, набирал в рот дым и пускал в нору, как черт из паровой трубы, а сын караулил с сеткой. Ноги Улугу примерзли, а он не заметил, пришлось отрывать их от снега с кожей – недавно только зажили.

– Меха горят! – вдруг крикнул Савоська.

Улугу вскочил.

Обгорели хвосты у тюка, который он спяну, видно, толкнул к очагу.

Гольды испуганно засуетились.

– Ну, ни черта! Маленько Ваньке убытки, – покачал головой Савоська. Он с искренним сожалением осматривал опаленные хвосты. – Совсем сгореть могли... – Но он ни словом не упрекнул Улугу.

– Пока горит, давай спать не будем, так худо. Надо работу кончать, – сказал он.

Гольды, забравшись в узкий проход между стен из тюков, уселись, поджав ноги, и принялись за дело, попыхивая трубками.

* * *

Утром дедушка Кондрат встретил Улугу.

– Попы – жеребьячья порода. Ты попа не бойся. Бога бойся.

Улугу уже не в первый раз замечал, что русские своего попа не любят, за глаза его всегда ругают или смеются над ним, да едко, грубо. Улугу и не думал никогда, что такие шуточки можно говорить про людей.

И в то же время попа они слушались и терпели: «Значит, и я тоже, как русские, терпеть должен?» Но терпеть ему не хотелось, поэтому он и приехал в Уральское, чтобы пожаловаться и высказать, что ему не хочется быть таким же терпеливым, как они: «Что я, русский, что ли? Это они все терпят!»

И все же как-то легче становилось на душе, когда слышал он, что даже Кондрат попа ругает. Вообще все перепуталось за последнее время у него в голове. Зло разбирало – русские тут живут и везде лезут, но пожаловаться на них некому, кроме самих же русских, и только их ободрение и сочувствие утешали его.

«Кажется, уж я сам как русский становлюсь, – думал Улугу. – „Жеребьячья порода“! – вспомнил он дедушкины слова. – Конечно, так. Самая жеребьячья! Надо будет все же поехать к попу, рыбки отвезти. А то он косится. А его дело шаманское...»

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

На релке отсеялись, посадили огороды. Мужики на лодках отвезли коней на островные луга на выпас. Настала пора и для Додьги с ее черноземными богатствами. Отцветали яблони, осыпая белые лепестки в ярко-синюю Додьгу.

Этой весной, когда воды рыли пашню, а сухие ветры выдували драгоценную чернь, Егор все думал про свою находку. Он помнил, как наносники легли над берегом Додьги, место там не заливалось. Пора было приложить к нему руки.

Да, не хотел он расставаться со своей старой, милой сердцу рощистью, но и чернь в тайге грех было оставлять впусе. Егор полагал, что жить надо не только на берегу, а идти в глубь страны, искать удобной нови, пахать на двух пашнях, чтобы, если с одной беда случится, выручила бы другая.

– Мельница есть, было бы чего молотить, – говорил он. – Много лет пройдет, прежде чем додьгинский лес сломим, а начинать уж пора.

Егор с Васькой собрались на Додьгу. Мальчику давно туда хотелось.

Рано утром отец с сыном пошли через релку на озеро.

Внизу, меж рекой и лесами, на длинном распаханном бугре, тянулись избы. По свежему тесу, по светлым крышам видно, что живут новоселы. Густая зелень сползает на релку из тайги, только повесеннему черные «Егоровы штаны» теснят ее до самого края.

На далеких огородах копошились бабы.

Вокруг релки раскинулось лесное море. Сверху видно, где по тайге текут реки и речки. Там, над хвойной синью, как светлые волны, клубятся кудрявые леса лип, дубов, ясеней.

Егор и Васька спустились к озеру, вытащили из кустов лодочку и поехали к устью речки.

Подплыла многоярусная чаща, пахнула буйным цветом. Егор выбрался на берег и пошел по тайге, разрубая топором густой плетень лиан и винограда.

Он отыскал черную поляну, открытую в прошлом году дедом во время охоты на кабанов. Место это, как уже знал Егор, было незатопляемое, пригодное для земледелия. Егор решил подрубить

деревья, чтобы подсыхали быстрее: высохнут – легче будет валить и корчевать.

«Такой лес взять нелегко», – думал он, работая топором и глядя на гнилье тучных ильмов с дуплами, похожими на пещеры.

Кругом сплелся густой подлесок из черемух, акаций, орешника. За частыми пятнистыми стволами река шумела, как на сливном мосту. Только там, где сваленный ветром кедр сокрушил вершины леса, в пролом видна была внизу Додьта.

Выступили белые косы, широкие пески русел, усеянные пнями, корягами и лесинами. На ближнем рукаве ясень лег мостом поперек, и речка валами бьет через него, пенится, колеблет могучие, еще живые ветви.

«Надо конями лес валить, крепких, сильных коней на валку, на вывозку. Нужны пилы, топоры, веревки».

Толстые дубы, осины, ясени обступили Егора, сплелись листвой в сплошной навес.

«Но как тут начинать росчисть? – подумал Егор. – Здесь тайга сильнее, чем на нашей релке. Сюда не подъедешь, труд великий надо, чтобы дорогу прорубить, стволы близки друг к другу. Земля лучше, но и взять ее трудно. Ветры валят рожь, а тут лес закроет пашню. Но как осилишь такой могучий лес?» Егор стоял, смотрел на толстые узловатые стволы.

На бугре он долго бродил в топкой лесной чаще. Он срывал пласты прелой, гнилой травы и всюду находил добрый, толстый чернозем.

Пока он работал, Васька куда-то исчез. Егор окликнул его, но парнишка не отзывался.

«Все это сокрыто от глаз. А ведь какие тут можно вывести хлеба!..» Егору представилось черное поле, плуги, кони. Громадное черное поле. А по осени кругом желто.

Вдруг между ветвей липы, далеко-далеко внизу, в проломе от упавшего и бурю кедра, Егор, как на картинке, увидел на отмели сына. Васька в белой рубашке сидел на корточках над потоком. Вода в Додьге шла с быстротой, волнами, с пеной, как прибой в свежий ветер. Парнишка сидел у воды на корточках, волны набегали к его ногам.

«Видно, опять рыбачит. Сейчас хайрузы^[70] прыгают из воды, ловят мотыльков».

Да, земля на Додьге хороша. Но как ее взять, как подступиться к такому лесу? Деревья подсохнут – и то великий труд нужно положить, чтобы расчистить тут пашню. Не скоро еще она будет здесь. На релке некогда было раздумывать: приехали на плотках, сразу пришлось чистить место, чтобы не погибнуть с голоду. Но там лес был не такой сильный, а здесь придется браться за дело исподволь. Жаль, не поднять эту землю.

Егор делал глубокие надрубьы на деревьях.

«Но хлебам тут будет тихо, тепло, ветер не выдует землю, кругом леса, сопки. Хорошая будет нива».

Пока что дремучий лес стоял на будущем поле Егора.

Когда солнце поднялось над головой, Кузнецов вышел из тайги. Навстречу загрохотала Додьга, катила гальку по руслу. Воздух, стесненный сопками, напаренный солнцем, пахнувший гнилой листвой, топиями, болотным дурманом, набитым мошкой и комарьем, казался еще жарче от вида набегавших холодных волн.

Оправляя мокрую рубаху, с котелком в руках подошел белокрысый Васька.

– Уху сварил? – спросил Егор.

– Гляди, тятя!

Егор взял котелок. На дне его что-то слабо зазвенело.

Егор увидел желтые песчинки.

– Ты никак... золота намыл? – удивился Егор.

Васька встрепенулся, гордо вскинул голову. Волна ударила в ноги Егора, до блеска омыла голенища его рыжих бродней, обдала ледяными брызгами горячее лицо.

Егор держал на ладони слабые знаки золота, слушал звон и плеск реки, и давно забытая картина явилась в его памяти. Далекое, уральское, родное представилось мужику. Показалось ему в этот миг, что не Додьга катит по дну гальку, а в уральских горах работает многолюдный прииск. Кругом стан: балаганы, костры, и он, Егор, еще молодой мужик, привез грузы и стоит на берегу у холодного потока. Сотни лопат лязгают, стучат о гальку, нагружают пески, бутарят их, тархтят колеса тачек, вода плещется в ручье и на бутарках.

Егор огляделся. Неслась и ревела, била в лесистый берет заваленная буреломом река, просекая себе путь между стен дремучего леса. Подмытые деревья клонились к ней, как печальные зеленые

знамена. Мхи, лишайники, вьюн, чаща. А под корнями этого леса – золото...

– Васька, Васька! Люди подмоги просят, хотят на новые земли ступить, да силы нет. А вот им и подмога. Можем сами себе сделать пособие. Чем надрывать, корчевать руками – рвать тайгу порохом. Завести хороших коней – на них вывозить лес. Нам никто пособия не дает.

«Неужели мужику в руки нельзя дать золота? – подумал он. – Неужели он пропьет себя и погубит свою жизнь? Разве мы только бедностью сильны? Поднять пески, пройти по косам, отмелям, ударить шурфы на берегу. Быть не может, чтобы тут не нашлось золота!»

– А дяди Вани давно нет, – сказал тихо Васька. – Он на прииске. Он говорил: золото есть в тайге везде.

– Мы с тобой еще сюда приедем, – сказал Егор и, к удивлению сына, добавил: – Золото в Додьге будем с тобой мыть. Ведь я старался на старых-то местах, мыл...

Васька показал, где брал он пробу.

– Когда на Горюне был я в прошлом году, так дядя Ваня сказывал, что золото есть везде, во всех речках.

* * *

– Васька золото на Додьге открыл, – сказал Егор, возвратившись домой.

Татьяна положила младенца на кровать и всплеснула руками.

– Быть не может! – радостно изумилась Наталья.

Вся семья оживилась. Егор развязал узелок. Старик, бабы, ребятишки сгрудились вокруг стола. Дед ловил дрожащими пальцами золотые крупинки на тряпке.

– Мой да помалкивай, – посоветовал он.

Все были обеспокоены и не знали, горевать или радоваться Васькиной находке. Чувствовали, что подрастают молодые таежники, которые все устроят по-своему, и что с открытием золота старая жизнь на релке, заведенная переселенцами на старинный лад, быстро пойдет к концу.

– Какое богатство открыл! – удивлялся дед и пребольно оттрепал Ваську за ухо. – Эх ты, родимец!..

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ



В избе у Кузнецовых сидит офицер, рослый, широколицый, дотемна загорелый, лет тридцати восьми, с проседью в русых волосах. На столе – синие бумаги, компас, барометр, подзорная труба. Солдаты вносят ящики, чемоданы. На стене – клеенчатый плащ, шинели, оружие.

В Уральское прибыла экспедиция. Людно и шумно стало в доме. Крестьяне понимали, что от экспедиции польза, что край ими разведывается. Экспедициям пекли хлеб, ловили рыбу, подавали им подводы^[71] с гребцами.

Мужики и гольды теснятся на лавках.

– Улугу, поедешь проводником в экспедицию? – спрашивает Егор. Гольд, сидевший здесь же в углу, встрепенулся и, вскочив, подошел к столу на свет керосиновой лампы.

– Вот, Александр Николаевич, лучше проводника тебе не найти, – сказал Кузнецов, обращаясь к приезжему. – Охотник очень хороший. В тайге все речки знает. Всюду пройдет.

– А по-русски умеешь говорить? – спросил Максимов. На нем высокие сапоги и парусиновая блуза.

Егор знал Максимова еще по прошлому году, когда тот делал промер фарватера на Амуре. Уж год, как он живет в Мариинске и путешествует по краю.

Улугу хотел ответить, но от волнения горло у него перехватило. Его как громом поразили слова Егора.

– Что молчишь? Знаешь по-русски? – спросил Силин.

– А че, не знаю, что ли? – с сердцем ответил гольд.

– Ну, так тебя спрашивают, пойдешь?

– Как я знаю, пойду ли, нет ли? Возьмут, так пойду. А не надо, так зачем пойдем.

– Берем тебя, – сказал Максимов.

У него глаз был наметан, и Улугу ему сразу понравился.

Максимов стал рассказывать гольду про его обязанности. Тот смотрел с безразличным видом, но понимал все отлично.

Пришел чернобородый доктор в белой шляпе.

– Лодки вытащили, – сказал он.

Солдаты стали вносить ящики.

Доктор, тяжело дыша и вытирая платком лысину, присел. Через расстегнутый ворот его рубахи видны шея и волосатая грудь.

Максимов представил ему нанятого проводника, а Улугу сказал, что он должен будет завтра идти с доктором в Мылки.

– Солдат кормить нечем. Мне лосиное мясо нужно. Сипонда би? [72] – обратился доктор к Улугу.

Он знал пять европейских языков, но больше всего гордился, что кое-как понимает по-гольдски.

– Братец мой, не легче латыни, – замечал он Максимова, – но учу, учу!

Доктор объяснил Улугу, что будет в Мылках делать прививки.

– Там хорошенько всем скажи, вели приходить. Скажи: «Хворь не пристанет», – учил нового проводника Савоська. – Скажи, никто не заболит.

Максимов сказал, что сам он с другой частью экспедиции и с другим проводником пойдет в верховья Додьги.

– А кто у тебя проводник? – спросил офицера Улугу.

– Вот Савватий Иванович! – ответил Максимов. – Старый мой приятель. А потом обе части экспедиции соединятся здесь в Уральском, а дальше пойдем вместе.

Он показал проводникам карту и маршруты.

– Зачем ты ему про золото сказал? – втихомолку бранила Егора старуха мать.

– Пусть люди знают! – ответил Егор.

– Знают! Э-эх, Егорушка, родимец!.. – бормотал дед. – Все уйдет. Зря выдал.

По окрестностям, видимо, прошел слух, что в Уральском экспедиция. Напуганные оспой гольды, узнав о приезде доктора, толпами приезжали с летних работ в Уральское. С детьми и женщинами приходили они к крыльцу. Кузнецовы заразы не боялись.

– Че, экспедиция тут? – входя в избу, спрашивали гольды. Они просили спасти их от заразы, кланялись, некоторые здоровались с Максимовым за руку.

После обеда доктор велел объявить, что будет делать прививки от оспы. Врач и фельдшер надели белые халаты. Блестящие инструменты, вата, флаконы вызвали общее любопытство крестьян и гольдов.

Савоська первый вызвался делать себе прививку. Врач взял ланцет, вытер худое плечо старика спиртом.

– Я это дело знаю. Доктор шкуру режет. Маленько заразы пускает. Много не пускает, – объяснял Савоська сородичам.

Гольды набились в избу, чувствуя себя как дома. Они столпились около доктора, переглядывались боязливо, но не уходили.

– А зачем шкуру режет? – спрашивали они. – Разве нельзя глотать или еще как-нибудь? Стеклянных бутылок много, спиртом так сильно пахнет. Ан-на-на! Что это горит?

Врач зажег спиртовку. Все замерли, увидев таинственное голубоватое пламя, ударившее струйками из железной коробочки.

– Эх, доктор, хорошо резал! – отходя к двери, воскликнул Савоська, показывая всем свое черное костлявое плечо с тройным надрезом.

– Вымой, а то пропадешь! Ведь это зараза... – сказал Барабанов.

– А ну, засучи рукав, – грубо оборвал Федора солдат в белом халате.

И не успел Федор опомниться, как ротный фельдшер сделал ему прививку.

– Как карася тебя резал, – заметил Савоська.

– Верно, что-то шибко здорово он меня полоснул.

Гольды верили русскому доктору, просили его приезжать в окрестные стойбища, делать прививки женщинам и детям.

Улугу присел подле Егора и спросил:

– А откуда экспедиция ходит?

– Из города.

Улугу помолчал.

– А исправник из города?

– Тоже из города.

Егор догадался, что гольд замечает разницу между русскими из экспедиции и городским начальством, хоть по виду люди одни и те же.

– Долго тебе толковать, – сказал Егор. – Поезжай с ними и все поймешь.

«Теперь Улугу поведет экспедицию, покажет, что есть в тайге, и сам поучится. И ему польза и от него, – думал Егор. – А раньше всего боялся, от всех прятался».

* * *

«Я буду ходить с экспедицией! – думал Улугу. – Как это вдруг получилось, что я стал проводником? Даже не верится!» До сих пор он и мечтать не смел об этом. Для этого надо было знать русский язык. Еще несколько лет тому назад Улугу не знал ни слова по-русски, боялся русских, верил шаманам и торгашам, что все беды от русских. А вот как-то незаметно для себя Улугу заговорил. «Сам не знаю, когда я заговорил!» Сегодня, казалось, он почувствовал, что у него крылья, которых до сих пор он не замечал.

– А есть шаманы в Мылках? – спросил доктор Иван Иванович Дубков.

– Как же! Есть...

Улугу назвал шаманов.

– Они будут подбивать народ не делать прививки, а ты помоги нам.

– Конечно!

Доктор стал спрашивать, чем болеет народ по стойбищам.

– Людям плохо жить. Чужие сюда приходят, хворь и заразу везут, вещи украдут и обманывают, в это время много людей умом трянулось, – стал рассказывать Савоська.

– Гольды? – спросил Максимов.

– Все равно, гольды, русские, китаец ли попадет, ево тоже башка не железный.

На ночь многие гольды остались ночевать в избе и в сенях, не желая покидать экспедицию.

Со времен Невельского ни один человек, приходивший на Амур с экспедицией, никого не обидел, не обманул. Это были люди особые, не похожие на купцов, солдат и арестантов. Даже солдаты в экспедициях были другие, чем те, которые сопровождали чиновников.

Со времен Невельского все жители края знали, что от экспедиции польза. Боялись наезда попов и чиновников, купцов ждали с любопытством и надеждой, а провожали часто с досадой, а экспедициям радовались. Их дело чистое, честное, занятное, не похожее на общую злобную жизнь.

* * *

Максимов назначил Улугу плату.

«Что платят – это, конечно, очень хорошо. Думать не надо, как прокормиться. Русские, если в экспедицию идут, всегда берут с собой хорошие продукты: хлеб, масло и в банках мясо. Все дают проводнику, что сами едят». Все это было заманчиво, но главное не в этом.

Как не раз слышал Улугу от людей, бывавших в тайге проводниками, русские любят, чтобы им рассказывали все: как

называется река, откуда она течет, где какие люди жили прежде, какое где дерево, трава, птичка, зверь, как на кого охотиться.

Улугу давно собирался рассказать какой-нибудь экспедиции все, что знал. Все это запишут, и будет потом в книге об этом. У него было что рассказать.

Однажды на охоте, в верховьях ключа Одо, Улугу с товарищами разжег костер. И удивительное дело, в воздухе запахло как-то странно.

– Что такое?

– Русским пахнет, – говорил Покпа.

Действительно, пахло в воздухе так, как, бывало, от новой материи, которую покупали на баркасах. Запах этот был известен всем гольдам и считался русским запахом.

И на этот раз пахло русскими. Стояла зима. Мороз был трескучий. Охотники натянули парус на жердях и уснули между огнем и полотнищем. Ночью Улугу очнулся. Он замерз и хотел подбросить сучьев в костер. Но костра не было. К удивлению и страху Улугу, костер провалился в землю.

«Что такое?» – подумал гольд.

Пламени не было, а из дыры, похожей на неглубокий колодец, курился слабый дымок и сильно пахло русским.

Улугу наклонился, чтобы посмотреть, что это за чудо, почему костер провалился. В лицо его пахнуло сильным жаром. Улугу вскочил и разбудил Покпу. Старик отодрал край дернины. Под ней все тлело и дышало жаром.

– Черта дело! Земля горит! – изумился Улугу.

Действительно, похоже было, что вся земля загорелась. Едкий запах свежей мануфактуры распространялся по тайге.

– Нет, это не земля горит. Это воронов камень, – заметил одноглазый Покпа. – Знаешь, я видел такой камень на Сахалине. Он горит хорошо. Его в печку можно класть.

– Тогда и в юрте будет русским пахнуть? – спросил Улугу.

– Да, конечно...

Это было несколько лет тому назад. Впоследствии Улугу как-то рассказал об этом случае Савоське. Тот не удивился. Он сказал, что русские очень дорожат таким камнем, что они называют его не воронов камень, а каменный уголь. В свое время Савоська видел большие морские пароходы, которые топились каменным углем.

– Так скажи русским!

– Ты сам нашел и сам скажи. Я же не знаю места.

Улугу пытался объяснить про каменный уголь мужикам, но те не обрадовались и не стали собираться в тайгу, чтобы увидеть эту диковинку. Улугу узнал потом, что это не их дело. Надо ждать экспедицию.

Егор не заинтересовался каменным углем на Одб, но рассказ Улугушки запомнил. Когда приехал Максимов и стал искать проводников, Кузнецов сразу посоветовал взять в экспедицию своего приятеля. Как человек бывалый, он знал, что каменный уголь нужен. Да и пароходы, ходившие по Амуру, иногда не брали дров в Уральском, когда шли из лимана. Их машины работали на каменном угле.

Кроме места, где наружу выходят залежи «воронова камня», Улугу собирался показать и рассказать Максиму еще много важного и интересного.

* * *

– Улугу-то доволен! – смеясь, заметила Наталья, входя в избу. – Сразу согласился. Только спросил, отпустит ли его барин домой на денек.

– А он в Мылки пойдет с доктором, – ответил Максимов. – Я ему уже сказал об этом.

– А вот скажи, Александр Николаевич, – обратился к нему Егор, – порубим мы леса, запашем землю, что будут гольды делать? Уж они и теперь жалуются, что русские им мешают, поп в колокол играет, гусь старой дорогой не летит. А что будет, если, как ты говоришь, сюда, дескать, со временем придут сотни тысяч? Ведь людям где-то надо жить, леса порубят, все запашут. Будет еще хуже. Улугу сейчас радуется, а что дети его скажут? Не проклянут ли они то время, когда нас по тайге водили?

– Прежде всего они всегда будут нужными людьми. Без их советов, указаний даже, ведь никто ничего не делает и не открывает, – ответил Максимов. – Они знатоки края непревзойденные. Они покажут трассы будущих железных дорог. Они обращают наше внимание на

редкие растения. Маак, Штрэнк, Максимович, Венюков, Пржевальский, Невельской, Надаров, Муравьев, Чихачев, да все, все мы тысячу раз обязаны им, гилякам, удэгейцам.

– Все же землю им пахать непривычно.

– Да, может быть, и не надо будет им пахать. Плоды земли быстро понравятся им. Может быть, они сами потянутся к земледелию. Но любимым их делом останется охота, рыбная ловля. Они будут всегда полезны. А нам, во-первых, нельзя допустить гибели лесов. Конечно, наши чиновники могут погубить и леса и гольдов. Надо сохранять питомники, беречь государственные леса, заказники. Для охоты останутся огромные территории. Гольды, дай-ка им грамоту, будут разводить зверей. Их знания уже теперь гораздо глубже, чем мы можем предполагать, хотя и считаем их дикарями. Милый мой Егор Кондратьич, что может человек сделать в будущем, мы даже и предполагать с тобой не смеем! Каждый народ найдет полезное дело и будет служить человечеству.

– И цыгане?

– Как же! И цыгане... Грузы будут на прииски возить. Коней разводить... Да мало ли что! Настанет время, когда нечестность сама по себе исчезнет, будет не нужна. Не от хорошей жизни бывает человек нечестен! А уж гольды – народ совестливый, правдивый, любознательный и от дела ни от какого не откажутся. Они всегда будут нужнейшими людьми. Да я и тебе советую смотреть на них как на людей, равных себе. Не слушай наших попов и дураков, что твердят разные глупости. Гольд – человек!

Егор стал рассказывать про разные сомнения Улугушки насчет попа и как его приходится утешать. Он вспомнил, как учил его огородничать.

Разговор перешел на другие темы. Просидели допоздна.

– Леса еще на тысячу лет хватит! – заметил сидевший тут же Тимоха. – Чего же лес жалеть! Тут тайга.

Утром появился Писотька.

– Ты экспедиция? – спрашивал он у доктора.

– Экспедиция, – отвечал тот.

– Хороσο, хоросо! – хлопал его гольд по плечу.

– А ты, Улугу, тоже экспедиция пойдешь? – ревниво опросил Писотька.

Улугу, сияющий, оживленный, не отвечая, пошел с веслами на плечах, попыхивая трубкой.

– Улугу – проводник, – сказал Егор вслед приятелю.

– Черт не знает! – с завистью воскликнул Писотька. – Но как так? Ведь Улугу русских так ругал?

«Я теперь не только проводник, но и переводчик!» – с гордостью думал Улугу. Ходить проводником с русской экспедицией было заветной мечтой каждого гольда. Егор замечал: все завидовали Улугу. И верно: это не то что возить купца!

Писотька пожаловался доктору, что у него грудь болит.

Иван Иваныч велел ему снять рубаху. Писотька захихикал, стыдясь наготы и закрывая грудь руками.

– Не треснуло? – обеспокоенно спросил Покпа, когда врач стал выстукивать Писотьку.

– Зачем стучит и слушает, как доску? – спрашивали гольды друг у друга. – Разве из него лодку делать?

– Цо таки? Не звенит? – беспокоился Писотька, пока доктор его слушал и выстукивал.

Савоська, румяный, свежий, в коротком новом халате, тщательно опоясанный, с ружьем, мешком и в рыжей шляпе, явился к Максиму.

– Лодка готова. Мои новые весла брал. Теперь поедем!

Максимов отправлялся к вершине водораздела с Савоськой, которого он знал как опытного проводника. Он обещал Егору постараться проверить, сколь это возможно будет, много ли золота на Додьге.

Максимов брал с собой и солдат, чтобы бить шурфы.

– А мы оспу будем лечить. Всех маленьких ребятишек в Мылках привьем и старух тоже, – говорил Писотька. – Проводника Улугу бояться не надо. Всем надо резать!

– Кто рябой, так уж не заболит, – заметил Покпа. – Тому не надо.

– Кто рябой, так черта ему! А тебе, может, лечиться неохота, – со злом сказал Улугу. – Смотри!.. Доктор ходит лечит, помогает. Плохого нету! Вы, наверное, так думаете, что русский только ворует соболей? Только невода отнимает? Может, тебе худо, что колокол играет, что церковь строили? Думаешь, как гуся, пугает? Может, тебе мошки жалко, что дым ее гоняет, что пароход ходит, в две трубы дымит?

Писотька слушал с удивлением и беспокойством. Он не додумался до всего этого. Он опасался, что русские поверят рассказам своего проводника. Писотьке захотелось казаться перед русскими поумней.

В тот же день врач и фельдшер с проводником и двумя солдатами отправились на лодках в Мылки. Там уже все знали, что доктор сделает прививки.

– Экспедися, экспедися пришел! – неслась весть по стойбищу.

Молодой толстогубый торгаш Данда стал подговаривать народ против прививок.

– Кто привьется – все умрут! – говорил он, прячась в толпе.

Данда всегда подговаривал всех против русских. Часто издевался он над Улугу за его дружбу с Егором. Сколько насмешек снес от него Улугу за свой огород!..

– Ты что, дурак, не хочешь здоровым быть? – твердил всем Улугу. – Ты в шаманские глупости веришь? Лечиться не хочешь? Может, ты глупости думаешь? Может быть, тебе мошки жаль? Тебе, наверно, не хочется за гусем на остров ехать, ты хочешь, чтобы гусь тебе к дому прилетал? Косу вода затопила, а ты, может быть, думаешь, что это русские виноваты?

Данда, Покпа и все мылкинские гольды слушали и удивлялись, какой Улугу, оказывается, твердый сторонник русских.

В тот же день все население Мылок собралось около юрты, где остановился доктор. Все желали прививаться.

– Лоча по-нашему понимает? – кивая на доктора, спрашивали мылкинцы.

– Лоча чисто-чисто по-нашему говорит. Как настоящий гольд! – сидя на корточках, таинственно рассказывал Улугу. – Худа не делает. Кого лечит, тот никогда оспой не заболит.

Доктор после прививок хвалил Улугу, сказал, что, если бы не он, ничего не удалось бы.

«Ты еще не знаешь, что я хочу рассказать начальнику про воронов камень, – думал Улугу. – Погоди, не то еще будет!»

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Максимов и Савоська сидели у входа в чум. Жерди тунгусского жилища были полузакрыты берестой. За чумами – ягельная площадь, редкие березы в зеленых мхах, низкие каменистые холмы. Кое-где среди камней виден снег. Тут вершина хребта. По ягельнику бродят олени. Кажется, что тут низина, тундра, а не верхняя точка водораздела. Лесистые горы – ниже. Додьга берет начало из этих ягельников.

Александр Николаевич рисовал тунгуску. Савоська, следивший за его работой, попросил карандаш, поправил на рисунке складку губ, а к уху подрисовал подвеску из камней и серебряных колец, хотя в ушах женщины ничего не было. Тунгусы захохотали. Захихикал и Савоська, видя, что рисунок стал живей.

Подымаясь на этот болотистый водораздел, Максимов занес на карту Додьгу. Топограф, ботаник и этнограф, он с ведома и при содействии военного губернатора приглашен был Обществом изучения Амурского края для исследования новой страны на средства, собранные в разных городах России и Сибири. Если бы не общественные деньги, эта экспедиция не состоялась бы.

– Ты хорошо в тайге ходишь, – хвалил его Савоська.

Максимов втайне гордился похвалой гольда, который когда-то водил самого Невельского. Некоторые ученые из Географического общества ненавидят его, уверяют, что он неуживчивый человек. Максимов был у Геннадия Ивановича перед отъездом на Амур и рассказал Савоське о встрече с адмиралом.

– А как баба его? – спросил гольд.

– Она жива и здорова.

– Девки, говорят, выросли?

– И девицы большие, прелесть! И сынок растет!

Гольд много рассказывал Максиму про те времена, когда служил он у Невельского в Амурской экспедиции.

* * *

В верховьях Додьги встретили кочующих оленных тунгусов. На обратном пути Савоська принес Максиму клеща. Он уверял, что этот клещ – разносчик смертельной болезни. Гольд говорил, что те, в кого он вопьется, болеют и либо умирают, либо глупеют на всю жизнь.

В низовьях Додьги Максимов нашел новую разновидность черемухи, взял образцы кварца. Савоська рассказал, что он знает в горах по Горюну места, где из земли сочится керосин, и что такое же место есть на Сахалине, куда амурские охотники ходят за соболями.

Александр Николаевич слушал гольда и думал, что еще многое надо сделать исследователям, чтобы иметь хотя бы приблизительное понятие о богатствах этого полупустынного края.

Додьга была впервые нанесена на карту. Максимов теперь ясно представлял себе всю реку – от вершины водораздела, лежащего за областью тайги, где между каменистыми куполами хребта слабые ручейки разрезали глубокий мох, где на топкой равнине берестяные чумы и стада оленей. Там дикие олени подходят к домашним оленухам и дают, как рассказали ему тунгусы, особенно сильное и выносливое потомство. Там кривые березки, а на бескрайных болотах редкие и низкие лиственницы, смолоду сожженные ветром, стоят поодаль друг от друга, как падающие кресты на кладбищах. Ниже – ельник, скалы, ручьи сливаются, журчит река, гниют кости кеты, выловленной по осени крючками или погибшей после икромета и грудями затухшей на перекатах. Еще ниже – дремучий безлюдный лес на сотни верст. Лес из могучих берез, осин, пихт, лиственниц переходит в сплошную еловую тайгу. Голые нижние ветви елей торчат, как ножи и копья, скрещиваются и образуют непроходимые заграждения. Ельник сменяется лиственным лесом. Начинаются рощи, кишашие зверями. Они перемежаются с болотами. На кочкарниках цветут белые кисти дурманов, туманят голову путнику, забредшему на болото. Водопой лосей... Утренний туман, тучи мошки, глубокие травы... Малинники, смородинники... Рев медведя и сохатого...

Там, где долина шире, – рослые и толстые столетние дубы, ясени, пробковые бархаты, а в подлеске – новые виды черемухи и сирени, орешник, таволожник, вяз с острыми, как бы двурогими листьями, черная береза, жасмин, акация, вьюн-лимонник, лианы-актинидии, виноград, в траве – красные и желтые лилии, тюльпаны... Бурные рукава реки, завалы колодника, озеро, протока в Амур среди тихих

глубоких трав и высокая релка с пашнями, с ветряной мельницей, с бревенчатыми избами русских крестьян.

В переселенцах Максимов видел главную силу, которой суждено преобразить край. Он знал, что эти люди, освоившись, со временем пойдут вверх по речкам, найдут там земли, пригодные для обработки, расчистят их и, когда их потомки, или новые переселенцы, или отряды рабочих и солдат-строителей поднимутся до ягельников на вершинах водоразделов, обоснуют там селения, откроют недра, пробьют дороги и проложат через хребты линии связи, край оживет. Но он понимал, что это все может осуществиться только после свержения самодержавия в России, когда власть будет принадлежать народу.

«Тогда преобразится русский Дальний Восток!» – думал Максимов. Пока что среди громадного лесного океана он один с помощью нескольких солдат и переселенцев делал первые шаги по его исследованию.

* * *

Егор знал про себя, какую чувствуешь усталость, когда возвращаешься из тайги домой. Кузнецовы топили баню. Кровать Максимова поставили поближе к столу, чтобы он и спал и работал, когда захочет. Они знали его привычку – подыматься ночью и что-то записывать. Наталья взбила перины, постелила свежие простыни.

– Отдохнешь, барин, за все дни сразу, – ласково улыбаясь, сказала она Максиму.

– Никогда даром не сидит! – похвалил своего спутника Савоська, когда тот ушел мыться. – Шестом всегда сам толкает. Невельской такой же был. Когда больной ехал – и то все время толкает. Проводнику всегда помогает. Максимов омуту Невельской. А писарь едет, никогда не толкается сам. Полицейский тоже не толкается.

После бани и ужина Александр Николаевич сидел недолго.

– Намаялся! – молвила Наталья, когда он улегся и вскоре захрапел.

Она подумала, что есть же где-то у него жена и дети – и так ли позаботится о нем его барыня, когда воротится он с Амура?

– Уж он всегда так благодарит за все... Бывают же такие люди обходительные! – потихоньку говорила она Татьяне.

Этот чужой, уставший, седеющий человек, такой же таежник, как ее муж и дети, представлялся Наталье своим, близким.

Ночью было душно. Собирались тучи. Максимов проснулся. Ломило ноги, застуженные в экспедициях.

Александр Николаевич зажег свечу и посмотрел на барометр. Стрелка шла на дождь. Максимов потер мозжившие колени. За окном слышался глухой шум тайги. Он вспомнил про неизвестный, не описанный никем до него вид черемухи, ее лепестки, кору, разрез, и на душе у него потеплело.

Максимов подумал, как напишет про найденные новые виды домой, а потом поместит статью в журнале, будет демонстрировать додзьгинский гербарий на лекциях. Как обрадуется, прочитав письмо, старший сын его, смышленный парень, любитель ботаники.

Он вспомнил, что жена в последнем письме жаловалась на дороговизну. Семье жилось трудновато. Кроме старшего, который учился в гимназии, росли еще двое мальчиков и маленькая дочка. Максиму, как исследователю, оказывали большое уважение. В Петербурге на его лекции публика шла толпами, но на службе он был не в чести, и жалованье его было невелико. Он знал, что семья его живет в бедности. Его тяжелый труд исследователя давал ему лишь скудные средства. Жена в Петербурге мужественно переносила все тяготы и лишения, фанатически верила в значение исследований мужа. Он подумал, что, по сути дела, он ей должен быть благодарен больше, чем Географическому обществу или военному губернатору.

Ветер в тайге зашумел сильнее. От работы шестом ломило руку и плечо. Александр Николаевич вспомнил, что Савоська тоже жаловался на больные кости. Он подумал, что в России крестьянство живет в здоровом климате, а тут переселенцы и гольды, проводившие долгие месяцы на зимней охоте, а летом корчевавшие тайгу и работавшие по осушке болот, почти все больны ревматизмом. От долгих скитаний по тайге в одиночестве у многих охотников развиваются нервные болезни. Переселенцы тоскуют по родине. Все это неизбежные явления, когда обживаются новые места. Край на тысячи верст представляет собой как бы сплошное болото, изрезанное реками и ручьями. Заболочены даже склоны хребтов, вершины гор. Под камнями на вершинах водоразделов слышно журчание воды.

Но болота эти легко поддаются осушке. Заболочен лишь верхний слой земли. Из века в век таявшие снега и дождевые воды задерживались в дремучих лесах. Стоит человеку вырубить участок, как земля высыхает. Под тонким слоем чернозема – плотная глина и пески: мертвая почва без всякой бактериальной флоры. Крестьяне рыхлят ее, навозят или ищут на высоких релках черные наносы, намывные в древности речками. Осушая край, люди страдают, болеют, но они изменяют климат для будущих поколений.

Максимов знал, что со временем, когда эти земли будут густо населены, климат переменится.

Мужики и бабы Храпели по всей избе. Максимов лег, укрылся одеялом и подумал, что, по сути дела, они тоже исследователи, идущие все вперед и вперед, и что русский народ веками изучает и осваивает новые земли. Ведь когда-то и на том месте, где теперь Москва, стояли такие же дремучие, заболоченные леса, как теперь на Амуре, но своим трудом и терпением народ обжил их для нынешних поколений. И вот потомки тех русских, пришедшие первыми на Дальний Восток, обживают редкие релки на берегах многоводного Амура.

Чуть свет Александр Николаевич сидел у стола, разбирал ящик с корой, камнями и образцами растений. Он прозанимался весь день. В доме Кузнецовых ему работалось хорошо. Наталья хлопотала по хозяйству и, словно понимая значение его труда, все делала тихо. Максиму это было приятно. Он еще глубже вникал в дело.

«Хорошо, что русские крестьяне обосновались по Амуру, – подумал он, закончив дело. – Где бы я занимался так в палатке или у гольдов!»

– Ну, что нашел у нас? – спросил Егор, воротясь домой.

Максимов показал кусок руды с прожелтью.

– Что же это? – спросил Федя.

– Золото, – ответил Максимов. – Вернее, порода, содержащая золото.

– А я уж и забыл про него, – ответил Кузнецов.

Он не желал выказать свое любопытство.

Егор взял камень, оглядел его со всех сторон и осторожно положил на стол.

– Россыпи должны быть на Додыге повсюду, – сказал ему Максимов, – поскольку в горах есть золотая руда.

Вечером собрались соседи. Заговорили про золото.

– Вот скажи, Александр Николаевич, велико ли у нас на речке богатство? – спросил Федюшка.

– Я так рассуждаю, если бы было велико, Иван знал бы! – воскликнул Барабанов.

– Надо самим поплескаться, – заметил Силин.

– Был случай, что Невельской по старой гилияцкой пуговице открыл громадные запасы каменного угля на Сахалине, – стал рассказывать Максимов. – Уголь оказался годен для пароходов, и сейчас там построен Александровский пост, заведены большие казенные работы. А началось с того, что заметил он у одного из гилияков, приехавших к нему за покупками, необыкновенную черную пуговицу. Невельской ее хорошенько рассмотрел, видит – уголь. Спросил, откуда тот брал камень. С этим гилияком он послал своего офицера на Сахалин – и залежи были открыты. Так же и у вас. Мальчик нашел золотые крупички. В горах есть кварцевая руда. У меня взяты образцы. Вполне возможна богатая россыпь.

– От этого золота только грех.

– Напраслина, дедушка. Золото имеет великое значение. Пусть ребята открывают и моют. Настанет время, когда весь народ станет благодарить их за открытие золота в новом крае, имена их станут потом разыскивать...

– Богатым все золото пойдет!

– Придут дни, что и богатых не будет. Богатство должно принадлежать народу. Около золота встанут честные люди, и народ будет знать, сколько и каких богатств в стране.

– Царствие-то небесное!

– Нет, не небесное. А на земле можно устроить хорошую жизнь.

– А вот, Александр Николаевич, копал я гольду огород и нашел... – Егор отдал Максиму медный крест, выкопанный на Улугушкином огороде.

– Старинный русский крест, – рассмотрев его, сказал Максимов. – Вот вам признак, что тут земля была обжита. А когда русские ушли, все заглохло. Теперь все приходится начинать сначала. Тут кругом жили русские. Обычно принято думать, что русская жизнь в крае была сосредоточена вблизи устья Зеи, там, где теперь Благовещенск, и выше, ближе к Забайкалью. Там, конечно, были главные городки, но и

здесь, в низовьях, повсюду – на реке, и на озерах, и на Горюне, и на Амгуни – есть остатки селений, валы, заросшие лесом. Всюду, корчуг лес, переселенцы находят почву, рыхленную когда-то прежде. А туземцы в один голос говорят, что это жили лочи.

«Охотское море – старейшее русское море, – подумал Максимов. – Еще Петербурга не было, а уж Охотское море принадлежало России. Когда-нибудь ученые еще займутся этим, все узнают. Ерофей Хабаров умный был мужик и, видно, развил тут большие дела, а в России мало кто знает о его подвигах. Личностью какого-нибудь прохвоста Нессельроде официальные историки интересуются, изучают жизнь разных сиятельных бездельников, а подвиг русских на Амуре не изучен. А встарь народ шел в надежде на новую жизнь и сюда, и на Охотское побережье, и на нашу Аляску, уходил от притеснений и горя. Величина России – величина ее горя. Но будет время, что величина ее станет мерой счастья и радости».

– Завтра опять лес подсачивать ^[73] пойдём, – говорил Егор.

– И я с тобой, – сказал Максимов. – Хочу посмотреть, какое то место, где ты рощишь делать хочешь.

Максимов говорил крестьянам о значении исследований, о необходимости разведки месторождений золота, железа, меди. Он уверял, что всего этого здесь не меньше, чем на Урале, но нет людей, которые бы открывали.

Васька слушал внимательно и все запоминал. Он теперь мечтал сходить когда-нибудь в тайгу с экспедицией.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

На Додьгу приехали на лодке, которая вытащена была у Кузнецовых на берег озера под релкой.

Когда проезжали устьем одной из протоков, Александр Николаевич, сидевший на веслах загребным, заметил (в то время как Егор завернул корму к протоке), что вдали на возвышенном берегу видны соломенная крыша и зеленое поле. Белая крыша напоминала Максимову китайские фанзы.

– Кто же это там живет, Егор Кондратьевич? – обратился он к рулевому.

– А это у нас китаец тут поселился и рощисть делает.

Егор рассказал историю Сашки.

– Можем ли мы на обратном пути заехать к этому китайцу? – спросил Максимов.

– Пожалуй. Твоя воля, Александр Николаевич. А если не ждать нас, так дадим тебе лодку.

– Да нет уж, все вместе. Или поздно будет?

– Да нет, нынче погода, поди, переменится. Рано управимся.

– Да, похоже, что переменится погода.

Утро в тайге душное.

– Ноги гудят! – жаловался дед.

Максимов взял пробы песков на Додьге, а потом вернулся на стан. Вооружившись топором, он работал вместе с Кузнецовыми.

Час от часу парило сильней.

Крестьяне усердно работали топорами. Максимов видел, что их больше занимает новая земля, чем найденное золото.

Александр Николаевич любил поработать, размяться. Физическая работа – ему отдых. В Петербурге в те дни, когда жена отпускала прислугу, он с большим удовольствием помогал ей. На даче был у него огород.

Работа среди тайги, с переселенцами была не только удовлетворением. Он замечал, как Егор рубит дуб, а как липу, как какое дерево трещит, как поддается рубке, каков сок. Древесина, заболонь. Даже одной и той же породы деревья все отличались друг от друга, каждое росло, и жило, и умирало по-своему. Для исследователя,

всю жизнь мечтающего о лесах, а живущего большую часть жизни в Петербурге, среди подлых чинуш и каменных домов, это наслаждение – стоять вот так, в лесу, мыслью о котором живешь всю жизнь, и действовать топором рядом с человеком из народа, у которого обо всем есть свое суждение: и о муравьях и о пнях, о дубе, акации, яблоне. Он говорит поясней любого петербургского ученого, какого-нибудь всеевропейского знатока российской флоры, автора книг о Сибири, человека с блеском и апломбом.

«Егор – сама мудрость народа, – думал Максимов. – Среди нашей бестолочи, малограмотности, угодничества в простом народе встретить такого Егорья-победоносца, как называет его мылкинский батюшка!»

Многое, что говорил Егор, следовало бы проверить. Максимов вспомнил, что ученые в Петербурге не раз спрашивали его, не известны ли ему в Сибири какие-либо знаменитые колдуны.

«Ищут колдунов, исследуют их методы, обосновывают научно, стараются проверить народные средства, а сами поносят и унижают русский народ, говорят, что он дик, темен, не способен к образованию и выше колдунов не может подняться без помощи варягов. А право, и мне стоит задуматься. Кузнецов уверяет, что хлеб на земле из-под березового леса лучше, белее».

– А что же китаец, ваш сосед, сеет?

– Да он и пшеницу, ячмень, бобы, овес, всего понемногу. Ярицу не сеет. Они ведь черной муки не признают.

– Да, они белую. А как же он за два года такую большую пашню распахал?

– Там и пашня и огород. Он третий год работает. Китайцы ведь старательный народ.

– Да, трудолюбивый.

– Славный народ, Александр Николаевич!

Максимов замечал, что переселенцы всюду хвалят китайцев.

Сам Максимов изучал китайский язык. Он бывал в Китае и в Маньчжурии. Жизнью китайцев на Амуре среди русских он интересовался особенно и решил познакомиться с Сашкой.

– Чем же хороши китайцы, по-твоему?

– Они честный народ. Не крадут и не обманывают. Что китаец обещал – сделает. И работает хорошо. Как мы сюда пришли, только и

слыхали: китайцы, мол, обманщики, воры. Их, мол, много, и китаец пойдет на Русь и всех зальет, как водой.

– Кто же эту теорию вам изложил?

– Да господа... Говорил об этом Оломов. Вот в Николаевске есть скупщик рыбы, был он иностранец, а теперь принял наше подданство, он все нам говорит: «Бойтесь китайцев. Это народ ой-ой!» А Бердышов говорит, что он то же самое и китайцам говорит: «Мол, русские ой-ой! Бойтесь русских!» А сам торгует со всеми.

Егор не стал рассказывать, как однажды он сам наломал бока братьям Гао за насилия, которые терпели от них гольды. И хотя он за гольдов заступался, но выместил свое.

– А вот стали мы с китайцем соседями и видим, что можно жить. А нынче зимой он женился.

– На китаянке?

– Нет, на гольдке. Нищая была, вся в заплатах ходила. Она жила в семье свекра. Муж у нее умер, была лишним ртом. Китаец ее присмотрел и высватал. Отдали ее охотно.

– Старая?

– Нет, она молодая. Свекор у нее слабенький, а семья большая, и все девки. И славные девки. Но бедны.

– Как же ее зовут?

– Одака... Только уж больно некрасивая. Ее дома били, все ругали, со свету сживали свекровь со свекром. Здоровая такая...

– А китаец ее не бьет?

– Нет, он ее не обижает, пампушки ей сам делает, – сказал Егор. – Ты, мол, не умеешь как надо...

– Что же она – хотела за него идти?

– Да уж этого я не знаю. Разве их спрашивают... Китаец будто доволен. Они работают дружно, для себя, и она старается. Я нынче весной их видел, они у меня коня опять одалживали, так она с брюхом была.

– Теперь уж, поди, сын у Сашки, – сказал дед.

– Китайцы тут всегда на гольдках женятся, – продолжал Егор.

– Он не испугается меня? Есть у него паспорт? Я мундир, пожалуй, сниму.

– Живет – и все. Росчисть сделал на протоке и живет, пока начальство не прогонит. Голодному как бы прокормиться. А жаль, если

прогонят. Как он старается! Да нынче приезжал исправник, он ходил к нему, и купцы-китайцы еще за него прошлый год похлопотали, так теперь уж он так придирки не боится. А нынче зимой у него завелся помощник. Да весной еще один китаец откуда-то приехал. Тому исправник обещал быка и денег выдать. Колькой зовут по-нашему. Умный китаец. Вот они и живут: Сашка с женой, Колька и Володька.

Под вечер Кузнецовы и Максимов заехали к Сашке.

На берегу встретил их сам Сашка. Жена его, гольдка Одака, та самая, которую когда-то Кальдука хотел отдать китайцам вместо дочери, стояла чуть поодаль. Одета она в дабовые штаны, как китаянка, у плеча китайская тяпка, особая, для полки, а на руках – младенец. Ее волосы причесаны, а на лбу челка. В волосах красная саранка. Лицо стало туже, взгляд спокойный, осмысленный.

«Экая она форсистая стала! – подумал Егор. – Не узнать!»
Вспомнил он, как вечно кричал Кальдука на нее, бил, какая была она запуганная, оборванная, как смотрела исподлобья! С Одакой произошло какое-то чудо, трудно даже поверить!

Тут был как бы маленький кусочек Китая. Вокруг небольшие, но тщательно разделанные росчисти. Правей – порядочная пашня, засеянная хлебом. Максимов заметил на грядках гаолян, лук, чеснок, бобы. Посреди росчисти стояла рыжая глинобитная фанза с белой соломенной крышей и соломенным навесом, под которым виднелся длинный низкий столик. Дым шел от костра.

Невдалеке стояли еще двое китайцев.

Колька, долговязый, нервный и подвижной, с худым черным лицом, качал из реки воду журавлем и сливал ее из деревянного ведра в желоб. Вода растекалась по грядкам и забегала в лунки. Третий китаец ходил между грядок, передвигал дощечкой маленькие земляные валки, и тогда вода, минуя политые ряды лунок, шла дальше.

«Когда они успели все это сделать?» – удивился про себя Максимов.

– У них все на грядках, – говорил Егор, – овес, гречиха, хлеба. Всего понемногу.

Максимов не раз наблюдал, как китайцы обрабатывают землю. Егор показывал офицеру их хозяйство и рассказывал про все со знанием дела. Он показал особую китайскую тяпку, которую и сам завел.

Отвернувшись от Максимова, Егор вдруг услышал у себя за спиной разговор двух китайцев. Егор решил, что пришел Володька и толкует с Сашкой, но, оглянувшись, удивился: Володьки не было. Это Александр Николаевич говорил с Сашкой по-китайски. «Никак не отличишь!»

Налетел ветер, колебнул воду на протоке и выдул из волны слабого белого барашка.

Через некоторое время китайцы оставили грядки и позвали гостей в фанзу.

Сашка с мотыгой на плече, в широких штанах, улыбаясь во все лицо, брел рядом с Максимовым.

Под навесом из соломы стоял маленький столик. Володька подал чашки с лапшой, зеленый лук и палочки.

Хозяева, видя, что русский понимает их язык, насторожились. Максимов почувствовал, что его боятся. Он сказал что-то смешное и понемногу рассеял опасения китайцев.

Оказалось, что Николай – политический изгнанник, беглец. Он этого не скрывал и полагал себя в России в безопасности.

«Будь Колька русским и соверши он в России такие же преступления против царя, – подумал Максимов, выслушав его повесть, – был бы повешен. Но Амур далек от столицы, и тут, видимо, решили вопрос проще, не вдаваясь в политические взгляды: Бежал из Китая, враг китайского правительства – значит, может нам пригодиться. На всякий случай надо приютить».

В Хабаровке Кольке обещали быка и лошадь, но не выдали. Не дождавшись обещанной помощи хабаровских чиновников, Колька поехал по реке и поступил к Сашке в работники.

Максимов и Кузнецов гостили недолго.

Ветер все крепчал. В лесу по вершинам деревьев шел ровный грустный гул.

Китайцам – Сашке, Володьке и Кольке – надо было в Уральское. Поехали все вместе.

Едва перевалили озеро и поднялись на релку, как рванул сильный ветер. Из-за сопков быстро шли облака.

Увидели Амур. Ветер рыл его воду, подымая пену на гребнях. Волны белели, все меньше становилось синей воды, и все толще и выше подымались катившиеся к берегу белые гребни.

В несколько минут ветер достиг большой силы и разволновал реку. Крутые валы тяжело, с ревом валились на берег. С каждой косой волной мимо селения пробегал грохот и удалялся по берегу. Песок кипел от пены и сбегавшихся ручьев.

– Амур-батюшка разгулялся, – молвил Егор, подходя к дому.

Наталья стояла на крыльце, с тревогой глядя на реку. Тальники над обрывом вдруг заметались, словно в ужасе. Животные жалась к жилью.

Егор чувствовал, что надвигается сильная буря. Ветер стал доносить на обрыв брызги волн.

Под далеким островом било баржу. В желтых волнах она казалась маленькой черной лодкой.

– На открытом месте встали. Ветер-то оттуда, – сказал Егор с тревогой. – Нынче ветры – сплаву^[74] разбой хода. А когда все вместе идут, посмотреть любо, как они выплывают.

С каждым новым порывом ветер все усиливался. Над бушующей рекой стоял сплошной грохот.

Баржа вдруг пошла.

– Не с якорей ли сорвало? – встревожился Кузнецов.

Нос судна зарывался в гребнях волн. Ветер набирал страшную силу. Видно было, как порыв его пронесся по лесистому склону сопки на венец и затрепал там кедровую чернь.

На релке подался и затрещал старый белый ясень. Саврасый, бывало, спотыкался о его большие корни, тянувшиеся к пашне. Ясень потрещал и замер. Вьющийся по ветру лиственный лес вздымал зеленые косы.

Ветер затрепетал, забил в разлапистую вершину ясеня, в его торчавшие над зеленью белые сучья. Лопнул корень, и старик, взмахнув белыми сухими лапами, крякнул, поклонился и нехотя стал ложиться в чашу.

Наталья вдруг закричала, закрывая лицо.

Баржу понесло на село, метало то вправо, то влево так, что она черпала бортами. Люди падали с нее в воду.

Кузнецов прыгнул под обрыв, побежал, с треском проламывая чашу. Солдаты, прибывшие вместе с Максимовым, посыпались за ним следом.

По отмелям бежал китаец, чернолицый Колька. Сашка спешил за ним.

Баржа осела, накренилась, еще один человек сорвался с борта и упал в воду.

Не успел Егор подбежать к лодке, как баржу накрыло волной, перевалило на другой бок. Волны разбежались, открылось черное от смолы днище. Волны снова кинулись к барже со всех сторон, взлетали на нее, завивая белые вихри, словно там из-за добычи шла драка междуводяными чудовищами.

Мужики, китайцы и солдаты с силой закатали тяжелый баркас на волны. Максимов, солдаты и Тимошка налегли на весла. Николай-китаец с багром и веревкой стоял на носу. Это был высокий, широкоплечий человек, очень подвижной, с худым черным лицом. Видно было, что Николай привычен к реке.

Баркас, тяжело и глухо ударяясь о волны, рассекал их. Баржи уже не было видно. Людей разносило по волнам. Китаец кинул им веревку и, когда за нее ухватились люди, быстро потянул к себе. Заметно было, что тело у него сильное и необычайно гибкое. Егор, сидя на корме, поворачивал баркас. У борта подняло на волне чью-то бессильную голову. Утопленника ухватили за волосы. Баркас сносило течением. Успели подобрать еще несколько человек.

Спасенные испуганно озирались по сторонам. Егор сам опасался, что баркас вот-вот перевернется. Быстро пошли к берегу. Баркас выкатило волной на гальку.

Мужики вытащили на берег утопленника и принялись откачивать. Его рвало водой.

Солдаты уводили баркас в озеро, чтобы его не разбило о берег.

Амур грохотал и пенился до сплошного бела, словно бушевала пурга и курились заструги на сугробах. Солдаты шли бечевой. Один из них правил, стоя в пляшущем на волнах баркасе.

Полил дождь.

Спасенного человека потащили к Кузнецовым. Николай снял с него рубаху и стал растирать. Рослый рыжий мужик хрипел, лежа на спине. Входили мужики, солдаты и спасенные. Они оказались арестантами.

— Русска буду живой! — весело воскликнул китаец, растирая докрасна тело рыжего и звонко шлепая по нему ладонями.

У Николая были тонкие матовые руки, пальцы с длинными овальными ногтями.

Максимов подумал, что когда не будет среди людей препятствий к сближению разных народов, то, быть может, и Россия с Китаем сживутся тогда, как Кузнецов с Сашкой, бок о бок. Энергия народов, общий труд дадут свои плоды. Максимов подумал, что до сих пор об отношениях русских с китайцами судили по дракам и обманам между русскими торговцами вроде Ваньки Тигра и китайскими вроде Гао. Но забывают, что простой народ, русские и китайцы, живут очень дружно и дружно работают, несмотря на то, что торговцы норовят озлобить их друг против друга и разжигают вражду.

И как крестьянин Егор сошелся с крестьянином Сашкой, так и Максиму хотелось сдружиться с революционером, которого мужики для краткости и из дружеского расположения называли Николаем.

Максиму приходилось кое-что слышать о китайских революционерах. Надо бы расспросить Николая, откуда он, какое устройство общества полагает совершенным. Но он знал, что заговорить об этом – значит вспугнуть собеседника.

– Он у наших китайцев вроде законоучителя, – говорил Егор про Николая.

– Я жил на Додьге и как-то заметил лодки, – подхватил Силин. – Думал: торговцы приехали к Сашке, мне как раз кое-что купить надо было. Захожу в фанзу, смотрю – там сидят человек пять китайцев, палочками едят кашу, а Николай им что-то расписывает. Так складно у него выходит, что я и то заслушался.

Максимов мельком взглянул на Николая. У того были спокойно-зоркие, острые глаза. Китаец вежливо улыбался, слушая Силина.

– Видишь, какой! – заметил Тимошка. – Сперва будто в работники к Сашке просился. А Сашка говорит: «Нет! На новой земле давай все пополам». Выделил ему долю. А теперь явился к ним Володька. И все трое хозяева.

– Как ты все это узнал? – спросил Максимов.

– Догадаться всегда можно, – отозвался мужик. Ему не понравилось, что Максимов как бы не совсем верит в его рассказы.

– Николай ведь ученый по-своему, – продолжал Силин. – Он толкует, что земля ничья, что богатых быть не должно. Все начальство надо, мол, по шапке. Бывало, прежде, еще до того, как Николай

приехал, чуть Гао явится – Сашка перед ним на колени. А теперь не-ет, шалишь! Николаю самый смертный враг – Ванька Галдафу. Они как схватятся спорить, то с обоих пот валит градом. Вот ты знаешь по-китайски, спроси у Николая, верно я говорю или нет.

Но Максимов решил, что еще успеет поговорить с Николаем.

– Спроси нарочно, – приставал мужик, – верно ли я их понял?

Видно было, что Тимохе самому хотелось убедиться, верны ли его домыслы.

* * *

Чжао И-лян, или, как прозвали его русские крестьяне, Николай, был одним из тех сильных и гордых людей, которых не могут сломить никакие преследования.

Не первый год в Китае шла гражданская война. Народ всюду восставал против правящей маньчжурской династии. Повстанцы не имели общей программы, их было множество, каждый боролся по-своему.

Николай желал свержения власти маньчжуров, изгнания из Китая иностранцев, реформ, запрещения торговли опиумом.

Он был участником большого восстания, после подавления которого бежал в Маньчжурию, а потом в Россию. В Китае ему приходилось слышать о русских разные мнения.

Поселившись на Амуре и познакомившись с русскими крестьянами, Николай понял, что китайцы как следует еще не знают русских.

Услышав, что Максимов говорит по-китайски, Чжао не удивился. Он полагал, что ученый человек, который собирает травы, изучает рыб и животных, чертит карты, должен знать язык великого народа.

Не только о борьбе с болезнями, о прививках, о лекарственных растениях и составлении карт желал бы поговорить с русским ученым Чжао. Он прежде всего хотел бы расспросить о России. Чжао чувствовал, что у русских своя жизнь, отличная от китайской, хотя в то же время похожая на нее.

«У русских другое образование, другие знания. Мир един, и теми способами, которыми русские познают свою страну, – рассуждал

Николай, – мы могли бы познать свою».

Он жалел, что большие города русских далеки от Амура. Но Николай надеялся, что со временем ему удастся выучиться говорить по-русски и что тогда он уедет далеко на запад, в Петербург, о котором он слышал не раз. Здесь, в России, он думал, что с русскими надо тесней общаться, перенимать у них все полезное. А русским надо лучше знать Китай.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Взрослому человеку трудно жить одному, без семьи. Сашка знал, что его соотечественники в этой стране женятся на гольдках или иных туземках из варварских племен, живут с ними, а когда накопят средства, бросают их без сожаления – что жалеть варваров! – и возвращаются на родину.

Братья Гао жили с гольдками. У Гао-младшего их было много, а у старшего и среднего братьев – по одной постоянной, да еще иногда брали они в лавку чужих жен или девок.

В прошлом году, собрав первый урожай, Сашка решил, что ему пора, наконец, жениться. Навсегда или на время – он еще не думал об этом. В хозяйстве, конечно, гольдка ничего не понимает. Научится – будет хозяйка. Сашка не хуже любой женщины умел сам делать все в доме.

Однажды осенью Сашка отправился к Кальдуке. Но зиму он решил не жить у братьев Гао. Теперь у него был свой дом.

Когда он вошел в фанзу Маленького, где-то в старом амбаре послышались крики ссорившихся женщин. Что-то басила Майога – жена Кальдуки. Она стала звать на помощь мужа. Кальдука выскочил из фанзы.

– Дура! Лодырь! Поганка! – взвизгнул он на кого-то. – Как смеешь не слушать мать!

Дверь распахнулась, и следом за ним в фанзу вошла растрепанная молодая женщина в грязном халате в заплатках. Она смутилась, завидя Сашку.

Это была Одака.

Все ее попрекали, Сашка это давно заметил. Она привыкла к побоям и упрямо молчала.

– Изобью тебя! Почему в амбаре не убралась? Ленивая дура! – орал Кальдука. – Вот лишний рот! Ничего не могу с ней поделаться. Она на нас работать не хочет. Сидит и себе халат зашивает. Ты что, красавица? Дура ты! Ты вдова и никому не нужна! Когда ей что-нибудь надо, так она день и ночь работает. Сидит и шьет. Вот дура! А в амбаре не прибрано. А в очаге огонь гаснет. Мне самому, что ли, головешки

мешать, когда в моем доме столько баб? Ах ты, дрянь! – Кальдука пнул ее ногой, ударил по спине, толкнул к очагу. – Убью!..

Этот добрый, вечно улыбающийся и любезный старичок был суший зверь с Одакой, про которую жена Кальдуки каждый день говорила ему много плохого.

Одаке было очень обидно. Что ее били постоянно – не беда, она привыкла. Но зачем отец бьет при чужом человеке? Очень стыдно Одаке. Она хотела стать поопрятней, ее всегда ругали, что она как оборвыш. Так трудно старый халат латать!.. Она с большим искусством покрыла заплатами дыры. И даже этим не угодила отцу. И мать и он обиделись, что она чинила себе одежду.

Кальдука опять схватил палку. Но тут Сашка что-то сказал ему шутливо, да так весело, что Кальдука смутился, бросил палку.

Сашка очень тонко заметил, что на женщин надо не так действовать. «Если она чинила халат, то значит трудолюбива, – подумал он. – Ей надоело работать на стариков. Что бы она ни сделала, они ее бранят. Нет смысла в труде. А для себя – другое дело».

А Одака потому и заплаты на халат ставила, что Сашка должен был приехать, чтобы печь починить. Вся душа ее загорелась огнем, когда она услышала, что он заступился за нее. Теперь, если бы Кальдука стал резать ее на куски, и то она все равно не бросила бы халата. Любой ценой она решила приодеться.

Сашка остался жить, сложил очаг.

«За нее дорого не возьмут, – думал он. – Она неумна, несчастна, им не нужна. Будет мне прекрасной женой. Она будет мне очень благодарна за то, что я спас ее».

Сашке нравилось, что она полна, подвижна, женственна, взоры ее быстры. Она иногда смотрит на него.

Он узнал, что торговцы никогда не брали ее к себе, что она с тех пор, как потеряла мужа, не была ни с одним мужчиной.

Прежде он опасался, не ленива ли она. История с починкой халата, которая так возмутила Кальдуку и Майогу, понята была Сашкой по-иному и втайне привела его в восторг.

«Конечно, она любит работать, но не умеет. Да и зачем ей работать? Вот на себя она будет работать. А я ее всему научу».

Сашка более не желал ждать. Он давно жалел Одаку. Еще прошлой зимой она тянула нарту вместе с собаками. Кальдука и

Майога ездили тогда куда-то и запрягали Одаку. Снегу выпало много, и Одака всю дорогу помогала собакам. И на нее все смотрели, как на собаку. А Сашка подумал еще тогда: «Это драгоценность! Не беда, что Одака тянет нарту. Я не богаче ее, и я тоже, как ездовая собака, тружусь всю жизнь на других».

Он сказал Кальдуке, что хочет жениться.

«Ах, вот что!.. – подумал Кальдука. – Он, значит, решился. Черт возьми! Можно будет и за нее взять торо!»

– Очень хорошо. Но где ты невесту купишь? Невесты теперь дороги, – ответил он. – Одака нужна мне. Я ее не продам. Она у нас работает.

На другой день Майога подарила Одаке один из своих халатов.

В голубом халате Одака оказалась очень хороша. Только ноги большие, как у мужчины. Впрочем, Сашка находил в больших ногах своеобразную прелесть. Этакая громадная, сильная женщина с большими ногами, верно, хорошая работница.

Кальдука заломил большую цену. Но Сашка хитер. Он сказал, что Одака лишний рот в семье, он берет ее к себе, будет кормить, что он каждый год будет давать Кальдуке часть урожая.

Сашка привез Кальдуке и Майоге подарки, взятые в долг в лавке Гао. Вещи были недорогие, но очень нужные в бестолковом хозяйстве Кальдуки, где часто являлась на столе водка, а вот хорошего топора не было.

К Одаке все переменились. Никто не упрекал ее, что она прихорашивается. Она повеселела.

Сашка радовался вдвойне. Он нашел себе женщину. Плата за нее не велика. И он заметил, что она хороша, прекрасна даже.

Здесь бьют такую женщину, заставляют ее работать, как собаку, унижают, не видят, что это драгоценность. А он знал толк в женщинах. У нее даже волосы светлые по сравнению с черными как смоль волосами Сашки. Конечно, и у Сашки ей придется работать. Она привычная. «Ах, гольды, они ничего не понимают. Она еще расцветет!» – думал Сашка.

И вот Одака расцвела. Ее маленький, как пуговка, нос, широкие скулы, низкий лоб выглядят как-то по-иному. Ее светлые волосы, торчавшие раньше, как перья, причесаны. Все, что казалось людям безобразным, приобрело особую прелесть. Сашка даже удивлен в

душе, что жена его оказалась такой красавицей. Он гордился этим: «У умного мужа жена всегда хороша. Благоразумие мужа выражается в привлекательности жены».

У них родился сын – вылитый Сашка, только волосы как у матери. Но это не беда. Правда, то, что прекрасно в женщине, что так нравится в ней, не хотелось бы видеть в собственном сыне, лучше бы он черный был. Но и это не беда! Сашке даже нравится, что он походит на мать, не такой, как все.

Сашке, которому когда-то на родине случилось быть и парикмахером, подстриг ее так, что низкий лоб закрыт челкой. А в волосах красный полевой цветок. Правда, нет того контраста и прелести, что на черной голове, но все же Одака очень мила с цветком. В бедности цветок на голове, даже если и одежда изорвана, – прекрасное украшение, очень радующее и жену и мужа. Сашка очень горд. У него жена, которой позавидуют самые богатые.

Но не бывает жизни без неприятностей. Сын очень хорош. Сашке не хотелось бы бросить его с матерью вместе, если станет он возвращаться в Китай. Сашка озабочен. Как быть? Остаться навсегда здесь? Или брать жену с собой в Китай? Вот до чего доводит любовь! А сын очень маленький, он только что родился, а уж отцовское сердце не нарадуется, и Сашка твердо решил, что не оставит его, что для него расчищает он это поле на чужой земле. Но земля чужая, вот беда!.. Все перепуталось в голове, все заботит. Совсем не думал обо всем этом, когда хотел жениться.

Сашка и Одака достроили дом. Сашка учил жену, что и как делается. Вообще вся жизнь с мужем – сплошное ученье. Только и слышишь: «Так не делается. Это делается вот так. Посмотри и запомни хорошенько!»

Одака все запоминала. Ей редко приходилось повторять по два раза. Сашка научился говорить по-гольдски. Его обижает, что она не хочет говорить по-китайски. Что Китай велик, что китайцы умны, все умеют и могут – это она знает и не спорит. Но по-китайски не говорит. «И сын мой, может быть, не будет говорить по-китайски!» Новая забота. Впрочем, Сашка надеется, что сын пойдет в него. Сам Сашка очень быстро усваивал любой язык. Он и по-русски бойко объяснялся, русские его прекрасно понимали.

Дом построен. Соломенная крыша, соломенный навес на жердях, маленькие столики. Одака прекрасно плетет камышовые циновки. Сашка сложил печку, завел посуду. В доме чисто, уютно, тепло, иногда раздается детский крик по ночам. Сашка, просыпаясь, слышит, как Одака кормит сына грудью, как он сопит причмокивая.

Много размышлял Сашка о своей жизни. Он думал когда-то, что все будет по-иному не скоро. Но вот у него как-то вдруг появилось все, о чем мечтал он: свой дом, поле – огромное, о каком даже и помыслить никогда не смел, жена, сын. Но настоящее ли все это? «А разве лучше было бы жить мне на маленьком клочке, там, у себя, в родном краю, зависеть от старшины, лавочника, ростовщика, помещика, жениться, будучи стариком? А тут свобода! Даже Гао не привязывается больше. Хотя опасность еще не миновала. Но разве я мог бы жить так на старых местах? Как все быстро и неожиданно! Из нищего бродяги я стал хозяином и семьянином. Даже не верится».

Сашка часто ездил к родне. И Кальдука иногда приезжал, помогал ему. Сашка, сам того не замечая, очень радовался гостям, забывая, что это «дикари».

Однажды приехал Гао. Он не забыл про Сашку. Он узнал, что у Сашки родился сынок, и привез ему маленькие подарки: талисман для зыбки и бумажную игрушку.

Не дорог подарок, конечно, а дорого внимание.

– Так у нас делается! – назидательно сказал торговец.

Зашел разговор, что у Сашкиного сына волосы как у матери. Гао, сам того не зная, больно обидел Сашку. Тот терпеливо молчал, но на душе у него скребли кошки.

* * *

Когда вокруг нового дома зеленело поле и на грядках появились всходы, Одака почувствовала себя как-то странно.

В бедной семье каждое маленькое приобретение кажется богатством. А тут у Одаки явился свой дом, поле, огород. У нее свой муж. Смела ли Одака не радоваться такому мужу?

Как и все женщины, она втайне думала о себе, что хороша. Мужчины дважды после смерти мужа подтверждали ей это. Один раз

солдат, встретивший ее на пустынном острове, и еще один раз китаец-лавочник, хотя он и ругал ее вонючкой и она его ненавидела, как всех их. Но так однажды случилось уж после того, как он выгнал ее из лавки. Он тогда прыгал около нее, льстил ей, и все произошло так, что никто не узнал. Правда, он был тогда пьян. Однако казалось все же, что если бы она не была так хороша, то ничего подобного не случилось бы. Все это были тайны Одаки, в которых она никому и ни за что не призналась бы. Теперь у нее муж. Муж ее сильный, страстный человек. Без ласки она не живет. Вся жизнь – труд, ласка и отдых.

Она заметила, что когда-то солдату и лавочнику очень нравилось все, что произошло, и относила это к своей привлекательности. Она втайне очень гордилась этим и полагала, что муж, конечно, счастлив с ней.

Она любила смотреться в ведро с водой и очень злилась в семье Кальдуки именно потому, что там не желали замечать ее привлекательности.

Весной Одака работала от зари до зари, стараясь познать все, чему учил ее муж. В уме ее ожило все, что видела она и в своей семье и у людей: у русских, китайцев. Оказывается, кое-что она умела делать. А домашние работы исполняла так, что Сашка не мог придаться, если бы и захотел.

После родов она почувствовала себя совершенно счастливой. Но человек так устроен, что, когда он счастлив, он беспокоится за свое счастье.

Она не раз слыхала, что китайцы бросают жен-гольдок, уходят, как только подкопят денег. Правда, у Сашки их не было, но он мастер на все руки, он быстро разбогатеет. «Неужели будет деньги копить?» – с тревогой думала Одака.

Тайные мысли и тревоги мужа всегда становятся понятны догадливой жене. Отношения пришлых китайцев с гольдками были хорошо известны. Одака чувствовала, что у мужа могут быть свои намерения.

Однажды приехал дядя Савоська. Сашка и старик долго толковали, сидя на карточках. Сашка интересовался, кто покупает хлеб у уральских. Потом Сашка ушел на пашню. Одака осталась с дядей.

– Довольна? – спросил Савоська.

- Чем? – хмурясь, грубо отозвалась Одака.
- Мужем.
- Не-ет...
- Почему же? Ведь ты богатой стала.
- Он китаец.
- Боишься, уйдет и бросит тебя? Это будет не скоро.
- Одака разозлилась. Она не стала с ним больше разговаривать.
- А ты придумай, чтобы он не ушел, – сказал дядя.

Когда у Сашки и Одаки побывали Максимов и Кузнецовы, а потом муж и Колька с Володькой уехали с ними и не вернулись в ту ночь, Одаке долго не спалось. Ночью бушевала буря. Одака все думала. И вдруг она вспомнила, что поп говорил всем женщинам в Бельго: у него есть железная шапка в церкви, кто ее наденет, когда женится, тот никогда не разведется. «Об этом подумаю!» – решила она и заснула под шум ветра в лесу.

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

– Гроза-то, гроза!.. – со страхом молвила старуха, заходя в избу и внося какой-то узел.

Небо в окне пылало сплошным пламенем. При свете молний видно было, как вода заливает стекла.

На полу, у печи, вповалку спали спасенные. Тут же ночевали китайцы. Максимов вспомнил, как вчера разбило баржу. Поздно вечером он, полный впечатлений, лег отдохнуть и уснул как убитый.

Шум и голоса разбудили его. Максимов поднялся и вышел. Дверь за ним с силой захлопнулась.

На реке слышались хлопки выстрелов. Сильного ветра, как показалось Максиму спросонья, не было, но Амур шумел и волновался. Мужики и солдаты толпились над обрывом.

– Вот опять стреляют.

– Люди еще живы – палят, – говорил Тимошка.

Накрыв голову и спину мешковиной, он сидел на корточках.

– Туда версты две. С разных сторон стреляют. Видно, целый караван разбило.

Под обрывом качался огонь – отходила лодка с фонарем.

– Хозяин наш поехал за людьми, – сказал солдат Максиму.

– Что же меня не разбудили раньше? – спросил Максимов.

Ему не, ответили. Видно, было не до него. Простой народ спасал своих, работал всю ночь на реке и не хотел путать в это дело барина.

– Надо бы огонь повесить на дереве, – сказал Максимов, – удобнее будет возвращаться. С реки видна будет деревня.

Силин, проворно поднявшись, отправился к Бердышовым. Вместе с Савоськой он вынес большой пароходный фонарь.

– Че такой дождик! – с сердцем воскликнул старый гольд.

Он вышел в одной рубашке, и холодный ливень стегал разгоряченное тело.

– Может, кто и сам доберется, – молвил Тимоха, подымая фонарь на мокрую лиственницу.

Савоська тер глаза, чесался и кашлял. Полыхало где-то далеко, в низовьях. Грома не было слышно. Молнии опять и опять озаряли

дрожащим светом хребты и пустынную реку. При их вспышках было видно, как в белых волнах шла черная лодка.

– На острове тальники затопило, – сказал Силин, появляясь с охапкой весел на плече. – Люди там сидят на воде, за них держатся. До утра замотает их на волнах.

* * *

Волны все сильнее раскачивали лодку Егора, обдавали борта ее водяными вихрями. На шесте, клонясь над носом, светил фонарь. В желтом тусклом пятне подбегали белые гребни и подымали лодку.

Егор резал волны наискось. На миг оставив весла, он схватил ружье и выпалил. Дождь лил все сильней.

Ветер налетал со всех сторон, но заметно слабел. Волны пошли беспорядочно, ударяя с разных сторон. Солдат черпал воду из лодки.

Ярко полыхнула молния, и Егор увидел неподалеку от лодки человека на лесине. Молния погасла, стало темней прежнего. Егор греб, пригибаясь к борту и приглядываясь. Сильно ударив веслами, он бросил их и схватился за борта. Раздался толчок. Егор отвел бревно рукой и тут же попридержал багром. В лодку перепрыгнул человек, поскользнулся, загрохотал тяжелыми сапогами, упал навзничь.

– Дай я за весла сяду! – кричал он. – Тут еще люди!

Егор оттолкнул лесину. На волне, переворачиваясь, поднялось ее корневище.

Лодку сносило течением. Тальники зашуршали о борта.

Егор поднялся, взмахнул фонарем. Держась за прутья, на волнах бились люди. Их вскоре набралась полная лодка. За островом, на отмели, лежала поваленная и разбитая баржа.

Егор пустился к берегу. Навстречу шла лодка с огнем. Максимов и Тимошка с солдатами тоже поехали спасать людей.

Светало.

По берегу плелась босая баба в мокрой, плотно облегающей одежде. У нее было опухшее смуглое лицо. Ее трясло от холода и страха. Она ничего не могла рассказать толком. Агафья Барабанова повела ее в избу.

– А баба сама выплыла! – удивлялись солдаты.

Агафья переодела бабу, накормила щами. Та оказалась каторжной. Ее брал в «женки» лоцман сплава. В бурю он был пьян и утонул.

– Ну и живи у нас, – говорила Агафья, – никто тебя не хватится. Из такой купели выбарахтаться – можно срок сбросить. Перекрещенная теперь.

Пообедав, баба стала искоса оглядывать одежду, в которую ее переодели. Старое, выцветшее платье понравилось ей. Оно было куда лучше коричневого в крапинку, которое еще вчера изорвал на ней пьяный лоцман. Бабу звали Ольгой. Она рябая, широколицая, на вид крепкая.

– Еще одна уральская будет... Найдем тебе работу.

– Я каторжная. Как хватятся меня...

– Никто тебя не хватится. Утонула – и все!

– Одним гибель, а другим воля, – сказал Федор. Он пришел и выпил водки.

– Куда я без паспорта?..

– Живи! Угодишь хозяйке – исхлопочем паспорт, – сказал Федор и подмигнул.

Взор Ольги прояснился.

Барабанов дал ей водки. Она выпила, закрыла лицо руками и истерически зарыдала.

Агафья утешала ее. Та жаловалась в голос на загубленную жизнь:

– Я проклятая! Проклятая! Нет, нет мне счастья! Окаянная я!..

Пришла старуха Кузнецова.

– Какая ты проклятая, доченька, – утешала она.

Ольга билась у нее на плече.

* * *

Река стихла, и только замутненные валы напоминали о ночном шторме.

Волны бились в глинистые обрывы.

Из-за туч вошло солнце. Черная баржа лежала напротив селения на белоснежном песке. Дальше по реке, на косах, видны были разметанные бурей суда.

– А седьмая-то как стояла, так и стоит на якоре, – толковали на берегу спасенные. Часть из них оказалась каторжанами, остальные – солдатами.

Река несла обломки судов, бочки, ящики. Ночной шторм разбил целый караван.

Приехал гольд с Пивана и рассказал, что на той стороне к берегу выкатило утопленников. Гольду велели ехать к попу.

Посредине Амуре на узкой косе у разбитой баржи толпился народ.

– Муку, соль – все погубили, – с горечью восклицали в толпе.

Пьяные полицейские офицеры, разместившись на тюках, играли в карты и пили коньяк.

– Они довольны! Теперь разбогатеют, остатки продадут. Всё буря покроет.

– Горсти соли у казны не допросишься, – говорили крестьяне, – а мешки в Амур пошли. Эх, лоцмана!..

Один из офицеров, широколицый, с рыжими усами, бесцветный, худенький и щедушный, наблюдая за разгрузкой, прохаживался по косе. Он держался надменно.

Одноглазый Покпа, хитро посмеиваясь, посоветовал завернуть барже корму, чтобы удобней было разгружать. Солдаты и каторжане, люди на реке неопытные, последовали его совету.

Баржа осела. Кто-то крикнул, чтобы не шевелили судна, но народ не слышал. Все налегли на заостренные бревна. Обшивка треснула.

– Да не троньте ее! – резко крикнул Максимов.

Доска от обшивки ударила в лодку со спасенными товарами. Ящики понесло по воде.

Доски рвались, трескали. Кого-то зашибло. С баржи бултыхались в воду мешки, ящики, тюки. Грузы понесло по реке. Довольный Покпа спешил за тюком мануфактуры.

...Офицеры обедали в избе у Кузнецовых. Набралось много разного народа. Все были возбуждены, каждому хотелось что-нибудь сказать начальству.

– Лоцманов нет хороших.

– Не знают, а берутся.

После обеда уцелевшим судам приказано было отваливать. По берегу ходили вооруженные солдаты и загоняли всех спасенных на баркасы.

Полицейские заметили и задержали Ольгу. Она покорно ждала, когда ее поведут.

– Отпусти ее, барин, пусть у нас живет, – просила Агафья полицейского офицера с рыжеватыми усами.

– Заплати, тогда отпустим, – холодно сказал тот.

– Что уж ты, барин? – удивилась Агафья.

– Двадцать пять рублей! – строго ответил полицейский.

Егор, стоявший тут же и слышавший разговор, обмер.

Получив за Ольгу деньги, офицер спокойно положил их в бумажник и пошел, пошатываясь, к лодкам.

* * *

На косе у барж чернела толпа людей.

– Век за тебя станем бога молить, – говорил Егору рослый худой солдат. – Как это ты не побоялся идти в такую погоду?

Егор не стал отвечать.

– Чем тебя поблагодарить?

– Ничего не надо...

Унтер сказал, можно дать Егору штуку казенного сукна с разбитого судна.

– Надо!.. Надо! – подхватила толпа.

Но Кузнецов ничего не стал брать.

– За людскую-то жизнь!.. – ответил он.

Лодка его отвалила. Он снял шапку и поклонился отъезжающим.

* * *

Федор Барабанов утром поехал проведать своих бродяжек на покосе. Не доезжая до горла озера, он увидел дымящийся костер. Какие-то люди растягивали на солнце куски мануфактуры.

– Далеко от деревни? Что за место? – кричали они.

– Мылки! – ответил Федор.

– А-а!.. Я и смотрю, словно Мылки, – отозвались с берега.

Барабанов подъехал. Оказалось, что у входа в озеро разбило купеческий баркас.

– Так и развалило на две части, – жаловался хозяин баркаса, читинский купец Хлыновский, остролицый, горбоносый мужик в поддевке. – Намылила мне эта Мылка! – с горечью восклицал он. – И что теперь делать – не знаю! Товар жалко бросить, и ни к чему он мне. Ныло, ныло мое сердце эти дни, чуял я...

Барабанов привез купца к себе.

– Вот-вот должен быть пароход снизу, – говорил он. – По телеграфу передавали, что дрова грузить будет. И можешь ехать вверх хоть до самого Сретенска. Видишь, караван разбило. Экспедиция тут у нас в деревне живет, тоже этот пароход ожидает. Вверх пойдет.

– Милый ты мой! – радовался купец.

Хлыновского умиляло и то, что он жив остался, и что попал в русскую деревню, и что пароход на подходе, и что попал он не к прохвосту, не к лавочнику, а к простому и сердечному мужичку-землепашцу.

Федор, обычно расторопный, суетливый и разговорчивый, сейчас вдруг ощутил, как приятно бывает помолчать, когда знаешь, что и мошна не пуста и амбар набит, а другой человек, да еще порядочный, из кожи лезет перед тобой.

«Эк его буря перепугала!.. Слава тебе господи, что послал штормину!»

Не хотелось Хлыновскому считать деньги при посторонних, но делать было нечего. Опасаясь, что мокрые билеты испортятся, он открыл сумку и разложил бумажки по избе.

– Все целы. Слава богу! Ладно – нынче на казачьем Амуре товар брали хорошо. А сколько еще оставалось! Ах ты! Все погибло! А куда остатки девать, просто не знаю. Не оставаться же из-за них.

– Тут своих купцов много, – отозвалась Агафья, помогая купцу раскладывать деньги на печи.

– Да где же купцы? Хотя бы им продать.

– Нет никого, – отвечал Федор. – Все в разъезде.

– Ох, господи! Я бы чуть не даром отдал.

Барабаниха твердо и упрямо поглядывала на Хлыновского, как на крепость, которую решила взять приступом.

Уцелевшие товары перевезли к Барабановым.

Утром на реке раздался гудок. Хлыновский вскочил с постели.

– Ну что же мне делать? – испуганно воскликнул он. – Милый ты мой, Федор Кузьмич, возьми этот товар себе. Дай хоть сто рублей, чтобы не даром.

Пароход шел не в ту сторону, куда сплавлялся разбитый баркас, а вверх; чтобы доехать домой, купцу обязательно надо было продать остатки товаров.

– Сто рублей? Да у меня и сорока не наберется. Откуда у нас такие деньги?

– Ах, мужик, мужик!.. И тут-то ты, Расея-матушка, живешь беззаботно.

Пароход пристал к острову там, где чернели обломки погибшей баржи и стояла палатка с караульными. Максимов с солдатами выехал туда на баркасе. Экспедиция покидала Уральское. Все крестьяне провожали ее, стоя на берегу. Пароход взял баркас на буксир. Максимов стоял у мачты.

Кузнецовские бабы махали ему с крыльца платками.

– Куда этот товар! Мокрый, прелый, вон и гнильца есть, – говорила Агафья мужу так, чтобы Хлыновский слышал.

– Где?

– А вот это что?

– Скоро пойдет, видать. На палубе дров мало... Они у меня на протоке дрова будут брать, – говорил Федор.

– Ну, давай хоть восемьдесят рублей, – просил купец. – Сбегай займи где-нибудь.

Хлыновский отдал все товары за полсотни.

Федор отвез купца на пароход. Хлыновский обнимал и целовал мужика.

– Ты мой спаситель! Знал бы ты, что я передумал, пока баркас-то мой мотало! Я уж загадал: все отдать, лишь бы живым остаться. Ты простой мужик, и тебе счастье, может, будет, пригодится товар-то мой... Даром ведь я тебе отдал.

Федор помалкивал. Он не мог смотреть на купца без ухмылки.

Простившись с мужиком и взойдя на палубу, Хлыновский почувствовал себя в безопасности. И вдруг он пожалел, что смалодушничал и все бросил, желая поскорей выбраться с несчастного

берега и уехать домой. Он поднялся наверх и посмотрел вслед лодке Федора.

«Эх, зря, зря я этак-то!.. Ведь там товару рублей на пятьсот. И товар-то хороший!»

* * *

– Ну, слава богу, – говорила Ольга-каторжанка, когда последние суда каравана ушли вниз. – Уехали! Теперь вольная.

– Какая же ты вольная? – отрезала ей Агафья. – За тебя деньги плачены.

Федор, видя испуг в глазах Ольги, сказал:

– Не бойся. У меня не пропадешь. У меня трое каторжан робят. Выбирай себе любого. Потрафишь хозяйке, хоть всех трех бери в мужья.

Ольга хотя не собиралась жить с ними, но слова Федора запомнила. В этот день она несколько раз взглядывала на себя в зеркало. Вечером сходила в баню.

А Федор узнал, что рыжеватый полицейский офицер, который получил деньги за Ольгу-каторжанку, был тот самый новый становой Телятев, которого Оломов недавно назначил на этот стан.

– Вовремя ты ему отвалила двадцать пять рублей, – говорил он жене.

– Ну и тварюга будет у нас становым, – отозвался Егор, присутствовавший при этом.

– Езди спасай людей, – засмеялся Барабанов, – а ими будут торговать другие! А разве от меня вред? Вот я трем своим бродяжкам виды на жительство исхлопочу. За что их в каторгу погнали? За пустяки: Агафона – за подати, деда Якова – за богохульство, Авраамия – за «красного петуха»...

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Из ущелья, дочерна заросшего еловым лесом, в Додьгу падал широкий ключ. Речка разбивалась тут на множество рукавов. Некоторые из них пересохли. Кругом были песчаные бугры и площади, усеянные буревалом.

– Напротив устья ключа перебутор – спор ручьев. Тут золота не мой никогда, – учил Егор сына. – Золото должно быть пониже, в кривых руслах, где вода оборачивается, течет потихоньку.

Кузнецовы вытащили лодку, разбили на песках балаган. Егор решил мыть золото.

Стояли жаркие и душные дни.

Егор и Васька побывали на всех ключах и всем речкам и заметным местам дали названия.

Гнилая протока забита гнилым плавником. Ключ Маристый бежал с мари, из болота. На Еловом ключе до самых верховьев стоял густой лес из толстых седых елей. Изредка попадались березняки. Там бежала речка Березовка.

Егор нашел золото в нескольких местах. Расчистили кусок тайги. Ударили шурф. На глубине двух аршин Егор напал на золотые пески.

Над колодцем поставили бадью с журавлем, чтобы поднимать пески и на том же журавле опускать их под берег на промывку.

– Вот мы с тобой и завели свой прииск, – сказал Ваське отец. – Теперь надо сбить бутарку, положить колотые бревна, катать пески тачкой. Видно по пескам, что россыпь идет под этот берег. Как мы с тобой по берегу ямки копали, так и она пошла сюда, под этот лес. Здесь самое содержание.

– Люди еще живы – палят, – говорил Тимошка.

Егор и тут, на прииске, желал устроить все хорошенько, основательно, чтобы не мыть кое-как, чтобы не бродить с лотком по пескам в поисках удачи.

Ваське нравилось здесь. Еловый лес, Еловый ключ, шумящая, веселая, прозрачная вода. Отец, перепачканный глиной, бросает гальку и пески, пускает воду, буторит их лопатой на деревянном желобе.

«Там уж золотника три есть», – думает Васька, глядя на выбоины в корыте.

От косы на берег через кустарники к колодцу протоптана дорожка. На песке белеет балаган. Вокруг – скалы. На скалах – еловый лес.

– Теперь тебя, Васька, все лето из тайги не выгонишь, – сказал как-то Егор. – А на релке хлеба растут наши. Поедем-ка поглядим. Без хлеба нам и золото не нужно.

Васька и сам соскучился по пашне. Ему захотелось посмотреть, дружно ли растут хлеба.

Работая подле отца на промывке, Васька привыкал к золоту, и оно уже не представлялось ему диковиной.

* * *

Распахнув оконце, Федор поглядывал в купленную у Бердышова подзорную трубу на далекий остров.

– Опять отдыхают, – с досадой молвил мужик.

– Ну-ка, – подошла Агафья, – шибче трубу раздвинь, а то не видно. Пропасть на них! Опять сидят покуривают. А вода-то подымается – не ждет...

У Барабанова на острове, наискось от селения, косили траву трое «соколинецов». Федор наблюдал за ними в подзорную трубу. Под вечер, когда бродяги пригнали плот с сеном, он сказал:

– Мало накосили.

– Да, видишь, сохнет еще. По холму-то дошло, а по бокам-то тень. Мы сегодня весь день перегребали.

– До полудня на бугре языками перегребали, а с полудня курили да легли, залезли за стог-то... А ты, Яков, на кочажнике рыбку бил хворостиной.

Бродяги переглянулись с суеверным страхом. Только сегодня был у них длинный разговор: как может хозяин узнавать, что делают они на острове?

– Вот хлеба-то и не будет вам сегодня, – сказал Федор. – Дай им сухариков.

Беглые каторжане, могучие и свирепые люди, стали не на шутку побаиваться Барабанова.

– Прости и помилуй, – кланялся Яков, седой и лысый мужик, клейменный еще в старые годы.

– Прости, отец!

– Ну, живо, – прикрикнул на них Федор, – на работу! Да не сидеть без дела!

Проводив бродяг, Федор пошел к Кузнецовым. Там уже сидел Тимошка Силин.

– Ты что на Додьгу повадился? – спросил Барабанов.

– Вон какого тайменя привезли на пирог, – показала бабка на корыто с тучной рыбиной.

– Говоришь, на Додьге глухарей много? – спросил Тимоха.

– Мно-о-го! – воскликнул Васька. – По мари идешь – все время дорогу перелетают.

– А тут тебе китаец коноплю привозил, – сказал Федор.

– А ты где такие бродни добыл?

– Тюменские! На баркасе... А вот тамбовские вместо кожаных подвязывают на рыбалку деревянные подошвы и босые ловят.

– Ну, а ты золото нашел? – не вытерпел Силин.

– Нашел, – ответил Егор Кузнецов. Он развернул платок и показал добычу.

– Самородки! – вскричал Федор и спросил с жадностью: – Есть россыпь?

Сердце его колыхнулось.

«Богатство! У богатства живем! Какое дело можно развернуть!...» Но сдержался, стараясь не подавать виду, что золото так занимает его.

– Возьми нас с собой, – попросил Силин.

– Сено надо возить, вода прибывает, – ответил Егор. – Да езжайте сами. У меня на Еловом ключе бутарка.

– А где Еловый ключ? – спросил Федор.

– Там на колодце журавель, заметно...

По приезде Кузнецовых с Додьги все селение всполошилось. На другой день Федор с женой, с бывшей каторжанкой Ольгой и с двумя гольдами, которые были в неоплатном долгу у него, уехали на Додьгу.

– Как бы люди плохо не наделали с этим золотом, – собирая сына на покос, говорила бабка Дарья.

Егор знал, что Барабанову золото нужно не для подкрепления хозяйства, а для богатства, а может быть, чтобы кабалить других. Но

скрывать богатство от соседей Кузнецов не хотел.

– Будет и другим людям польза. Мое дело – открыть, а уж там кто как обойдется.

– Пусть не от чужих людей, а от отца ребята узнают, как с золотом обойтись, – толковал дед. – Им век жить на золоте.

– Сено свезем, опять мыть поедем с Васькой, – сказал отец.

– Поедем-ка лучше со мной, – озабоченно молвила Наталья.

Все весело засмеялись: хозяйка желала сама взяться за золото. И то дело! Наталья видела в семье много недостатков и желала подправить золотом домашние дела.

– Мужики пусть себе моют, а мы – себе для «женского». [75]

– Верно, верно, – подхватила бабка Дарья. – В Сибири все бабы золото моют.

– В Сибири бабы и спиртом торгуют на приисках, – забирая мешки и косы, заметил Федюшка. Через дверь видно было, как за рекой, за еловым лесом, всходило солнце. – И золото намывают, и мужиков пьяными напоят, и в хозяйстве поспевают управиться.

– Вот в воскресенье поедете, бабы, мыть себе на ситцы да на пряники, – сказал Егор.

Мужики уехали на покос. Стояли жаркие дни. Река набухала, и лодки, лежащие на песках, все ближе подвигались к берегу. Буйно росла дикая трава. Отставая от нее, подымались на пашнях ровные хлеба. В далеких островах заблестели водяные полосы.

По реке плыли лодки, высоко груженные свежим сеном. Зелень свисала с обоих бортов; и казалось издали, что река смыла стога с затопленных островов и несет их вниз, к морю.

Под обрывом бродяги переметывали с лодок сено на две кое-как скрепленные палки-волокуши и возили его вверх по обрыву на конях.

– Ну, Яков, – спросил Егор, разгрузивший свою лодку с сеном, – а видел ли ты где-нибудь колеса на Амуре? Или всюду на палках сено возят? Ты ведь весь Амур прошел, должен знать.

– Везде так, – отвечал Яков, захватывая на вилы огромную охапку сена.

– Стараются! – сказал Федюшка. – Эй, Яков, Агафон, Авраамий! – позвал он бродяжек. – Идите, покурим.

Но те работали. Сено огромными стогами возвышалось вокруг дома Барабановых.

– Эй, Яков, отдохни! – крикнул Егор.

– Нельзя. Вода остров топит.

– Иди, про Соколин расскажи.

– Дай управимся.

– Не бойся, Федор на прииск уехал.

– Он язва, колдун, и так все пронюхает! – с досадой отвечал долговязый белобрысый Агафон. – И как он узнает?!

И рыжий Авраамий, и Агафон, и седой Яков, живя в Уральском, поздоровели, загорели, стали похожи на крестьян. С лиц их исчезли тюремная бледность и выражение вины и настороженности.

Пришла лодка – приехал Федор с женой и с сыном. Взглянув на старавшихся бродяг, он важно подмигнул Кузнецову.

– А золота мало намыл... Содержание плохое, – со вздохом рассказывал он, но вид у него был довольный. – Золото твое шибко много труда требует.

– А Егор в люди выбиться никак не может, – с насмешкой сказал он жене, шагая к дому с мешком. – И золото ему не поможет. Чтобы хорошим хозяином быть, держать все в порядке, нельзя самому работать. Самому везде не поспеть.

Кузнецовы собирались на прииск, сделали тачку на деревянном колесе, напилили досок.

– Маменька, я по золото поеду, – объявила Дуняша, возвратившись от Кузнецовых домой.

Пахом с Аксиньей посоветовались и решили: пусть молодые едут.

– Пускай попробует, – говорила Аксинья про Дуню. – Она бой-баба, ей всякое дело дается.

В воскресенье все крестьяне потянулись на Додьгу. Близ устья Елового ключа забелели четыре палатки. Задымились костры. У ключа росли груды песков. Россыпь была небогатая, но для крестьян могла стать хорошим подспорьем в хозяйстве. Илья копал пески без устали, а жена мыла. За три дня работы она сняла больше всех со своей бутарки.

* * *

Возвратившись с прииска, Илья спал допоздна. Все ушли в поле, оставив молодых домовничать. Аксинья и раньше души не чаяла в

невестке, а теперь, когда та привезла с речки золото, баба готова была чуть ли не молиться на нее. Она не гнала молодых на поле.

Когда Илюшка проснулся, пироги были испечены, печка вытоплена и обед готов. Дуняша под села к мужу, обхватила его загорелую шею руками и стала рассказывать, как все завидуют ее добыче, – нынче много об этом пересудов. Дуне не столько сейчас хотелось золота, сколько ласки и разговоров с мужем.

– Тебе золото дается не то что людям. Тайга тебе своя.

От ее похвал Илья готов был хоть сейчас снова ехать на Еловый ключ.

– А на других речках крупное, говорят, попадает. Не то что у нас. Сказывают, как бобы. Везде, говорят, есть.

– Сегодня уж останься, – просила жена. – А маманя довольна!.. И тятя! Утром не велели подымать тебя. Завтра уж вместе поедем. И Татьяна с нами и Федька.

* * *

– Законное ли дело – мыть золото? – спрашивал Пахом.

– К чему такие разговоры! – восклицал Силин.

– Конечно, незаконное, – отвечал Кузнецов.

– Нашего добра не хватит заявки-то делать, – говорил Барабанов.

– Да кому какое дело, что я золото мою! – сердился Силин. – Вон у меня золото на огороде оказалось. Где я картошку посеял – полоса пошла вниз, к озеру, и тут как раз золото. Кто же это запретить мне может Мыть у себя на огороде? Что я, умом рехнулся – на своем огороде заявку делать!

– А эвон поп едет к нам, – заметил лодку дедушка Кондрат. – Чего-то учуял...

– Сам гребет, – молвил Барабанов.

– Его никто возить не соглашается. Он во все ключи, во все протоки лезет. Пусть сам старается! – воскликнул Силин.

Поп подъехал, вылез на берег, вытащил лодку. Он был в черной рясе из китайского шелка с буддийским рисунком и в болотных охотничьих сапогах. Тяжело ступая по мокрому песку, он поднялся на

высокий берег, к избе Кузнецовых, где на крыльце сидели мужики. Священник благословил их. Егор повел его в избу.

– Где твое золото? – грубо спросил поп.

– Все прознал!.. – покачал головой дед.

Егору неприятно было признаваться в своем промысле, но он показал золото.

– Как же, батюшка, теперь нам быть? – с подобострастием заговорил Федор. – Видишь, он сомневается, что, дескать, преступаем мы закон, хищничаем...

– Помолчи! – строго прервал поп. – Где сын добыл?

– На Додые.

– Что же там, россыпь или косовое?

– Да как бы сказать... – несколько растерялся Егор. – Пожалуй, что россыпь.

– По бортам или в самом русле?

– Да и в русле есть и по бортам. Полоска идет как бы прямо в речку, в самую глубину, так что его и не добудешь.

– Видишь ты! – поп с укоризной покачал головой. – Господь знал, куда вложил богатство. Кому открыл! – с насмешкой оглядел он Егора. – А ты что? – поглядел на Федора поп, строго нахмутив брови.

– Обзаведению подмога, – забормотал Федор, видимо готовый поспорить с попом. – Что же, что хищничаем.

– Нишкни, окаянный! – рявкнул поп. – Не произноси такого слова. Тигр, волк – хищники. Кто тебе сказал про хищничество? А? Никакого хищничества нет, есть вольный промысел. Господь бог украсил землю, вложил в нее золото, серебро и драгоценные камни на благо людям. Тут, под самой деревней, заложено в землю богатство. Предвидел он, что придут люди на новоселье, и захотел помочь. И вы мойте смело, укрепляйте свое хозяйство.

Егор остолбенел.

– А как же закон, батюшка?

– Какой закон? Един закон от бога. Люди вольно должны золото добывать, вольно жить. Тут и пристав ездит по деревням и с крестьян золото собирает, часть ему дают с промывки. Новый пристав Телятев – молодой, умный человек. Он и к вам приедет. Кто золота не даст – того накажет, а не тех, кто моет. Мой, чадо, не бойся. Закон тебя не коснется. Волоса не упадет с головы твоей.

– Да я не потому, что боюсь, а по разумению...

– У тебя любой чиновник это золото скупит по разумению-то. Только покажи! Есть много людей нечестных, слабых духом, причастных к золоту. На грехи им драгоценность сия. А вам ли, простым мужикам, бояться соблазнов? В труде не до грехов, дыры бы заткнуть. Ты на это золото новую запашку сделаешь, нужную вещь прикупишь.

– Святая речь! – в восторге воскликнул Федор.

– А вот, к примеру, скажем, кому продавать? – спросил Силин. – Мы никак не придумаем. Можно ли китайцам?

– Продавай смело, кому хочешь, кому придется. Сибирь и Россия не обеднеют от этого. У нас золота – горы, а добывать некому, переселенцы как приедут, первый год голодные сидят. А чем скорее люди станут на ноги, тем лучше. Покупайте и у китайцев, что вам требуется. Грешник из-за этого золота пойдет в геенну огненную, а праведнику послужит оно для славных дел. Вот это и все твое золото? – спросил поп у Кузнецова.

– Да, тут все.

– Немного ты намыл, хотя и открыл россыпь. Чтобы не сомневался ты, я возьму это золото и сам продам его, а тебе пришлю деньги. Еще намоешь – принеси на баркас или в лавку китайцу. Продавай, кому выгодней.

Поп поднял рясу, достал из брюк мешочек с золотом.

– Горюнское, гляди, похуже будет додьгинского. Я так и знал, что чем выше, тем золото богаче. Это все левые речки.

Видно было, что поп с большим любопытством сравнивает разное золото, как заядлый приискатель.

Поп поднялся и благословил Егора.

– Крепи хозяйство свое, обзаведись, побольше добывай золота, помоги себе и детям своим в великом труде. Ну, во имя отца и сына...

В сумерках поп уехал, с силой выгребая против течения.

«Придется мыть», – решил Кузнецов.

Ему ясно было одно, что на Амуре все моют вольно и никто заявок не делает.

– Чего, Егор, поедешь мыть? – спрашивала Наталья.

– Поеду.

– Поп какой умница, – молвил дедушка Кондрат. – Вот поп так поп!

– Да, это поп так поп, – согласился Егор, и ему вдруг пришло на ум, что как-никак, а поп-то хищник...

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

Старый черный баркас-лавка, видимо купленный купцом по дешевке и назначенный в Николаевске на слом, подвалил к отмели.

Обычно молодые женщины не поднимались одни на баркасы. Слухи были, что торгаши увозили баб и спускали их потом где-нибудь на пустынном мысу.

Но на этот раз Дуняша и Татьяна смело взбежали по трапу.

– Заходите, заходите, бабоньки... Про вас всего напасено, – встретил их низкорослый хозяин в красной рубахе.

У него было плоское бледно-желтое лицо, безбородое, как у скопца.

– Здравствуйте, дяденька! – поджимая губы, поклонилась Дуняша.

– Ну, чего желательно? – спросил купец.

– Ботиночки бы нам, – молвила Дуняша.

– Со скрипом... – скромно сказала Таня, держась за подругу.

Подошел приказчик – здоровый мужик с белокурым чубом и с могучим туловищем на кривых коротких ногах. У него были большие красные уши и толстые красные губы.

– А малины-то насобирали?

На баркасах скупали у жителей прибрежных деревень сушеную малину – для перепродажи в город и на Север.

– А без малины? – ответила Татьяна.

Чубатый нескромно оглядел бабенок и переглянулся с хозяином.

– А ты знаешь, какая цена со скрипом-то? – посмеиваясь, спросил приказчик. – Чем расплачиваться станешь?

– Знаю, дяденька, – застенчиво призналась Дуняша.

Видимо, полагая, что такие дорогие покупки молоденьким бабенкам сделать не на что, оба торговца обнаглели. Белобрысый подступил поближе.

– А вы, дяденька, золотица не купите ли? – как бы стесняясь, уронила Дуняша.

– Ах, язва! – игриво воскликнул белобрысый.

– Откуда же у тебя золото? – насторожился хозяин.

– Сами намыли! – строго ответила Таня.

Ей не нравились разговоры и взгляды торгашей. Она подтолкнула подругу, чтобы та не мешкала.

Дуняша приосанилась.

– Гляди-ка ты! – вскинув брови, смело молвила она, обращаясь к хозяину и разворачивая узелок с золотым песком.

– А ну, бабы, пожалуйста в лавку, – вдруг меняясь в лице и как бы сильно испугавшись, сказал хозяин. – Живо, Протасий!.. Живо!.. Покажи им товар, какой желательно. Ботинки-то... Да пошевеливайся!

Торгаши засуетились. Белобрысый согнулся, словно старался казаться поменьше, игривости его как не бывало. Торгаши уже не смотрели на баб, а видели только золото.

Хозяин достал маленькие весы.

– Сейчас свесим. По семьдесят копеек золотник.

– Ишь ты! – воскликнула Дуня. – Нет уж, по рубль двадцать. Так у нас покупают.

Она заспорила с купцом.

– Продажная твоя душа! Думаешь, баба – так и одурачишь!

Торгаш возражал все слабее и, наконец, уступил. Кривоногий приказчик онемел и замер в угодливом поклоне.

Золото потянуло на пятьдесят рублей. Молодухи взяли по паре ботинок, ситцу, пряников, чаю и сахару.

– А ну, еще покажи ружье, – велела Дуня чубатому.

– Вот, бабоньки, умоляю, возьмите, – тонким голосом просил хозяин, стоя у нижней полки на коленях и показывая какую-то материю. – Уверю – наилучшее.

Один патрон закатился под полку. Хозяин, пачкая свою красную рубаху, пытался достать его. Кривоногий встал на четвереньки и попробовал выгнать патрон железным аршином. Оба торгаша легли на брюхо.

– Вы что, дяденьки, раскорячились? – сказала Дуняша и добавила насмешливо: – Плюньте! Я за этот патрон и так заплачу.

– Премного благодарен, – отряхиваясь, поднялся хозяин.

Дуня купила ружье и перекинула его на ремне через плечо.

– Заходите еще, – провожая баб, кланялся торгаш. – Да скажите там людям: Иннокентий, мол, приехал. Я когда-то сплавщиком был. Мы эту деревню населяли. Скажите: Кешка-казак, сплавщик Афанасьев. Все знают меня.

– Да на баркасы другие этак не ходите, – заметил чубатый, – обидеть могут.

– Мы те обидим!.. – ответила Дуня, собирая покупки в узел. – Нынче это прошло – баб увозить. Вон телеграф за рекой – все идет по проволоке. Живо знать дадим, а из Тамбовки выедут тебе навстречу.

Кривоногий хотел помочь Дуне сойти по трапу, но оступился и сам ухватился за нее.

– Ах, извините... Чуть вас не столкнул.

– Смотри ты!.. – строго сказала Дуня. – А то брякну по морде! – Она вдруг взглянула чубатому в глаза и прыснула. – Ухажер!..

Бабы побежали домой.

– Мать ты моя, греховодница! – изумился дед, увидав Татьянины покупки.

– А тебе, дедушка, на шапку, а дяде Егору на штаны...

– Вот Егоровы-то штаны!

– А Павлухе – соски.

Мужики, услышав про Кешку, поспешили на баркас.

– Вон они валят! – выкрикивал купец в красной рубахе, встречая мужиков на палубе и обнимая всех по очереди. – Уж я обрадовался, пермяки, вас встретивши!

Крестьяне также были рады старому знакомому. Когда-то Кешка плыл на плотках вместе с ними и водворял их на релке, отмеривая на каждую семью по пятьдесят сажен вдоль берега.

Крестьяне провели с Иннокентием целый день. Они позвали его к себе на релку, показывали избы и росчисти. Афанасьев рассказывал про город Благовещенск, про золотые прииски на Верхнем Амуре. У него в городе построен был свой дом. Услышав от Егора, что тот хочет делать еще одну росчисть в глубине тайги, Иннокентий посоветовал ему поехать в город, купить хороших коней.

– Там есть купцы-лошадники. Они ездят за сибирскими лошадьми в Томск и пригоняют целые табуны. Надо уметь захватить вовремя, а то, как баржи с лошадьми придут, их сразу раскупают: томские лошади славятся. Их с забайкальскими сравнить нельзя. Пахать, груз ли возить – томская лошадь сильнее. Вот старайся, Егор, намывай золотишка и на тот год приезжай ко мне в Благовещенск. Сведу тебя с лошадниками. Поглядишь, как наши переселенцы живут. На Зее место ровное, мужики по пятьдесят десятин запахивают. Зерно продают, в

тайгу ходят зимой, промышляют. Жизнь у нас полегче, земля черней, богаче, место потеплей, паря, повеселей. Ветры так людей не жгут, не сушат.

– Когда же успели сделать такие росчисти? – спросил Егор.

– Место выбрали хорошее, – отвечал Кешка. – Там равнина, степь. А вот у вас прииск, видно, небогатый. Россыпь, однако, пустьковая. Золото ладное, чистое, но небогатое. При хозяйстве, конечно, подмога. Кто хочет нажиться, надо в тайгу идти, искать настоящее золото. Но все же и это мойте, не бросайте.

Глядя на полосы созревших хлебов, Кешка вспоминал, какая тут была тайга, когда пристали плоты, и как, окуная головы в дым костра, чтобы не заели комары, рассказывал он в тот вечер про Бердышова. Тогда здесь стояло одно Иваново зимовье.

– А нынче, говорят, у Ваньки свои прииски на Амгуни. Загнал будто бы туда народ. Моют ему золото пудами.

– Он, если разбогатеет, – заметил Силин, – дел натворит!

Егор рассуждал с Кешкой о ловле рыбы. Афанасьев уверял, что за ним идет пароход благовещенского купца Замятина. Едет на нем сам хозяин, раздает бочки и подряжает мужиков рыбу ловить, дает задатки.

Егор давно задумал вязать большой невод. До сих пор он связывал свой старый, купленный когда-то у гольдов, с соседскими и гольдскими неводами в один большой, артельный. А ныне весной задумал Егор сделать для кетовой рыбалки сплошной артельный, посадил вязать стариков.

Егор купил у Кешки всего, что нужно, чтобы окончить невод.

Кешку слушали допоздна. Потом ходили провожать его. Слабая волна чуть слышно плескалась в борт баркаса. Темное судно пятном плыло в ночной мгле.

На другой день, когда торгоши уехали, Егор подумал, что на самом деле надо бы намыть золота и отправиться в Благовещенск. Хотелось увидеть новый амурский город, прииски, запашки крестьян-новоселов по пятьдесят и по сто десятин.

Он решил купить там лошадей и спуститься с ними по Амуру на плоту.

Теперь, каждый из крестьян ехал на речку мыть золото, когда хотел сделать какую-нибудь покупку.

Надо было Наталье платье – она шла в воскресенье на Додьгу. Побывали там и телеграфист и Сашка-китаец с женой Одакой. Сашка мыл золото вблизи новой росчисти Егора. Кузнецов давал ему свою бутарку. Один день китаец кайлил и подымал бадью, а Егор мыл, потом Егор кайлил, а Сашка с Одакой мыли.

Жена телеграфиста умела обращаться с аппаратами, а сам он по воскресеньям бывал на Додьге.

– У Кузнецовых амбар богатый. Всего накупишься, – говорил Тимошка, сидя в солнечный день на отмели и глядя на речку, на берегу которой тарахтели лопаты на бутарках, белели рубахи крестьян и берестяные шляпы гольдов. Тут же беглые, живущие у Федора, Ольга, все Кузнецовы, трое смуглых, голых до пояса китайцев в больших шляпах, Бормотовы молодые и старые.

– «Егоровы штаны» да «Кузнецовых амбар»! – восклицал Силин.

Название понравилось всем. Маленький прииск на Додьге с легкой Тимошкиной руки так и стали называть: «Кузнецовых амбар».

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

В тени дремлют собаки. Рамы в окнах фанзы подняты – видны густые заросли шиповника, обрыв, лодки, протока и другой берег с широкой отмелью.

Жара нестерпимая. Мухи липнут к потным лицам.

Айдамбо с женой сидят за столом на табуретках. Перед ними чернильница и листы бумаги. Айдамбо переписывает с букваря, а жена с любопытством смотрит.

Пришел Покпа.

– Все пишешь? – нерешительно заговорил старик.

– Еще буду писать. Не мешай мне. – Айдамбо наморщил лоб, что-то обдумывая. – Какие у нас мухи большие... зеленые...

Айдамбо поймал муху.

Отец видит, что Айдамбо размяк, что ему не до поповских занятий.

– А на реке ветерок. Хорошо так! Я к русским ездил...

Айдамбо с неприязнью глянул на отца, но смолчал. Ему самому хотелось поехать размяться.

Покпа помолчал.

– Егорка еще конопли купил, старики большой невод кончают вязать.

Айдамбо отмахнулся.

– Компанию собирают. Купец хочет кету покупать. Деньги дают, кто будет рыбу ловить. Не знаю, что будем делать...

– Ну что же, тогда давай поедem, – вдруг решил обрадованный Айдамбо.

– Егорка не обманывает, – поясняет Покпа. – Экспедиция кончила ходить. Улугу приехал к рыбалке, он тоже с нами.

Дельдика оживилась. Семья стала собираться в Уральское.

* * *

Осень. Вода спала. День солнечный, чуть ветреный. По воде слышно, как далеко-далеко у быков в прозрачной мгле стучит пароход. Под обрывом, ниже избы Егора, – рыбацкий стан.

От песков отваливает лодка. Гребцы – гольды и русские – налегают изо всех сил, раздаются короткие, частые и гулкие удары весел. Гребцы рвут воду, стучат.

Тимошке, оставшемуся на берегу с пятовой веревкой, кажется, что лодка стучит, как паровая машина.

Закроешь глаза, и как будто пароход...

Бородатый и могучий Егор правит стоя, озирает реку.

Улугу, Айдамбо и Федюшка мерными движениями сбрасывают сетчатку невода в пляшущие волны. Мягко падают пробковые поплавки. Невод темными волнами уходит из-под рук рыбаков. Лодка сечет быстрину. Ее сносит. Вот уж за ней тянется дуга из частых поплавков. Егор круто поворачивает, и острый нос лодки несется обратно к берегу.

«Дай бог захватить хороший косяк в артельный-то невод!» – загадывает Силин.

Невод был. Собрали артель, взяли от скупщика деньги. В артель приняли и гольдов. Егор обещал им равную долю.

Купец нынче должен был заехать за рыбой на своем пароходе.

– Города, деревни населяются, а вверху кеты нет.

– Выгодно рыбку-то ловить! – толковали мужики.

– Новое дело, новый заработок – всем кстати. У гольдов зверя стало меньше, а нам на обзаведение, – радовался Егор.

– Кета в лимане, а уж деньги в кармане, – шутил Тимоха.

Никогда еще не было у него таких денег.

* * *

Лодка с плеском сечет волны, вихри брызг обдают ее борта, она разваливает воду, оставляя усатый след, и вдруг с попутной волной, шурша о песок, врезается в косу.

Рыбаки с грохотом кидают на дно весла, вскакивают, прыгают через борта в воду, а из кустов, оттуда, где дымит костер, появляются женщины.

Все хватают веревку и, увязая в песке, тянут, наваливаясь всем телом. Все тяжело дышат, лица красные. Дугу невода, видимую по балберам и по верхней тетиве, дотягивают, хватают за края.

– Есть! Уже есть! – радуется Васька.

Видно, как рыбы испуганно носятся в воде вдоль тетивы. И острые спинки их, как ножами, с размаху секут воду. Вдруг метнутся они к сетчатке.

Улугу забегают по грудь в воду, поднимает невод. Айдамбо споткнулся на гальке, бултыхнулся в воду и измок с ног до головы, но никто не улыбнулся.

Невод тяжелеет. Все тянут с трудом. Мутный глаз Покпы прищурился на Егора: «Конечно, большим неводом больше поймаете, а такого невода еще ни у кого не было».

Вдруг раздался оглушительный плеск – и сотни серебряных с синью рыб заплясали в воде.

– Бабы, граблями их! – кричит Егор.

Набежали женщины, старухи, девчонки. Выгребают на косу рыбу.

– Кета слабая, сразу засыпает.

«Однако, тысяча штук есть!» – думает Улугу.

– Ой, таймень, таймень!

– О, сом!

– На уху!

В неводе, среди спокойной реки как бы бушевала яростная буря.

– Наталья, на, вари, – кинул тайменя Улугу.

Бабы принялись пластать рыб ножами, мыть их в деревянных ведрах, солить на досках и укладывать в бочки.

– Ну, еще разок! – сказал Егор. – Теперь на юколу.

Его слушались беспрекословно. Он придумал эту артель, дал всем заработок, научил, как связать такой невод, что сразу тянет по тысяче рыбин и больше и кормит всю деревню и соседей.

Улугу, стоял на косе и вспоминал свое первое знакомство с Егором. Дул такой же ветер. «Только стога сена нет, и невод другой теперь...»

Приехал поп.

– Примите, сыны, и меня в артель.

Голоногий, лохматый и могучий, тянул он конец наравне с гольдами и мужиками.

– Тебе, батюшка, как прикажешь долю выдать, – полушутя спросил Егор, – рыбой или деньгами?

– Да, понятно, деньгами. По сколько у вас приходится? Ну, да в придачу бочку рыбы соленой. Вот новенькую-то.

– Это, батюшка, бочки-то не наши. Видишь, бочек у нас своих нет. Купец нам дал шестьдесят бочек со своей баржи, чтобы мы наловили и насолили. Бочки-то дороже рыбы.

– Ну уж, сын, мне-то уж одну бочку не пожалей. Вот новенькую-то...

– Пострел тебя возьми! – удивлялся дед. – Вот духовный-то!

– Ах вы, окаянные! Жалеть? А кто «аз, буки, веди» долбит отпрыскам-то вашим?

– Деньги просит? – потихоньку спросил Покпа, наклоняясь к уху Егора.

– Попробуй-ка не дай ему, – сказал Егор, когда поп уехал и увез бочку рыбы, – он тебе волосья вытербит.

– Я думал, откажется, – сказал Силин.

– Ладно, пусть уж одну бочку возьмет. Скажем, что разбили.

– Артелью-то и попа прокормим, – согласился Тимоха.

– Обманывает, – сердился Покпа. – Че его кормить? Его и так есть, что кушать.

– Гольды артельное попу жалеют, а свое отдают, – сказал Тимоха.

– Рыба крупная нынче! – восклицает Наталья. Она с трудом поднимает за хвост серебристо-лиловую тучную кетину с багровыми пятнами на боках.

Под берегом широкие волнистые голые пески. Чернеет огнище от костра, торчат прутья. На корягах висят сети. К прутьям привязаны собаки. Гольды взяли их на откорм на рыбалку. Они держат псов вблизи русского селения на привязи. Свирепые охотничьи и нартовые псы чуть не загрызли однажды во время рыбалки корову в Уральском, приняв ее за лесного зверя. С тех пор установлен закон – вблизи русских деревень собак привязывать.

С веревками через плечо мимо артельного стана идут мылкинские соседи. Они тянут лодки с рыбой, босые, с трубками в зубах, бредут по пескам и по заводям. Слепой старик, коренастый, с черными ногами, не отстает, держится за веревку.

Гольды остановились, заговорили с Улугу и Покпой, стали осматривать артельный невод.

– Картошку садить гольда не затащишь, – говорит Егор, – а рыбачить – столетний дед и тот сидит в лодке и тянет сетку.

– Который год на Амуре рыбу ловим, а еще такой крупной ни разу не было, – замечает Тимошка. – Как на подбор! Все здоровые, замухрышек нет.

– Амурская свинина, – согласился Егор. – Гляди, чем не поросенок?

Он поднял за хвост огромную рыбину, кинул ее. Она плюхнулась на серебристую грудку и подпрыгнула.

– Живая еще...

Егорова коса – самое лучшее место лова. Здесь в кетовую рыбалку собирается много народу. За день Егор поймал столько рыбы, что хватит на год.

– А мне еще надо, – говорит Улугу. – Собачку надо зимой кормить.

– А картошка у тебя выросла? – спрашивает Силин.

– А что, пропала, што ли?! Конечно, выросла! А че, картошкой собаку кормить?

Лето стояло дождливое. Улугу уверял, что когда такое лето, то приходит хорошая кета.

«Рыба эта красная, у нее настоящее мясо, вкусное. Разве сравнишь ее с сазаном или со щукой?» – думает Егор.

– Ветер-то, худо рыбачить! – восклицает Улугу. – Ветер невод обратно гонит, а когда тихонько – хорошо!

Гольд стоит в песке на коленях и, пряча лицо под распахнутую полу куртки, пытается закурить на ветру.

– Прошлый год в это время дули ветры, был кете разбой на ходу, – сидя за корягой, толковал Силин, кромсая ножом кетину. Он ткнул сырой красный кусок в деревянную солонку и с жадностью съел. – Рыба пришла ослабевшей, с трудом пробивалась. А нынче тихая погода, кета пришла вовремя.

– Мы в Расее жили, рыбу в четыре фунта никогда не видали, – дивился Пахом.

Мылкинские гольды подошли к Егору. Девяностолетний старик что-то сказал Улугушке. Тот рассердился.

– Опять! – закричал он на старика. – Сколько раз я говорил!

Старик этот спрашивал, можно ли тут ловить рыбу. Улугушка сказал, что можно.

– А невод он тебе отдал? Не дерется Егорка?

– Отдал! Иди к черту! – Улугу рассердился не на шутку. Он таких напоминаний терпеть не мог. Сколько лет этот старик все тот случай помнит!

– У меня теперь невод большой.

– Я видел... Вот мы хотим поговорить с тобой. А кто хозяин? Егорка?

– Егорка! И я тоже!

Гольды стали хвалить артельный невод, Егорку, а заодно и Улугушку.

– Ты теперь хороший, не дерешься, – говорил, подходя к Егору, девяностолетний Сигади. – Стал добрый!

Кузнецов позволил мылкинцам взять артельный невод и рыбачить.

– Нам для собачек! – заискивающе говорил Покпа.

Бабы заполнили бочки, а штук четыреста рыбин оставили развернутыми пластинами, потом их растянули по вешалам так, что весь берег покрылся красными полосами.

Гольды остались на косе. Вечерами у костра рассказывали сказки.

Васька сидел с ними. Он начинал понимать по-гольдски.

Ночью было тихо, но вода плескалась непрерывно.

– Рыбка ходит! – говорили старики.

– Вон там тоже наша рыбка идет, – показывал Покпа на небо, на стайку белых дрожащих звезд. – Это Оринку. По этим звездам мы всегда узнаем, когда наша рыбка придет. Как эти звезды Оринку вон к этой сопке подошли, то значит, кета пришла. Утром есть рыбка – кидай невод... А вон амбар, – показывал старик на семь звезд Медведицы, – вон, видишь, четыре звезды по углам, четыре столба, а еще три ступеньки – лестница. В этот амбар потом придет медведь, полезет юколу доставать.

– Медведица? – спросил Васька.

– Медведь ли, медведица ли – все равно. Если всю ночь не спать и на небо смотреть, все небо видно. Когда с тобой на охоту пойдем, Васька, шестнадцать палок кругом в землю втыкаем, на них натянем

парус, а наверху в середке небо видно. А у нас в середине огонь. Шибко холодно. Один бок горит, один мерзнет. Спать не могу. Когда потухнет, можно на небо смотреть и сказки рассказывать.

– Ты уже большой, у тебя ноги длинный, – замечал Улугу. – Можешь бегать и охотиться. А наша на коротких ногах тоже бегают хорошо. Начальник экспедиции говорил: «Молодец!» Я отвечал: «Рад стараться!»

Улугу, вытянувшись, приложил руку ко лбу.

– Там на небе тоже течет Амур. Вон он... – проводил рукой Покпа, показывая на Млечный Путь.

У костра Васька наслушался сказок. Шагая потом в темноте по гальке к обрыву, он думал, что, верно, скоро настанет счастливое время, когда и его возьмут охотиться на «больших» зверей, и пойдет он далеко-далеко, в самую дремучую тайгу. Он и сейчас уж чувствовал в себе силы, чувствовал, что подрос и окреп. «Ноги выросли у тебя!» – вспомнил Васька.

А звезды Оринку мерцали. Если встанешь и присмотришься, в самом деле похожи они на стайку золотых рыбок; и кажется, что двигается стайка в эту темную ночь вверх по небесному Амуру.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Хлеба давно убрали. Рыбы наловили. Убрали в амбар кетовый невод.

С верховья дует ветер. Сехнут леса и травы. Кругом пашен Егора – тайга, болото. Река широка и богата, леса велики, плодородны земли. И хочется Егору, чтобы здесь былолюдно: мир огромен и пуст, и чувствуешь себя отторгнутым и одиноким.

Не желая поддаваться осенней тоске, Егор отправился на Додьгу. Мужик любил работать в чаще леса на своей будущей заветной пашне. Он стал подрубать деревья. Работалось весело. Егор знал, что тут хорошая земля, кругом пашни останется лес, ветер ее не выдует. Никто не тронет эту таежную пашню – так казалось мужику.

Пришли Кондрат, Васька и Петрован. Все стали помогать Егору.

...А на Амуре ветер все еще теплый. Тень и солнце желтыми и темными пятнами ложились на воду, и река, в цвет тайги, в осенних красках.

На пене прибоя качался пароход. Залязгала лебедка, железный звук ее разгонял тоску новоселов; люди приехали, свистит пар, гремит машина, труба гудит и пускает дым.

На мостике рядом с капитаном стоит рослый человек в клеенчатом дождевике и в шляпе.

– Ведь это Бердышов! – воскликнул Силин.

– Тимоха, подай лодку! – крикнул Иван с парохода. – Сходни иначе не поставим: Амур бушует.

– Больно мне надо стараться для тебя, – отозвался Тимошка. – Слезай как хочешь. Зачем тебя на мостик пустили? Эй, линьками его оттуда!

Низкорослый капитан зло оглядел мужиков.

Иван взял у него рупор.

– А ну, не зевать! Лодку под сходни! – грозно закричал он. – Принять вторую чалку!

В рупор голос его показался чужим и властным.

Мужики невольно засуетились. Тимоха сорвался с места, столкнул лодку и, прыгнув в нее, взялся за весла.

«И знаю, что это Ванька Бердышов, а боязно», – подумал он.

– Отдать якорь! – крикнул капитан. – Трави!

* * *

Иван Бердышов, сидя на нарах у себя в зимовье, отдавал распоряжения низкорослому смуглому капитану. Тот стоял, держа руки по швам, и, выслушав, поклонился почтительно. Мужики, столпившиеся тут же, немало удивились этому. Еще не случалось видеть, чтобы пароходное начальство, обычно грубое и заносчивое, было бы у кого-нибудь в подчинении.

– Иван Карпыч, – пробился Федор Барабанов, – когда пароход пойдет? Мне на Быстрый Ключ товары отвезти да Санке в Хабаровку доехать.

– А водки привезли? – спросил Силин. – Вели сгружать хоть несколько ящичков, а то пароход уйдет, и мы без спирта останемся.

– Пароход никуда не пойдет, – отвечал Иван.

– Как это не пойдет? Сколько же он стоять будет?

– Это мой пароход, – как бы между прочим ответил Иван и, усмехнувшись, оглядел мужиков исподлобья.

– Тво-ой?.. – всплеснул руками Барабанов.

Анга, разгоревшаяся от такой новости, побежала раздувать костер, чтобы готовить ужин.

– Иван пароход купил! – кричали ребяташки, разбегаясь по поселю.

На судне началась выгрузка. Через открытую дверь видно было, как матросы с тяжелыми тюками на плечах, покачиваясь, сходили по трапу. У зимовья собрался народ. Бабы обступили Ангу.

Появился Илья под руку с женой. Дуняша – загоревшая, с выцветшими на приiske волосами, в пестром сарафане из ситца.

Иван вылез из зимовья и, увидя ее, закрыл глаза ладонями.

– Слепит!.. – воскликнул он.

– Ох, уж слепит! – насмешливо отозвалась из толпы Таня.

Иван приоткрыл ладони.

– Что тебя так разнесло?

– Ах, не всем тощать! – с сердцем, но игриво отвечала Дуняша.

Она стеснялась, что брюхата, но радовалась, что Иван не обижен, что он все такой же веселый, приветливый и, кажется, видит ее счастье. Иван обнял ее и толстенькую, коренастую Татьяну.

– Сласть!.. – жмурясь, воскликнул он. – Нарядные шибко стали! – Он говорил с ней как ни в чем не бывало, словно не домогался когда-то ее взаимности. – Ну, как хлеба? Как рыба нынче? Кто с кем невода связывал?

– Золото моем! – сказала Дуня. – От хлеба отступились...

– С золота наряды. Стараемся, – смеясь, отвечала молодая Кузнецова.

Иван достал портсигар.

– А помнишь, как я в тебя чуть не влюбился?

– Как же! – в тон ему ответила Дуня небрежно, но осторожно посмотрела в глаза его, как бы с опаской.

Серые Ивановы глаза смотрели остро. Редко кто так на нее смотрел. У Ильи взор куда добрей и мягче. А Иван поразил ее своим взором – была в нем сила; и во всех движениях Ивана были упругость и живость. Он стал стройней.

– Давай папироску, – сказала Дуняша.

Таня тоже закурила.

– Где это курить научились?

– Есть у нас учителька – Ольга-каторжанка.

– Ну, а как ты, Илья, живешь? Если бы тебя барса тот раз съела, я бы на твоей Дуне женился, – говорил Бердышов, подмигивая молодому Бормотову. – Я тебя испытать хотел, подразнить, узнать, любишь ли ее, да и сам чуть не поддался. Ты, Илья, не знаешь, как я перед твоей женой на колени вставал, как в книжке.

Илья даже загоготал от удовольствия.

Иван роздал свои папиросы бабам.

– На прииске да на рыбалке без табаку нельзя, а то застудишься, – хрипловато сказала Татьяна.

– Молодухи наши поосипли, – с укоризной молвила бабка Дарья. – Ох, боже мой, как теперь песни петь!

– А я рассчитывал – Дуняша овдовела, – под общий смех продолжал Иван.

– Ты все как будто в шутку, а не обережешься, так схватишь. Смейся, Тигр! Лучше давай спрыскивать пароход, – подступил Тимоха

Силин. – Я тебе еще прежде говорил, что тут тебе не отломится.

– А тебе, паря, может опять отломиться...

– Эх, ты! Да верно, тот раз ты ударил меня! Но спрыски подай. Я когда-нибудь с тобой еще сочтусь, так ли тебе заеду!..

– У нас стегно сохатины есть, – обрадовался Илья. – Спрыснуть можно.

– Зачем стегно! У меня кухня своя, повар! Жена, зови гостей на пароход.

С дочерью на руках Иван спустился с берега. Подросшая девочка крепко обхватила отцовскую шею.

Уральцы повалили за Бердышовым.

Под обрывом дымил пароход, слышался свист выпускаемого пара и грохот поленьев, падающих в пустой тюрем. Бродяги и каторжане, работавшие у Ивана на пароходе, покуривали, сидя на ящиках. Завидя хозяина, они поднялись.

– Как ты их не боишься? – спросил Силин.

– У меня строгость. Я умею с людьми обходиться. Чуть что – пуля. Или выброшу в пустолесье. По Амуру, берегом, не найдет дороги – протоки, озера, болота; на песках сдохнет. У капитанов уговор – не спускать никому.

Поднявшись по трапу, крестьяне столпились на палубе. Дальше их обычно не пускали, если им случалось ездить на пароходе. Дуня заметила в каюте книги.

Иван тянул смотреть машину, каюты. Пароход был хорош, гораздо лучше других амурских. Пар из котла выпустили, наступила тишина.

– Может ходить по морю, – рассказывал Бердышов. – Высокие борта – морская волна не захлестнет. Теперь могу поехать за соболями на Сахалин. Растите скорей, – обратился он к ребятишкам, – возьму в свою команду. Я всем найду дело – и мужикам, и ребятишкам, и молодым бабенкам... – Он подмигнул Дуняше и Татьяне.

В полутемной кают-компании – скамьи, зеркало. Мужики рассаживались, как в избе. Появился китайчонок в фартуке.

Иван поднял жалюзи, открыл окно. С реки донеслось ржание коней. Слабая волна плескалась в борт.

Иван повел народ наверх. Пароход покачивало от ходьбы многих людей.

– На море славно, идешь, волна качает, сидишь тут, мечтаешь.

– Про что же? – как бы невзначай спросила Дуня, но Иван смолчал.

– Только названия у парохода нет. Ходим под номером. Уж не знаю, как назвать.

Поднялись на верхнюю палубу. Открылся вид на релку, на дальний лес. Солнце стояло еще высоко. Река стихла.

– Вот на этой релке произвел я пароход! – говорил хмельной Иван. – Кто – пшеницу, а я – пароход! Из лесов и болот вырастил его. Но оказать, что сильно рад, не могу...

В этот пароход вложил он все свои доходы от охотников, от женихов Дельдики, от торговли на Горюне, от всех людей, обитавших в этой мокрой лесной пустыне.

– А твою берложку скоро ветром развалит, – задумчиво говорил Тимошка Силин, глядя на далекое Иваново зимовье, приютившееся в распадке между сухих пашен.

– Завтра поедем кататься, – сказал Иван. – Надо баб и девок потешить. Жалко, Егора нет.

– Он в тайге работает, – отвечал Силин, вытирая покрасневшее лицо с бледными от пота рябинами. – Егор – корень. А ты плавник, наносник. Тебя где-то вырвало с корнями, и ты таскаешься...

Ивану рассказали про открытие золота.

– Заводите прииски, мойте золото, добывайте пушнину, мужики, – говорил Иван. – Вам, конечно, любо распахать клочок земли, засеять... Изба есть, дров много, хлеб свой, рыбка под боком, ружьишко есть: живи, крестьянствуй! Мне самому нравится, что на Амуре растет хлеб, что можем сами прокормиться. Буду у вас окупать пушнину, дам заработок. Хорошо и рыбу ловить, солить ее и продавать казне; куда выгодней, чем пахать. А хлеб купим. Привезу вам и муку и самовары, дождевики, спиртовки...

– Чего захотел! – воскликнул Тимоха. – Чтобы пашни кинуть!

– Сами кинете!

– Это уж когда ты нас сожрешь совсем, станем на тебя батрачить.

– За такие слова тебе мало не будет, – ответил Бердышов.

Вечером на реке слышен был стук и лязг железа. Протрезвевший Иван и механик ремонтировали машину. Весь перепачканный Бердышов приходил зачем-то домой с молотком в руках, пинками разогнал собак.

– Это я все для тебя стараюсь, – вдруг, повеселев, оказал он повстречавшейся Дуняше. – Я ведь тебя все не забуду, хоть потешу вас с Ильей. Илья твой шибко мне нравится!

Утром ребяташки бегали по деревне – созывали народ кататься на пароходе.

Илья начистил новые сапоги, достал пиджак, сатиновую рубаху. Когда он выбежал из дому, пароход загудел и вышел из-под прибрежных деревьев на речной простор. На пароходе засмеялись.

– Эй, жену увезли! – кричали с нижней палубы.

Илья спрыгнул с обрыва и побежал по берегу. Судно на всех парах вошло в озеро Мылки.

– Анга, буду учить тебя пароходом управлять, – сказал Иван, – ты хозяйка. Дуня, и ты гляди – может, когда-нибудь пригодится...

Он подтолкнул молодушку локтем. Анга, похудевшая, с костлявой смуглой грудью, хитро посмеивалась. Ей казалось, что Иван вышучивает Дуняшу, а та ничего не понимает.

«Иван надвое играет», – заметил Федор.

Иван хорошо знал озеро и вел судно по глубоким канавам, избегая мелей. Косой матрос в рваной рубахе заиграл на гармонике. Бабы мелко застучали по палубе каблучками.

А Илья все бежал по берегу, не отставая от парохода. Дуня помахала ему платочком.

– Страсть, на мель сядет! – завизжали бабы. – Пароход чьи-то сети утащил.

За кормой по воде длинным хвостом тянулись сети.

– Гольды все еще кету ловят. Зубатку. Для собак.

На середине озера виднелась лодка. Пароход шел прямо на нее.

– Это Силин рыбачит! – воскликнул Санка. – С утра робит.

– Ты почему кататься не поехал? – закричал Иван в рупор. – Я тебя приглашал, а ты не послушался? Вот я тебе обещал, что тебе еще раз отломится... Спасайся!

– Э-эй!.. – испуганно закричал Тимоха, видя, что пароход поворачивает прямо на него. – Баловать тебе!..

Пароход носом ударил в борт лодки так, что Тимоха едва успел опрометью броситься с кормы и нырнуть в мелкую воду. Пароход, давая гудки, уже шел дальше, на стойбище.

Не было случая, чтобы пароход входил в озеро. В стойбище начался переполох. Забирая ребяташек, гольдки убегали в тайгу.

Иван сбавил ход, потом дал задний. Судно, тихо скользя, подошло к самому обрыву. Узнав Бердышова, гольды появлялись из-за укрытий. Иван всех звал на пароход.

В иле, с зеленой головой, на палубе появился Тимоха Силин. Ему было очень обидно, что погибла хорошая лодка, которую он завел с большим трудом, но мужик не подавал виду, шутил как ни в чем не бывало.

– Зачем тебе лодка? – сказал ему Иван. – Найди хорошую россыпь, купи пароход. Да в другой раз с сильным не борись. Да не плачь... Я тебе лодку подарю свою, новую, она мне больше не нужна.

«Как он себя выставляет! – думал Силин. – Перед кем это? Все неспроста... Он зря ничего не делает. Так бы он и стал мне лодку дарить».

– А мне твоей лодки не надо, – сказал Силин из гордости, хотя знал: лодка у Ивана очень хорошая.

Судно загудело и пошло к миссионерскому стану. Гольды держались за борта, глядя, как колеса разбрызгивают грязь.

– Мелко...

– Я пароход назову девичьим именем, – оказал Иван, глянув на Дуняшу.

Та нахмурилась и густо покраснела.

– Тьфу ты! – спохватился Иван. – Чуть не брякнул!

– А ну-ка, дядя, стой! – грубо воскликнула Дуняша. – Пошли лодку за Ильей. Что это он, как собака, по берегу бежит.

– Сейчас! – воскликнул Иван. – Эй, лодку! – закричал он в рупор. – Это правда, пеший конному не товарищ.

За Ильей пошла лодка. Выражение гордости явилось на широком лице Дуняши. Ради нее, по ее капризу от парохода пошла лодка – и все это видели.

Вечером в Уральском свежей краской по борту матросы вывели название парохода: «Анга». Федюшка Кузнецов сильно подвыпил на пароходе и долго сидел на трапе, не желая идти домой, пока жена не пришла за ним.

* * *

На другой день Иван пришел к Бормотовым. Молодых не было дома. Они с раннего утра мыли золото поблизости.

– Прощай, сосед. Мы уезжаем в город.

– Как? Так сразу?

– Я построил там дом. Вот будет у тебя нужда – заглядывай в город. Захочешь отправить детей учиться на механиков или на капитанов – присылай, я помогу. И сам приезжай.

Бердышovy обошли все поселье.

Анга выкупалась на пароходе под душем и переделалась во все городское.

Иван долго говорил в каюте с Савоськой. Пароход дал гудок. Старый гольд, всхлипывая, пошел с судна.

Бердышов с женой вышли на палубу. Анга была в пальто и в шляпке. Она выглядела очень хорошенькой.

Сходни убрали. Капитан дал звонок в машинное отделение. Пароход тронулся.

Закрыв лицо руками, Анга горько заплакала.

Долго вслед удалявшемуся пароходу смотрели с обрыва крестьяне.

Вот и не стало Бердышова, Анги, маленькой Тани, к которым все привыкли. Жили люди, дружили, вместе бедствовали, а разбогател Иван – нагрязнул, забрал своих в чем были, бросил старый дом и старое добро и уехал, словно в насмешку над всеми.

Расходясь, невольно смотрели все в распадок, где догнивало опустевшее зимовье, у которого когда-то встретили они впервые Бердышова.

Дуня и Илья вышли из тайги.

– Гляди, Иван поехал! Был у нас и прощался, – сказала им Бормотиха. – Говорил, в городе дом построил.

– Как? Совсем? – изумилась Дуня.

– Да, и Ангу и дочь забрал.

Дуне взгрустнулось. Вчера она сильно рассердилась на Ивана за его намеки и только разохотилась потягаться, повраждовать с ним, как он убрался. Почему-то стало досадно.

Дуняша постояла над рекой и, чуть прищурившись, смотрела вслед удаляющемуся судну.

Амур опустел. Место на релке заглохло. Словно и на сердце легла глушь.

А люди исподтишка наблюдали за ней. Все, кроме Ильи, который знал, что жена его любит.

– Уехал, зараза, – добродушно сказал он, подходя к Дуняше. Скуластое лицо его сияло.

Дуня засмеялась и крепко обняла мужа.

А над дальним лесом, над Додьгой завился дымок.

– Это не от костра, – замечали крестьяне.

– Егор корчует...

На другой день из леса вышли дед Кондрат, Егор и Васька с Петрованом.

«Нищета! Все земельку ковыряют», – усмехнулся про себя Федор.

Егор рассказывал: валили я жгли гнилье и сухостой, а с живых деревьев сдирали кожу, надрубали стволы, чтобы зной и ветер сушили их, чтобы в зимний мороз застыли соки, лед рвал бы древесину. Весной и летом дерево станет погибать, ослабнут корни. Через два-три года придет Егор с огнем и вагой, выжжет лес, выкорчует обгоревшие пни.

– А золото мыли?

– Сашка там работает, и мы с ним.

– А не боишься, что Ванька Бердышов не даст тебе поднять ту землю, что так и останется она под тайгой? – спросил Силин, и в голосе его слышалась жалоба. – Он хочет снять нас с пашни, кинуть на заработки. Чтобы мы ему рыбу ловили для приисков. Да и мало ли что может сделать он, о чем мы и подумать не можем.

Тень легла на лицо Кузнецова.

– Иван уехал... – заговорил Тереха. – Зачем мы ему?

«Нет, Иван не уехал, он здесь, – подумал Егор, выслушав рассказы про то, как гостил Бердышов. – Он уехал, но богатство его здесь, вокруг нас».

– Он уж и на баб зарится, – продолжал Тимошка. – Уж одна потемнела, как он уехал...

В ичихах, в старой рубаше, с топором за лыковой опояской, стоял Егор на черной земле, слушая соседей, и думал глубокую думу:

«Опасным человеком становится Иван Бердышов. Он всегда брал свое, что ему надо было – „не мытьем, так катаньем“, и делал это с шуточкой, как бы нехотя, а добыча сама шла ему в пасть. Неужели и Дуня, красавица, подалась сердцем к нему? Иван давно на нее поглядывает. Но это еще вилами на воде писано, что она поддалась. Конечно, ей лестно, что Иван угождает. Но люди зря говорят: Дуня – кремень и любит Илью».

Иван через соседей передал приветы Егору, звал и его с детьми в Николаевск. Егор не боялся дружбы с Бердышовым. «Но как знать, что будет?»

Егор шел на Амур за вольной, справедливой жизнью, надеялся, что люди сойдутся равные, будут жить трудами. А тут люди снова разделились на богатых и бедных. День ото дня на новой земле все больше заводилось старого.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Многие женщины, помогая мужу создавать богатство, и не предполагают даже, что готовят себе несчастье. Но Одака, когда-то считавшаяся очень глупой, битая, темная и невежественная – былое посмешище для всего Бельго, – отлично это сознавала. У ее мужа завелось золото. Она помогала ему мыть, работала не за страх, а за совесть, ворочала пески лопатой, нагребала их в бадью, стоя в глубоком колодце босая, по колена в ледяной воде. А золото ее не радовало. Мысль, что муж накопит золота, оставит ее и сынка, и, как многие китайцы, уйдет на родину, чтобы купить там клочок земли и хорошенькую китайку с маленькими ногами, не давала ей покоя. Правда, говорят, что есть китайцы, которые не покидают своих жен-гольдок.

Одака бывала вне себя от гнева. Почему такая несправедливость? Как смеет муж бросать семью? Ведь вот у русских разрешается иметь только одну жену, и ту нельзя бросить. Айдамбо живет по русскому закону, он тоже никогда не разведется с Дельдикой. Они стояли под железной шапкой. Одака вспомнила, что и сама ведь тоже крещеная.

Женщина скрывала свои мысли. Она чувствовала: скрытность поможет ей. Мыла золото, работала на пашне, хозяйничала, делала все, как хотел муж, не давая повода подозревать себя в чем-либо. Лучше прикидываться дурочкой, когда муж такой умный да еще приехал издалека.

Когда началась осенняя рыбалка и прииск с его небогатыми золотом песками опустел, Одаку словно подменили: она упрется и все делает по-своему. «Опять стала дура дурой, как в семье Кальдуки!» – думает муж.

– Что тебе надо? Почему ты упрямишься? – кричит Сашка. – Я тебя буду бить!

«Бить!» – думает она зло.

Но как Сашка ни грозил, ничего не помогало.

– У тебя невод не готов, – ворчит Одака, – я привезла невод, а ты что? Уж звезды показывают: кета подходит.

Одака вспомнила детство, как ее любил отец, как она ничего не боялась, когда он был жив. Каждую осень, глядя на созвездие Оринку,

она слушала его сказки. А теперь у нее проклятый муж-китаец, который считает ее душой, а себя каким-то особенным.

А на рыбалке оказалось, что Сашка рыбу ловить не умеет.

– Черта тебе! Дурак! А все учишь меня! – стоя в лодке, закричала Одака, когда он выпустил из рук конец невода. – Разве так рыбу ловят? Воды боишься, какой ты мужик? Дикая курица! Тебе только в грязи копать! – Она в досаде ударила мужа изо всей силы веслом по спине, подняла конец упавшего в воду невода, схватила его зубами и села на весла.

Одака не умела сдерживать свои порывы ни в любви, ни в гневе и еще раз стукнула оробевшего мужа так, что у того в глазах потемнело.

Весь день ловили рыбу, заводили, тянули невод. Сашка работу на воде не любил: он еще боялся воды.

Возвратившись в фанзу, мокрый и усталый, он спросил жену:

– Почему ты такая злая?

В эти дни Николай и Володька уехали на телеграф – клали там новую печь, и супруги были одни.

– Чего тебе надо? – закричал он, видя, что она молчит.

– Ничего не надо! – со злом отвечала Одака, жуя лук.

Потом уж как-то призналась она, что боится. И стала объяснять, что бог един, а что Сашка его не признает, закона настоящего не знает, что ребенок не крещен. И потом она твердила ему о боге много ночей подряд.

Сашка поехал в церковь.

– Лабота еся? – спросил он попа.

У попа всегда была работа. Ему тоже надо было переложить печи в церкви, а то Бормотовы ругаются, что, мол, когда бедных венчал, так снег в углу был, промерзло все. Солдаты сделали печь кое-как.

– Им что! – жаловался поп на солдат. – Им горя мало, но бог их везде найдет и накажет, – уверял он Сашку.

Китаец стал переключивать печь. Поп уговаривал его креститься.

– Нет, моя не хочу! – отвечал Сашка.

Хотя Сашка и намеревался креститься, но соглашаться сразу не желал.

«Пусть сначала деньги за работу заплатит, а то скажет – даром. Пока я другой веры, хоть получить с попа деньги!»

Вскоре Сашка крестился, крестил сына и венчался в церкви с Одакой. Он стал подумывать (по совету попа) о переходе в русское подданство. Поп уверял его, что уж тогда у него землю никто не отберет, он будет, по сути дела, ее владельцем и даже сможет продать участок, если захочет уехать обратно в Китай.

Однажды к Сашке приехал на лодке Гао. Выйдя на берег, он с удивлением осмотрел поле, фанзу, увидел Одаку.

«Как она похорошела! – подумал купец. – Ее даже не узнать!»

Он уже слышал от людей, что за два года, живя вдаль ото всех, Сашка стал настоящим помещиком, что он нашел себе двух китайцев-помощников, крестился, моет золото.

И китайцы, жившие у Сашки – одного из них Гао уже знал, – и сам Сашка, и золото вызывали любопытство. Но сейчас, когда Гао вышел на берег, его сильнее всего поразила Одака. Такой перемены в ней он не ожидал.

В этот же день нагрянули родственники Сашки. Явился из Мылок Кальдука Маленький – он там гостил у своей новой родни. С ним приехал Савоська, к которому он заезжал по дороге.

Кальдука жаловался, что зять его Айдамбо ссорится со своими родителями, поносит их, бранит за то, что не хотят часто мыться.

– Айдамбо не нравится, что в избе блохи! – удивлялся Маленький. – Учится грамоте и хочет уехать из Мылок и построить дом в Уральском. Даже берет себе русскую фамилию.

Савоська, слушая рассказы Кальдуки, смеялся.

Улучив время, когда Сашкины родственники разговорились с Одакой и с гольдами-гребцами, купец Гао заметил хозяину:

– Я очень рад твоей удаче. Ты мог бы помочь мне теперь. Счастье неизменно сопутствует щедрому!

Речь шла о долге.

– Я только что собирался в Бельго, чтобы расплатиться, – с невозмутимым видом ответил Сашка.

Савоська, немного понимавший по-китайски, делал вид, что не обращает внимания на этот разговор, но сам прислушивался. Сашка уверял, что золота у него нет, что он почти все продал, а долг отдаст деньга-ми. Но Гао желал золотом. Он скупал его по дешевке, а Сашке выгодней было отдать долг деньгами, а золото продать на сторону.

Савоська подумал, что Гао ломает зубы о Сашку.

– Смотри, это плохо, если у Сашки заведутся большие деньги и золото, – сказал, между прочим, Одаке подвыпивший Кальдука.

Та вздрогнула и взглянула испуганно.

«Нечего бояться, ведь мы теперь венчались в церкви!» – утешала она себя.

– Поэтому я тебя и не хотел за китайца отдавать, – продолжал Маленький. – Я тебя жалел... Бил, как свою... Боялся за тебя.

– Китайцы разные бывают! – возражал Савоська.

«Но мы ведь венчались в церкви!» – упрямо думала Одака.

У Сашки чашечки для водки с наперсток, и водки мало. Гораздо лучше ездить в гости к русским. Савоська и Кальдука поэтому долго не гостили у Сашки. Им хотелось погулять хорошенько, и они отправились в Уральское, где все запасы Бердышова находились в полном распоряжении Савоськи. Гребцы с купеческой лодки упростили хозяина отпустить их туда же до утра.

Гао остался ночевать в Дадах, как называли место, где построил свой дом Сашка.

Вечером китайцы обсуждали денежные и общественные дела.

Гао очень хвалил Сашку за то, что тот крестился.

– Я сам тоже решил креститься, – хвастался торговец.

Разгоряченный небольшой, но приятной в этот холодный осенний вечер порцией подогретой водки, он разболтался. Иногда он поглядывал на Одаку.

– Это не беда, что ты крестился, – говорил он ее мужу. – На крещение можно плюнуть, когда захочешь на родину. Бросишь жену и уйдешь с деньгами.

Одака прекрасно поняла, что сказал Гао. Еще с тех пор, как прислуживала она в лавке у Гао, она научилась понимать, о чем говорят между собой купцы. И хотя Гао был ее любовником когда-то и она гордилась тем, что ему, как она полагала, была очень приятна встреча с ней, но сейчас вдруг в душе ее вспыхнула ненависть к Гао. Ее считали тупой и упрямой, но она просто была человеком с сильным характером и ни в чем не желала уступать. Она думала, что, окрестив мужа и повенчавшись с ним, будет в безопасности. А тут какая-то дьявольская хитрость. «На крещение можно плюнуть!» Только сейчас она вдруг поняла это с необычайной ясностью. За сына, за мужа, за семью Одака готова была задушить проклятого мерзавца Гао.

– Я совсем не думал обманывать, когда крестился, – вежливо сказал Сашка, но глаза его блеснули очень неприязненно.

Одака знала это выражение.

Гао смолчал. Между прочим, он заметил хозяину, что надо, наконец, вступить в общество китайских торговцев, что это патриотическая среда и к ней надо приблизиться.

– Далее отговорки не могут быть терпимы! – добавил он с улыбкой.

Потом опять зашла речь о золоте.

Утром Гао уехал.

На другой день Сашка ездил по делам к Егору. Вернулся поздно. Одака сказала ему с тревогой:

– Тут без тебя был младший брат Гао.

– С товаром приезжал? – спросил муж.

– С товаром, – усмехнулась жена. – Он обещал мне ожерелье.

Хвалил меня. Он говорил, что я похорошела...

Одака знала, что Сашка горяч и очень ревнив.

– Потом явился толстяк... Я испугалась и не понимала, что они хотят. Что-то говорили мне... Как ты оставляешь меня одну!.. Я всю морду младшему исцарапала... Он мне все говорил, что старший брат вернулся от нас и вспоминал про меня.

Одака разревелась, накричала на мужа:

– Почему ты позволяешь обижать свою жену!

– Что он сделал? – в бешенстве подскочил к ней Сашка.

– Если ты будешь дураком, они все, что захотят, сделают. Дурак! Дикая курица! Ты не знаешь, какой плохой человек их старший брат. Ты ему жаловаться пойдешь – он только посмеется над тобой. Он всех обманывает, а ты, дурак, хочешь вступать в их общество. Поезжай лучше подальше от них, лучше всего в русскую деревню, пока торгоши твою семью и тебя не погубили. Вон Айдамбо с Дельдикой туда переезжают. Будут у нас там родственники. Там никто нас не обидит. А Гао когда-нибудь убьет тебя. Младший брат спрашивал, как мы золото моем, и сам все поглядывал по углам. Наверное, хочет узнать, где закопано.

Через несколько дней снова явился Гао-старший.

Сашка встретил его вежливо, поклонился низко, пригласил в дом. Накануне из Эки приехали Николай и Володька, но сейчас их не было

дома: оба рубили дрова в лесу. Сашка занимал гостя.

– Ну, так как же со вступлением? – спрашивал Гао. – Пора, пора! Зимой ты мог бы жить в Бельго, – тут он покосился на Одаку, – и помогать патриотическому делу. Тебе будет хорошо в нашем доме. А то, я вижу, ой-ой, ты сблизился с гольдами, с варварами, и пал духом. Лев подчинился им. Храни гордость и достоинство и будь равный с равными.

«Зачем понадобились ему эти мудрые рассуждения?» – думал Сашка. Он желал избежать ссоры, опасался сказать богачу что-либо грубое. «С сильным не борись, с богатым не судись! Надо обойти все опасности».

Но чем больше Гао говорил, тем сильнее возмущался Сашка и тем труднее было ему сдерживать себя, улыбаться и кланяться.

– У меня нет денег платить в общество.

– Мы займем тебе.

– Нет, я хочу вступить, когда буду полноправным.

– Ты и так создал благополучие.

Одака, сидя под навесом и разбирая картофель, слышала все через открытую дверь. Мужчины говорили долго, уж солнце стало клониться. Иногда Одака отходила, чтобы поднести с поля корзину с картофелем. Вдруг до слуха ее донеслись крики. Гао завизжал так, словно его резали.

– Да, варвары! – тонко кричал Гао. – Ты в их власти! Ты забываешь свое кровное!..

Через поле шли с топорами Николай и Володька. Они возвращались из леса. Володька задержался на поле, Николай прошел в фанзу.

Голоса спорящих стихли. Но понемногу спор снова разгорелся. Послышался уверенный голос Николая. Теперь и муж заговорил смелее. Спор становился все горячее.

– Ты упрекаешь меня! – говорил Сашка. – В чем? В том, что я создал своими руками? Разве я не китаец? Разве я не люблю свою родину? Но значит ли это, что я должен тебе подчиниться? Да, вот у меня есть золото, на... Вот бери все, и по твоей цене. Достану весы. Взвесь! Ты сам назначил! Возьми! Да, я обманывал тебя! Не хотел вступать в общество, не хотел отдать сразу долг. Но теперь отдаю все. Бери! Я никогда не войду в общество.

– Ах, ты вот как!.. – вскричал Гао.

Николай подлил масла в огонь, сказав:

– Самый горячий патриот может покинуть родину, не вытерпев насилия угнетателей. Каждый, кто бесстыдно обманывает простых и доверчивых сограждан, – пособник маньчжур!

– Она тебе неровня! Она дикий зверь! В ней вся причина! – кричал Гао. – Она уничтожает наше патриотическое единение! – говорил он об Одаке.

– Такие, как ты, погубили семью моего отца на родине! – яростно кричал Сашка, с болью в сердце сознавая, что Гао все же выудил у него золото. – А теперь, когда я хочу выбиться из беды, ты уверяешь меня, что я принадлежу к избранному народу. Хотите лишить меня семьи! Твои братья – негодяи!

– Как?!

– Да! Они пытались насильничать. На земле, где нет хозяев, я стал человеком. Такие, как вы, отняли у меня все еще в ту пору, когда я был на родине, а теперь, когда я нашел кусок хлеба, кощунственно призываете меня во имя родины бросить труд и честную жизнь и сделаться на чужбине рабом, слепым и ничтожным.

Гао перебил его.

Сашка проклинал себя в душе и старался сдержаться. Доказывать бесполезно. Тысяча законов, куча известных мудростей будут сейчас двинуты на него. Общество, быть может, задумает стереть его с лица земли.

«А я плюю на тебя! – думал Сашка. – Смотри, вот как я вытягиваю губы и плюю, хотя ты и не замечаешь! Ненавижу тебя! Как ты позорно оплеван мной!» Сашка слышал, что где-то так умные люди мстят и утоляют зло, когда сами бессильны.

«Я скажу им при случае, что, конечно, уеду в Китай, что брошу гольдку! „И детей?“ – спросят они. Отвечу: „Да, и детей“. Но в самом деле – никогда! Я обману их!»

– Все вступают в общество «Свободных братьев», – говорил Гао. – Все те, кто женаты на гольдках.

Но Сашка наотрез отказался. Он знал, чем кончаются такие связи. На родине, в деревнях, торговцы и богатые крестьяне из века в век использовали этот древний способ закабаления тружеников и под всякими предложениями втягивали бедняков в разные общества, обирали

их, заставляли работать на себя. На Амуре Сашка желал быть свободным.

– Мало виделись, мало виделись! – так приветствовал, кланяясь купцу, вошедший Володька. Он назвал Гао «родившийся ранее меня».

Гао знал, что это человек вежливый. Он отвернулся от Сашки и разговорился с его жильцами, предлагая Володьке и Николаю поступить в его лавку приказчиками. Это было бы очень выгодно: тогда Гао мог показать всем сомневающимся, что борется за справедливость, дает приют изгнанникам.

Николай вспыхнул и отказался.

– Но без нашей помощи будешь с пустым брюхом! – язвительно заметил Гао.

– Убийцы и поджигатели едят досыта, а у почитающего Будду всегда пустой желудок! – с поклоном ответил Николай.

На этот раз вспыхнул Гао. Дело дошло до оскорблений.

– Ты только маленькая вещь! – восклицал Николай. – Нечто маленькое между Западом и Востоком...

– Общество тебя накажет, говорить председателю такие слова!

– Общество? – вне себя от ярости подскочил рослый и худой Николай. – Ваше общество? – И с жаром опытного проповедника он стал поносить объединение купцов.

Работник Гао, великан Шин, и тот слушал Николая с удовольствием. Всем нравилось, как он ловко высмеивает общество купцов и их цели. Такого речистого и умного человека надо послушать. Он в пух и в прах разбил доводы Гао, объявил общество купцов братством нечистых. Как сыпал он при этом изречениями из книг великих мудрецов!

Николай поклялся вести борьбу против влияния общества богатых на Амуре. Шандунец, сын участника Тайпинского восстания, казненного наемниками-англичанами, состоявшими на службе правительства, он знал многое такое, что впервые услышали его новые друзья.

Николай понимал, что Гао только внешне вежлив с ним, а сам намекает, что будет мстить, может подослать убийц. Николай не был трусом, всю жизнь он боролся и стал закаленным бойцом. На родине он призывал к свержению власти маньчжуров и, как потомок тайпина, проповедовал общественную собственность на землю.

– В Серединном царстве во все времена было множество тайных обществ, – говорил Николай. – Есть общества богатых. Но есть общества бедных – они противятся богатым. Они многочисленней и сильнее. Я знаю язык лжи и понимаю твои намеки, но не для того мы страдали на родине, чтобы на чужбине идти к тебе в компаньоны. На действия вашего общества мы ответим своими тайными действиями. Есть общества честных людей, бескорыстно любящих свою родину, желающих свергнуть власть маньчжуров. Таких обществ в Китае множество. Это потому, что народ не смеет говорить во всеуслышание и собираться открыто, но каждая деревня свободных переселенцев в Маньчжурии – это свободное тайное братство. Не запугивай нас. Нам мало, но мы объединимся. Попробуй только угрожать нам! Мы составим свое общество. Мы не потерпим твоих происков и угроз!

Гао подумал, что надо покончить с Колькой и пожаловаться на него исправнику. Правда, тот считал китайцев просто варварами. Только посмеется и никаких мер не примет, тем более что ему приказано оказывать помощь политическим изгнанникам из Китая и на это отпускались средства, часть которых он, видно, удерживал. Кольке конь и корова полагались, а он не дал.

Когда вышли из фанзы, Гао закричал:

– Эта вонючка не принесет тебе счастья! – и указал на Одаку, стоявшую на коленях около кадушки, которую она мыла.

Сашка схватил вилы.

– Ты что? – испугался купец.

Николай ухватил Сашку сзади; тот успел в ярости кинуть вилы прямо в лицо Гао.

Купец увернулся, но неудачно. Вилы попали ему в плечо и в щеку. Гао упал на одно колено.

Все кричали.

Сашка рвался из рук Николая, грозя задушить Гао, но Одака отчаянно визжала, хватая мужа.

Купец был смертельно бледен. Хотя вилы только царапнули его, но он, как умный человек, прекрасно понимал, что побывал на волоске от смерти.

Николай помог ему подняться и проводил до лодки. На прощанье он сказал Гао, что ни в коем случае не признает суда общества, если торговцы захотят сами разбирать дело Сашки.

* * *

О ссоре, происшедшей между китайцами, вскоре стало известно в Уральском.

Егор Кузнецов спросил Гао Да-пу, когда тот приехал в Уральское с товаром, зачем он обидел Сашку. Гао стал ругать Сашку, сказал, что он плохой человек, хунхуз, разбойник.

– Какой же он хунхуз? – ответил Егор. – Он пахарь. Ты подумай-ка! Нет, уж ты моего крестника не смей обижать. Кто тебе поверит, что он первый задел? Смотри, я узнаю у него все!.. – В голосе Егора была угроза.

«Егор – его крестный отец?» – изумился торговец.

– Он твой крестник? – спросил Гао, заинтересованный.

– Как же! Ему и фамилия будет Кузнецов, когда вид дадут на жительство.

Впервые в жизни видел Егор, как смутился Гао. А смутился он не оттого, что мужик его пристыдил. Купец вспомнил: вот так же блеснули Егоровы глаза, когда мужик начал заступаться за Дельдику.

«Что тут может поделаться общество?» – мелькнуло в голове купца. По дороге из Уральского он стал соображать, кого выбрать себе в крестные отцы: «Барсукова? Оломова? Как я об этом не подумал?!»

* * *

Когда наступила зима, Сашка подал прошение старосте Федору Барабанову, чтобы его приписали к общине села Уральского. Он решил, что весной построит в Уральском дом и заведет своих коней для почтовой гоньбы. Сашка ждал открытия тракта и приезда станового. Жена его Одака, приезжая в Уральское, целыми днями рассказывала бабам, какие плохие люди Гао и как они притесняют Сашку.

Айдамбо, принявший фамилию Бердышова, к этому времени уже переселился с женой в Уральское. Они жили в старом зимовье Бердышова с Савоськой. Ужиться со своими на Мылках Айдамбо так и не смог.

Одно время поговаривали, что батрак Федора, белобрысый Агафон, намеревается жениться на Ольге-каторжанке. Но ей нравился седой старик Яков, человек более основательный, и она решила выходить за него.

Сукнов должен был закончить службу и жениться на старшей Пахомовой дочери. Так, к четырем семьям староселов прибавлялись еще четыре семьи: гольда, солдата, китайца и каторжника.

Кузнецовым жилось тесно, и они задумали выделить Федю и поставить ему новый дом. А глядя на них, и Бормотовы решили, что надо построить новый дом молодым.

Только Агафон, Авраамий, Николай, Володька и Савоська жили без семей, по-прежнему работая на других более, чем на себя.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

По льду Амура тракт обычно открывали в декабре, после Николе. Проезжал кто-нибудь из начальства, проверял, поставлены ли вешки. На этот раз ждали нового станового Телятева. Мужики знали, что это он летом взял двадцать пять рублей у Агафьи за то, что отпустил с разбитой баржи каторжанку Ольгу.

– Что-то черт с граблями не едет, – говорил про него Силин. – Наверно, запьянствовал...

Силин, рыбачивший на прорубях, уверял, что шуга – битый лед, намерзший под материковым, становым, – уже не цепляет снастевых веревок, значит лед утолщился, стал крепок, поэтому и перевозки скоро начнутся.

Мороз все крепчал. Под дальним берегом курились обширные полыньи, застилая и сопки и реку густым туманом.

Как-то ранним утром во мгле послышался звон колокольцев.

– Едет!

Открытие тракта – большое событие. До того живут мужики всю осень, как на необитаемом острове.

Все собрались у почтового станка – избенки, построенной солдатами, около которой стоял полосатый столб с орлом.

– Что нос трешь? – спрашивал Савоська у Егора. Старый гольд перепоясан кушаком по-ямщицки, с кнутом в руках. – У русского нос большой, поэтому мерзнет.

Колокольцы быстро приближались. Рослые гнедые мчали вовсю. Не сбавляя бега, кони поднялись на обрыв и, кидая кошевку по рытвинам в снегах, понесли мимо изб. Правил вятский ямщик Протасий Городилов.

– Потихе! Потихе!.. – раздался тонкий голос станового.

Доха его распахнулась, между красных мехов стало видно бледное плоское лицо в веснушках.

Протасий уперся ногой в корку снега. Возок валило набок. Ямщик спрыгнул, налег грудью на облучок. Крестьяне остановили коней.

Становой вылез и, волоча шубу, пошел в избу Барабановых. За ним вылез из кошевки сопровождавший своего начальника полицейский.

– Здравствуй, хозяйка! – входя в дом, кивнул становой Агафье.

Мужики обступили взмыленных коней, помогали ямщику распрягать их, закладывали в кошевку своих, свежих. Потом все отправились к избе Барабановых.

– Посмотреть, что за новый становой! – приговаривал Тимоха, с деланным страхом забираясь на крыльцо.

– Телятев! Не в насмешку ли теленком назван, – молвил Егор. – Но зубы, как у хорька.

– Людьми торговал, – подтвердил Тимоха. – Слупил большую деньгу.

Силин приоткрыл дверь, заглянул, отпрянул, прикрыв ее, перекрестился, посмотрел на Егора, потом снова приотворил и, набравшись духу, вошел в избу.

Мужики, кланяясь и снимая шапки, вошли за ним.

Становой, сидя за столом, пил водку и закусывал. Перед ним стояла черная и красная икра, осетрина, копченая горбуша. У самовара хлопотала тучная Барабаниха. В синем платке она казалась еще смуглей.

– Рыба если обмякнет, то, как ее ни копти, сгниет, – из кожи вон лез перед становым Федор. – Я первый тут стал коптить рыбу. Как поймашь, скорей надо вешать в дым. Вот покушайте.

– Созвать всех, – показывая бледным, дряблым, маленьким пальцем на мужиков, вымолвил Телятев.

Рыжий и тщедушный, с бабьим голосом, становой совсем не представлялся мужикам грозным начальником. Он казался вялым, мерклым, все делал словно нехотя, небрежно: не то был обижен, не то ему все не нравилось.

– Да все вот пришли, – приговаривал Барабанов.

– Все собрались? – косо взглянув на мужиков, спросил Телятев.

– Все...

Становой нахмурился и, не обращая никакого внимания на мужиков, опять как бы нехотя стал тыкать вилкой в тарелку. Тут же сидел полицейский, уплетая икру и копченую рыбу.

После завтрака Телятев поднялся. Сразу вскочил полицейский.

Федор надел на станового шубу.

Ни на кого не глядя, Телятев прошел мимо расступившихся мужиков.

– Покажи мне деревню, – сказал он на улице Федору.

Но что бы тот ни показывал, становой хмурился недовольно и смотрел на все так, словно все это было ни к чему, а когда ему показали мельницу, он махнул рукой и отвернулся.

Илья держал коней. Егор не пошел с начальством. Остальные мужики ходили следом за Телятевым.

Никто не мог понять, что все это означает. Опился ли становой по дороге и теперь не в своем уме с похмелья, или у него какой-то злой умысел?..

Телятев вдруг пошел быстро к барабановской избе, приказав мужикам следовать за собой. Он опять велел позвать всех. Кликнули Егора.

– Так хорошо живете? – когда все собрались, спросил Телятев, улыбаясь как-то кисло.

– Не жалуемся, – отозвались мужики.

Вялый и болезненный на вид становой, похоже было, не собирался их допекать придирами. Такой казался неопасным.

Телятев помолчал, поморщился, достал какие-то бумаги, нехотя перелистал их и вдруг быстро свернул и спрятал.

– В своем ли уме человек? – шепнул Силин на ухо Егору.

Телятев обежал мужиков взором и потупился.

– А как охота? – спросил он.

Мужики стали было рассказывать про свои промыслы, но Телятев опять махнул рукой, приказывая замолчать.

– Ну, так вот, – проговорил он тонким голоском и строго оглядел присутствующих. – Все, что вы мне показывали, теперь не нужно. Вам придется переселяться на новое место.

– Ка-ак?.. – разинул рот Пахом. Его словно удар хватил, лицо обмякло.

«Вот уж становой так становой! Год не ехал, а приехал... Какая подлюга!» – подумал Егор. Он не поверил словам Телятева, но почувствовал, что этот маленький тщедушный человек хочет отравить ему новую жизнь. Мало ли чего не бывает, когда чиновники начнут выматывать деньгу. Вспомнил Егор, какой произвол был на старых местах, каков там рабский страх народа. И заметил Егор, что этот старый страх перед начальством шевельнулся сейчас в душах поселенцев.

– Так вам придется с этого места переселяться, – вразумительно и властно продолжал Телятев, подымая бледный маленький палец. Откуда вдруг в нем явилась осанка! Речь стала резкой, взгляд твердым. Раньше он терся вблизи столицы и имел очень смутное представление о том, какова жизнь тут и каковы люди.

– Как же так, господи! – запричитала в углу Барабаниха.

В душе она догадывалась, к чему идет дело, и полагала, что тут кстати выказать испуг и отчаяние.

– Получилась ошибка, – с холодным, жестким выражением лица продолжал становой. – Вас не туда поселили, куда следовало.

Силин растолкал товарищей и выскочил вперед.

– Людей с места согнать нельзя! Нынче – воля!

Телятев посмотрел на него пристальным взглядом.

– Баня у вас запирается? – спросил становой у Барабанова.

Тот кивнул головой.

Телятев подозвал полицейского.

– Кто будет противоречить, надо посадить в баню, а потом отправим в тюрьму.

– Как же так?.. – пробормотал Федор.

– Я вам покажу волю!.. – вскакивая с места, тонко закричал Телятев. – Сейчас велю под арест! – Он был бледен, большие его уши покраснели. – В Богородском за такие разговоры старика Митрофанова заporоли. Недавно я сам согнал деревню новоселов. Никто не пикнул. Выселить! Разбойники! Мерзавцы! Сели, где не надо. Я вас!.. Летом дома снести! Начальство допустило ошибку и будет отвечать за это. Будем вас переселять в Тамбовку... На Быстрый Ключ. Самых непокорных – на Сахалин!

Телятев поманил к себе Егора.

– Да ты запомни, что я не шучу, а говорю всерьез! – сказал становой, словно догадываясь о мыслях мужика по его невозмутимому виду.

Потом Телятев выгнал всех и лег спать, приказав не беспокоить и пригрозив, что если что-нибудь случится, то он пришлет команду из города.

«Не стыдно ему, собаке, язвить людей в самом их светлом и заветном! Нехитро придумал, но и то испугал», – выходя, думал Егор.

У станка запряженные лошади звенели колокольцами. В кореню запряжен новый конь Егора, молодой Саврасый. За лето кони одичали, отъелись. Они били копытами, нехотя шли в упряжке. Горячая тройка ждала станового. Везти должен был Илюшка Бормотов.

Егор думал, что жизнь людская, труд, счастье народа для начальства ни гроша не стоят. «Врет становой, врет вражина! Не посмеет сселить, да и никому не надо сселять деревню, – стоит она на нужном, прекрасном месте. Просто пронюхал, что есть золото, захотел разжиться, умней ничего не придумал, чтобы напугать. Да еще узнал, что у нас хорошие охотники. Заплатили ему Барабановы двадцать пять рублей и все дело испортили: теперь он станет вымогать!»

Илья Бормотов с бичом молча, с нетерпеливым видом прохаживался перед станком, хлопая себя кнутовищем по валенкам. Он тоже был в избе. Пока он слушал станового, жена его Дуняша держала коней.

Силин подошел к Егору.

– Связать его? – спросил он.

– Нет... Дай я его прокачу, – сказал Егор, обращаясь к Илюшке.

– Нет, дядя Егор, побереги себя. Я ему покажу!.. – ответил Илья, дико сверкнув глазами.

– Долго же он думал. Ну и теля, – сказал Егор. – На какие выдумки пустился!..

Становой поспал недолго. Проснувшись, он подозвал Барабаниху, велел подать чаю и закурил папиросу.

– Золото моешь? – как бы между прочим спросил он Федора.

– Да как сказать... – замялся Федор.

– А ну, подай сюда. Что у вас за золото?

У Федора заранее было приготовлено для начальства золото со шлихами, «с блеском» и всякой дрянью. Он достал мешочек.

– Вот сюда, – показал дряблым пальцем на тарелку Телятев. – Еще подсыпь, не жалея!

Он склонился к тарелке, выбрал кусочки породы, выдул пыль.

– Еще сыпь. Что, больше нету? А кто еще моет?

– Больше никто, – ответил Федор.

– Врешь.

– Ей-богу!

– А далеко отсюда моете?

– Далеко, шестьдесят верст. Только осенью, как хлеба уберем, да маленько летом. От хозяйства нельзя уйти...

Становой косо на него поглядывал. Федор стал уверять, что поблизости есть богатое месторождение золота, но что разработать его не удастся, если нужно переселяться.

Тереха и Пахом принесли Телятеву черно-бурую лису.

Становой накинул шубу на плечо и вышел, не глянув на них.

– Ты скажи соседям, что переменить решение начальства не удастся, – заметил Телятев, усаживаясь в кошевку.

Пахом подошел к кошевке, держа в руке лису, и растерянно ждал. Тереха догадался сунуть лису в кошевку под меховое одеяло.

– Отсрочки, может, год выхлопочу для вас, – объявил становой братьям Бормотовым. – На год-два.

Он закутался в доху.

– А ты смотри у меня!.. – вдруг пригрозил он Егору. – Трогай! – Он ткнул в спину молодого Бормотова.

Илья взмахнул бичом. Кошевка забилась на рытвинах.

– Потише, потише! – тонко выкрикнул Телятев.

Мужики, стоя на релке, смотрели вслед уносившейся кошевке. За ней вилось снежное облачко.

– Он душу из него вытрясет, – засмеявшись, сказал Силин.

На полпути между Уральским и Бельго Илья вдруг изо всей силы стал хлестать коней, и они понесли.

– Ты что делаешь, подлец?! – закричал очнувшийся от дремы Телятев. – Держи!..

– Держи сам, барин! – оборачиваясь на облучке и подавая ему вожжи, ответил Илья.

Полицейский испуганно схватился за короб.

Сани мчались все быстрее. Стойбище Бельго быстро приближалось.

Кошевку ударило о торос. Полозья треснули. Лопнул и стал разлетаться в щепы короб. От удара о следующий торос кошевку так метнуло, что вылетел полицейский. Дикие, взлохмаченные кони, наострив уши, помчались, как по воздуху.

Телятев, хватая вожжи, закричал на них.

– Застрелю!.. – орал он на ямщика.

– Стреляй, ваше благородие! – ответил Илюшка, следя за каждым движением станового.

На раскате Телятев вылетел и ударился головой о торос.

Короб вырвался из-под ног Ильи, и он с вожжами, намотанными на руки, волоком неся по льду. Его било о торосы. Один раз ударился головой так, что искры полетели из глаз. Тройка внесла его на вожжах на берег и остановилась у станка.

Телятева долго не было видно.

Перепуганные тамбовцы поехали за ним. Становой, прихрамывая, плелся среди торосников. Лицо его было в синяках и крови.

– Чьи это кони? – поджимая губы, спросил он у Ильи, приехав на станок.

– Крестьянские, – ответил Илья. – Долго ходили на воле, от упряжки отвыкли.

– Что ты хочешь этим сказать? – сквозь зубы спросил Телятев.

– Их удержать нельзя, – усмехнулся Илья.

– Этих коней убери со станка, – спокойно ответил Телятев, но лицо его стало бледней обычного.

У Ильи по примеру Бердышова на всякий случай в кармане в дороге всегда лежал револьвер. «Чуть что, я его уложу!»

Телятев некоторое время поглядывал на Илью пристально. Но тот уже понял, что становой струсил и что с ним, как и с любым нахалом, робеть нечего.

Еще осенью Иван говорил, что новый становой вымогатель, что его за жульничество убрали со старого места. А сюда он приехал, как и все чиновники, только чтобы нажиться и снова убраться на запад.

«Пусть помнит!..» – думал Илья. Он чувствовал, что при случае становой ему отомстит.

В тот же день Илья верхом поехал обратно, ведя пристяжных на поводу.

Прибрежные скалы чернели над его головой. Ледяной ветер гнул на их вершинах огромные деревья.

* * *

На реке крутила непогода. Понурые, уставшие кони в белых заиндевелых завитках шерсти, с сосульками на мордах отряхивались от снега, лениво позванивая колокольцами у подъезда.

Пришла первая почта сверху.

Ямщики по двое с трудом выгружали из кошевы тяжелые кожаные кошелки с железными застежками, похожими на цепи.

Закончив выгрузку, все повалили в теплый станок. Там же собрались уральцы. Тракт открылся. Пришел первый обоз, зимнее движение по льду началось, народ тронулся, потек.

По рассказам ямщиков, обоз с великим трудом удалось довести до Уральского. Здесь решили ждать окончания пурги, пустить вперед лыжников и подводу с нарубленными вешками, чтобы обозначать путь заново: старые занесло.

Кони, закрытые шубами, стоя дремали за станком, под ветром. Их заносило снегом. Поднятые оглобли кошевок торчали под окнами.

Ямщики внесли сбрую и почту в помещение станка, стучали обледеневшими валенками, смеялись, радуясь предстоящему ночлегу.

– Ветер в лицо бьет, глаза слепит, – говорил старый знакомый Егора, пожилой «сопровождающий», входя в дом Кузнецовых и сдирая с ресниц ледяшки. Вместо усов у него надо ртом желтая от куренья ледяная подкова. Когда он отогрелся, из-под протаявшего льда выступили его пышные усы. «Сопровождающий» скинул полушубок и стал рыться в сумке.

– Дождался ответа, Егор Кондратьич. Тебе письмо.

Мужики и парни столпились вокруг.

Это был тот самый человек, с которым прошлой зимой отправил Егор письма. С тех пор Егор встречал его много раз и все ждал ответа.

Не теряя осанистого вида, «сопровождающий» не торопясь перебирал письма.

– Вот не это ли? – протянул он рыжий конверт.

В сумке у него лежало несколько писем для крестьян, живущих по тракту.

В избу Егора слушать письмо собралось все поселье. Видя, что все бегут к Кузнецовым, пришли туда же ямщики и даже солдаты.

Письмо начиналось с поклонов и благословений.

– «Письмо ваше получили, за что шлем спасибо, – звонко читал Васька. – Хлеба нынче не уродились. Собрали хлеба мало. Лука

Тимофеевич стал тысячником и кормит народ, раздает в долг. Нынче все мы в большом долгу. Уж хлеб брали у него. Бога молим за благодетеля. Как будем отдавать и чем, не знаем. Он что захочет с нами сделает».

Федор Барабанов остановил чтеца, многозначительно вскинул брови и помолчал, поднявши палец.

– А быстро же стали письма ходить, – заметил Тереха.

– Читай дальше, – велел Егор.

– «У нас нынче плохо с хлебом...»

– Это уж ты читал.

– Нет, это я дальше читаю, – отвечал Васька, державший прочитанное пальцем.

– Видишь ты, горе какое! – всхлипнула бабка Дарья, и лицо ее безобразно скривилось. Как бы желая скрыть свою горечь, старуха закрылась фартуком.

Долго еще читали письмо крестьяне, плакали, а потом смеялись.

– Агафон-то женился! Ух-хо-хо!.. На Марье! Гляди... Слыхал, а Маруська-то...

Все так развеселились, что парнишки, сидевшие в углу на дедовой кровати, решили, что чтение окончилось, и забренчали на бандурке.

– «А у нас другие лямки надели, пошли в город искать заработки. Напишите, как вы шли дорогой. И еще нам бы узнать про Амур. Лука говорит, что на Амуре люди живут с двумя головами, и мы не знаем, верно ли, и как вы там живете. Еще ждут войны, и на Каме наборы, говорят, начались...»

– От благодетеля Луки мужик из Расеи готов к людям о двух головах уйти, – заметил «сопровождающий».

– Звать бы их! Да сами не знаем, где жить будем, – со злом сказал молодой Кузнецов.

– Кто выживет-то, может, дойдет! – добавил дед. – Эх, жизнь!.. А тут, гляди, опять погонят...

* * *

Наутро вперед пошли лыжники пробивать сугробы, повели за собой подводу с вешками.

Обоз тронулся, звеня колокольцами. Снежные вихри еще ходили по релке, но пурга уж стихала. Сквозь волны снега, несущегося в выси, проступало солнце. Ветер мел снежную пыль, засыпал набело ямщикам складки дох и полушубков, порошил на лошадей, на их белую, в обледеневшем поту шерсть.

Уехали Федька, Петрован, ушли солдаты охраны.

На другой день в собственном возке с застекленным окном и с печкой с железной трубой в кожаном верхе явился в Уральское Петр Кузьмич Барсуков. Он глубоко возмутился, услышав, чем пугал крестьян Телятев.

– Это глупости, конечно! – воскликнул он.

Но Барсуков сам очень расстроился таким известием. Мужики заметили это.

«Неужели что-то есть?» – думали они.

Барсуков говорил крестьянам, что быть этого не может, ни в каком случае людей, с таким огромным трудом устроившихся на новом месте, не выселят.

– Эта земля ваша по закону, – говорил Барсуков, а сам думал, что если речь пойдет о поддержании авторитета станового, то вся полиция будет заодно и, пожалуй, мужиков прижмут, может быть, спровоцируют на бунт. «Какая бессовестная полицейская выдумка! Даже один такой разговор Телятева – преступление, глумление над людьми, над их идеалами. Если мужики не станут платить становому, он найдет какое-нибудь средство вымогательства. Он пронюхал, что тут золото... Чего у нас не случается! Телятев – ехидна, от него всего можно ждать. Будет пугать людей насильственным переселением, требовать меха, золото. Станет развращать их, подавать худшим из них дурной пример».

Петр Кузьмич решил ободрить крестьян, дать им веру в собственную правоту.

– Я слышал, Кондратьич, – сказал Барсуков за обедом у Егора, – что ты стал золото мыть.

Егору не хотелось признаваться. «Чем меньше люди будут знать, тем лучше, – думал он. – Дело все же незаконное».

– Нет, не мою, – ответил он твердо.

– Моет, а сам боится, – подавая к столу и улыбаясь, молвила Наталья, не расслышавшая, что сказал муж, и никак не полагавшая,

что он может соврать.

– Выручает тебя жена, – весело оказал Барсуков. – Меня не бойся. Мне можно все оказать.

– А это вы про что? – спросил Кузнецов, как бы спохватясь. – Про прииск-то? Да в свободное время что же не мыть! – Он помолчал; степенно погладил бороду и добавил из гордости, желая показать, что ничего не скрывает: – Мы и зимой моем.

– Неужели и зимой? Я никогда не видел, чтобы мыли зимой.

– На прорубях. Черпаем песок и моем.

Егору стало неловко. Он решил, что следует доказать, что ничего не скрывает. Он предложил Петру Кузьмичу съездить на промывку.

– А ты не боишься, Егор Кондратьич, что каждый захочет получить от вас это золото? – спросил Барсуков по дороге на Додьгу.

Егор смолчал. На новой земле он страстно желал видеть свой род сильным и многолюдным, дать ему закалку, сноровку, достаток, призвать сюда народ со старых мест, помочь новоселам укрепиться. Пока что сделано мало. Небольшой достаток вытрудил Егор своими руками. А золото придавало народу силу, было ему подмогой на нови, там, где жизнь давалась вдесятеро трудней. Уже составила старательская артель. Айдамбо на днях явился с женой, сказал, что «желтых соболей» пришел ловить. Парень вообще не дурак: поповской выучки.

Среди берегов с черными елями и белыми и черными березами на льду горной речки темнел бревенчатый балаган с трубой.

– Да ты, Егор Кондратьич, изобретатель! Это же целая фабрика! – воскликнул Барсуков. – Как у тебя силы хватает все соорудить?

– Кое-как все слажено. Наскоро, – уклончиво отвечал мужик.

Это все, как и мельница, и невод, и баня, сделано было не одним Егором. Кроме Кузнецовых, тут трудились Бормотовы, Силины, китайцы, гольды, Айдамбо с Дельдикой, каторжники. Но Егор не стал говорить про артель.

В балагане маленькая железная печь. В углу поленница дров. На льду, чтобы не таял, когда жарко, настил из сухой травы. Прорубь укрыта деревянной лежачей дверью.

Егор затопил печурку.

– Ребята приходят и моют. Я печь поставил.

– Чтобы не простудились?

– Нет, чтобы лоток не обмерзал. Балаган на полозьях. Вымоем место, потянем на другое.

– Коня запрягаешь?

– И сам утащу.

Егор поднял дверцу над прорубью.

– Не оступитесь!

– Да тут не глубоко.

– Утащить может, течение быстрое.

Егор взял черпак, через прорубь нагребал со дна реки песок и гальку, бросал на лоток; потом стал лить на него воду.

– Мы летом заметили, что жила идет в реку. Содержание плохое, но нам много и не надо. Как могли, гребли со дна – ноги остудили. Вода горная, ледяная. На Амуре в кетовую рыбалку теплой вода, чем здесь летом. Илья к ногам груз привязывал, чтобы водой не сбило.

– Ну хорошо, но ведь скоро речка перемерзнет, что же тогда будешь делать?

– Когда перемерзнет, можно лед вырубать и долбить пески. Да эта речка не перемерзнет совсем.

Не желая, чтобы Барсуков принял его за хищника, ищущего наживы, Егор рассказал про намерение расчистить пашню на Додьге, устроить заимку.

Барсуков задумался, глядя на черную воду, бежавшую, как в подполье.

Кузнецов промыл пески, перебрал настилку – «ветошь» – в желобах, выбрал золотые крупинки.

– Я думал, ты вечный землепашец и от земли никуда, а ты, оказывается, предприимчивый человек: не бросая земли, все время обращаешься к промыслам.

Все восхищало тут Барсукова. Во всем он видел сметку, природный ум крестьян, их способность к широкой деятельности. «Да, такой, как Егор, выйдет в люди!» Но тут ему пришло в голову, что ведь Кузнецова могут сгноить за это.

Егор заметил, что Барсуков чем-то озаботился.

– Егор Кондратьич, – спросил чиновник, – а ты моешь тут, как сказать, ну... – он замялся, не зная, как выразить свою мысль, чтобы не обидеть мужика.

Егор, до того оживленно толковавший, что он еще на Урале видел вот такое устройство промывки, теперь догадался, что расстроило Барсукова, и опешил. Он уже привык, что к незаконным его работам все относится, как к должному. «Да ведь Петр Кузьмич не таков», – подумал он.

– Заявки я не делал, – сказал Егор. – Хотел заявку сделать, да отговорили. Против мира не пойдешь.

– А приходится подсыпать становому?

– Да нет, – ответил Егор, – я ему ничего не давал. А что моем без заявки, так греха в том не видим.

– Как люди, так и ты? – смеясь, спросил Барсуков.

– Да, верно, как люди, так и Марья крива!

– А знаешь, Егор Кондратьич, может, стоит сделать заявку? Дело, конечно, твое...

– Заявку? – встрепенулся Егор.

– Конечно! Дело тут чистое, и ты пример подашь другим. Составь артель из ваших крестьян, если один не хочешь, выберите уполномоченного и пожалуйте к нам в Николаевск. Я помогу там тебе. Вообще в случае чего приезжай прямо ко мне.

– Да я бы рискнул, Петр Кузьмич, но люди не согласятся. Говорят, хлопот не оберешься. Отводы, отмеры, платежи... Горные^[76] сюда придут... Ведь все моют, никто заявок не делает.

Егор хотел сказать, что даже поп и тот не велит делать заявку.

– Ну и что ж? Надо идти на все это смело, чего же бояться? – убеждал Барсуков.

Он оживился. План действий благородных сложился в его голове. «Сегодняшняя поездка была очень кстати!» – думал он.

– Мы можем пример подать действительно. Правда, я понимаю: мыть тайно спокойнее; но в один прекрасный день у тебя могут быть неприятности. И неужели мы не преодолеем всех препятствий?

– Хуже-то, конечно, может быть...

– Да и сам посуди: действительно, все моют, то есть хищничают. Но значит ли это, что и ты должен хищничать? Подумай сам, что мы за жизнь создадим в стране, если мужик или артель крестьян, ну, словом, не капиталист, а простой человек не смеет обратиться к государству и получить позволение мыть золото, когда оно у него на огороде. Правда? Нелепость какая-то! Ведь перед законом все равны и у всех

есть право. Если каждый будет таиться, зачем же тогда законы? Суди сам, Егор Кондратьич, что у нас за государство, если жить можно только крадучись, тайком. Нет, даже необходимо сделать заявку и подать пример!

Егор и сам не раз думал, что не надо бы таиться. И только его крестьянская ненависть к чиновникам и вообще ко всему казенному, его страх перед учреждениями останавливали мужика. Но не в его натуре было делать что-либо крадучись, прятаться.

– Я не прочь, – оказал Егор.

– Видишь, вот Телятев говорит, будто исправник требует снести вашу деревню. Тут дело не в деревне. Знаешь, что это за люди? Я думаю, тут дело в прииске, – нужен повод, чтобы сорвать деньги с вас.

Егор знал, что в поселье все подымутся против заявки. Но охотников на золото много. Телятев подаст пример, и скоро каждый писарь и каждый полицейский будут залезать в мужицкий карман, как в свой собственный. Кроме того, Егор хотел бы устроить на Додьге нечто вроде фабрики. У него уж придумано было целое сложное устройство, как быстрее промывать пески. А если мыть тазом – нечего и думать про заявку!

Петр Кузьмич во всем, что бы он ни делал, исходил из убеждений, которые вынес из Петербургского университета. И вот он уже мечтал, что напишет друзьям своим о новой форме общности промыслового труда, об изобретательности в горном деле простых крестьян-землепашцев и так далее и так далее. Знание простой сибирской жизни уживалось в нем с умозаключениями, сделанными еще в Петербурге, в студенческую пору. Он надеялся, что сумеет подтвердить те законы будущего развития общества, которые полагали единственно верными в либеральных кругах петербургских народолюбцев.

Узнавши, что китайцы приписались к общине Уральского, Барсуков говорил о том, что надо быть осторожней с китайцами, что их множество, они наводнят Амур. Он не советовал принимать китайцев и позволять им приселяться.

Под вечер ехали в Уральское. Егор думал, попросит ли с него золота Барсуков. Он ожидал, что, чего доброго, Петр Кузьмич не зря ездил, не из пустого любопытства. Но Барсуков ничего не говорил.

– Взял он с тебя? – спросил у Егора Барабанов.

– Ничего не спросил.

– Завтра спросит.

– Егора опять жизнь бередит, – толковал дедушка Кондрат. – Задумываться стал: верно ли, мол, народ-то я привел? Тут, мол, то же самое...

– Это становой людям мозги ожег, – отвечала старуха.

– Нет, это вон поганец во всем виноват, – бранил дед Ваську. – Леший его дернул золото найти!

* * *

На другой день Барсуков уехал в город.

Егор поговорил с народом о заявке, но почти вся артель решила, что ничего подобного делать не надо, а Тимоха и Федор корили Егора, что возил Барсукова на Додьгу. Припомнили ему и Максимова.

– Мой да молчи! До меня дошло дело, я оказал Телятеву, что мою сам, один, и я заплатил... Дал золота ему. А грех на мне на одном... Вот вы все корите меня, что, мол, Федор такой-сякой, а Федор все на себя взял, никого не выдал!

Артель покрыла Федору золото, что отдал он становому.

«Это я ловко им ввернул, что все на себя взял!» – думал Федор, переиначивая в мыслях значение своего порыва. Теперь оказалось, что он и Телятева подкупил и соседей пораскошелиться заставил. «А становой будет считать, что это все от меня одного. И своих я не выдал!»

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Пал свежий снег. Айдамбо отложил евангелие, которое поп заставлял его учить, и стал собираться на охоту. Лыжи, теплые рукавицы, охотничья одежда – все готово к промыслу. Обо всем позаботилась Дельдика. В доме Бердышовых она, как в родном гнезде, здесь она провела несколько лет, тут каждый предмет знаком ей.

Савоська поехал скупать меха по деревням, и молодые супруги живут одни. Дельдика нянчится с сыном. Он спит в берестяной люльке, завернутый в чистые пеленки, здоровый и румяный. Все хорошо, только муж сидит в глубоком раздумье, склонив голову.

– Как ты думаешь, что делать? – спрашивает он Дельдику.

– Уж я не знаю, Алеша. Сделай, как тебе хочется.

Но вся беда в том, что Айдамбо сам не знает, что ему хочется.

– Вот ты всегда так мне отвечаешь, – злится он и добавляет примирительно: – Ну, я еще день подумаю...

У них в доме хорошо, тепло, чисто. А на промысле стужа, дым, спать придется с собаками, вши опять заведутся. Но главное не в этом. Айдамбо никак не может решить, стоит ли ему на этот раз шаманить перед промыслом. Вопрос этот тревожил его все лето, но он надеялся, что еще время есть и к осени можно будет все решить. Но вот уж и осень минула, зима наступила, уж лед встал. Охотники в тайгу уходят и обратно возвращаются, приносят добычу купцам, а он, Айдамбо, самый лучший охотник на Амуре, до сих пор не идет в тайгу и все не может решить, шаманить ему или нет.

С тех пор как Айдамбо крестился, он знает, что шаманство и поклонение идолам – грех. Он твердо верит в учение церкви, никогда не врет попу и хочет делать все так, как тот велит.

Но в православной церкви нет особых святых, которые помогали бы в охоте на соболей, гнали бы их души в ловушку. Да еще поп говорит, что у соболей душ нету, что вообще все животные будто бы бездушные твари и будто бы даже думать не могут. При всем уважении к попу Айдамбо полагает, что уж тут поп неверно говорит. Нарочно врет или ошибается, трудно сказать. Но кто сам на зверей не охотится, откуда он может знать, думает зверь или нет?

Айдамбо твердо знает, что если идти на промысел, не пошаманив, то на удачу трудно рассчитывать. Был случай, Айдамбо один раз не шаманил перед охотой. Сколько страхов потом натерпелся в тайге, какая только чушь не лезла в голову! И соболей не поймал. Он, конечно, знает, что шаманство – вранье. Особенно когда в церкви находишься или среди русских, твердо веришь в это. Но вообще-то говоря, лучше пошаманить.

Без привычного шаманства не было желания охотиться, пропадала вера в удачу, одолевала робость.

В тайге сразу попа забудешь, особенно ночью, вспомнятся духи тайги. Начнешь думать, что, может быть, они знают, что им не молился, рассердятся. Вспомнишь, как старики всегда учили, что Позя и лесные люди пригоняют всех зверей, но только если их хорошенько угостишь.

В тот раз Айдамбо вернулся с промысла с пустыми руками, а потом пошаманил и снова пошел в тайгу, наловил соболей и принес попу. Поп его выбранил, заставил покаяться, наложил наказание и велел еще наловить соболей на церковь.

И вот теперь, чтобы бог простил, надо идти в тайгу ловить соболей на церковь. Покпа звал Айдамбо с собой, но тот не согласился, опасаясь, что отец станет над ним издеваться.

«Для себя я мог бы совсем не охотиться, – думал Айдамбо, – обошелся бы, но на церковь надо поймать обязательно, чтобы грех мой простился. Так и поп говорит. Но я пойду и буду думать, что ничего не поймаю, раз я не шаманил. А пошаманишь, опять грех! Да как же я лук без шаманства поставлю? Не хотел бы, да нужда заставляет. Получается, что только тогда церкви поможешь, если будешь шаманить. А это как раз грех!»

– Ан-на-на! – удивился Айдамбо.

Голова его разболелась, руки, ноги отяжелели.

– Почему ты мне не советуешь? – сердился он на жену.

Дельдика вдруг заплакала.

– Ты же у русских жила, их законы знаешь. Как лучше будет, шаманить или не шаманить?

Дельдике казалось, что можно и так и этак, греха не будет, но она видела, что Айдамбо строго правдив и очень гордится этим. Она не

желала давать ему совет, который сбил бы его с толку. Но ее злила его нерешительность и надоедала гордость.

– Все смеются над тобой. Тебе в долгах жить хочется!

– Ах, так!.. – закричал Айдамбо.

– Русские и те шаманят! Я сама слышала, как дядя Ваня про это говорил.

Втайне злобясь на жену, Айдамбо стал готовиться, греть бубен над огнем. Настроение его улучшилось, когда жена поднесла ему водки. Айдамбо выпил. Дельдика стала мила ему по-прежнему. Ему пришло в голову, что она ведь ни в чем не виновата.

Айдамбо принес с чердака ловушки и петли, наделал стружек из ветки тополя. Стружки означали изображение душ соболей, которые должны попасть в охотничьи ловушки Айдамбо.

Двери и окна бердышовского зимовья плотно закрыли, чтобы никто не знал, что тут происходит.

Ударяя в бубен, Айдамбо ходил по дому и с увлечением шаманил. Он давно этим не занимался и сейчас с жадностью утолял воспитанную с детства потребность. Он знал, что когда шаманишь редко, шаманство удастся, стараешься – и охотничье счастье наверняка вымолишь.

Дельдика, зная, что шаманство грех, печально сидела у очага, чувствуя, что у мужа в душе будет теперь еще больший разлад.

Время от времени Айдамбо подкреплялся водкой. Наконец он опьянел, подсел к жене, обнял ее и положил голову ей на плечо.

Вдруг в дверь кто-то постучал. Ужас исказил лицо Айдамбо. Он выглянул в щелку.

– Поп! – отпрянул гольд и забегал по дому. «Что будет? Батюшка говорит, что я для всех гольдов пример, меня даже показывают как праведного, а теперь все узнают. Позор!»

За дверью скрипел снег, кто-то терпеливо ждал, когда откроют.

– Да нет, это не поп, – глянув в щелку, сказала Дельдика и, быстро открыв дверь,пустила Покпу.

– Здравствуйте! – хитро улыбаясь, низко поклонился старик.

Он жил теперь отдельно от детей, в Мылках, со старухой.

– Я тебе помогать молиться пришел, – сказал он сыну. – Слышать далеко по льду, как ты в бубен бьешь.

– Ничего подобного, я совсем не шаманил!

– А чего же закрыл окна? Еще не стемнело, а ты уж спать ложиться? Я знаю, ты, наверно, шаманил, – подмигнул отец. – Ты сам попу не веришь, только не признаешься, – приговаривал Покпа, раздеваясь и укладывая котомку в угол.

– Он тебя за попа принял, – с улыбкой сказала Дельдика.

– А что, Савоськи нет?

– Его нет, он уехал.

– Жаль! Мы вместе с ним сговаривались идти на охоту. Пойдем с нами.

– Нет, я с вами не пойду. Я по-своему буду охотиться.

– Вот как! Ну, а пороху мне отпустишь?

– Нет, я не имею права чужим товаром распоряжаться.

Покпа с сожалением покачал головой. Родной сын не верил отцу, боялся отпустить пороху, который принадлежал хозяину дома, где Айдамбо жил. Вот какие честные все стали! Каждый боится, что его вором сочтут, если он без хозяина что-нибудь сделать осмелится.

Дельдика пригласила Покпу к столу, подала остатки водки, собрала поужинать, но сначала заставила его постучать железной палочкой в рукомойник, чтобы оттуда полилась вода на корявые ладони Покпы.

Утром Айдамбо, веря в свою удачу, с надеждой, что духи тайги помогут ему замолить грехи в русской церкви, пошел в тайгу на лыжах.

Через несколько дней он явился в Мылки и выложил перед батюшкой на стол четыре соболя шкурки, черношерстные, с густой остью.

– Прощаются тебе грехи, сын! – торжественно сказал поп и благословил гольда, а сам с восхищением косился на роскошные меха. Так быстро добыть столько соболей мог лишь очень счастливый охотник!

«А вот говорят, что Позы нет, что это вранье!» – думал Айдамбо.

Поп хотя и не знал, что Айдамбо шаманил, но заметил его виноватый вид. Айдамбо был кроток, ласков, усерден, вызвался ловить рыбу в проруби – как бы сам на себя накладывал наказание. Но поп не стал спрашивать. Сейчас было не до того: он ждал почетного гостя.

Из тайги на широкой нарте, укрытой ковром, приехал архиерей. В чистом, светлом домике попа, где пол выкрашен свежей желтой

краской, а в углу стоит фисгармония, архиерей прожил два дня. Он проводил время в беседах с хозяином, в молитвах и в поездках по гольдским деревням.

В день приезда поп познакомил его с Айдамбо.

– Вот примерный и ревностный христианин.

Гольд поклонился смущенно, поцеловал руку архиерею. Ему стало стыдно, что поп представляет его как образцового христианина, а он обманывает и попу и церковь.

– Меня архиерею показывали, говорили, что я правдиво живу, – сказал Айдамбо, возвратившись домой, жене, – а я ведь обманываю. Почему ты не сказала мне, что не надо шаманить?

– Ну, поезжай тогда, Алеша, и окажи все попу.

– Конечно, поеду.

Но Айдамбо не ехал, ожидая, когда уберется архиерей, чтобы не при нем каяться.

Узнав, что поп проводил гостя, Айдамбо собрался к нему.

– И ты со мной поезжай, – попросил он Дельдику.

Супруги приехали в Мылки.

– Я, батюшка, опять грех делал. Перед охотой саманил.

– Что такое? – густо и гневно спросил священник.

Айдамбо и его жена смутились. Дельдика, стоявшая у двери, стала трясти и качать сына, хотя он и не плакал.

– Перед охотой саманил, – пробормотал Айдамбо.

– Опять идолам молился! Ах ты, окаянный!

Дело кончилось тем, что поп опять заставил Айдамбо ловить соболей. Хотя он понимал в душе, что теряет меру, именем бога забирая столько мехов у простодушного прихожанина, но удержаться не мог – уж больно хороши были соболя и уж очень прост, до глупости предан и доверчив был Айдамбо.

Айдамбо и Дельдика приехали домой. Они застали там Савоську, вернувшегося из поездки.

Савоська на обратном пути заезжал в Мылки к Покпе и сговорился с ним идти на охоту. Они звали с собой и Айдамбо. Но тот решительно отказался.

Айдамбо получил у Савоськи порох, свинец. Ему нравилось в доме Бердышова. Савоська привез множество разных мехов. На полках разложены товары.

– На охоту один пойдешь? – спросил Савоська.

– Да.

– А шаманить опять будешь?

Айдамбо опустил голову.

– Ну, будешь или нет?

– Буду, – признался Айдамбо. Он вспомнил, что врать нельзя.

– Ты что-то печальный. Поп штраф наложил? Ловко он с тебя гребет!

– Купец жену и ребенка обижает. А поп никогда не трогает, – глянув строго и неприязненно, ответил гольд.

– Обманщики все время умней становятся.

– Да, конечно, так, – покорно ответил Айдамбо.

– А ты с охоты придешь, опять попу признаешься, что шаманил?

– Конечно, признаюсь.

– А ты обмани его, скажи, что не шаманил. Что он тогда делать будет? У-ух! Где он соболей возьмет?

– Нет, я не могу так. Только правду могу ему сказать.

– Ну и дурак! – рассердился Савоська. – Всегда будешь виноват и будешь думать, что хуже всех. Разве ты не понимаешь, что поп сам грешен? Он тебя обманывает. Давай пойдем вместе, я буду шаманить за тебя, а ты молчи.

– Нет, я на это не согласен. Это тоже обман. Отец меня ругает, что я дурак, но я только по закону могу правильно отвечать, – стоял на своем Айдамбо.

При этом разговоре присутствовал Тимошка Силин.

– Так они будут без конца с тебя меха тянуть. Этак жить на свете нельзя, сам сдохнешь и семью по мирупустишь. Это по-нашему называется – у попа была собака, он ее любил...

– Его, конечно, собака! – отвечал Айдамбо.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Вася Кузнецов за последний год заметно вырос и становился видным пареньком. Ему шел пятнадцатый год. Зимой не ленился он бегать на лыжах за десять верст, через Амур в Экки, к телеграфисту Сергею Вихлянцеву. Тот с увлечением учил его всему, что знал сам.

В семье Вася научился трудиться. Отец мог построить дом, отковать сошники, сделать ручную мельницу, связать невод, убить зверя, снять кожу с него и выделать ее, сшить из нее обувь или хомут. Люди из «образованного» общества, проезжающие мимо Уральского на пароходе и снисходительно рассматривающие избы и рощисти новоселов, не смогли бы сделать и сотой доли того, что делал Егор. Выброшенные на берег, они оказались бы дикарями и варварами или нищими и попрошайками. У них были знания, которых не было у Егора, и он считал себя темным, а их уважал. Но у Егора были знания и навыки, которых не было у них, о которых они даже понятия не имели.

Вася умел сшить хомут, унты, умел убить зверя или бычка, охотиться на белку, понимал, как строить дом, руки его становились все умелей, ум развивался. В труде он постигал, что означает усталость отца, заботы матери. Он приучался любить животных, птиц, пашню. В такой жизни все любопытно, каждое дело становится школой и заменяет те раздражающие зрелища и книги, без которых скучает и находит жизнь свою пустой городской подросток. Такая жизнь занимает ум и руки куда сильнее, чем книги про то, как работает, живет и страдает русский мужичок.

Мать учила не подглядывать, не подслушивать, не смеяться над хромым, больным, слабым, поклониться вежливо старшим, войдя в дом, снять картуз или шапку, перекреститься на иконы, драла уши за скверное слово, хвалила за удаль, за подмогу.

За вранье или за ябеду отец давал по затылку, а дед драл за уши.

– Васька, ты молодец, ты все можешь, если постараться, – говорила мать, и Ваське хотелось сделать так, как она желает, показать ей, что он именно таков.

А если Наталья хотела возбудить гордость в ком-нибудь из сыновей, то говорила с досадой: «Ты дурак, не способен на такое

дело».

Другой, наслушавшись от хитреца или злодея, что он дурак, решит, что так и есть в самом деле. Злой и скудоумный хитрец попытается забить ум в ближнем, называя его дураком, чтобы сесть ему на шею. Но мать не злодей, знает, что и когда сказать ребенку. Она знает: Васька горд и непременно захочет доказать, что способен ко всякому делу.

Примеров не было близких, чтобы лгать, красть, пакостничать. А если и случалось, что, например, надувал Федор Барабанов гольдов, то Вася понимал, как это плохо наживаться на чужой беде.

Вася и Петр часто слышали сказки бабки и матери, рассказы отца, деда о жизни на старых местах, о поездках, о встречах с людьми. Васька помнил каждый из этих рассказов, как городской малыш помнит содержание прочитанной книги.

А отец его, не в пример другим, знал, о чем говорить при детях. Он не с восторгом рассказывал, что торгош смухлевал и набил мошну, или объегорил другого торгоша, или испортил девку-раззяву, не смаковал про жестокость, лупку, разврат в надежде, что малые глупы, не поймут, или совсем не думая о них.

Но как торгош хотел взять Дельдику в рабыни и пакостничать, а отец ему за это наклал по шее и чуть не развалил весь дом и как потом другие торгоши завопили, где только возможно стали кричать, что, мол, Егор честных соседей обижает, – про это Вася слышал.

Бывал он у гольдов, ездил к Сашке, жил у того как свой, учился говорить по-гольдски и по-китайски, слышал разные рассказы Савоськи, китайцев, Покпы, Айдамбо.

Из ружья стрелять умел, ходил на лыжах, греб в лодке, пахал без огрехов и хватал глубоко, мог выпариться в бане в страшной жаре и бегать на лыжах, когда птица мерзнет, рубил топором, мыл золото.

Сильно занимали его проходящие пароходы и люди, проезжающие на них. Тот мир казался ему куда лучше своего, домашнего. Рано заметил Васька, что и там отца его со «штанами» знают и уважают.

Телеграфист пробудил у Васи интерес к книжке и картинкам. Отец отдал мальчика учиться, считать и писать не к попу, который был назойлив, властен, с загребущими руками, а к Вихлянцеву. Васька бегал через реку и учился охотно.

Вихлянцев его учил и сам учился. Знаний он вкладывал немного в Васину голову, но они ложились там прочно. Если удавалось купить у торговца на баркасе или получить в подарок или в обмен на звериное мясо от проезжего новую книгу, это было праздником, событием для Сергея и Васи.

На баркасах среди других книг доставали Пушкина, Некрасова, Загоскина. Однако выменянные книги были не все хороши, их было мало.

И оттого, что знания доставались с трудом, Васька никогда не был ими перекормлен, как барчук дорогой пищей, что опротивела ему. Цены ей барчук-не знает и, какого стоит она труда людям, знать не хочет.

Вихлянцев обязан был учить Ваську счету и письму. Но он рассказывал про моря, про разные страны, про электричество и про все, что сам узнавал. Мальчик выучил много стихов Кольцова. Вихлянцев сам не крепко знал историю: все, что было до Михаила Романова, путалось в его голове.

Про Петра говорил Сергей с особенным увлечением. Еще любил он порассказать Ваське, что пишут в газетах.

Егор понимал прекрасно, что за ту муку, которую он дает Сергею, мог бы тот гораздо меньше заниматься с Васькой, но платы не прибавлял. Ему казалось, что если набавит, то будет это нехорошо, погубит он дружбу и восторг, что владеют и сыном и Сергеем. Однако всегда держал он Сергея в памяти и всегда помнил всякую его нужду и пособлял ему осторожно.

Старший сын Егора перестал бегать к попу, он тоже учился у Сергея, но такой страсти к знаниям не выказывал.

* * *

Сегодня пурга воеет, и Вася остался ночевать у Вихлянцевых. Пеленки сушатся на веревке. В такую погоду русская печь в избе, натопленная за день, как крепость, которую не взять никакому ветру и стуже. У свечи над книжкой склонил голову Васька. А из темноты, покачивая заболевшего животом новорожденного, Сергей рассказывает об этой книжке, что знает сам.

Разговор пошел на весь вечер, и книжка лежала открытая и дальше не читалась. Васька и прежде эти стихи читал, но только сначала. Дальше становилось скучней, как в русской истории после Петра, где толпились царицы и царевны с широкими подолами, как тамбовские девки, когда они наезжают гостить к Дуньке и выглядывают себе женихов.

После урока разговорились про чужие государства.

– Вот нынче, когда экспедиция Максимова была, они как-то ночевали тут с доктором Иван Ивановичем, и приехал на пароходе полковник наш, что телеграф проводил, Русанов... Я послушал их. Вот люди умные! Они спорили все...

Сергей и сам не все понял. Максимов говорил, что, когда народ станет грамотным, Россия пробудится ото сна, будет богачейшим, могущественным государством, что русский человек станет более практичным. А сейчас нет у народа нужных навыков. Служба в казаках, полиции, армии, в чиновничестве развращает. Русанов отвечал, что пока это будет, русских заедят вши. Каких вшей он поминал, непонятно. По его словам, были они хозяевами банков, купцами, модными врачами, от них зависело народное здоровье.

Вечер был долог. Маятник ходиков тикал.

Утром Васька прибежал домой. Пурга стихла.

– Теперь два дня не пойду! – объявил он за обедом.

Все засмеялись. Васька много узнал нового в этот раз из-за пурги, что держала его у Сергея несколько дней и дала наговориться всласть.

На другой день опять пришла почта. Ямщики рассказали, что телеграф работу прекратил, на линии столько обрывов после пурги, что, наверно, до весны не будут стучать аппараты. Сергей, по их словам, выехал в город, куда вызвали его письмом.

Вечером Васька развернул книгу, что дал Вихлянцев. С тех пор как он научился грамоте, Кузнецовы всей семьей любили послушать чтение.

– Ну, сегодня про что нам будешь читать? – спросил дедушка, устраиваясь на печи. – Начинай...

Мальчик сел и задумался. Перелистал страницы. Все стихли.

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,

И вдаль глядел...

– И вдаль глядел, – звонко, с гордостью стал читать мальчик, и белое лицо его от волнения залило краской.

Ногою твердой стать при море,
Сюда по новым им волнам...

– Это царь-то... – пояснил Вася, отрываясь от чтения.
Он показал картинку: Петр и корабли.
– Это что же, песня или кто сочинил? – спросил дед.
– Это сочинение, дедушка. Пушкин сочинил.
Деду, видимо, понравилось.

...Прошло сто лет, и юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат...

– Это Петербург... А прежде болото было, – пояснял мальчик.
Васька, волнуясь, смолк.
В избе стояла тишина, и только слышно было, как с печи слезал дед.

...Прошло сто лет...

Когда дочитал, дед потрогал книгу.
– Видишь ты! Пушкин! Это хорошее прозвание, – сказал старик.
– Ты, сын, пойдешь и узнаешь то, чего мы не знали, – сказал Егор, которого это чтение тоже тронуло. – Мы хотели жизнь устроить, как могли, старались, чего могли, – сделали. Но больше не смогли, остались малограмотные.
– Бердыш да барабан... Сила, пушка – тоже это все древние прозвания, – толковал дед. – Складно сложил, похвально... Все воевали, да помирали... Гнали их.

Дед вдруг всхлипнул и грубо, всей ладонью осушил глаза.
Васька стал рассказывать, как царь Петр строил Петербург.
– Прочти-ка еще раз, – попросил отец.

...Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды свой ветхий невод...

Егор подумал: «Были и у нас соседи-пасынки. Да и теперь еще».

Понятно было Егору все в этой книге, то, о чем и не мог подумать Васька. Часто писалось в книгах, как замечал Егор, такое, о чем сам он как будто думал когда-то.

– Спасибо тебе, сынок! – сказал Егор и поцеловал сына в голову. –
Еще что-нибудь почитай нам, – добавил он, как бы желая переменить разговор, так волнующий его.

– Больше, тятя, нет ничего! – ответил Васька.

– Будто бы уж! – заметил дед. – Книга-то большая.

– А это в другой раз.

Ваське стыдно было сказать, что дальше скучно.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Морозы стояли такие сильные, что промерзла не только Додьга, но и русло подо льдом. Давно уж никто не ходил в «Кузнецовский амбар». И когда потеплело, работы никто не начинал.

Однажды к дому Егора подъехали нарты. Вылезли старики гольды в разноцветных шубах.

– Что такое случилось? – всплеснула руками бабка Дарья. – Гляди, какие поднялись!.. Вон тот, что еще прошлый год помирал.

– Нет, уж он нынче рыбачил, за веревку-то держался.

– И Улугу с ними приехал, – молвила, заглядывая в окно, Татьяна, – и Продувной!

«Продувным» звала она Писотьку за то, что тот всегда суетился и навязывал купить какую-нибудь дрянь.

Кальдука тоже приехал. Породнившись, он сдружился с мылкинскими.

– А мельница цо таки? Церт? – с порога спросил любопытный Писотька.

Один из стариков был так дряхл, что другие вели его в избу. Он с трудом перелез через порог. Это был столетний полуслепой гольд с выпуклым лбом мудреца. Он выступил вперед, откидывая большую свою голову и слясь сквозь бельма разглядеть Егора. Тут же был девяностолетний Сигади, ловивший осенью кету на Егоровой косе.

Гольды внесли какую-то длинную палку. Егор разглядел, что это копьё с широким железным наконечником.

Слепой старик заговорил по-гольдски, держа копьё на вытянутых руках. Он вложил это копьё в руку Егора. Сигади дал кожаный мешочек, в котором оказался красный камень, желтые наросты с сучьев березы, мягкие, как вата, и кусочек железа.

– Нам помогал. Бабка нас лецил! – восклицал Писотька. – Мы думали-думали и тебе копьё даем и от родового кремня кусочек.

– Будешь, как настоящий Бельды! – пояснил Улугу. – Как наш человек!

– Тебя уважаем! – добавил Писотька.

Столетний старик обнял Егора и облобызал в обе щеки. Старики стали подходить к нему по очереди. По их торжественному виду Егор

понял, что все это дело нешуточное. Он даже растерялся, не понимая, за что ему от гольдов такой почет.

Сигади обнял деда Кондрата, потом бабу, поцеловал Наталью, Таню, Федьку и всех ребятишек, ласкал их, трогал за щеки и певуче говорил что-то по-своему.

У Егора было полкабаньей туши, хлеб. Два куля с замороженными пельменями висели под балками в амбарушке.

Бабы живо разожгли плиту и в кипяток навалили пельменей.

– Тебе, Егорка, хлеб растил, хорошо жил, плохо людям не делал. Нас разговор понимаес, как нам брат, – говорил Писотька. – Не воровал...

Улугу внес Егору еще один богатый подарок – лыжи, обшитые крепким белым сохачьим мехом, широкие, как доска, чтобы тяжелый и рослый друг его не вяз бы в снегах.

– Чтобы шибко бегал!.. Помнишь, мы с тобой сохатого убили? Это из той шкуры. Чтобы никто тебя не догнал. Самые хорошие лыжи. По-нашему, сохальта. Наконечник лыжи называется делига, вот, гляди, белый наконечник, как стрела, у русских такой лыжи нету. Смотри, какой делига я делал... Ты на своих бегаешь и вязнешь, а этот наконечник снег ломает... Вот муусамса – петля, ногу продевать. Не деревянный, тоже из шкуры, но крепкий, как железо. Так мы делаем.

– Бегай сто верст, ево ни церта! – подхватил Писотька. – А застежка у сохальта деревянный! Цо таки? Ево тоже своя фамилия есть! Кадекхка! – тонко прокричал Писотька.

На лыже под ногу гольд постелил и закрепил намертво железную полосу.

– Снег чтобы не приставал... Вода попадет, тозе худо не будет.

Улугу дал еще Егору палку с наконечником из сохачьего рога и с колесиком из черемухового дерева.

Но самым дорогим и затейливым подарком была геда с древком из черной березы. К геде был деревянный чехол для наконечника, резной, расписанный красными и синими рожками, с деревяшкой на веревочке в виде поплавка, чтобы затыкать за пояс, когда снимаешь чехол и вешаешь его к поясу на охоте. Но нужней всего Егору были лыжи.

– Егорка, геда тебе даем, ты будешь охотник, как Бельды. Бей медведя! Только не обижай. Смеяться над нашим медведем не надо. Медведь – хороший человек. Он тут хозяин. В тайге нет другого

хозяина, – говорил Писотька. – Когда бьешь, скажи потихоницьку: «Хорошенько, хорошенько повернись, сердце мне подставь». Так скажи. Если медведь сердится, скажи: «Потише, потише!» – и бей! Потом мясо, жир снимаем. Его не помирает! Только мясо отдает. Да, Егорка! Медведь тебя любит!.. Мы слышали! К тебе идет. Ты лапу ему в рот давал.

– От кого же слышали? – спросил дед с удивлением.

– У-у!.. Слыхали, дедушка, вы тозе медведя играли, как наса! Его толкали из берлоги. Потом веревками вязали, на лапу рукавички надевали. Который человек медведя играет – самый хороший!

Дверь тихо приотворилась.

– Ну иди, иди, – сказал Егор.

В дверь пролез пегий мохнатый медведь. Он вырос, отъелся. Обычно Егор держал его на цепи, но часто спускал. Как огромная собака, зверь подошел к нему, лизнул валенки и лег. Он оглядел гольдов. Выражение глаз у него хитрое и злое. Он сморщился, подымая ноздри, оголяя зубы.

– Ну, Писотька, играть будешь с медведем? Ну-ка, давай! – сказал Егор.

– Цо таки? – отпрянул гольд.

– Играй с ним. Он тебя не сломает. Мишка, будешь бороться?

– Цо таки? – заметался Писотька за столом.

Все засмеялись.

– Он ученый! – рассказывал Егор. – Скажи ему: дров принести или воды – он знает. Только не знает, когда кончать работу. Надо сказать: «Хватит!» А то будет таскать, всю избу завалит. Один раз воду таскал, забыли ему сказать, он все залил. Кадушка полна, а он все льет да льет. А ну, Васька, возьми бандурку, а ты, Петрован, бубен, да сыграйте, а Михайло Иваныч станцует, потешит гостей...

* * *

Гости разъехались. Остался погостить один Улугу.

Егору захотелось сходить с Улугушкой в тайгу на новых широких, обшитых мехом лыжах с белыми торчащими наконечниками, секущими снег.

– Надо в обновах на зверя сходить. А, Улугушка? Теперь кто кого перегонит?

– В обновах счастье тебе будет, хорошо охотничать начнешь. Ты на своих коровах худо ходил.

Егор показал гольду новый охотничий снаряд: сплел новую тонкую сеть.

– Одному тебе скажу. На соболей пойдем по старинке, по-русски, с сеткой и с колокольцами.

Улугу удивлялся. Русские пришли: кроме лаптей и сохи, нет ничего. А оказывается, умеют на соболей охотиться. Но зачем колокольчики? Разве соболь конь, чтобы с колокольцами бегать?!

Улугу чувствовал, что, оказывается, еще не совсем знает Егора. Гольд смотрел на тяжелые, широкие, словно разбитые работой, руки мужика. Они сумели вспахать релку и построить мельницу, сумели сплести и тонкую сетку на соболей. Пальцы толстые, а плетут ловко. Пешком через всю Сибирь прошел... Откуда он пришел? Где это место? Все там такие, или один Егор такой родился, другие не похожи на него?

Улугу еще хотел бы узнать, как делается железо. Как делается ситец. Почему от новых материй такой запах. Про железо Егор рассказывал ему, что вываривают из камней в печах. Улугу часто и подолгу думал о таких предметах. Мир занимал его. Он хотел все знать. Когда-то он не знал даже, как муку делают! Егорка показал ему в первый год знакомства: растер ручкой ножа несколько зерен.

– Че, Егорка! Моя дурак, што ли, – сказал Улугу. – Моя целый баржа муку видел. Если начнем так молоть, сколько времени надо?

Егор показал ручную мельницу, а вот теперь построил огромную ветряную. Улугу бывал там. Видел, как засыпают зерно и как сыплется мука. Ел лепешки из этой муки.

Привыкший к суевериям, Улугу часто все новое, невиданное полагал связанным с нечистой силой. Духа видел он и в пароходе, и в мельнице, и в магазинном ружье.

– Я сначала думал, – говорил он, – что мельница спрыгнет на лед. Начнет скакать, как шаман, меня схватит. Мельница на бурхана походит. Есть бурхан Ай-ами с четырьмя руками.

Понемногу все становилось понятным.

* * *

– Замерз? – спросил Егор.

– Нет, моя не замерз, – отвечал гольд, хотя шея у него была открыта ветру, – мороза еще нет.

Егор в рыжей шапке, на меховых лыжах с белыми наконечниками. Он широко взмахивает и втыкает на бегу в снег палку с сохачьим рогом. В молодости Егор хаживал на лыжах, и теперь старое умение пригодилось.

– Егорка, быстро бегаешь. Я раньше думал – русский большой, как по снегу пойдет? Однако, утонет.

– У нас солдаты старики были – воевали на лыжах, – отвечал Кузнецов. – Да не на таких, а на голицах. А на параде этому не учили. Сами на войне уловчились.

– Тебе ноги длинный, ты сам сухой, бегаешь, как сохатый.

Лыжи хороши, ничего не скажешь: богатые, по росту мужика, широкие, как хорошая доска.

Егор в знак благодарности отдал Улугу кулек муки. Отблагодарил за все сразу.

Заткнув деревяшки от чехлов с наконечниками за пояса так, что копья длинными палками волочились по снегу за лыжами, охотники шли по следу маленького черного медведя-муравьеда.

Подниматься в гору на голицах нужна особенная ловкость. Сменив свои стертые лыжи на новые, Егор легче взбегал на сопки. Шкура, подшитая под лыжу, не скользит и на самом крутом подъеме упирается крепко колкой шерстью в снег.

Возвратившись в деревню, охотники принесли соболей, пойманных сеткой с колокольцами.

Улугу запорол двух медведей.

– А Силин ушел далеко, – рассказывали сыновья Егору. – Нынче взял запас, нарты. Ружье у него хорошее.

– Егорка, – звал Улугушка, – пойдем и мы!

Он уверял, что вблизи моря за Амуром соболей очень много. Егор не хотел уходить так далеко от дома.

Улугу опять гостил у Савоськи, когда приехал Покпа, жаловался на сына, что напрасно ушел из дому. Савоська защищал Айдамбо.

Гольды поспорили, потом выпили, помянули былое и решили втроем сходить на дальнюю охоту.

– Пусти с нами Ваську, – сказал Улугу, придя утром к Кузнецовым.

Егор узнал, что с Улугу пойдут Покпа и Савоська. «Люди-то они надежные, – подумал он, – случай редкий!» Егор желал, чтобы дети его приучались к тайге.

– Как же Савоська от торговли уйдет?

– Ничего. У кого меха будут, подождут.

– Тятя!.. – умоляюще молвил Васька, узнав, из-за чего приходил Улугу.

– Что же, ступай. Только соберись хорошенько.

Копья Егор сыну не дал. Он не очень верил в это оружие. Васька пошел на новых лыжах, с новеньким, купленным у Бердышова винчестером.

Долго смотрели отец с матерью, как Вася шел крупным шагом на лыжах через реку следом за нартой, запряженной собаками.

Сын уж подрастал. Ноги у него становились все длинней...

Впереди брел Покпа, пробивая снега, за ним Васька. За Васей – Улугу и Савоська.

Нарта и четверо охотников шли долго, становясь все меньше. Вот уж чуть заметные точки да черточка чернеют у подножья сопки, что огромным сугробом залегла за Амуром.

А за сопкой – хребты. Васе лезть на них... Материнское сердце болит. Подумать страшно, ведь слабое дитя, сосавшее ее грудь, пойдет через эти утесы.

А отцовское сердце надеется на сына, на его крепость, сноровку. Да и гольды не малые ребята, знали, кого брать с собой. Гнилого не позвали бы в такой далекий путь. Горд Кузнецов, что гольды признали его сына годным к охоте, взяли с собой.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Силин охотился в тайге в одиночку.

Однажды возвратился он под вечер в свой балаган и увидел, что там спиной к огню сидит гость – оборванный мужичонка лет сорока, длинноволосый, с бородкой клинышком. От его рубахи смердило потом и прелыми хвойными ветвями. Одежда его бедна, но ружье дорогое, неизвестной Тимохе системы.

Гость сварил похлебку, прибрался в балагане.

Силин поздоровался, гость поклонился ему. Тимоха достал из-под потолка мешок с хлебом и на поду от костра отогрел мерзлый каравай – тот стал пышный и горячий, такой точно, каким унесла его Фекла из печи на мороз в ночь перед мужниной дорогой.

Охотники сели обедать. Гость оказался из переселенческой деревушки с морского побережья.

– Далек же тебя занесло! – удивился Силин. – А как вас по имени-отчеству?

– Михаил Порфирьич!

«Что-то мне лицо его словно бы знакомо!» – подумал Тимоха.

Мужичок рассказывал, как привезли крестьян на берег моря и как они мучились, боялись моря, все на Амур хотели уйти, но теперь привыкли, построились, расчистили пашни.

После обеда мужик чинил дыры на куртке.

– А ты откуда? – спросил он и удивился, услышавши, что Тимоха с Амура.

– А разве не далеко до моря? – спросил Силин.

– Далек! Суток четырнадцать надо плестись, верст триста будет.

– И к нам не ближе.

– Побывать бы на Амуре!..

Тимоха натопил воды из снега, помыл кипятком посуду.

– Нам бы к морю дойти!..

Тимоха и Михаил ночевали вместе. Утром они пошли в разные стороны, а вечером опять сошлись в балагане.

– Что же, – спросил Тимоха у Михаила, – у вас уж дальше пошел океан, берега не видать?

– Одна вода, – ответил охотник.

Михаил натопил снега в котелке и вымылся до пояса, выстирал рубаху.

Силина занимал этот человек. Был он такой же мужик, как и сам Тимоха, – невелик ростом, рыхлый и мягкий на вид, коротконогий, но видно, что скороход и хозяйственный. Дошел он пешком до Тихого океана, теперь зимами промышлял под Сихотэ-Алинем.

– Пришли мы на море, волна рушит берег, шумит, ветер воет, нет никого, только чайки летают. Лес стоит – лиственница. Я думаю: «Дай погляжу с горы. Раз есть гора, то получу себе удовольствие». Залез на сопку, посмотрел вниз, там сопки залегли в море мысами, как будто кто разные сапоги в ряд выставил. Придет в год раз казенный пароход из Владивостока. Семенов с Сахалина морскую капусту в Китай возит, товар привезет. Шхуны приходят... Больше норвежские и американские.

Про норвежцев Тимоха слышал впервые.

– Жили староверы, как звери, от людей прятались, нас сторонились. Они тоже переселенцы... Охотники...

Михаил расспрашивал про Амур. Он слышал, что на Амуре – житница, хорошие земли.

– Как же ты через хребет перелез? – спрашивал Михаил.

– Головой, – отвечал Силин.

Михаил подолгу глядел на синие хребты Сихотэ-Алиня и пики, как бы искал, где удобнее перелезть через перевал.

– Вон место низкое... – показывал Силин. – А мы все к морю идем, у нас слышно, что у моря самая охота в лесах.

Под вечер тайга зашумела. Подул сырой морской ветер.

– Моряк идет, – сказал Михаил и закрыл вход в балаган парусом.

Мужик накидал снаружи снега, чтобы палатку не унесло.

– Моряк подует – сразу осопатит, – говорил он. – Надо снега нагрести...

Охотники долго рассказывали друг другу сказки, подкладывали дрова в костер. Поздно вечером легли спать в мешки, и Тимоха сказал:

– У меня братан, Вавила Силин, хотел за мной идти, но не ушел, струсил. Я ему писал письма.

Михаил молчал.

– Вот я смотрю на вас, – вдруг переходя на «вы», сказал Тимоха, – и думаю: словно где-то мы встречались.

Через некоторое время Михаил спросил:

– А Вавила не Оханского ли уезда?

– Оханского, – обрадовался Тимоха.

– Так я тоже Оханского...

– Силин Вавила...

– Я тоже Силин, – отвечал Михаил.

Оказалось, что Вавила и Михаил – родня, из соседних деревень. Тимоха узнал, что оханские переселенцы вышли следом за ним и Кузнецовыми, но их отправили по Уссури на берег моря, где и основали они в одной из бухт селение Оханские Новинки.

– Получается, что мы с тобой родня! – сказал Тимоха.

– А мы сразу за вами ушли. Это у нас прошел слух, что Силины пошли на Амур.

Михаил слышал про переселение Кузнецовых, знаком оказался ему и Барабанов.

– Федька-то! Он все не хотел в своей деревне жить, к нам на кладбище в церкву хотел в сторожа наниматься. Как же, знаю! Теперь торговец стал богатый, говоришь?

– Быстро же вы окоренились! Видать, на море место богаче. Торговля, видно...

– Не-ет... Вот на Амуре у вас, сказывают, куда лучше.

Утром, взяв свое многозарядное ружье, Михаил, переваливаясь с лыжи на лыжу, ушел.

Накануне потихло, был снегопад, но поутру опять задуло.

Вокруг качалась, шумела и сыпала со своих ветвей потоки снега вековая тайга.

Тимоха вспомнил Ваньку Тигра и его насмешки, что у Силиных нет силы, что род Силиных изник. Нет, еще и у Силиных есть сила!

Тимоха подумал, что надо будет когда-нибудь добраться до моря, увидеть океан, побывать у братана. Поглядеть, как Силины живут на море, посмотреть и на Михайлову заимку, оханских-то новоселов! А Михаилу надо побывать на Амуре. Вот Егор подивится!.. Земляка в тайге встретил. Да еще своего сродственника! Но, пожалуй, никто не поверит и будут смеяться. Иван узнает, скажет: «Выдумки! Куда, мол, тебе!»

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Утро.

Охотники зашли далеко. За лиственницами синей волной залег хребет. Три солнца поднялись высоко, но не разгорались, мороз слепил их.

Савоська, Улугу и Покпа мохнатые, в шкурах и белом инее, собаки в курже, лес, побелевший от лютого мороза.

Васька шел на лыжах, держась за палку, прикрепленную к нартам.

Охотники поднялись на хребет. Чуть намеченные голубым, где-то проступали горы. Долина была во мгле, как в дыму. Поблизости в клубках, тумана чернела вершина елки. Три огненных шара плыли над громадной молочной мглой.

Васька зажмурил глаза, чтобы куржа стаяла с ресниц и можно было лучше видеть. Но ресницы смерзлись, и пришлось сдирать ледяшки с болью.

Путь нартам – лыжню – прокладывают все по очереди, и Ваське приходится. Идти по целинным снегам трудно, но как ни вязли ноги, как ни трудно Ваське, а испарины на теле нет.

– Бежишь – не потеешь и не устаешь. Самый сильный мороз, – бормочет Савоська.

День был короток.

На привале Улугушка протянул Ваське чашку с жиром.

– Рыбий жир! Пей!

Васька выпил.

– Хорошо кушай, а то помираешь, – заметил Покпа. – Хорошо кушаешь – мороз не страшен.

И вот теперь Васька не по бердышовским рассказам знал, каково на дальнем промысле. Он сам умеет разводить костер. Когда бревна сгорят, надо отгрести угли и головешки и на месте черного огнища наложить хвойных ветвей и на них стелиться.

Утром Савоська достал из мешка ворох жирной юколы и набил котомку.

– По дороге собак кормить, когда им скучно, когда устанут. Вот наша старая ночевка, – кивнул он вниз.

Там, у ключа, на дне глубокой пади, торчали из снега колья от шалаша, похожие на обгоревшие тонкие стволы.

На привале съели по куску юколы и по лепешке.

Пересекли долину и по гребням отрогов стали подыматься на большой хребет. Лес редел, стали появляться гольцы. Близились крутые каменные гребни. Солнце клонилось в красную мглу, и тайга, обдута в вершинах ветрами, от инея и от снега принимала на голые стволы цвет заката.

– Соболя следы есть, а снега мало, – ворчал Савоська, – только в валежнике следы заметно. В этих местах соболь есть, а снега нет. Лыжи тут снимаем, дальше пойдем по хребтам и по маленьким речушкам.

– Следа не могу-у-у замечаться! – печально тянул Покпа.

Иногда он поминал сына.

– Айдамбо давно дома не был, – печально говорил старик. Его расстраивало, что они жили порознь – отец с гольдами, сын с русскими – и на охоту ходили порознь.

К исходу дня охотники поднялись на хребет.

– Большие горы! – оглядывал Васька лесистые склоны. Широкие и белые, они казались сверху особенно большими.

– Сегодня ночью снег будет, – сказал Улугу. – Надо парус ставить, топить.

В землю вбили двенадцать жердей. Савоська достал с нарт парус и натянул на жерди. Жерди он чуть склонил.

– Вот так шалаш – без потолка! – смеялся Васька.

Внутри развели костер. Дым уходил вверх. За парусом было тепло. Пламя отразилось от полотнища, грело воздух.

В ночь поднялась пурга.

Савоська кутался в шкуру и рассказывал сказки про собачью голову, которая катилась по тайге, про живые деревья со змеями вместо ветвей и про чертей, воевавших с лягушкой.

Уже было поздно, когда Савоська вдруг повеселел. Вверху в отверстие стала видна Большая Медведица.

– Вон амбар, – показал он, – а по-вашему, ковш! Надо спать. Хороший снег упал, легкий. Соболь наверху живет, шишки кушает, его след увидим, он будет бегать по снегу.

...Чуть брезжил рассвет, и черные горбы сопки начинали проступать из тьмы, собаки страшно выли.

Опять пили жир, ели мясо. Запрягли собак. Синим предрассветом начинался унылый, трудный путь.

Шли медленно. Снега задерживали ход груженных нарт.

– Вот сопка, где мы были, – показал Савоська в полдень.

Влево вся в снегу, как облако, высилась белая куполообразная гора. И не верилось Ваське, глядя отсюда, что он был там, на самой вершине. И все пешком!

Чем дальше, тем глуше и страшней были места, и Васькой владело то же чувство, что на Горюне, когда шли в завалах колодника между скал. На перевалах лес либо горелый, либо мелкий, попадался мертвый, сожженный ледяными ветрами на корню. Чем выше поднимались охотники, тем обширней становились мари с чахлыми деревьями, словно поднимались не вверх, а опускались в какую-то болотистую впадину. Кругом вершины. Грозные издали, они оказывались тут небольшими куполами.

– Это самое худое место, – говорил Покпа. – Тут черта много есть. Молить надо...

– Ха-ха-ха! – подсмеивался Савоська. – Тьфу! – плюнул он и громко выбранился.

– Это самой макушкой идем, – сказал он, когда нарты перевалили, казалось бы невысокую, седловину между скалистых гребней.

Покпа кидал во все стороны мясо, юколу, горох, кланялся деревяшкам.

С седловины открылся бесконечный вид хребтов и лесов на обе стороны. За перевалом спустились в чашу, начались скалы, ущелья, хребет падал на эту сторону уступами, густые кедровые красные и мохнатые леса стояли стеной по обе стороны замерзшего ключа, по которому, как по тракту, шли охотники.

Изредка попадались старые брошенные балаганы.

– Вот люди жили, – показывал Улугу.

Чувствовалось, что тут какая-то другая страна и где-то неподалеку живут люди, и опять, как на Горюне, страшно было подумать Ваське, как далеко от своей деревни. Сколько до нее сопки, марей, долин, сколько леса. А раньше до Бельго казалось далеко. Теперь Уральское стало желанным, как никогда прежде.

Ночью опять начался ветер. Охотники нарубили дров и поочередно поддерживали огонь.

– Холодно, – жаловался утром Савоська. – Костер топишь, дым толстый, как туман. В такую погоду бегаешь – не потеешь, рукавицы нельзя снимать.

Утром пошли узким логом между утесов.

– Тут каменные люди живут, – потихоньку толковал Покпа, кивая на одинокие изветренные и щербатые столбы-утесы, отколовшиеся от каменных обрывов.

Следы соболя привели Савоську и Ваську к высокой крутой горе. Покпа и Улугу пошли по другим следам.

Охотники долго поднимались по склону, соболю ушел к самому куполу.

У подножья вершины росли ели и пихты, выше сопка затянута была сплошной порослью кедрового стланца. Охотники прошли полосу стланца, теперь кругом был воздух.

– На небо охотиться зашли, – шутил Савоська. – Хорошая погода, хорошо видно.

Он вытащил трубку и закурил.

– Мы далеко ушли. Кушать будем, а то на этот раз пропадем. Нам еще наверх лезть, там холодней.

Нашли еще один след.

Савоська сказал, что это соболю хитрый, молодой, что он пушистый и черный.

– Ловить будем вместе. Когда соболю бежит, стрелять не надо, – говорил Савоська. – Тут веток много. Чистенькое бы место было – хорошо. Он прыгает. Соболю от охотника вниз никогда не бежит, всегда наверх. Где гора, туда... В са-амый хребет лезет... У него свой ум есть.

Охотники выгнали соболя на голый утес.

– Стреляй! – крикнул Савоська.

Васька выстрелил, убил соболя и положил его за пазуху.

– Теперь пойдем на самую макушку, посмотрим, что там.

Васька устал, лень было подниматься, но он пересилил себя. Гольд побрел вверх, невольно и Васька поплелся за ним.

Сопка была высокая. Вниз уходили волнами рыжие хребты. Даль все шире расступалась, открывая широкий и страшный вид сахарных голов.

Поднявшись на вершину, Вася увидел, что очень далеко над рыжими низкими хребтами простиралась огромная гладкая ярко-синяя площадь.

Савоська смотрел туда.

– Что это? – спросил Васька.

– Это? Море! – сказал Савоська. Взгляд его тревожно пробежал по лицу мальчика.

– Море? – изумился мальчик.

Савоська грустно улыбнулся. Много напоминало ему море...

«Так неужели это море?» – думал Васька. Усталости его как не бывало. У него так обмерло сердце, словно он сильно испугался. Море! Так неужели на берегах этого моря теплые страны? Все, о чем он слышал, читал... Он силился рассмотреть море, всматривался в самую синюю его даль; стыли глаза, стоило моргнуть, как мороз мгновенно схватывал и слеплял ресницы.

Ваське захотелось, чтоб и отец увидел бы море. «Ведь он довел меня до Амура и гордился, а ведь я увидел море с высокой горы. А как висит оно ровень с белыми шапками сопок!»

– Там льда нет? В такой мороз?

– У берега есть, а в море нету, – отвечал Савоська. – В море вода всегда теплая. Никогда холодная не бывает.

Старый гольд и белокурый подросток долго смотрели туда, где между белых хребтов виднелся треугольник темно-синей воды. Васька, казалось, видел там что-то – быть может, будущую свою жизнь, которая вдруг приоткрылась, смутно страша и волнуя сердце, а старик – свое ушедшее: былые радости, тревоги и светлые надежды.



notes

Примечания

1

Углесидная куча – место выжигания древесного угля для железоделательных заводов на Урале.

2

Игра слов, от выражения «гужо меду».

3

Джангуй – хозяин (искаженное китайское).

4

Майма – торговое судно.

5

Ханшин – китайская водка.

6

Ганза – трубка с медной головкой.

7

Адали – как (забайкальский жаргон).

8

Кара – Каргийская каторжная тюрьма.

9

Бродни – высокая кожаная обувь с мягкой подошвой, без каблука.

10

Балберы – поплавки.

11

Кошка, коска – коса, отмель.

12

Геоли – гребите.

13

Даба – синяя бумажная материя.

14

Улы – обувь из рыбьей кожи или шкуры лося.

15

Тусс – берестяной коробок.

16

Тала – мелко строганная рыба, строганина.

Эти пятна – брачный наряд кеты, идущей осенью в горные речки на икромет.

«Кишмишем» переселенцы на Амуре называли плоды лиан.

19

То есть коровьей кожей.

20

Задулина – крепко сбитый ветром сугроб.

21

Подходяще – то есть дорого.

Албанцики – сборцики дани – «албана».

23

Секач – дикий кабан, самец.

Паши – поемные луга.

25

Кованец – кованый крючок.

Каны – теплые глиняные нары.

Ангалка – сетка.

Чумазка, или чумашка, – берестяная коробка или долбленка. Обычно для вычерпывания воды из лодки.

29

Сулея – сосуд, бутыл, бывает из прессованного картона.

30

Позя (искаженное нанайское от Подзя-ней) – дух тайги, покровитель охоты.

31

Олочи – невысокая обувь из звериной шкуры мехом внутрь. Обычно делается из меха лося.

Блудня – медведь без берлоги, бродящий по тайге; такой зверь опасен.

То есть трехгодовалый медведь.

Слово «амба» имеет два значения: злой дух и тигр.

То есть «переводи».

36

Мангму – Амур.

Торо – выкуп за невесту (нанайское).

Лаптрюка – дух, одни из многих.

Есть поверье, что если охотник найдет рогатую лягушку, то он будет счастлив, станет богат.

40

Непереводимое восклицание.

41

Батьго – здравствуй (северонанайское).

Геда – нанайское охотничье копье.

3

Отоли – понимаю (нанайское).

Хачуха – чугунная глубокая сковородка.

45

Буда – дешевый сорт проса.

46

Диди – иди (нанайское).

47

Зайцы!.. Зайцы! (насмешка).

В те времена в Китае царствовала маньчжурская династия и маньчжуры занимали привилегированное положение.

«Врагом порази врага» – излюбленная поговорка китайских дельцов.

Так называли китайские купцы своих чиновников, от слова «ямынь» – учреждение, присутствие.

Омуту – как, одинаково, словно (гольдское).

Турге – быстрой.

Исправник едет!

За шести (нанайское).

Сородэ – здравствуй (ороченское).

Батигофу, или батигапу, – здравствуй (нанайское).

Би – есть (нанайское).

Балана-балана – далеко-далеко (нанайское).

Бат – лодка, долбленная из цельного дерева, обычно из тополя.

Пустоплесье – пустой плес, пустынный берег.

Плотбище – место, где из сплавного леса сплавиваются плоти.

62

Кой – крик о помощи.

63

Так называются крупинки золота.

64

Станок – телеграфный пункт, пост.

65

Спасибо.

66

Контрами – прирежь, убей (жаргон).

Игоян – одинаково (искаженное китайское).

Мориэ – жеребец (гольдское).

69

Стайка – сарай для скота (сибирское).

То есть хариус – разновидность форели.

На Амуре «подводками» в таких случаях называются лодки.

У тебя есть (гольдское).

73

Подсачивать – подрубать, чтобы стекал сок и сохло дерево.

Сплав – караван судов, идущий вниз по течению самосплавом.

Сибирское выражение.

Чиновники горного ведомства.

Содержание

Николай Павлович Задорнов Амур-батюшка

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ](#)

[КНИГА ВТОРАЯ](#)

[ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
[ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
[ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
[ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
[ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
[ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
[ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
[ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
[ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
[ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
[ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
[ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
[ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
[ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
[ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
[ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
[ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ](#)
[ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ](#)
[ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ](#)
[ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
[ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
[ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
[ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
[ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)
[ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ](#)
[ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ](#)
[ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ](#)
[ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ](#)

[ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ](#)
[ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ](#)
[ГЛАВА СОРОКОВАЯ](#)
[ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ](#)
[ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ](#)
[ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ](#)
[ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ](#)
[ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ](#)
[ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ](#)
[ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ](#)
[ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ](#)
[ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ](#)
[ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ](#)
[ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ](#)
[ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ](#)
[ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ](#)
[ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
[ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ](#)
[ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ](#)
[ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ](#)
[ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ](#)
[ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ](#)

[Примечания](#)

[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[6](#)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
3

[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)
[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)
[74](#)
[75](#)
[76](#)